Библиотека Всемирной Литературы



Джованни Боккаччо

Декамерон

Библиотека Всемирной Литературы



Серия основана издательством
«ЭКСМО» в 2003 году

Джованни Боккаччо

Декамерон

Перевод Н.Любимова

Москва



2005

УДК 850
ББК 84(4Ита)
Б 78

Перевод с итальянского *Н. Любимова*
под редакцией Н. Томашевского

Стихи в переводе *Ю. Корнеева*

Вступительная статья *В. Татаринова*

Примечания *Н. Томашевского*

Разработка серийного оформления
художника *А. Бондаренко*

В оформлении воспроизведены миниатюры XV века из манускриптов, хранящихся в собрании Королевской библиотеки в Гааге и собрании Британского музея в Лондоне.

Портрет Джованни Боккаччо – фреска Андреа дель Кастаньо в церкви Санта Аполлония во Флоренции.

Боккаччо Д.
Б 78 Декамерон / Пер. с ит. Н. Любимова; Вступ. ст. В. Татаринова; Примеч. Н. Томашевского. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 896 с., ил. – (Библиотека всемирной литературы).
УДК 850
ББК 84(4Ита)

ISBN 5-699-12130-7

Содержание

Кончился пятый день
Декамерона,
начинается шестой.

Кончился шестой день
Декамерона.
начинается седьмой.

В день правления Дионео предлагаются вниманию
рассказы о тех штуках, какие во имя любви
или же ради своего спасения
вытворяли со своими догадливыми
и недогадливыми мужьями
жены

Вольный философ и книголюб из Флоренции

Три великие фигуры, три итальянца стоят у истоков того многовекового процесса, который позднее получил название эпохи Возрождения. Это было жестокое, невежественное и противоречивое время. Между странами, городами и отдельными феодалами шли бесконечные войны. Церковь, короли, герцоги и прочие персоны, обладавшие властью, направо и налево издавали законы и распоряжения, отвечавшие их собственным, часто сиюминутным интересам. Расправа за ослушание была скорой и зачастую кровавой.

Отдельная человеческая личность сама по себе мало что значила в такой ситуации, и людям приходилось искать себе опоры и защиты – у сильного синьора, в городской общине или за толстыми стенами монастыря. Вот в каких непростых условиях появились первые мыслители-гуманисты (от *лат.* humanus – человеческий, человечный). Главной ценностью и самым интересным предметом для них стал человек как таковой: его духовный мир, чувства, поведение, представления о мире – все, что имело к нему отношение.

Само по себе Возрождение – достаточно условное понятие. В эту эпоху ярче всего пылали костры “святой” инквизиции, плелись самые знаменитые придворные интриги, совершались потрясающие своим цинизмом и жестокостью убийства и казни. И все-таки именно в те далекие времена человек начал осознавать, что он, его личность ценны сами по себе – вне общины, религиозной, национальной или даже партийной принадлежности. А началось все с философских идей и литературной деятельности трех человек. Их звали Данте, Петрарка и Боккаччо...

Джованни Боккаччо да Чертальдо родился в 1313 году в семье флорентийского купца. Чертальдо – это название небольшого городка близ Флоренции, где Боккаччо провел часть жизни, умер и был похоронен.

Из Чертальдо были родом и его предки. Дед и прадед Джованни были зажиточными земледельцами и виноделами. Они успешно вели хозяйство в Чертальдо и с умом торговали с купцами из соседней Флоренции. Отец Джованни сам стал флорентийским купцом и сумел добиться не только финансовых успехов, но и уважения горожан: его, в общем-то чужака, не раз избирали членом различных советов и комиссий по общественным делам. Ко времени появления Джованни на свет его отец уже имел во Флоренции дом и несколько участков земли.

Кто была мать Джованни и где он родился, наверное, не удастся достоверно установить уже никогда. Ни одна из двух известных жен отца мальчика на эту роль не подходит. Согласно легенде отец незадолго до рождения Джованни ездил по делам в Париж – город, как известно, романтический. Родившийся вскоре ребенок и стал, якобы, плодом тайной связи отца с одной француженкой, которая вскоре умерла. Однако факты дальнейшей биографии Джованни Боккаччо противоречат тому, что он мог быть незаконнорожденным, поэтому дело, скорее всего, обстояло проще: Боккаччо-старший был женат не дважды, а трижды, и его первая, неизвестная нам, жена и стала матерью Джованни.

Мальчик с детства проявлял склонность к поэзии и уже в семь лет писал небольшие стихотворения. На его отца это производило мало впечатления. Боккаччо-старший был почтенным купцом, человеком трудолюбивым, умным и предприимчивым, но за пределами приумножения состояния для него мало что существовало. Он стремился войти в круг знатнейших флорентийских негоциантов и потому вел строгий, деятельный образ жизни, требуя того же и от своих домашних.

В 1320 году отец отдал Джованни в школу грамматика (т.е. учителя) Джованни да Страда. Здесь был заложен неплохой фундамент образования Боккаччо, который впоследствии стал одним из просвещеннейших людей своего времени. Но для старого Боккаччо учение было ценно не само по себе, а лишь как путь к более успешному добыванию денег. Поэтому он, не дожидаясь, пока сын

закончит курс обучения у да Страда, перевел его в 1324 году в профильную, коммерческую школу, а еще через два года отдал для изучения торговли в контору одного купца.

Так юноша, одаренный от природы пылким творческим воображением и художественной фантазией, оказался вынужден заниматься скучными бухгалтерскими вычислениями и разного рода конторскими работами. Хорошо еще, что постижение тайн коммерции предполагало не только утомительные бдения в конторе, но и частые поездки как по Италии, так и за ее пределы. Перемена обстановки всегда бодрит человека, а для поэтических натур она просто необходима. Обучение длилось шесть лет, и за это время Джованни немало попутешествовал. Он встречался с людьми всех сословий при самых разнообразных обстоятельствах; это обеспечило его широким полем для наблюдения человеческих характеров, их свойств и слабостей.

В 1330 году торговые интересы хозяина привели Джованни Боккаччо в Неаполь, едва ли не самый блестящий и могущественный город в Италии тех времен. Процветанием Неаполь в значительной степени был обязан своему правителю королю Роберту, внуку Карла I Валуа, графа Анжуйского. Он не только добился стабильности в неаполитанском королевстве, насколько это было возможно в раздираемой междоусобными войнами Италии, но и лично заботился о привлечении в Неаполь выдающихся ученых и поэтов. Сама атмосфера этого богатого южного города настраивала на поэтический лад: вечно шумящее и волнующееся море, экзотическая природа, напоминающая тропики, римские памятники и развалины, встречающиеся на каждом шагу, а среди них – гробница великого поэта Вергилия, пещера, через которую, по преданию, Эней спускался в царство теней... Было от чего разгуляться воображению семнадцатилетнего юноши! Недаром, согласно легенде, свое поэтическое призвание Джованни Боккаччо впервые по-настоящему ощутил, стоя у гробницы Вергилия.

Впрочем, его отец по-прежнему смотрел на жизнь с позиций умудренного опытом практика и бестрепетно распоряжался судьбой сына по своему усмотрению. Убедившись в бесполезности попыток сделать из Джованни купца, он подыскал для него другой прибыльный род деятельности. На этот раз он заставил сына приняться за изучение канонического права – знание церковных за-

конов открывало в те времена путь к почетным и выгодным должностям.

Боккаччо-старшего тоже можно понять – в Италии XIV века многие с сомнением смотрели на само существование поэзии. Ведь поэтами называли людей, избравших своей профессией вымысел, то есть – ложь. Древних поэтов вообще считали язычниками, воспевавшими всякого рода мерзости. Поэтому все горячие речи сына в защиту высокого искусства слова он отвергал как очевидную дурь, порожденную еще неокрепшим сознанием.

Так или иначе, в 1332 году Джованни Боккаччо оставил торговлю в покое и занялся изучением канонического права. Некоторые источники утверждают, что это происходило не то в болонском университете, не то в Париже, но, вероятнее всего, учеба проходила в том же Неаполе, в местном университете.

Почти одновременно с Джованни Боккаччо в Неаполе появился другой молодой флорентиец – Никола Аччьяйоли. Красивый, изящный, блестяще одаренный от природы, Аччьяйоли быстро оставил торговлю и сделал завидную карьеру при дворе. Земляки вскоре подружились, при этом Джованни испытывал граничившее с поклонением, почти детское восхищение талантами и успехами Никола.

В этом сказались особенности его характера, сформировавшегося под давлением воли сурового и требовательного отца. В течение всей жизни Джованни Боккаччо неоднократно обнаруживал робость, неуверенность в собственных силах и таланте наряду с повышенной обидчивостью даже по ничтожным поводам, иногда – в крайне резкой форме. Немудрено, что он всегда стремился найти опору в ком-нибудь значительнее и сильнее себя и легко поддавался влиянию своих друзей-учителей – вначале Аччьяйоли, а затем Петрарки.

Благодаря Аччьяйоли Боккаччо получил доступ в высшие круги неаполитанского общества. Его приняли вполне дружественно, несмотря на то что он не принадлежал ни к аристократии, ни к богачам. Неаполитанский двор, хоть и был на тот момент единственным королевским двором во всей Италии, стоял выше сословных предрассудков. Боккаччо не стремился играть деятельной роли в этом обществе и не воспользовался преимуществами, которые ему могла предоставить протекция Аччьяйоли. Свои возможности он

оценил верно – не с его застенчивостью и скромностью было состязаться с честолюбцами, которые не колеблясь прибегали к клятвопреступлениям и шантажу, отравлениям и заказным убийствам.

Разумеется, в эти годы он не раз утолял жажду из чаши наслаждений – молодость, приятная внешность и финансовое положение ему это вполне позволяли, – но его образ мыслей был всегда далек от всякого рода излишеств. В неаполитанском высшем свете он неизменно оставался приятным гостем, занимательным собеседником и не более того. Из своего пребывания при дворе Боккаччо вынес немало интересных наблюдений о нравах и поведении людей в различных ситуациях. Именно здесь в его голове стали складываться образы и сюжеты прославленного "Декамерона" – разговоры и поступки персонажей этого романа куда ближе разгульной жизни неаполитанского двора, чем нравам почтенного флорентийского общества.

Каноническим правом, по его собственному признанию, Джованни Боккаччо занимался мало и не очень прилежно, зато гуманитарные предметы не утратили для него своей прелести. С помощью талантливого ученого Павла Перуджинского, библиотекаря короля Роберта, Боккаччо отыскивал и внимательно изучал труды древних авторов, в особенности относившиеся к истории и мифологии. Помимо историко-филологических изысканий Боккаччо уделял немало времени астрономии и астрологии, которые он изучал под руководством знаменитого ученого, путешественника и поэта Андалоне дель Негро. Знакомство с ним обогатило Боккаччо многими познаниями, которые впоследствии пришлись ему как нельзя более кстати.

Важнейшим событием в жизни Боккаччо, произошедшим во время его пребывания в Неаполе, стала его встреча с Фьямметтой. Эта женщина стала для него тем, кем была Беатриче для Данте и Лаура для Петрарки, – музой, Прекрасной Дамой, неиссякаемым источником поэтического вдохновения. Любовь к Фьямметте сказалась почти на всем, что вышло из-под пера Боккаччо: "Тезеида" и "Филострато" посвящены ей, "Филикопо" написан по ее желанию, ее имя прославлено в "Амето", "Фьезоланских нимфах" и "Декамероне"; с ней же связано и большинство его лирических стихотворений. Без этой любви Боккаччо не был бы тем, кем он стал.

Впервые он увидел ее в церкви Св. Лаврентия в Страстную субботу 12 апреля 1338 года. Через несколько дней их пути случайно пересеклись вновь, на этот раз в церкви одного из монастырей. Они познакомились и разговорились. Беседа зашла о распространенной в то время легенде о любви Флорьо и Бьянкофьоре; Фьямметта предложила Джованни написать историю этой любви. Боккаччо охотно согласился исполнить ее желание. Такова история создания романа "Филикопо". Вскоре Боккаччо познакомился с мужем Фьямметты и стал часто бывать у них дома.

В действительности даму, которую Боккаччо обессмертил под именем Фьямметты ("огонек"), звали Мария. Она родилась в семье высокопоставленного сановника графа Аквино, но считалась побочной дочерью короля Роберта. Еще девочкой ее отдали послушницей в монастырь, однако ее красота, привлекавшая всеобщее внимание, воспламенила сердце одного молодого и богатого дворянина (его имя история не сохранила). Он стал добиваться руки Марии и наконец, при содействии короля Роберта, женился на ней. К моменту ее встречи с Боккаччо их семейному счастью уже исполнилось несколько лет.

Джованни Боккаччо было тогда двадцать пять лет, а Марии-Фьямметте – на три года больше. Если верить описаниям Боккаччо, она представляла собой совершенный идеал женской красоты: "золотистые длинные волосы, белые бархатные плечи, краска лилий и роз на лице, губы как темные рубины, глаза яркие, светящиеся как у вольного сокола". Она неплохо разбиралась в древней мифологии и любила литературу.

Сам Боккаччо, по рассказам знавших его, был красивым, рослым, чуть полноватым мужчиной. Веселый, живой, любезный, он умел увлечь окружающих интересным разговором и расположить к себе собеседников. Его любовь к Фьямметте носила вполне земной, чувственный оттенок; в одном из своих произведений он даже намекал на ее преступный характер. Это не мешало Боккаччо жаловаться в сонетах на холодность возлюбленной, которой ее честь дороже любви поэта. Поэтому не исключено, что в действительности Мария-Фьямметта так и не перешла границы дозволенного в своей любви к Боккаччо и позволяла ему приходить к ней домой, сопровождать на прогулках – в общем, поклоняться ей и боготворить ее, но и только. В пользу этого предположения говорит также и то, что

Фьямметта до самой своей смерти в начале 50-х годов продолжала оставаться предметом поклонения поэта – такой след в сердце мужчины могла оставить только неудовлетворенная страсть!

Фьямметта-Мария оказалась единственной настоящей любовью Джованни Боккаччо. Он хранил память о ней и после ее смерти – об этом красноречиво свидетельствует целый ряд его поздних сонетов.

Обучение каноническому праву заняло у Боккаччо еще шесть лет, но и из этой затеи ничего хорошего так и не вышло. На некоторое время родитель оставил его в покое, и Боккаччо жил в Неаполе, предоставленный самому себе. Однако в 1340 году его отец, похоронив жену и нескольких сыновей, призвал Джованни обратно во Флоренцию, надеясь получить от него хоть какую-то помощь в делах. Сменив обожаемую Фьямметту, веселый и просвещенный Неаполь на суровый отчий кров, Боккаччо впал в мрачное и угнетенное состояние духа.

В самой Флоренции поводов для радости оказалось еще меньше, чем прежде. Город переживал далеко не лучшие времена. Финансовый кризис разорил несколько крупнейших банкирских домов, и многие горожане существенно обеднели. Состояние старого Боккаччо тоже пострадало, что совсем не способствовало смягчению его нрава. Политическое положение Флоренции было также не блестящим: разорительная война с Пизой закончилась неудачно, город сотрясали беспорядки, не прекращались враждебные действия различных политических партий.

В этой обстановке Боккаччо оставалось одно спасение – литературное творчество, которым он и занялся с удвоенным рвением. Радостным событием, на время разогнавшим охватившее его мрачное настроение, стал приезд во Флоренцию в 1342 году Никола Аччьяйоли.

В 1345 году старый Боккаччо в очередной раз женился, естественно, на молодой женщине. Присутствие взрослого сына стало в такой ситуации явно излишним, и Джованни получил наконец возможность вернуться в Неаполь.

В городе его мечты за эти годы тоже произошли перемены. После смерти в 1343 году короля Роберта на престол взошла его семнадцатилетняя дочь Иоанна. С нею пришли распущенность, интриги, войны, положившие конец былому процветанию Не-

аполя. Никола Аччьяйоли был по-прежнему в центре событий и даже стал едва ли не правителем королевства вместо бестолковой королевской четы. Боккаччо, наоборот, остепенился, отдалился от двора и вел жизнь ученого и литератора, иногда откликавшегося на злободневные политические события стихотворениями на латинском языке (в отличие от итальянского он считался в то время языком образованных людей и настоящей литературы).

В 1349 году во время свирепствовавшей во Флоренции эпидемии чумы умер отец Боккаччо. Его молодая жена умерла еще раньше, и Боккаччо назначили опекуном его младшего брата Якопо. Ему вновь пришлось покинуть Неаполь, но теперь расставание прошло значительно легче: и Неаполь был не тот, и в родной город он возвращался уже самостоятельным человеком. Даже любовь к Марии-Фьямметте не занимала прежнего места в его жизни: Джованни было тридцать шесть, а почтенной матери семейства около сорока – по тем временам вполне зрелый возраст.

Флоренцию Боккаччо застал наполовину вымершей, и в "Декамероне", над которым он тогда уже начал работать, описания этого бедствия даны в основном со слов очевидцев. Правда, в Неаполе Боккаччо тоже довелось пережить чумную эпидемию, но значительно меньшую по масштабам.

Со времени своего второго возвращения во Флоренцию Боккаччо начал участвовать в политической жизни родного города. И хотя он не мог похвастаться принадлежностью к знатному роду или значительным состоянием, флорентийская синьория неоднократно избирала его своим послом к различным европейским дворам и даже к Папе.

Осенью 1350 года Боккаччо узнал, что по пути в Рим через Флоренцию должен проезжать Петрарка. Он послал навстречу Петрарке приветственное стихотворение на латинском языке, а затем сам вышел встретить прославленного поэта к городским воротам. Эта встреча в сумерках холодного октябрьского дня навсегда сохранилась в памяти их обоих как дорогое и светлое воспоминание. Петрарка пробыл во Флоренции несколько недель, наслаждаясь общением с неожиданно обретенным другом: у них были одинаковые взгляды на искусство, науку и саму жизнь, они оба больше всего на свете ценили свободу и считали, что жизнь философа, не обремененного излишним имуществом и обяза-

тельствами перед обществом, есть наивысшая форма счастья из доступных на земле. Наконец, оба они знали и ценили сочинения друг друга.

Общение с Петраркой оказало глубочайшее влияние на образ мыслей и поведение Боккаччо, который под его воздействием даже изменил отношение к религии и церкви – прежде он был к ним совершенно равнодушен. До конца жизни Боккаччо с величайшей почтительностью называл Петрарку и отцом, и учителем, и господином. Они постоянно писали друг другу. В их посланиях обмен мыслями между двумя учеными и поэтами перемежался дружеской беседой о сугубо домашних проблемах. Одно из таких писем Боккаччо является образцом дипломатической диалектики: щадя весьма чувствительное самолюбие своего именитого друга, он высказал ему свое огорчение по поводу решения свободолюбивого Петрарки, презиравшего тиранов, поступить на службу к миланскому тирану Джованни Висконти.

В 1353 году свет увидел самый известный роман Боккаччо – "Декамерон" (от *греч.* "десятидневник"). Это произведение сразу разошлось по Италии в бесчисленном количестве копий и принесло автору широчайшую известность. Все ученые и ценители литературы в один голос объявили, что в этом гениальном произведении собраны все сокровища итальянского языка, доведенного до совершенства чистоты и изящества. Единственной стороной, восставшей против "Декамерона", стало духовенство, чьи пороки осмеивались в романе самым беспощадным образом. Церковь объявила книгу безнравственной и, как могла, сокращала и искажала текст романа, когда он стал появляться в печатном виде. В то же время власти, как светские, так и церковные, никогда не препятствовали публикации "Декамерона".

Сюжеты многих новелл "Декамерона" далеко не оригинальны и были заимствованы из различных фольклорных и литературных источников. Это нисколько не умаляет заслуг Боккаччо как писателя – в его романе эти рассказы прошли серьезную обработку и превратились в совершенно иное авторское целое. В свою очередь и "Декамерон" стал источником, из которого черпали многие поколения европейских писателей и драматургов, не исключая Шекспира и Мольера. Даже сама форма "Декамерона" – нанизывание одна на другую историй, рассказываемых груп-

пой персонажей, – стала популярной и породила многочисленных последователей. Среди наиболее удачных стоит назвать "Гептамерон" Маргариты Наваррской и "Рукопись, найденную в Сарагоссе" Яна Потоцкого.

Жизнь – вещь невероятно переменчивая и непредсказуемая, и уже в 1355 году Боккаччо написал аллегорическую сатиру "Корбаччо" (злой, отвратительный ворон), имевшую подзаголовок "Лабиринт любви". В ней автор с таким упоением бичует женщин и их слабости, что в этом женоненавистнике просто невозможно угадать недавнего творца "Декамерона". Столь резкий поворот имел несколько причин. Непосредственной послужила недавняя любовная неудача сорокалетнего Боккаччо, когда дама не только отвергла его, но и осмеяла знаменитого ухажера в обществе его более удачливого соперника.

Более глубоким и серьезным основанием для такой перемены стал переворот в сознании Боккаччо. Отчасти он был подготовлен влиянием Петрарки, который в зрелом возрасте стал яростным противником женщин и даже о своей любви к Лауре вспоминал лишь в связи с тем, что она вдохновила его на поэтические шедевры, которые принесли ему славу и популярность. Не стоит забывать, что в те времена отношение к женщине было далеким от современного. Во всех отношениях она считалась существом низшего разряда, нечистым сосудом наслаждений, равноправное, а особенно интеллектуальное общение с которым унижает мужчину. Безбрачие даже признавалось более угодным Богу состоянием, чем брак – греховная, в сущности, уступка человеческой слабости. Даже всем известный рыцарственный культ женщины и ее воспевание средневековыми миннезингерами были не более чем поэтической условностью: когда дело не касалось турниров, придворных церемоний и серенад под окнами, женщина оставалась рабой и собственностью супруга, брата или отца. Смутное чувство вины за свое посягательство на нормы общественной морали явно тяготило обоих поэтов.

И Петрарка, и Боккаччо к тому времени уже вышли из возраста, когда погоня за суетными наслаждениями способна отодвинуть на второй план благочестивые размышления о сущности бытия. Закоренелые холостяки, они посвятили жизнь литературным и научным трудам и привыкли с удовлетворением сознавать, что

стоят выше повседневных дрязг и домашних интересов. Естественно, с приходом в дом женщины все могло бы радикально измениться и возвышенная философская свобода вполне предсказуемо уступила бы место хозяйственным заботам и воспитанию подрастающего поколения. Неприязнь к подобному образу жизни не могла не сказаться на эволюции взглядов двух мыслителей.

В 1361 году наметившийся отход Боккаччо от прежнего миропонимания получил новый импульс. В мае этого года в Сиене скончался монах-картезианец Пьетро Петрони, славившийся своей святостью и благочестием. За две недели до смерти он впал в состояние экстаза, позволившее ему воочию увидеть и радости рая, и муки ада. Частью откровения стало повеление свыше обратиться с увещанием ко многим выдающимся людям того времени, в том числе и к Боккаччо, и убедить их оставить грешный образ жизни и обратиться на путь истинный. Исполнение этой задачи легло на плечи монаха того же ордена Джоакино Чьяни.

Во Флоренцию Чьяни прибыл уже в июне 1361 года. Кому попало такие деликатные миссии не поручали, и пламенному проповеднику удалось убедить Боккаччо, что его жизнь привлекла внимание высших сил. Боккаччо охватило раскаяние: его начали мучить воспоминания о многочисленных прижитых им незаконных детях, да и многое из написанного ранее теперь представало перед ним в совершенно ином свете.

Сгоряча он решил впредь посвятить себя религии, отказаться от литературной деятельности и даже, во избежание соблазна, сбыть куда-нибудь всю свою библиотеку. Он поделился своим намерением с Петраркой, который отличался не только набожностью, но и способностью сохранять здравый смысл при любых обстоятельствах. Он одобрил стремление Боккаччо вести более благочестивый образ жизни, но не увидел никакого смысла в отказе от поэзии – и то и другое можно было отлично совмещать.

Несколько успокоившись, Боккаччо отказался от мысли окончательно порвать со своим прошлым. Правда, с этих пор его занятия приняли преимущественно научный характер, а к поэзии он обращался лишь изредка, ради вполне невинных стихов поучительного характера. Он часто высказывал сожаление о том, что написал в свое время многие сочинения, в особенности "Декамерон", и при каждом удобном случае предостерегал от чтения их. Такая

резкая перемена способствовала появлению легенды о том, что на склоне лет Боккаччо сам стал монахом или даже священником.

Вскоре после визита Чьяни Боккаччо пригласил погостить в Неаполе его старый приятель Никола Аччьяйоли. Боккаччо охотно согласился развеяться и заодно переменить обстановку. Однако он позволил себе оставить без внимания просьбу могущественного царедворца, сопровождавшую приглашение: написать хвалебную биографию Аччьяйоли. Последствия не замедлили сказаться: Боккаччо и его младший брат Якопо были приняты с подчеркнутой холодностью, а невнимание, проявленное к их бытовым нуждам, граничило с полным пренебрежением. Фактически Аччьяйоли предоставил их произволу своей прислуги.

В результате большую часть из нескольких месяцев пребывания в Неаполе Боккаччо и его брат прожили в наемных апартаментах, самостоятельно заботясь о своем пропитании. Аччьяйоли о своих гостях даже не вспоминал. Правда, после отъезда рассерженного литератора он послал ему вдогонку письмо с целью как-то сгладить ссору. Однако сделал он это крайне неумело, и Боккаччо в ответном послании уже от души высказал все, что думает по поводу заносчивости, личных качеств и административных способностей Аччьяйоли. Ответ был настолько непримирим, что с этих пор дороги бывших приятелей разошлись навсегда.

После Неаполя Боккаччо не стал сразу возвращаться во Флоренцию, которая продолжала страдать от чумы и бесконечной войны с Пизой, породившей массу проблем. Он поездил по стране и, в частности, гостил в 1363 году у Петрарки, осевшего на некоторое время в Венеции. Последующие два года он провел в Чертальдо, занимаясь научными и религиозными изысканиями. Боккаччо было уже за пятьдесят, и он заметно сдал – мысли о греховно прожитой молодости и спасении души не покидали его.

Во второй половине 60-х годов Боккаччо неоднократно ездил с дипломатическими поручениями от флорентийской синьории к Папе, сначала в Авиньон, а затем, после возвращения папской резиденции в вечный город, в Рим. Он был тепло принят при папском дворе, в особенности еще остававшимися там друзьями Петрарки. Сам Папа также отзывался с похвалой о Боккаччо и даже назвал его в своем послании флорентийцам от 1 декабря 1367 года “своим любезным сыном”.

В этом же году греком Леонтием Пилатом был закончен перевод поэм Гомера, который он осуществлял на протяжении многих лет под руководством и на деньги Боккаччо и Петрарки. Терпеть все годы общество Леонтия приходилось в основном Боккаччо, а это было нелегким делом, поскольку грек был не только на редкость уродлив, но и обладал неуживчивым и капризным характером. Леонтий Пилат учил творца "Декамерона" греческому языку и делился с ним своими богатейшими познаниями в области греческой мифологии и истории.

1371 год застал Боккаччо опять в Неаполе. Во время своих частых путешествий он посещал ученых, монастыри, библиотеки и всюду не упускал случая пополнить свою коллекцию книг. Среди них было немало редких и драгоценных рукописей. Это было недешевым удовольствием, поскольку печатных книг тогда еще не существовало, а найти хорошего переписчика было не так-то легко. К счастью для Боккаччо, он сам был обладателем прекрасного каллиграфического почерка. Многие из списков для своего собрания он сделал собственноручно, а затем украсил их пестрыми и рельефными рисунками, иногда пользуясь для этого даже сусальным золотом. Например, письма Петрарки к нему Боккаччо переписывал по порядку в особую тетрадь, находя в них много ценного философского и научного материала.

Такая дорогостоящая для XIV века слабость, как любовь к книгам и ученым занятиям, основательно опустошала бюджет Боккаччо, и он постоянно жаловался на нехватку денег. Иногда его выручали друзья и поклонники его таланта. Так, в конце 60-х годов Франческо да Броссано, муж дочери Петрарки, узнав о финансовых неурядицах Боккаччо, сделал ему щедрый денежный подарок. Передавая деньги, Франческо страшно смутился и, покраснев, что-то путано проговорил, а вручив деньги, торопливо вышел из комнаты.

Как всякий страстный книголюб, Боккаччо не мог без сердечной боли смотреть, до какого состоянии порой доводили драгоценные манускрипты его невежественные современники! Однажды в Апулии он заглянул в монастырь Монте-Казино, славившийся своей библиотекой. В ответ на любезную просьбу отпереть дверь в хранилище, встреченный им монах буркнул: "Она отперта, полезай вон туда" – и указал на высокую лестницу. Глазам Боккаччо

предстало помещение без запоров, окна которого поросли травой и мхом. Книги и полки были покрыты толстым слоем пыли. В библиотеке действительно обнаружилось немало редких рукописей, с которыми обращались просто варварски: отрезали переплеты, вырывали страницы. Оказывается, некоторые монахи в погоне за несколькими сольдо соскабливали с пергаментных книжных листов старые тексты и записывали какие-нибудь молитвы, чтобы продать их малоимущей публике; из переплетов делали амулеты для женщин. Церковь, кстати, иногда перелицовывала таким образом целые книги, такие рукописи назывались палимпсесты. Разоренную библиотеку Боккаччо покидал со слезами на глазах.

После возвращения из Неаполя в 1372 году Боккаччо тяжело заболел. Замученный терзавшей его лихорадкой, он решил впервые в жизни обратиться к врачу – до этого случая он никогда не вмешивался в борьбу организма с досаждавшими ему хворями. Деревенский знахарь нашел у него на теле огненное пятно в области печени и заявил, что из тела необходимо срочно удалить вредные соки, иначе больной умрет через четыре дня. Боккаччо, скрепя сердце, согласился и был подвергнут настоящей пытке в виде многочисленных кровопусканий и прижиганий язв раскаленным железом. Неизвестно, от чего лечил его местный эскулап, но шоковая терапия подействовала: впервые за много дней Боккаччо спокойно проспал ночь, а затем стал потихоньку поправляться.

Многие знатные и богатые земляки, зная о его недомоганиях и финансовых трудностях, приглашали Боккаччо пожить у себя, желая обеспечить ему спокойную и беззаботную старость. Он неизменно отклонял все заманчивые предложения, предпочитая коротать время в Чертальдо, рядом со своей собранной долгими трудами библиотекой, перевозить которую куда-либо он просто боялся.

Не забыли его и флорентийцы. В 1373 году они приняли решение устроить публичные чтения "для объяснения поучительной книги, известной под вульгарным названием "Данте" (речь шла о "Божественной комедии" флорентийца Данте Алигьери, в свое время изгнанного из родного города). Никто не мог справиться с этой задачей лучше Боккаччо, известного своей начитанностью и к тому же автора книги "Жизнь Данте".

Чтения проходили в соборе Св. Стефана. Сколько всего лекций было прочитано, в точности не известно: Боккаччо неодно-

кратно переносил свои выступления из-за не оставлявшей его болезни. Всего в его тетради было впоследствии обнаружено 60 тщательно обработанных текстов выступлений.

В октябре 1374 года он получил известие о смерти Петрарки. К тому времени мысль о близости собственного ухода прочно поселилась в сознании Боккаччо; он не сомневался, что друг лишь ненадолго опередил его. Так и случилось – 21 декабря 1375 года Джованни Боккаччо умер в Чертальдо. Согласно завещанию, его похоронили там же, в церкви Св. Якова.

Могилу Боккаччо покрыли мраморной плитой с изображением поясного портрета писателя, а также герба его рода. На стене над плитой было вырезано четверостишие на латинском языке: эпитафия, сочиненная самим Боккаччо. В 1503 году подеста Чертальдо (мэр и городской судья в одном лице) Латтанцо Тедальди установил в этом же храме бюст Боккаччо, на котором тот был изображен прижимающим обеими руками к груди книгу с надписью "Декамерон".

И в этом, последнем, приюте покой не стал уделом Боккаччо. В 1783 году вышел новый закон о погребении в церквях, и прах писателя, покоившийся с миром в течение четырехсот с лишним лет, был безжалостно потревожен. Потом, как всегда, выяснилось, что кто-то чего-то не так понял, но сделанного не воротишь: могильную плиту сломали, прах был извлечен из могилы вместе с металлическим цилиндром, в котором нашли несколько свитков рукописей на пергаменте. Обломки плиты, как не имевшие ценности, выбросили, манускрипты и кости тоже где-то затерялись. Впрочем, есть основания думать, что им "приделал ноги" местный священник Франческе Контри. По крайней мере, в 1825 году его старуха-экономка во время официального расследования сообщила, что Контри хранил у себя череп Боккаччо и показывал его своим друзьям.

После Боккаччо не осталось потомства. Все его незаконнорожденные дети, о которых практически ничего не известно, умерли раньше него. Особой его привязанностью, как видно из письма к Петрарке, пользовалась дочь Виоланта, которая умерла шести лет от роду.

Свою драгоценную библиотеку Боккаччо завещал монаху-августинцу, профессору богословия Мартино да Синья с условием,

что тот будет молиться о спасении его души. Согласно другому условию завещания после смерти да Синья библиотека была передана в монастырь Св. Духа. Там она хранилась в особом шкафу, и все монахи имели право пользоваться ею без каких-либо ограничений. К сожалению, в 1471 году монастырь Св. Духа полностью сгорел, и теперь уже невозможно установить не только, какие книги собрал Боккаччо, но даже их общее количество.

С тех пор, когда жил и творил Джованни Боккаччо, прошло уже больше шестисот лет. Но даже время и деятельные руки потомков не властны над главными результатами его трудов. Боккаччо можно по праву считать одним из основателей современной художественной прозы самых разнообразных жанров. "Фьямметта" стал прототипом психологического романа, "Декамерон" послужил образцом для многих поколений новеллистов. Парадоксально, но сам Боккаччо литературное совершенство видел исключительно в аллегорических произведениях, написанных на латинском языке, которые сейчас невозможно понять без обширного историко-мифологического комментария. К счастью, вопреки теоретическим взглядам, талант Боккаччо развился в ином направлении, и его произведения наполнили не условные образы, а яркие, самобытные, грешные и страстные портреты современников.

После него так стали писать многие, и они достигли куда больших успехов. Но Джованни Боккаччо был в числе тех, кто выбрал эту дорогу. Один из мудрых проводников на бесконечном пути человечества к самому себе...

Вадим Татаринов

Начинается книга,
называемая
ДЕКАМЕРОН,
прозываемая
ПРИНЦ ГАЛЕОТТО,
в коей содержится
сто повестей,
рассказанных
на протяжении
десяти дней
семью дамами
и тремя молодыми людьми

Соболезновать страждущим – черта истинно человеческая, и хотя это должно быть свойственно каждому из нас, однако ж в первую очередь мы вправе требовать участия от тех, кто сам его чаял и в ком-либо его находил. Я как раз принадлежу к числу людей, испытывающих в нем потребность, к числу людей, кому оно дорого, кого оно радует. С юных лет и до последнего времени я пылал необычайною, возвышеннейшею и благородною любовью, на первый взгляд, пожалуй, не соответствовавшей низкой моей доле, и, хотя умные люди, которым это было известно, хвалили меня и весьма одобряли, со всем тем мне довелось претерпеть лютейшую муку, и не из-за жестокости возлюбленной, а из-за моей же горячности, чрезмерность коей порождалась неутоленною страстью, которая своею безнадежностью причиняла мне боль нестерпимую. И вот, когда я так горевал, веселые речи и утешения друга принесли мне столь великую пользу, что, по крайнему моему разумению, я только благодаря этому и не умер. Однако по воле того, кто, будучи сам бесконечен, установил незыблемый закон, согласно которому все существующее на свете долженствует иметь конец, пламенная любовь моя, которую не в силах были угасить или хотя бы утешить ни мое стремление побороть ее,

ни дружеские увещания, ни боязнь позора, ни грозившая мне опасность, с течением времени сама собой сошла на нет, и теперь в душе моей осталось от нее лишь то блаженное чувство, какое она обыкновенно вызывает у людей, особенно далеко не заплывающих в бездны ее вод, и насколько мучительной была она для меня прежде, настолько же ныне, когда боль прошла, воспоминания о ней мне отрадны.

Но хотя кручина моя унялась, участие, которое приняли во мне те, кто из доброго ко мне расположения болел за меня душой, не изгладилось из моей памяти, и я твердо уверен, что перестану об этом помнить, только когда умру. А так как, по моему разумению, благодарность есть самая похвальная изо всех добродетелей, неблагодарность же заслуживает самого сурового порицания, то я, дабы никто не мог обвинить меня в неблагодарности, порешил, раз я теперь свободен, возвратить долг и по мере возможности развлечь если не тех, кто меня поддерживал, – они-то, может статься, в силу своего благоразумия или по воле судьбы как раз в том и не нуждаются, – то, по крайности, тех, кто испытывает в том потребность. И хотя моя поддержка и мое утешение будут, наверное, слабы, все же мне думается, что поддерживать и утешать надлежит главным образом тех, кто особливую в том имеет нужду: пользы им это принесет больше, чем кому бы то ни было, они же это больше, чем кто-либо другой, оценят.

А кто станет отрицать, что подобного рода утешение, сколько бы ни было оно слабо, требуется не так мужчинам, как милым женщинам? Женщины от стыда и страха затаивают любовный пламень в нежной груди своей, а кто через это прошел и на себе испытал, те могут подтвердить, что огонь внутренний сильнее наружного.

К тому же, скованные хотеньем, причудами, веленьями отцов, матерей, братьев, мужей, они почти все время проводят в четырех стенах, томятся от безделья, а в голову им лезут разные мысли, далеко не всегда отрадные. И если от этих мыслей, вызванных томлением духа, им иногда взгрустнется, то грусть эта, на великое их несчастье, не покидает их потом до тех пор, пока что-нибудь ее не рассеет. Что же касается влюбленных мужчин, то они не столь хрупки: с ними этого, как известно, не бывает. Они располагают всевозможными средствами, чтобы развеять грусть и отогнать мрачные мысли: захотят – прогуляются, поглядят, послушают, захотят – зачнут птицу бить, зверя травить, рыбу ловить, на коне гарцевать, в карты играть, торговать. В каждое из этих занятий мужчина волен вложить всю свою душу или, по крайности, часть ее и, хотя бы на некоторое время, от печальных мыслей избавиться, и тогда он успокаивается, а если и горюет, то уже не столь сильно.

Так вот, с целью хотя бы частично загладить несправедливость судьбы, слабо поддерживающей как раз наименее крепких, что мы видим на примере нежного пола, я хочу приободрить и развлечь любящих женщин, – прочие довольствуются иглой, веретеном или же мотовилом, – и для того предложить их вниманию сто повестей, или, если хотите, побасенок, притч, историй, которые, как вы увидите, на протяжении десяти дней рассказывались в почтенном обществе семи дам и трех молодых людей во время последнего чумного поветрия, а также несколько песенок, которые пели дамы для собственного удовольствия. В этих повестях встретятся как занятные, так равно и плачевные любовные похождения и другого рода злоключения, имевшие место и в древности, и в на-

ше время. Читательницы получат удовольствие, – столь забавны приключения, о коих здесь идет речь, и в то же время извлекут для себя полезный урок: они узнают, чего им надлежит избегать, а к чему стремиться. И я надеюсь, что на душе у них станет легче. Если же так оно, бог даст, и случится, то пусть они возблагодарят Амура, который, избавив меня от своих цепей, тем самым дал мне возможность порадовать их.

Начинается
первый день
ДЕКАМЕРОНА,
в продолжение коего,
после того как автор сообщит,
по какому поводу собрались
и о чем говорили
между собою лица,
которые
будут действовать дальше,
собравшиеся
в день правления
ПАМПИНЕИ
толкуют о том,
что каждому
больше
по душе

Обворожительнейшие дамы! Зная ваше врожденное мягкосердечие, я убежден, что предисловие к моему труду покажется вам тяжелым и печальным, ибо таково воспоминание, с которого оно начинается, — воспоминание о последнем чумном поветрии, бедственном и прискорбном для всех, кто его наблюдал и кого оно так или иначе коснулось. Не подумайте, однако ж, что вся книга состоит из рыданий и стонов, — я вовсе не намерен отбивать у вас охоту читать дальше. Страшное начало — это для вас все равно, что для путников высокая, крутая гора, за которой открывается роскошная, приветная долина, тем больше отрады являющая взорам путников, чем тяжелее достались им восхожденье и спуск. Подобно как бурная радость сменяется горем, так же точно вслед за испытаньями приходит веселье. Минет краткая эта невзгода (краткая потому, что я описываю ее в немногих словах), и настанет блаженная пора утех, — я вам их предрекаю, а то после такого вступления вряд ли можно было бы их ожидать. Откровенно говоря, если б у меня была возможность более удобным путем, а не по крутой тропинке, привести вас к желанной цели, я бы охотно это сделал, но если не начать с воспоминания, то будет непонятно, как произошло то, о чем вам предстоит прочесть, — словом, мне без него не обойтись.

Итак, со времен спасительного вочеловеченья сына божия прошло уже тысяча триста сорок восемь лет, когда славную Флоренцию, лучший город во всей Италии, посе-

тила губительная чума; возникла же она, быть может, под влиянием небесных тел, а быть может, ее наслал на нас за грехи правый гнев божий, дабы мы их искупили, но только за несколько лет до этого она появилась на Востоке и унесла бессчетное число жизней, а затем, беспрестанно двигаясь с места на место и разросшись до размеров умопомрачительных, добралась наконец и до Запада. Ничего не могли с ней поделать догадливость и предусмотрительность человеческая, очистившая город от скопившихся нечистот руками людей, для этой цели употребленных, воспрещавшая въезд больным, распространившая советы медиков, как уберечься от заразы; ничего не могли с ней поделать и частые усердные моления богобоязненных жителей, принимавших участие как в процессиях, так равно и в других видах молебствий, — приблизительно в начале весны вышеуказанного года страшная болезнь начала оказывать пагубное свое действие и изумлять необыкновенными своими проявлениями. Если на Востоке непреложным знаком скорой смерти было кровотечение из носу, то здесь начало заболевания ознаменовывалось и у мужчин и у женщин опухолями под мышками и в паху, разраставшимися до размеров яблока средней величины или же яйца, — у кого как, — народ называл их бубонами. В самом непродолжительном времени злокачественные бубоны появлялись и возникали у больных и в других местах. Потом у многих обнаружился новый признак вышеуказанной болезни: у этих на руках, на бедрах, а равно и на остальных частях тела проступали черные или же синие пятна — у иных большие и кое-где, у иных маленькие, но зато сплошь. У тех вначале, да и впоследствии, вернейшим признаком скорого конца являлись бубоны, а у этих — пятна. От этой болезни не помогали и не излечивали ни врачи, ни снадобья. То ли сама эта болезнь неизлечима, то ли виной тому невежество врачевавших (тут были и сведущие лекари, однако ж преобладали многочисленные невежды как мужеского, так равно и женского пола), но только никому не удалось постигнуть причину заболевания и, следственно, сыскать от нее сред-

ство, вот почему выздоравливали немногие, большинство умирало на третий день после появления вышеуказанных признаков, – разница была в часах, – при этом болезнь не сопровождалась ни лихорадкой, ни какими-либо другими дополнительными недомоганиями.

Чума распространялась тем быстрее, что больные, общаясь со здоровыми, их заражали, – так пламя охватывает находящиеся поблизости сухие или жирные предметы. Весь ужас был в том, что здоровые заболевали и гибли не только после беседы и общения с больными, – заражались этою болезнью однажды дотронувшиеся до одежды или же еще до какой-либо вещи, до которой дотрагивался и которой пользовался больной. То, что я сейчас скажу, может сойти за небылицу, и когда бы этому не было множества свидетелей и когда бы я сам этого не наблюдал, ни за что бы я этому не поверил, даже если б узнал из достоверного источника, и, уж конечно, не стал бы о том писать. Так вот, заразительность чумы была столь сильна, что передавалась зараза не только от человека к человеку, – наблюдались еще более поразительные случаи: если к вещи, принадлежавшей больному чумой или же умершему от чумы, прикасалось живое существо не из рода человеческого, то оно не только заражалось, но и в самом недолгом времени гибло. В этом я, повторяю, уверился воочию, – между прочим, на таком примере: однажды кто-то выбросил на улицу рубище бедняка, скончавшегося от этой болезни, а две свиньи, по своему обыкновению, давай его наподдавать пятачком и рвать зубами, немного же спустя, точно наевшись отравы, они стали корчиться, а в конце концов повалились на злополучное тряпье и издохли.

Таковые, им подобные и еще более ужасные случаи порождали всевозможные страхи и бредовые видения у тех, которые, уцелев, в большинстве своем стремились к единственной и бесчеловечной цели: держаться подальше от заболевших, избегать общения с ними и не притрагиваться к их вещам, – они надеялись при этом условии не заболеть. Иные стояли на том, что жизнь умеренная и воз-

держанная предохраняет человека от заразы. Объединившись с единомышленниками своими, они жили обособленно от прочих, укрывались и запирались в таких домах, где не было больных и где им больше нравилось, в умеренном количестве потребляли изысканную пищу и наилучшие вина, не допускали излишеств, предпочитали не вступать в разговоры с людьми не их круга, боясь, как бы до них не дошли вести о смертях и болезнях, слушали музыку и, сколько могли, развлекались. Другие, придерживавшиеся мнения противоположного, напротив того, утверждали, что вином упиваться, наслаждаться, петь, гулять, веселиться, по возможности исполнять свои прихоти, что бы ни случилось – все встречать смешком да шуточкой, – вот, мол, самое верное средство от недуга. И они заботились о том, чтобы слово у них не расходилось с делом: днем и ночью шатались по тавернам, пили без конца и без счета, чаще всего в чужих домах – в тех, где, как им становилось известно, их ожидало что-нибудь такое, что было им по вкусу и по нраву. Вести подобный образ жизни было им тем легче, что они махнули рукой и на самих себя, и на свое достояние – все равно, мол, скоро умрем, – вот почему почти все дома в городе сделались общими: человек, войдя в чужой дом, распоряжался там, как в своем собственном. Со всем тем эти по-скотски жившие люди любыми способами избегали больных. Весь город пребывал в глубоком унынии и отчаянии, ореол, озарявший законы божеские и человеческие, померк, оттого что служители и исполнители таковых разделили общую участь: либо померли, либо хворали, подчиненные же их – те, что остались в живых, – не обладали надлежащими полномочиями, и оттого всякий что хотел, то и делал. Многие придерживались середины: не ограничивая себя в пище, подобно первым, не пьянствуя и не позволяя себе прочих излишеств, подобно вторым, они во всем знали меру, через силу не ели и не пили, не запирались, а гуляли с цветами, с душистыми травами или же с какими-либо ароматными веществами в руках и, дабы освежить голову, часто нюхали их, так как воздух был заражен

и пропитан запахом, исходившим от трупов, от больных и от снадобий. У иных был более суровый, но зато, пожалуй, более верный взгляд на вещи: эти утверждали, что нет более действенного средства уберечься от заразы, как спастись от нее бегством. В сих мыслях, думая только о себе, многие мужчины и женщины бросили родной город, дома и жилища, родных и все имущество свое и устремились кто в окрестности Флоренции, кто в окрестности других городов, как будто гнев божий не покарал бы грешников, куда бы они ни попрятались, но обрушился бы лишь на тех, кто остался в стенах города; а быть может, они полагали, что городу пробил последний час и все его жители, как один человек, перемрут.

Из этих людей, придерживавшихся самых различных мнений, не все погибали, но и не все выживали, — напротив того: жители умирали всюду и во множестве, вне зависимости от направления их ума, и пока они были здоровы, они подавали пример бодрости другим здоровым, а как скоро заболевали, то, почти всеми покинутые, падали духом. Нечего и говорить, что горожане избегали друг друга, соседи не помогали друг другу, родственники редко, а иные и совсем не ходили друг к другу, если же виделись, то издали. Бедствие вселило в сердца мужчин и женщин столь великий страх, что брат покидал брата, дядя племянника, сестра брата, а бывали случаи, что и жена мужа, и, что может показаться совсем уже невероятным, родители избегали навещать детей своих и ходить за ними, как если б то не были родные их дети. Вследствие этого заболевавшие мужчины и женщины, — а таких было неисчислимое множество, — могли рассчитывать лишь на милосердие истинных друзей, каковых было наперечет, либо на корыстолюбие слуг, коих привлекало непомерно большое жалованье, да и тех становилось все меньше и меньше, и то были мужчины и женщины грубые по натуре, не привыкшие ухаживать за больными, годные только на то, чтобы подать что-нибудь больному да не пропустить той минуты, когда он кончится, и нередко на таковой службе вместе с заработком теряв-

шие жизнь. Итак, больных бросали соседи, родственники, друзья, слуг не хватало, – вот чем объясняется никогда прежде не наблюдавшееся явление: прекрасные, обворожительные, благородные дамы, заболев, не стеснялись прибегать к услугам мужчин, хотя бы и молодых, и не стыдились, если того требовало лечение, заголять при них, как при женщинах, любую часть тела, каковое обстоятельство, может статься, явилось причиной тому, что, выздоровев, они были уже менее целомудренны. Должно заметить, что многие, быть может, и выжили бы, если б им была оказана помощь. Вследствие всего этого, а также из-за плохого ухода и в силу заразительности болезни, число умиравших и днем и ночью было столь велико, что страшно было даже слышать об этом, а не то что смотреть на мертвых. Сама жизнь коренным образом изменила нравы горожан.

Прежде у нас был такой обычай (теперь он возродился): в доме покойника собирались родственницы и соседки и плакали вместе с его близкими, у дома покойника собирались родственники, соседи, другие горожане, а если он был знатного роду, то и духовные лица, равно как и сверстники усопшего, и торжественно, со свечами и с пением, выносили его тело в ту церковь, где он завещал отпевать его. Когда же начала свирепствовать чума, обычай этот почти исчез, зато появился новый. Теперь люди умирали не только без плакальщиц, но часто и без свидетелей, и лишь у гроба весьма немногочисленных горожан сходилась родня, и тогда слышались скорбные пения и проливались горючие слезы, – теперь принято было смеяться, шутить, веселиться, каковой обычай имел особенный успех у женщин, которые, опасаясь за свое здоровье, подавляли в себе присущую им сердобольность. Мало было таких, которых провожали в церковь человек десять – двенадцать соседей, да и те были не именитые, почтенные граждане – несли тело простолюдины, которые за это получали вознаграждение и сами себя называли похоронщиками: они внезапно вырастали у гроба, затем, подняв его, скорым шагом направлялись в церковь, – при этом чаще всего не в ту, где умерший еще

при жизни завещал отпевать его, а в ближайшую, – и несли они покойника при небольшом количестве свечей, иногда и вовсе без всяких свечей, а впереди шли духовные лица – человек пять-шесть, – и в храме эти последние не утруждали себя долгим и особо торжественным отпеванием, а потом с помощью похоронщиков опускали тело в первую попавшуюся еще никем не занятую гробницу. Мелкота и большинство людей со средним достатком являли собой еще более прискорбное зрелище: надежда на выздоровление или же бедность удерживали их у себя дома, среди соседей, и заболевали они ежедневно тысячами, а так как никто за ними не ухаживал и никто им не помогал, то почти все они умирали. Иные кончались прямо на улице, кто – днем, кто – ночью, большинство же хотя и умирало дома, однако соседи узнавали об их кончине только по запаху, который исходил от их разлагавшихся трупов. Весь город полон был мертвецов. Соседи, побуждаемые страхом заразиться от трупов, а равно и сочувствием к умершим, поступали по большей части одинаково: либо сами, либо руками носильщиков, если только их можно было достать, выносили мертвые тела из домов и клали у порога, где их, выставленных во множестве, мог видеть, особливо утром, любой прохожий, затем посылали за носилками, а если таковых не оказывалось, то клали трупы на доски. Бывало, на одних носилках несли два, а то и три тела, и весьма нередко можно было видеть на одних носилках жену и мужа, двух, а то и трех братьев, отца и сына – и так далее. Постоянно наблюдались случаи, когда за спиной двух священников, шедших с распятием впереди покойника, к похоронной процессии приставало еще несколько носилок, так что священники, намеревавшиеся хоронить одного покойника, в конце концов хоронили шесть, восемь, а то и больше. И никто, бывало, не почтит усопших ни слезами, ни свечой, ни проводами – какое там: умерший человек вызывал тогда столько же участия, сколько издохшая коза. Тогда было очевидно для всех, что если обычное течение вещей не научает и мудрецов терпеливо сносить незначительные и

редкие утраты, то в дни великих испытаний даже недалекие люди становятся предусмотрительными и невозмутимыми. Так как для великого множества мертвых тел, которые каждый день и чуть ли не каждый час подносили к церквам, не хватало освященной земли, необходимой для совершения похоронного обряда, – а ведь старый обычай требовал, чтобы для каждого покойника было отведено особое место, – то на переполненных кладбищах при церквах рыли преогромные ямы и туда опускали целыми сотнями трупы, которые только успевали подносить к храмам. Клали их в ряд, словно тюки с товаром в корабельном трюме, потом посыпали землей, потом клали еще один ряд – и так до тех пор, пока яма не заполнялась доверху.

Не вдаваясь более в подробности, относящиеся к постигшему наш город несчастью, я должен заметить, что эта губительная для него пора была нисколько не менее ужасна и для его окрестностей. Не говорю уже о замках, ибо замок есть тот же город, только меньших размеров, но и в раскиданных там и сям усадьбах и в селах крестьяне с семьями, все эти бедняки, голяки, оставленные без лечения и ухода, днем и ночью умирали на дорогах, в поле и дома – умирали так, как умирают не люди, а животные. Вследствие этого у сельчан, как и у горожан, наблюдалось ослабление нравов; они запустили свое хозяйство, запустили все свои дела и, каждый день ожидая смерти, не только не заботились о приумножении доходов, которые они могли получить и от скота и от земли, о пожинании плодов своего собственного труда, но, напротив того, старались все имеющиеся у них тем или иным способом уничтожить. Волы, ослы, овцы, козы, свиньи, куры, даже верные друзья человека – собаки, изгнанные из своих помещений, безвозбранно бродили по заброшенным нивам, на которых хлеб был не только не убран, но даже не сжат. И многие из них, точно это были существа разумные, за день вволю наевшись, насытившись, на ночь, одни, без пастуха, возвращались в свои помещения. Если оставить окрестности и возвратиться к городу, то что может быть красноречивее этих чисел:

то ли небеса были к нам так немилостивы, то ли до некоторой степени повинно в том бессердечие человеческое, как бы то ни было – с марта по июль, отчасти в силу заразительности самой болезни, отчасти потому, что здоровые из боязни заразы не ухаживали за больными и бросали их на произвол судьбы, в стенах города Флоренции умерло, как уверяют, сто с лишним тысяч человек, а между тем до этого мора никто, уже верно, и предполагать не мог, что город насчитывает столько жителей. Сколько у нас опустело пышных дворцов, красивых домов, изящных пристроек, – еще так недавно там было полным-полно слуг, дам и господ, и все они вымерли, все до последнего кучеренка! Сколько знатных родов, богатых наследств, огромных состояний осталось без законных наследников! Сколько сильных мужчин, красивых женщин, прелестных юношей, которых даже Гален, Гиппократ и Эскулап признали бы совершенно здоровыми, утром завтракало с родными, товарищами и друзьями, а вечером ужинало со своими предками на том свете!

Продолжать описывать все эти ужасы слишком тяжело, а потому, опустив все, что почитаю возможным, спешу сообщить, что в то время как город в силу указанных обстоятельств почти опустел; однажды, о чем мне после рассказывал человек, заслуживающий доверия, во вторник утром, в чтимом храме Санта Мария Новелла, где на ту пору почти никого не было, семь молодых женщин в соответствовавших мрачной той године траурных одеждах, связанные между собою дружбой, соседством, родством, в возрасте от восемнадцати до двадцати восьми лет, рассудительные, родовитые, красивые, благонравные, пленительные в своей скромности, прослушав божественную литургию, приблизились друг к дружке. Я мог бы сообщить подлинные их имена, но у меня есть основание от этого воздержаться, а именно: я не хочу, чтобы кому-нибудь из них стало стыдно за предлагаемые повести, которые они или сами рассказывали, или же слушали, ибо теперь насчет увеселений стало строже, нежели в то время, когда по вышеуказанным при-

чинам даже гораздо более зрелого возраста люди пользовались в этом отношении несравненно большей свободой. Еще мне бы не хотелось, чтобы у завистников, всегда готовых очернить человека уважаемого, явился повод хоть как-нибудь затронуть поносными словами доброе имя достойных женщин. А чтобы их нельзя было спутать, я каждой из них дам такое имя, которое всецело или хотя бы отчасти будет соответствовать душевным ее качествам: первую, самую из них старшую, мы назовем Пампинеей, вторую – Фьямметтой, третью – Филоменой, четвертую – Эмилией, Лауреттой – пятую, шестую – Нейфилой, а последнюю – не без основания – Элиссой.

Случайно, а не преднамеренно сойдясь в одном из приделов храма, они сели в кружок, прочли "Отче наш" и, повздыхав, начали беседовать о многоразличных предметах, имевших касательство к злобе дня. Когда же воцарилось молчание, заговорила Пампинея:

– Милые дамы! Мне, как, вероятно, и вам, не раз приходилось слышать, что если человек с благими намерениями пользуется своим правом, то это никому не причиняет вреда. Естественное право каждого появляющегося на свет – защищать, оберегать и ограждать свою жизнь. Бывали даже такие случаи, когда ради того, чтобы обезопасить себя, люди шли на убийство, хотя бы тот, кого они убивали, был пред ними ни в чем не повинен. И раз это не воспрещено законами, споспешествующими благоденствию смертных, то должны же мы, как и все прочие, не в ущерб кому-либо принять все возможные меры предосторожности к спасению своей жизни! Вспомнив, как мы вели себя нынче утром, да и все последнее время, вспомнив, о чем и как мы между собой говорили, я, как, вероятно, и вы, прихожу к заключению, что все мы опасаемся за свою жизнь. Но не это меня удивляет – меня до крайности удивляет, что при нашей-то женской чувствительности мы не оказываем ни малейшего противодействия тому, чего каждая из нас имеет все основания страшиться. Невольно создается впечатление, что мы здесь находимся потому, что нам самим хо-

чется, или же потому, что нам вменили в обязанность быть свидетельницами того, сколько мертвецов предано земле, проверять, совершают ли духовные особы, которых, кстати сказать, почти уже не осталось, в положенные часы богослуженья, и своим одеянием показывать каждому входящему, сколь велика и сколь ужасна постигшая нас беда. А вот что является нашему взору, стоит нам выйти из церкви: взад-вперед ходят люди и перетаскивают мертвых и больных; преступники, по закону приговоренные к изгнанию, бесчинствуют, попирая закон, ибо они отлично знают, что исполнители такового или мертвы, или больны; так называемые похоронщики, эти отбросы общества, наживающиеся на нашем несчастье, всюду разъезжают и расхаживают, одним своим видом терзая нам душу, и в непристойных песнях глумятся над нашим горем. Мы только и слышим: "Такие-то умерли", "Те-то и те-то умирают", — и если бы было кому плакать, мы всюду слышали бы жалобный плач. Наверно, это и с вами бывало: я прихожу домой, вижу, что от моей большой семьи никого не осталось — во всем доме одна-единственная служанка, и чувствую, как у меня от ужаса волосы становятся дыбом. И куда бы я ни пошла и где бы ни остановилась, всюду мне мерещатся призраки умерших, но я уже не узнаю знакомые черты: покойники по непонятной для меня причине приняли новое, ужасное, пугающее обличье. Вот почему мне везде страшно: и здесь, и дома, и где бы то ни было. А ведь, если я не ошибаюсь, только мы во всем городе располагаем средствами, и только нам есть куда удалиться. Мне часто приходилось слышать и даже видеть, как люди, — не знаю, впрочем, живы ли они еще, — утратив представление о том, что благопристойно и что неблагопристойно, сделавшись рабами своих похотей, и одни и на людях, и днем и ночью резвятся в свое удовольствие. И поступают так не только миряне, но и монастырские затворники: эти себя убедили, что им пристало и подобает делать то же, что делают другие; в надежде на то, что благодаря этому смерть их не тронет, они, нарушив обет послушания, стали ублажать свою плоть, стали распут-

никами и развратниками. А когда так, то зачем же мы здесь? Чего дожидаемся? О чем думаем? Почему мы безразличнее и равнодушнее относимся к собственному здоровью, нежели прочие горожане? Считаем ли мы себя хуже других? Или мы полагаем, что жизнь наша прикреплена к телу более прочной цепью, нежели у других, и у нас нет оснований опасаться, что есть такая сила, которая способна порвать ее? Когда так, то мы заблуждаемся, мы сами себя обманываем. Если мы и впрямь склонны так думать, значит, как же мы безрассудны! Вспомним, как много прекрасных юношей и девушек унесла неумолимая чума, – это самое наглядное доказательство нашего безрассудства. Не знаю, как вы отнесетесь к моему предложению, а все же я, для того чтобы наше упрямство или же самонадеянность не завели нас в тупик, предлагаю следующее: по-моему, самое лучшее, что мы можем сделать, – это последовать примеру тех, кто уже так поступил, а равно и тех, кто и сейчас еще так поступает, то есть – оставить город и, страшась пуще смерти дурного общества, благопристойным образом удалиться в загородные именья, – а ведь у каждой из нас таких имений многое множество, – и в тех именьях, ни в чем не переходя границы благоразумия, заполнить свой досуг всякого рода развлечениями – веселостями и удовольствиями. Там поют птички, зеленеют холмы и долы, на нивах волнуется море хлебов, и каких только нет там деревьев, и небо там более открытое, нежели здесь, и хоть оно и гневается на нас, а все же вечной своей красы не скрывает, – все это куда больше ласкает взор, нежели опустевший наш город. Да и воздух там чище, и все, что в такое время особенно необходимо для поддержания сил, мы там найдем в изобилии, а вот огорчений там меньше. Хлебопашцы там тоже мрут, как здесь горожане, однако смерть не производит там такого тяжелого впечатления, как в городе, оттого что домов и жителей там меньше, чем в городе. С другой стороны, здесь, если не ошибаюсь, мы никого не покидаем; если уж на то пошло, так скорее мы можем считать, что мы всеми покинуты, ибо наши близкие или умерли, или бежали

от смерти и бросили нас в беде, словно мы им чужие. Коротко говоря, если мы так поступим, то упрекнуть нас будет не в чем. Если же мы поступим по-иному, то нас ожидают скорбь, горе, а может статься, и смерть. Так вот, коли мое предложение всем вам по нраву, давайте возьмем с собой служанок и все, что может понадобиться в дороге, а за городом давайте проводить время сегодня здесь, завтра там и устраивать празднества и увеселения, какие в наше время устраивать дозволяется, – по-моему, так будет лучше всего. Пробудем же мы там, пока не увидим, – если только мы до этого не умрем, – что нам в конце концов уготовало небо. Примите еще и то в соображение, что похвальнее поступим мы, удаляясь отсюда достойно, нежели те, которые ведут себя здесь недостойно.

Выслушав Пампинею, дамы одобрили ее совет и, вознамерившись последовать ему, начали между собой толковать, как лучше всего применить его к делу, словно по выходе из храма им предстояло незамедлительно отправиться в путь. Однако ж Филомена, женщина в высшей степени благоразумная, молвила:

– Сударыни! Пампинея говорила дело, со всем тем зря вы так спешите. Вспомните, что все мы – женщины, и даже юнейшие из нас прекрасно знают, каково женщине жить своим умом, как необходимы ей советы мужчины. Мы непостоянны, взбалмошны, подозрительны, малодушны, трусливы, и я очень боюсь, как бы без мужского надзора наш кружок не распался, и притом – в самом непродолжительном времени, да еще к немалому урону для нашей чести, так что сперва нужно позаботиться о таковом надзоре, а потом уже приступить к исполнению нашего замысла.

Элисса ей на это сказала:

– Мужчина – владыка для женщины, то правда; без руководительства, осуществляемого мужчинами, начинания наши редко приходят к достохвальному концу, но где мы сыщем таких мужчин? Почти все наши близкие умерли, те же, что остались в живых, разлетаются целыми стаями неизве-

стно куда, и бегут они от того же, от чего стремимся укрыться и мы. Обращаться к чужим неприлично, – значит, нужно искать другой, благопристойный путь к спасению, иначе вместо веселья и отдохновенья уделом нашим пребудут горе и смута.

Меж тем как девушки все еще вели этот разговор, в церковь вошли трое молодых людей, самому младшему из которых было, однако ж, не менее двадцати пяти лет. У всех троих ни бедственная година, ни утрата друзей и родных, ни боязнь за себя не угасили и не охладили любовный пламень. Одного из них звали Панфило, другого – Филострато, третьего – Дионео. Все трое были юноши миловидные и благовоспитанные, и все трое как наивысшего утешения среди превратностей жизни жаждали встречи с дамами их сердца, каковые случайно оказались в числе семи упомянутых, остальные же четыре дамы состояли с юношами в родстве.

Юноши и девушки заметили друг друга одновременно.

– Судьба, как видно, благоприятствует нашему намерению, – улыбаясь, заговорила Пампинея, – коль скоро она посылает нам сих рассудительных и достойных юношей, каковые охотно примут на себя обязанности наших наставников и наших слуг, если только мы решимся эти обязанности им поручить.

При этих словах по лицу Нейфилы, в которую один из юношей был влюблен, разлилась краска стыда.

– Что ты, Пампинея! – воскликнула она. – Ни о ком из них ничего, кроме хорошего, сказать нельзя, это я знаю наверное, они справились бы и с более трудными обязанностями, их общество доставило бы удовольствие и послужило бы к чести более привлекательным и достойным девушкам, нежели мы. Вот только они в некоторых из нас влюблены, и об этом все уже знают, – если мы возьмем их с собой, то как бы это, не по нашей и не по их вине, не бросило на нас тень и не вызвало нареканий?

– Пустое! – молвила Филомена. – Мое дело – жить честно, так, чтобы не в чем было себя упрекнуть, а там пусть го-

ворят что хотят, — господь бог и справедливость за меня вступятся. Если б только молодые люди согласились, мы бы тогда могли сказать вслед за Пампинеей; судьба благоприятствует нашему путешествию.

Слова Филомены подействовали на всех успокоительно, и тут же было решено подозвать молодых людей, сказать о своих намерениях и попросить об одолжении составить им компанию. Пампинея, приходившаяся одному из молодых людей родственницей, нимало не медля встала, направилась к юношам, стоявшим поодаль и смотревшим на девушек, приветливо с ними поздоровалась и, сообщив о своем решении, от имени всех своих подруг обратилась с просьбой — из самых чистых, братских побуждений составить им, если возможно, компанию.

Молодые люди подумали сперва, что она над ними смеется; как же скоро они уверились, что это не шутки, то с радостью изъявили свою готовность и, чтобы не откладывать этого дела, условились, прежде чем разойтись, что нужно взять с собою в дорогу. Приказав начать сборы и послав нарочного туда, где они намерены были расположиться, на рассвете следующего дня, а именно — в среду, девушки в сопровождении нескольких служанок и трое молодых людей с тремя слугами оставили город. Какие-нибудь две мили — и вот они уже в том месте, где их ожидали. В стороне от проезжей дороги глазам их представилась горка, поросшая разнообразною растительностью, увеселявшею взор яркою своею зеленью. На горке стоял дворец с красивым, просторным внутренним двором, с лоджиями, с анфиладой зал и комнат, являвших собой — каждая в своем роде — чудо искусства и украшенных радовавшими глаз дивными картинами, с лужайками и роскошными садами, разбитыми вокруг, с колодцами, откуда брали чистую воду, с погребами, где было полно дорогих вин, что, впрочем, более приличествовало записным кутилам, нежели трезвым и благонравным девицам. Прибывшие обнаружили, к немалому своему удовольствию, что во всех комнатах подметено, в спальнях постелены постели, все убрано цветами, ка-

кими в это время года были обильны сады, полы устланы тростником.

Когда, тотчас по прибытии, девушки и юноши сели по местам, заговорил Дионео, изо всей компании самый веселый и остроумный:

— Тем, что мы здесь, мы обязаны, сударыни, вашему благоразумию, мы же оказались недостаточно сообразительны. Мне неизвестно, каково в настоящее время течение ваших мыслей, я же свои мысли оставил за воротами города, едва вышел из них вместе с вами. А потому либо давайте вместе со мной развлекаться, петь, забавляться, в зависимости от того, что каждой из вас по душе, либо отпустите меня к моим мыслям в несчастный наш город.

На это Пампинея, тоже как бы отогнавшая от себя мрачные мысли, с веселым видом ответила ему так:

— Ты хорошо сказал, Дионео. Давайте жить в свое удовольствие — для чего же мы тогда бежали от скорбей? Однако все выходящее из границ длится недолго, а потому я, которая и завела разговор, приведший к образованию столь приятного общества, — я почитаю необходимым, дабы веселье наше было продолжительным, сойтись на том, чтобы кто-нибудь у нас был за главного, которого мы все уважали бы, слушались как старшего и который думал бы только о том, чтобы нам жилось веселее. Но дабы каждый из нас познал и бремя забот, и радости, сопряженные с главенством, и в то же время дабы никто не питал зависти к тем, кто познал и заботы и радости, я предлагаю возлагать почетное это бремя на каждого из нас по очереди. И первый пусть будет всеми нами избран, а следующих пусть каждый раз перед вечерней назначают по своему благоусмотрению тот или та, кто в этот день был нашим повелителем. И этому вновь назначенному, пока длятся его полномочия, надлежит устанавливать и определять для нас местопребывание и распорядок дня, как ему заблагорассудится.

Это предложение все очень одобрили, и на первый день единогласно была избрана Пампинея, после чего Филомена, от многих слышавшая, сколь почетен лавровый венок

для тех, кто его удостоен, и сколь великую честь приносит он тем, кто увенчан им по заслугам, подбежала к лавру, сорвала несколько веточек, сплела пышный почетный венок, возложила его Пампинее на голову, и с этого дня лавровый венок служил в этом обществе, покуда оно существовало, отличительным знаком главенства и королевской власти.

Став королевою, Пампинея велела всем умолкнуть, послала за тремя слугами юношей и за четырьмя служанками и при всеобщем молчании молвила:

– Желая подать вам пример того, как должно способствовать процветанию нашего общества, дабы оно, крепкое своими устоями и безупречное, жило и здравствовало на радость всем нам, пока мы этого хотим, я прежде всего назначаю слугу Дионео Пармено моим дворецким и вверяю его заботам и попечениям всю нашу прислугу, равно как и все, что касается наших трапез. Слуга Панфило Сириско пусть будет нашим счетчиком и казначеем, помощником Пармено. Тиндаро надлежит состоять при Филострато и других молодых людях: ему вменяется в обязанность прислуживать им в покоях в то время, когда прочие слуги будут заняты другим делом. Моя служанка Мизия и служанка Филомены Личиска должны неотлучно находиться в кухне и со всеусердием готовить кушанья, какие им закажет Пармено. На обязанности служанки Лауретты – Кимеры и служанки Фьямметты – Стратилии будет лежать уборка женских спален и тех комнат, где мы будем собираться. Мы просим, и даже требуем, чтобы каждый, кому дорого наше благоволение, куда бы он ни направился и откуда бы ни возвратился, что бы ни услыхал и ни увидел, поостерегся от сообщения новостей, принесенных извне, за исключением приятных.

Наскоро отдав эти распоряжения, всеми встреченные сочувственно, Пампинея с веселым видом поднялась и сказала:

– Тут у нас и сады, и лужайки, и другие приветные места, – гуляйте сколько хотите, но в девять часов утра, когда еще прохладно, все должны явиться к завтраку.

Как скоро новая королева отпустила веселое общество, юноши и прелестные дамы вышли в сад, и, гуляя, они заговорили о разных приятных вещах, стали плести венки и нежными голосами запели. Так они провели время до установленного королевою часа, а придя домой, увидели, что Пармено рьяно взялся за дело: внизу, в столовой, столы были накрыты белоснежными скатертями, бокалы отливали серебром, всюду благоухал дрок. После того как по распоряжению королевы подали воду для омовения рук, все расселись по местам, которые указал Пармено. Мигом внесли тонкие кушанья и изысканные вина, трое слуг молча прислуживали за столом. Наблюдавшийся за завтраком образцовый порядок привел общество в отменное расположение духа, все мило пошучивали, и завтрак прошел оживленно. Девушки и юноши умели танцевать, некоторые – играть и петь, а потому, как скоро убрали со столов, королева велела принести музыкальные инструменты. Затем, по ее распоряжению, Дионео – на лютне, а Фьямметта – на виоле заиграли медленный танец. Королева отослала прислугу поесть, а затем она, другие дамы и два молодых человека стали в круг, и начался плавный круговой танец. После этого все стали петь прелестные веселые песенки. Наконец королева решила, что пора соснуть. Когда она всех отпустила, трое молодых людей удалились на свою половину, – в покоях, где их ожидали отлично постеленные постели, было так же много цветов, как и в зале. Ушли на свою половину и дамы; разделись и легли отдохнуть.

Едва пробило три часа, как королева, уверяя, что днем долго спать вредно, сама поднялась и подняла других дам, а затем молодых людей. Все пошли на лесную лужайку, где росла высокая зеленая трава и куда не проникал ни единый луч солнца. Ощутив легкое дуновение ветерка, королева велела всем сесть в кружок прямо на мураву.

– Как видите, – заговорила она, – солнце еще высоко, жара палящая, слышен лишь треск цикад на ветвях олив. Идти куда-нибудь еще неразумно, а здесь, в холодке, хоро-

шо, у нас есть шахматы, шашки, каждый может заняться тем, что ему больше по сердцу. Однако, если вы желаете знать мое мнение, я бы предложила посвятить самые жаркие часы не игре, потому что от нее неминуемо портится расположение духа у одних участников, а другим, равно как и зрителям, она тоже особого удовольствия не доставляет, – не игре, но рассказам, ибо один рассказчик способен занять всех слушателей. Каждый из вас что-нибудь расскажет, а там уже солнце начнет склоняться к западу, станет не так жарко, и мы сможем отправиться куда угодно. Если вам мое предложение по душе, – а я готова пойти навстречу любому вашему пожеланию, – то давайте так и поступим; если же нет – пусть до самого вечера все занимаются кто чем хочет.

И мужчины и дамы предпочли рассказывать.

– Коли так, – молвила королева, – я желаю, чтобы в первый день *каждый волен был рассказать о том, что ему по нраву.*

Тут она обратилась к сидевшему справа от нее Панфило и с очаровательною приятностью попросила его начать. Выслушав приказание, Панфило нимало не медля, меж тем как все общество превратилось в слух, начал свой рассказ так.

1

*Мессер Чеппарелло лживою исповедью
вводит в заблуждение святого отца и умирает;
злочестивец при жизни,
он после смерти был причислен к лику святых
и наречен “святым Шапелето”*

Всякое дело, милейшие дамы, какое только ни замыслит человек, должно совершать во имя того, кто положил начало всему сущему, имя же его чудотворно и свято. Вот почему и я, раз уж мне выпал жребий открыть наши собеседования, намерен поведать вам одно из его поразительных деяний, дабы мы, услышав о таковом, положились на него, как на нечто незыблемое, и вечно славили его имя.

Как известно, все временное преходяще и смертно; и оно само, и то, что его окружает, полно грусти, печали и тяготы и всечасным подвергается опасностям, которые нас неминуемо подстерегли бы и которых мы, в сей временной жизни пребывающие и составляющие ее часть, не властны были бы предотвратить и избежать, когда бы господь по великой своей милости не посылал нам сил и не наделил нас прозорливостью. Не следует думать, будто милость эту мы заслужили, – нет, господь ниспосылает ее нам, потому что он всеблаг, а равно и по молитвам тех, что когда-то были такими же смертными, как и мы, однако волю его при жизни соблюдали и ныне пребывают вместе с ним, бессмертные и блаженные. К ним-то мы и взы-

ваем, как к нашим заступникам, знающим по опыту, что такое человеческая слабость, – не дерзая, быть может, молиться всеправедному судие, мы со всеми нашими нуждами обращаемся к ним. И тем явственнее обнаруживаются его попечение о нас и милосердие, что, не в силах будучи смертным нашим оком прозревать в тайны божественного разума, мы, введенные в заблуждение молвою, нередко избираем себе такого заступника пред лицом его всемогущества, который им же осужден на вечную муку, а ведь от него ничто не скроется, и все же он, принимая в соображение не столько осуждение того, к кому молитвы воссылаются, и не столько неосведомленность молящегося, сколько душевную его чистоту, преклоняет слух к мольбам так, как если бы осужденный удостоился вечного блаженства. Все это будет явствовать из того, что я собираюсь вам рассказать (когда я говорю “явствовать”, то я имею в виду не божественную мудрость, а человеческое разумение).

Говорят, что когда именитый и богатейший купец Мушьятто Францези, получивший дворянство, отбыл в Тоскану вместе с братом французского короля Карлом Безземельным, которого туда вытребовал и вызвал папа Бонифаций, он обнаружил, что, как это нередко бывает с купцами, дела его и здесь и там сильно запутались и что скоро и просто их не распутаешь, а потому вести дела он поручил нескольким лицам, и таким образом все отлично устроилось. Одно лишь его беспокоило: где ему сыскать человека, который сумел бы взыскать долг с бургундцев? Поводом для беспокойства служило ему то, что бургундцы были ему известны как люди несговорчивые, злонравные и бесчестные, и он никак не мог припомнить, кто бы мог свое коварство с успехом противопоставить их коварству. Долго он над этим ломал себе голову, и наконец на память ему пришел некто мессер Чеппарелло из Прато, который частенько навещал его в Париже. Росту Чеппарелло был небольшого, одевался щеголевато; французы не имели понятия, что означает слово “Чеппарелло”: они полагали, что это соответствует

их слову: “шапель”, то есть, на их обиходном наречии, “венок”, между тем росту он, как я уже заметил, был небольшого – вот почему они называли его не Шапело, а Шапелето. Всюду он был известен как Шапелето, и лишь немногие знали, что он мессер Шапело. Вот что собой представлял этот самый Шапелето: будучи нотариусом, он сгорал со стыда, если какой-либо из его актов, – а у него и было-то их немного, – оказывался не фальшивым, составлял же он их по первому требованию, составлял охотнее даром, нежели иной – за крупное вознаграждение. Лжесвидетельствовал он с великим удовольствием как по требованию, так и без всякого требования, а в те времена во Франции придавали громаднейшее значение присяге, ему же ничего не стоило солживить клятву, и так, нечестным путем, он выигрывал все дела, хотя давал присягу держать ответ по совести и говорить одну лишь истинную правду. Сеять между друзьями, родственниками и вообще между людьми рознь, вражду, ссорить их – это было для него великим удовольствием, это была его страсть, и чем больше его стараниями случалось несчастий, тем ему было приятнее. Если его приглашали принять участие в убийстве или же в каком-либо другом преступлении, он никогда не отказывался, напротив – с удовольствием соглашался и охотно своими собственными руками наносил ранения и убивал. Будучи человеком в высшей степени злобным, он по всякому поводу ругал бога и святых самыми скверными словами. В церковь не ходил, все ее таинства ни во что не ставил и глумился над ними в непристойных выражениях. А вот таверны и прочие злачные места посещал часто и охотно. Женщин он любил, как собака – палку, зато противоположному пороку предавался с бóльшим удовольствием, нежели иной развратник. Обокрасть и ограбить он мог с такой же спокойной совестью, с какой человек добродетельный подает милостыню. Он был страшнейший обжора и пьяница, что в иных случаях доставляло ему неприятности и навлекало на него бесчестье. Он был завзятый шулер и нечисто играл в кости. Но к чему я трачу слова? Лучше было бы этому человеку не ро-

диться. Влияние, каким пользовался мессер Мушьятто, и его положение в обществе долгое время служили щитом для плутней Шапелето – вот почему и частные лица, которых он постоянно оскорблял, и судейские чины, которых он обливал грязью, спускали ему.

Мессер Мушьятто вспомнил про мессера Шапелето, коего образ жизни был ему хорошо известен, и решил, что это и есть тот человек, который требуется для коварных бургундцев; того ради он велел позвать его и обратился к нему с такою речью: “Мессер Шапелето! Тебе известно, что я уезжаю отсюда навсегда, между тем мне задолжали обманщики-бургундцы, взыскать же с них долг никто, кроме тебя, по моему разумению, не способен. Дел у тебя в настоящее время нет никаких, и вот, если ты поручение мое исполнить согласишься, я за тебя замолвлю словечко во дворце, а сверх того выдам тебе изрядную часть тех денег, которые ты стребуешь с бургундцев”.

Мессер Шапелето был не у дел, земные блага подходили у него к концу, в довершение всего тот, кто в течение долгого времени служил ему прибежищем и оплотом, его покидал, так что в силу необходимости ему пришлось согласиться, и он, нимало не медля, изъявил полное свое согласие. Как сказано, так и сделано: получив доверенность мессера Мушьятто и рекомендательные письма короля, Шапелето тотчас по отбытии мессера Мушьятто отправился в Бургундию, где его никто почти не знал. Сверх обыкновения он взялся за дело и принялся взыскивать долги мягко и миролюбиво, словно приберегая силы к концу. Остановился он у двух братьев-флорентийцев, занимавшихся ростовщичеством, каковые ростовщики ради мессера Мушьятто оказывали ему все знаки внимания, и внезапно занемог. Братья тот же час послали за лекарями, нашли человека для ухода за ним, словом, приняли все меры для того, чтобы поставить его на ноги. Ничто, однако ж, не помогло, – по словам лекарей, этому доброму человеку, бывшему в преклонных летах да к тому же еще ведшему беспорядочный образ жизни, день ото дня становилось

все хуже и хуже, ибо то был смертельный недуг, что весьма огорчало братьев.

Однажды в комнате рядом с той, где лежал на одре болезни мессер Шапелето, братья завели такой разговор. "Что нам с ним делать? – молвил один другому. – Влипли мы с ним. Выгнать его, больного, из дому было бы в высшей степени постыдно и неблагоразумно: все видели, какое гостеприимство мы ему оказали, как заботливо потом за ним ухаживали и лечили, и вдруг теперь, когда он при смерти и не в состоянии чем-либо досадить нам, мы его выгоняем на улицу! С другой стороны, этот мерзавец не захочет исповедоваться и приобщаться святых тайн, а ежели он умрет без покаяния, то ни одна церковь не станет его хоронить, – его, как собаку, швырнут в яму. А если даже он исповедается, то ведь у него столько тяжких грехов, что то же на то же и выйдет: ни один монах и ни один священник их ему не отпустит; если же он отпущения не получит, все равно лежать ему в яме. Коль же скоро это произойдет, местные жители, которые только и знают, что честить нас, – они считают, что мы занимаемся нехорошими делами, и не прочь нас ограбить, – поднимут шум и гам: "Этих ломбардских собак церковь отказывается хоронить, – чего же мы-то их терпим?" Ворвутся в наши дома и не только разграбят их дочиста, а еще, чего доброго, и пристукнут нас. Словом сказать, ежели он умрет, нам придется не сладко".

Как я уже сказал, мессер Шапелето лежал в соседней комнате; между тем слух у многих больных бывает особенно тонок, и он расслышал все, что про него говорили братья. Он позвал их к себе и сказал: "Я не хочу, чтобы вы из-за меня тревожились, чтобы вы из-за меня самомалейший потерпели урон. Я слышал все, что вы про меня говорили, и убежден, что когда бы дело приняло такой оборот, то так бы все и произошло, однако ж дело обернется иначе. При жизни я столь часто гневил бога, что если перед смертью я буду гневить его в течение часа, то прегрешения мои от того не умножатся и не уменьшатся. Посему призовите ко мне святой, праведной жизни монаха, самой что ни на есть

святой жизни, если только такие есть на свете, и предоставьте действовать мне: я и ваши и свои дела устрою наилучшим образом, так что вы останетесь довольны".

Хотя братья ничего хорошего не ожидали, со всем тем направили стопы свои в монастырь и обратились с просьбою, чтобы какой-либо благочестивый и мудрый инок исповедал ломбардца, захворавшего у них в доме. Им дали старца святой и строгой жизни, начитанного от Писания, человека весьма почтенного, пользовавшегося у горожан особым и превеликим уважением, и братья повели его к себе. Войдя в комнату, где лежал мессер Шапелето, и приблизившись к умирающему, он принялся ласково утешать его, а затем спросил, когда он в последний раз исповедовался.

Мессер Шапелето хоть и никогда не исповедовался, однако ж ответил ему так: "Отец мой! Раз в неделю я уж непременно исповедуюсь, а иногда и чаще, но на этой неделе я по болезни ни разу не исповедовался – так меня скрутило".

Монах ему на это сказал: "Похвально, сын мой, поступай так и впредь. Раз ты так часто исповедаешься, стало быть, ничего особенного я от тебя не услышу и не о чем мне тебя особенно расспрашивать".

Мессер Шапелето возразил: "Не скажите, честной отец. Сколько и как часто я бы ни исповедовался, я не оставлял намерения принести покаяние во всех грехах, какие я только сумею припомнить, во всех грехах, совершенных мною со дня моего рождения и по день последней исповеди. Того ради прошу вас, святой отец: спрашивайте меня так подробно, как если бы я никогда в жизни не исповедовался. На мой недуг не обращайте внимания – я предпочитаю чемлибо досадить своей плоти, нежели, ублажая ее, содействовать погибели моей души, которую Искупитель спас, пролив пречистую кровь свою".

Такие речи пришлись по нраву святому отцу, ибо он принял их за знак благонамеренности болящего. Весьма одобрив таковое его умонастроение, он обратился к нему с вопросом, не впал ли он в блуд, согрешив с какой-либо женщиной.

Мессер Шапелето со вздохом молвил: "Отец мой! Тут я стыжусь сказать вам правду – боюсь, как бы не впасть в грех тщеславия".

А святой отец ему на это: "Говори смело, – сказать правду никогда не грех: как на исповеди, так и при любых других обстоятельствах".

Тогда мессер Шапелето ему сказал: "Ну, коли так, то я вам откроюсь: я такой же точно девственник, каким вышел из чрева моей матери".

"Да благословит тебя господь! – воскликнул монах. – Похвально это с твоей стороны! И заслуга твоя тем больше, что при желании тебе легче было бы жить иначе, нежели нам, а равно и всем, кто связан каким-нибудь обетом".

Затем духовник спросил недугующего, не прогневил ли он бога чревоугодием. Тот же ему с тяжелым вздохом на это ответил, что гневил, и притом многократно, ибо если уж говорить по чистой совести, то хотя он соблюдал в течение года все посты, соблюдаемые людьми богобоязненными, и, по крайней мере, три дня в неделю сидел на хлебе и воде, однако ж воду он пил, в особенности – устав от долгой молитвы и от хождения по святым местам, с таким же точно наслаждением и удовольствием, с каким пьяницы пьют вино. Частенько он соблазнялся салатом из трав, который сельчанки делают, собираясь на полевые работы, а иной раз ему казалось, что он вкушает пищу с аппетитом, который, как ему кажется, не должны выказывать постящиеся в силу своей богобоязненности, а он именно так и постится.

Монах же ему сказал: "Сын мой! Это все грехи не тяжкие, сродные человеку, – особенно отягощать ими совесть не следует. Каждому человеку, сколько бы он ни был свят, яствие кажется особенно вкусным после долгого поста, питие – с устатку".

"Ах, отец мой, не утешайте меня! – воскликнул мессер Шапелето. – Ведь вы же знаете не хуже меня, что все, что мы делаем для бога, надлежит делать чистыми руками и без единого пятнышка на совести, а иначе мы берем на душу грех".

Монах возрадовался и сказал: “Ах, как меня радует направление твоих мыслей! Как приятно видеть человека с такой доброй совестью! Скажи мне, однако ж: не впадал ли ты в грех сребролюбия, не стремился ли приобрести больше, чем тебе полагалось, не удерживал ли того, что тебе не подобало удерживать?”

Мессер Шапелето ему на это ответил: “Отец мой! Мне бы не хотелось, чтобы вы судили обо мне на основании того, что я нахожусь в доме ростовщиков: у меня с ними ничего общего нет, настолько, что я и приехал-то сюда единственно для того, чтобы обличить их, осудить и уговорить бросить этот постыдный способ наживы, и, может статься, я бы в том и преуспел, когда бы господь меня не посетил. Да будет вам ведомо, что отец мой оставил мне богатое наследство, я же, как скоро он преставился, большую часть пожертвовал на бедных. А дабы прокормиться самому и помогать тем, кто живет Христовым именем, я стал немножко приторговывать ради хлеба насущного, однако ж неукоснительно делил прибыль пополам: половину тратил на свои собственные нужды, половину отдавал божьим людям. И за это господь мне так явно помогал, что дела мои шли все лучше и лучше”.

“Добро! – молвил монах. – Однако ж как часто ты гневался?”

“Ох! – воскликнул мессер Шапелето. – Надобно признаться, довольно-таки часто. Да и кто бы на моем месте сумел бы себя перебороть при виде того, как люди ежедневно чинят непотребства, не соблюдают заповедей господних и суда божьего не боятся? Несколько раз на дню говорил я себе, что лучше умереть, нежели жить и видеть юношей, помышляющих токмо о тщете земной, клянущихся и преступающих клятвы, шляющихся по кабакам и не бывающих в церкви, предпочитающих стезю мирскую стезе господней”.

Монах же ему на это сказал: “Сын мой! То гнев священный, и за него я на тебя епитимьи не наложу. Не было ли, однако ж, такого случая, когда бы гнев толкнул тебя на

смертоубийство, подстрекнул оскорбить человека или же какую-либо другую обиду причинить?"

Тут мессер Шапелето вскричал: "Горе мне, грешному! Ведь я же вас чту как святого, а вы такие вещи говорите! Да если б я только помыслил совершить одно из тех преступлений, которые вы перечислили, – неужели вы думаете, что всевышний тотчас не послал бы по мою душу? На такие вещи способны разбойники, лихие люди; я же всякий раз, когда мне приходилось с кем-либо из них сталкиваться, говорил: "Ступай! Да обратит тебя господь!""

Монах же ему сказал: "Благословение божие да пребудет с тобою, сын мой; поведай мне, однако ж: не лжесвидетельствовал ли ты, не злословил ли, не отбирал ли чужое добро?"

"Так, ваше высокопреподобие, я злословил, – признался мессер Шапелето. – Был у меня сосед, изверг естества, то и дело избивавший свою жену. Однажды я дурно о нем отозвался в разговоре с ее родственниками – так жаль мне стало бедняжку: он, бывало, хватит лишнего – и давай колотить ее чем ни попадя".

Монах же ему сказал: "Добро! Ты мне, однако ж, признался, что был купцом. Так вот, не обманывал ли ты покупателей, как то водится за купцами?"

"Грешен, ваше высокопреподобие, – отвечал мессер Шапелето, – вот только я не знаю, кого именно я обсчитал: кто-то принес мне деньги за проданное сукно, и я, не пересчитав, запер их в сундук, а месяц спустя обнаружил в сундуке на четыре гроша больше, чем должно было быть. Целый год я хранил эти деньги в надежде возвратить покупателю, но покупатель исчез, и в конце концов я употребил их на богоугодные дела".

Монах же на это сказал: "Сумма незначительная, и ты распорядился ею разумно".

Помимо этого, святой отец расспрашивал и о многом другом, а мессер Шапелето на все отвечал в том же духе. Духовник совсем уж было собрался отпустить ему все его прегрешения, как вдруг мессер Шапелето обратился к нему с

такими словами: "Ваше высокопреподобие! Я вам еще про один грех не сказал".

Монах осведомился, про какой именно, и тот ему сказал: "Я припоминаю, что однажды велел моему слуге подмести пол в субботу по истечении третьего часа, – тем самым я выказал неуважение к воскресному дню".

"А, сын мой, это пустяки!" – молвил монах.

"Не скажите, – возразил мессер Шапелето, – воскресный день до́лжно особенно чтить, поелику он установлен в память воскресения господа нашего Иисуса Христа".

Монах же его спросил: "Не совершил ли ты какого-либо другого греха?"

"Как же, совершил, ваше высокопреподобие, – отвечал мессер Шапелето. – Однажды я по рассеянности плюнул в божьем храме".

Монах усмехнулся и сказал: "Об этом не сокрушайся, сын мой. Мы – монахи, и то каждодневно плюем в церкви".

Мессер Шапелето ему на это сказал: "И прескверно делаете: святой храм надлежит держать в совершенной чистоте, понеже в нем приносится жертва богу".

Подобных грешков у мессера Шапелето набралось многое множество, а под конец он принялся вздыхать и горько плакать, вздохи же и плач он изображал отлично, как скоро ему в том представлялась надобность.

Святой отец спросил его: "Что с тобою, сын мой?"

А мессер Шапелето ему ответил: "Увы мне, ваше высокопреподобие! Есть еще один грех на моей душе, я в нем никогда не каялся, оттого что мне было очень стыдно. Стоит мне вспомнить о нем – и я, как видите, обливаюсь слезами, ибо я убежден, что господь не простит его мне".

Святой отец же ему на это сказал: "Полно, сын мой, что ты говоришь? Если бы даже все грехи, до сих пор совершенные людьми, а равно и те, которые будут совершены до скончания века, совершил один человек, и человек тот каялся бы и сокрушался, как ты, то господь по великому милосердию и человеколюбию своему охотно простил бы его – при условии, что тот ничего бы от него не утаил. Говори, не бойся".

Но мессер Шапелето, все так же громко стеная, ему сказал: "Увы мне, честной отец! Велико мое согрешение, и если только вы за меня не помолитесь, то господь, пожалуй, меня не простит".

А монах ему на это: "Говори, не бойся, я за тебя помолюсь".

Мессер Шапелето, однако ж, рыдал и не произносил ни слова, а монах уговаривал его. Долго рыдал мессер Шапелето и наконец, доведя монаха до томленья, с глубоким вздохом молвил: "Отец мой! Коль скоро вы обещали за меня помолиться, я вам скажу все. Знайте же, что в детстве я однажды обругал мать". И, сказавши это, он еще громче заплакал.

А монах ему: "Сын мой! И это тебе представляется великим грехом? Другие с утра до ночи богохульствуют, и господь охотно их прощает, если только они раскаялись. Неужели же ты думаешь, что он не простит тебя? Не плачь, утешься! Можешь мне поверить, что если даже ты был бы одним из тех, кто распял его на кресте, все равно он бы тебя простил – я вижу твое искреннее раскаяние".

А мессер Шапелето ему возразил: "Увы мне, отец мой! Что вы говорите! Моя милая маменька в продолжение девяти месяцев денно и нощно носила меня во чреве своем, а затем сто раз носила меня на руках! Как не совестно было мне бранить ее, какой это тяжкий грех! Если вы за меня не помолитесь, он мне никогда не простится".

Когда монах увидел, что мессеру Шапелето больше сказать нечего, он отпустил ему грехи и благословил его, – он вполне поверил, что мессер Шапелето говорил сущую правду, и признал его за святого человека. Да и кто бы не поверил исповеди умирающего?

Итак, выслушав его, монах сказал: "Мессер Шапелето! С божьей помощью вы скоро поправитесь. Однако ж, если бы так случилось, что господь призвал к себе вашу чистую, готовую предстать перед ним душу, не рассудите ли вы за благо, чтобы тело ваше было погребено в нашей обители?"

Мессер Шапелето ответил ему так: “Да, ваше высокопреподобие. Лучшего места упокоения я и желать бы не мог: ведь вы обещали молиться за меня, а кроме того, я всегда испытывал особое уважение к вашему Ордену. Посему прошу вас: как скоро вы возвратитесь в священную вашу обитель, соблаговолите распорядиться, чтобы мне принесли самое пречистое тело Христово, которое вы ежеутренне освящаете на престоле, ибо хотя я и сознаю свое недостоинство, а все же надеюсь с вашего благословения причаститься и собороваться, – при жизни я немало нагрешил, а умереть хочу по-христиански”.

Честной отец с превеликой охотой согласился, одобрил его намерение и обещал, что святые дары будут ему незамедлительно доставлены. Как сказано, так и сделано.

Меж тем братья, боясь, как бы мессер Шапелето не надул их, расположились за переборкой, отделявшей их комнату от той, где лежал мессер Шапелето, начали подслушивать и без труда уловили и уразумели все, о чем мессер Шапелето говорил монаху. Слушая его исповедь, они давились хохотом и говорили друг дружке: “Каков! Ни старость, ни болезнь, ни ужас близкой кончины, ни страх от сознания, что через какой-нибудь час он предстанет пред судом божиим, – ничто не в состоянии исправить порочный его нрав: злодеем прожил всю свою жизнь, злодеем и умирает”. Узнав, однако же, что его обещали похоронить в монастыре, братья успокоились.

Малое время спустя мессер Шапелето причастился, а когда ему стало совсем плохо – соборовался. Отошел он вскоре после вечерни в тот самый день, когда он так чистосердечно покаялся в грехах. По сему случаю братья, заранее позаботившись о торжественных похоронах – на его же деньги – и послав за монахами, чтобы они, как полагается, вечером отслужили панихиду, а утром отпели покойного, приготовили все, что для этого требуется. Исповедовавший усопшего честной отец, узнав об его кончине, переговорил с настоятелем монастыря и, колокольным звоном созвав всю братию на капитул, объявил, что, судя

по тому, как мессер Шапелето исповедовался, этот человек святой. Вдобавок он выразил надежду, что вседержитель через него множество явит чудес и что братия примет его останки с превеликою честью и благоговением. Настоятель и легковерные иноки изъявили согласие. Ввечеру они отправились в дом, где лежало тело мессера Шапелето, отслужили по нем длинную торжественную панихиду, а утром облачились в стихари и ризы и с крестом и Евангелием, распевая заупокойные песнопения, двинулись за телом и с превеликою пышностью и торжественностью, сопровождаемые почти всеми жителями города, как мужеского, так равно и женского пола, перенесли прах в церковь. Когда же гроб поставили в церкви, духовник с амвона начал рассказывать чудеса о покойном и об его житии, об его постничестве, девственности, простоте, чистосердечии, святости и между прочим сообщил, в чем мессер Шапелето, обливаясь слезами, каялся как в самом тяжком своем грехе и как он, духовник, насилу втолковал ему, что господь этот грех простит, а затем, обратившись с укором к внимавшим ему, воскликнул: “А вы, окаянные, из-за какой-нибудь несчастной соломинки, попавшей вам под ноги, хулите бога, матерь божью и весь чин ангельский!” Долго еще говорил он о непорочности и душевной чистоте усопшего. И вскоре он своею проповедью, которую прихожане приняли на веру, внушил им такое благоговение к покойному, что по окончании службы началась неописуемая давка: все бросились лобызать нози и руце усопшего, разорвали на нем одежду, и кому достался клочок ее, тот почитал себя за счастливца. Пришлось на день оставить гроб в церкви, дабы все могли прийти и улицезреть покойного. Когда же настала ночь, его с подобающими почестями похоронили в склепе, в мраморной гробнице, а на другой день к гробнице начал притекать народ: ставили свечи, молились, давали обеты, вешали по обещанью восковые изображения. И так быстро разнеслась молва о святости новопреставленного, так его начали чтить, что почти не осталось человека, который в беде обращался бы к другому святому, а не к нему.

И назвали его и зовут до сих пор “святой Шапелето” и утверждают, что господь через него явил уже много чудес и продолжает ежедневно являть их всем, кто с верою прибегает к нему.

Так жил, умер и был, как вы знаете, причислен к лику святых мессер Чеппарелло из Прато. Я допускаю, что он удостоился вечного блаженства и вошел в рай, ибо хотя и вел он жизнь порочную и беспутную, однако ж перед смертью он, может статься, так сокрушался о грехах своих, что господь умилостивился и не лишил его небесного своего царствия. Но сие есть тайна; если же исходить из того, что разумению нашему доступно, я стою на том, что ему скорее подобает быть в когтях дьявола, на вечную муку осужденным, нежели находиться в раю. А когда так, то господь являет к нам великую милость, ибо, воззрев не на наше заблуждение, а на чистоту веры нашей, и не вменив нам во грех, что мы сделали нашим заступником его врага, коего мы приняли за друга, он внемлет нашим мольбам с таким же участием, как если бы мы избрали своим молитвенником истинного святого. А посему, дабы по его милосердию мы в сию годину бедствий пребывали здравыми и невредимыми в веселом этом обществе, восхвалим того, в чье имя мы здесь собрались, восславим его и предадим себя его воле, твердо уповая, что он нас услышит.

И тут рассказчик умолк.

2

Иудей Абрам,
сдавшись на уговоры Джаннотто ди Чивиньи,
отбывает к римскому двору,
а затем, удостоверившись в порочности
тамошнего духовенства,
возвращается в Париж
и становится христианином

Рассказ Панфило, порою смешивший дам, был выслушан со вниманием и, в общем, одобрен; как же скоро Панфило его досказал, королева объявила сидевшей рядом Нейфиле, что очередь за ней. Нейфила, отличавшаяся кротостью нрава в не меньшей степени, нежели красотою, охотно согласилась и начала свой рассказ так:

– Панфило своею повестью доказал, что господь по милосердию своему не ставит нам в вину заблуждения, в которые мы впадаем по неведению; я же намереваюсь доказать, что господь, по милосердию своему терпящий пороки людей, которые всеми своими поступками и речами должны бы неложно свидетельствовать о нем, а поступают как раз наоборот, тем самым подает нам знак несомненности своего милосердия, дабы мы еще неуклоннее шествовали путем, предначертанным для нас нашею верою.

По дошедшим до меня слухам, обворожительные дамы, в Париже проживал богатый купец Джаннотто ди Чивиньи; человек он был добрый, наичестнейший и справедли-

вый, вел крупную торговлю сукнами и был в большой дружбе с иудеем по имени Абрам, тоже купцом, богачом, человеком справедливым и честным. Зная справедливость его и честность, Джаннотто сильно сокрушался, что душа этого достойного, рассудительного и хорошего человека из-за его неправой веры погибнет. Дабы этого не случилось, Джаннотто на правах друга начал уговаривать его отойти от заблуждений веры иудейской и перейти в истинную веру христианскую, которая, именно потому что эта вера святая и правая, на его глазах процветает и все шире распространяется, тогда как его, Абрама, вера, напротив того, оскудевает и сходит на нет, в чем он также имеет возможность убедиться.

Иудей отвечал, что, по его разумению, вера иудейская – самая святая и самая правая, что в ней он рожден, в ней намерен жить и умереть и что нет такой силы, которая могла бы его принудить отказаться от своего намерения. Джаннотто, однако же, на том не успокоился и несколько дней спустя вновь повел с иудеем такую же точно речь и начал в грубоватой форме, как то водится у купцов, доказывать ему, чем наша вера лучше иудейской. Иудей отлично знал догматы своей веры, однако ж то ли из лучших чувств, которые он питал к Джаннотто, то ли на него подействовали слова, вложенные святым духом в уста простого человека, но только он начал очень и очень прислушиваться к доводам Джаннотто, хотя по-прежнему твердо держался своей веры и не желал оставлять ее.

Итак, иудей упорствовал, а Джаннотто наседал на него до тех пор, пока наконец иудей, сдавшись на уговоры, сказал: "Ин ладно, Джаннотто. Тебе хочется, чтобы я стал христианином, – я готов, с условием, однако ж, что прежде я отправлюсь в Рим и погляжу на того, кто, по твоим словам, является наместником бога на земле, понаблюдаю, каков нрав и обычай у него самого, а также у его кардиналов. Если они таковы, что я на их примере познаю, равно как заключу из твоих слов, что ваша вера лучше моей, – а ведь ты именно это старался мне доказать, – я поступлю согласно

данному тебе обещанию; если ж нет, то я как был иудеем, так иудеем и останусь".

Послушав такие речи, Джаннотто сильно приуныл и сказал себе: "Тщетны все мои усилия, а между тем мне казалось, что они не напрасны, я был убежден, что уже обратил его. И то сказать: если Абрам съездит в Рим и там насмотрится на окаянство и злонравие духовных лиц, то ни за что не перейдет в христианскую веру, – какое там: если б даже он и стал христианином, то потом все равно вернулся бы в лоно веры иудейской". Затем, обратясь к иудею, молвил: "Послушай, дружище: поездка в Рим утомительна и сопряжена с большими расходами – зачем тебе туда ездить? Я уже не говорю об опасностях, подстерегающих такого богача, как ты, на суше и на море. Неужто здесь некому тебя окрестить? Пусть даже у тебя остались сомнения в христианской вере, хотя я тебе, кажется, все растолковал, – где же еще, как не здесь, найдешь ты столь великих ученых и таких мудрецов, которые разъяснят тебе все твои недоумения и ответят на все твои вопросы? По мне, ехать тебе не след. Поверь: прелаты там такие же точно, как здесь, а если и лучше, то разве лишь тем, что они ближе к верховному вождю. Словом, советую тебе поберечь силы для путешествия за индульгенцией – тогда, может статься, и я составлю тебе компанию".

Иудей же ему на это сказал: "Я верю тебе, Джаннотто, однако ж, коротко говоря, я решился ехать ради того, чтобы исполнить твое желание; в противном случае я не обращусь".

Джаннотто, видя его непреклонность, молвил: "Ну что ж, счастливого пути", – а про себя подумал, что если только он поглядит на римский двор, то христианином ему не быть, однако, поняв, что его не уломать, порешил больше его не отговаривать.

Иудей сел на коня и с великою поспешностью поехал в Рим, а как скоро он туда прибыл, тамошние иудеи приняли его с честью. Он никому ни слова не сказал о цели своего путешествия и стал украдкой наблюдать, какой образ жиз-

ни ведут папа, кардиналы, другие прелаты и все придворные. Из того, что он заметил сам, – а он был человек весьма наблюдательный, – равно как из того, что ему довелось услышать, он вывел заключение, что все они, от мала до велика, открыто распутничают, предаются не только разврату естественному, но и впадают в грех содомский, что ни у кого из них нет ни стыда, ни совести, что немалым влиянием пользуются здесь непотребные девки, а равно и мальчишки и что ежели кто пожелает испросить себе великую милость, то без их посредничества не обойтись. Еще он заметил, что здесь все поголовно обжоры, пьянчуги, забулдыги, чревоугодники, ничем не отличающиеся от скотов, да еще и откровенные потаскуны. И чем пристальнее он в них вглядывался, тем больше убеждался в их алчности и корыстолюбии, доходившем до того, что они продавали и покупали кровь человеческую, даже христианскую, и всякого рода церковное имущество, будь то утварь или же облачение, всем этим они бойко торговали, посредников по этой части было у них больше, чем в Париже торговцев сукном или же еще чем-либо, и открытая симония называлась у них испрашиванием, обжорство – подкреплением, как будто богу не ясны значения слов, – да он видит и намерения злых душ, так что наименованиями его не обманешь! Все это, вместе взятое, а равно и многое другое, о чем мы лучше умолчим, было противно иудею, ибо он был человек воздержанный и скромный, и, полагая, что насмотрелся вдоволь, он порешил возвратиться в Париж, что и было им исполнено. Джаннотто, как скоро узнал об его приезде, поспешил к нему, хотя меньше всего рассчитывал на его обращение в христианство, и они очень друг другу обрадовались. Джаннотто дал иудею несколько дней отдохнуть, а затем приступил к нему с вопросом, как ему понравились святейший владыка, кардиналы и другие придворные.

Иудей не задумываясь ответил: “Совсем не понравились, разрази их господь! И вот почему: по моим наблюдениям, ни одно из тамошних духовных лиц не отличается ни святостью, ни богобоязненностью, никто из них не благотво-

рит, никто не подает доброго примера, словом, ничего похожего я не усмотрел, а вот любострастие, алчность, чревоугодие, корыстолюбие, зависть, гордыня и тому подобные и еще худшие пороки, – если только могут быть худшие пороки, – процветают, так что Рим показался мне горнилом адских козней, а не горнилом богоугодных дел. Сколько я понимаю, ваш владыка, а глядя на него, и все прочие стремятся свести на нет и стереть с лица земли веру христианскую, и делают это они необычайно старательно, необычайно хитроумно и необычайно искусно, меж тем как им надлежит быть оплотом ее и опорой. А выходит-то не поихнему: ваша вера все шире распространяется и все ярче и призывней сияет, – вот почему для меня не подлежит сомнению, что оплотом ее и опорой является дух святой, ибо эта вера истиннее и святее всякой другой. Я долго и упорно не желал стать христианином и противился твоим увещаниям, а теперь я прямо говорю, что непременно стану христианином. Идем же в церковь, и там ты, как велит обряд святой вашей веры, меня окрестишь".

Джаннотто ожидал совсем иной развязки; когда же он услышал эти слова, то радости его не было границ. Он пошел с иудеем в Собор Парижской богоматери и попросил священнослужителей окрестить Абрама. Те исполнили его просьбу незамедлительно. Джаннотто был его восприемником и дал ему имя – Джованни, а затем поручил достойным людям наставить его в нашей вере, и тот в скором времени вполне ею проникся и всегда потом был добрым, достойным святой жизни человеком.

3

Еврей Мельхиседек
рассказом о трех перстнях
предотвращает опаснейшую каверзу,
которую подстроил ему Саладин

Рассказ Нейфилы заслужил всеобщее одобрение, а затем по желанию королевы начала Филомена:

– Рассказ Нейфилы привел мне на память опасное происшествие, случившееся с одним евреем. Здесь уже было сказано много прекрасных слов и о боге, и об истинности нашей веры, так что если мы теперь снизойдем к делам и поступкам смертных, то в этом не будет ничего предосудительного, – вот я и хочу рассказать вам об этом, вы же, выслушав меня, станете осторожнее в ответах на вопросы, с коими могут к вам обратиться.

Надобно вам знать, любезные подруги, что глупость часто выводит людей из блаженного состояния и низвергает в пучину зол, тогда как разум вызволяет мудрого из пучины бедствий и дарует ему совершенный и ненарушимый покой. Что из-за глупости человек, благополучием наслаждавшийся, впадает в ничтожество, это явствует из множества примеров, однако ж приводить их за нынешней нашей беседой нет смысла, оттого что мы ежедневно наблюдаем тысячи подобных случаев, а вот что разум приходит на выручку – это, как я и обещала, будет видно из короткого моего рассказа.

Доблесть Саладина была столь велика, что он, некогда прозябавший в безвестности, стал султаном вавилонским, более того: он одержал над королями христианскими и сарацинскими немало побед, однако же частые войны и та роскошь, какою он себя окружал, истощили его казну, а тут ему вдруг понадобилась изрядная сумма, и он долго ломал себе голову, где бы достать деньги, которые нужны были ему позарез, и наконец вспомнил про одного богатого еврея по имени Мельхиседек, проживавшего в Александрии и занимавшегося ростовщичеством. “Вот кто, — подумал он, — при желании мог бы ссудить нужную сумму”. Ростовщик, однако, был скуп, по доброй воле не дал бы ему взаймы, чинить же над ним насилие Саладину не хотелось, но, вынужденный к тому крайнею необходимостью, раскидывая умом, как бы заставить еврея прийти ему на помощь, он в конце концов порешил прибегнуть к насилию, но под маской пытливости своего ума.

Саладин послал за евреем, встретил его радушно и, усадив рядом с собою, сказал: “Доблестный муж! Мне говорили, что ты мудрец, что в богопознании ты опередил многих, и мне бы хотелось от тебя услышать: какой из трех законов почитаешь ты за истинный — иудейский, сарацинский или же христианский?”

Еврей и в самом деле был человек мудрый, и он, живо смекнув, что Саладин хочет поймать его на слове, дабы прицепиться к нему, порешил ни одной из трех вер предпочтение не оказывать, — тогда, мол, Саладин цели своей не достигнет. Он напряг мысль в поисках такого ответа, который бы его не подвел, быстро нашелся и сказал: “Государь мой! Вопрос, который вы мне задали, глубокомыслен. Дабы изъяснить вам, что́ я на сей предмет думаю, я почитаю не излишним предложить вашему вниманию одну историйку. Если память мне не изменяет, мне часто приходилось слышать об одном знатном и богатом человеке, в чьей сокровищнице среди прочих дорогих вещей хранился дивный и дорогой перстень. Желая отличить сей перстень за его добро́ту и красоту, желая, чтобы перстень переходил из

рода в род, он сделал следующее распоряжение: тот из его сыновей, которому он завещает перстень, должен быть признан за его наследника, и всем остальным надлежит почитать и уважать его как старшего в роде. Тот, у кого оказался перстень, поступил по отношению к своим потомкам так же точно, как его предшественник. За короткое время перстень сменил многих владельцев и в конце концов достался человеку, у которого было три прекрасных и благонравных сына, во всем послушных своему отцу, за что отец и любил их всех трех одинаково. Молодым людям был известен порядок наследования перстня, принятый у них в семье, и потому каждый, желая быть отмеченным перед другими, просил-молил уже престарелого отца, чтобы тот по завещанию оставил перстень ему. Добрый человек любил их всех одинаково и не знал, на ком остановить выбор; он каждому из них дал слово завещать перстень и теперь не знал, кому же все-таки его оставить, но в конце концов рассудил за благо устроить так, чтобы все трое были довольны: он тайно заказал одному искусному ювелиру изготовить два таких же точно перстня, и они до того оказались похожи на первый, что сам заказчик после с трудом их различал. Перед смертью он каждому сыну, втайне от других, вручил по перстню. После кончины отца все трое притязали на его наследство и почет, и каждый, отводя домогательства другого, как доказательство неотъемлемости своих прав предъявлял перстень. Перстни были так похожи, что никто не мог определить, какой же из них подлинный, и вопрос о том, кто наследует отцу, остался открытым и таковым остается он даже до сего дня. То же самое, государь мой, да будет мне позволено сказать и о трех законах, которые бог-отец дал трем народам и о которых ты обратился ко мне с вопросом: каждый народ почитает себя наследником, обладателем и исполнителем истинного закона, открывающего перед ним путь правый, но кто из них им владеет — этот вопрос, подобно вопросу о трех перстнях, остается открытым”.

Саладин вынужден был признать, что еврей отличнейшим образом сумел выбраться из западни, расставленной у

самых его ног, и порешил прямо сказать ему о своей крайности и попросить о помощи. Так он и сделал, не утаив от еврея, что он, Саладин, замышлял над ним учинить, если бы еврей не ответил столь хитроумно. Еврей охотно ему требуемою суммою услужил, а Саладин потом вернул ее сполна, да еще по-царски еврея одарил, водил с ним дружбу и приблизил к себе, предоставив ему высокий и почетный пост.

4

Некий монах совершает грех,
достойный строжайшего наказания,
однако ж, неопровержимо уличив своего аббата
в таком же точно проступке,
избегает кары

Как скоро Филомена умолкла, сидевший рядом с ней Дионео, не дожидаясь особого распоряжения королевы, ибо знал, что по заведенному порядку теперь его очередь, начал свой рассказ так:

— Любезные дамы! Если я правильно понял общее желание, мы собрались сюда для того, чтобы развлекать друг друга рассказами. Следственно, я полагаю, что всякому, кто условия этого не нарушает, позволительно, — и об этом нам только что сказала королева, — рассказать о том, что, как ему кажется, доставило бы нам особое наслаждение. Мы слышали, как Абрам спас свою душу благодаря добрым советам Джаннотто ди Чивиньи и как проницательность Мельхиседека уберегла его богатство от силков Саладиновых, а теперь я намерен в коротких словах рассказать, как один монах, выказав находчивость, избегнул строжайшего наказания, и ласкаю себя надеждой, что упреков с вашей стороны не заслужу.

Неподалеку отсюда, в Луниджане, находится монастырь, где прежде было больше благочестия и больше монахов, чем теперь, и жил там молодой монах, крепость и

пылкость которого ни посты, ни ночные бдения не могли умертвить. И вот как-то раз в полдень, когда все монахи спали и только он один бродил вокруг церкви, случайно увидел он хорошенькую девушку, — по всей вероятности, дочь хлебопашца, местного уроженца, — она собирала на лугу травы. Как скоро он ее увидел, тотчас распалился плотскою похотью. Он приблизился к ней, заговорил, слово за слово — они пришли к соглашению, и он неприметно увел ее к себе в келью.

Случилось, однако ж, что в то время, как он, охваченный страстью, беззаботно с девушкою забавлялся, восставший от сна аббат неслышною стопою проходил мимо его кельи, и ушей его достигнул шум, ими обоими производимый. Дабы различить голоса, аббат подкрался к дверям кельи, прислушался и, совершенно удостоверившись, что в келье находится женщина, чуть было не поддался великому искушению крикнуть, чтобы ему отворили, однако ж передумал и, возвратившись к себе в келью, стал ждать, когда монах выйдет. Монах же, утопая в неге и блаженстве с девицею, все время был начеку, и когда ему послышались в коридоре шаги, он, прильнув к щелочке, явственно увидел подслушивающего аббата и пришел к непреложному заключению, что аббат не мог не догадаться, что в келье находится женщина. При мысли, что ему не миновать тяжкой кары, он в глубине души сильно приуныл, однако девушке вида не показал, а начал перебирать в уме различные средства, не найдется ли меж ними средства спасительного; тут ему пришла в голову хитроумная уловка, и вот она-то и привела его прямым путем к желанной цели.

Сделав вид, будто он достаточно насладился обществом девицы, он сказал ей: "Пойду погляжу, нет ли кого, — как бы тебя не увидели, — а ты сиди смирно, пока я не вернусь".

Выйдя из кельи и замкнув ее на ключ, он пошел прямо к аббату и, отдав ему ключ от своей кельи, как всегда делали монахи перед уходом, сказал, не моргнув глазом: "Ваше высокопреподобие! Нынче утром я не успел распорядиться, чтобы вам доставили дрова, которые я велел для вас

нарубить, — по сему случаю благословите меня пойти сейчас в лес".

Аббат, желая воочию убедиться в поступке, который был совершен монахом, и будучи уверен, что монах находится в блаженном неведении, таковому обстоятельству обрадовался, охотно взял у него ключ и не менее охотно отпустил его в лес. Когда же монах удалился, аббат стал думать, что лучше: при всей братии отпереть келью и вывести монаха на чистую воду, дабы потом, когда он подвергнет его наказанию, у них не было повода роптать на своего аббата, или же сначала выпытать у девицы, как обстояло дело. Поразмыслив, он заколебался: а вдруг это такая женщина либо дочь такого человека, которую он вовсе не желал бы осрамить, выставив на поглядение монахам? И положил аббат сперва узнать, кто она такая, а потом уже принять то или иное решение. На цыпочках приблизившись к келье, он отпер дверь, а войдя, тотчас запер ее за собой. Увидав аббата, девушка обомлела, и от одной мысли, что ей грозит позор, из глаз у нее хлынули слезы.

Его высокопреподобие окинул ее взглядом и, уверившись, до чего она свежа и хороша собой, ощутил, несмотря на преклонный возраст, не менее сильное плотское влечение, чем юный монах; ощутив же, он про себя подумал: "Неприятностей и огорчений у нас сколько угодно, так почему бы мне не изведать наслаждение, коль скоро я могу себе его доставить? Девушка премиленькая, о том, что она здесь, не знает ни одна душа, — что же мне мешает насладиться ею, если только мне удастся ее уговорить? Кто про это узнает? Никто никогда не узнает, а грех утаенный — наполовину прощенный. Подобный случай может больше и не представиться; если же творец ниспосылает благо, было бы величайшим безумием не воспользоваться таковым".

В сих мыслях аббат, окончательно изменив первоначальному своему решению, приблизился к девице и, ласково заговорив с нею, принялся утешать ее, успокаивать и в конце концов объяснил, чего он от нее хочет. Девица была сделана не из железа и не из алмаза, а потому довольно ско-

ро покорилась аббату. Заключив ее в объятия и вдоволь нацеловавшись, аббат взгромоздился на кровать монаха и, приняв в соображение свою весомость, соответствовавшую тому высокому сану, в каком он находился, а равно и нежный возраст девицы, боясь, по всей вероятности, задавить ее своим весом, не возлег на нее, а ее возложил на себя и так в течение долгого времени ею тешился.

Монах, якобы ушедший в лес, на самом деле спрятался в коридоре, и как скоро он увидел, что аббат вошел в келью один, то, убедившись, что его расчет оправдывается, вполне успокоился; когда же он услышал, что аббат запер за собою дверь, то у него не осталось никаких сомнений, что расчет его верен. Выйдя из тайника, он прокрался к двери своей кельи, и через щель ему было видно и слышно все, что аббат делал и говорил. Между тем аббат, почувствовав, что на сей раз с него довольно, запер в келье девушку и удалился к себе. А немного погодя он услышал шаги монаха и, решив, что тот явился из лесу, положил разбранить его и заключить в темницу, с тем чтобы безраздельно владеть добычей. Послав за ним, он с высоты своего величия, грозно сверкая очами, на него обрушился и велел идти в темницу.

Монах же незамедлительно ему на это сказал: "Ваше высокопреподобие! Я совсем недавно вступил в Бенедектинский орден и все его особенности превзойти не успел, вы же мне до сих пор наглядно не показывали, что монаху подобает не только быть под началом у старшего, но и быть под женщиной. Нынче вы мне это показали наглядно, и если вы меня простите, то я вам обещаю больше никогда правило это не преступать и действовать так, как на моих глазах действовали вы".

Аббат, будучи человеком сообразительным, живо смекнул, что монах не только его перехитрил, но и видел все, что он вытворял. Устыдившись своего проступка, аббат поостерегся подвергать монаха наказанию, которое он и сам заслужил. Он простил его, велел не болтать о том, что ему довелось увидеть, а затем они неприметно вывели девушку и потом, должно думать, не раз ее к себе приводили.

5

Маркиза Монферратская
обедом, изготовленным из куриного мяса,
а равно и благоуветливыми речами
укрощает безумную страсть
французского короля

Рассказ Дионео поначалу слегка смутил слушательниц, о чем свидетельствовала краска стыда, проступившая на их лицах; однако ж, переглядываясь, фыркая и давясь хохотом, они его кое-как дослушали. Когда же Дионео досказал, они ласково пожурили его, что-де, мол, дамам рассказывать такие вещи негоже, а королева обратилась к Фьямметте, сидевшей на травке подле нее, и сказала, что теперь ее очередь. Фьяммет-та с очаровательною приятностью начала свой рассказ так:

— Во-первых, повести наши доставляют мне особое удовольствие тем, что они доказывают, как много значит остроумный и быстрый ответ; во-вторых, я убеждена, что если высшая мудрость мужчины заключается в том, чтобы неукоснительно добиваться благосклонности женщины более знатной, нежели он, то наивысшая осмотрительность женщины состоит в том, чтобы суметь уберечься от любви к мужчине, который по своему положению стоит выше ее, — это-то и навело меня на мысль, приятные дамы, рассказать вам повесть, из коей будет явствовать, как именно, с помощью каких поступков и речей некая благородная дама сумела от чего-то уберечься, а что-то притушить.

Маркиз Монферратский, доблестный муж, гонфалоньер церкви, приняв участие в крестовом походе, вместе с другими христианами отправился воевать в страны заморские. Когда речь о его доблести зашла при дворе Филиппа Кривого, также собиравшегося в поход, один из рыцарей высказал мнение, что во всей подсолнечной не сыскать другой такой четы, как маркиз и его супруга, ибо он выделяется среди прочих рыцарей своею доблестью, она же – самая красивая и самая достойная женщина в мире. Слова эти так глубоко запали в душу французского короля, что, никогда в жизни маркизы не видев, он воспылал к ней внезапною страстью и положил нимало не медля выступить в поход, для чего сесть на корабль в Генуе, до Генуи же следовать сухопутьем, дабы иметь благовидный предлог посетить маркизу, а так как маркиз отсутствовал, то король был уверен в успехе. Замысел свой он не преминул привести в исполнение. Приказав войску двигаться вперед, он двинулся в путь с небольшою свитой и, приблизившись к поместью маркиза, послал сказать его супруге, чтобы она ждала его завтра к обеду.

Рассудительная и сметливая маркиза велела в самых учтивых выражениях ответить ему, что, мол, добро пожаловать, что это для нее честь неслыханная. Но потом ей все-таки показалось странным: что бы это значило, что король вознамерился посетить ее в отсутствие мужа? Она пришла к мысли, что его привела к ней молва об ее красоте, и в своем предположении не ошиблась. Со всем тем, будучи женщиною бесстрашною, порешила она принять короля с честью и, послав за добрыми людьми, не пошедшими на войну, по их совету отдала надлежащие распоряжения; что же касается обеда и съестных припасов, то это она взяла на себя. Она велела изловить всех кур в округе, а поварам своим наказала изготовить блюда для королевского стола только из этих самых кур. Итак, в назначенный день прибыл король, и маркиза встретила его с великою торжественностью и честью. Как же скоро король увидел ее, она показалась ему несравненно прекраснее, добронравнее и благовоспитаннее, нежели он представлял ее себе со слов рыцаря, и он не мог

налюбоваться ею и превозносил ее до небес, чувство же его к ней тем быстрее росло, чем яснее ему становилось, что маркиза превзошла все его ожидания. Отдохнувши в покоях, разубранных ради такого почетного гостя, король вышел к обеду и сел рядом с маркизой, прочие же сели за другие столы, заняв места соответственно своему званию.

Король в восторге от многочисленных перемен блюд, а равно и от тонких, дорогих вин, бросал на прекраснейшую маркизу восхищенные взоры. Блюда тем временем сменялись одно другим, и в конце концов король подивился тому обстоятельству, что хоть они и разные, но все до одного – из кур. Между тем король знал, что эти места обильны всякого рода дичью; коль же скоро он заранее упредил маркизу о своем прибытии, – значит, у нее было время послать людей поохотиться; однако, сколь ни был король изумлен, а все ж порешил завести разговор с маркизой касательно одних только кур. Того ради, обратясь к маркизе, он с улыбкой спросил ее: "Госпожа моя! Разве здесь у вас водятся только куры, а петухов нет?"

Маркизе был вполне понятен вопрос короля, однако ж, сообразив, что сам господь предоставляет ей сейчас возможность высказаться, она, не моргнув глазом, ответила королю: "Как же, государь, петухи у нас водятся, – вот потому-то наши курочки в чужих петухах и не нуждаются". Послушав такие речи, король тотчас уразумел сокровенный их смысл; убедившись же, что уговаривать такую женщину – значит бросать слова на ветер, а силой с ней тоже ничего не поделаешь, король склонился к мысли, что если он безрассудно воспылал к маркизе страстью, зато он поступит мудро и к вящей своей чести, если безумный ее пламень погасит. Оставив всякую надежду и убоявшись ответов маркизы, он, уже не подшучивая над нею, продолжал обедать. Как же скоро обед пришел к концу, король, дабы скорым отъездом прикрыть неблаговидную цель своего прибытия, поспешил поблагодарить маркизу за оказанный ему прием, она поручила его воле божией, и он проследовал в Геную.

6

*Некий достойный человек
остроумною речью обличает
преступное лицемерие монахов*

После того как все похвалили маркизу за непорочность ее нрава и за тот урок, который она в такой изящной форме преподала королю французскому, сидевшая подле Фьямметты Эмилия по знаку королевы с непринужденным видом повела свой рассказ:

— Теперь я расскажу вам о том, как один почтенный мирянин поддел сребролюбивого монаха речью столь же забавною, сколь и похвальною.

Не так давно, милые девушки, в нашем городе жил-был некий минорит, гонитель нечестивых еретиков, и хоть и тщился он, как все они, сойти за святого и за неутомимого поборника веры христианской, однако столь же усердно пытал обладателей тугой мошны, как и тех, кто был нетверд в вере. Этот самый ревнитель благочестия напал на одного достойного человека, который, однако ж, мог похвалиться не столько смекалкой, сколько мошной, и вот он-то однажды, находясь в тесном кругу друзей, — не потому, чтобы он был богохульник, а, по всей вероятности, просто потому, что выпил лишнего и пребывал в веселом расположении духа, — сболтнул, что у него такое славное вино, какого и сам Христос не отказался бы испить. Как скоро о том донесли инквизитору, он, узнав, что мирянин — облада-

тель обширных владений и несметной казны, *cum gladiis et fustibus*[1] и с великою поспешностью повел по его делу строжайший розыск в расчете не на обращение грешника, а на то, что у него у самого прибудет флоринов, и так оно и вышло. Потянув мирянина к допросу, он спросил, правда ли то, что против него показывают. Добрый человек сказал, что правда, и поведал, как обстояло дело.

На это святейший инквизитор, особо чтивший святого Иоанна Златоуста, ему сказал: "Ты что же это, делаешь из Христа любителя выпить, охотника до тонких вин, как будто это Возлияние или же еще кто-либо из вашей пьяной компании гуляк и забулдыг? А теперь смиренником прикидываешься, делаешь вид, что ничего тут такого нет? Ошибаешься: коли мы решимся поступить с тобой, как ты того заслуживаешь, то отправим тебя на костер".

Такие и тому подобные речи инквизитор произносил с видом угрожающим, как если бы перед ним был сам Эпикур, отрицавший бессмертие души. В короткий срок он так его запугал, что бедняга, дабы умилостивить инквизитора, поручил неким посредникам умастить его руки изрядным количеством мази святого Иоанна Златоуста, каковая мазь хорошо помогает от заразной болезни, именуемой алчностью, коей страдают священнослужители, наипаче же – братья минориты, которым воспрещено прикасаться к деньгам. Сию мазь в качестве мази целебной, хотя Гален ни в одном из своих медицинских трудов ни словом о ней не обмолвился, он применил до того щедро, что огонь, коим ему грозили, был милостиво заменен знаком креста, а дабы стяг тешил взоры, – как будто бедняга собирался идти в крестовый поход! – порешили нашить желтый крест на черное поле. Сверх того, инквизитор, получив денежки, оставил его на несколько дней при себе и наложил на него такого рода епитимью: каждый день выстаивать литургию в Санта Кроче, а в обеденный час являться к нему; остальное время он волен был проводить, как ему заблагорассудится.

1 С мечами и кольями (*лат.*).

Все это он исполнял исправно, но вот однажды за обедней услышал он стих из Евангелия: “Получит во сто крат, и наследует жизнь вечную”. Запомнив стих этот в точности, он, как ему было повелено, в обеденный час явился к инквизитору и застал его за трапезой. Инквизитор же осведомился, был ли он у обедни.

Вопрошаемый не замедлил ответить: “Был, ваше высокопреподобие”.

Инквизитор же ему сказал: “Не слышал ли ты за обедней чего-нибудь такого, что зародило в тебе сомнения и о чем бы ты желал меня спросить?”

“По совести, ничего сомнительного я не слышал, – отвечал добрый человек, – напротив того: я твердо верю во все. Правда, я услышал нечто такое, что возбудило во мне и сейчас еще возбуждает безмерное сострадание к вам и ко всему иноческому чину, стоит мне помыслить о том бедственном положении, в каком все вы очутитесь на том свете”.

Инквизитор его спросил!

“Какое же слово вызвало у тебя столь сильное к нам сострадание?”

Добрый человек же ему на это ответил:

“То было, ваше высокопреподобие, слово Евангелия, гласящее: “Получит во сто крат”.

Инквизитор подтвердил: “В Евангелии сказано именно так, но почему же это тебя опечалило?”

“Сейчас я вам объясню, ваше высокопреподобие, – отвечал добрый человек. – С тех пор как я начал ходить сюда, к обедне, я обратил внимание, что здесь принято выносить многочисленной голытьбе иногда один, а иногда и два здоровенных чана с бурдой, которую отнимают у вас и у всей остальной братии под тем предлогом, что это излишки. Так вот, ежели на том свете за каждый чан воздается вам во сто крат, то вы все утонете в этом море бурды”.

Те, кто сидел за столом у инквизитора, не могли удержаться от смеха, инквизитор же, догадавшись, что стрела

направлена против их бурдистого лицемерия, в крайнее пришел смятение, и если б не было ему стыдно за первое дело, которое он против этого человека возбудил, он начал бы второе – за меткую остроту, которою тот уязвил и его, и всех прочих тунеядцев.

С досады он велел ему убираться вон.

7

Бергамино своим рассказом
о Примассо и аббате из Клюни
бичует несвойственную
мессеру Кане делла Скала
скупость

Остроумный рассказ Эмилии насмешил королеву и всех остальных; необычайная находчивость “крестоносца” вызвала всеобщее восхищение. Теперь настала очередь Филострато, и, когда все отсмеялись и успокоились, он начал свой рассказ так:

– Большая удача, достойные дамы, попасть в цель неподвижную, но если что-либо из ряду вон выходящее покажется внезапно и стрелок внезапно его поразит, то это уж можно почесть за чудо. Порочная и нечистая жизнь священнослужителей, в коей часто находит себе почти полное отражение их душевная низость, сама напрашивается на пересуды, на нарекания и порицания. Конечно, хорошо поступил почтенный мирянин, что уличил инквизитора в притворной доброте, выказываемой монахами, которые жертвуют беднякам то, что следовало бы отдать свиньям, а то и вовсе выбросить, однако ж, по моему разумению, вящей похвалы заслуживает тот, кого мне привел на память только что выслушанный нами рассказ и о ком я и намереваюсь вам поведать: он поддел мессера Кане делла Скала, щедрого государя, за неожиданно и внезапно проявившую-

ся в нем скупость, предложив его вниманию изящную повесть, в коей он под другими именами вывел и его, и самого себя. Обращаюсь к своему рассказу.

Как о том по всему свету трубит наидобрейшая молва, мессер Кане делла Скала, коему судьба благоприятствовала почти всегда, был одним из самых выдающихся и щедрых правителей, каких только знала Италия со времен императора Фридриха Второго и до наших дней. Замыслив устроить в Вероне пышное, роскошное празднество, на которое собралось бы отовсюду множество народу, особливо – всякого рода затейников, он вдруг, по непонятной причине, передумал и, наградив тех, кто уже прибыл, отпустил их. Один лишь Бергамино, о находчивости и красноречии которого мог составить себе точное понятие только тот, кто сам его слышал, все-таки остался, хотя его и не наградили: его не оставляла надежда, что все еще обернется к лучшему для него. Мессер же Кане вбил себе в голову, что лучше что-либо в печку выбросить, нежели подарить Бергамино, а потому и к себе его не призывал, и ничего ему передать не наказывал. Так прошло несколько дней, и наконец Бергамино, убедившись в том, что звать его не собираются, что его ремесло здесь не потребуется, а равно и в том, как дорого ему обходится свой собственный постой, постой своих слуг и прокорм коней, закручинился, и все же он почел неудобным уехать и порешил ждать. Чтобы не ударить в грязь лицом на празднике, он захватил с собой три отличных, дорогих наряда, которые получил в подарок от других синьоров, но так как хозяин гостиницы требовал платы, то сначала он отдал ему один наряд, потом, задержавшись еще на некоторое время, – второй и, наконец, пожелав удостовериться, насколько ему хватит третьего, – а тогда, мол, и восвояси, – принялся проедать третий.

И вот однажды, когда он проедал уже третий наряд, с унылым видом предстал он в обеденное время перед мессером Кане. Увидев его, мессер Кане не столько для того, чтобы посмеяться какой-нибудь его шутке, сколько для того,

чтобы поглумиться над ним самим, обратился к нему с вопросом: "Что с тобой, Бергамино? Что это ты так приуныл? Расскажи-ка нам что-нибудь".

И тут Бергамино, не долго думая, однако же сделав вид, что это плод его долгих раздумий, для поправки дел своих повел такую речь: "Государь мой! Вам, уж верно, известно, что Примассо был великим грамматиком, а также изрядным и преискусным стихотворцем, каковые его заслуги и снискали ему такой почет и уважение, что даже до тех, кто в глаза его никогда не видал, доходила о нем молва и слава, и все знали, кто таков Примассо. Случилось, однако ж, так, что в Париже он сильно нуждался, – а нуждался он почти всегда, оттого что достоинства его не высоко ценились людьми состоятельными, – и тут до него дошли толки о том, что, за исключением папы, никто из князей церкви божией не получает столько доходов, как аббат из Клюни. И еще ему рассказывали чудеса про то, что у аббата открытый дом и что всякий волен сесть с ним за стол – ешь, пей сколько влезет. Послушав такие речи, Примассо, любивший водить компанию с людьми вельможными и сановными, положил самолично удостовериться в щедрости помянутого Аббата, и осведомился, далёко ли он живет. Ему ответили, что его монастырь милях в шести от Парижа. Примассо рассчитал, что если выйти спозаранку, то попадешь как раз к обеду. От стал просить показать ему туда дорогу, однако ж попутчика ему не нашлось, и, боясь, как бы, не дай бог, не заблудиться и не забрести туда, где, пожалуй, голодом насидишься, он на всякий случай, чтобы не голодать, взял с собой в дорогу три куска хлеба, питья же не взял в расчете на то, что хотя он и небольшой любитель воды, но в случае надобности чего-чего, а уж воды-то где угодно достанет. И вот, сунув хлеб за пазуху, двинулся он в путь-дорогу, и надобно же быть такой удаче, что он попал к аббату как раз в предобеденное время. Войдя, он огляделся по сторонам и, увидев великое множество накрытых столов, заметив, что на кухне идут спешные приготовления и прочее тому подобное, подумал: "А ведь он и правда чело-

век гостеприимный". И так он оглядывался вплоть до той самой минуты, когда пришло время обедать и эконом велел принести воды для омовения рук. Как же скоро принесли воды, эконом всех рассадил. Нужно же было случиться так, чтобы Примассо указали место как раз напротив двери, откуда должен был выйти аббат. Здесь существовал такой обычай: пока аббат не сядет за стол, ни хлеба, ни вина, ниже других каких-либо яств и питий не подавать. Как скоро эконом всех усадил, то послал сказать аббату, что обед готов и что он ждет дальнейших его распоряжений. Аббат велел отворить дверь в трапезную, вошел, глядя прямо перед собой, и первый, кто попался ему на глаза, был незнакомый ему и облаченный в ветхие одежды Примассо. И как скоро увидел его аббат, у него тотчас шевельнулась недобрая мысль, дотоле не приходившая ему в голову: "И кто только не кормится от моих щедрот!" Уйдя к себе, он велел запереть дверь и спросил своих приближенных, не знает ли кто-нибудь из них того проходимца, что сидит напротив двери в его покой. Все отвечали, что не знают. Между тем Примассо, проголодавшись с дороги и с непривычки к посту, подождал-подождал, а потом видит, что аббат все не выходит, достал из-за пазухи кусок хлеба – и давай уписывать. Аббат, выждав, послал одного из приближенных поглядеть, не ушел ли Примассо. Тот поглядел и сказал: "Нет, ваше высокопреподобие, какое там ушел, он ест хлеб, – это значит, что он принес его с собой". Аббат же ему на это: "Пусть ест свое, коли взял с собой, а нашего нынче он не отведает". Выпроваживать Примассо аббат почитал неудобным – ему хотелось, чтобы тот сам ушел. Примассо съел кусок хлеба, аббат же все не выходил к столу, – тогда Примассо принялся за второй кусок, о чем было немедленно доложено аббату, вторично пославшему поглядеть, не ушел ли гость. Примассо съел и второй кусок, аббата все нет как нет, – в конце концов он принялся за третий. Когда же о том доложили аббату, он подумал и сказал себе: "Что за чушь лезет мне нынче в голову? Чего я жадничаю? Чего я гнушаюсь? И кем? Сколько лет кормил всех подряд,

не разбирая, благородный то человек или же худородный, бедняк или же богач, купец или же мошенник, на моих глазах тучи проходимцев меня обжирали, и ни к кому я не испытывал таких чувств, какие вызвал во мне этот человек. Верно, не простого человека я пожалел накормить: уж если душа моя сопротивлялась тому, чтобы я его почтил, стало быть, тот, кого я признал за проходимца, есть на самом деле человек необыкновенный". Подумав так, аббат изъявил желание узнать, кто он таков. Когда же ему сказали, что это Примассо, который явился самолично удостовериться в его гостеприимстве, о коем он был так много наслышан, и которого аббат с давних пор знал за человека достойного, он устыдился и, желая загладить вину, принялся всячески его задабривать. После обеда аббат приказал нарядить Примассо прилично его званию и, дав ему денег и коня в придачу, предоставил на выбор: уехать или же остаться. Примассо был так доволен, что не знал, как и благодарить аббата; пришел он из Парижа пешим, а в Париж верхом на коне уехал".

Такому догадливому человеку, как мессер Кане, не надо было разъяснять, что хотел этим сказать Бергамино, – он и так все прекрасно понял и, усмехнувшись, сказал: "Ты, Бергамино, весьма искусно поведал мне свою обиду, показал, сколь ты добродетелен и до чего я скуп, и намекнул, чего ты от меня хочешь. То правда: я впервые выказал скупость нынче, по отношению к тебе, но я прогоню ее отсюда той самой палкой, которую вложил мне в руку ты". И тут он велел расплатиться с хозяином Бергамино, выкупить все три его наряда, одеть его в одно из самых богатых своих платьев, дал ему денег, коня в придачу и всецело предоставил на его благоусмотрение: отправиться в путь или побыть у него.

8

Гвильельмо Борсьере
в изысканных выражениях
клеймит скупость
мессера Эрмино де Гримальди

Рядом с Филострато сидела Лауретта; она знала, что ей тоже придется что-нибудь рассказать, а потому, выслушав похвалы хитроумию Бергамино, она, не дожидаясь повеления, с очаровательною приятностью повела свой рассказ:

– Предыдущее повествование, милые подруги, побуждает меня рассказать, как один почтенный человек таким же точно образом и небезуспешно ополчился на скаредность купца-богача. Хотя мой рассказ по содержанию напоминает предшествующий, удовольствие он вам должен доставить не меньшее, если только вы примете в соображение счастливую его развязку.

Итак, давным-давно жил-был в Генуе знатный человек, мессер Эрмино де Гримальди, у которого, как о том все в один голос говорили, были самые обширные во всей Италии владения и самая тугая мошна. Но, будучи самым богатым человеком в Италии, он к тому же еще был намного скареднее и сквалыжнее всех скаредов и сквалыг, какие только есть на свете, ибо мало того, что он никому не помогал, но и себе, в отличие от прочих генуэзцев, любящих пофрантить, отказывал во всем, лишь бы не тратить денег, и даже ограничивал себя в еде и питье. Вот почему фамилия

его — де Гримальди — была заслуженно забыта и все звали его мессер Эрмино Скопидомо.

И вот, меж тем как он, не расходуясь, приумножал достояние свое, в Генуе появился искусный затейник, учтивый и речистый, по имени Гвильельмо Борсьере, нимало не похожий на нынешних, которые, к стыду мерзких распутников, из кожи вон лезущих, чтобы считаться и именоваться людьми достойными и благородными, скорее заслуживают прозвище ослов, взращенных не при дворе, а среди наигнуснейшего и презренного сброда. В былые времена прямым делом и обязанностью таких людей было улаживать миром распри и размолвки, возникавшие между господами, заключать брачные, родственные и дружеские союзы, красивыми и приятными для слуха речами приободрять уставших, потешать дворы, отечески строгими внушениями исправлять пороки, и все это за небольшое вознаграждение. А теперь они только тем и занимаются, что переносят из дома в дом, сеют плевелы, распространяют всякие мерзости и гадости и, что самое скверное, говорят их при ком угодно, обвиняют друг дружку во всяких злых, непотребных и гнусных делах, не считаясь с тем, напраслина это или же не напраслина, и, подольщаясь к чистым душам, болтают про них всякие низости и пакости, — вот так они и убивают время. И кто всех подлее и на словах и на деле, тот в наибольшей чести у распущенных и порочных вельмож, того они превеликими наградами осыпают. Этот возмутительный позор нашего времени служит наглядным доказательством, что добродетели от нас удалились и предоставили несчастному человечеству погрязать в пороках.

Возвращаясь, однако ж, к тому, с чего я начала и от чего против воли моей меня отвлек правый гнев, почитаю не излишним заметить, что вся знать генуэзская помянутого Гвильельмо встретила с честью и принимала радушно. Гвильельмо же, пробыв несколько дней в Генуе и наслышавшись про скупость и скряжничество мессера Эрмино, вознамерился с ним повидаться. Мессер Эрмино прознал, что

Гвильельмо Борсьере — человек достойный, а так как, несмотря на его скупость, в нем все же тлела искорка душевного благородства, то он встретил его радостными восклицаниями и с приветливым видом, долго и о многом беседовал с ним и, продолжая беседу, повел его, а равно и при сем присутствовавших генуэзцев, в новый красивый дом, который он себе выстроил.

Проведя же его по всем комнатам, он обратился к нему с вопросом: "Послушайте, мессер Гвильельмо: вы много видели на своем веку, о многом слышали, — не подскажете ли вы мне какую-нибудь невидаль, чтобы я мог ею расписать стену моего дома?"

Услышав такие несообразные речи, Гвильельмо молвил: "Вряд ли, мессер, я мог бы вам посоветовать изобразить какую-либо невидаль, разве чиханье или же что-нибудь в этом роде. Впрочем, если хотите, я подскажу вам нечто, по всей вероятности, совершенно вам незнакомое".

Мессер Эрмино, не ожидая услышать в ответ то, что он от него услышал, воскликнул! "Ах, скажите на милость, что же это такое?"

Гвильельмо не замедлил ему ответить; "Прикажите написать аллегорию Гостеприимства".

Как скоро мессер Эрмино услышал это слово, ему стало так стыдно, что он в ту же минуту почти совершенно переменился и сказал: "Мессер Гвильельмо! Я велю написать эту аллегорию таким образом, что теперь уже ни у вас, ни у кого-либо другого не найдется повода сказать, что мне оно неведомо и незнакомо".

Речь Гвильельмо оказала на мессера Эрмино столь сильное действие, что с той поры и до конца своих дней он из всех дворян генуэзских был самым щедрым и самым любезным как с земляками, так равно и с приезжими.

9

Король Кипра,
задетый за живое некоей гасконкой,
из бесхребетного
превращается
в решительного

Последнее приказание королевы должна была получить Элисса, и, не дожидаясь его, она бойко начала рассказывать:

– Часто бывает так, юные жены, что чего не могут поделать с человеком всечасные упреки и всевозможные наказания, то способно осуществить одно слово, притом чаще всего случайное, а не преднамеренное. Это явствует из рассказа Лауретты, я же коротким своим повествованием лишний раз хочу вам это доказать. Хорошие рассказы всегда идут на пользу, так что, кто бы ни был повествователь, их должно слушать с великим вниманием.

Итак, надобно вам знать, что во времена первого кипрского короля, после завоевания Святой земли Готфридом Бульонским, случилось некоей знатной гасконской даме отправиться на поклонение гробу господню, а на возвратном пути пристать к Кипру, и здесь какие-то негодяи гнусное нанесли ей оскорбление. Не имея возможности получить удовлетворение и крушась по сему поводу, она решилась пожаловаться королю, но кто-то сказал ей, что это напрасный труд, ибо король до того малодушен и труслив, что не толь-

ко не наказывает по всей строгости закона за оскорбления, кому-либо другому нанесенные, но, будучи презренным трусом, покорно сносит бесчисленные оскорбления, наносимые ему самому, и оттого всякий на нем срывает зло и на нем вымещает свой стыд и позор.

Услышав это и утратив надежду на отмщение, дама надумала, чтобы отвести душу, упрекнуть короля в том, что он – ничтожество, и, явившись к нему, со слезами заговорила: "Государь! Я предстала пред твои очи, не ожидая получить удовлетворение за обиду, мне причиненную, – я намерена обратиться к тебе с просьбой: вместо этого научи меня терпеть оскорбления, как, если верить слухам, терпишь ты сам, дабы я, наставленная тобою, с кротостью претерпела то, которое нанесли мне, – истинный господь, я с удовольствием уступила бы его тебе: ведь ты же на диво вынослив!"

Король, обыкновенно мешкотный и вялый, тут словно воспрянул от сна и, начав с учиненной той женщине обиды, за которую он строго взыскал, в дальнейшем стал жестоко преследовать всех, кто посягал на честь его короны.

10

Магистр Альберто из Болоньи в учтивых выражениях стыдит женщину, которая пыталась пристыдить его тем, что он в нее влюбился

Элисса умолкла, а так как в последнюю очередь надлежало рассказывать королеве, то она и повела свой рассказ с чисто женским изяществом:

– Достойные дамы! Подобно как в ясные ночи украшением небесного свода служат звезды, а весною цветы красят зелень лугов, так же точно добрые нравы и приятную беседу красят острые слова. В силу своей краткости они в гораздо большей степени приличествуют женщинам, нежели мужчинам, ибо говорить без надобности много и долго еще менее пристало женщинам, нежели мужчинам, хотя, к стыду нашему и к стыду всех на свете живущих, теперь уже мало, – а может статься, и вовсе не осталось, – женщин, способных понять остро́ту или, поняв, на нее ответить. Дело состоит в том, что способность, коей женский ум отличался прежде, нынешние женщины употребляют на украшение своего тела, и та франтиха и щеголиха, у которой платье пестрее, чем у других, воображает, что она заслуживает особого почета и уважения, и притом им и в голову не приходит, что если бы все их финтифлюшки и побрякушки навьючить на осла, то осел выдержал бы и неизмеримо более тяжелую ношу, чем любая из них, и все-та-

ки его почитали бы всего-навсего за осла и ни за что более. Мне стыдно об этом говорить, потому что все это ведь и ко мне относится. Разряженные, подмалеванные, расфуфыренные, обычно они бесчувственны и немы, точно мраморные статуи, а, когда к ним обратятся с вопросом, то уж так ответят, что, право, лучше было бы им промолчать. Между тем они себя убеждают, что их неуменье поддерживать разговор с дамами и благородными мужчинами проистекает из чистоты душевной, свою глупость они выдают за скромность, как будто скромность женщины состоит в том, чтобы вести беседы только со служанкой, да с прачкой, да с булочницей. Ведь если бы того требовала природа, в чем они сами себя пытаются уверить, то она каким-нибудь другим способом умерила бы их болтливость. Разумеется, и здесь, как и во всех случаях жизни, необходимо принимать в соображение время, место, а равно и то, с кем ты говоришь, ибо иной раз случается, что женщина или мужчина острым словцом хотят вогнать кого-либо в краску, но не рассчитают сил и вместо того, чтобы заставить покраснеть других, краснеют сами. Так вот, чтобы вы были осторожнее и чтобы на вас не оправдалась известная пословица: женщина всегда останется с носом, я намерена последней повестью сегодняшнего дня, которую надлежит рассказать мне, наставить вас, дабы подобно как вы отличаетесь душевным благородством, так же точно выделялись бы вы и приятностью светского обхождения.

Не так давно жил-был в Болонье, – а может статься, он и сейчас еще жив, – знаменитый лекарь, известный едва ли не всему миру, некто магистр Альберто. Этот невступно семидесятилетний старец был, однако ж, до того молод душой, что, хотя по его жилам естественный огонь почти уже не пробегал, со всем тем он от любовного пламени не уклонялся. Както раз на празднике он повстречал прелестную вдовушку, кажется – Мальгериду де Гизольери, она очень ему приглянулась, он с юношескою живостью влил сей пламень в старческую грудь свою и с той поры не мог спать спокойно, если днем не видел нежного и пригожего личика красотки. Того

ради он каждодневно, то пешком, то верхом, как придется, показывался под ее окнами. В конце концов и она сама, и другие дамы догадались, что́ тому причиной, и начали между собой пошучивать, что вот, мол, человек в таких зрелых летах и такой зрелый ум – и вдруг влюбился! Как будто упоительная страсть любовная обитает и гнездится лишь в душе у безрассудных юнцов! Между тем магистр Альберто продолжал показываться перед домом своей возлюбленной, и вот однажды, в праздничный день, она и другие дамы сидели возле ее дома, и как скоро они магистра Альберто завидели, то порешили зазвать его, принять с честью, а затем посмеяться над его любовью. Как сказано, так и сделано: они встали, пригласили его, провели в прохладный двор, велели принести тонких вин и сластей и наконец в изящных и изысканных выражениях задали ему вопрос: как мог он влюбиться в эту красавицу, зная, что у нее такое множество красивых, обворожительных и стройных юных поклонников?

Уловив тонкий намек, магистр с улыбкой ответил: "Сударыня! Человека рассудительного не должно удивлять то обстоятельство, что я влюблен, да еще в вас, ибо вы вполне того заслуживаете. Правда, у людей преклонного возраста, естественно, не хватает сил для любовных упражнений, зато они не лишены ни потребности любить, ни понимания того, что значит быть любимым, и это они, естественно, еще лучше разумеют, нежели юноши, оттого что разумения у них больше. И хотя я и стар, а у вас столько юных воздыхателей, однако надежды на взаимность я не теряю, основана же она вот на чем: мне не раз приходилось видеть, как женщины, полдничая, ели лупин и порей. Порей весь не вкусен, и все-таки головка у него съедобнее, аппетитнее, но у вас, женщин, до того испорчен вкус, что вы имеете обыкновение держать порей за головку, а есть ни на что решительно не годные, прескверные его листья. Как знать, сударыня? Может статься, вы и возлюбленных себе выбираете таким же точно образом? А когда так, то меня вы изберете, а других отвергнете".

Слова магистра Альберто слегка смутили знатную даму, равно как и ее приятельниц, и ответила она ему так:

"Вы, магистр, очень мило и деликатно проучили нас за нашу дерзостную затею. Во всяком случае, ваше чувство дорого мне, как должно быть дорого чувство человека благоразумного и почтенного. Располагайте мною, как вам только заблагорассудится, не в ущерб, однако ж, для моей чести".

Тут магистр встал, – а за ним и его спутники, – поблагодарил даму, распрощался с нею и, весело смеясь, удалился. Так эта дама, не отдав себе отчета, над чем, собственно, она смеется, оказалась побежденной, хотя и рассчитывала на победу. Вы же вполне можете этого избежать, если только будете осмотрительны.

Девушки и трое молодых людей кончили рассказывать, когда солнце уже склонялось к закату и жар свалил.

Того ради королева с очаровательною приятностью молвила:

– Милые подруги! В этот день моего царствования мне уже ничего иного не остается, как только дать вам новую королеву, и пусть она завтра по своему усмотрению распорядится собою и нами таким образом, чтобы мы могли благопристойному предаться развлечению. Ночь, правда, еще не скоро, но ведь если заблаговременно не распорядиться, то уж в будущем порядка не жди, и вот, дабы люди успели приготовить все, что новая королева соизволит заказать на завтрашнее утро, я повелеваю считать грядущий день уже наступившим. Итак, во славу Жизнедавца, а всем нам на утешение, пусть на следующий день королевством нашим правит юная и благоразумная Филомена.

С этими словами королева встала, сняла с себя лавровый венок и, почтительно возложив его на Филомену, первая поклонилась ей как королеве, а ее примеру, добровольно признав над собою власть Филомены, последовали девушки и юноши.

Филомена зарделась, когда ее венчали на царство, однако ж, вспомнив давешние слова Пампинеи, взяла себя в ру-

ки и, дабы не ударить лицом в грязь, прежде всего утвердила в должностях всех, кого назначила Пампинея, отдала распоряжения, что́ приготовить на этом самом месте к завтрашним трапезам, а затем повела такую речь:

— Милейшие подруги! Хотя Пампинея и назначила меня вашею королевою, — впрочем, не столько за мои достоинства, сколько из вежливости, — однако ж в предначертании распорядка нашей жизни я намерена руководствоваться не только моим, а и нашим общим разумением. И вот, дабы довести до вашего сведения, что́ мне представляется необходимым претворить в жизнь, и дабы вы имели возможность по своему благоусмотрению что-то добавить или же, напротив того, отбавить, я хочу в двух словах изложить вам свой замысел. Если я не ошибаюсь, все, что Пампинее удалось сегодня осуществить, было и занятно и приятно, — вот почему до тех пор, пока ее приказания, от частого ли повторения или же по какой-либо иной причине, нам не наскучат, я не намерена их отменять. Итак, во исполнение ранее нами замысленного, давайте встанем, немного порезвимся, а когда солнце зайдет, поужинаем в холодочке, после ужина попоем, повеселимся — и на покой! Завтра встанем, пока еще прохладно, пойдем опять позабавимся, кто чем желает, и, по примеру нынешнего дня, к обеду вернемся, затем потанцуем, потом отдохнем. Восстав же от сна, мы, как это имело место сегодня, опять соберемся здесь и начнем рассказывать, а ведь, по моему крайнему разумению, ничто не может доставить столько удовольствия и одновременно принести столько пользы, как именно рассказы. Я лишь собираюсь предложить некое новшество, на которое Пампинея не могла пойти, так как была слишком поздно возведена на престол: я хочу ограничить рассказчиков одним предметом и объявить вам его заранее, чтобы у каждого было время придумать на заданную тему забавный рассказ. Словом, если вы со мной согласитесь, то тема у нас будет такова: от начала мира люди подвержены превратностям судьбы и будут им подвержены до конца света, а когда так, то пусть каждый что-нибудь расскажет на тему *О том,*

как для людей, подвергавшихся многоразличным испытаниям, в конце концов, сверх всякого ожидания, все хорошо кончалось

И мужчины и дамы единодушно одобрили это установление и обещали его придерживаться. Но когда все уже умолкли, неожиданно заговорил Дионео:

– Ваше величество! Я присоединяюсь к общему мнению: новшество ваше похвально и остроумно. Однако ж в виде особой милости я прошу у вас некоей льготы, каковою да будет мне разрешено пользоваться до тех пор, пока общество наше не распадется, а именно – на меня заведенный вами порядок не распространяется: если мне не захочется рассказывать на заданную тему, то приневоливать меня не след; что захочу, то и расскажу. А чтобы никто не подумал, будто я испрашиваю этой милости, оттого что у меня нет в запасе рассказов, я согласен всегда рассказывать после всех.

Королева, знавшая Дионео за человека занятного и веселого, сейчас догадалась, что он обратился с этою просьбою единственно для того, чтобы позабавить общество каким-нибудь смешным рассказом в том случае, если оно устанет от умствований, и с видимым удовольствием и при всеобщем одобрении просимую льготу ему предоставила. Тут все встали и неспешным шагом направились к прозрачному потоку, низвергавшемуся с горки в тенистую долину и протекавшему меж частых дерев, обломков скал и зеленых лугов. Дамы разулись, засучили рукава и, войдя в воду, принялись резвиться. Когда же пришла пора ужинать, все возвратились во дворец и с удовольствием отужинали. После ужина принесли музыкальные инструменты, и королева велела начать танец, причем вести за собою танцоров было поручено Лауретте, а Эмилии – спеть песню под звуки лютни, на которой должен был играть Дионео. Лауретта, поспешив исполнить приказ королевы, тотчас открыла танец и повела за собой остальных, Эмилия же голосом, исполненным страстной неги, спела песню:

Моя краса дарит мне столько счастья,
Что ни к кому вовек
Уже не в силах воспылать я страстью

Увидев в зеркале свои черты,
Я прихожу в такое восхищенье,
Что ни воспоминанья, ни мечты
Острее дать не могут наслажденья.
Я не ищу другого увлеченья:
Ничто меня вовек
Не преисполнит столь безмерной страстью.

Меня мое блаженство не бежит.
Когда хочу утешиться им снова,
Оно само навстречу мне спешит,
Суля минуту торжества такого,
Что выразить его не властно слово
И что его вовек
Тот не поймет, кто не сгорает страстью.

Чем пристальней в себя вперяю взгляд,
Тем для меня дороже и милее
Ниспосланный мне от рожденья клад,
Тем пламенней надежду я лелею.
Что взыскана судьбою всех щедрее,
Что никому вовек
Не довелось такой упиться страстью[1].

Этой песне все весело подпевали, хотя кое-кого она и заставила призадуматься над ее словами, а затем, когда пение кончилось, было исполнено еще несколько быстрых танцев, и так незаметно пролетела часть и без того короткой ночи, что заставило королеву положить конец первому дню. Распорядившись зажечь факелы, она велела мужчинам и дамам пойти отдохнуть до утра, и все разошлись по своим покоям.

1 Перевод стихов в “Декамероне” принадлежит Ю Корнееву.

Кончился первый день
ДЕКАМЕРОНА,
начинается второй.
В день правления
ФИЛОМЕНЫ
предлагаются вниманию
рассказы о том,
как для людей,
подвергавшихся
многоразличным испытаниям
в конце концов,
сверх всякого ожидания,
все хорошо
кончалось

Уже солнце все залило светом нового дня и птицы, распевая на зеленых ветках радостные песни, свидетельствовали о том во всеуслышание, когда дамы и трое молодых людей встали, пошли в сад и там долго гуляли по росистой траве, развлекаясь плетеньем красивых венков. А затем все пошло по заведенному вчера обычаю: пока еще было прохладно, закусили, потанцевали, отдохнули, около трех часов встали, отправились по указанию королевы на зеленый лужок и расселись вокруг нее. Прелестная, исполненная очарования, с лавровым венком на голове, королева постояла в раздумье, а затем, окинув взглядом собравшихся, велела начать Нейфиле, и та, не заставив себя упрашивать, с веселым видом повела рассказ.

1

Мартеллино,
прикинувшись убогим, делает вид,
будто его исцелили мощи святого Арриго;
обман обнаружен, его схватывают,
избивают, ему грозит виселица,
но в конце концов
все кончается для него
благополучно

– Милейшие дамы! Нередко тот, кто пытается насмехаться над другими, особливо над предметами священными, смеется себе же во вред и сам же бывает осмеян. В сих мыслях, исполняя повеление королевы – рассказать что-либо на заданную ею тему, я хочу сообщить вам, какая беда стряслась с одним нашим земляком и как потом, сверх всякого его ожидания, все обернулось довольно счастливо для него.

Не так давно жил-был в Тревизо немец по имени Арриго, бедняк, по роду своих занятий – носильщик; при всем при том все знали его за честнейшего, святой жизни человека. Правда ль, нет ли, а только тревизцы уверяли, будто ради его праведности, когда он преставился, в час его кончины все колокола тревизского собора сами собой зазвонили. Сочтя это чудом, все признали его за святого. Когда же народ со всех концов города притек к дому, где лежало его тело, то оно с почестями, приличествующими мощам святого, было перенесено в собор, и туда начали приводить

калек, хромцов, слепцов, всех болящих и порченых, как будто одно прикосновение к его телу должно было исцелить их.

Случилось, однако ж, так, что во время всей этой сутолоки и столпотворения в Тревизо прибыли трое наших земляков, из коих одного звали Стекки, другого – Мартеллино, а третьего – Маркезе; все трое занимались тем, что ходили к знатным господам и необычайным своим искусством кого угодно передразнивать забавляли зрителей. Здесь они никогда прежде не были, подивились всей этой кутерьме и, узнав, что́ тому причиной, решили, что им самим надобно туда пойти и посмотреть.

Остановились они в гостинице, и Маркезе сказал: "Пойдем посмотрим на этого святого. Не знаю только, как мы туда проберемся, – сказывали, что всю площадь заполонили немцы и воины, воинов же градоправитель туда послал во избежание беспорядков, да и церковь, слыхать, битком набита, так что не протолкаешься".

Мартеллино страх как хотелось на все это поглядеть, и он сказал: "Подумаешь, какое дело! Чтобы я да не пробился к мощам? Быть того не может".

"Каким образом?" – осведомился Маркезе.

Мартеллино же ему ответил: "Сейчас скажу. Я притворюсь убогим, а ты и Стекки поддерживайте меня с двух сторон, как будто я сам ходить не могу, и делайте вид, что ведете меня к тем мощам за исцелением, и тогда всякий, увидев нас, пропустит и даст дорогу".

Маркезе и Стекки одобрили эту затею. Не долго думая, все трое вышли из гостиницы, и в укромном месте Мартеллино ухитрился так вывернуть себе кисти рук, ладони, пальцы, ноги, скосить глаза, искривить рот и все лицо, что на него страшно было смотреть. Никто бы при взгляде на него не усомнился, что это убогий калека. Маркезе и Стекки, подхватив его в этаком виде под руки и напустив на себя крайнее благочестие, повели в собор, кротко, Христовым именем прося расступиться, и все охотно уступали им дорогу. Не в долгом времени, во всех возбуждая участие и

под дружные крики: “Посторонитесь! Посторонитесь!” – добрели они до собора, где покоились останки святого Арриго. Дворяне, теснившиеся вокруг раки, подняли Мартеллино и положили на мощи, дабы на него излилась благодать исцеления. Все на него воззрились, а он немного погодя начал со свойственным ему искусством делать вид, будто разжимает скрюченный палец, потом распрямляет ладонь, потом всю кисть, и, наконец, весь выпрямился. При виде этого народ так восславил святого Арриго, что и удар грома не был бы слышен.

Случайно здесь оказался некий флорентиец, отлично знавший Мартеллино, но не узнавший его сразу, когда тот предстал перед ним этаким страшилищем. Как же скоро Мартеллино распрямился, флорентиец сейчас узнал его и со смехом вскричал: “Ах, чтоб ему пусто было! Ну кто бы, глядя на него, не поверил, что он и впрямь калека!”

Услышав такие речи, иные из толпы спросили: “Как! Разве он не калека?”

Флорентиец же им на это ответил: “Да нет же, черт побери! Всю жизнь он был так же прям, как мы с вами, – он только, в чем вы сами сейчас могли удостовериться, владеет несравненным искусством изображать из себя кого угодно”.

Услышав это, народ без дальних разговоров ринулся напролом с криком: “Держите этого злодея! Он глумится над богом и святыми! Никакой он не калека – он только прикинулся калекой, чтобы насмеяться и над нашим святым, и над нами!” Тут они схватили его, столкнули с гробницы, сорвали те одежды, что на нем были, схватили за волосы – и давай угощать его пинками да тумаками. Кто не принял бы в этом деле участия, тот перестал бы почитать себя за мужчину. Мартеллино вопил: “Смилуйтесь, Христа ради!” – сколько мог, отбивался, но безуспешно: толпа вокруг него все росла. При виде всего этого Стекки и Маркезе шепнули друг другу, что мол, дело плохо, но, боясь за себя, не отважились вступиться за товарища, напротив того: вместе со всеми орали, что его надо убить, однако же втайне шевелили мозгами, как бы это вырвать его из рук толпы, а толпа

наверняка доконала бы его, когда бы Маркезе внезапно не осенило. Бросившись, не помня себя, к страже, оцепившей собор, и обратясь к тому, кто замещал градоправителя, Маркезе крикнул: "Караул! Какой-то мошенник срезал у меня кошелек с доброй сотней золотых флоринов – велите задержать его и вернуть мне мои деньги".

При этих словах двенадцать стражников, нимало не медля, устремились туда, где злосчастного Мартеллино чесали без помощи гребня, и, ценою нечеловеческих усилий протиснувшись, вырвали его, избитого и измолоченного, из рук мучителей и отвели во дворец градоправителя. Сюда же проследовали многие из тех, которые считали, что он их одурачил, и, услышав, что его схватили, как воришку, за неимением более подходящего предлога насолить ему, также начали показывать, что он и у них срезал кошельки. Выслушав показания, жестокосердный судья отвел Мартеллино в сторону и тут же учинил ему допрос. Мартеллино, однако, отшучивался, как будто бы с ним в игрушки играли. Судья рассвирепел и велел поднять его на дыбу, отсчитать столько-то лихих ударов, с тем чтобы вынудить у него признание, а засим вздернуть на виселицу.

Как же скоро Мартеллино спустили с дыбы наземь, судья вновь обратился к нему с вопросом, правду ли показывают против него потерпевшие, и тогда Мартеллино, видя, что запирательство ни к чему не ведет, ответил так: "Государь мой! Я готов повиниться, однако ж прежде пусть каждый укажет, когда и где я срезал у него кошелек, а я вам тогда скажу, что правда, а что неправда".

"Быть по сему", – объявил судья и велел вызвать нескольких истцов, и тут один из них показал, что Мартеллино срезал у него кошелек неделю тому назад, другой – что шесть дней, третий – что четыре дня, а иные – что не далее как сегодня.

Послушав такие речи, Мартеллино сказал: "Государь мой! Все они нагло врут, а вот что я говорю правду, тому у меня есть доказательство: не бывать мне больше в этом городе, если я до нынешнего дня когда-нибудь здесь был. Как же

скоро я сюда прибыл, я, себе на горе, тот же час пошел в собор поглядеть на мощи, и там меня, как видите, и отходили. А что я не лгу, это могут засвидетельствовать состоящее при градоправителе должностное лицо, к коему обязаны являться все вновь прибывшие, его книга и, наконец, хозяин той гостиницы, где я остановился. Так вот, если все это подтвердится, то уж будьте настолько добры, не истязайте меня и не лишайте жизни по настоянию этих мерзавцев".

Между тем Маркезе и Стекки, прослышав, что судья Допрашивает Мартеллино с пристрастием, не на шутку испугались и сказали: "Дали мы маху: сняли его со сковороды, а кинули в огонь". В сих мыслях они пустились на розыски хозяина гостиницы и, сыскав его, все ему обсказали. Тот посмеялся и повел их к некоему Сандро Аголанти, проживавшему в Тревизо и находившемуся в большой чести у градоправителя. Рассказав ему все по порядку, он и его спутники обратились к нему с просьбой заступиться за Мартеллино. Сандро, вволю нахохотавшись, отправился к градоправителю и попросил послать за Мартеллино, что и было исполнено. Посланцы увидели, что Мартеллино стоит перед судьей в одной сорочке, потерянный и устрашенный, ибо судья и слышать не хотел его оправданий; напротив того: питая, как на грех, некоторую неприязнь к флорентийцам, он вознамерился во что бы то ни стало вздернуть Мартеллино на виселицу, а чтобы отослать его к градоправителю — этого он и в мыслях не держал, отослал же он его в конце концов не по доброй воле, а по принуждению. Явившись к градоправителю, Мартеллино все рассказал ему по порядку, а затем попросил в виде особой милости позволить ему отсюда отбыть, ибо, — пояснил он, — пока он не попадет в родную Флоренцию, ему все будет мерещиться петля на шее. От души посмеявшись над этим приключением, градоправитель всем троим подарил по платью, и флорентийцы, сверх всякого ожидания избежав величайшей опасности, целы и невредимы вернулись домой.

2

Ринальдо д'Эсти,
подвергшись ограблению,
добирается до Кастель Гвильельмо
и там обретает приют у некоей вдовы;
будучи вознагражден за понесенные потери,
он цел и невредим возвращается домой

Дамы до упаду хохотали над приключением Мартеллино, о коем рассказала Нейфила; что же до юношей, то всех более рассказ ее насмешил Филострато, и как раз ему-то, сидевшему подле Нейфилы, королева и велела рассказывать. Он же, даром времени не теряя, начал так:

– Приятные дамы! У меня вертится на языке повесть о предметах священных, отчасти сопряженных со злоключениями и с делами сердечными, и, может статься, выслушать ее небесполезно, особливо тем, кто плавает по бурным морям любви, а кто по ним плавает, молитвы же святому Юлиану не прочел, того даже и на мягком ложе плохая ожидает ночевка.

Итак, во времена маркиза Аццо Феррарского некий купец по имени Ринальдо д'Эсти приехал по своим делам в Болонью. Случилось, однако ж, что, устроив дела свои, он на возвратном пути, между Феррарой и Вероной, повстречал незнакомых ему людей, которые смахивали на купцов, тогда как в действительности были разбойники, злодеи и душегубы, а повстречав, имел неосторожность с ними раз-

говориться и к ним примкнуть. Убедившись, что это купец и что он при деньгах, лихие люди положили при первом же удобном случае его ограбить, а дабы у него не возникло ни малейшего подозрения, они вели себя скромно и благопристойно, толковали все только о предметах возвышенных и благородных и, как могли и умели, были по отношению к нему предупредительны и благожелательны, так что Ринальдо почел эту встречу за великую для себя удачу, ибо дотоле он путешествовал в сопровождении одного-единственного верховного слуги. Так, продолжая, свой путь, слово за слово, как это часто бывает, они разговорились, и зашла у них речь о том, как люди молятся богу.

И тут один из разбойников, – а было их всего трое, – обратился к Ринальдо с вопросом: "Ну, а ты, почтеннейший, какую молитву читаешь дорогой?"

Ринальдо же ему на это ответил так: "Откровенно говоря, я человек неотесанный, невежественный, молитв знаю мало, живу по старинке, попросту, звезд с неба не хватаю; со всем тем обычай мой таков: утречком, когда я съезжаю с постоялого двора, я непременно читаю за упокой души родителей святого Юлиана Странноприимца "Отче наш" и "Богородицу", а потом уже молю бога и святого Юлиана о том, чтобы на следующую ночь они даровали мне добрый ночлег. Со мной в пути не раз случались великие напасти – ан глядь: на ночь тебе готовы уютный кров и спокойный ночлег. Вот почему я молюсь святому Юлиану – я твердо верю, что это он испрашивает мне милость у бога. И уж у меня такая примета: ежели я утречком ему не помолюсь, то и пути мне не будет, и ночевки хорошей не жди".

Все тот же разбойник задал ему еще один вопрос: "А нынче-то утром ты молился?"

"А как же!" – отвечал Ринальдо.

Тут разбойник, предугадывавший, какой оборот примет дело, подумал: "Не мешало бы тебе вдругорядь помолиться, а то, если только мы не оплошаем, ночлег у тебя, сдается мне, будет неважный". К нему же он обратился с такими словами: "Я также немало странствовал, однако молитвы

той не читал, несмотря что от многих слыхивал, что она хорошо помогает, и все-таки от беспокойного ночлега меня до сего времени бог миловал. Ужо вечером сам убедишься, кто из нас лучше заночует: ты ли, несмотря что сотворил молитву, или же я, несмотря что не сотворил. Правда, я заместо нее читаю другие молитвы: "Векую, Боже, отринул еси до конца", "Под твою милость" и "Из глубины воззвах", – моя покойная бабушка говорила, что они много помогают".

В таких и тому подобных разговорах продолжали лиходеи свой путь, выбирая подходящее место и время для выполнения злого умысла, и наконец, когда уже смерклось, у переправы через реку, пересекающую дорогу, которая идет от Кастель Гвильельмо они, сообразив, что время позднее а место безлюдное и глухое, напали на купца, ограбили, отобрали у него коня, оставили в одной сорочке и, удаляясь, крикнули: "Вот ты теперь увидишь, как тебя приютит на ночь твой святой Юлиан, а наш святой Юлиан приютит нас со всеми удобствами!" И тут они, переправившись через реку, скрылись из виду.

Слуга Ринальдо, как последний трус, видя, что хозяина грабят, не только не пришел ему на помощь, но поворотил коня, гнал его во весь мах до самого Кастель Гвильельмо, въехал туда уже вечером и, позабыв обо всем на свете, заночевал. Меж тем Ринальдо не знал, как быть: темь, холодище, вьюга, а он босой и в одной сорочке, от холода у него зуб на зуб не попадает, и вот начал он оглядываться по сторонам, нет ли какого пристанища, где бы он мог переночевать и не закоченеть от холода. Ничего такого не обнаружив, ибо во времена недавней войны все как есть в том краю было выжжено, он, гонимый стужей, припустился бегом в Кастель Гвильельмо: он не чаял найти там своего слугу, ибо не знал, куда тот девался, – он надеялся только на милость божью.

Непроглядная ночь застигла его, однако ж, еще в миле от Кастель Гвильельмо. В столь поздний час ворота были уже заперты, мосты подняты, так что проникнуть туда не

представлялось возможным. Удрученный и безутешный, Ринальдо со слезами высматривал, где бы хоть от снега укрыться, И тут-то по счастливой случайности взгляд его уперся в дом с навесом, слегка выступавшим за городскую стену; вот Ринальдо и решился спрятаться под навес и пробыть там до рассвета. Под навесом он нащупал дверь, впрочем запертую изнутри, подостлал у порога валявшейся тут же соломки и, страждущий и унылый, на ней расположился, беспрестанно ропща на святого Юлиана и говоря себе, что по своей вере в него он заслуживает лучшей участи. Между тем святой Юлиан пекся о нем и вскорости уготовал ему приютный кров.

В том пригороде проживала некая вдовушка, красавица писаная, в которой маркиз Аццо души не чаял и которую он здесь держал для своей надобности. А проживала помянутая вдовушка в том самом доме, на крыльце коего приютился Ринальдо. Нужно же было случиться так, что накануне сюда заехал сам маркиз, дабы провести со вдовою ночь, и отдал тайные распоряжения приготовить ванну и отменный ужин. Когда же все было готово и вдовушка с минуты на минуту ожидала маркиза, прискакал гонец и сообщил такие вести, которые принудили маркиза внезапно отбыть. По сему обстоятельству, велев сказать вдовушке, чтобы она не ждала его, он не мешкая тронулся в путь. Вдовушка слегка опечалилась, подумала, подумала и решилась сама принять ванну, приготовленную для маркиза, а засим отужинать и лечь спать. С этим намерением она села в ванну.

Ванная комната находилась недалеко от двери, у которой примостился снаружи злосчастный Ринальдо, — вот почему вдовушка, сидя в ванне, слышала, как тот рыдал и стучал зубами, словно аист — клювом. Наконец хозяйка кликнула служанку и сказала: “Пойди выгляни, кто это там за дверью и что он делает”. Служанка пошла, а так как небо к тому времени расчистилось, то она явственно увидела Ринальдо, сидевшего, как уже было сказано, в одной сорочке, босого и дрожмя дрожавшего. Служанка спросила, кто он

таков. Ринальдо не в силах был унять дрожь и оттого изъяснялся нечленораздельно, и все же он постарался в коротких словах объяснить служанке, что, как и почему, а засим стал просить ее жалобным голосом впустить его под кров, иначе-де он тут замерзнет. Служанка, растроганная, пошла к своей госпоже и все ей рассказала. Госпожа также прониклась к нему жалостью и, вспомнив, что у нее есть ключ от той двери, через которую маркиз иной раз тайно проникал к ней в дом, молвила: "Пойди и тихонько отопри ему. Ужин остался нетронутым, да и места для него хватит".

Служанка, расхвалив госпожу за выказанное ею человеколюбие, пошла отворять. Когда же она впустила Ринальдо, то вдовушка, обратив внимание, что он совсем закоченел, сказала: "Полезай, дружок, в ванну – она еще не остыла". Ринальдо не заставил себя долго упрашивать и, согревшись, почувствовал, что оживает. Вдовушка велела приготовить ему платье своего мужа, незадолго перед тем скончавшегося, и когда Ринальдо в него влез, то оказалось, что оно как будто на него шито, и тут, в ожидании дальнейших распоряжений хозяйки дома, он возблагодарил бога и святого Юлиана за то, что они избавили его от грозившей ему тягостной ночи и привели к тихому, как ему казалось, пристанищу. Немного отдохнув после ванны, госпожа приказала пожарче натопить залу и, войдя в нее, осведомилась, как себя чувствует пришелец.

Служанка же ей на это ответила: "Сударыня! Он уже оделся, собой он хорош и, видать, человек порядочный и обходительный".

"Поди позови его, – молвила вдовушка, – пусть погреется у камелька и поужинает, а то ведь он голодный".

Войдя в залу и увидев даму, которую он принял за даму знатную, Ринальдо низко ей поклонился и горячо поблагодарил за оказанное ему гостеприимство. Увидев и услышав пришельца и уверившись, что служанка ей не солгала, вдовушка радостно приветствовала его и, без церемоний усадив его рядом с собой у огня, начала расспрашивать, что его сюда привело, Ринальдо же рассказал ей все по поряд-

ку. До слуха вдовушки кое-что уже дошло, как скоро в городе появился слуга Ринальдо, и, поверив всему, что Ринальдо ей сообщил, она, в свою очередь, довела до его сведения то, что было ей известно о слуге, присовокупив, что наутро слугу без труда разыщут. Как скоро накрыли на стол, Ринальдо вымыл руки и по желанию хозяйки сел с нею рядом. Росту он был высокого, красив, приятной наружности, статен, изящен, средних лет. Хозяйка несколько раз окинула его взором, и он вполне пришелся ей по нраву, а так как несостоявшееся свидание с маркизом возбудило в ней сладострастные вожделения, то после ужина, когда они встали из-за стола, она спросила служанку, не осудит ли та ее, если она, будучи обманута в своих ожиданиях маркизом, воспользуется благоприятным случаем, ниспосланным ей судьбою.

Служанка, угадав желание госпожи своей, постаралась, как могла и умела, уговорить ее не препятствовать своему желанию. Хозяйка возвратилась в залу, где Ринальдо пребывал в одиночестве, и, поглядывая на него игриво, повела с ним такую речь: "Послушай, Ринальдо: о чем ты задумался? Не о том ли, что тебе не вернуть ни коня, ни платья? Полно, не кручинься, встряхнись и будь как дома. Я тебе больше скажу: как скоро я увидела тебя в платье моего покойного мужа, мне почудилось, что это он, и весь вечер мне, мочи нет, хотелось обнять и поцеловать тебя, и я бы, верно уж, так и сделала, но меня удерживала боязнь прогневить тебя".

Услышав это и заметив, что глаза хозяйки блестят, Ринальдо, не будь дурак, раскрыл объятия и, приблизившись к ней, сказал: "Сударыня! Я всегда буду помнить, что вы меня спасли, что я остался жив только благодаря вам, а посему было бы с моей стороны черной неблагодарностью, ежели бы я в чем-либо вам не угодил. Обнимите же и расцелуйте меня, раз вам того хочется, а уж я вас — с премоим удовольствием".

Оба тут же перешли от слов к делу. Вдовушка, вся пылавшая огнем страсти, так и кинулась к Ринальдо в объятия.

Тесно прижавшись друг к дружке и всласть нацеловавшись, они перешли отсюда в спальню, нимало не медля улеглись и до утра успели многократно и досыта друг дружкою угобзиться. Когда же занялась заря, они, по желанию хозяйки, встали, а дабы никто про это не разнюхал, она снабдила Ринальдо кое-какой рухлядишкой, набила его кошелек деньгами и, взяв с него слово не проболтаться и показав, как пройти в Кастель Гвильельмо, дабы разыскать слугу, выпустила его в ту же самую потайную дверцу, через которую он проник к ней в дом.

Как скоро развиднело, Ринальдо, притворившись, что прибрел издалека, вошел в город, коего ворота были уже растворены, и нашел своего слугу. Только успел он переодеться в свое запасное платье, лежавшее в переметной суме, и собрался сесть на коня слуги, каким-то чудом привели именно в этот город троих разбойников, которые обчистили его накануне и которых вскоре после этого схватили уже за другое преступление. Они во всем повинились, и тогда Ринальдо возвратили и коня, и платье, и деньги, так что он все получил обратно, за исключением подвязок, оттого что разбойники запамятовали, куда они их дели. Возблагодарив за все бога и святого Юлиана, Ринальдо вскочил на коня и цел и невредим возвратился домой. А три разбойника отправились на другой день давать пинки ветру.

3

Трое молодых людей,
промотав достояние свое, обеднели;
их племянник, в отчаянии возвращаясь домой,
знакомится дорогой с неким аббатом и обнаруживает,
что то не аббат, а дочь короля английского;
она выходит за него замуж,
он же восполняет родственникам своим
убыль в деньгах, благодаря чему
они снова разбогатели

Подивились дамы и молодые люди приключениям Ринальдо д'Эсти, похвалили его за набожность и восславили господа бога и святого Юлиана за то, что они спасли его от неминучей гибели. Оценили они также и находчивость женщины, — слыла бестолковой, а сумела-таки воспользоваться тем, что ей бог послал; впрочем, о ней говорилось полушепотом. Меж тем как они, посмеиваясь, толковали о том, как весело провела она ночь, Пампинея, сидевшая подле Филострато, сообразив, что теперь ее очередь рассказывать, в чем она и не ошиблась, углубилась в размышления, а затем, дождавшись повеления королевы, весело и бойко начала рассказывать:

— Достойные дамы! Если мы внимательно приглядимся к колесу Фортуны, то окажется, что чем чаще толкуем мы о ее превратностях, тем больше остается у нас поводов для разговора о ней. И в этом нет ничего удивительного, если

только мы примем в рассуждение, что все, что мы имеем глупость считать своею собственностью, на самом деле принадлежит ей и что, следственно, она по таинственному своему соизволению беспрестанно у одного отнимает, другого оделяет, у этого отнимает, того оделяет — в порядке, для нас непостижимом, и так до бесконечности. Хотя это ясно для всех, хотя это подтверждается каждодневно и хотя это уже составило предмет иных из прослушанных нами повестей, со всем тем, коль скоро королева изъявила желание, чтобы мы продолжали рассуждать об этом предмете, то я, может статься, не без пользы для слушателей, прибавлю к ранее рассказанным и свою повесть, в надежде, что она придется вам по душе.

Жил-был некогда в нашем городе дворянин, мессер Тебальдо, как утверждают некоторые — из рода Ламберти, другие же стоят на том, что он — из рода Аголанти, а исходят они в своем умозаключении, по всей вероятности, из того, чем занимались впоследствии его сыновья, чем занимались все Аголанти прежде и чем занимаются они и поныне, нежели из чего-либо другого. Оставим, однако ж, в стороне вопрос о том, какому из двух родов обязан своим происхождением мессер Тебальдо; надобно вам знать, что у Тебальдо, преизрядного богача, было три сына: старшего звали Ламберто, среднего — Тебальдо, а младшего — Аголанте, все трое — пригожие, статные юноши, из коих старшему не исполнилось еще восемнадцати, когда умер богач мессер Тебальдо, завещав сыновьям, законным своим наследникам, все имущество, как движимое, так равно и недвижимое. Оказавшись владельцами несчетной казны и богатейших поместий, они, ни в чем себе не отказывая, принялись направо и налево сорить деньгами: окружили себя многочисленною челядью, держали множество знатных коней, собак, птиц, вели жизнь открытую, делали подарки, устраивали турниры, вели себя не так, как подобает людям благородного происхождения, а как ведут себя взбалмошные юнцы. Продолжалось это, впрочем, недолго, отцовские денежки начали таять, расходы превышали доход, а потому

они начали продавать и закладывать свои поместья. Нынче продадут одно, завтра – другое, не успели оглянуться, как у них почти уже ничего не осталось, и наконец нищета сняла с их очей повязку, которую наложило на них богатство.

В сих обстоятельствах Ламберто позвал однажды обоих братьев и заговорил о том, в каком почете пребывал их отец и до чего дошли они, как он был богат и до какого оскудения довело их безрассудное мотовство. И сумел он уговорить их, прежде нежели бедственное их положение обнаружится, распродать остатки и уехать. Так они и сделали: ни с кем не простившись, тайно покинули Флоренцию и, по дороге нигде не задерживаясь, прибыли в Англию. В Лондоне они сняли домишко и, во всем себя урезая, заделались завзятыми ростовщиками. И Фортуна столь им благоприятствовала, что в короткий срок они изрядно нажились. Благодаря этому они смогли один за другим возвратиться во Флоренцию и мало того, что выкупили большую часть своих имений, но еще и новые прикупили, и все трое женились. Не желая прикрывать свою контору в Англии, они вверили ее попечениям юного своего племянника по имени Алессандро, сами же остались во Флоренции и, позабыв, до какой крайности довел их однажды беспорядочный образ жизни, и не думая о том, что теперь они уже люди семейные, принялись транжирить пуще прежнего, благо любой купец поверил бы им теперь в долг какую угодно сумму. Покрывать расходы помогал им несколько лет подряд Алессандро, с большою для себя выгодой дававший баронам деньги в рост под залог их замков, а равно и других доходов. Итак, три брата жили широко и при нехватке денег, уповая на Англию, брали взаймы, как вдруг в Англии неожиданно для всех вспыхнула война между королем и его сыном, вследствие чего весь остров был раздираем междоусобием: одни стояли за короля, другие – за его сына, все баронские замки были у Алессандро отобраны, и ему нечем стало жить. В надежде на то, что отец с сыном не нынче-завтра замирятся и что ему возвратят и капитал и рост, Алессандро острова не покидал, меж тем как дяди его

продолжали тратить на себя во Флоренции уйму денег, а долги их с каждым днем все росли. События, происшедшие в Англии, их надежд не оправдали, и все три брата не только утратили кредит, но и были внезапно схвачены, ибо заимодавцы требовали удовлетворения. Имений на уплату долгов не хватило, а потому братья как несостоятельные должники остались сидеть в тюрьме, а их жены с малолетними детьми совсем захудали и, не чая выбиться из нужды, разбрелись по деревням.

Алессандро много лет ждал, что в Англии настанет наконец мир, однако ж, видя, что мира все нет как нет, и рассудив, что оставаться ему здесь долее и небезопасно и бесполезно, положил возвратиться в Италию и один, без спутников, пустился в дорогу. Случилось, однако ж, так, что когда он выезжал из Брюгге, внимание его обратил на себя аббат-бенедиктинец, также выезжавший из Брюгге в сопровождении множества монахов, множества слуг и с длинным обозом, ехавшим впереди. Следом за аббатом ехали два престарелых рыцаря, находившихся в родстве с королем; Алессандро с ними познакомился, и они любезно предложили Алессандро сопутствовать им. Дорогою Алессандро вежливо обратился к ним с вопросом, что это за монахи едут впереди в сопровождении стольких слуг и куда они путь держат. На это ему один из рыцарей ответил так: "Тот, что впереди едет, – это юный наш родственник, его недавно назначили настоятелем одного из самых больших монастырей во всей Англии. Дело, однако ж, состоит в том, что он моложе, чем полагается по уставу, и вот мы едем с ним в Рим просить святейшего владыку, невзирая на молодые лета нашего сродника, в должности настоятеля его утвердить. Но об этом никому не нужно сказывать".

Вновь назначенный аббат ехал то впереди, то позади своей свиты, как это обыкновенно водится у господ, что мы имеем возможность наблюдать ежедневно, и вдруг увидел Алессандро, юного, статного, пригожего, в высшей степени приятного, привлекательного, обворожительного. С первого взгляда он так очаровал аббата, как это никому еще

доселе не удавалось. Подозвав же его, аббат любезно заговорил с ним и осведомился, кто он таков, откуда и куда путь держит. Алессандро, удовлетворив его любопытство, рассказал ему про себя все без утайки и изъявил готовность по мере скромных сил своих ему служить. Послушав его прекрасные и разумные речи, уверившись в его обходительности и придя к заключению, что род занятий у него постыдный, а сам-то он человек благородный, аббат исполнился к нему еще более пылкой приязни. Он посочувствовал его горю, утешал его, как друг, и уговаривал не терять надежды, ибо он-де человек достойный, и господь вновь вознесет его туда, откуда судьба его низвергла, и даже еще выше. Узнав, что Алессандро едет в Тоскану, аббат попросил его об одолжении продолжить путь совместно, ибо и он направлялся туда же. Алессандро поблагодарил его за сочувствие, примолвив, что готов к его услугам.

Аббат поехал дальше, и дорогой сердечное влечение его к Алессандро все росло, а несколько дней спустя прибыли они в некое селение, где насчет приюта дело обстояло неважно. Аббат, однако ж, порешил здесь заночевать; Алессандро устроил его в доме одного своего приятеля и попросил отвести аббату наиболее удобное помещение. Приняв на себя обязанности аббатова эконома, он по знакомству разместил по разным домам всех, кто состоял при аббате, а когда аббат отужинал и все за поздним временем пошли спать, Алессандро спросил хозяина, где ему лечь.

Хозяин ему на это ответил: “Право, не знаю. Сам видишь: у нас тут все полно, я и мои домочадцы будем нынче спать на голых досках. Впрочем, в той горнице, где аббат, стоят лари, — я тебя туда отведу и что-нибудь найду постелить, а уж ты не обессудь, ведь всего одна ночка, как-нибудь да переспишь”.

Алессандро же ему на это возразил: “Как я пройду к аббату в горницу? Ты же знаешь, как она мала, — из-за тесноты мы никого из монахов не могли туда поместить. Кабы знато дело, я, когда все располагались на ночлег, уложил бы монахов на ларях, а сам пошел бы спать в их помещение”.

Хозяин же ему сказал: "Это мы уладим. Ты только не упрямься, а расположиться ты там сможешь как нельзя лучше. Аббат спит, полог спущен, я туда прошмыгну, тюфячок тебе положу – ложись и спи".

Убедившись, что все это можно проделать, никак не обеспокоив аббата, Алессандро изъявил согласие и тихохонько улегся. Аббат между тем не спал – ему не давала покою внезапно овладевшая им страсть, по каковой причине он слышал весь разговор хозяина с Алессандро и из него узнал, где Алессандро устроился на ночлег. Взыграв духом, он сказал себе: "Сам господь благоприятствует исполнению моих желаний. Если сейчас этот случай упустишь, то другого такого может и не представиться". Порешив во что бы то ни стало сим случаем воспользоваться, аббат прислушался и, уверившись, что в доме совершенная воцарилась тишина, он шепотом окликнул Алессандро и предложил ему лечь рядом с собою. Тот долго отнекивался, но в конце концов разделся и лег. Аббат положил ему руку на грудь и начал ее гладить, как обыкновенно ласкают влюбленные юноши своих подружек, отчего Алессандро в крайнее пришел изумление и заподозрил аббата в извращенности чувств, которая, мол, и побуждает его к такого рода ласкам. Аббат то ли сам догадался, то ли Алессандро выдал себя каким-либо движением, но только подозрения Алессандро от аббата не укрылись – он усмехнулся, в мгновение ока скинул сорочку, схватил Алессандро за руку и, положив ее себе на грудь, молвил: "Выкинь из головы вздор, Алессандро, потрогай вот тут – и тогда узнаешь, что я таю под покровами". Положив руку на грудь аббата, Алессандро нащупал две округлости, упругие и гладкие, словно выточенные из слоновой кости. Нащупав же их и тотчас догадавшись, что это женщина, Алессандро, не дожидаясь более понуждения, обнял ее и хотел было поцеловать, но она обратилась к нему с такими словами: "Выслушай меня, прежде чем сближаться со мною. Как видишь, я – женщина, а не мужчина. Девицею выехав из дому, я поехала к папе с тем, чтобы он выдал меня замуж. На твое счастье или же на мое не-

счастье, стоило тебе впервые явиться моим очам, и я пленилась тобою так, как еще ни одна женщина не пленялась мужчиной. Ни за кого бы я так страстно не мечтала выйти замуж, как за тебя. Если же ты не хочешь на мне жениться, то сей же час оставь мое ложе и иди к себе". Алессандро не знал доподлинно, кто она, мог предположить, что она и богата и родовита, а что она раскрасавица, это он видел явственно. Вот почему он без однако ж, судя по многочисленной свите, ее сопровождавшей, дальних размышлений ответил, что если ей так благоугодно, то уж ему-то лучшего и желать нечего. Тогда она села на своей постели и, надев ему на палец кольцо, велела поклясться, глядя на распятье, пред лицом божиим, что он будет ее супругом. Засим они заключили друг друга в объятия и, к великому обоюдному удовольствию, остаток ночи предавались любовным утехам. Под утро, сговорившись с нею, как ему быть и вести себя в дальнейшем, Алессандро встал с постели, вышел из горницы крадучись, как и вошел, благодаря чему для всех так и осталось тайной, где он проспал эту ночь, а немного погодя, не чуя ног под собою от радости, поехал дальше совместно с аббатом и его свитой и спустя несколько дней прибыл в Рим.

Отдохнув после дороги, аббат с двумя рыцарями и Алессандро явился прямо к папе и, изъявив ему свое почтение, начал так: "Святейший владыка! Вам лучше, чем кому-либо еще, должно быть известно, что всякому человеку, желающему праведно и честно прожить свою жизнь, надлежит по возможности избегать малейшего повода, который мог бы принудить его сбиться с пути истинного. Вот почему я, намеревающаяся прожить свою жизнь честно, дабы исполнить свой нравственный долг во всей его полноте, сбежала в одежде, которую вы на мне видите, – сбежала, захватив с собою большую часть сокровищ моего отца, короля английского, собиравшегося отдать меня, совсем еще, как видите, юную, за дряхлого старика, короля шотландского, и направила путь свой к вам, дабы вы, ваше святейшество, выдали меня замуж. На побег же меня толкнула не столько

дряхлость короля шотландского, сколько боязнь, в случае, если б я за него вышла, совершить по молодости лет что-либо противное закону господнему и пятнающее честь королевского рода моего отца. А так как един бог в точности знает, что каждому человеку надобно, то, когда я в сих мыслях направлялась к вам, он по милосердию своему представил моему взору юношу, которого ему, думается мне, и угодно назначить мне в супруги. Этот самый юноша стоит сейчас рядом со мной. – Тут она указала на Алессандро. – Качества его души и его добродетели таковы, что он мог бы составить партию наизнатнейшей даме, хотя, может статься, в жилах его течет и не королевская кровь. Я отдала ему предпочтение, я хочу, чтоб он был моим мужем, и ни за кого другого не пойду – наперекор воле родительской и чьей угодно. Таким образом, главный повод для моего путешествия отпал, но я все же решилась достигнуть конечной его цели как для того, чтобы посетить святые и чтимые места, коих так много в этом городе, посетить вас, ваше святейшество, так и для того, чтобы брачный союз, который мы с Алессандро заключили лишь пред лицом божиим, был дополнительно заключен в вашем присутствии, а равно и в присутствии других свидетелей. Вот почему я смиренно молю вас отнестись благосклонно к тому, что угодно богу и мне, и дать нам свое благословение, дабы с сим верным знаком благоволения к нам того, чьим наместником вы являетесь, мы неразлучно прожили положенные нам дни во славу божию и во славу вашу".

Подивился Алессандро, узнав, что его супруга – дочь короля английского, и несказанно возрадовался духом; однако ж в еще большее изумление пришли оба рыцаря и до того разъярились, что если б тут не было папы, они нанесли бы оскорбление Алессандро, а может статься, и даме. Подивился, должно заметить, и папа – как наряду просительницы, так и ее выбору, однако ж, поняв, что упущенного не воротишь, соблаговолил исполнить ее просьбу. Первым делом, видя, как ярятся рыцари, он поспешил их успокоить и помирить с дамой и Алессандро, а затем отдал надлежащие

распоряжения. В назначенный им день, когда собрались по его приглашению на великое торжество кардиналы и многие другие знатные люди, он велел позвать даму, одетую по-царски и такую красивую и такую прелестную, что все не могли нахвалиться ею, а вместе с нею и Алессандро, также нарядно одетого, обличьем своим и обхождением напоминавшего не молодчика, занимавшегося ростовщичеством, а скорее похожего на королевича, тем более что оба рыцаря оказывали ему великий почет. Затем папа велел торжественно совершить бракосочетание, и после того как была отпразднована пышная свадьба, благословил новобрачных и отпустил их с миром.

По желанию Алессандро, а также и его супруги, они из Рима проследовали во Флоренцию, куда слухи о них успели уже долететь. Здесь граждане воздали им великие почести. Жена Алессандро уплатила за троих братьев долги и велела выпустить их на свободу и вернуть им и их женам поместья. Вызвав этим всеобщее восхищение, Алессандро и его супруга взяли с собой Аголанте, выехали в Париж, и там король принял их с честью. Рыцари же возвратились в Англию и так сумели воздействовать на короля, что он простил дочь свою, и когда она и его зять прибыли в Англию, он по случаю их приезда устроил пышное празднество, а малое время спустя с необычайной торжественностью посвятил зятя в рыцари и пожаловал ему графство Корнуэллское. Зять же оказался человеком столь добропорядочным и столь деятельным, что ему удалось примирить сына с отцом, после чего остров вновь стал благоденствовать, а он стяжал себе любовь и благоволение жителей; что же касается Аголанте, то ему вернули все, что было у него отобрано, и, после того как граф Алессандро посвятил его в рыцари, он возвратился во Флоренцию таким же богатым, как и был. Граф и его супруга зажили на славу, и, сказывают, граф, отчасти благодаря мудрости своей и отваге, отчасти благодаря содействию тестя, покорил Шотландию и был возведен на ее престол.

4

Ландольфо Руфоло,
впав в нищету, становится корсаром;
будучи взят в плен генуэзцами,
он терпит бедствие на море,
спасается на ящике с драгоценностями,
находит приют у одной женщины в Корфу,
а затем богатым человеком
возвращается домой

Рядом с Пампинеей сидела Лауретта; как скоро Пампинея дошла до благополучного конца своей повести, она, не дожидаясь особого приглашения, повела свой рассказ таким образом:

– Обворожительнейшие дамы! Ни на ком, по моему разумению, так наглядно не проявляется милость Фортуны, как на человеке, из крайней нищеты вознесшемся до титула королевского, – об этом свидетельствует участь Алессандро, о которой нам поведала Пампинея. Тем из нас, кому еще предстоит рассказывать, надлежит строго придерживаться установленных рамок, а потому я не постыжусь рассказать вам одну повесть, несмотря на то, что она заключает в себе еще более тяжкие испытания, развязка же ее не столь счастлива. Я знаю, что, приняв это обстоятельство в соображение, вы будете не столь внимательно меня слушать, но ничего другого я вам предложить не могу, так что уж не взыщите.

Морское побережье от Реджо до Гаэты почитается едва ли не самой живописной частью Италии. На так называемом Амальфитанском берегу, начинающемся от Салерно, утопают в садах городки, текут ручьи; в городках проживают состоятельные люди, у которых торговля идет бойчее, чем где бы то ни было. Один из этих городков носит название Равелло, где и сейчас еще можно сыскать людей богатых и где в былые времена проживал страшный богач, по имени Ландольфо Руфоло, и ему все еще было мало, однако ж б погоне за крупной наживой он мало того что разорился, но и чуть было не погиб. Словом сказать, он, предварительно все рассчитав, как это водится у купцов, приобрел преогромный корабль, накупил за наличные деньги разного товару, нагрузил его на корабль и отбыл на Кипр. Здесь он обнаружил суда с таким же точно товаром, как и у него, и по сему случаю, когда он попробовал сбыть свой товар, то сбыл он его даже не по дешевке, а прямо-таки за бесценок и близок был к совершенному разорению. Удрученный тем, что в короткий срок превратился из богатея почти что в бедняка, он пребывал в смятении, а затем порешил либо погибнуть, либо возместить убытки грабежом, но только не возвращаться нищим туда, откуда выехал богатеем. Найдя покупателя на свой большой корабль, он на полученные деньги, а также на те, что ему удалось выручить за проданный товар, приобрел корсарское суденышко, снабдил его изрядным количеством оружия, а равно и всем, что необходимо для подобного рода занятий, и начал присваивать чужое имущество, главным образом — турецкое.

С корсарством ему повезло гораздо больше, чем с торговлей. За год он захватил и ограбил так много турецких кораблей, что благодаря этому с лихвой возместил убытки, понесенные им от дел торговых. Наученный горем первой утраты и настолько разбогатевший, чтобы уж больше не рисковать, а то, мол, как бы не потерпеть урон вторично, он себя убедил, что теперь с него хватит, больше ему, дескать, и желать нечего, и положил с награбленным добром

возвратиться домой. Однако же идти с товаром он почел делом небезопасным и поспешил распродать его, а деньги превратить в ценности, и, приказав ударить в весла, на том самом суденышке, на котором он разжился, отправился в родные края. Вечером, когда он уже находился вблизи архипелага, вдруг поднялся сирокко, не только ему противный, но и до того сильный, что море разбушевалось, и на своем утлом суденышке он бы долго не продержался, а потому рассудил за благо, в надежде дождаться ветра попутного, зайти в бухту, образованную островком и укрытую от бурь. В непродолжительном времени, преодолев сопротивление ветра, сюда вошли, спасаясь от того же, от чего спасался и Ландольфо, направлявшиеся из Константинополя две большие генуэзские барки. Увидев суденышко и сведав, кто его хозяин, – а про него ходила молва, что богат он несметно, – генуэзцы, народ хищный и жадный до денег, вознамерились преградить Ландольфову суденышку выход и захватить его. С этой целью они часть своей команды, вооруженной самострелами и хорошо защищенной, высадили на сушу и расставили так, что никто с Ландольфова судна не мог ступить на берег, не рискуя быть пронзенным стрелами. Прочие, в шлюпках, подгоняемые течением, приблизились к Ландольфову малому суденышку и малое время спустя ценою малых усилий, без всяких потерь им овладели, а команду, всю как есть, перебили; самого Ландольфо они переправили на одну из своих барок, судно же его обобрали дочиста и затопили, а Ландольфо оставили одно только плохонькое полукафтанье.

На другой день ветер переменился, барки вступили под паруса и пошли на запад, и весь тот день прошел для них благополучно. К вечеру, однако ж, задул буйный ветер, взволновал море и разбросал барки. И вот случилось так, что барка, на коей находился несчастный и злополучный Ландольфо, чуть повыше острова Кефалонии со всего маху налетела на отмель и, подобно стеклу, ударившемуся о стену, раскололась и разбилась на мелкие куски. Как обыкновенно в подобных случаях бывает, по морю поплыли раз-

ные товары, ящики, доски, и хотя ночь выдалась темная-претемная, а море кипело и бушевало, потерпевшие крушение горемыки, кто только умел плавать, пустились вплавь и начали хвататься за предметы, качавшиеся на волнах. Среди этих людей был и несчастный Ландольфо; он еще накануне просил себе смерти, ибо предпочитал умереть, нежели возвратиться домой нищим, но когда он увидел смерть лицом к лицу, то устрашился и тоже уцепился за первую попавшуюся доску в надежде на то, что если он сразу не пойдет ко дну, то господь пошлет ему избавление. Оседлав доску и сделавшись игралищем морских валов и ветра, он кое-как продержался до зари. А когда рассвело и он посмотрел вокруг, то ничего, кроме облаков и моря, не увидал, да еще носившегося по волнам ящика, который время от времени к нему приближался, наводя на него своим приближением великий страх, ибо ящик, того и гляди, мог налететь на доску и потопить его, – вот почему всякий раз, когда ящик подплывал к Ландольфо, он слабеющею рукою старался как можно дальше его оттолкнуть. Меж тем как он предпринимал сверхъестественные усилия, в воздухе закружился вихрь и, обрушившись на море, с такой силой налетел на ящик, что ящик, в свою очередь, ударился о доску, на которой держался Ландольфо, и она перевернулась, Ландольфо же, невольно выпустив ее из рук, скрылся под водой, но тут же не столько благодаря своим усилиям, сколько от страха вынырнул и обнаружил, что доска от него далеко-далеко; тогда он, видя, что ему ее не достать, подплыл к ящику, который был к нему ближе, лег ничком на его крышку, и теперь все его старания были направлены к тому, чтобы обеими руками поддерживать ящик в равновесии. В сих обстоятельствах, являя собою игралище волн, голодая, ибо есть ему было нечего, зато поминутно захлебываясь морскою водой, не имея понятия, где он находится, и ничего не видя, кроме моря, провел он весь тот день и следующую ночь.

На другой день, то ли по милости божьей, то ли по воле ветра, Ландольфо, превратившегося почти что в губку и

крепко державшегося обеими руками за край ящика, как то, сколько нам известно, делают все утопающие, которые ухватываются за что ни попало, в конце концов прибило к берегу острова Корфу, а в это время на берегу по счастливой случайности одна бедная женщина мыла морской водой посуду и чистила ее песком. Заметив его еще издали, но не признав за человека, она вскрикнула и попятилась назад. От слабости Ландольфо не мог окликнуть ее, видел он плохо, и так ничего и не сказал ей. Но когда волна погнала его к берегу, женщина разглядела, что это плывет ящик, а всмотревшись и вглядевшись пристальнее, прежде всего различила руки, распростертые на ящике, затем лицо и тут только догадалась, что же это такое. Движимая состраданием, она вошла в уже приутихшее море и, схватив Ландольфо за волосы, вместе с ящиком вытащила на берег, а затем, с трудом расцепив Ландольфовы руки, поставила ящик на голову своей дочке, которая была при ней, Ландольфо же, как малого ребенка, понесла к себе домой, посадила в ванну и давай его тереть и мыть горячей водой, так что он скоро согрелся и ожил. Удостоверившись в том, она вынула его из ванны, попотчевала добрым вином и печеньем, а затем несколько дней держала у себя, стараясь укрепить его силы, пока он не восстановил их и не опамятовался. Тогда добрая женщина порешила возвратить ему в целости и сохранности ящик и сказать, что теперь он уже может сам позаботиться о себе. И так она и поступила.

Ландольфо успел позабыть про ящик, но когда добрая женщина принесла его, он все-таки его взял в расчете на то, что не может же быть в нем так мало ценностей, чтобы ему хотя бы несколько дней на них не просуществовать, однако же ящик был до того легковесен, что Ландольфо приуныл. Со всем тем в отсутствие хозяйки он вскрыл ящик, чтобы поглядеть, что там внутри, и обнаружил множество драгоценных камней, как отшлифованных, так и не отшлифованных, — в чем, в чем, а в камнях Ландольфо толк понимал. Итак, рассмотрев камни и определив, что они представляют собою ценность немалую, Ландольфо возблагодарил бо-

га, не оставившего его в беде, и воспрянул духом. Но так как Ландольфо за короткое время дважды подвергался ударам судьбы, то, боясь третьего удара, он решился принять все меры предосторожности, дабы благополучно доставить драгоценности домой. Того ради он с крайним тщанием завернул их в тряпье, а доброй женщине сказал, что ящик ему не нужен, – пусть она, если хочет, возьмет его себе, а ему взамен даст мешок.

Добрая женщина охотно его просьбу исполнила, он же, поблагодарив ее от всего сердца за оказанное гостеприимство, взвалил мешок на плечи, вышел к морю, сел на корабль и добрался до Бриндизи, оттуда, в виду берега, до Трани и тут повстречал своих земляков, торговцев сукном, которые – после того как он поведал им все свои злоключения, умолчав лишь о ящике, – Христа ради одели его в свое платье, а кроме того, наделили конем и дали провожатых до самого Равелло, куда он непременно желал возвратиться.

Почувствовав себя здесь в совершенной безопасности и возблагодарив бога за то, что он привел его в родной город, Ландольфо развязал дома мешок и, еще внимательнее все рассмотрев, пришел к заключению, что у него столько камней и таких дорогих, что если он продаст эти камни по их действительной стоимости и даже дешевле, то станет вдвое богаче, чем до отъезда. И как скоро ему представился случай продать драгоценные камни, он в благодарность за свое спасение послал изрядную сумму денег в Корфу той доброй женщине, что не дала ему потонуть в море, и так же точно поступил с теми, кто приодел его в Трани, и, не захотев больше торговать, на остаток честно прожил остаток жизни.

5

Андреуччо из Перуджи,
приехал в Неаполь покупать лошадей,
в течение одной ночи
подвергся трем опасностям
и, всех трех избежав,
возвращается домой
владельцем рубина

– Те камни, что обнаружил Ландольфо, – так начала Фьямметта, до которой дошла очередь рассказывать, – привели мне на память повесть, заключающую в себе не меньше опасных приключений, нежели повесть Лауретты, но отличающуюся от нее тем, что в ее повести несчастья случались, должно полагать, на протяжении нескольких лет, а у меня они случаются на протяжении всего одной ночи, о чем вы сейчас и услышите.

Сколько мне известно, жил-был в Перудже некий юноша по имени Андреуччо ди Пьетро, по роду занятий своих – лошадник. Сведав, что в Неаполе кони дешевы, он, хоть и никогда прежде из дому не выезжал, положил в карман кошелек с пятьюстами золотых флоринов и вместе с другими купцами отправился в Неаполь. Прибыв туда в воскресенье под вечер и расспросив обо всем своего хозяина, он наутро пошел на Рыночную площадь, увидел множество добрых коней, так что у него глаза разбежались, прицενился к одному, к другому, но в цене не сошелся, а чтобы показать, что

ом в самом деле намерен купить коня, неопытный и неосторожный Андреуччо каждый раз доставал из кармана кошелек с флоринами напоказ сновавшему люду. Случилось, однако ж, так, что, пока он торговался и всем показывал свой кошелек, некая юная сицилийка, первейшая красавица, готовая, однако ж, всякому угодить за самое скромное вознаграждение, прошла мимо него, и он-то ее не заметил, а она-то его кошелек заметила, а заметив, тут же сказала себе: "Если б эти деньги достались мне, то уж я бы себе ни в чем отказу не знала!" И пошла дальше. С девицей шла старушка, тоже сицилийка, и как увидела она Андреуччо, тотчас бросила свою спутницу и крепко его обняла. Девица же молча отошла в сторонку и начала поджидать ее. Андреуччо оглянулся и, узнав старушку, обрадовался ей чрезвычайно, она же, не тратя лишних слов и пообещав зайти к нему в гостиницу, пошла своей дорогой, после чего Андреуччо снова начал приторговывать себе коня, но в то утро все старания его остались безуспешны. Меж тем девица, чье внимание привлек к себе сначала кошелек Андреуччо, а потом его знакомство со старушкой, задалась целью сыскать способ завладеть всеми его деньгами или, на худой конец, хотя бы их частью, и того ради принялась осторожно выведывать у старушки, кто он таков и откуда, что он здесь делает и где они познакомились. Старушка рассказала ей про Андреуччо почти так же подробно, как он сам мог бы о себе рассказать, оттого что она долго жила в услужении у его отца, сначала в Сицилии, а потом и в Перудже; сверх того, она сообщила ей, где он остановился и зачем прибыл.

Получив достоверные сведения обо всех родственниках его и о том, как их зовут, девица именно на этом хитроумно и основала корыстолюбивый расчет свой. Возвратившись домой, она нарочно задала старушке работы на целый день, чтобы той некогда было сходить к Андреуччо, и, позвав служанку, великую мастерицу оказывать подобного рода услуги, под вечер послала ее в гостиницу, где остановился Андреуччо. Придя, наперсница случайно столкнулась с ним в дверях; он был один, и она у него же про него и спро-

сила. Андреуччо ответил, что он, мол, самый и есть; тогда она отвела его в сторону и сказала: "Мессер! Если вы ничего не имеете против, одна здешняя знатная дама хотела бы с вами побеседовать". Услышав это, Андреуччо призадумался: будучи высокого мнения о своей наружности, он вообразил, что дама в него влюбилась, как будто на нем свет клином сошелся, и поспешил ответить, что рад был бы с нею встретиться, но только где и когда?

Служанка же ему на это сказала: "Не угодно ли вам, мессер, следовать за мною? Она ждет вас у себя".

Андреуччо ничего не сказал в гостинице и тотчас же обратился к служанке: "Иди, а я за тобой".

В конце концов служанка привела его к дому своей хозяйки, проживавшей на улице под названием Труба, хотя лучше было бы назвать ее не Труба, а Трущоба – такое это было злачное место. Ничего о том не ведая и ничего не подозревая, убежденный, что идет по самой что ни на есть барской улице к прелестной даме, Андреуччо, пропустив вперед служанку, доверчиво вошел к ней в дом, поднялся по лестнице и, когда служанка позвала свою госпожу и объявила: "А вот и Андреуччо!" – увидел ее, вышедшую к нему навстречу и остановившуюся в ожидании на верху лестницы.

То была еще совсем юная особа, статная, пригожая, одетая и убранная с благопристойною роскошью. Андреуччо двинулся к ней, она же, раскрыв объятия, спустилась на три ступеньки и, обвив его шею руками, некоторое время стояла молча, как бы в избытке чувств; затем, со слезами на глазах, поцеловала его в лоб и прерывающимся от волнения голосом проговорила: "Добро пожаловать, мой Андреуччо!"

Озадаченный столь нежными ласками, Андреуччо в крайнем замешательстве вымолвил: "Рад вас видеть, сударыня".

Тогда она, взяв его за руку. повела наверх, к себе в залу, а оттуда, ни слова не говоря, в свою спальню, благоухавшую розами, померанцами и всякими иными ароматами, и тут он увидел пышное ложе под пологом, множество платьев,

висевших, по здешнему обычаю, на вешалках, и всяческое красивое и богатое убранство, – все это его, человека, не видавшего света, долженствовало укрепить в мысли, что перед ним по малой мере важная дама. Как скоро они уселись рядком на скамье у кровати, она обратилась к нему с такими словами:

"Я убеждена, Андреуччо, что тебя приводят в изумление как ласки, которые я тебе расточаю, так и мои слезы, – ведь ты же меня не знаешь и вряд ли когда-либо обо мне слыхал. Но сейчас ты услышишь нечто такое, что приведет тебя в еще большее изумление: знай же, что я – сестра твоя. Поверь: господь явил мне милость неизреченную, ибо я еще при жизни увиделась с одним из моих братьев (а как бы мне хотелось увидеть их всех!), и теперь я готова умереть в любую минуту – такое господь послал мне утешение. Если ты ничего не знаешь, то я тебе сейчас все расскажу. Как тебе должно быть ведомо, наш с тобой отец, Пьетро, долго жил в Палермо, и многие из живших там в ту пору и доныне там проживающих помнят его доброту и услужливость. Но из тех, кто любил его, всех более любила его мать моя, женщина из хорошей семьи и уже тогда вдова, – столь пылко, что, отринув страх перед своим отцом и братьями, не боясь запятнать честь свою, сошлась с ним так близко, что следствием этой их близости произошла на свет я, та самая, которую ты сейчас видишь перед собой. В дальнейшем Пьетро по некоторым обстоятельствам оставил Палермо и возвратился в Перуджу, бросив мою мать с малым ребенком и, сколько мне известно, ни разу ни о ней, ни обо мне и не вспомнив. Не будь он моим отцом, я бы горько его упрекнула за неблагодарность к моей матушке (я уж не говорю о том, как это странно, что он не испытывал никаких чувств ко мне, родной своей дочери, – ведь он же прижил меня не со служанкой и не с гулящей бабенкой), а мать моя отдала ему все, что у нее было, и себя самое, даже не зная, кто он таков, – единственно оттого, что она любила его преданнейшею любовью. Ну да что там говорить! Дурное, да еще давно минувшее, куда легче осудить, чем поправить.

Что было, то было. Он бросил нас в Палермо, когда я была еще крошкой, ну, а потом я вошла в возраст и, чуть помоложе, чем теперь, по желанию матери, женщины состоятельной, вышла замуж за хорошего, происходящего от благородных родителей человека из Агридженто, который ради моей матушки и ради меня переехал на постоянное жительство в Палермо. Будучи ярым гвельфом, он вступил в тайные сношения с нашим королем Карлом. Прежде чем эти сношения к чему-либо привели, про них дознался король Федериго, и вот, как раз когда я мечтала стать наизнатнейшей дамой на всем острове, нам пришлось бежать из Сицилии. Взяли мы с собой немного (сравнительно с тем, что у нас было), побросали имения и дворцы и нашли прибежище в этом городе, и тут король Карл в знак благодарности частично возместил убытки, которые мы из-за него потерпели, пожаловал нас поместьями и домами и постоянно оделяет моего супруга, а твоего зятя крупными суммами денег, в чем ты вскорости удостоверишься. Вот так-то очутилась я здесь и по воле божией, а не по твоей наконец-то увиделась с тобой, драгоценный мой братец!"

С этими словами она снова обняла его и, плача от радости, поцеловала в лоб.

Андреуччо, выслушав сию небылицу, столь складно и искусно рассказанную хозяйкой дома, ни на одном слове не споткнувшейся и не поперхнувшейся, припомнив, что его отец и правда жил одно время в Палермо, зная по себе, сколь ветрены юноши, в цветущие лета ищущие любовных похождений, видя сладостные ее слезы, а равно и скромные поцелуи и объятия, все принял за самую что ни на есть чистую монету и, как скоро хозяйка дома умолкла, повел с ней такую речь: "Сударыня! Было бы странно, если бы ваш рассказ не поверг меня в смущение: мой отец воистину и вправду никогда почему-то ни о вашей матушке, ни о вас не говорил, а если и говорил, то мне, во всяком случае, ничего о том не известно, и я даже не подозревал о вашем существовании. Встретить сестру в чужом городе — это для меня тем более приятная неожиданность. Вы любому

высокопоставленному лицу сделали бы честь своим знакомством, а не то что мне, мелкому торговцу. Сделайте милость, однако ж, объясните мне: откуда вам стало известно, что я здесь?"

Она же ему ответила так: "Я услышала об этом нынче утром от одной бедной женщины, которая часто ко мне ходит, – она говорит, что долго пробыла в услужении у нашего отца в Палермо и в Перудже. Я рассудила, что если ты придешь в мой дом, а не я пойду к тебе в чужой, то так будет приличнее, а то бы я давно уж у тебя побывала".

Затем она начала подробно расспрашивать Андреуччо об его родственниках, перечисляя их всех поименно, и Андреуччо про всех ей рассказал, и эти ее расспросы окончательно укрепили его веру в то, во что ему не след было бы верить.

Беседа затянулась, между тем в спальне было очень жарко, и хозяйка велела принести вина, а к нему сластей и угостить Андреуччо. Когда же настала пора ужинать, Андреуччо собрался уходить, однако ж хозяйка не отпустила его; разыграв отчаяние, она обняла его и сказала: "Какой ужас! Ты меня совсем не любишь – это ясно. Ты первый раз в жизни у сестры, у нее в доме, где тебе и надлежало бы остановиться по приезде, а ты отправляешься ужинать в гостиницу, – нет, это просто неслыханно! Послушай: отужинай со мной! Жаль, конечно, что мужа моего нет дома, ну да уж я употреблю все свое женское уменье и постараюсь тебя ублажить".

Не зная, чем отговориться, Андреуччо сказал: "Я полюбил тебя так, как подобает любить сестру, но если я не вернусь в гостиницу, то меня прождут целый вечер, и это с моей стороны будет неучтиво".

Она же ему на это возразила: "Господи боже мой! Как будто мне некого послать в гостиницу сказать, чтобы тебя не ждали! Впрочем, с твоей стороны было бы любезнее – и даже это был бы прямой твой долг – пригласить своих приятелей отужинать сюда вместе с нами, а после ужина вы бы все вместе и ушли".

Андреуччо ответил, что он и без приятелей охотно проведет вечерок и что пусть, дескать, она располагает им по своему благоусмотрению. Тогда она сделала вид, будто посылает в гостиницу сказать, чтобы к ужину его не ждали. Затем, поговорив о том о сем, они сели за отменный ужин, состоявший из нескольких блюд, и ужин этот она с помощью различных уловок затянула допоздна. Когда же оба встали из-за стола, Андреуччо изъявил желание удалиться, однако же хозяйка объявила, что она ни под каким видом этого не допустит, так как ночью ходить по улицам Неаполя небезопасно, особливо – приезжим, и что она велела сказать в гостинице, чтобы его не ждали не только к ужину, – он, мол, и ночевать не придет. Андреуччо ей поверил, а так как он принимал ее не за то, что она представляла собой на самом деле, то ему было с ней приятно, и он остался. После ужина она не без тайного умысла повела с ним долгую беседу о разных разностях. Беседа эта зашла у них далеко за полночь, и наконец хозяйка, предложив Андреуччо расположиться у нее в комнате и оставив при нем мальчишку, чтобы он показал гостю, если тому что понадобится, вместе со служанками ушла в другую комнату.

Жарища была такая, что Андреуччо тот же час снял с себя полукафтанье, штаны, чулки и остался в одной сорочке. Но тут у него явилась естественная потребность освободить желудок от излишней тяжести, и он спросил мальчика, где это у них тут можно проделать, – мальчик показал на дверцу в углу комнаты и сказал: “Вон там”. Андреуччо, ничего не подозревая, туда вошел и нечаянно наступил на конец доски, другой конец коей был оторван от перекладины, на которой он прежде держался, – доска рухнула, а с нею вместе загремел и Андреуччо, однако, по милости божией, не ушибся, хотя ему все-таки пришлось пролететь некоторое расстояние, зато весь как есть вымазался в нечистотах, коими место сие было обильно. А как оно было устроено, это я, чтобы вы яснее представили себе происшедшее и то, что за сим последовало, сейчас вам объясню. В узком проулке,

как это нам нередко приходится наблюдать, от дома к дому были протянуты две перекладины, к ним были прибиты доски, а на досках сооружено сиденье; вот одна-то из этих досок и свалилась вместе с Андреуччо.

Удрученный случившимся, Андреуччо начал взывать из проулка к мальчику, однако ж мальчик, услышав стук падающего тела, опрометью помчался сообщить о происшествии своей госпоже, – та бросилась в комнату Андреуччо и начала шарить глазами, тут ли его платье; удостоверясь же, что тут и его платье, тут и его деньги, которые он, никому не доверяя, по глупости всюду таскал с собой и которым она, превратись из палермитанки в сестру перуджинца, расставила силки, взяла денежки, заперла дверцу, через которую Андреуччо проник в отхожее место, а потом и думать о нем забыла.

Мальчишка меж тем не отвечал, Андреуччо стал кричать громче – ответа вновь не последовало. Вот когда у Андреуччо наконец-то возникло подозрение, и он, хотя и поздно догадавшись, что его облапошили, взобрался на стенку, отделявшую проулок от улицы, а затем спустился, подошел к хорошо ему знакомой двери дома и здесь долго и тщетно кричал, дергал дверь и стучал. Горестно рыдая, как рыдает человек, постигший весь ужас своего положения, он вопил: "Что же я за несчастный! В мгновение ока лишился и пятисот флоринов, и сестры!"

Долго он стенал, а потом изо всех сил заколотил в дверь и так заорал, что многие из ближайших соседей, разбуженные дикими этими криками, вскочили, а одна из служанок хозяйки этого дома, приняв заспанный вид, приблизилась к окну и недовольным тоном спросила: "Кто там?"

"Ты что, не узнаешь? – отозвался Андреуччо. – Я – Андреуччо, брат госпожи Фьордализо".

А та ему: "Ты, милый мой, как видно, лишнего хватил. Ступай проспись, а утром приходи. Я знать не знаю никакого Андреуччо и не могу взять в толк, что ты там мелешь. Уходи подобру-поздорову, не мешай людям спать".

"Уж будто ты не догадываешься, о чем я толкую? — воскликнул Андреуччо. — Еще как догадываешься! Но уж если сицилийцы так скоро забывают родственников, верни мне, по крайности, платье, и я пойду себе с богом".

Служанка, давясь хохотом, проговорила: "Да ты, никак, спятил, мой милый!" — захлопнула окно и скрылась в глубине комнаты.

Тут Андреуччо совершенно удостоверился, что его обобрали, горечь утраты едва не обратила великий его гнев в бешенство, и он решился взять силой то, чего не мог добыть добром; того ради он схватил большой камень и давай опять колошматить в дверь, нанося еще более мощные удары, чем прежде. Многие из соседей, которые уже проснулись и встали, вообразив, что это какой-нибудь грубиян выдумывает всякий вздор, чтобы досадить порядочной женщине, обозленные его стуком, высунулись в окна и залаяли на него, как лают собаки на ту, что забежала не на свою улицу: "Ты что, невежа эдакий, разорался в такой поздний час, честным женщинам покою не даешь своими враками? А ну, милый человек, ступай с богом, дай людям поспать! Коли есть у тебя до нее дело, так приходи завтра, а по ночам не буянь".

То ли эти слова подстрекнули мужчину, находившегося в доме у добропорядочной женщины, ее сводника, которого прежде было видом не видать, слыхом не слыхать, но только он приблизился к окну и гласом громким, грозным и устрашающим возопил: "Кто там?"

Андреуччо поднял голову и, с трудом различив в темноте здоровенного детину с густой черной бородой, который словно только что спал крепким сном и теперь зевал спросонья и протирал глаза, не без тайной робости ему ответил: "Я брат хозяйки дома".

Однако же тот, не дав Андреуччо договорить, еще более злобным голосом промолвил: "А вот я сейчас спущусь и так тебя вздрючу, что ты забудешь, как тебя звали. Осел ты надоедливый, пьянчужка несчастный, всю ночь людям спать не даешь!" Тут он затворил окно и отошел.

Соседи, изучившие нрав этого человека, уже со страхом обратились к Андреуччо: “Ради Христа, милый человек, иди себе с богом, а не то тебя укокошат. Уходи, если тебе жизнь дорога”.

Устрашенный и голосом и обличьем этого человека, проникшись доводами соседей, казалось, искренне сочувствовавших ему, подавленный случившимся, утратив всякую надежду на то, что ему возвратят деньги, Андреуччо тою же дорогой, по которой его вела сюда служанка, пошел в гостиницу. Так как ему самому неприятно было распространяемое им зловоние, то он вознамерился выйти к морю и вымыться и для того повернул налево и пошел по Каталонской улице. И вот когда он шел по направлению к морю, то вдруг увидел, что навстречу ему идут двое с фонарем, и подумал, что это сыщики или же какие-нибудь злоумышленники, и, чтобы не попасться им на глаза, незаметно юркнул в стоявший на отшибе необитаемый дом. Однако те двое, как будто их именно в этот дом и послали, вошли сюда же, и тут один из них свалил с плеч какие-то железные орудия, после чего он и его спутник принялись их рассматривать и обсуждать их достоинства.

Наконец один из вошедших не выдержал и сказал: “Что за черт? Тут так воняет – просто сил никаких нет!” Сказавши это, он приподнял фонарь, и тут они оба узрели беднягу Андреуччо и в изумлении окликнули его: “Ты здесь зачем?”

Андреуччо промолчал, они же, вплотную подойдя к нему с фонарем, спросили, где это он так перемазался и что он здесь делает. Тогда Андреуччо поведал им без утайки все свое злоключение. Те, живо смекнув, где это с ним могло приключиться, сказали друг другу: “Наверно, у мошенника Буттафуоко”.

И тут один из них, обратясь к Андреуччо, молвил: “Хотя, милый человек, у тебя деньги украли, но ты еще должен денно и нощно бога благодарить, что ты провалился, а потом не мог в дом попасть. Можешь быть уверен: если б ты не свалился, то, как бы скоро ты заснул, тебя бы ухлопали,

а тогда уж и денежки и жизнь – все прощай навеки. Слезами горю не поможешь. Легче звезду с неба достать, чем медный грош вернуть. Смотри: никому про это ни гугу, а то он тебя пристукнет".

Сказавши это, они друг с дружкой посовещались, а потом обратились к нему: "Понимаешь: нам тебя жалко стало. Так вот, если ты нам поможешь в одном дельце – даем голову на отсечение: ты с лихвой будешь вознагражден за то, что у себя стащили".

Андреуччо больше терять было нечего, и он ответил согласием.

В тот день состоялись похороны архиепископа Неаполитанского, высокопреосвященнейшего Филиппо Минутоло; похоронили его в драгоценном облачении, с перстнем, в который был вделан рубин, стоивший пятьсот с лишним флоринов, – вот покойника-то эти двое и задумали ограбить и посвятили в свой замысел Андреуччо, а того обуяла жадность, и он без дальних размышлений пошел с ними.

От Андреуччо нестерпимо воняло, и по дороге в архиерейский собор один из его спутников сказал: "Где бы это ему помыться? А то прямо с души воротит".

Другой ему: "Да тут близко колодец с валом и большой бадьей – пойдем и выкупаем его за мое почтение".

Приблизившись к колодцу, они увидели, что веревка на месте, а бадью кто-то унес; по сему обстоятельств они надумали привязать Андреуччо за веревку и спустить в колодец: отмоется – пусть, мол, только дернет за веревку, и они его вытянут. Как сказано, так и сделано.

Случилось, однако ж, что, когда они спустили его в колодец, дозорные, которым захотелось пить то ли потому, что было жарко, то ли потому, что им пришлось за кем-нибудь погоняться, подошли к колодцу попить водички. Как скоро те двое увидели их, тотчас бросились наутек, так что дозорные, подошедшие напиться, не успели их заметить. Меж тем Андреуччо вымылся и дернул за веревку. Мучимые жаждой дозорные, решив, что внизу полная до краев бадья, сложили свои щиты, оружие, плащи – и давай тянуть ве-

ревку. Когда Андреуччо убедился, что он уже вылезает, то отпустил веревку и обеими руками ухватился за стенку.

При виде Андреуччо дозорные, охваченные внезапным страхом, ни слова не говоря, бросили веревку – и врассыпную. Андреуччо немало тому подивился, так что если б он не держался изо всех сил, то, уж верно, от удивления полетел бы на дно колодца и покалечился бы, а то и убился. Когда же он спрыгнул наземь и остановил свой взгляд на оружии, которое, сколько ему было известно, товарищам его не принадлежало, то удивление его возросло. Теряясь в догадках, недоумевая и ропща на судьбу, он порешил уйти отсюда прочь и, ничего не тронув, пошел куда глаза глядят. По дороге встретились ему двое его сообщников, спешивших вытащить товарища из колодца. Столкнувшись с ним, они дались диву и спросили, кто же это его вызволил. Андреуччо ответил, что сам не знает, а затем рассказал все по порядку, не преминув добавить, что лежит подле колодца. Смекнув, как обстояло дело, те со смехом объяснили Андреуччо, почему они убежали и кто его извлек из колодца. Затем, не теряя драгоценного времени, так как давно уже било полночь, они пошли к собору, без труда в него проникли и, приблизившись к громадной мраморной гробнице, железным ломом приподняли тяжеленную ее плиту настолько, чтобы можно было пролезть человеку, а затем подперли ее.

После этого один из тех двоих спросил: "Кто полезет?"

Другой сказал: "Только не я".

"И не я, – подхватил первый, – пусть-ка Андреуччо".

"Я не полезу", – объявил Андреуччо.

Тогда они оба на него насели: "То есть как это так не полезешь? Попробуй не полезть – истинный господь, мы тебя вот этим самым ломом так по башке треснем, что из тебя душа вон".

Угроза подействовала на Андреуччо, но, влезая, он сказал себе: "Это они для того, чтобы меня околпачить: я им все передам, а как стану вылезать, они тем временем уйдут, я же останусь с носом". И тут ему пришло на мысль взять се-

бе причитающуюся ему долю добычи заблаговременно. Вспомнив их разговор о драгоценном перстне, он, едва спустившись, поспешил снять перстень с пальца архиепископа и надеть себе на палец. Затем передал им посох, митру, перчатки, раздел покойника и, отдав им все вплоть до сорочки, объявил, что больше ничего тут нет. Те настаивали, что должен быть еще и перстень, – пусть, мол, поищет хорошенько, – а он уверял, что перстня нет, и, делая вид, будто ищет его, некоторое время подержал их в ожидании. Но они были не глупей его: велели все как есть обыскать, а сами, улучив минутку, выдернули подпорку, которая поддерживала плиту, и дали тягу, Андреуччо же оставили заживо погребенным. Можете себе представить, что́ восчувствовал Андреуччо, услышав над собой стук падающей плиты.

Несколько раз пытался он то головой, то плечами приподнять плиту, но старания его были бесплодны. От ужаса лишившись чувств, он упал на труп архиепископа, и если бы в это мгновенье кто-нибудь посмотрел на них обоих, то затруднился бы определить, кто из них настоящий мертвец: архиепископ или же Андреуччо. А когда Андреуччо очнулся, то заплакал навзрыд при мысли, что ему, вне всякого сомнения, грозит одно из двух: либо, в том случае, если никто сюда не придет и не поднимет плиту, умереть в гробнице с голоду и от смрада, который исходил от разлагавшегося трупа, либо, в том случае, если придут и обнаружат его в гробнице, попасть на виселицу за грабеж. И он все еще предавался столь горестным размышлениям, как вдруг услышал шаги и голоса, и сейчас догадался, что сюда явились какие-то люди с тою же самою целью, с какою пришли в собор он и его сообщники, но от этого ему стало только еще страшней. Пришедшие подняли плиту, поставили подпорку и начали препекаться, кому туда лезть, – охотников не находилось. Наконец, после долгих перекоров, один священник сказал: “Да чего вы боитесь? Не съест же он вас! Мертвые живых не едят. Дайте я туда слазаю”. С этими словами он, запрокинув голову, оперся грудью о край гробни-

цы и начал спускать ноги. Андреуччо приподнялся — и хвать священника за ногу, как бы с намерением стащить его вниз. Почувствовав, что кто-то его хватает, священник закричал не своим голосом и проворно выскочил из гробницы. Прочие же были до того напуганы, что оставили гробницу открытой и дернули из собора так, как будто сто тысяч чертей устремились за ними в погоню.

Тут Андреуччо, обрадовавшись столь неожиданному избавлению, мигом выбрался из гробницы и вышел из собора так же точно, как и вошел в него. Уже при свете дня Андреуччо, с перстнем на пальце, побрел наугад и, выйдя к морю, наконец добрался до своей гостиницы, — оказалось, что его товарищи и хозяин всю ночь не спали от беспокойства за него. Когда же он рассказал, что с ним стряслось, хозяин посоветовал ему немедленно покинуть Неаполь, какового совета Андреуччо тотчас послушался, а возвратившись в Перуджу, продал перстень и поехал на вырученные деньги покупать лошадей.

6

*После того как Беритола потеряла двух сыновей,
ее находят на острове в обществе двух ланей;
она отбывает в Луниджану,
и тут один из ее сыновей поступает на службу
к правителю этого края и, слюбившись с его дочкой,
попадает в тюрьму;
Сицилия восстает против короля Карла;
сын, которого мать наконец узнала,
женится на дочери своего господина;
брат его отыскался, и их обоих восстанавливают
в прежнем высоком звании*

И дамы, и молодые люди много смеялись над приключениями Андреуччо, о которых рассказывала Фьямметта; когда же ее повести пришел конец, то по повелению королевы начала рассказывать Эмилия:

– Многообразные превратности судьбы тягостны и несносны, а так как речь о них обладает способностью пробуждать наш дух, на который ее баловство действует усыпляюще, то послушать об ее ударах, сдается мне, никому не вредно – и счастливым и обездоленным: счастливых это предостерегает, обездоленных утешает. Вот почему, несмотря на то что об этом уже было говорено, я хочу рассказать вам повесть о том же самом, повесть столь же правдивую, сколь и трогательную. Развязка у нее благополучная, однако ж горести столь люты и столь продолжительны, что

пришедшая им на смену радость вряд ли окончательно изгладила их из памяти моих героев.

Надобно вам знать, милейшие дамы, что после смерти императора Фридриха Второго королем Сицилии был Манфред, и при Манфреде сильно возвысился некий знатный неаполитанец по имени Арригетто Капече, женатый также на неаполитанке, красивой и знатной, по имени Беритола Караччола. Как скоро правитель острова Арригетто сведал, что под Беневенте король Карл Первый одолел и умертвил Манфреда и все королевство ему покорилось, то, не рассчитывая на стойкость сицилийцев и не желая становиться подданным врага своего государя, замыслил бегство. Сицилийцы, однако ж, о том прознали, схватили его, перехватали многих друзей и верных слуг короля Манфреда и выдали их всех головой королю Карлу, к коему вслед затем отошел во владение остров. В это смутное время Беритолла, не зная, что сталось с Арригетто, предчувствуя недоброе, каковое предчувствие ее и не обмануло, опасаясь бесчестья, все бросила и, нищая, да к тому же еще и беременная, села вместе со своим первенцем лет восьми, по имени Джусфреди, в лодку и, удалясь на Липари, родила там второго сына и назвала его Скаччато. Здесь она нашла кормилицу и с нею и с двумя детьми села на небольшое суденышко, которое должно было доставить ее к родным в Неаполь.

Судьба, однако ж, решила иначе: судно, направлявшееся в Неаполь, ветром отнесло к острову Понцо, и тут команде удалось ввести его в бухту, с тем чтобы оно могло здесь отстояться до более благоприятного времени. Сойдя вместе со всеми на остров, Беритола нашла отдаленный и укромный уголок и здесь, в совершенном уединении, поплакала о своем Арригетто. И так она делала ежедневно, но вот однажды, когда она в своем уединении тужила, к острову пристала корсарская галера, приближения коей ни кормчий, ни кто-либо еще не приметил, преспокойно всех забрала и отошла. Погоревав, Беритола приблизилась к берегу, чтобы, по обыкновению, поглядеть на детей, но на берегу никого не оказалось. Это привело Беритолу в недоумение, но

у нее тут же блеснула догадка: она посмотрела на море и увидела галеру, еще не успевшую далеко отойти и увлекавшую за собой ее суденышко. И тут Беритоле стало ясно, что она потеряла не только мужа, но и сыновей. Нищая, одинокая, всеми оставленная, не зная, суждено ли ей с кем-либо из них свидеться, она долго звала мужа, сыновей и наконец упала без чувств. Некому было холодной водой или же с помощью другого средства привести ее в сознание, — вот почему дух ее мог блуждать, где ему вздумается. Когда же изнемогшее ее тело окрепло, она, плача, стеная, зовя детей, начала заглядывать во все пещеры. Убедившись в тщетности поисков и все же не утратив надежды, она с наступлением темноты невольно подумала, что следует позаботиться и о себе и, удалившись от берега, возвратилась в ту пещеру, где имела обыкновение скорбеть и плакать.

Всю ночь напролет Беритола пробыла в великом страхе и душевной муке; когда же наступило утро, она, не ужинавши накануне, часов в девять принялась от голода есть траву, а поев, сколько могла, вновь залилась слезами и раздумалась о своем будущем. И она все еще была погружена в размышления, как вдруг увидела, что в одну из ближних пещер вошла лань, а немного спустя вышла и направилась к лесу. Тогда Беритола поднялась и, войдя в пещеру, откуда вышла лань, обнаружила двух ланят, по-видимому, только что родившихся, и они показались ей премилыми и прехорошенькими. А так как после недавних родов молоко у нее еще не иссякло, то она осторожно поднесла ланят к груди. Ланята не отказались от ее услуг и начали сосать ее так, точно это была их родная мать, и с этого дня они не делали между ними различия. Утешившись тем, что нашла в пустыне хоть какое-то общество, достойная женщина питалась травой, утоляла жажду водой, давала волю слезам всякий раз, когда вспоминала мужа, детей, когда вспоминала минувшее, и в конце концов, привязавшись к ланятам, как к родным детям, решилась здесь и скончать свои дни.

Но вот спустя несколько месяцев, в течение которых достойная женщина поневоле вела звериный образ жизни,

бурей прибило пизанский корабль туда же, куда в свое время причалило и судно Беритолы, и он несколько дней там простоял. На этом корабле находились знатный человек по имени Куррадо, из рода маркизов Малеспина, и его супруга, женщина почтенная и благочестивая; они только что посетили все святые места, какие только есть в королевстве Апулии, и теперь возвращались домой. Однажды, чтобы разогнать тоску, Куррадо и его жена, взяв с собою слуг и собак, пошли в глубь острова, и неподалеку от того места, где находилась Беритола, собака Куррадо погналась за ланятами, которые к этому времени уже подросли и паслись без присмотра. От собак они бросились не куда-нибудь, а в ту самую пещеру, где пребывала Беритола. Беритола вскочила и палкой замахнулась на собак, но в эту самую минуту сюда вошли Куррадо и его супруга, которых привели в пещеру собаки, и если один вид почерневшей, исхудавшей, с длинными волосами, женщины поверг их в изумление, то они своим появлением еще больше ее удивили. По ее просьбе Куррадо прогнал собак, после чего маркиз и его супруга долго ее уговаривали поведать им, кто она и что здесь делает, и она, сдавшись на уговоры, подробно рассказала им, в каком очутилась она положении, что суждено ей было изведать, и открыла им губительное свое решение. Куррадо близко знал Арригетто Капече. и когда услышал об его недоле, то заплакал от жалости, а затем долго убеждал Беритолу отказаться от губительного своего решения и, уверяя, что она будет им заместо родной сестры, заклинал ее переехать к ним в дом, где она вольна, мол, жить до тех пор, пока господь над нею не смилуется. Беритола была непреклонна, — тогда Куррадо удалился, оставив с ней свою жену, которой он велел принести ей поесть, надеть на нее одно из своих платьев, так как то, что было на ней, превратилось в лохмотья, и постараться сломить ее упорство. Добрая женщина, оплакав вместе с Беритолой ее злополучие, велела принести одежду и пищу, и величайших усилий стоило ей принудить Беритолу переодеться и поесть. Беритола наотрез отказалась ехать туда, где ее знали, и лишь по-

сле долгих увещаний изъявила согласие отправиться с ними в Луниджану, захватив с собою двух ланят и лань, которая тем временем возвратилась и, к великому изумлению почтенной дамы, начала бурно выражать свою любовь к Беритоле.

И вот, как скоро наступила хорошая погода, Беритола, Куррадо и его супруга сели на корабль, захватив с собою лань и двух ланят, а так как не всем было известно настоящее имя Беритолы, то ее стали звать "Ланиола". Ветер был попутный, так что они вскоре приблизились к устью Магры, ступили на сушу и направились к замку. Здесь-то, облекшись во вдовий наряд, и поселилась в качестве компаньонки донны Куррадо целомудренная, кроткая и покорная Беритола, и по-прежнему любила она своих ланят и все так же заботилась об их пропитании.

Корсары, захватившие у острова Понцо корабль, на борту коего находилась Беритола, оставили ее на острове единственно потому, что она не попалась им на глаза, всех же остальных привезли в Геную. Здесь они поделили добычу между владельцами галеры, и при дележе кормилица, которую взяла себе Беритола, и двое ее сыновей случайно достались в числе прочего некоему мессеру Гаспаррино д'Ориа; Гаспаррино же отослал кормилицу с детьми к себе домой, с тем чтобы сделать из них прислужников. Кормилица, удрученная разлукою со своею госпожой и тем бедственным положением, в каком очутились она сама и двое малышей, плакала, не осушая глаз. Однако же в конце концов, поняв, что слезами горю не поможешь и что теперь и она и дети – невольники, кормилица, будучи женщиною хотя и бедною, но зато неглупою и сообразительною, прежде всего, сколько могла, приободрилась, а затем, уразумев, в каких крайних обстоятельствах они находятся, смекнула, что если как-нибудь случайно откроется, что мальчики – не простого звания, то от сего их жребий лишь ухудшится. Притом она не теряла надежды, что все еще может перемениться в лучшую для них сторону и что они еще доживут до того дня, когда их восстановят в прежнем звании, а потому

дала себе зарок до поры до времени никому не сказывать, кто они такие, и в дальнейшем на все расспросы неизменно отвечала, что это ее дети. Старшего она называла не Джусфреди, а Джаннотто из Прочиды, меньшому же не стала менять имя. Что касается Джусфреди, то ей понадобилось много усилий, чтобы растолковать ему, что́ принудило ее переменить ему имя и как худо ему придется, если обман всплывет, – об этом она ему не уставала и не переставала напоминать. Джусфреди был мальчик смышленый, и он послушно следовал назиданиям благоразумной кормилицы. Так, разутые, раздетые, исполняя всякую черную работу, мальчики, а с ними и кормилица скрепя сердце прожили у мессера Гаспаррино много лет.

Со всем тем у Джаннотто, которому минуло уже шестнадцать, нрав был вольнолюбивый: презрев низкую долю раба, он отправился на галере в Александрию и, уйдя от мессера Гаспаррино, перепробовал разные занятия, но так и не преуспел. Наконец, года три-четыре спустя после того, как Джаннотто ушел от мессера Гаспаррино, – а к тому времени он уже стал пригожим, рослым юношей, – до него донесся слух, что его отец, которого он почитал усопшим, жив, но в тюрьме и в плену у короля Карла, – донесся, как раз когда Джаннотто, наскучив скитальческой своею жизнью, находился на краю отчаяния, и вот в Луниджане, куда его забросила судьба, случилось ему поступить в услужение к Куррадо, и служил он со всеусердием и сумел ему угодить. Изредка видел он свою мать, состоявшую при донне Куррадо, но не узнал ее, а она не узнала его, – так они оба изменились с тех пор, как виделись в последний раз.

Итак, Джаннотто находился на службе у Куррадо, а в это время одна из дочерей Куррадо, по имени Спина, оставшись вдовою после смерти Никколо́ да Гриньяно, возвратилась в отчий дом. Была она хороша собой, очаровательна, молода, – ей только-только исполнилось шестнадцать, – и вот как-то раз случилось ей заглядеться на Джаннотто, ему – на нее, и оба пламенно полюбили друг друга. Страсть их недолго оставалась неутоленной, но люди сведали про то не

скоро. Уверенные в том, что никто ни о чем не догадывается, влюбленные позабыли осторожность, необходимую в обстоятельствах сердечных. И вот однажды молодая женщина и Джаннотто, гуляя в красивом густом лесу, отделились от общества и пошли вперед; когда же им показалось, что они ушли далеко, то они расположились в прелестном уголке, под сенью древес, где росли мурава и цветы, и здесь вкусили радость взаимной склонности. И хотя пробыли они здесь долго, но так им было отрадно вдвоем, что время, которое они здесь провели, показалось им кратким мигом, — вот почему они и дали застигнуть себя врасплох сперва матери молодой женщины, а потом и самому Куррадо. До глубины души возмущенный случившимся, он без всяких объяснений велел трем своим слугам схватить обоих и заключить в одном из своих замков; весь дрожа от бешеной злобы, он вознамерился предать обоих позорной казни. Мать молодой женщины хоть и была разгневана и почитала проступок дочери достойным самого строгого наказания, однако, уразумев из слов Куррадо, что именно он собирается сделать с провинившимися, бросилась не помня себя к своему разъяренному мужу и начала молить его укротить бесчеловечное свое стремление — на старости лет стать убийцею родной дочери, обагрить руки в крови своего слуги — и сыскать иное средство утоления своего гнева, как, например, потомить их некоторое время в темнице, чтобы они там терзались и оплакивали грех, ими совершенный. Такие и тому подобные речи произносила благочестивая женщина до тех пор, пока он решения своего не отменил и не приказал развести любовников по разным местам и, учинив над ними неусыпный надзор, впредь до особого его распоряжения держать их на хлебе и воде и ни в чем послаблений не делать, что и было исполнено.

Легко себе представить, каково им пришлось в заточении: неутешные слезы и беспрерывный пост, который Спине и Джаннотто было уже не под силу соблюдать, — вот из чего состояла их жизнь. И безотрадную эту жизнь влачили они целый год, а Куррадо про них и не вспоминал, как

вдруг король Педро Арагонский, вступив в союз с мессером Джаном ди Прочида, поднял мятеж на острове Сицилии и отобрал его у короля Карла, чему Куррадо, как гибеллин, обрадовался чрезвычайно.

Когда Джаннотто услышал об этом от одного из тех, кто его сторожил, то испустил тяжкий вздох и воскликнул: "Что же я за несчастный! Четырнадцать лет скитался по белу свету, как последний бродяга, и только надеждой на это и жил, и вот теперь это событие совершилось словно для того, чтобы лишить меня проблеска надежды на лучшее будущее, ибо застало оно меня в темнице, откуда я не чаю выйти иначе как мертвым!"

"Что такое? – вскричал тюремщик. – Тебе-то какое дело до того, что вершат высочайшие особы? Ты разве жил в Сицилии?"

На это Джаннотто ему сказал: "При одном воспоминании о том, какое высокое положение занимал там мой отец, сердце мое готово разорваться на части. Правда, когда мне пришлось оттуда бежать, я был еще маленьким мальчиком, но я отлично помню, что при короле Манфреде он был там самым главным начальником".

"А кто же он был?" – снова обратился к нему с вопросом тюремщик.

"Теперь мне нечего бояться открыть, кто таков мой отец, – отвечал Джаннотто, – раз уж со мной все равно случилось то самое несчастье, которое могло произойти, если бы я назвал его имя. Его звали, – и сейчас еще зовут, если только он жив, – Арригетто Капече, а меня зовут не Джаннотто, а Джусфреди. И я нимало не сомневаюсь, что если б я вышел из темницы и возвратился в Сицилию, то занял бы там высокое положение".

Тюремщик, не пускаясь в дальнейшие расспросы, при первом удобном случае все рассказал Куррадо. Выслушав тюремщика, но не подав виду, что любопытство его возбуждено, Куррадо пошел к Беритоле и в деликатных выражениях обратился к ней с вопросом, был ли у нее от Арригетто сын по имени Джусфреди. Та заплакала и сказала, что

старшего из двух ее пропавших без вести сыновей звали именно так и что если б он был жив, то ему было бы теперь двадцать два года.

Выслушав ее, Куррадо сообразил, что это он и есть, и тут ему пришла мысль, что если дело обстоит таким образом, то он может величайшее милосердие выказать и в то же время, выдав дочь за молодого человека, смыть позор и с себя и с нее. Того ради он велел тайно привести к нему Джаннотто и долго потом расспрашивал юношу об его прошлом. Уверившись по некоторым несомненным признакам, что перед ним, точно, Джусфреди, сын Арригетто Капече, он сказал: "Тебе ведомо, Джаннотто, сколь великое и сколь тяжкое оскорбление нанес ты мне в лице моей дочери, хотя я обходился с тобою ласково и дружелюбно, так, как и подобает господину обходиться со слугами, за что тебе надлежало охранять и оборонять как мою честь, так равно и честь моих близких. И многие на моем месте предали бы тебя позорной казни, когда бы ты обошелся с ними так же точно, как обошелся со мною; меня, однако, от этого удерживает человеколюбие. Узнав же от тебя, что ты сын благородных родителей, я намерен, если только ты и сам того ж желаешь, положить конец твоей невзгоде и твоим мучениям, выпустить тебя из темницы и вместе с тем обелить достодолжным образом и твое и мое доброе имя. Сколько тебе известно, Спина, которою ты овладел в порыве хотя, может статься, и искренней, но и тебя и ее порочащей страсти, – вдова, приданое у нее большое и хорошее, достоинства души ее тебе известны, отца и мать ее ты знаешь; о твоем же настоящем положении я умолчу. Так вот, если ты того желаешь, она, которая была твоею бесчестною полюбовницей, станет с моего согласия честною твоею супругой, и тогда ты в качестве моего сына можешь жить здесь со мною и с нею, сколько душе твоей угодно".

Темница иссушила тело Джаннотто, но нимало не отразилась ни на его врожденном душевном благородстве, ни на цельности чувства, которое он питал к владычице своего сердца. И хотя он страстно желал того, что предлагал

ему Куррадо, и хотя он находился всецело в его власти, он в своем ответе ни на йоту не уклонился от того, что подсказало ему величие его духа: “Куррадо! Ни властолюбие, ни корысть, ни какая-либо другая причина не понуждали меня предательски посягать на твою жизнь и на все, что принадлежит тебе. Я полюбил твою дочь, люблю и буду любить ее вечно, ибо почитаю ее достойной моей любви. На взгляд иных, недальнего ума, людей, я обошелся с нею нечестно, но это обычный грех молодости: если б не было подобного рода грехов, то не было бы и молодости; если бы старики потрудились вспомнить, что и они когда-то были молодыми, и если бы они к чужим проступкам прилагали свою мерку, а к своим – чужую, то и мой грех не показался бы таким тяжким, как считаешь его ты и как считают его многие, тем более что совершил я его как друг, а не как недруг. Ты предлагаешь мне то, о чем я всегда мечтал, и я бы давно уже стал просить у тебя дозволения, если бы надеялся на успех, и теперь это мне будет стократ дороже именно потому, что никакой надежды я до сего времени не питал. Если, однако ж, все это одни слова, а на самом деле у тебя такого намерения нет, то не завлекай меня обманчивою надеждою, вели препроводить обратно в темницу и томи меня там, сколько тебе заблагорассудится, я же, как бы ты со мною ни обошелся, вечно буду любить Спину, а ради нее буду любить и уважать тебя”.

Подивился Куррадо речам юноши, в каковых живо обозначились как величие его духа, так равно и сила его чувства, и через то Джаннотто стал ему еще дороже. Он встал, обнял и поцеловал его, а затем, нимало не медля, велел сюда же тайно привести и Спину. Она исхудала, побледнела, ослабела в заточении, и вообще то была уже не прежняя Спина, да и Джаннотто был уже не тот. В присутствии Куррадо они, изъявив согласие, по существующему у нас обычаю заключили брачный союз.

После этого Куррадо распорядился ни в чем Спине и Джаннотто не отказывать, однако ж в течение нескольких дней помолвка держалась в тайне от всех, а затем он нашел,

что пришла пора обрадовать их матерей; того ради позвал он свою жену и Ланиолу и обратился к последней с такими словами: “Что бы вы сказали, сударыня, если б я вернул вам старшего вашего сына мужем одной из моих дочерей?”

Ланиола же ему на это ответила так: “Что еще могла бы я вам сказать, кроме того, что если б я была в состоянии быть вам еще более благодарной, чем теперь, то у меня были бы тем большие для того основания, коль скоро вы возвратили бы мне то, что для меня дороже жизни, да еще так возвратили бы, как я и мечтать не смела?” Рыдания не дали ей договорить.

Тогда Куррадо обратился к своей супруге: “А как бы ты отнеслась к такому зятю, жена?”

А жена ему на это ответила так: “Мне бы пришелся по душе не только человек нашего круга, но и человек худородный, лишь бы вам он пришелся по нраву”.

Тогда Куррадо сказал: “Надеюсь спустя несколько дней обрадовать вас обеих”.

Как скоро он удостоверился, что молодые люди посвежели, он велел одеть обоих прилично их званию и спросил Джусфреди: “Ты был бы доволен, если бы к твоей радости прибавилась еще одна – радость свидеться здесь с твоею матерью?”

На это ему Джусфреди ответил так: “Мне не верится, чтобы при ее горькой доле она была в состоянии выжить, но если б она была жива, я был бы очень счастлив. Я полагаю, что ее советы помогли бы мне добиться почти полного восстановления моих прав в Сицилии”.

Тогда Куррадо послал за обеими дамами. Обе с радостным изумлением приветствовали новобрачную и немало подивились также тому, что могло внушить Куррадо столь благодетельную мысль – соединить ее с Джаннотто. Беритола, вдохновленная словами Куррадо, стала вглядываться в Джаннотто и, под действием некоей таинственной силы восстановив в памяти младенческие черты лица своего сына и уже не доискиваясь иных доказательств, обвила ему шею руками. От прилива материнской любви и от радости

она не могла выговорить ни слова – напротив того, она утратила способность что-либо чувствовать и замертво упала на руки сына. Он же, вспомнив, что столько раз видел ее в этом самом замке, но так и не узнал, пришел в удивление, однако ж чутье подсказало ему, что это его мать, и он, браня себя за беспечность, заключил ее в свои объятия и со слезами на глазах нежно поцеловал ее. Движимые состраданием, донна Куррадо и Спина при помощи холодной воды и других средств привели Беритолу в чувство, и тут она опять обняла сына, проливая обильные слезы и осыпая его ласковыми словами. Она была вся полна материнской нежности и целовала его без конца, он же не мог на нее наглядеться.

После того как, к великой радости и великому удовольствию присутствующих, "и трижды, и четырежды успели приветствия возникнуть на устах", после того как мать с сыном поведали друг другу свои приключения, а Куррадо, ко всеобщему удовольствию, объявил друзьям о новой своей родне и отдал распоряжение устроить пышное и великолепное празднество, Джусфреди обратился к нему с такими словами: "Куррадо! Вы многим обрадовали меня, вы продолжительное время оказывали гостеприимство моей матери. Теперь я прошу вас довершить благодеяние: осчастливьте и мою мать, и мой праздник, и меня самого – вызволите моего брата, которого держит у себя в услужении мессер Гаспаррино д'Ориа, тот самый, что и меня, как я вам уже рассказывал, захватил, когда напал на наш корабль. Затем пошлите кого-нибудь в Сицилию: пусть этот человек доподлинно узнает, каковы там обстоятельства и каково положение, разведает, что с моим отцом Арригетто, жив он или умер, а если жив, то в каком находится состоянии, и, наведя точные справки, возвратится к нам".

Просьба Джусфреди пришлась Куррадо по сердцу, и он, нимало не медля, послал надежнейших людей в Геную и Сицилию. Тот, кто поехал в Геную, разыскав мессера Гаспаррино, обстоятельно рассказал ему все, что сделал Куррадо для Джусфреди и его матери, а потом от имени Куррадо об-

ратился к нему с настоятельною просьбою отдать Скаччато и его кормилицу.

Услышав это, мессер Гаспаррино пришел в немалое изумление и сказал: “Разумеется, я рад сделать для Куррадо все, что только от меня зависит и чего он только ни попросит. В доме у меня точно проживает лет этак четырнадцать мальчик, про которого ты расспрашиваешь, и его мать, и я с удовольствием ему их отдам. Передай ему, однако ж, от меня, чтобы он не принимал на веру и не верил россказням Джаннотто, который теперь выдает себя за Джусфреди, ибо он гораздо хитрее, чем полагает Куррадо”.

Сказавши это, он велел своим слугам принять с честью именитого гостя, а сам тайно вызвал кормилицу и начал осторожно ее выспрашивать. Услыхав о восстании в Сицилии и о том, что Арригетто жив, кормилица превозмогла наконец страх и, все обстоятельно ему рассказав, объяснила, что вынуждало ее действовать так, а не иначе. Убедившись, что кормилицыны рассказы вполне сходятся с рассказами посланца, мессер Гаспаррино ей поверил. Будучи человеком в высшей степени хитроумным, он несколько раз все это еще проверил и всякий раз получал новые подтверждения того, что кормилица его не обманывает; в конце концов ему стало стыдно, что он так плохо обходился с юношей, и, дабы вознаградить Скаччато, он отдал за него свою одиннадцатилетнюю красавицу дочь и дал за ней большое приданое, ибо ему было хорошо известно, кто таков и кем был Арригетто. Отпраздновав, как должно, свадьбу, он вместе с зятем и дочерью, с посланцем Куррадо и кормилицей сел на хорошо оснащенную галеру и прибыл в Леричи, а там его встретил Куррадо и повез гостей в один из своих находившихся неподалеку замков, где все было уже готово для роскошного пира.

Как обрадовалась мать, когда свиделась со своим сыном, как обрадовались братья и как все трое оценили преданность кормилицы, какими учтивостями обменялись мессер Гаспаррино и его дочь, с одной стороны, и все прочие, с другой, и как все чествовали Куррадо, его супругу, его детей

и его друзей — этого словами не опишешь; тут, я надеюсь, подружки, на ваше воображение. А для полноты счастья господь бог, который если уж начнет изливать милости, то изливает их щедро, послал радостные вести о том, что Арригетто Капече здравствует благополучно.

Дело было так. В начале великого торжества, когда гости, мужчины и дамы, сидели за столом и ели еще только первое блюдо, явился тот, что был послан в Сицилию, и рассказал, в частности, следующее: король Карл держал Арригетто в катанской тюрьме; когда же в стране вспыхнуло восстание против короля, народ в ярости бросился к тюрьме и перебил тюремщиков, Арригетто же выпустил на свободу и, как непримиримого врага короля Карла, сделал своим вождем, дабы под его водительством бить и преследовать французов. Через то вошел он в великую милость к королю Педро, который вернул ему все его титулы и владения, так что он теперь в большом почете и благоденствует; посланца же он, — как тот сам засвидетельствовал, — принял с великою честью, несказанно обрадовался известию о жене и сыне, о которых он ничего не знал с того дня, как его заточили в темницу, и послал за ними на легком корабле несколько знатных людей, которые должны сюда прибыть с минуты на минуту. Посланца приняли и выслушали с великим восторгом и в душевном веселии, а затем Куррадо и его друзья, нимало не медля, отправились встречать знатных людей, приехавших за Беритолой и Джусфреди, радостно приветствовали их и повели на пир, который был еще в самом разгаре. Беритола, Джусфреди и все остальные возликовали так, как никто еще на свете не ликовал; сицилийцы же, прежде чем сесть за стол, от имени Арригетто приветствовали и благодарили, как могли и умели, Куррадо и его супругу за гостеприимство, которое те оказали его жене и сыну, и объявили, что к их услугам сам Арригетто и все, что только в его власти. Затем, обратясь к мессеру Гаспаррино, коего благодеяние явилось для них неожиданностью, они изъявили совершенную уверенность, что как скоро Арригетто узнает, чтó сделал тот для

Скаччато, то отблагодарит его так же, а может статься, и еще щедрее. Затем свадебный пир возобновился – и пошло веселье!

Не один, а много дней пировал Куррадо со своим зятем и другими своими родственниками и друзьями. Когда же празднество кончилось и Беритола, Джусфреди и другие решили, что пора ехать, Куррадо, его супруга и мессер Гаспаррино со слезами простились с ними, а те, равно как и Спина, сели на корабль и отбыли. Дул попутный ветер, и по сему обстоятельству они скоро прибыли в Сицилию, а в Палермо сыновей и дам встретил Арригетто, радость которого не поддается описанию. Говорят, они потом долгое время жили счастливо и славили бога за его милость.

7

Султан Вавилонский
отдает свою дочь замуж за короля Алгарвского
и отправляет ее к нему;
по стечению обстоятельств
она на протяжении четырех лет
в разных местах попадает к девяти мужчинам,
но в конце концов возвращается к отцу девственницей
и во исполнение первоначального своего намерения
едет к королю Алгарвскому,
дабы стать его женой

Если бы рассказ Эмилии затянулся, то молодые женщины, пожалуй, заплакали бы от жалости, которую у них вызвали приключения донны Беритолы. Когда же Эмилия кончила рассказывать, королева изъявила желание, чтобы повел рассказ Панфило, и тот, не заставив себя упрашивать, начал так:

— Очаровательные дамы! Нам не дано знать, к чему мы должны стремиться, и точно: нам известно много таких случаев, когда люди, полагая, что стоит им разбогатеть — и для них настанет беззаботная и благополучная жизнь, не только молили о том бога, но и не жалели усилий и шли на риск, дабы стяжать богатство, и хотя это им в конце концов удавалось, однако ж находились люди, которые, возжаждав получить богатое наследство, умерщвляли их, а между тем прежде, когда те еще не были богачами, они их

оберегали. Иные, подвергнув себя смертельной опасности во многих сражениях, ценою крови братьев своих и друзей из низкой доли восходили на вершину царской власти, в коей они наивысшее числили благо, а затем мало того, что увидели и почувствовали, сколь полон сей высокий жребий треволнений и страхов, но и ценою собственной жизни познали, что на царский стол ставят золотой кубок с ядом. Многие страстно желали быть сильными и красивыми, другие мечтали об украшениях — и удостоверялись в тщете своих стремлений не прежде, чем исполнение их желаний отнимало у них жизнь или же оказывалось для них источником бедствий. Я не стану говорить о каждом человеческом желании порознь, — я утверждаю, что нет такого удела, который человек мог бы себе избрать, будучи твердо уверен, что этот именно удел от превратностей судьбы огражден, и если б мы действовали разумно, мы должны были бы брать лишь то и владеть лишь тем, что ниспосылает нам Промыслитель, ибо одному ему ведомо, в чем мы нужду имеем, и он один властен нам это предоставить. Но так как греховные желания людей многоразличны, вы же, обворожительные дамы, особенно грешны тем, что желаете быть красивыми, — так страстно желаете, что, не довольствуясь прелестями, дарованными вам природой, с ревностным искусством тщитесь их приумножить, — то я намерен вам рассказать о некоей сарацинке, которой из-за роковой ее красоты пришлось в течение каких-нибудь четырех лет девять раз выходить замуж.

Давным-давно жил-был в Вавилонии султан по имени Беминедаб, и султану тому в жизни везло. Было у него много детей, как мужеского, так и женского полу, в том числе дочь по имени Алатиэль, о которой все, кто ее видел, говорили, что это первая красавица во всем подлунном мире. А так как тем великим разгромом, который султан учинил напавшим на него полчищам арабов, он был обязан чудодейственной помощи короля Алгарвского, то султан пообещал ему отдать свою дочь за него, о чем тот просил как об особой милости. Снабдив дочь драгоценными и роскошными подар-

ками и посадив ее вместе с почетной свитой, в состав коей входили и мужчины и женщины, на хорошо вооруженный и оснащенный корабль, он поручил ее господу богу и отправил к королю. Моряки, воспользовавшись благоприятной погодой, вступили под паруса, отошли от Александрийской гавани и затем несколько дней шли благополучно. Они уже миновали Сардинию и, казалось, были близки к месту своего назначения, как вдруг однажды подул порывистый ветер и с такой яростью принялся трепать корабль, на котором находились девушка и моряки, что они уже не раз были на волосок от гибели. Со всем тем моряки, будучи людьми отважными, употребили отчаянные усилия, применили всю свою сноровку в борьбе с разбушевавшимся морем и продержались двое суток. Когда же настала третья ночь с начала бури, – а буря не утихала, напротив того: все неистовее становилась, – моряки, сбившиеся с курса и не имевшие возможности определить, где они находятся, ни с помощью морских приборов, ни на глазок, так как ночное небо было затянуто черными тучами, почувствовали, не доходя Майорки, что корабль дал трещину. Не видя иного средства спасения, причем каждый из них помышлял только о себе, они спустили на воду шлюпку, и хозяин судна, решив, что лучше вверить свою жизнь ей, нежели треснувшему кораблю, спрыгнул в нее; за ним и другие давай туда же, даром что те, кто уже успел спрыгнуть в шлюпку, замахивались на них ножами, и вышло так, что, стремясь избежать гибели, они сами двинулись ей навстречу: шлюпка не могла выдержать в бурю столько народу и вместе со всеми, кто там находился, пошла ко дну. Между тем треснувший, гонимый неистовой бурей корабль, который заливала вода и на котором не осталось никого, кроме девушки и ее служанок (качка и оторопь свалили их с ног, и они замертво лежали на полу), шел с невероятной скоростью и ударился об отмель острова Майорки. И столь стремителен был его ход, что он почти весь врезался в песок, – отсюда до берега можно было добросить камнем. Ветер уже не мог сдвинуть корабль с места, и всю ночь об него разбивались валы.

Когда настал ясный день и буря поутихла, девушка, ни жива ни мертва, подняла голову и, превозмогая слабость, начала звать то того, то другого из своей свиты; звала она однако ж, напрасно, – те, которых она призывала на помощь, были далеко. Ни от кого не получив ответа и никого не видя, она далась диву и очень испугалась. Сделав над собой усилие, она встала и, увидев, что женщины из ее свиты, а равно и другие женщины лежат, начала ощупывать их и взывать к ним и в конце концов удостоверилась, что лишь немногие подают признаки жизни, прочие же, – кто от тяжелого желудочного заболевания, кто от страха, – скончались, и зрелище это повергло девушку в еще более сильный трепет. Со всем тем, не зная и не понимая, где она находится, побуждаемая, однако ж, необходимостью принять какое-либо решение, ибо она отдавала себе отчет, что помощи ей ждать не от кого, девушка сумела так приободрить оставшихся в живых, что они нашли в себе силы подняться. Удостоверившись же, что и они не знают, куда делись мужчины, увидев, что корабль врезался в отмель и на нем везде полно воды, она горько заплакала, а за ней и другие женщины. Был уже девятый час, но ни на берегу, ни еще где-либо не было видно никого, кому бы она могла внушить к себе жалость и побудить прийти ей на помощь.

Около трех часов пополудни в сопровождении нескольких слуг, ехавших верхами, проезжал по берегу, возвращаясь из своего поместья, дворянин по имени Перикон да Висальго. Заметив корабль, он в ту же минуту сообразил, в чем дело, и велел одному из слуг нимало не медля взобраться на корабль, а затем доложить ему, что он там увидит. Слуга не без труда поднялся на корабль и обнаружил молодую даму, от страха забившуюся в трюм, а с ней нескольких ее спутниц. Увидев слугу, они стали слезно молить его сжалиться над ними, а затем, убедившись, что он их не понимает, а они – его, принялись знаками пояснять, какая с ними стряслась беда. Осмотрев все, что только мог, слуга доложил Перикону о том, что делается на корабле. Перикон тут же распорядился снять с корабля женщин и забрать все наиболее ценные

вещи, какие только там были и какие можно было увезти с собой, и с добычей проследовал к себе в замок. В замке женщины поели и отдохнули, Перикон же тотчас догадался по дорогим вещам, что девушка происходит из весьма знатной семьи, в чем он совершенно удостоверился, когда заметил, в каком она почете у других женщин. И хотя девушка побледнела и осунулась после морской болезни, все же она показалась Перикону красавицей, и он тут же порешил, если только она не замужем, жениться на ней; если же ему нельзя на ней жениться, то добиться от нее взаимности.

Перикон был человек из себя видный, крепкого телосложения. Он приказал как можно лучше ухаживать за девушкой, благодаря чему по прошествии нескольких дней она вполне оправилась, и тут он увидел, что это девушка неописуемой красоты, и очень ему было досадно, что он не понимает ее, а она – его и что, следственно, он никак не может узнать, кто же она такая, однако, упоенный ее красотою, он старался приветливым и ласковым обхождением склонить ее на то, чтобы она беспрекословно исполнила его желание. Все было тщетно: она решительно отвергала его домогательства, но тем сильней разгорался любовный пыл Перикона. Как скоро девушка это заметила и спустя несколько дней по обычаям местных жителей догадалась, что она – у христиан, в такой стране, где, если бы даже ей и удалось объяснить, кто она такая, все равно толку ей от того было бы немного; когда она уразумела, что рано или поздно, уступая насилию или же по доброй воле, а все-таки придется ей исполнить желание Перикона, – то по душевному своему благородству порешила под ударами судьбы не склониться. Того ради велела она своим служанкам, которых и осталось-то у нее всего три, никому не открывать, кто она, разве уж они окажутся в таком месте, где им представится возможность обрести свободу; еще она призывала их блюсти чистоту свою и объявила о своем непреклонном решении, согласно которому никто, кроме мужа, не должен обладать ею. Женщины похвалили ее за это и обещали по мере сил исполнить ее повеление.

Перикон, день ото дня тем сильнее воспламеняясь, чем ближе и чем недоступнее был предел его мечтаний, и видя, что чары его бессильны, прибегнул к уловкам и ухищрениям, насилие же решился приберечь к самому концу. Он не раз имел случай убедиться, что девушка, прежде не пившая вина, оттого что это ей было воспрещено ее законом, постепенно приохотилась к нему, и вот он, вспомнив, что вино есть верховный жрец в храме Венеры, рассудил за благо приманить ее на вино. Притворившись, будто не замечает, что она питает к нему отвращение, Перикон однажды вечером устроил отменный, как бы праздничный ужин, на который была приглашена и девушка. И вот, когда все сели за стол, ломившийся от яств, он приказал тому, кто ей прислуживал, потчевать ее смесью разных вин. Слуга так и сделал: девица же, не поостерегшись и войдя во вкус, выпила больше, чем девичьей ее чести подобало. по каковой причине она, позабыв все свои невзгоды, развеселилась, и, поглядев, как женщины пляшут на майоркский лад, пошла плясать на александрийский. И тут Перикон понял, что он близок к осуществлению своих желаний, и, нарочно затягивая ужин, велел подать еще яств и питий, так что веселье зашло за ночь. Наконец гости разошлись, и Перикон с девушкой проследовали в ее спальню. Девушку разобрало, и она, позабыв приличия, не постеснялась раздеться при Периконе, как если бы это была ее служанка, а затем легла в постель. Перикон не замедлил к ней присоединиться; потушив огни, он мигом оказался рядом с нею, сжал ее в объятиях и, не встречая с ее стороны ни малейшего сопротивления, затеял с нею любовные игры. Когда же она, до той минуты не имевшая понятия, как бодает мужской рог, его наконец восчувствовала, то словно раскаялась, что долго не сдавалась на уговоры Перикона, и теперь уже, не дожидаясь с его стороны приглашения так же приятно провести ночь, частенько сама стала его приглашать, но только не при помощи слов, — объясниться с ним она бы не сумела, — а при помощи действий.

Судьба, как видно, не удовольствовалась тем, что она, вместо того чтобы стать супругой короля, стала любовни-

цею рыцаря, ибо великому блаженству, которое испытывали Перикон и она, помешала другая, более жестокая страсть. У Перикона был брат лет двадцати пяти, по имени Марато, прекрасный и свежий, как роза. Марато полюбил ее с первого взгляда, а так как по ее с ним обхождению он заключил, что и он пришелся ей по сердцу и что единственное препятствие, которое стоит на его пути, это неусыпный надзор, установленный над нею Периконом, то в голове у него созрел преступный замысел, а замысел тут же повлек за собой злодейское его осуществление. Случилось так, что в гавань зашел направлявшийся в Кьяренцу, что́ в Романии, груженный товаром корабль, коего хозяевами были два молодых генуэзца, которые уже было подняли паруса в ожидании попутного ветра, и вот с ними-то и вступил в переговоры Марато и условился, что на следующую ночь он с женщиной сядет на их корабль. Уговорившись, Марато обдумал все до последней мелочи и, дождавшись ночи, вместе с вернейшими друзьями, которых он на это дело подбил, приблизился к дому ничего не подозревавшего Перикона, тайком туда проник и, как это у него с товарищами было задумано, спрятался. Глухою ночью он впустил сообщников; подойдя к комнате, где Перикон спал со своею возлюбленной, они отворили дверь, кинулись на спящего Перикона, убили его, а затем, пригрозив не спавшей и плакавшей женщине, что они и ее убьют, если только она поднимет шум, схватили ее. Похитив почти все драгоценные вещи Перикона, они, никем не замеченные, быстрым шагом направились к гавани, и там Марато и его пленница, нимало не медля, сели на корабль, сообщники же его возвратились восвояси. Воспользовавшись тем, что подул свежий попутный ветер, моряки вступили под паруса и отчалили.

Девушка долго и горько оплакивала как первое, так равно и второе случившееся с нею несчастье. Марато, однако ж, с помощью святого Стоятти, коим нас наделил господь, так славно принялся ее утешать, что она, привыкнув к нему, позабыла о Периконе. Но в то самое время, когда ей уже

казалось, что все беды позади, судьба, как видно, не удовольствовавшись былыми ее невзгодами, готовила ей новое испытание. Вот как было дело: мы уже говорили, что она была раскрасавица, к тому же еще очаровательна в обхождении, и оба юных корабельщика так ею пленились, что, позабыв обо всем на свете, думали только о том, как бы это ей услужить и доставить удовольствие, и в то же время были начеку, чтобы Марато не догадался, что́ тому причиной. Когда же один от другого узнал, что оба они влюблены, то стали они держать между собою тайный совет и уговорились добиться ее благосклонности сообща, как будто любовь – товар или же прибыль и ее можно между собой поделить. Удостоверившись, что Марате крепко ее сторожит и это служит препятствием к осуществлению их намерения, однажды, когда корабль шел под всеми парусами, а беспечный Марато стоял на корме и окидывал взглядом море, они по обоюдному согласию накинулись на него сзади и бросили за борт. Замечено было его исчезновение, когда корабль прошел уже больше мили. Как скоро женщина проведала о его гибели и убедилась, что его не вернуть, то на корабле вновь послышались ее стенания. Двое влюбленных поспешили утешить ее и успокоить ласковыми словами и наизаманчивейшими посулами, каковые, впрочем, не очень были ей понятны, она же оплакивала не столько гибель Марато, сколько свою собственную недолю. После долгих и многократных увещеваний влюбленные, полагая, что она как будто бы утешилась, друг с другом заспорили, кто первый с ней ляжет. Каждому хотелось быть первым, поэтому ни к какому соглашению они и не пришли: начали с оскорблений и лихой перебранки, – это их только ожесточило; тогда они взялись за ножи и в порыве ярости бросились друг на друга. Морякам не удалось их разнять, вследствие чего один из них тут же скончался от ран, а другой хотя и выжил, но все же получил тяжелые ранения. Это происшествие глубоко опечалило женщину: ведь теперь она была совсем одинока, ей не к кому было обратиться за советом и помощью, и она очень боялась, как бы на нее не

обрушился гнев родных и друзей хозяев корабля; раненый, однако, ее успокаивал; к тому же они малое время спустя прибыли в Кьяренцу, и тут она скоро уверилась, что бояться ей нечего. Не успели она и раненый остановиться в гостинице, как молва об ее несказанной красоте облетела весь город и дошла до принца Морейского, на ту пору оказавшегося в Кьяренце. Он изъявил желание увидеть ее, а когда увидел, то нашел, что красота ее выше всяких похвал, и так страстно ее полюбил, что с той минуты ни о чем больше и думать не мог. Разведав, как она сюда попала, он решил, что для него не составит большого труда заполучить ее. И вот стал он изыскивать к тому способ, а родные раненого, прослышав о том, поспешили доставить ее к принцу. Принц был в восторге, женщина тоже: теперь она чувствовала себя в полной безопасности.

Лишенный возможности дознаться о ее происхождении, принц, убедившись, что она сочетает в себе красоту и царственное величие, пришел к заключению, что это знатная дама, и еще сильнее ее полюбил. Он оказывал ей всевозможные почести и обходился с нею не как с полюбовницею, а как с женою. Полагая, что былые невзгоды не возвратятся и что для нее настали благополучные дни, она воспряла духом, повеселела и так расцвела, что почти вся Романия только о ее красоте и говорила. Толки эти возбудили у герцога Афинского, отважного и юного красавца, друга и родственника принца, желание увидеть ее. Окруженный блестящею и благородною свитой, герцог под предлогом еще раз посетить Кьяренцу, где ему приходилось до этого бывать неоднократно, приехал в город, и здесь ему были возданы великие почести и устроена высокоторжественная встреча. Когда же, спустя несколько дней, при нем зашла речь о красоте той женщины, он спросил, так ли она ослепительна, как ее описывают.

"Стократ более, – отвечал принц, – но только я бы хотел, чтобы ты поверил не моим словам, а своим глазам".

Герцог стал торопить с этим принца, и они отправились к ней, она же, заранее узнав, что они к ней собираются,

встретила их с приветливым и веселым видом. Они усадили ее, сами сели справа и слева, однако ж насладиться беседою с ней им не удалось, оттого что она плохо, а вернее сказать — совсем их не понимала. Оба смотрели на нее, как на чудо, особливо — герцог: он никак не мог себя убедить, что она — смертная; сам того не подозревая, он, глядя на нее, впивал очами любовный яд; ему казалось, что он просто-напросто тешит свой взор, на самом же деле он безумно в нее влюбился, он безнадежно запутался в любовной сети. Уйдя от нее вместе с принцем, а затем оставшись один на один с самим собою, герцог пришел к заключению, что принц — счастливейший из людей, коль скоро он владеет таким прелестным созданьем. Долго лезли ему в голову самые разные мысли, наконец пламенная страсть взяла в нем верх над честностью, и он порешил во что бы то ни стало отнять эту радость у принца и обрадовать самого себя. Не внемля гласу рассудка и совести, отныне он был озабочен лишь тем, как бы поскорее осуществить свой замысел, как бы так подстроить, чтобы задуманное им злое дело не сорвалось. И вот однажды, подбив на преступление слугу принца, некоего Чуриачи, пользовавшегося неограниченным доверием своего господина, он велел своим людям запрягать лошадей и укладывать вещи, наказав держать это его распоряжение в строжайшей тайне. Ночью герцог и его приятель с оружием в руках подошли к дому принца, и Чуриачи на цыпочках провел их в комнату, где принц, совершенно голый по случаю сильной жары, стоял у раскрытого окна, выходившего на море, и дышал воздухом, возлюбленная же его спала. Заранее подучив сотоварища, как надобно действовать, герцог подкрался к принцу, пырнул его в бок ножом и выбросил в окно. Дворец был расположен высоко над морем, а под окном, у которого дышал воздухом принц, стояли дома, разрушенные прибоем, — словом, место было безлюдное и, как и предполагал герцог, никто не видел, да и не мог видеть падение тела. Удостоверившись, что дело сделано, приятель герцога схватил веревку, которую он нарочно взял с собой, и, сделав вид, будто хочет приласкать Чуриа-

чи, накинул ему петлю на шею и так затянул, что тот не мог проронить ни звука. Тут подоспел герцог, совместными усилиями они задушили Чуриачи и тоже выбросили в окно. Сделав свое дело и совершенно уверившись, что ни женщина, ни кто-либо еще ничего не слыхали, герцог взял свечу и, поднеся к кровати, другой рукой тихонько раскрыл спавшую крепким сном женщину. Оглядев ее с головы до ног, он пришел в восхищение: нагая, она показалась ему несравненно прекраснее, нежели одетая. Распалившись страстью и не смущаясь тем, что он только что совершил преступление, герцог как был, с окровавленными руками, лег и овладел ею, сонной, пребывавшей в уверенности, что это принц.

Досыта ею насладившись, герцог встал, кликнул сообщников своих и велел им бесшумно вынести женщину. Когда же ее вынесли через потайную дверь, в которую он сюда вошел, он посадил ее на коня, неслышно тронулся в путь и возвратился в Афины. Он был женат, а потому тайно поместил убитую горем женщину не в самих Афинах, а в своем загородном чудном дворце, у самого моря, наказав слугам как можно лучше за нею ухаживать.

На другой день придворные ждали пробуждения принца до трех часов. В комнате у него было тихо; они открыли затворенные, но не запертые двери и, обнаружив, что комната пуста, решили, что принц тайно от всех уехал куда-нибудь на несколько дней, чтобы приятно провести время со своею красавицей, и на том успокоились. На другой день, однако ж, некий блаженненький, бродя среди развалин, где лежали тела Чуриачи и принца, наткнулся на труп Чуриачи, схватил его за веревку и потащил. Многие, к немалому своему изумлению, опознали труп и, лаской добившись от блаженненького, чтобы тот привел их на место, где был им найден труп, к великой печали для всего города, увидели тело принца, которое потом с подобающими почестями было погребено. Когда же, при выяснении того, кто мог совершить столь чудовищное злодеяние, оказалось, что герцога Афинского нигде нет, что он тайно уехал, все

подумали на него: он-де совершил преступление, он и увез женщину, как оно и было на самом деле. Место убитого принца по воле горожан тут же заступил его брат, и теперь горожане всячески старались пробудить в нем чувство мести. Получив множество доказательств тому, что дело обстояло именно так, как они предполагали, брат убитого обратился за помощью к друзьям, родственникам и к своим подданным из разных краев, в недолгом времени собрал многочисленную, удалую, могучую рать и пошел на герцога Афинского войной.

Как скоро герцог об этом услышал, тот же час изготовился к обороне, и на помощь ему пришло много знатных людей, в том числе посланные императором константинопольским сын его Константин и племянник Мануил с многочисленным и славным войском, герцог же принял их с честью, а с еще большею честью — герцогиня, приходившаяся им сестрою. Война приближалась с каждым днем, и вот как-то раз герцогиня, дождавшись благоприятной минуты, зазвала их обоих к себе в комнату и здесь, обливаясь слезами, подробно рассказала им всю историю, объяснила, из-за чего должна начаться война, и призналась, как оскорбительна для нее связь герцога с этой женщиной, — связь, которую, как ей казалось, герцог держал в тайне от всех. Горько жалуясь на свою судьбу, герцогиня просила своих родственников сделать все от них зависящее, чтобы снять пятно с чести герцога, а ей вернуть душевный покой. Молодым людям все уже было известно, а потому они, не пускаясь в дальнейшие расспросы, как могли ободрили герцогиню, вселили в нее надежду на лучшее будущее и, осведомившись, где живет эта дама, удалились. Будучи наслышаны о необычайной ее красоте, они порешили непременно увидеть ее и обратились к герцогу с просьбой о том, чтобы он ее показал им, — герцог же, забыв, как поплатился принц за то, что показал ему свою возлюбленную, обещал. На другой день, велев накрыть на стол к роскошному обеду в дивном саду при замке, где жила его дама, он провел туда их и еще двух-трех человек. Сидя рядом с

нею, Константин с изумлением взирал на нее и в глубине души вынужден был признать, что такой красивой женщины ему еще не приходилось видеть и что вполне можно оправдать герцога, да и всякого, кто ради такой красавицы совершил бы предательство или же еще какое-либо злое дело. Он все чаще и чаще на нее заглядывался, и в конце концов с ним случилось то же, что и с герцогом. Ушел он от нее без памяти влюбленным, и теперь ему было уже не до войны, – все помыслы его были устремлены к тому, чтобы, не возбудив подозрений у герцога, похитить его возлюбленную.

Итак, страсть его все сильней и сильней кипела, а между тем подошло время ударить на принца, уже подступавшего к владениям герцога, и вот герцог, Константин и все остальные в боевом порядке выступили из Афин и двинулись к границе, чтобы не дать принцу ее перейти. Уже несколько дней стояли они у границы, как вдруг Константин, все мысли которого были с той дамой, сообразив, что в отсутствие герцога ему легче легкого будет исполнить свое желание, сказался тяжко больным, дабы под этим предлогом возвратиться в Афины. С соизволения герцога он отдал вверенных ему воинов под начало Мануилу и возвратился к сестре в Афины, а несколько дней спустя, возобновив с ней разговор о том оскорблении, которое, как она утверждала, наносил ей герцог тем, что держал любовницу, сказал, что ежели она хочет, то он может сослужить ей верную службу: он, мол, готов похитить герцогскую возлюбленную и увезти. Герцогиня, полагая, что это он из любви к ней, а не к той женщине, ответила, что она будет очень рада, но только если герцог не узнает, что увоз совершился с ее ведома и согласия. Константин же твердо ей это обещал, и тогда герцогиня предоставила ему полную свободу действий. Константин, отдав тайное распоряжение держать наготове шлюпку, однажды вечером пристал к берегу неподалеку от того сада и, научив своих сообщников, как нужно действовать, с другой частью сообщников направился ко дворцу. Слуги этой женщины и она сама радостно его приветство-

вали, а затем она по его просьбе вышла вместе со своими слугами и сообщниками Константина в сад.

Под тем предлогом, что герцог просил ей что-то передать, он направился с ней к калитке, через которую можно было выйти прямо к морю. Калитку заранее отпер один из сообщников Константина; выйдя к морю, Константин подал знак находившимся в шлюпке подойти поближе, велел схватить даму и посадить ее в шлюпку, а сам, обратившись к тем, кто прислуживал даме, сказал: "Стойте смирно – и ни звука, коли вам жизнь дорога! Я не отнимаю у герцога его возлюбленную – я смываю бесчестье, ею нанесенное моей сестре".

Никто не посмел что-либо ему возразить. Константин со своими людьми спрыгнул в шлюпку и, сев рядом с плакавшей дамой, приказал сообщникам взяться за весла и отчалить. Шлюпка полетела как на крыльях, и на рассвете следующего дня они были уже в Эгине. Сойдя на берег и отдохнув, Константин насладился дамой, проклинавшей злополучную свою красу, затем снова сел в шлюпку и несколько дней спустя прибыл в Хиос, где и положил остановиться: он боялся отцовского гнева, боялся, как бы у него не отбили похищенную женщину, а здесь он почувствовал себя в безопасности. Несколько дней оплакивала дама свое злоключение; Константин, однако ж, сумел ее успокоить, так что она и на сей раз увидела хорошую сторону в том, что судил ей рок.

На ту пору находившийся в состоянии беспрерывной войны с императором султан турецкий Осбек приехал в Смирну и, узнав, что в Хиосе Константин, не принимая никаких мер предосторожности, блудодействует с увезенной им женщиной, однажды ночью отправился туда на легких судах и, бесшумно со своими людьми высадившись, многих, прежде чем они успели опомниться и сообразить, что в город ворвался враг, захватил прямо в постели, а тех, кто, пробудившись, успел взяться за оружие, перебил, выжег весь остров, нагрузил суда пленниками и добычей и возвратился в Смирну. В Смирне Осбек, – а это был человек моло-

дой, – учиняя осмотр своей добыче, увидел красавицу; узнав же, что это и есть наложница Константина, которую его люди стащили прямо с постели, он возликовал, не долго думая, женился на ней, отпраздновал свадьбу и несколько месяцев с нею блаженствовал.

Еще до этого император вступил в переговоры с королем каппадокийским Базаном касательно того, чтобы король двинул свое войско на Осбека с одной стороны, а он со своим войском напал бы на Осбека с другой, однако ж окончательно договориться с Базаном императору пока не удавалось, оттого что Базан предъявил ему такие требования, которые император поначалу счел неприемлемыми; но как скоро он узнал, что сталось с его сыном, то, отягченный печалью, не замедлил принять условия короля каппадокийского и добился от него согласия ударить на Осбека, сам же начал готовиться к нападению на Осбека с другой стороны. Сведав о том, Осбек собрал войско и, прежде чем два могущественных властителя сумели его обойти, выступил против короля каппадокийского, а красавицу жену оставил в Смирне под присмотром верного своего слуги и друга. Некоторое время спустя войско Осбека и войско короля встретились, и Осбек завязал с королем бой, сам Осбек пал в этом бою, войско же его было разгромлено и рассеяно. Одержав победу, Базан теперь беспрепятственно шел на Смирну, и все ему, как победителю, покорялось.

Осбеков слуга Антиох, под охраной которого находилась красавица, был уже в летах, что не помешало ему, презрев долг друга и верноподданного, плениться ее красотой и влюбиться, а так как она понимала его язык (это очень ее радовало – ведь она уже несколько лет была точно глухонемая: сама никого не понимала, и ее никто не понимал), то, воодушевляемый страстью, он за несколько дней так с нею сблизился, что, позабыв своего властелина, с оружием в руках выступившего в поход, они весьма скоро из друзей превратились в любовников и вволю услаждались друг дружкой под пологом. Когда же их слуха достигла весть о том, что Осбек побежден и убит, а Базан идет сюда и все на сво-

ем пути грабит, они пришли к единодушному решению не дожидаться его и, захватив почти все принадлежавшие Осбеку драгоценности, бежали в Родос, и в Родосе немного спустя Антиох опасно заболел. Тут к нему неожиданно заехал кипрский купец, которого он очень любил и который был ему добрым другом, и Антиох, чувствуя, что конец его близок, вознамерился оставить ему и состояние, и свою подружку.

В предвидении скорой кончины он позвал их обоих и обратился к ним с такими словами: "Я чувствую, что умираю, и мне это больно, оттого что никогда еще не был я так счастлив, как теперь. Одно мне служит огромным утешением: раз уж мне суждено умереть, то я рад, что умру на руках у людей, которых я люблю больше всех на свете: на руках у тебя, любезный друг, и на руках у женщины, которую я, сойдясь с нею, полюбил больше, чем самого себя. Горько мне, однако же, сознавать, что после моей смерти она, чужестранка, останется здесь, где ей не к кому обратиться за помощью и советом, но мне было бы еще тяжелее, если бы не было тут тебя, – теперь я, по крайней мере, уверен, что из любви ко мне ты позаботишься о ней так же, как позаботился бы обо мне. И вот я слезно молю тебя: если я умру, распорядись достоянием моим и ею так, чтобы душа моя была спокойна. Ты же, дорогая моя, не забывай меня, когда я умру, дабы там я мог похвалиться, что здесь меня любит самая красивая женщина, какую когда-либо создавала природа. Если вы мне дадите слово, что желания мои будут исполнены, то, вне всякого сомнения, я умру спокойно".

Слушая Антиоха, его друг-купец и его возлюбленная плакали. Когда же он умолк, они принялись утешать его и поклялись честью в случае его смерти исполнить его последнюю волю. Не в долгом времени он и правда скончался, и они подобающим образом его похоронили.

Несколько дней спустя кипрский купец, покончив в Родосе со всеми своими делами и решившись ехать обратно на каталонском одномачтовом корабле, спросил красавицу, что она собирается делать, а то, мол, ему пора восвояси.

Она же на это ответила, что, если он ничего не имеет против, она с радостью поехала бы с ним, ибо надеется, что из любви к Антиоху он будет с ней обходиться и держать себя с ней как с сестрой. Купец сказал, что готов исполнить любое ее желание, а дабы оградить ее от неприятностей, он порешил выдавать ее до приезда на Кипр за свою жену. Когда же они взошли на корабль, им отвели помещеньице в носовой части, и он, дабы слово у него не расходилось с делом, лег с ней на одной кровати. Следствием такового поступка явилось то, чего и в мыслях не было ни у того, ни у другой, когда они покидали Родос: темнота, уют и теплая постель, – а теплая постель имеет в таких делах немаловажное значение, – подействовали на обоих возбуждающе, и они, позабыв о своей любви и дружеской привязанности к покойному, будучи охвачены почти одинаковою силою страсти и друг дружку разжигая, породнились еще до приезда в Баффу, откуда был родом купец. Когда же они приехали в Баффу, она некоторое время с ним пожила.

Случилось, однако ж, что в Баффу приехал по делу некий знатный человек по имени Антигон, и было ему много лет, ума у него было еще больше, а вот земных благ совсем мало, – хоть и состоял он на службе у короля кипрского, но судьба ему не благоприятствовала. Как-то раз, когда кипрский торговец уехал по торговым своим делам в Армению, он проходил мимо его дома и увидел в окне его красавицу жену, а так как она в самом деле была отменно хороша собой, то он на нее воззрился и вспомнил, что где-то он ее видел, но где – это он припомнить не мог. Красотка, в течение долгого времени служившая игралищем судьбы и полагавшая, что испытания ее подходят к концу, бросив взгляд на Антигона, сейчас же вспомнила, что видела его в Александрии, что он находился на службе у ее отца и занимал отнюдь не последнюю должность, и тут у нее появилась надежда, что он подаст ей совет, благодаря которому она вновь займет положение, подобающее царской дочери, а так как купец пребывал в отсутствии, то она велела сию же минуту позвать Антигона. Когда он явился, она роб-

ко спросила, не Антигон ли он из Фамагосты, – так, мол, ей показалось.

Антигон отвечал утвердительно и сказал: "Лицо ваше мне знакомо, сударыня, но только я не могу припомнить, где я вас видел, – напомните, если только вас это не затруднит".

Получив подтверждение своей догадке, женщина, рыдая, к вящему изумлению Антигона, бросилась ему на шею и спросила, видел ли он ее в Александрии. Услышав этот вопрос, Антигон мгновенно узнал в ней дочь султана Алатиэль, которую считали погибшей во время кораблекрушения, и уже собирался воздать ей подобающие почести, но она, не допустив до этого, попросила его побыть у нее. Антигон согласился и почтительнейше обратился к ней с вопросом: каким образом она здесь очутилась, когда и откуда приехала, – весь, мол, Египет уверен, что она назад тому несколько лет утонула.

Она же ему на это ответила так: "Я бы предпочла утонуть, нежели вести такую жизнь, какую я вела, и если отец мой когда-нибудь про меня узнает, ему, верно, тоже было бы легче, если б я утонула". И тут она залилась слезами.

Тогда Антигон ей сказал: "Ваше высочество! Не должно прежде времени падать духом. Сделайте милость, поведайте мне ваши злоключения, расскажите мне о себе, – бог даст, мы сумеем помочь вашему горю".

"Когда я увидела тебя, Антигон, – начала красотка, – у меня было такое чувство, будто предо мною родной мой отец: ведь я же могла ничего тебе не сказать, однако ж меня заставила открыться моя дочерняя нежная любовь. Меня особенно радует то обстоятельство, что я увидела и узнала именно тебя, а не кого-либо другого, и все, что в моей горькой доле я таила от всех, тебе я открою, как родному отцу. Если же ты, выслушав мой рассказ, сыщешь средство возвратить меня в прежнее состояние, то, – прошу тебя, – прибегни к нему; если же не сыщешь, то, – прошу тебя, – никому не говори, что видел меня, – не говори даже, что от кого-нибудь обо мне слышал".

И тут она, обливаясь слезами, рассказала ему все, что с ней приключилось, начиная с того дня, когда ее корабль разбился у берегов Майорки, и по сей день. Антигон же заплакал от жалости, а затем, поразмыслив, молвил: "Ваше высочество! В течение всей этой злосчастной для вас годины никто не узнал, кто вы такая, и когда я возвращу вас султану, то вы будете ему еще дороже, чем прежде, а затем я доставлю вас к королю Алгарвскому".

Она спросила, как он намерен это сделать, Антигон же подробно ей объяснил. Во избежание каких-либо новых происшествий, могущих с нею произойти, Антигон не мешкая отправился в Фамагосту, явился к королю и сказал: "Государь! При желании вы можете сами прославиться и меня, обедневшего у вас на службе, осчастливить, и притом – без особых затрат".

Король спросил, каким образом. Антигон же ему сказал: "В Баффу приехала девушка красавица, дочь султана, о которой давным-давно ходили слухи, что она утонула. Дабы сохранить свою девичью честь, она долго мыкала горе, да и теперь все еще бедствует и мечтает возвратиться к отцу. Буде вы пожелаете отправить ее к отцу под моим надзором, то вам это послужит к великой чести, а я благодаря этому разбогатею. Я уверен, что султан до самой смерти не забудет об этой услуге".

Король, побуждаемый королевским своим великодушием, тут же изъявил согласие. Он выслал за нею почетную свиту и велел доставить ее в Фамагосту, в Фамагосте же и он и королева устроили ей торжественнейшую встречу и с превеликою честью ее приняли. Оба стали расспрашивать ее, что с ней приключилось, она же отвечала так, как ее научил Антигон, и все рассказала. Спустя несколько дней король по просьбе своей гостьи отправил ее к султану в сопровождении блестящей и почетной свиты мужеского и женского пола во главе с Антигоном. Нечего и говорить, что она, равно как и Антигон и вся прочая свита, была там встречена с великою торжественностью. Когда же она отдохнула, султан пожелал узнать,

каким чудом она уцелела и где, не подавая о себе вестей, так долго пробыла.

Дочери крепко запомнились наставления Антигона, и на вопрос отца она ответила так: "Отец мой! На двадцатый, если не ошибаюсь, день моего путешествия корабль наш, который трепала страшная буря, ночью ударился о берег западнее Акваморты. Что сталось с людьми, которые находились на борту корабля, мне до сей поры неизвестно. Помню только, что, когда рассвело и я как бы воскресла из мертвых, местные жители заметили разбитый корабль и отовсюду сбежались на предмет грабежа, меня же с двумя моими спутницами повлекли на берег, и тут спутниц моих схватили два молодых человека и бросились бежать в разные стороны. Что с ними сталось – не ведаю. На меня тоже налетели два молодых человека и за косы потащили по дороге в дремучий лес, я же, плача навзрыд, отбивалась, но в это самое время, на мое счастье, по дороге проезжали четыре всадника, и как скоро завидели их те, кто меня тащил, так сейчас же бросили меня и пустились наутек. Всадники же, которых я приняла за лиц, власть имущих, поспешили ко мне и долго меня расспрашивали, а я им долго рассказывала о себе, но они у меня ни одного слова не поняли, а я у них. Посовещавшись между собой, они в конце концов посадили меня на коня и повезли в женский монастырь тамошней веры. Не знаю, что они сказали монахиням, но только приняли меня монахини радушно и потом все время относились ко мне почтительно, я же по их примеру ублажала чтимого местными жительницами святого Стоятти из Буерака. Когда я пожила с ними некоторое время и научилась с грехом пополам их понимать, они меня стали расспрашивать, кто я такова и откуда родом, я же, боясь, что они прогонят меня как иноверку, если я им правду скажу, отвечала, что я дочь кипрского вельможи, что он отдал меня замуж на остров Крит и что, когда я туда направлялась, буря занесла нас сюда и корабль наш разбила. Из двух зол я выбрала наименьшее: я постоянно и неукоснительно соблюдала их обряды. Когда же та, что была у них за стар-

шую, – они называли ее аббатисой, – спрашивала меня, желаю ли я возвратиться на Кипр, я неизменно отвечала, что это моя мечта. Аббатиса, однако ж, боясь за мою девичью честь, все не решалась поручить меня попечениям кого-либо из тех, кто ехал на Кипр, но вот наконец, назад тому месяца два, из Франции прибыли туда почтенные люди с женами, одна из которых приходилась родственницей аббатисе, и как скоро аббатиса узнала, что они держат путь в Иерусалим, дабы поклониться гробу ихнего бога, которого положили в этот гроб после того, как он был убит иудеями, то поручила меня заботам французов и попросила их доставить меня на Кипр к отцу. Какие знаки внимания оказывали мне почтенные эти люди, как радушно приняли меня в свою среду их жены – об этом долго рассказывать. Словом, мы сели на корабль и несколько дней спустя прибыли в Баффу. В Баффе я никого не знала и не могла придумать, что сказать почтенным моим спутникам, которые во исполнение наказа, данного им досточтимою аббатисою, намеревались доставить меня к отцу, но тут господь, как видно, надо мною сжалился: он послал мне Антигона в ту самую минуту, когда мы высаживались в Баффе. Я подозвала его и, чтобы меня не поняли мои почтенные спутники и спутницы, на нашем языке попросила встретить меня, как родную дочь. Он все понял, радостно приветствовал меня, принял с честью, насколько это ему позволял малый его достаток, почтенных моих спутников и спутниц и повел меня к королю кипрскому, а тот, воздав мне такие почести, которые я не в состоянии описать, отправил меня к вам. Если же я что упустила, то за меня доскажет Антигон, – он много раз слышал повесть о моих злоключениях".

Тут Антигон обратился к султану и сказал: "Ваше величество! Что часто рассказывала мне она и что рассказывали мне почтенные ее спутники и спутницы, то самое рассказала она и вам. Одно лишь она опустила – опустила, думается мне, единственно потому, что неловко ей было об этом сказывать: почтенные ее спутники и спутницы говорили мне, что в обители она вела строгую жизнь, украшалась добро-

детелями, отличалась чистотою нрава; и еще она не сказала, как плакали и рыдали спутники ее и спутницы, когда. доверив ее мне, с ней расставались. Если б я стал пересказывать все, что они мне о ней говорили, мне бы для этого не хватило дня и даже ночи. Скажу одно: сколько я мог судить по их речам и по моим собственным наблюдениям, вы вправе ею гордиться: ни у кого из венценосцев нет такой красивой, добродетельной и бесстрашной дочери".

Султан был от всего этого в восторге и молил своего бога, чтобы он сподобил его отблагодарить как должно всех, кто принял участие в судьбе его дочери, особливо – короля кипрского, который с такими почестями препроводил ее к нему. Несколько дней спустя он, щедро одарив Антигона, отпустил его на Кипр, королю же за все, что тот сделал для его дочери, изъявил великую благодарность и в письме, и через особых послов. Затем, чтобы довести дело до конца, то есть чтобы выдать наконец свою дочь за короля Алгарвского, он все ему объяснил в письме, присовокупив, что если, мол, он не отдумал жениться, то пусть за нею пришлет. Король Алгарвский взыграл духом и, выслав за нею почетную свиту, радушно ее принял. Она же, быть может десятитысячекратно отдававшаяся девяти мужчинам, возлегла с ним на ложе как девушка, уверила его в том и в течение долгого времени счастливо с ним царствовала. Недаром говорится: "От поцелуев уста не стареют, а, как луна, молодеют".

8

Графа Антверпенского оклеветали,
и он, оставив двух своих детей
в разных городах Англии,
спасается бегством;
возвратившись в Англию неузнанным,
он убеждается, что дети его хорошо устроены,
и вступает конюхом в ряды короля французского;
после того как была доказана невиновность графа,
его восстанавливают во всех правах

Слушая рассказ о многообразных приключениях красотки, дамы тяжко вздыхали, но кто отгадает причину этих вздохов? Может статься, некоторые из них вздыхали не только из сострадания, а потому, что и они были бы не прочь столь же часто выходить замуж. Не будем, однако ж, об этом говорить – заметим лишь, что последние слова Панфило насмешили дам, а королева, поняв, что тут и конец его рассказу, обратилась к Элиссе и предложила ей, придерживаясь установленных правил, начать свой рассказ. Элисса охотно повиновалась и повела его следующим образом:

– Поле, по которому мы нынче движемся, в высшей степени обширно. Нет такого человека, который был бы неспособен не то что одно, а и десять поприщ легко пробежать по этому полю – до того оно волею судеб обильно чрезвычайными и важными событиями. Так вот, из бесчис-

ленного множества подобных событий я остановлюсь на одном.

Когда корона римского императора перешла от французов к немцам, между этими двумя народами возгорелась непримиримая вражда, перешедшая в кровопролитную, нескончаемую войну, вследствие чего король французский и его сын, кликнув клич по всему королевству и воспользовавшись подмогой родственников и друзей, собрал несметную рать и двинул ее на врага. Боясь оставить королевство без правителя, они, прежде чем выступить, объявили наместником всей власти в королевстве французском графа Антверпенского Гвальтьери, ибо знали его за человека родовитого, благоразумного, верного их друга и слугу, впрочем человека избалованного и к тяготам несения военной службы не приспособленного, несмотря на его искушенность в ратном искусстве. Гвальтьери правил мудро, соблюдая законы и во всем советуясь с королевой и с ее невесткой: обе они находились под его опекой и в его ведении, но он почитал их так, как должно почитать государынь, как должно почитать лиц вышестоящих, Гвальтьери был красавец мужчина лет сорока, как подобает человеку родовитому — очаровательный в обращении, помимо всего прочего, — обворожительнейший и любезнейший из всех живших в его время дворян, более чем кто-либо заботившийся о своей наружности.

Словом, французский король и его сын все еще воевали, Гвальтьери, жена которого умерла, оставив ему малолетнего сына и малолетнюю дочь, часто приходил к королеве и ее невестке потолковать о делах государственных, и тут случилось так, что жена королевского сына обратила на Гвальтьери внимание: воспылав к нему тайною страстью, она не спускала с него восхищенного взора, следила за каждым его движением. Приняв в рассуждение молодость свою и свежесть, а также то обстоятельство, что он вдовец, она вообразила, что желание ее легко исполнимо — стоит ей преодолеть единственную преграду, то есть чувство стыда, и вознамерилась во всем Гвальтьери открыться. И вот как-то раз, улучив время, когда у нее никого не было, она

послала за ним якобы для того, чтобы поговорить о предметах посторонних. Мысли графа были далеки от ее мыслей, и он тот же час явился на ее зов. Она усадила графа рядом с собой на диване; в комнате, кроме них, никого больше не было, граф дважды обращался к ней с вопросом, зачем она его позвала, – она отмалчивалась; наконец, движимая любовью, зардевшись от стыда, вся дрожа и чуть не плача, прерывающимся от волнения голосом заговорила:

“Милый, дорогой мой друг и повелитель! Вам, как человеку мудрому, хорошо известно, что мужчины и женщины выказывают слабость по разным причинам и в разной мере, – вот почему судия всеправедный за один и тот же проступок наказывает по-разному, в зависимости от того, кто его совершил, как тому и надлежит быть по справедливости. В самом деле, кто же станет отрицать, что в наибольшей мере заслуживают осуждения своим трудом зарабатывающие себе на кусок хлеба бедняк и беднячка, в случае, если они внемлют и покорствуют велению любви, нежели богатая, праздная женщина, у которой есть все, что душе угодно? Уверена, что никто. А когда так, то, если б она увлеклась, главным смягчающим вину обстоятельством послужил бы, думается мне, ее образ жизни, а дополнительным – умный и достойный возлюбленный, если только выбор ее и в самом деле удачен. Мои обстоятельства, как мне представляется, именно таковы, да еще надобно принять в уважение мою молодость, разлуку с мужем, – тут поневоле влюбишься, – так пусть же все эти обстоятельства послужат в ваших глазах оправданием пламенной моей страсти: если вы на это посмотрите, как должны на это смотреть люди здравомыслящие, то подайте мне совет и помогите. Дело состоит вот в чем: в отсутствие мужа я не устояла в борьбе с позывами плоти и сердечною склонностью, обладающими волшебным свойством, благодаря которому они покоряли и продолжают покорять ежедневно не только слабых женщин, но и во много раз более стойких мужчин, а, как вы могли заметить, я веду жизнь привольную и праздную, и это еще усилило мое влечение к радостям любви и способствовало тому, что я влюбилась.

Разумеется, если б это обнаружилось, мое поведение могло бы показаться предосудительным, но до тех пор, пока оно остается в тайне, я ничего особо предосудительного в нем не усматриваю, тем паче Амур был так ко мне милостив, что не отнял у меня разума, когда я выбирала себе возлюбленного, напротив того: оказал мне бесценную помощь, внушив, что вы и есть предмет, достойный такой женщины, как я, а ведь, если только я в вас не обманулась, вы — самый красивый, самый любезный, самый очаровательный и самый рассудительный дворянин во всем королевстве французском; притом, я вправе сказать о себе, что живу без мужа, ну, а у вас нет жены. Так вот о чем я намерена вас просить: ради моей любви к вам полюбите и вы меня, сжальтесь над моею младостью, тающей, словно лед от огня".

Рыдания не дали ей договорить, и она, без сил, вся в слезах, уронила голову на грудь графа. Граф, как истинный рыцарь, строго осудил ее за то, что она дала волю безрассудной своей страсти, и, отведя ее руки, готовые обвиться вокруг его шеи, поклялся, что скорее даст себя четвертовать, нежели позволит себе или же кому-либо другому запятнать честь своего повелителя.

Как скоро она это услышала, в то же мгновенье любовь к нему уступила в ее душе место бешеной злобе. "Наглец! — вскричала она. — Вы смеете издеваться над моим чувством? Вы хотите уморить меня? Смотрите, как бы я вас не уморила и не сжила со свету". Тут она вцепилась себе в волосы, всклокочила их, растрепала, разодрала на себе одежду и стала громко кричать: "Помогите! Помогите! Граф Антверпенский чинит надо мною насилие!"

Совесть у графа была чиста, но он опасался зависти придворных; полагая, что коварству этой женщины придадут больше веры, нежели его невиновности, он вскочил, бросился вон из комнаты, вон из дворца, прибежал домой, не долго думая, посадил детей на коня, сел и сам и помчался в Кале.

На крик женщины сбежались придворные и, взглянув на нее, узнав, отчего она так кричит, по одному ее виду пове-

рили ей, и не только поверили, но еще рассудили, что граф именно с этой целью последнее время рядился и пускал в ход все свои чары. Разъяренная толпа кинулась к дому графа; не обнаружив хозяина, толпа сначала разграбила дом, а затем не оставила от него камня на камне. Низкая клевета дошла до короля и наследника, и те, охваченные негодованием, осудили графа и его потомство на вечное изгнание, пообещав великую награду тем, кто доставит им его живого иль мертвого.

Граф, в отчаянии, что, будучи невинным, он своим бегством навлек на себя подозрения, прибыл с детьми в Кале и, не объявившись и так и оставшись неузнанным, поспешно отплыл к берегам Англии и в нищенском одеянии двинулся по направлению к Лондону, однако ж, прежде чем войти в город, обратился к малым своим детям с подробным наставлением, касавшимся главным образом двух вещей: он постарался внушить им, во-первых, что хотя и они и он пострадали безвинно, однако им надлежит безропотно сносить бедственное положение, в какое их поставила судьба, а во-вторых, что если жизнь им дорога, то пусть они никому на свете не открывают, откуда они и кто их родители. Его сыну Луиджи было лет девять, дочери Виоланте – около семи, и, сколько им позволял нежный их возраст, они отлично поняли отцовское наставление и впоследствии доказали это на деле. Для пущей их безопасности отец порешил дать им другие имена, и так он и сделал: мальчика назвал Перотто, девочку – Джаннеттой. Бедно одетые, вошли они в город и стали побираться, как это делают на наших глазах французские нищие.

Однажды утром они стояли с рукой около церкви, и тут случилось так, что некая знатная дама, жена одного из королевских маршалов, при выходе из церкви обратила внимание на графа с детьми, просивших подаяния. Она спросила его, откуда он и его ли это дети; граф же ей на это ответил, что он из Пикардии и что из-за бесчинства, которое позволил себе его старший сын – лиходей, он принужден был с двумя младшими детьми покинуть родные края.

Даме, отзывчивой по душе, очень понравилась девочка — до того она была пригожа, мила и приветлива. “Добрый человек! — молвила дама. — Отдай мне свою дочку, я с удовольствием возьму ее к себе — такая она у тебя славная. Если из нее выйдет порядочная девушка, я ее со временем выдам за хорошего человека”.

Просьба дамы пришлась графу по сердцу; он не замедлил изъявить согласие и, со слезами отдав девочку, поручил ее заботам дамы. Устроив таким образом дочурку, отдав ее в заведомо хорошие руки, он порешил долее здесь не оставаться. Побираясь, граф долго шел по острову и наконец с превеликими трудностями, оттого что не привык ходить пешком, вместе с Перотто добрался до Уэлса. Здесь проживал другой маршал; дом у него был открытый, жил он широко, и граф с сыном частенько захаживали к нему подкормиться. Сын маршала и другие дети знатных родителей резвились во дворце: бегали, прыгали, и Перотто принял в этих играх участие и в иных упражнениях выказал такую же, а в иных — еще большую сноровку, нежели другие мальчики. Маршал к нему пригляделся, Перотто пленил его своим поведением, манерой держать себя, и маршал полюбопытствовал, кто он таков. Ему ответили, что это сын бедняка, который время от времени приходит сюда и просит милостыни. Маршал пожелал взять ребенка на воспитание, а граф только об этом и мечтал: как ни тяжела ему была разлука с сыном, он не колеблясь отдал его маршалу. Устроив таким образом судьбу сына и дочери, граф порешил не задерживаться долее в Англии и, всеми правдами и неправдами перебравшись в Ирландию, достигнул Стренгфорда, — здесь он поступил в услужение к вассалу некоего графа и в течение долгого времени, никем не узнанный, исполнял обязанности лакея и конюха — жизнь его была полна тягот и лишений.

Виоланта, она же — Джаннетта, жила у знатной дамы в Лондоне, входила в возраст, росла, хорошела, и вот что дивно: все ее любили — и дама, и супруг дамы, и домочадцы, и все их знакомые; не было никого, кто бы, наблюдая нрав ее и обычай, не подумал, что она создана жить во всячес-

ком довольстве и почете. Дама, знавшая о ней не больше того, что сообщил ее отец, вознамерилась составить ей приличную партию, соответствующую ее, как она полагала, низкому званию. Однако ж господь, всеправедный ценитель достоинств человеческих, зная, что она девушка из хорошей семьи, что она ни в чем не виновата и расплачивается за чужой грех, судил иначе, и, как видно, именно для того, чтобы благородная девушка не досталась какому-нибудь мужлану, по милости божией произошло следующее.

У знатной дамы и ее мужа был единственный сын, которого они очень любили не только потому, что это был их сын, но еще и потому, что того заслуживали достоинства его и совершенства: то был юноша благонравный, отважный и прекрасный. Он был лет на шесть старше Джаннетты, а Джаннетта была до того мила и хороша, что юноша без памяти в нее влюбился, так что, по его мнению, лучше ее не было никого на свете. Будучи уверен, что она не знатного происхождения, он не только не осмеливался просить у отца с матерью дозволения жениться на ней, но из боязни упреков в том, что он избрал столь низкий предмет, таил, сколько мог, свои чувства. С горя он тяжело заболел. Позвали лекарей, но лекари, изучив признаки заболевания, так и не смогли определить, что же это за недуг, и утратили всякую надежду на выздоровление юноши. Отец с матерью испытывали нестерпимую душевную муку. Много раз они со слезами молили сына открыть причину его недуга, но он вместо ответа вздыхал или же говорил, что чувствует свой конец.

Но вот как-то раз, когда у постели больного сидел врач, хотя и молодой, но весьма сведущий, и щупал ему пульс, в комнату вошла Джаннетта, которая, желая угодить матери больного, самоотверженно за ним ухаживала. При виде ее юноша не проронил ни слова, не сделал ни одного движения, однако ж в сердце у него с новою силою разгорелся любовный пламень, вследствие чего и пульс стал чаще. Врача это удивило, и он признал за необходимое понаблюдать, как долго это будет продолжаться. Когда же Джаннетта вышла, пульс у больного стал слабее, и тут врач подумал,

что он близок к разгадке. Немного подождав, он, не отпуская руки больного, велел позвать Джаннетту – будто бы ему нужно о чем-то ее спросить, Джаннетта сейчас же пришла. Не успела она войти в комнату, как пульс у больного забился сильнее, а стоило ей уйти – вновь ослабел.

Тут уже врачу все стало ясно; он поднялся и, отведя отца с матерью в сторону, сказал: “Врачи бессильны помочь вашему сыну, его здоровье – в руках Джаннетты: как это я понял по некоторым явным признакам, он горячо ее любит, она же, сколько я могу судить, о том не догадывается. Теперь вы знаете, что надобно сделать для спасения его жизни, если она вам дорога”.

Вельможа и его жена обрадовались, что сыскалось средство поправить здоровье сына, а в то же время и опечалились тому, что средство оказалось такое, которого они опасались, а именно – женитьба на Джаннетте.

Как скоро врач удалился, они приблизились к больному, и мать обратилась к нему с такими словами: “Сын мой! Не думала я, что ты станешь скрывать от меня свое желание, особливо теперь, когда ты сам чувствуешь, что от его исполнения зависит состоянье твоего здоровья, – кажется, ты не раз имел возможность удостовериться, что нет ничего такого, даже и не совсем благовидного, чего бы я для тебя не сделала, как для самой себя. Хотя ты и виноват предо мной, господь милостивее к тебе, чем ты сам: дабы недуг не свел тебя в могилу, он открыл мне его причину, каковая коренится не в чем ином, как в необыкновенной любви твоей к какой-то девушке. Ты напрасно стыдился в этом признаться – ведь ты теперь в самой поре, и если б ты не влюбился, я перестала бы тебя уважать. Итак, сын мой, тебе меня бояться нечего, ты смело можешь излить мне свою душу. Отгони от себя кручину, отгони всякую мысль, пагубно отзывающуюся на твоем здоровье, воспрянь духом и верь, что я исполню твою просьбу, какова бы она ни была, – ведь я же люблю тебя больше жизни! Превозмоги стыд и страх и скажи, не могу ли я в чем-либо содействовать твоей любви. И если ты увидишь, что я никаких уси-

лий не приложу и желанной цели не достигну, можешь считать меня самой жестокой матерью в мире".

Выслушав мать, юноша сперва было устыдился, но, тут же сообразив, что никто так не сумеет помочь его горю, как она, преоборол стыд. "Матушка! – заговорил он. – Вот что удерживало меня от признания: я много раз замечал, что люди пожилые не любят вспоминать о том, что и они когда-то были молоды. Однако ж, видя ваше благоразумие, я не стану отрицать того, о чем, судя по вашим словам, вы и сами догадались, – напротив: откроюсь вам во всем, с тем, однако ж, условием, что вы исполните свое обещание по возможности скоро, – тогда я буду здоров".

У матери мгновенно составился в голове план, и, заранее уверенная в успехе своего так, впрочем, и не осуществившегося предприятия, она прямо сказала сыну, что он может быть с ней вполне откровенен, – она, мол, все сделает так, чтобы ему было хорошо.

"Матушка! – снова заговорил юноша. – Несказанная красота и безукоризненное поведение нашей Джаннетты, с одной стороны, а с другой – полная невозможность не только вызвать в ней ответное чувство, но хотя бы пробудить участие, равно как и боязнь поверить свою тайну кому бы то ни было, – все это и довело меня до такой крайности. И если только вы так или иначе своего обещания не исполните, можете быть уверены, что дни мои сочтены".

Мать, понимая, что теперь не до упреков, что нужно вдохнуть в него бодрость, с улыбкой обратилась к нему: "Ах, сын мой! И ты из-за этого мог довести себя до такого состояния? Воспрянь духом, выздоравливай, а в остальном положись на меня".

К великой радости матери, здоровье обнадеженного юноши быстро пошло на улучшение, и она уже начала подумывать о том, как бы поскорее исполнить обещание. Однажды она позвала Джаннетту и ласковым и шутливым тоном спросила, есть ли у нее возлюбленный.

Джаннетта вспыхнула. "Сударыня! – сказала она. – Бедной девушке, лишенной отчего крова, живущей в услуже-

нии у чужих людей, нельзя и не должно заниматься сердечными делами".

"Если у тебя нет возлюбленного, мы тебе его найдем, – молвила дама, – с ним тебе будет веселее, а то твоя красота пропадает даром: негоже такой красивой девушке не иметь возлюбленного".

Джаннетта ей на это возразила: "Сударыня! Вы взяли меня у моего нищего отца, вы меня воспитали, как родную дочь, и я обязана исполнить любое ваше желание, но это я не исполню и полагаю, что поступлю по совести. Если вам угодно выдать меня замуж, то мужа я стану любить, но только мужа. В наследство от предков мне досталась одна лишь честь, и честь свою я буду блюсти и беречь до конца моих дней".

В своем стремлении сдержать данное сыну слово дама рассчитывала совсем на другой ответ, но, будучи женщиной разумной, в глубине души она не могла не одобрить девушку. "Как, Джаннетта! – сказала она. – А если бы его величество король, юный любезник, возымел охоту насладиться любовью такой прелестной девушки, как ты, – неужто ты бы ему отказала?"

"Король властен учинить надо мною насилие, – не задумываясь отвечала Джаннетта, – но с моего согласия он никогда бы не добился ничего такого, что нанесло бы ущерб моей чести".

Постигнув душевное расположение Джаннетты, дама прекратила разговор, вознамерившись, однако, подвергнуть ее испытанию. Она объявила сыну, что, когда он поправится, она поместит его в одной комнате с Джаннеттой, и пусть, мол, он добивается своего, а ей-де не пристало, точно сводне, ходатайствовать перед девушкой за сына. Сын на это не пошел, и ему опять стало худо. Тогда мать поделилась своим замыслом с Джаннеттой. Джаннетта выказала еще большею твердость, и тут мать все рассказала своему супругу, и они скрепя сердце, по обоюдному согласию решились женить его, ибо предпочитали, чтобы сын их был жив, хоть и женат не на ровне, нежели совсем не женат, но мертв; долго они судили-рядили, но в конце концов так и сделали.

Джаннетта была на верху блаженства и всей душой благодарила бога за то, что он не оставил ее, и все же она продолжала всем говорить, что она – дочь пикардийца. Юноша выздоровел, на славу отпраздновал свадьбу и счастливо зажил с женой.

Перотто, остававшийся в Уэлсе при маршале короля английского, вырос, тоже вошел в милость к своему господину и стал первым красавцем и первым удальцом на острове, так что никто не дерзал с ним состязаться ни на турнирах, ни на конских ристалищах, ни в потешных боях; известный под именем Перотто-пикардийца, он прославился на всю страну. Господь, не оставивший его сестру, не забыл и о нем: когда ту страну посетило чумное поветрие, оно унесло почти половину населения, подавляющее же большинство тех, кто уцелел, в ужасе бежало в другие места, так что край совсем обезлюдел. Во время мора погибли маршал, его жена, братья, племянники и все прочие его сродники – остались только дочь, девушка на выданье, Перотто и еще кое-кто из слуг. И вот когда чума поутихла, девушка с согласия и по совету немногих уцелевших горожан решилась выйти замуж за Перотто, ибо знала его за человека доблестного и добродетельного, и ввела его во владение всем, что досталось ей по наследству. А немного спустя король английский, сведав про кончину маршала и про доблести Перотто-пикардийца, назначил Перотто на место покойного маршала. Вот что в короткий срок произошло с двумя ни в чем не повинными детьми графа Антверпенского, с которыми он, казалось, простился навеки.

Прошло восемнадцать лет с тех пор, как граф Антверпенский бежал из Парижа, и в Ирландии, где он мыкал горе и уже успел состариться, у него возникло настойчивое желание как-нибудь узнать про детей. Внешне граф сильно изменился, но зато благодаря постоянным занятиям ручным трудом чувствовал себя крепче, нежели в дни своей праздной юности, и вот наконец он, таким же бедняком, каким приехал сюда, в жалком рубище, ушел от хозяина, у которого долго жил, и, добравшись до Англии, направился

в город, где расстался с Перотто. Перед ним предстал маршал – здоровый, сильный, красивый вельможа. Граф возликовал, но порешил не открываться ему, покуда не разведает о Джаннетте. Того ради он продолжал свой путь и уже нигде до самого Лондона не задерживался. Осведомившись под рукой, что сталось с той дамой, у которой он оставил Джаннетту, граф узнал, что Джаннетта вышла замуж за ее сына; и так он обрадовался, что дети его живы и хорошо устроены, что все былые невзгоды показались ему пустячными. Ему хотелось увидеть Джаннетту, и он, как нищий, стал ходить под окнами соседних домов. Однажды на него обратил внимание Джаккетто Ламиенс, – так звали мужа Джаннетты, – и, сжалившись над нищим стариком, велел одному из слуг провести его в дом и Христа ради накормить, что слуга охотно и сделал.

У Джаннетты было от Джаккетто несколько сыновей, из коих старшему было лет восемь, – таких милых, красивых детей на всем свете не сыщешь. Как скоро увидели они сидевшего за столом графа, тотчас обступили его и стали выражать свою радость, как будто тайный голос шепнул им, что это их дед. Он же, прекрасно зная, что это его внуки, стал их миловать и ласкать, и они, не внемля зову своего воспитателя, от него не отходили. Тут вышла из своей комнаты Джаннетта и пригрозила детям, что если они не будут слушаться воспитателя, то она их прибьет. Дети заплакали и сказали, что хотят побыть с этим добрым человеком, потому что он любит их больше, чем воспитатель. Джаннетта и граф рассмеялись. Граф встал, чтобы изъявить свое почтение не как отец – родной дочери, а как бедняк – госпоже, и, окинув ее взглядом, возрадовался духом. Джаннетта, однако ж, ни сейчас, ни потом его не признала, оттого что он очень изменился с тех пор, как они разлучились: стал стар, сед, бородат, похудел, загорел, – словом, стал совсем другой человек. Дети всё не отходили от него и плакали, и Джаннетта упросила наставника, чтобы он позволил им тут побыть.

Дети все еще ластились к старичку, когда возвратился отец Джаккетто и обо всем узнал от воспитателя; Джаннет-

ту он не любил, а потому сказал так: "А, чтоб им счастья не видать! Они – в того, от кого произошли: их дед по матери – бродяга, так что же удивительного в том, что они льнут к бродягам?" Граф расслышал эти слова, и они его больно ранили, но он тут же повел плечами, как бы желая стряхнуть с себя и это оскорбление, подобно многим другим. Джаккетто узнал, как обрадовались дети доброму старичку, то есть графу, и это ему не понравилось, но он так их любил, что, только чтобы их не расстраивать, распорядился взять этого человека на службу, конечно, если тот ничего не имеет против. Старик отвечал, что он вполне согласен, но что он всю свою жизнь ходил за лошадьми и ничему другому не обучен. Его заботам поручили коня, а на досуге он развлекал детей.

В то время как судьба вышеописанным образом направляла графа Антверпенского и его детей, случилось так, что король французский, заключив с немцами несколько перемирий, скончался, и на престол взошел его сын, из-за жены которого был изгнан граф. Когда же вышел срок последнему перемирию с немцами, новый король возобновил кровопролитную войну, а недавно с ним породнившийся король английский в помощь ему прислал многочисленное войско под началом маршала Перотто и сына другого маршала – Джаккетто Ламиенса. С ними отправился и маститый старец, то есть граф; оставаясь неузнанным, он долгое время исполнял обязанности конюха, а так как он был человек сведущий, то помогал и словом и делом всем, кто только в его помощи так или иначе нуждался.

Во время войны королева французская опасно заболела. Чувствуя, что конец ее близок, она, сокрушаясь о грехе своем, как подобает истинной христианке, все сказала на исповеди архиепископу Руанскому, известному своей святой, праведной жизнью, и, каясь в своих согрешениях, поведала, как из-за нее безвинно пострадал граф. На этом королева не успокоилась: после исповеди она рассказала все, как было, многим достойным людям и обратилась к ним с просьбой повлиять на короля, чтобы король восстановил в

правах графа, если только он жив, а если умер, то кого-либо из его детей. Малое время спустя она отошла в мир иной и была погребена с подобающими почестями. Королю передали ее признание, и король, огорченный тем, что с хорошим человеком ни за что ни про что так жестоко поступили, повелел огласить в войсках, а равно и во многих других местах, указ: тот, кто доведет до его сведения, где находится граф Антверпенский или же кто-либо из его детей, получит-де щедрое вознаграждение за каждого, ибо после предсмертной исповеди королевы ему, королю, стало ясно, что граф был неправо осужден на изгнание, и король-де намерен не только восстановить его во всех правах, но еще и против прежнего возвысить. Граф, все еще служивший конюхом, услыхав королевский указ и удостоверившись, что он содержит в себе правду-истину, тот же час направился к Джаккетто и попросил его пойти вместе с ним к Перотто – ему известно-де местонахождение разыскиваемых королем.

Когда все трое встретились, граф обратился к Перотто, который уже собирался объявиться: "Перотто! Вот этот самый Джаккетто женат на твоей сестре, но приданого он за ней не получал, вот почему, дабы сестра твоя не была бесприданницею, я хочу, чтобы он, а не кто-либо еще, получил большую награду, обещанную королем за тебя, – да будет тебе известно, что ты сын графа Антверпенского, – за Виоланту, твою сестру, а его супругу, и за меня – графа Антверпенского и вашего родного отца".

Перотто, устремив на него взор, мгновенно узнал его, со слезами пал на колени и, обняв его ноги, воскликнул: "Здравствуй, отец!"

Джаккетто, выслушав графа и увидев, что Перотто опустился пред ним на колени, от радостного изумления растерялся, однако ж поверил рассказу и, устыдившись той брани, какою он имел обыкновение осыпать графа-конюха, со слезами пал к его ногам и обратился к нему с покорною просьбою простить обиды, которые он ему прежде чинил, – граф поднял его с колен и великодушно простил. После того как все трое поведали друг другу разнообраз-

ные свои приключения, поплакали, порадовались, Перотто и Джаккетто хотели было переодеть графа, однако ж граф наотрез отказался и настоял на том, чтобы Джаккетто, добившись от короля заверения в том, что он получит обещанную награду, представил его в одежде конюха, дабы королю было еще стыднее.

Итак, Джаккетто, а за ним граф и Перотто явились пред королевские очи, и Джаккетто сказал, что он приведет к королю графа и его детей с тем условием, что король наградит его согласно указу. Король тот же час велел принести награду, каковая своею щедростью привела Джаккетто в изумление, и сказал, что он получит ее, если сдержит слово и покажет ему графа с детьми. Тут Джаккетто обернулся и, выдвинув вперед графа-конюха и Перотто, молвил: "Государь! Вот отец и сын. Дочери, моей жены, здесь нет, но, бог даст, вы ее скоро увидите". Король впился глазами в коленопреклоненного графа, и, хотя тот сильно изменился, он, вглядевшись, узнал его, со слезами на глазах поднял с колен, обнял, расцеловал, затем радостно приветствовал Перотто и отдал распоряжение, чтобы отныне всё у графа – одежда, прислуга, кони, снаряжение – приличествовало его званию, что и было исполнено незамедлительно. Почтив Джаккетто, он пожелал узнать его историю. Джаккетто взял великую награду, полагавшуюся ему за то, что он привел к королю графа и его сына, и тут граф ему сказал: "Прими сей щедрый дар его величества короля да не забудь сказать своему отцу, что у твоих сыновей и моих внуков дед со стороны матери – не бродяга".

Получив награду, Джаккетто вызвал в Париж жену и ее свекровь, приехала и супруга Перотто, и все зажили счастливо, равно как и граф, которого король мало того, что восстановил во всех правах, но и против прежнего возвысил. Наконец с дозволения короля гости его возвратились восвояси, а сам король до самой смерти жил в Париже, и слава о нем была громче, чем когда бы то ни было.

9

Генуэзец Бернабо,
которого обманул и обворовал Амброджоло,
велит убить свою ни в чем не повинную жену;
ей удается спастись, и она, в мужском одеянии,
поступает на службу к султану;
обнаружив обманщика в Александрии,
она вызывает туда Бернабо,
обманщик наказан,
она же вновь облачается в женское одеяние
и, разбогатев, возвращается с мужем
в Геную

Когда Элисса, исполнив свою обязанность, рассказала трогательную повесть, королева Филомена, пригожая, статная, отличавшаяся особой привлекательностью и приветливостью, подумала и сказала:

– Наш уговор с Дионео должен остаться в силе, и так как, кроме него и меня, рассказывать больше некому, то сейчас буду рассказывать я, а Дионео, – раз он сам об этом просил, – после меня.

И начала она так:

– Всем хорошо известна народная поговорка: “Обманщик от обманутого не уйдет”. Справедливость этой поговорки трудно доказать путем умозрительным – ее подтверждают случаи из жизни. И вот, милейшие дамы, мне вспало на ум – придерживаясь заданной темы, в то же вре-

мя доказать справедливость этой самой поговорки. Вам же должно быть небезлюбопытно выслушать мой рассказ, ибо он научит вас остерегаться обманщиков.

В одной из парижских гостиниц остановились богатейшие итальянские купцы, приехавшие в Париж, как это у них водится, по делам. И вот как-то вечером после веселого ужина стали они меж собой толковать о различных предметах: слово за слово, заговорили, наконец, о женах, которых они оставили дома.

Тут кто-то из них возьми да и пошути: "Не знаю, что сейчас поделывает моя женушка, – сказал он. – Я знаю одно: если мне тут приглянется какая-нибудь девица, я супружескую-то верность в карман спрячу, а уж с ней натешусь в свое удовольствие".

А другой купец: "Я тоже могу себе представить, как развлекается сейчас моя супружница! А если даже я этого себе и не представляю, она-то ведь все равно развлекается. Будем же и мы развлекаться: как аукнется, так и откликнется".

Третий пришел почти к такому же заключению. Словом сказать, все как будто сошлись на том, что оставленные жены даром терять время не будут.

Лишь один из них, генуэзец Бернабо Ломеллин, высказал мнение противоположное – он утверждал, что его жена по милости божией наделена всеми добродетелями, какими только женщине надлежит украшаться, в большей мере, чем какая-либо другая итальянка, даже в большей мере, чем рыцарь или оруженосец: она хороша собой, молода, ловка, сильна и превеликая искусница в любом рукоделии, как, например, в вышивании шелком и прочем тому подобном. Еще он сказал, что нет такого лакея или же слуги, который лучше и ловчее прислуживал бы за столом своего господина, чем она, ибо она женщина благовоспитанная, находчивая и сообразительная. Затем он отметил, что она прекрасно ездит верхом и обращается с ловчей птицей, а читает, пишет и считает не хуже любого купца. Расхвалив ее, он перешел к предмету беседы и клятвенно уверял, что в целом

мире не найдется такой честной и скромной женщины, как она, и он-де совершенно убежден, что если б он даже на десять лет уехал, а то и навсегда, все равно она бы не стала баловаться с мужчинами. При последних его словах принимавший участие в беседе молодой купец, Амброджоло из Пьяченцы, закатился хохотом, а затем с усмешечкой спросил Бернабо: уж не император ли предоставил ему такого рода привилегию? Бернабо, слегка задетый, ответил, что послал ему такую милость не император, а сам господь, который, верно уж, посильней императора будет.

Амброджоло ему на это сказал: “Я нимало не сомневаюсь, что ты, Бернабо, уверен в своей правоте, однако ж, сколько я могу судить, ты не проник в природу вещей, а ведь ты человек толковый, и если б ты проник, то обнаружил бы в ней нечто такое, что вынудило бы тебя высказываться по сему поводу с большей осторожностью. А чтобы убедить тебя, что мы не оттого так вольно говорили о наших женах, что они другой породы и иначе сотворены, нежели твоя, а оттого, что так нам подсказывает здравый смысл, я намерен потолковать с тобой об этом предмете особо. Я давно слыхал, что мужчина – самая благородная изо всех божьих тварей; сейчас же за мужчиной идет женщина, однако мужчина, по общему мнению, – да и сама жизнь этому учит – существо более совершенное, а коли он большими наделен совершенствами, то, вне всякого сомнения, он должен быть более стойким, и так оно и есть на самом деле, ибо в общем женщины менее постоянны, а почему так – на то есть много причин естественного характера, однако же сейчас я не стану о них распространяться. Так вот, ежели мужчина, более стойкий, чем женщина, не может не снизойти к просьбам женщины, не может не пожелать той, что ему приглянулась, более того: не может не сделать все, что только в его силах, ради того, чтобы обладать ею, причем это случается с ним не раз в месяц, а тысячу раз на день, то как же ты хочешь, чтобы женщина, по самой своей природе изменчивая, устояла против домогательств, лести, подношений и великого множества

других средств, коими умный человек, полюбив ее, не преминет воспользоваться? Неужели ты думаешь, что она не сдастся? Хотя ты на том стоишь, я, по чести, не верю, что ты сам в это веришь. Ты же сам говоришь, что жена твоя – женщина, она, как и все прочие женщины, из плоти и крови. А когда так, то у нее должны быть такие же точно желания и такие же точно силы противодействия естественным побуждениям, как и у других. Вот почему я вполне допускаю, что хотя она и честная-расчестная, а поступит, как и всякая другая на ее месте, так что ты напрасно столь яростно споришь и тщишься доказать противоположное".

Бернабо ему на это возразил: "Я не философ, а купец и отвечу тебе как купец. Я стою на своем: то, что ты имеешь в виду, может приключиться с женщинами безрассудными, у которых стыда нет. Рассудительные же так строго блюдут свою честь, что, охраняя ее, становятся сильнее мужчин, которые о своей чести не заботятся. К числу таких именно женщин принадлежит и моя жена".

Амброджоло не унимался: "Конечно, ежели бы у них всякий раз, когда они забалуются, вырастал на лбу рог в знак того, чем они занимаются, то, по моему разумению, охотниц нашлось бы мало. Но они до того предусмотрительны, что не токмо насчет рогов – у них все концы в воду, а ведь срам и бесчестье и заключены в том, что выходит наружу, и коль скоро они умеют так устроить, чтобы все было шито-крыто, то они и действуют, если же не действуют, то только по своей дурости. Можешь мне поверить: та женщина непорочна, у которой никто никогда не просил, или же та, чьи просьбы не были услышаны. Я понимаю, что все это вполне естественно и так тому и быть надлежит, и все-таки я не стал бы так уверенно об этом говорить, если б не испытал этого много раз и со многими женщинами. Позволь тебе сказать: я готов побиться об заклад, что, побудь я наедине с безгрешной твоей женой, в короткий срок я довел бы ее до того самого, до чего доводил и всех прочих".

Задетый за живое, Бернабо ответил ему так: "Словопрение может тянуться до бесконечности: я свое, а ты свое –

эдак мы никогда ни до чего путного не договоримся. Ты, однако же, утверждаешь, что все женщины податливы, и хвастаешь своею неотразимостью, так вот, дабы ты убедился в честности моей жены, я готов сложить голову на плаху в том случае, если тебе удастся потехи ради подбить ее на такое дело; если же не удастся, я с тебя возьму не более тысячи золотых".

Амброджоло вошел в азарт. "Не знаю, Бернабо, чтобы я в случае выигрыша стал делать с твоею кровью, – сказал он, – но если ты хочешь удостовериться на опыте в том, что я прав, ставь против моей тысячи пять тысяч золотых, которые, уж верно, не так тебе дороги, как голова. Назначай срок, а не то так я обязуюсь незамедлительно выехать в Геную и в течение трех месяцев, считая со дня моего отъезда, совершить с твоей женой то, что мне угодно, а в виде доказательства привезти вещи, которые ей особенно дороги, и назвать некие приметы, которые вынудят тебя признать, что все так и было, – дай только честное слово, что ты за это время ни разу в Геную не приедешь и жене о нашем уговоре ничего не напишешь".

Бернабо охотно согласился. Присутствовавшие при сем другие купцы пытались помешать этой сделке, ибо они предвидели, что добром она не кончится, однако ж оба спорщика и слышать ни о чем не хотели и наперекор всем заключили письменное соглашение.

После того как условие было заключено, Бернабо остался в Париже, а Амброджоло при первой возможности выехал в Геную. В течение нескольких дней он с величайшей осторожностью наводил справки: на какой улице та дама проживает, каков ее нрав, сведения же он здесь получил еще менее утешительные, чем от Бернабо, и вся его затея показалась ему безрассудной. Со всем тем он свел знакомство с одной бедной женщиной, которая часто у той дамы бывала и к которой та благоволила, однако ж сумел подбить ее посредством подкупа лишь на то, чтобы она велела внести его в особо устроенном для этой цели ящике не просто в дом, а в один из покоев почтенной дамы. Как научил

ее Амброджоло, достойная женщина под предлогом, что ей нужно куда-то пойти, удалилась, а ящик попросила несколько дней подержать. Итак, ящик остался в комнате, и ночью, решив, что хозяйка, уж верно, спит, Амброджоло с помощью особых инструментов открыл ящик, а затем на цыпочках вошел в комнату, где горел свет. Он принялся изучать расположение комнаты, украшавшую ее живопись и все, что было в ней примечательного, и старался запоминать. Наконец приблизился к кровати и, уверившись, что дама и ее малолетняя дочка крепко спят, тихонько раскрыл даму и, обнаружив, что, нагая, она так же прекрасна, как и одетая, не нашел на ее теле ни одного знака, о котором он мог бы упомянуть, кроме того, что под левою грудью у нее была родинка, а вокруг несколько золотистых волосков. Затем он столь же осторожно прикрыл ее, хотя, удостоверившись, что она так хороша, готов был пойти на риск и присоседиться к ней. Ему вспомнилась молва об ее суровом и крутом нраве, о том, что баловства она не любит, и это его удержало. Большую часть ночи он хозяйничал у нее в комнате, вынул из шкафа кошелек и плащ, несколько поясов и колец, сложил к себе в ящик, опять туда влез и заперся. И так он орудовал две ночи подряд, а хозяйка ничего не подозревала. На третий день достойная женщина, как у нее с Амброджоло было уговорено, явилась за своим ящиком и велела доставить его по назначению. Выйдя из ящика, Амброджоло, согласно данному обещанию, расплатился с женщиной и досрочно прибыл с похищенными вещами в Париж.

Созвав купцов, присутствовавших при переговорах и при заключении условия, он объявил Бернабо, что выиграл заклад, ибо совершил то самое, что хвалился совершить. И в доказательство он прежде всего описал расположение комнаты и ее убранство, а затем показал привезенные вещи, присовокупив, что получил их от жены Бернабо. Бернабо признал, что расположение комнаты именно таково, как Амброджоло ее описал, и что вещи, точно, принадлежат его жене, однако не преминул заметить, что располо-

жение комнаты Амброджоло мог выпытать у кого-либо из слуг и с их помощью завладеть вещами, так что этого, мол, еще недостаточно, а потому если-де Амброджоло не предъявит еще чего-либо, он не признает его выигравшим заклад.

Амброджоло ему на это возразил: "По правде говоря, этого вполне достаточно, однако ты требуешь, чтобы я еще что-нибудь сказал, – ну что ж, и скажу. Могу тебе еще сказать, что у твоей жены, госпожи Джиневры, под левей грудью изрядная родинка, а вокруг шесть золотистых волосков".

Бернабо как будто ножом в сердце ударили – так ему стало вдруг больно, и он сразу изменился в лице – настолько, что если бы даже он не произнес ни слова в ответ, одно это было бы уже явным знаком того, что Амброджоло молвил правду, но после некоторого молчания он подтвердил: "Господа! Амброджоло молвил правду. Таким образом, он выиграл заклад, – пусть приходит, когда ему будет угодно, и я с ним расплачусь". И на другой день он вручил Амброджоло все деньги.

А еще через день Бернабо отбыл из Парижа и, пылая гневом на жену свою, поехал в Геную. Въехать в город он не пожелал, а расположился в своем именье, в двадцати милях от города. Одного из своих слуг, пользовавшегося особым его доверием, он направил одвуконь в Геную с письмом к жене, в котором извещал о своем приезде и наказывал ехать к нему со слугою, слуге же отдал тайное распоряжение дорогой порешить ее без милосердия, выбрав для сего наиболее удобную местность, а затем возвратиться к нему. Слуга приехал в Геную, передал письмо, выполнил поручение, – госпожа ему очень обрадовалась. Наутро она и слуга сели верхами и поехали в именье.

Ехали они, ехали, всю дорогу оживленно беседуя, и наконец меж скал и дерев их взору открылась глубокая и пустынная низина. Решив, что здесь он может безнаказанно исполнить повеленье своего господина, слуга вытащил нож, взял женщину за руку и сказал: "Помолитесь о своей душе, сударыня: дальше вы не поедете, – тут вам и конец".

Увидев нож и услышав такие речи, госпожа в ужасе вскричала: "Смилуйся, Христа ради! Прежде чем убивать, ответь мне: какое зло я тебе причинила? За что ты меня хочешь убить?"

"Мне, сударыня, вы никакого зла не причинили, – отвечал слуга, – а вот какое зло вы причинили мужу – об этом я могу судить лишь по тому, что он мне приказал без милосердия порешить вас дорогой и пригрозил: если, дескать, я его приказа ослушаюсь, то он меня повесит. Вам ведомо, что я человек подневольный, – как откажусь? Видит бог: мне вас жалко, да ничего не поделаешь".

Тут госпожа залилась слезами. "Смилуйся, ради Христа! – взмолилась она. – Не убивай в угоду другому человека, который ничего дурного тебе не сделал. Бог свидетель: я перед мужем чиста и ничем не заслужила такого возмездия. Но пока мы об этом говорить не будем. Если хочешь, ты можешь угодить одновременно богу, своему господину и мне, и вот каким образом: возьми мою одежду, а взамен дай мне свое полукафтанье и плащ, поезжай к своему господину и скажи, что ты меня убил. Клянусь тебе жизнью, которую ты мне даруешь: я удалюсь и уйду в такие места, что вести обо мне сюда не дойдут и не долетят ни до него, ни до тебя".

Слуга не охотой пошел на такое дело, и разжалобить его было легко. Взял он ее одеянье, взамен отдал свой плащ и полукафтаньишко, деньги, какие при ней были, оставил ей и, попросив удалиться отсюда, пешей оставил ее в низине, а сам поехал к своему господину и доложил, что приказ исполнен и что труп госпожи он бросил на съеденье волкам. Бернабо немного погодя возвратился в Геную, и те, кто про все это сведал, очень его осуждали.

А безутешная супруга его осталась одна-одинешенька; дождавшись ночи, она, сколько могла, изменила свой внешний вид и направила путь в ближайшее селение; здесь одна старушка наделила ее всем необходимым, а она перешила полукафтанье, укоротила его, чтобы оно было ей как раз, из сорочки сделала шаровары, остриглась и, преобразив себя в моряка, вышла к морю, и тут по счастливой слу-

чайности встретился ей каталонский дворянин, сеньор Энкарарх, — чтобы подышать прохладой возле родника, он сошел со своего корабля, стоявшего неподалеку, в Альбенге. Поговорив с ним, она поступила к нему в услужение и под именем Сикурано из Финале села на его корабль. Добрый человек приодел ее, она же служила ему ревностно и расторопно и через то вошла к нему в особую милость. Некоторое время спустя каталонец прибыл с грузом в Александрию и преподнес султану ловчих соколов. Султан несколько раз приглашал его обедать и, обратив внимание на повадки Сикурано, неизменно являвшегося прислуживать своему господину, проникся к слуге расположением и попросил каталонца уступить Сикурано ему, каталонец же, хотя и скрепя сердце, просьбу его исполнил.

За короткий срок Сикурано своею верною службой добился того, что султан не меньше ему доверял и не меньше любил его, чем до него каталонец. В определенное время года в Акру, находившуюся под властью султана, съезжалось, вроде как на ярмарку, великое множество купцов христианских и сарацинских, и на эту ярмарку султан имел обыкновение посылать для охраны купцов и товаров, помимо чиновников, кого-либо из своих приближенных с вверенными ему людьми, которым и вменялось в обязанность нести охрану. И вот, когда пришла пора, он положил отправить туда с этою целью Сикурано, который уже хорошо знал их язык. Так он и поступил. Коротко говоря, Сикурано, прибыв в Акру как начальник и руководитель охраны купцов и товаров, добросовестно и ревностно взялся за дело и, обходя дозором торг, встречался с сицилийскими, пизанскими, генуэзскими, венецианскими и другими итальянскими купцами и охотно со своими соотчичами сближался. И вот както раз, остановившись у лавки венецианских купцов, среди прочих драгоценностей он с изумлением обнаружил свой кошелек и пояс. Не показывая, однако же, вида, он вежливо спросил, чьи это вещи и не продаются ли они.

Здесь тогда находился Амброджоло из Пьяченцы — он прибыл сюда морем на венецианском корабле с большим

грузом товаров. Услыхав, что начальник охраны осведомляется, чьи это вещи, он выступил вперед и со смехом сказал: "Это мои вещи, мессер, и я не продаю их, но если они вам нравятся, я вам с удовольствием их подарю".

Видя, что купец смеется, Сикурано заподозрил, что он его по каким-либо приметам узнал, однако ж ни один мускул на его лице не дрогнул. "Ты, уж верно, смеешься над тем, что я человек военный, а расспрашиваю о всяких женских украшениях?" – спросил он.

Амброджоло ему на это: "Нет, мессер, я смеюсь над тем, как они мне достались".

"Сделай милость, – молвил Сикурано, – расскажи нам, как они тебе достались, если только тут нет чего-нибудь неприличного".

"Эти вещицы, мессер, – начал Амброджоло, – и еще коечто подарила мне на память почтенная генуэзская дама, госпожа Джиневра, жена Бернабо Ломеллина, в ту самую ночь, когда я с нею спал. А смеюсь я вот над чем: вспомнился мне дуралей Бернабо – он был до того безрассуден, что поставил пять тысяч золотых против моей тысячи: мне, мол, соблазнить его жену не удастся, а я соблазнил и заклад выиграл, он же, вместо того чтобы наказать самого себя за глупость, а не жену, которая поступила так, как все женщины поступают, по приезде из Парижа в Геную велел, как я слышал, убить ее".

Тут только уразумел Сикурано, за что на нее прогневался Бернабо, и, удостоверившись, что во всех ее горестях повинен этот человек, порешил так этого не оставлять. Он сделал вид, что рассказ позабавил его, ловким образом с Амброджоло сдружился, да так, что тот, когда ярмарка разъехалась, по настоянию Сикурано вместе с ним и со всем своим достоянием отправился в Александрию, и тут Сикурано предоставил ему помещение для торговли, из своих, собственных денег выдал ему на руки изрядный куш, и, прельщенный выгодой, Амброджоло охотно в Александрии поселился. Сикурано не терпелось уверить Бернабо в своей невиновности, и он не успокоился до тех пор, пока

при посредстве богатых генуэзских купцов, приезжавших в Александрию, под разными предлогами не вызвал его сюда. Бернабо обеднел, а потому Сикурано тайно упросил одного из приятелей своих на время приютить его, – до тех пор, пока он, Сикурано, не найдет своевременным замысел свой претворить в жизнь.

Сикурано между тем уговорил Амброджоло позабавить султана рассказом о своем похождении. Когда же в Александрию приехал Бернабо, Сикурано решил, что мешкать нечего, и, улучив минутку, обратился к султану с просьбою позвать Амброджоло и Бернабо и при Бернабо не лаской, так строгостью вытянуть из Амброджоло истину: как, дескать, взаправду обстояло у него дело с женой Бернабо, победою над которой он бахвалился? Когда же Амброджоло и Бернабо явились по зову, султан в присутствии многих лиц грозными очами посмотрел на Амброджоло и велел сказать без утайки, каким образом выиграл он у Бернабо пять тысяч золотых. Амброджоло понадеялся на заступничество Сикурано, который тоже тут находился, однако ж Сикурано с еще более неумолимым видом пригрозил, что если тот не расскажет, то его лютые ожидают мученья. После того как Амброджоло с двух сторон припугнули, он, не видя иного выхода и предполагая, что в виде наказания его, самое большее, заставят вернуть пять тысяч золотых и похищенные вещи, показал все начистоту.

Когда же Амброджоло смолк, Сикурано, как бы от имени султана, обратился к Бернабо: “А как ты, поверив этим небылицам, поступил со своею женой?”

Бернабо на это ответил так: “Утратив состояние, опозоренный, как мне тогда представлялось, моею женой, я в запальчивости велел слуге умертвить ее, тело же ее, как он мне потом сказывал, съели волки”.

После того как султан все это услышал и взял в толк, – хотя ему все еще было невдомек, к чему, однако ж, клонит Сикурано, затеявший этот допрос и самолично чинивший его, – Сикурано обратился к своему повелителю с такою речью: “Ваше величество! Теперь вы можете судить, как по-

везло этой доброй женщине и на любовника и на мужа: любовник обесчестил ее, оклеветал, опорочил и одновременно разорил ее мужа, а муж, вместо того чтобы посредством долговременных испытаний познать истину, верит напраслине, которую возвел на его жену чужой человек, и велит убить ее, а тело отдать на съеденье волкам. Ко всему прочему, благоволение и любовь к ней ее дружка и супруга так сильны, что ни тот, ни другой, несмотря на то что долго с нею сожительствовали, ее не узнали. Теперь вам должно быть совершенно ясно, чего каждый из них заслуживает, а потому, буде на то ваше соизволение, я накажу обманщика, прощу обманутого, а женщине велю предстать перед вами и перед ними".

Султан охотно пошел навстречу Сикурано и изъявил согласие на то, чтобы тот привел сюда женщину. Бернабо крайне был изумлен – до сего времени он был совершенно уверен, что жены его нет на свете, меж тем как Амброджоло, почуявший недоброе и опасавшийся, что одной уплатой денег он теперь уже не отделается, не зная, на что ему надеяться и чем появление той женщины в худшем случае может ему грозить, был еще более озадачен, нежели Бернабо.

Не успел султан дать свое соизволение, как Сикурано со слезами опустился перед ним на колени, и мужской голос мгновенно пропал у него вместе с желаньем сойти за мужчину. "Ваше величество! – молвил он. – Я и есть бедная, несчастная Джиневра, шесть лет терпевшая нужду и мыкавшаяся по свету под видом мужчины, злодеем Амброджоло оболганная и в преступных целях оклеветанная, а жестоким и несправедливым супругом обреченная на смерть от руки слуги его и на снедь волкам". И тут она разорвала на себе спереди одежду и, обнажив грудь, показала султану и всем прочим, что она женщина, а затем, обратясь к Амброджоло, вне себя от возмущения задала ему вопрос, когда же это он с нею спал, а тот сейчас узнал ее и словно онемел от стыда.

Султан, до того дня принимавший ее за мужчину, все это видя и слыша, пришел в такое изумление, что все, что он сейчас видел и слышал, показалось ему скорее похожим на

сон, чем на явь. Наконец, оправившись от потрясения и уверившись, что все это правда, он превознес Джиневру, прежде именовавшуюся Сикурано, за ее нрав и образ жизни, за ее постоянство и за ее добродетели. Он велел наделить ее роскошным женским одеянием и окружить ее, согласно ее просьбе, женским обществом и отменил смертную казнь, полагавшуюся Бернабо, а Бернабо, узнав жену, пал к ее ногам, рыдая и моля о прощении, и жена великодушно его простила, хотя он этого и не заслуживал, велела ему встать и нежно, как мужа, его обняла.

Затем султан повелел немедля привязать Амброджоло где-нибудь на высоком и солнечном месте к колу, вымазать медом и не отвязывать до тех пор, покуда он не упадет, что и было исполнено. Затем он повелел все имущество, принадлежавшее Амброджоло, отдать Джиневре, имущество же его представляло ценность немалую: свыше десяти тысяч дублонов. Кроме того, он распорядился устроить в честь Бернабо и в честь достойнейшей женщины – супруги его, госпожи Джиневры, великое торжество и подарил ей столько драгоценных вещей, столько золотых и серебряных сосудов и столько денег, что в сумме это составляло еще десять тысяч дублонов. Наконец велел снарядить корабль и по окончании празднеств дозволил им, если они того хотят, возвратиться в Геную, и возвратились они туда богачами, в несказанном душевном веселии, и приняты были с великою честью, особливо госпожа Джиневра, которую никто уже не чаял встретить в живых и которую при ее жизни многие почитали за женщину весьма благонравную. Амброджоло между тем в тот самый день, когда его привязали к колу и намазали медом, был съеден до костей мухами, осами и слепнями, коими та местность обильна, и в великих муках скончался, и державшиеся на жилах белые его кости, которые долго никто не убирал, свидетельствовали всем, кто только обращал на них взор, об его злодействе, Так-то вот обманщик не ушел от обманутого.

10

Паганино из Монако
похищает жену мессера Риччардо да Киндзика:
тот, узнав, где она, едет туда же
и, подружившись с Паганино,
просит вернуть ему жену;
Паганино изъявляет согласие – с условием,
однако ж, что она сама того захочет;
она не пожелала,
а когда мессер Риччардо скончался,
вышла замуж за Паганино

Все благородное общество весьма одобрило прекрасную повесть, королевой рассказанную; особенно одобрил ее Дионео, которому предстояло рассказать сегодня последнюю повесть. Расхвалив королеву, он начал так:

– Приятные дамы! Одно место в повести королевы вынудило меня изменить первоначальному моему намерению и рассказать о другом: я имею в виду дикость Бернабо (впрочем, его все же не погубившую), а равно и других мужчин, которые верят в то, во что, как оказалось, верил он, а именно – в то, что, пока они, странствуя по белу свету, то с той, то с другой развлекаются, их жены сидят сложа руки, а ведь все мы среди женщин растем и живем, так нам ли не знать, к чему их влечет? В своей повести я покажу, как глупы такие люди и насколько глупей их те, которые, воображая, что они сильнее природы, при помощи ложных доказательств

тщатся убедить себя, будто они способны совершить то, что явно им не по силам, и такие же точно свойства приписывают другим, хотя бы свойства эти им были не сродны.

Итак, жил-был в Пизе судья, мессер Риччардо да Киндзика, и судья этот мог похвалиться не столько силой, сколько разумением. Будучи богат, а также уповая, что будущая его супруга удовольствуется тем, что с такого занятого человека, как он, взятки гладки, он с немалым упорством искал себе красивую и молодую невесту, а между тем, если б он присоветовал себе то самое, что советовал другим, то не след было бы ему зариться на красивых и молодых. Желание его исполнилось: мессер Лотто Гваланди отдал за него дочь Бартоломею, одну из самых красивых и обворожительных пизанок, многие из которых своею увертливостью не уступают, однако же, ящерицам. Торжественно введя ее к себе в дом и отпраздновав пышную и великолепную свадьбу, мессер Риччардо в первую ночь ради своего бракосочетания отважился-таки на нее посягнуть, но чуть было не отдал концы. По сему случаю наутро ему, как человеку худому, сухопарому и слабосильному, пришлось возвращать себя к жизни верначчей, укрепляющими карамельками и прочими тому подобными снадобьями. Теперь уже строго рассчитывая свои силы, господин судья начал обучать жену численнику, выданному в свет, по всей вероятности, в Равенне и пригодному разве для того, чтобы забавлять тамошних школяров. По его выходило так, что не было дня в году, на который не приходилось бы мало одного — нескольких праздников, и раз, дескать, муж и жена эти праздники чтут, то и должны они по разным причинам в эти дни от соитий воздерживаться, а к праздничным дням он еще добавил дни постные, малые посты, кануны дней памяти апостолов и сонма других святых, пятницы и субботы, Пасху, весь Великий пост, фазы луны и сделал еще множество исключений, — как видно, он был того мнения, что дела постельные также требуют дней отдыха, каковые он время от времени устраивал себе на службе. Такого образа действий он, к великому неудовольствию своей жены, которой причитался

от силы раз в месяц, да и то не всегда, долгое время придерживался и зорко следил за тем, чтобы кто-нибудь не научил ее вести счет дням рабочим, как он научил ее вести счет праздничным.

Однажды в жаркое время года мессеру Риччардо припала охота поехать для развлечения в свое прекрасное именье близ Монте Неро и там несколько дней подышать воздухом, и взял он с собой красавицу жену. Чтобы позабавить ее, он как-то раз отправился с ней на рыбную ловлю: в одной лодке находился он с рыбаками, а в другой – она и еще несколько женщин. Рыбная ловля так увлекла их, что они не заметили, как очутились в открытом море, – от берега их отделяло несколько миль. Лов поглощал почти все их внимание, а в это время показалась галера знаменитого корсара Паганино да Маре, и как скоро Паганино завидел лодки, тот же час направился к ним. Та лодка, где находились женщины, отстала, и Паганино углядел в ней красавицу, а ему только этого и надо было: на глазах у мессера Риччардо, который был уже на берегу, он пересадил его жену к себе на галеру – и только его и видели. Нечего и говорить, как был убит этим обстоятельством господин судья, ревновавший свою благоверную даже к воздуху. Не имея понятия, кто похитил у него жену и куда завез ее, он подавал жалобы на злодеев корсаров и в Пизе, и в других городах, но безуспешно.

Между тем Паганино, удостоверившись, что пленница – красотка, остался доволен, а так как жены у него не было, то порешил он держать ее при себе и, видя, что она плачет навзрыд, с помощью ласковых слов постарался ее утешить. Когда же настала ночь, численник выпал у него из-за пояса, и он, выбросив из головы праздничные дни, равно как и дни отдыха, принялся утешать ее делом, ибо слов, которые он говорил ей днем, оказалось, – сколько он понимал, – недостаточно. И так он ее разутешил, что она еще не успела приехать в Монако, а судья и все его законы выскочили у нее из головы, и она превесело зажила с Паганино. В Монако Паганино не только утешал ее денно и нощно, но и окружал почетом, как законную жену.

Некоторое время спустя мессер Риччардо дознался, где находится его супруга, и, пылая страстью, заранее соглашаясь на любой выкуп, порешил сам за нею съездить, так как считал, что никто другой на его месте не сделает всего, что нужно, для того чтобы она возвратилась. В Монако он поехал морем, и там они случайно встретились, и в тот же вечер она рассказала про эту встречу Паганино и объявила ему свою волю. На другое утро мессер Риччардо познакомился с Паганино, в короткое время близко с ним сошелся и подружился, Паганино же делал вид, что не знает, кто он таков, и выжидал. Когда же мессер Риччардо нашел, что пора действовать, он в самых учтивых и мягких выражениях открыл ему цель своего приезда и сказал, чтоб он какой угодно выкуп с него взял, а чтоб жену его отдал.

Паганино же ему с приветливым видом молвил: "Добро пожаловать, мессер! Я вам на это отвечу в нескольких словах: у меня, точно, живет молодая женщина, вот только мне неизвестно, ваша ли она жена или же еще чья. – вас-то я ведь не знаю, да и с ней знаком без году неделю. Коли вы в самом деле ей муж, то я вас к ней сведу, тем более что вы, сколько я мог заметить, человек обходительный и добропорядочный, и я уверен, что она вас сейчас узнает. Если она все подтвердит и изъявит желание вернуться к мужу, я из уважения к вам возьму за нее выкуп, какой вы сами назначите. Если же вы сказали неправду, то грех вам будет отнимать ее у меня: я человек молодой, ничем не хуже других, – почему бы мне не иметь любовницу, да еще такую, краше которой я отродясь не видывал?"

Мессер Риччардо ему на это ответил: "Она воистину моя жена, – ты в этом убедишься, как скоро сведешь меня к ней: ты только исполни свое обещанье, а она сию же минуту бросится ко мне на шею".

"Ну, идем", – сказал Паганино.

Итак. они пошли к Паганино, и, войдя к себе, Паганино за ней послал, она же вышла к ним разубранная и разряженная, однако ж с мессером Риччардо обошлась так, как обошлась бы с любым посторонним человеком, которого

привел бы к себе в дом Паганино. Судья, ожидавший, что она ему невесть как обрадуется, пришел в немалое изумление. "Может статься, долговременная скорбь и печаль от разлуки с нею так меня изменили, что она меня не узнает?" – сказал он себе и обратился к ней с такими словами: "Жена моя! Дорого мне обошлась рыбная ловля, на которую я тебя повез. Никто на свете так не горевал, как горевал я в разлуке с тобой, а ты меня дичишься, – как видно, не узнаешь. Присмотрись повнимательней – я твой Риччардо, и приехал я сюда, чтобы уплатить этому достойному человеку, в доме которого мы сейчас находимся, сколько бы он ни запросил, заполучить тебя и увезти к себе. Он же так любезен, что предлагает мне самому назначить цену выкупа".

Дама усмехнулась. "Мессер! – молвила она, обращаясь к нему. – Это вы мне говорите? Вы, уж верно, приняли меня за другую – я, по крайней мере, не могу вспомнить, чтобы я вас где-нибудь видела".

"Да что с тобой! – вскричал тут мессер Риччардо. – Присмотрись ко мне получше, напряги свою память – и ты убедишься, что я точно твой Риччардо да Киндзика".

"Извините, мессер, – молвила дама, – может быть, даже вы меня и осудили за то, что я неподобающе долго на вас глядела, – как бы то ни было, насмотрелась я на вас предостаточно и удостоверилась, что вижу вас первый раз в жизни".

Мессер Риччардо, вообразив, что она боится Паганино и потому не осмеливается в присутствии возлюбленного признать его, немного погодя обратился к Паганино с просьбой дозволить ему поговорить с ней наедине в другой комнате. Паганино дозволил, с тем, однако ж, условием, что мессер Риччардо не будет насильно ее целовать, а даме приказал пойти с ним в другую комнату, выслушать его и ответить, что ей бог на душу положит.

Итак, дама и мессер Риччардо перешли в другую комнату, сели, и тут мессер Риччардо снова обратился к ней: "Сердце мое, душенька моя, радость моя! Неужто ты не уз-

наешь своего Риччардо, который любит тебя больше самого себя? Как же так? Неужто я до такой степени изменился? Ну, погляди же на меня, свет очей моих!"

Дама расхохоталась и, прервав его, заговорила: "Вы, конечно, понимаете, что не настолько же я беспамятна, чтобы не признать, что вы мой муж, мессер Риччардо да Киндзика. Но во время нашей совместной жизни вы доказали, что вы меня знаете плохо: будь вы в самом деле человек неглупый, каковым вы желаете прослыть, вы бы сообразили, что я женщина молодая, свежая, здоровая, а вам должно было быть известно, что требуется молодым женщинам помимо пищи и одежды, хотя они и стесняются о том говорить. Вы сами знаете, как вы эту потребность удовлетворяли. Коль скоро заниматься изучением законов вам было приятнее, чем заниматься с женой, тогда незачем было жениться. Хотя, впрочем, я почитала вас не за судью, а за глашатая праздников и дней отдыха, — так хорошо вы их помните, — равно как постов и канунов. Вот что я вам скажу: если б вы для работников в ваших поместьях установили столько же дней отдыха, сколько установили вы их для того, кому надлежало возделывать малое мое поле, вам бы ни одного зерна собрать не удалось. Бог пожалел мою младость, и по его милости я напала на этого человека, с которым теперь живу вот в этой комнате, где не знают, что такое праздник (я разумею праздники, которые вы, усерднее служивший богу, чем женщинам, столь строго соблюдали). И ни разу еще в эту дверь не вошли ни субботы, ни пятницы, ни кануны, ни малые посты, ни столь продолжительный Великий пост, — напротив того, здесь трудятся день и ночь и теребят шерсть. У нас с первого же раза пошло дело на лад. Вот почему я намерена остаться здесь и, пока молода, буду с этим человеком трудиться, а праздники, исповеди и посты — все это я буду соблюдать, когда состарюсь. Не теряйте же даром времени, поезжайте домой и празднуйте без меня, сколько вашей душе угодно".

Слушая такие речи, мессер Риччардо испытывал нестерпимую душевную боль; когда же его супруга умолкла, он вос-

кликнул: “Ах, душенька моя, подумай, что ты говоришь! Неужто ты ни во что не ставишь честь родителей твоих и свою честь? Неужто ты предпочитаешь быть наложницею этого человека, что́ есть грех смертный, нежели в Пизе быть моею женою? Когда ты ему надоешь, он прогонит тебя и тем осрамит на весь свет, мне же ты всегда будешь мила, и даже когда меня не станет, ты будешь хозяйкой в моем дому. Неужто ты ради утоления разнузданной и злонравной похоти пожертвуешь своим благонравием и мною, любящим тебя больше жизни? Бесценная моя радость! Ничего мне больше не говори, и поедем ко мне. Теперь мне ясно, чего тебе хочется, и уж я расстараюсь! Ненаглядная моя! Перемени решение свое и вернись ко мне – с тех пор, как тебя отняли у меня, я места себе не нахожу!”

Дама ему на это ответила так: “О чести моей пусть никто не беспокоится, – все равно теперь поздно, – уж я сама о ней побеспокоюсь. Пусть бы о ней беспокоились мои родители, когда отдавали меня за вас! Они тогда о моей чести не беспокоились – с какой же стати буду я теперь беспокоиться об их чести? Пусть нет греховней моего проступка, зато для такого пестика я безотказная ступка, так что уж вы обо мне не беспокойтесь. И вот что я еще вам скажу: здесь я себя чувствую женой Паганино, а в Пизе что? Одна слава, что я спала с вами на одном ложе: наши с вами планеты пересекались и сходились только в определенные фазы луны и по геометрическим чертежам, меж тем Паганино всю ночь напролет не разжимает объятий, тискает меня да покусывает, а уж как возделывает-то меня, господи! Вы обещаете расстараться. Каким образом? Вничью играть, без толку удочку закидывать? Я слыхала, будто из вас знатный рыбак вышел. Ну так и поезжайте домой и лучше расстарайтесь насчет того, чтобы еще хоть сколько-нибудь пожить, а то не жилец вы на этом свете, как я погляжу: уж больно вы хлипкий да дохлый. И, наконец, вот что я вам скажу: если даже этот человек меня бросит, – а он, сколько я понимаю, и не собирается меня бросать, только бы я его не бросила, – я и не подумаю к вам возвращаться: вас сколько ни

жми — чашки соку не выжмешь, и ведь уж я с вами побыла себе во вред и в убыток, так лучше я в другом месте поищу поживы. Повторяю: нет у нас здесь ни праздников, ни канунов, — вот почему я и намерена здесь остаться, а вы ступайте себе с богом, да поживее, а не то я закричу, что вы насильничаете надо мной".

Мессер Риччардо, увидев, что дело плохо, и только сейчас уразумев, как глупо он поступил, что, будучи слабосильным, женился на молоденькой, вышел из комнаты унылый и удрученный, а затем долго еще говорил с Паганино, но так ни с чем от него и ушел. Не добившись толку и отступившись, возвратился он в Пизу и с горя рехнулся: когда он теперь шел по городу, то всякому, кто с ним здоровался или же о чем-либо его спрашивал, он твердил одно и то же: "Мерзкая скважина праздновать не желает". А вскоре он умер. Как скоро сведал про то Паганино, то, приняв в соображение пламенную любовь этой женщины, вступил с нею в законный брак, и теперь они оба, не соблюдая ни праздников, ни канунов и не постясь, трудились до полного изнеможения и веселились напропалую. Так вот, милые мои дамы, я убежден, что в споре с Амброджоло Бернабо вполне мог бы опростоволоситься.

Эта повесть так насмешила общество, что у всех скулы заболели от смеха, а дамы в один голос сказали, что прав Дионео, а Бернабо дурак.

После того как повесть была досказана и смех затих, королева, удостоверившись, что уже поздно, что все повести рассказаны и что владычеству ее пришел конец, сняла, как того требовал установленный порядок, с головы своей венок, возложила его на Нейфилу и, с веселым видом молвив: "Отныне, дорогая подруга, тебе властвовать над этим малым народом", — села на свое место. От этих почестей Нейфила слегка покраснела, и лицо у нее стало точно свежая апрельская или майская роза на рассвете, а чуть опущенные дивные глаза сияли подобно утренним звездам. Когда же умолк хвалебный шум, которым окружающие изъявили

свой восторг и любовь к королеве, Нейфила воспряла духом и, выпрямив стан, заговорила:

– Итак, я теперь ваша королева, а потому, не отклоняясь от того образа правления, коего придерживались мои предшественницы, действия которых вы одобряли и которым вы повиновались, я в коротких словах объявлю вам свою волю, каковую мы и будем исполнять, если только вы ее одобрите. Сколько вам известно, завтра – пятница, а послезавтра – суббота, то есть дни, большинству людей неприятные из-за пищи, в эти дни дозволенной к употреблению. Кроме того, пятницу надлежит особенно чтить, ибо в этот день претерпел страсти тот, кто умер ради нашей жизни, а потому правильнее и приличнее всего было бы нам не рассказывать, а со страхом божиим молиться. Далее: по субботам женщины имеют обыкновение мыть голову и вообще смывать с себя всю пыль и всю грязь, которые за истекшую неделю могли к ним пристать в то время, как они трудились. Еще у нас весьма распространен обычай поститься в честь матери божьей, а в конце дня, во славу наступающего воскресенья, устраивать себе отдых от всех дел. Но так как мы не сможем во всем придерживаться этого уклада жизни, то я рассудила бы за благо и в субботу воздержаться от рассказов. Далее: мы здесь уже четыре дня, и если мы хотим избавиться от гостей, то я считаю своевременным отсюда удалиться и перейти в другое место, а куда именно – я уже надумала и о том позаботилась. Таким образом, времени для размышлений у нас будет достаточно, и когда мы в воскресенье после полуденного сна соберемся вновь, то не лучше ли нам, в противоположность сегодняшнему дню, несколько сузить предмет наших рассказов и ограничиться одним каким-нибудь обстоятельством, и я бы предложила рассказывать *О том, как люди благодаря хитроумию своему добивались того, о чем они страстно мечтали, или же вновь обретали утраченное.* Пусть каждый обдумает такой рассказ на эту тему, который мог бы принести нашему обществу пользу или, по крайней мере, позабавить нас, а за Дионео мы льготу его сохраним.

Все единодушно одобрили речь и предложение королевы и постановили: быть по сему. Она же, призвав дворецкого, подробно ему объяснила, где вечером расставить столы и каковы будут его обязанности во все время ее правления. После этого королева встала – а за ней и все общество – и объявила, что каждый волен заниматься чем хочет.

Дамы и мужчины пошли в садик, погуляли немного, а потом с удовольствием сели за ужин, каковой прошел у них весело. Когда же встали из-за стола, то по желанию королевы Эмилия повела круговой танец, а Пампинея запела, прочие же ей подпевали:

Как промолчать и не запеть могла я,
Коль претворилась в явь мечта былая?

Приди ж, любовь, залог утех моих –
Хмельных надежд и светлых сновидений,
И песню мы споем
Не о слезах и жалобах немых,
Хотя с тобой все в радость – скорбь и пени,
Но об огне твоем,
Затем что мне гореть так сладко в нем
Тебя, божественная, восхваляя.

Любовь! Твой пламень охватил меня,
Когда красавца юношу явила
Ты взору моему.
Не видела до этого я дня
Ни в ком столь много сил, отваги, пыла.
Нет равного ему,
И я пою с тобою потому,
Что страстью, госпожа, к нему пылаю.

Безмерно ты, любовь, щедра ко мне.
Ведь нежный друг, дарованный тобою,
И сам пленился мной.
Я в здешней жизни счастлива вполне,

А в неземной счастливей буду вдвое:
Я верю всей душой
Любимому, и нас творец благой
За эту веру впустит в двери рая.

И долго еще потом пели, танцевали, играли на разных инструментах. Когда же королева нашла, что пора на покой, то все, предводительствуемые слугами со светильниками в руках, разошлись по своим комнатам. В течение следующих двух дней они размышляли на тему, которую им задала королева, и с нетерпением ожидали воскресенья.

Кончился второй день
ДЕКАМЕРОНА,
начинается третий.
В день правления
НЕЙФИЛЫ
предлагаются вниманию
рассказы о том,
как люди
благодаря хитроумию своему
добивались того,
о чем они страстно мечтали,
или же вновь
обретали
утраченное

В воскресенье солнце вот-вот должно было показаться и заря из багряной уже превратилась в золотистую, когда королева, встав с постели, подняла и все общество, а дворецкий задолго до этого послал в условленное место слуг, которые могли бы там все приготовить, и отправил с ними множество необходимых вещей; когда же он увидел, что королева пустилась в дорогу, он велел как можно скорее погрузить остальное и, довершая впечатление снявшегося лагеря, двинулся с пожитками и с теми, кто прислуживал господам и дамам. Итак, королева в обществе и в сопровождении дам и трех молодых людей, напутствуемая пеньем соловьев и других пташек, по тропинке, заросшей муравой и цветами, с появлением солнца начавшими раскрываться, тихим шагом направилась к западу, и не прошла она, болтая со своими спутниками, шутя с ними, смеясь, и двух тысяч шагов, как в начале восьмого взорам путников на холме, возвышавшемся над долиной, открылся великолепный, роскошный дворец. Войдя и весь дворец обойдя, путники осмотрели просторные залы, прибранные и украшенные комнаты, снабженные всем, что требуется в домашнем обиходе, и все им тут очень понравилось, равно как и любовь хозяина к роскоши. Когда же они спустились вниз и увидели обширный, приютный двор, подвалы, полные отменных вин, и неиссякаемый источник ключевой воды, то пришли в еще больший восторг. Как скоро они сели отдохнуть в лоджии, господствовавшей над двором и убранной

ветками и цветами, какие можно было в это время года достать, явился догадливый дворецкий, угостил их дорогими сластями и подкрепил отменными винами.

После этого, велев отпереть дверцу в обнесенный стеною сад при дворце, все перешли туда. Уже при входе они были поражены тем дивной красоты зрелищем, какое являл собой сад, а затем начали рассматривать его во всех подробностях. Боковые дорожки, широкие и прямые, как стрелы, пересекали сад в разных направлениях, а под сводом виноградных лоз, суливших изрядный урожай, тянулась главная аллея. Лозы столь сильный источали аромат, сливавшийся с запахом множества других растений, благоухавших в саду, что вошедшим показалось, будто они дышат всеми благовониями Востока. Дорожки были обсажены белыми и алыми розами и жасмином, – вот почему не только по утрам, но и когда солнце стояло высоко, здесь можно было всюду гулять в приятной, душистой тени, не опасаясь солнечных лучей. Сколько здесь было растений, и каких именно, и в каком порядке они были посажены – об этом долго рассказывать; довольно сказать, что нет на свете такого чудесного растения, в нашем климате произрастающего, которое не было бы здесь представлено в изобилии. Посреди сада, – и это, пожалуй, составляло главную его достопримечательность, – находилась лужайка, издали казавшаяся черной – такой темно-зеленой заросла она травкой, – пестревшая великим множеством цветов, обсаженная апельсинными и лимонными деревьями, сгибавшимися под тяжестью и спелых, и еще незрелых плодов, обсыпанными цветом, отбрасывавшими приятную для глаз тень и радовавшими обоняние. Посреди лужайки стоял беломраморный фонтан, украшенный чудными изваяниями. Из его чаши поднималась колонна, а на колонне высилась статуя, бившая прямо в небо то ли естественною, то ли искусственною мощной струею, которая затем с приятным для слуха плеском низвергалась в прозрачную чашу фонтана, и было в этом фонтане столько воды, что ее с лихвой хватило бы и для мельницы. Вода эта, – я разумею ту воду, которая пе-

реплескивалась через края чаши, – уходила под землю, а затем, выбившись на поверхность уже за пределами лужайки, обтекала ее, струясь по искусно и хитроумно устроенным желобам. И по таким же точно желобам растекалась она потом по всему дивному саду, наконец стекалась в один из его уголков, и уже оттуда прозрачный ее поток прядал в долину, по пути, с невероятной силой и с немалой пользой для владельца, приводя в движение колеса двух мельниц. Зрелище, которое представлял собой сад; ласкавший глаз порядок, в каком он был рассажен; растения, здесь произраставшие; водомет и растекавшиеся от него ручейки, – все это восхитило дам и молодых людей, и они сошлись на том, что если б возможен был рай на земле, то его надобно было бы устроить по образу этого сада, прекрасней которого они ничего не могут себе представить. С наслаждением гуляя по саду, сплетая прелестные венки из веток самых разных деревьев, слушая пение птиц, точно соревновавшихся друг с дружкой и распевавших едва ли не на двадцать ладов, они наконец обратили внимание на некое диво, которого, будучи поглощены всем прочим, они прежде не замечали. Оказалось, что сад был полон прелестных животных самых разных пород, и гуляющие стали на них друг другу показывать: вот выскочили кролики, а вон бегут зайцы, здесь разлеглись дикие козы, а там пасутся молодые олени, и много других, как будто бы ручных, безвредных тварей, себе на радость, гуляло здесь на воле, – обозревать их было еще забавнее, нежели все остальное.

Вдоволь налюбовавшись и нагулявшись, прибывшие велели расставить столы у красивого фонтана, пропели по выбору королевы шесть песенок, протанцевали несколько танцев, а затем приступили к трапезе, и тут им были предложены в изысканнейшем, тщательно обдуманном, строго определенном порядке вкусные, тонкие блюда, по окончании же трапезы все, в еще более веселом расположении духа, встали с мест и опять начали играть, петь, танцевать, пока королева не заметила, что сейчас очень жарко, а потому кто хочет – тот может соснуть. Некоторые пошли спать,

другие же отказались и предпочли побыть среди всей этой красоты, и, пока те спали, они читали рыцарские и любовные истории или же играли в шахматы и шашки.

В три часа все встали и, освежив лицо холодной водой, по желанию королевы направились к фонтану и тут, в обычном порядке рассевшись, приготовились слушать рассказы на тему, заданную королевой. Первый, на кого королева возложила эту обязанность, был Филострато, и начал он так.

1

Мазетто из Лампореккьо,
прикинувшись немым,
поступает в женский монастырь садовником,
и все монахини путаются с ним наперебой

— Прекрасные дамы! Много есть на свете глупых мужчин и женщин, которые убеждены, что стоит надеть на голову юнице белую повязку, тело же ее облечь в черную рясу, как она перестает быть женщиной и женские страсти у нее отмирают, словно, приняв постриг, она превращается в камень. Когда же они узнают что-либо противоречащее их взглядам, то бывают так смущены, как будто в мире свершилось величайшее и гнуснейшее преступление против природы, — они не желают принимать в рассуждение и в соображение ни самих себя, — хотя сами-то они пользуются полной свободой действий, но и она их не удовлетворяет, — ни могучие силы праздности и одиночества. Есть на свете много таких, которые совершенно уверены, что лопата, заступ, грубая пища, нужда — все это, с одной стороны, очищает их от сладострастных вожделений и притупляет их ум и смекалку — с другой. Из небольшой повести, которую по повелению королевы, не выходя за пределы предложенной ею темы, я намерен вам рассказать, вы увидите, как далеки эти люди от истины.

В наших краях был — да и сейчас еще существует — женский монастырь, славившийся своим благочестием, — я на-

рочно не называю его, дабы не умалить его славы. В этом самом монастыре еще не так давно было всего восемь монахинь, не считая аббатисы, причем все они были молоды, а за их прекрасным садом ухаживал славный малый, но он был недоволен своим жалованьем и в конце концов, взяв у эконома расчет, возвратился в свой родной Лампореккьо. Находившийся среди радостно его встретивших односельчан молодой хлебопашец Мазетто, силач, крепыш, для деревенского парня достаточно стройный и даже красивый, спросил, где это он так долго пропадал. Малый, которого звали Нуто, ему объяснил. Тогда Мазетто задал ему вопрос, какие обязанности лежали на нем в монастыре.

Нуто ему на это ответил так: "Я ухаживал за их большим чудесным садом, кое-когда за дровишками в лес ходил, воду носил, и на другие работы меня посылали, а платили так мало, что на эти деньги рваных башмаков – и то не купишь. Притом все они молодые, и в них ровно бес вселился: нипочем на них не угодишь. Работаешь, бывало, в огороде – одна говорит: "Посади вот это", – а другая: "Нет, вот это", – а третья выхватит у меня из рук лопату: "Не так!" – говорит. До того они мне надоедали, что я все бросал и уходил, и вот из-за этого, да еще из-за жалованья, я с ними расстался и возвратился домой. Когда я расчет брал, эконом сказал, что если есть у меня на примете человек подходящий, то чтобы я направил его к нему, а я обещать-то обещал, да ну его к богу – никого я ему не сыщу и не пошлю!"

Мазетто весь так и загорелся желанием устроиться в монастырь, тем более что из слов Нуто он заключил, что желание его осуществимо. Для отвода глаз он, однако же, обратился к Нуто с такими словами: "Молодец, что от них ушел! Не мужское это дело – жить среди баб. С чертями – и то лучше жить: бабы в шести случаях из семи сами не знают, чего хотят".

Распрощавшись с Нуто, Мазетто, однако, тут же стал шевелить мозгами, как бы это ему проникнуть к бабам. Он знал, что с обязанностями, которые ему перечислил Нуто, он справится, – не это его смущало: он боялся, что его не

возьмут в монастырь из-за того, что он молод и пригож. В конце концов, раскинув умом, он рассудил так: “Это очень далеко отсюда, никто меня там не знает. Притворюсь-ка я немым – тогда меня наверное примут”.

Утвердившись в этой мысли и никому не сказавшись, он, бедно одетый, с топором на плече, зашагал в монастырь. Зайдя во двор, он наткнулся на эконома и знаками показал ему, как то делают немые, что просит покормить его ради Христа, а он, мол, за то дровец ему наколет. Эконом охотно покормил его, а затем подвел к чурбанам, – Нуто так их и не одолел, а Мазетто посильней его был и скорехонько с ними управился. Эконом пошел в лес, взял его с собой и велел нарубить дров, потом поставил впереди осла и знаками показал, чтобы он отвез дрова в монастырь. Мазетто все сделал как следует, и эконом оставил его на несколько дней в монастыре, чтобы тот еще кое в чем ему подсобил. И вот однажды его увидела аббатиса и спросила эконома, что это за человек.

Эконом ответил ей так: “Это, матушка, глухонемой бедняк – он просил милостыни, я его досыта накормил, а он за это много дел переделал. Если б он умел работать в саду и захотел бы здесь остаться, то у нас был бы добрый слуга, а нам как раз такой и нужен: он здоровяк, ему никакая работа не страшна. А чтобы он с вашими девицами какое баловство затеял – на этот счет можете быть спокойны”.

“Твоя правда, накажи меня бог! – молвила аббатиса. – Узнай, работал ли он когда-нибудь в саду, и уговори остаться. Выдай ему башмаки, старый плащ, улести его, обласкай, накорми до отвала”.

Эконом сказал, что так и сделает. Находившийся в это время поблизости Мазетто делал вид, что усердно метет двор, а сам прислушивался к разговору и весело говорил про себя: “Да вы меня только пустите – я так вам сад возделаю, как его никто еще не возделывал”.

Когда эконом удостоверился, что немой отлично умеет работать в саду, то при помощи знаков спросил его, не желает ли он здесь остаться, Мазетто также при помощи зна-

ков ему ответил, что ни от какой работы не откажется, — тогда эконом оставил его при монастыре, велел ему работать в саду и, показав, что от него требуется, отправился по разным монастырским делам. Мазетто целыми днями трудился, а монашки начали приставать к нему, дразнили его, как обыкновенно дразнят немых, и, полагая, что он не слышит, ругались самыми непотребными словами, аббатиса же, по всей вероятности воображавшая, что у него не только языка, но и хвоста нет, не обращала на это почти никакого, а вернее сказать — совсем никакого внимания.

Случилось, однако ж, что когда он как-то раз, на славу потрудившись, прилег отдохнуть, две молодые монашки, гуляя по саду, приблизились к нему, — и давай разглядывать его, а он притворился спящим. И тут одна из них — та, что была победовей, — сказала подруге: "Будь я уверена, что тебе довериться можно, я поделилась бы с тобой одним своим замыслом, который давно уже сидит у меня в голове, — может, и ты этою мыслью воспользуешься".

А та ей: "Говори, не бойся, — я никому не скажу".

Тогда бедовая начала так: "Ты хоть раз задумалась над тем, в какой строгости нас содержат? Ведь к нам ни один мужчина не смеет войти, за исключением старика эконома да еще вот этого немого. А между тем я много раз слыхала от женщин, которые к нам сюда приходили, что все земные услады — ничто по сравнению с той, какую ощущает женщина, отдаваясь мужчине. И вот что я в конце концов надумала: коли нельзя с кем-либо еще, так не испытать ли это с немым? Для этой цели он самый подходящий человек: ведь если б даже он и захотел, все равно не смог бы и не сумел проболтаться. Сейчас видно, что он — дубина. В рост пошел, а ума не нажил. Ну? Что ты на это скажешь?"

"Да будет тебе! — воскликнула другая. — Ты забыла, что мы дали богу обет девства?"

"Э, сколько ему ежедневно приносят обетов, да ни одного не исполняют! — возразила первая. — А наш обет пусть исполнит кто-нибудь другой или же другая".

Подружка ей на это: "Ну, а если ты понесешь, – что тогда делать?"

А она: "Беды еще нет, а ты уж ее накликаешь! Случится – тогда и будем думать. Если только мы сами не проговоримся, всегда можно устроить так, что никто про это не узнает".

Послушав такие речи, другая пуще нее разохотилась испытать, что это за животное – мужчина. "Ну так как же?" – спросила она.

А та ей: "Сейчас около трех – сестры, уж верно, спят. Поглядим, нет ли кого в саду, и если нет, то нам останется только взять его за руку и повести вон в тот шалаш, где он прячется от дождя, – одна будет с ним, а другая на часах. Он такой дурак, что на все пойдет".

Мазетто слышал эту беседу от слова до слова, – готовый к услугам, он только того и ждал, чтобы одна из них взяла его за руку. Оглядевшись по сторонам и удостоверившись, что их ниоткуда не видно, та, которая завела этот разговор, подойдя к Мазетто, разбудила его, а он мигом вскочил. Она ласково на него взглянула – он засмеялся глупым смехом, она взяла его за руку, повела в шалаш, и в шалаше он ее, не заставив себя долго упрашивать, удовольствовал. Она же, как верная подруга, получив то, что хотела, уступила место той, которая караулила, а Мазетто, прикидываясь простачком, послушно ублаготворял их. По сему обстоятельству каждой из них припала охота еще разок испытать, как ездит верхом немой. После, почасту друг с дружкой беседуя, они признавались, что это даже еще усладительнее, чем можно было судить по рассказам других, и, дождавшись благоприятного времени, ходили резвиться с немым.

Случилось, однако ж, так, что одна из сестер, проследив за ними из окошка своей кельи, указала на них двум другим. И первым их движением было все рассказать аббатисе, но потом они передумали и, войдя в сговор с теми, стали испытывать на себе неутомимость Мазетто. В разное время и в силу различных обстоятельств к ним примкнули остальные три монашки. Наконец ничего не подозревавшая аббатиса, как-то раз гуляя одна-одинешенька по саду, узрела Ма-

зетто, а тот хоть и не был переобременен работою днем, зато уставал от ночных скачек, и теперь он, разлегшись под миндальным деревом, спал, и все у него было наружу, оттого что ветер задрал ему одежду. Увидевши это и зная, что она здесь одна, аббатиса так же точно распалилась похотью, как и ее монашки. Она разбудила Мазетто и, проведя к себе в келью, к великому негодованию монашек, роптавших на то, что садовник не идет возделывать сад, держала его здесь несколько дней, вновь и вновь ощущая ту самую усладу, за которую она прежде осуждала других.

Наконец она отпустила Мазетто в его каморку, но потом все же часто его оттуда вызывала, при этом требования ее превышали теперь его возможности, и Мазетто, будучи не в состоянии полностью удовлетворить ее, пришел к заключению, что если он и дальше будет разыгрывать немого, то это может очень и очень ему повредить. И вот как-то ночью, когда он был вдвоем с аббатисой, Мазетто, нарушив обет молчания, обратился к аббатисе с такою речью: "Матушка! Я слыхал, что одного петуха вполне хватает на десять кур, но что десять мужчин слабо или, во всяком случае, с трудом удовлетворят одну женщину, а я принужден обслуживать девять. Мне этого нипочем не выдержать, какое там: из-за того, что я переусердствовал, я теперь ни на что не способен: ни на многое, ни на малое. Так что уж вы либо дозвольте мне уйти отсюда с богом, либо как-нибудь меня от этого избавьте".

Услышав, что немой заговорил, аббатиса оторопела. "Что же это такое? – сказала она. – Я думала, ты немой".

"Я, матушка, и был немой, – возразил Мазетто, – но только не от природы, – у меня отнялся язык после болезни, а нынче ночью я снова почувствовал, что он у меня есть, и за это я от всей души благодарю бога".

Поверившая ему аббатиса спросила: что это значит, что ему приходится обслуживать девять женщин? Мазетто все ей объяснил. Выслушав его рассказ, аббатиса пришла к заключению, что все монахини в монастыре намного умнее ее. Так как аббатиса была женщина рассудительная, то она

не отпустила Мазетто, а порешила общими усилиями уладить дело таким образом, чтобы Мазетто не осрамил обитель. Тут как раз умер их эконом. Монахини, во всем друг дружке повинившись, с общего согласия и с дозволения Мазетто уверили окрестных жителей в том, что по их молитвам и по милости святого, в честь которого основан был монастырь, долгое время немотствовавший Мазетто вновь обрел дар речи, и сделали его своим экономом, распределив его обязанности таким образом, что он стал с ними справляться. И хотя, исполняя таковые обязанности, он наплодил изрядное количество монашков, однако ж концы прятались ловко — и узнали об этом только после того, как аббатиса преставилась, а тогда уж Мазетто был староват, и его тянуло богатым человеком воротиться домой. И как скоро все это выплыло наружу, его волей-неволей пришлось отпустить.

Итак, из дому вышел Мазетто с одним топором, а вернулся старым, многодетным богачом, избавленным от необходимости кормить детей и на них расходоваться, благодаря природной сметке отлично сумевшим воспользоваться своею молодостью, и, вернувшись, он все приговаривал: дескать, Христос терпел и нам велел.

2

Некий конюх
овладел женой короля Агилульфа;
король догадывается и, разыскав конюха,
отрезает у него прядь волос;
конюх отрезает пряди у других конюхов
и только благодаря этому выпутывается

Как скоро Филострато кончил свой рассказ, во время которого дамы то слегка краснели, то посмеивались, королева изъявила желание, чтобы дальше рассказывала Пампинея, и та с игривым видом начала так:

– Есть на свете безрассудные люди, которым смерть как хочется показать, что им доподлинно известны такие вещи, о коих им-то как раз знать и не следует: они воображают, что, обличая чужие грехи, никем, кроме них, не замеченные, они тем самым собственный свой позор сводят на нет, меж тем как на самом деле именно из-за этого он растет до бесконечности. Справедливость сего суждения я собираюсь доказать вам, обворожительные дамы, на примере противоположном – на примере хитроумия одного человека, которого, может статься, сочтут все же менее удачливым, нежели Мазетто, равно как и на примере мудрости некоего доблестного короля.

Король лангобардов Агилульф, идя по стопам предшественников своих, столицею своего королевства сделал ломбардский город Павию, а в жены себе взял Теуделингу, вдо-

ву бывшего короля лангобардов Аутари, красавицу, умницу, правил честнейших, однако же в делах сердечных незадачливую. Благодаря доблести и осмотрительности помянутого короля Агилульфа лангобарды жили мирно и благополучно, и нужно же было случиться так, что конюх королевы, человек худородный, однако ж по всем прочим своим качествам заслуживавший лучшей участи, нежели та, на которую он был обречен презренным своим занятием, из себя такой же видный и красивый, как король, без памяти влюбился в королеву. Низкое звание не мешало, однако ж, конюху отдавать себе ясный отчет в том, что его любовь выходит за пределы приличия, а потому, будучи человеком благоразумным, он никому чувства своего не поверял и ничем, даже взглядом, не показал королеве, что любит ее. Надежды на взаимность не было у него ни малейшей, а все же он втайне гордился, что столь высоко устремил свои помыслы, и, подобно всем, объятым любовным пламенем, с бóльшим тщанием, нежели кто-либо из его товарищей, делал все, чтобы угодить королеве. Вот почему королева, собираясь на прогулку, охотней садилась на того коня, за которым ходил он, а не кто-либо другой, и когда так случалось, он, принимая это как великую милость, не отходил потом от ее стремени и почитал себя счастливцем всякий раз, когда прикасался к ее одежде.

Нам часто, однако ж, приходится наблюдать, что чем слабее надежда, тем сильнее любовь, и так именно и произошло со злосчастным конюхом. Тяжко было ему таить в себе безнадежную свою любовь, и, не в силах подавить ее, он все чаще и чаще подумывал о самоубийстве. Из всех видов самоубийства порешил он избрать такой, который навел бы на мысль, что он наложил на себя руки от любви, какую питал и питает к королеве. Кроме того, смерть, которую он хотел себе избрать, должна была, согласно его замыслу, помочь ему попытать счастья и всецело или хотя бы отчасти утолить свою страсть. Конюх не осмеливался сказать королеве о своей любви на словах, не осмеливался написать ей об этом в письме, – он сознавал всю беспо-

лезность и того и другого, — он думал, нельзя ли с помощью какой-либо уловки провести с королевою ночь. И не было у него иного пути и средства, как найти возможность проникнуть в ее покой под видом короля, который, сколько было ему известно, не всегда спал вместе с нею. Дабы узнать, как и в какой одежде ходит к ней король, он прятался по ночам в большой зале королевского дворца, находившейся между покоями короля и королевы. И вот в одну из таких ночей он увидел, как король, закутанный в широкий плащ, с зажженным светильником в одной руке и с посохом в другой, вышел из своего покоя, приблизился к покою королевы и раза два молча постучал посохом в дверь, как ему в ту же минуту отперли и взяли у него светильник.

Понаблюдав за тем, как король прошел к королеве и как он от нее вышел, конюх решил, что ему надлежит действовать так же. Раздобыв плащ, похожий на королевский, светильник и посох, хорошенько вымывшись в ванне, дабы запах навоза не оскорбил обоняние королевы и не вызвал в ней подозрений, он, по своему обыкновению, спрятался в большой зале. Как скоро конюх уверился, что все спят и что настало время исполнить свое желание или же достойно встретить лицом к лицу вожделенную смерть, он с помощью кремня и огнива, которые он захватил с собой, высек огонь, зажег светильник и, завернувшись и закутавшись в плащ, приблизился к покою королевы и два раза постучал в дверь. Сонная служанка отперла ему, взяла светильник и поставила на место, а он молча отдернул полог и, сняв плащ, лег рядом с королевой. Он сдавил ее в объятиях, но притворился, что чем-то расстроен, — ему было известно, что король в расстройстве чувств ничего слышать не хочет, — и, ни слова не говоря и не дав королеве вымолвить слово, несколько раз познал с ней телесную близость. Ему до смерти не хотелось уходить, однако, боясь, как бы промедление не превратило наслаждение в муку, он встал с постели, взял плащ, взял светильник, молча удалился и с великою поспешностью улегся на свою постель.

Не успел он до нее добраться, как король встал и прошел в покой королевы, чем поверг ее в немалое изумление, и, когда он уже лег в постель и приветливо поздоровался с ней, она, воодушевленная его приветливостью, обратилась к нему с такими словами: "О, это что-то новое, государь! Вы же только что ушли от меня, усладившись мною сверх всякой меры, и так скоро вернулись? Поберегите себя!"

Послушав такие речи, король тот же час догадался, что королеву обмануло сходство поведения и наружности, однако ж, видя, что ни королева, ни кто-либо другой этого не заметили, он, будучи человеком благоразумным, решился повести дело так, чтобы она пребывала в заблуждении. Многие глупцы на его месте так бы не поступили – они бы сказали: "А я не приходил. Кто здесь был? Как было дело? Кто он таков?" Из сего воспоследовали бы всякие неприятности, он только напрасно огорчил бы королеву и возбудил бы в ней желание вновь испытать то, что она уже изведала, – разглашение обесчестило бы его, меж тем как умолчание никоим образом его бы не опозорило.

Итак, король затаил гнев в душе, но не подал виду и не выразил его на словах. "Жена! – молвил он. – Неужто ты не относишь меня к числу мужчин, которые способны побывать и вернуться?"

Жена ему на это ответила так: "Разумеется, отношу, государь, а все-таки поберегите свое здоровье".

А король ей: "На сей раз я послушаюсь твоего совета – не стану докучать тебе и удалюсь".

Нимало не сомневаясь в том, что над ним насмеялись, разгневанный и возмущенный, король взял плащ и вышел из комнаты, – он порешил, не поднимая шума, разыскать того, кто это сделал, сделать же это мог, по его разумению, не иначе как кто-нибудь из домочадцев, а улизнуть из дому в ночную пору никому не удалось бы. Коротко говоря, он зажег огарочек в фонаре и отправился в длинную людскую, под которой находились конюшни, – здесь на разных кроватях спала почти вся его челядь. Полагая, что у того, кто все сказанное только что проделал с его женой, ни пульс,

ни сердце не могли еще успокоиться после длительных усилий, король начал обходить одну кровать за другой и осторожно прикладывать руку к сердцу каждого челядинца. Все спали крепким сном, только тот, кто побывал у королевы, еще не спал. Увидев короля и сообразив, кого он разыскивает, конюх испугался, сердце же его, и без того сильно бившееся после напряжения, от страха забилось еще сильнее, ибо он был совершенно уверен, что если король это заметит, то убьет его без милосердия. Убедившись, что король безоружен, конюх начал перебирать в уме всевозможные лазейки и в конце концов остановился на том, чтобы притвориться спящим и выждать, что предпримет король. А король, многих ощупав и не обнаружив пока ничего подозрительного, приблизился к нему и, удостоверившись, что сердце у него бьется сильно, сказал себе: "Это он!" Не желая, однако ж, открывать до времени свои намерения, он ограничился тем, что ножницами, которые он взял с собой, отрезал у него сбоку прядь волос, – а волосы в то время носили предлинные, – сделал же он это для того, чтобы по этой примете утром опознать его, а сделав, вышел из людской и отправился к себе. Конюх следил за каждым движением короля, а так как он был малый смышленый, то живо смекнул, для какой такой цели его эдак отметили. Он мигом вскочил и, найдя ножницы, которых, на его счастье, в конюшне было несколько пар, – ими пользовались для стрижки лошадей, – подкрался к спавшим, и у всех, сколько их ни было в людской, таким же порядком отхватил над ухом по пряди волос, а затем, никем не замеченный, лег спать.

Король, встав поутру, повелел созвать всех челядинцев, а дворцовые ворота покуда не отпирать, что и было исполнено. Когда же челядинцы, все как один с непокрытыми головами, выстроились перед ним, он начал их оглядывать в надежде, что сейчас будет опознан тот, у кого он отрезал прядь. Оказалось, однако ж, что у большинства тоже отрезана прядь, и это его поразило. "Тот, кого я ищу, хоть и низкого звания, зато ума – палата", – подумал он. Уразумев,

что без огласки ему не найти преступника, и порешив ради мелкой мести не навлекать на себя великого позора, король рассудил за благо двумя словами усовестить его и намекнуть, что ему, королю, все известно. Того ради он, обращаясь ко всем, молвил: “Кто это сделал, тот пусть никогда больше этого не делает. Ступайте с богом!”

Другой на его месте велел бы пытать их, истязать, велел бы учинить сыск и допрос и в конце концов раскрыл бы то, что каждому человеку надлежит скрывать. Обнаружив преступника, король воздал бы ему полной мерой, но и себя покрыл бы несмываемым позором, и запятнал бы честь своей жены. Те, кто слышал слова короля, дались диву и долго еще потом думали-гадали, что король хотел этим сказать, но никто ничего не понял, за исключением одного, к которому слова эти и относились. А он был человек неглупый и ни разу при жизни короля не проговорился и никогда больше в такого рода делах не шел на риск.

3

Одна дама,
влюбленная в некоего мужчину,
притворившись на исповеди,
что чистосердечно кается,
достигает того, что ничего
не подозревающий благочестивый монах
содействует полному успеху
задуманного ею предприятия

Когда Пампинея умолкла, многие стали вслух восхищаться отвагой и находчивостью конюха, равно как и благоразумием короля, а затем королева, обратясь к Филомене, объявила, что теперь ее черед, и Филомена с очаровательною приятностью начала так:

— Я хочу рассказать вам об одной шутке, которую и в самом деле сшутила одна прелестная дама с честным иноком, и шутка эта тем более должна прийтись по нраву мирянам, что монахи в большинстве своем люди преглупые, престранного нрава и обычая, воображающие, что они намного выше и просвещеннее других, меж тем как они намного хуже других, по своей низости не способные трудом, как все люди, добывать себе необходимое и, подобно свиньям, ищущие, где бы чем поживиться. Об этой шутке я расскажу вам, очаровательные дамы, не только для того, чтобы исполнить веление королевы, но также для того, чтобы показать, что и монахи, коим мы по легкомыслию своему слиш-

ком доверяем, могут быть и бывают ловко одурачены как мужчинами, так равно и некоторыми из нас.

В нашем городе, где царит обман, а не любовь и верность, не так давно жила-была знатная дама, отличавшаяся редкостною красотою, обходительностью, возвышенною душою и тонким умом, а вот как ее звали и как звали других лиц, которые действуют в моем рассказе, – хотя мне это известно, – я вам не открою, ибо многие еще живы, и это может их рассердить, меж тем как это должно вызывать смех, и ничего больше. Итак, эта дама при одной мысли, что ее, женщину благородного происхождения, выдали замуж за мастерового, за простого, хотя и богатого-пребогатого ткача, выходила из себя, – она держалась того мнения, что мужчина низкого звания, какой бы он ни был богач, не достойн родовитой жены; видя же, что он со всем своим богатством годится только на то, чтобы отличать одну ткань от другой, сновать основу или же спорить с прядильщицей о доброте пряжи, она порешила ни под каким видом не принимать его ласк за исключением тех случаев, когда уж никак нельзя отказать, а для собственного утешения приискать кого-нибудь более достойного, нежели ткач. Полюбила она в высшей степени порядочного человека средних лет, да так горячо, что если днем его не видела, то всю ночь потом тосковала. А он ничего не замечал и ни о чем таком не помышлял, она же из осторожности, боясь беды, не осмеливалась поведать ему о том ни через посланницу, ни в письме.

Приметив, что он часто посещает одного монаха, который хотя и был глуп и неотесан, однако благодаря своей святой жизни почти у всех стяжал себе славу подвижника, она подумала, что вот кто, дескать, был бы наилучшим посредником между ней и ее возлюбленным. Заранее определив образ действий, какого ей следует придерживаться, она, выбрав наиболее подходящее время, пошла в церковь, при которой жил монах, и, вызвав его, попросила, чтобы он, когда это ему будет удобно, поисповедовал ее. Монах, догадавшись по ее виду, что перед ним знатная дама, охотно согласился, а после исповеди она ему сказала: “Отец

мой! Мне нужны помощь ваша и совет вот в каком деле. Мне ведомо, – да ведь я и сама вам сказала, – что вы знаете и родителей моих, и моего мужа, который любит меня больше жизни: стоит мне чего-нибудь захотеть, и он, человек богатый и всемогущий, тот же час мою прихоть исполняет, и за это я люблю его больше, чем самое себя, и если б я не то что совершила, а хотя бы помыслила о чем-либо таком, что могло бы опорочить его доброе имя или же вызвать его неудовольствие, то ни одна дурная женщина не была бы так достойна сожаления, как я. Последнее время какой-то мужчина, – по правде сказать, я даже не знаю, как его зовут, если не ошибаюсь, он часто бывает у вас, – судя по виду, из хорошей семьи, красивый, статный, всегда в темном, очень приличном платье, не имеющий, как я полагаю, понятия о моих правилах, ведет против меня самую настоящую осаду: стоит мне показаться у дверей или у окна, стоит мне выйти из дому – и он уже тут как тут; дивлюсь, что не вижу его здесь. Все это меня очень волнует: подобный образ действий чернит ни в чем не повинных, порядочных женщин. Мне приходило в голову передать ему это через моих братьев, но потом я отдумала: мужчины, исполняя поручение, способны иной раз обозлить человека – слово за слово, а от слов недолго перейти к делу. Я боялась раздоров, боялась огласки, оттого и молчала и в конце концов решила, что лучше всего сказать вам: во-первых, он ваш друг, а во-вторых, вам приличествует отчитывать за такие дела не только друзей, но и людей посторонних. Вот я и прошу вас: отчитайте его, ради бога, и скажите, чтобы он больше так не делал. Наверное, есть такие женщины, которым нравится, когда на них заглядываются, когда за ними ухаживают, которые до всего этого падки, а меня этим не прельстишь, меня это только отвращает". И тут она с таким видом, что слезы мешают ей говорить, опустила голову.

Святой отец сразу сообразил, о ком она говорит, и, вполне ей поверив и похвалив за благонравие, обещал, что тот человек больше не будет ей докучать. Затем, зная, что она женщина весьма состоятельная, он пустился в рассуждения

о том, какое хорошее дело – благотворительность, и поведал ей свои нужды.

А женщина ему: "Бога ради, исполните мою просьбу! Если же он вздумает отрицать, скажите прямо, что я сама все рассказала и пожаловалась вам на него".

Получив отпущение грехов, женщина вспомнила наставления монаха касательно благотворительности и, сунув ему в руку деньги, попросила отслужить заупокойные обедни по усопшим ее родичам, затем встала с колен и пошла домой.

Немного погодя к святому отцу зашел, по своему обыкновению, тот человек. Поговорив с ним о том о сем, монах отвел его в сторонку и в весьма мягких выражениях попенял за то, что, как это стало известно монаху со слов одной дамы, он преследует ее своими ухаживаньями и не сводит с нее глаз. Тот был озадачен, ибо никогда он на нее не заглядывался и мимо ее дома проходил крайне редко, и стал было оправдываться. Монах, однако ж, прервал его: "Не прикидывайся удивленным и не пытайся отрицать – все равно это тебе не удастся. Я не от соседей про это узнал – она сама принесла мне на тебя слезную жалобу и все рассказала. Подобные шалости тебе уже не к лицу, а главное, ей-то эти твои дурачества противны. Так не позорь же себя и ей не докучай – прекрати свои домогательства, оставь ее в покое".

Тот оказался догадливее монаха: мгновенно оценив изобретательность дамы, он притворился, что ему стыдно, обещал впредь ей не докучать, а простившись с монахом, направил стопы свои прямехонько к ее дому, она же всегда караулила его у окошечка. При виде его она так повеселела и так ему обрадовалась, что тут ему стало совершенно ясно, насколько верно истолковал он слова монаха. После этого он с особой осторожностью, притворяясь, что идет куда-то по делу, на радость самому себе, к великому удовольствию дамы и ей на утешение, ежедневно начал ходить мимо ее дома.

Когда же, по прошествии некоторого времени, она заметила, что пользуется взаимностью, то ей захотелось еще сильнее его увлечь и уверить в искренности своих чувств к

нему, и для того, выбрав время и место, она опять пошла к святому отцу в церковь и, сев у его ног, расплакалась. Монах с участливым видом спросил, что у нее нового.

“Отец мой! – сказала дама. – Новости мои касаются все того же окаянного вашего друга, на которого я вам жаловалась третьего дня: он и на свет-то произошел, должно полагать, мне на горе и дабы поступить со мной так, чтобы я весь свой век крушилась и никогда больше не осмелилась припасть к вашим стопам”.

“Как! – воскликнул монах. – Разве он не перестал докучать тебе?”

“Какое там! – отвечала дама. – Напротив: он, верно, рассердился на меня за то, что я вам пожаловалась, и теперь, словно в отместку, проходит мимо не один, а десять раз на день. И я бы еще благодарила бога, если б он довольствовался тем, что, гуляючи, смотрел на меня, но он до того осмелел и обнаглел, что не далее как вчера послал ко мне женщину с подношениями и со всякой чепухой и прислал с ней кошелек и пояс, как будто у меня своих нет. Мне это показалось, да и продолжает казаться, до того оскорбительным, что если б не боязнь греха и не мое уважение к вам. я бы такой шум подняла! Но все-таки я сдержалась и порешила без вашего благословения ничего не предпринимать и никому ничего не говорить. Более того; я велела той женщине отнести обратно и кошелек и пояс и совсем уж было выпроводила ее, но затем, побоявшись, что она присвоит вещи себе, а ему скажет, что я приняла подарок, – с такими, как она, это, говорят, случается, – вернула, в сердцах взяла у нее вещи и принесла вам: отдайте их ему и скажите, что я в его подношениях не нуждаюсь, – слава богу и спасибо моему мужу, у меня столько кошельков и поясов, что я могу ими закидать его. Если же он не уймется, я, испросив на то благословение у вас, как у моего духовного отца, все расскажу мужу и братьям, а там будь что будет. Пусть лучше позор падет на его голову, раз уж ему на роду так написано, чем если из-за него станут чернить меня. Верно я рассудила, отец мой?”

И тут она, все еще обливаясь слезами, достала из-за пазухи прелестный, богато изукрашенный кошелек, затем нарядный дорогой пояс и бросила монаху на колени, — тот, приняв на веру все ее слова, в крайнем замешательстве взял вещи и сказал: “Дочь моя! Я не дивлюсь, что это так тебя огорчает, и не только не осуждаю тебя, но, напротив, весьма одобряю за то, что ты следуешь моим наставлениям. Я его позавчера отчитывал, но он, как видно, слова своего не сдержал, и теперь я его и за прежнее и за новое так взгрею, что он от тебя отстанет. Ты же с божьей помощью преобори гнев свой и родным ничего не говори, а то ему худо придется. Не бойся, что тебя за это очернят, — я и перед богом, и перед людьми нелицеприятный свидетель твоего честного поведения”.

Дама, сделав вид, что это ее несколько успокоило, переменила разговор и, зная монашескую алчность и, в частности, его алчность, повела с ним такую речь: “Отец мой! Все эти ночи мне являлись во сне мои родные. Мне показалось, что они ужасно как мучаются, и просили они меня не скупиться на помин их души, в особенности — моя мать: у нее был такой удрученный и такой несчастный вид, что жалость брала на нее глядеть. По-моему, она очень страдает из-за меня — что мне столько пришлось вынести из-за этого врага господня, и мне бы хотелось, чтобы вы отслужили сорок заупокойных литургий святого Григория и помолились о том, чтобы господь избавил моих родных от вечного огня”. И, сказавши это, она вложила ему в руку флорин.

Святой отец, с радостью взяв его, постарался добрым словом и многочисленными примерами укрепить ее во благочестии, а затем, благословив, отпустил. Не понимая, что его обвели вокруг пальца, он тотчас по уходе исповедницы послал за своим другом, — тот, увидев, что монах гневается, живо смекнул, что он ему сейчас сообщит что-нибудь новое о даме, и весь превратился в слух. Монах повторил все, о чем твердил ему прежде, а затем в не менее оскорбительных и сильных выражениях стал пори-

цать за то, что он, по словам дамы, себе с ней позволил. Приятель монаха, еще не понимая, к чему тот клонит, и не решаясь колебать его уверенность, которая, может статься, внушена была ему той дамой, слабо отрицал посылку кошелька и пояса.

Монах, разъярившись, вскричал: "Как ты смеешь отрицать, негодник? Вот они, – она сама, рыдая, принесла их мне. Ну что, твои это вещи?"

Тот, сделав вид, что не знает, куда деваться со стыда, сказал: "Конечно, мои. Признаюсь, я поступил дурно. Теперь я убедился, что она ко мне не расположена, и клянусь вам, что больше вы от нее ничего про меня не услышите".

Долго еще вели они этот разговор; наконец безмозглый монах отдал своему приятелю кошелек, пояс, а затем, после многократных наставлений и просьб, взяв с него слово не заниматься больше такими делами, отпустил его. Тот, обрадованный сим знаком любви, которую, по всей видимости, питала к нему дама, а равно и прекрасным подарком, прямо от монаха направился к ее дому и осторожно дал ей понять, что обе вещи у него, она же пришла от этого в восторг, а еще больше от того, что дела ее идут на лад. Теперь она для полного успеха своего начинания мечтала только о том, чтобы муж ее куда-нибудь уехал, и нужно же было случиться так, что некоторое время спустя он по какому-то делу принужден был выехать в Геную.

Как скоро он сел на коня и уехал, она пошла к святому отцу и, плача и стеная, заговорила: "Отец мой! Скажу вам по чистой совести: терпения моего больше нет, однако ж позавчера я дала вам слово не предпринимать ничего, не поговоривши с вами, – вот я и пришла рассказать вам все как на духу. Дабы вы удостоверились, что у меня есть из-за чего плакать и есть на что сетовать, довожу до вашего сведения, что ваш приятель, этот сущий бес, вытворил нынче перед самой заутреней. Какими-то судьбами ему удалось пронюхать, что муж мой вчера утром уехал в Геную, и вот сегодня, как я уже сказала – спозаранку, он проник в мой сад, влез на дерево, что как раз против моего окна, и уже

растворил окно и хотел было прыгнуть ко мне в комнату, но тут я проснулась, вскочила и давай кричать, а он, еще не успев ко мне перебраться, сказал, кто он таков, и стал меня умолять – ради господа бога и ради вас пощадить его. Я из уважения к вам умолкла – и, в чем мать родила, к окну: захлопнула его перед самым носом вашего друга, а он как сквозь землю провалился – больше я его не видела. Судите сами, как это с его стороны красиво и можно ли это терпеть, – я, по крайности, не собираюсь больше ему спускать: уж и так я из уважения к вам слишком много ему прощала".

Монах пришел в такое неистовство, что сразу не нашелся, что ей сказать, – он несколько раз обращался к ней с вопросом, не спутала ли она его друга с кем-либо еще.

"Господи помилуй! Неужели я не различу, он ли это или кто другой? Говорят вам, что то был он. Если же он станет запираться, вы ему не верьте".

"Дочь моя! – снова заговорил монах. – Тут можно сказать только одно: с его стороны это неслыханная наглость, он поступил отвратительно, а ты правильно сделала, что прогнала его. И все же я прошу тебя вот о чем: бог спас тебя от бесчестья, а потому ты и на сей раз последуй моему совету, как слушалась его дважды, а именно – не жалуйся никому из родных и предоставь действовать мне: может статься, я сумею обуздать этого блудного беса, которого я до сей поры принимал за святого. Удастся мне вывести его из скотского состояния – хорошо; если же нет – вместе с моим благословением даю тебе позволение поступить с ним, как тебе заблагорассудится".

"Ну хорошо, – согласилась дама, – я и на этот раз не прогневлю вас и не ослушаюсь, но только уж вы на него повлияйте, чтоб он не смел больше мне досаждать, иначе я с этим к вам уже не обращусь". С последним словом, притворившись рассерженной, она ушла от монаха.

Не успела она выйти из церкви, как вошел тот человек, – монах подозвал его и, отведя в сторону, разбранил на все корки, обозвал обманщиком, клятвопреступником и злоде-

ем. Тот, уже дважды познав, чем была вызвана брань монаха, внимательно слушал и уклончивыми ответами старался побольше у него выудить.

"Что вы так гневаетесь, ваше преподобие? Можно подумать, что это я распял Христа", – так начал он.

"Ах ты бессовестный! – воскликнул монах. – Вы только послушайте, что он говорит! Так говорит, как будто прошел уже год, а то и два, и он за давностью лет позабыл свои подлости и злодеяния! Ведь ты нынче перед самой заутреней оскорбил женщину – неужто это уже успело вылететь у тебя из головы? Где ты был перед рассветом?"

"Не знаю, – отвечал тот. – Быстро, однако ж, это до вас дошло!"

"Что правда, то правда – быстро, – подтвердил монах. – Ты, должно думать, надеялся, что коли мужа нет дома, то почтенная дама в ту же минуту раскроет тебе объятия. Хорош гусь! А еще слывет порядочным человеком! Уподобился ночным разбойникам, шляешься по чужим садам, лазаешь по деревьям! Для чего ты ночью взбираешься на дерево против окна? Или ты воображаешь, что ее целомудрие против твоего нахальства не устоит? Она питает к тебе неодолимое отвращение, а ты не унимаешься? Сколько раз она тебе это показывала, сколько раз я тебя распекал – как об стену горох! Ну так вот что я тебе скажу: до сего дня, вовсе не из любви к тебе, а снисходя к моим убедительным просьбам, она молчала о твоих проделках, но больше молчать не станет: я ей позволил, если ты опять чем-либо ей досадишь, поступить с тобой, как ей будет угодно. Что ты станешь делать, если она расскажет братьям?"

Приятель монаха, вызнав у него все, что нужно, постарался, сколько мог, успокоить его, надавал всяких обещаний, а на рассвете проник в сад, влез на дерево, через растворенное окно перебрался в комнату и с великим проворством бросился в объятия прекрасной дамы. Дама с громадным нетерпением поджидала своего возлюбленного и радостно приветствовала его. "Вот спасибо его препо-

добию! – воскликнула она. – Как точно показал он тебе дорогу!" Затем они долго ублажали друг дружку, ворковали, потешались над простотой пустоголового монаха, удивлялись, зачем нужны трепалки, гребни и чесалки, наслаждались и забавлялись. Поладив, они уговорились более к его преподобию не обращаться и так же весело провели еще много ночей, каковую неизреченную милость я испрашиваю у бога и для себя, и для всякой души христианской, буде она того возжелает.

4

Дон Феличе
наставляет брата Пуччо,
как, наложив на себя особого рода епитимью,
можно стать блаженным;
брат Пуччо накладывает на себя епитимью,
а Дон Феличе тем временем
развлекается с его женой

Когда Филомена, окончив свой рассказ, умолкла, а Дионео в изящных выражениях одобрил как изобретательность дамы, так равно и заключительную молитву Филомены, королева улыбнулась и взглянула на Панфило.

– А теперь ты, Панфило, позабавь нас и расскажи что-нибудь веселое, – сказала она. Панфило не замедлил ответить согласием и начал так:

– Много есть на свете людей, ваше величество, которые стремятся попасть в рай, но, сами того не замечая, направляют туда других, что не так давно и произошло с одной из наших соседок, о чем вы сейчас и узнаете.

Недалеко от монастыря святого Панкратия жил-был, как я слышал, богатый человек по имени Пуччо ди Риньери, и был он до того набожен, что в конце концов стал послушником Францисканского ордена, и с тех пор все его звали "брат Пуччо". В заработке он не нуждался, так как, кроме жены и служанки, содержать ему было некого, и, дабы утолять духовную свою жажду, он часто ходил в церковь. Неуч

и болван, он только и знал, что читать молитвы, слушать проповеди, бывать у обедни, не упускал случая послушать духовное пение мирян, постился, истязал свою плоть, – ходили даже слухи, что он принадлежит к секте бичующихся. Жена его, Изабетта, бабенка еще молодая, лет двадцати восьми – тридцати, свеженькая, хорошенькая, сдобная, румяная, как яблоко, из-за святости мужа, а быть может, из-за его старости, частенько не по своей воле сидела на диете: ее ко сну клонит или же тянет с ним побаловаться, а он рассказывает ей о жизни Христа, о поучениях брата Настаджо, о плаче Магдалины и о прочем тому подобном.

Между тем из Парижа вернулся монах дон Феличе, живший в монастыре святого Панкратия, совсем еще молодой, красивый, отличавшийся остротою ума и глубиною познаний, и брат Пуччо очень с ним подружился. Дон Феличе отлично разрешал все его сомнения и, подлаживаясь под его тон, прикидывался строгой жизни монахом, – вот почему брат Пуччо охотно приглашал его к себе то обедать, то ужинать, а жена брата Пуччо из любви к супругу тоже с ним подружилась и радушно его принимала. Сделавшись частым гостем брата Пуччо и обратив внимание, что у него такая свежая и сдобная жена, монах смекнул, чего ей особенно не хватало, и порешил взять на себя труд, каковой надлежало нести брату Пуччо. Время от времени лукаво на нее поглядывая, он в конце концов возбудил в ней то самое желание, какое прежде возникло у него. Удостоверившись в этом, монах при первом удобном случае заговорил с ней о своем влечении. Но хотя она и была расположена довести дело до конца, со всем тем возможностей к тому не представлялось: она не решалась довериться монаху нигде, кроме собственного дома, а дома это было немыслимо, так как брат Пуччо никуда из города не выезжал, каковое обстоятельство было для монаха весьма огорчительно. И лишь много спустя сыскал он способ слюбиться с нею у нее на дому, не возбуждая подозрений у брата Пуччо, хотя бы он в это время был дома.

Как-то раз, когда брат Пуччо зашел к нему, он повел такую речь: "Я давно уразумел, брат Пуччо, что у тебя одно

желание – достигнуть святости, но идешь ты к ней, как мне представляется, чересчур долгим путем, а ведь есть же другой, кратчайший, который знают и которым пользуются папа и другие князья церкви, – они только не хотят открывать его другим, дабы не оскудело духовенство, живущее главным образом подаянием, ибо тогда уже миряне ни подаянием, ни чем-либо иным не баловали бы духовных особ. Но ты мне друг, и ты столько оказывал мне знаков внимания, что, если б я мог быть уверен, что ты никому того пути не откроешь, а сам на него вступишь, я бы тебя на него наставил".

Брату Пуччо не терпелось узнать, что же это за путь, и он начал неотступно молить дона Феличе, чтобы тот наставил его, и поклялся, что никому не проговорится, разве дон Феличе сам того пожелает, и что если только он достоин следовать этим путем, то незамедлительно на него вступит.

"Раз ты мне обещаешь, я тебя направлю, – молвил монах. – Тебе должно быть известно, как учат святые отцы: кто хочет стать блаженным, тот должен наложить на себя епитимью, о коей ты сейчас от меня услышишь. Ты только пойми меня хорошенько: я не хочу сказать, что после епитимьи ты перестанешь быть грешником, однако же все грехи, совершенные тобою до наложения епитимьи, очистятся и благодаря ей будут тебе отпущены, те же, которые ты совершишь потом, не вменяются тебе во осуждение, но смоются святой водой, подобно как ныне смываются подлежащие отпущению. Итак, епитимья твоя должна начаться с того, что ты со всеусердием покаешься во всех грехах своих, засим – пост и строжайшее воздержание в течение сорока дней, причем тебе надлежит воздерживаться от соприкосновения не только с какой-либо чужой женщиной, но даже со своею собственною женой. Потом, у тебя в доме должно быть такое место, откуда ночью можно видеть небо. Ты будешь ходить туда во время повечерия, а там ты должен поставить широченный стол таким образом, чтобы, стоя обеими ногами на полу, ты мог прислониться к не-

му спиной, раскинув руки, словно тебя распяли. Если б ты при этом изъявил желание, чтобы тебя прикрепили к столу какими-нибудь шпеньками, то это не возбраняется. Так, глядя на небо, ты должен неподвижно стоять до самой утрени. Если б ты знал грамоте, тебе следовало бы прочитать в это время кое-какие молитвы, но коль скоро ты грамоте не учен, то тебе надлежит триста раз прочесть наизусть "Отче наш", триста раз – "Богородицу" и молитву Пресвятой троице. Взирая на небо, ты должен помышлять о вседержителе, творце неба и земли; стоя в таком же положении, в каком Христос был на кресте, ты должен помышлять о его страстях. Когда же зазвонят к заутрене, ты волен оттуда уйти, повались, не раздеваясь, на постель и усни, затем пойди в церковь, отстой, по крайней мере, три обедни и пятьдесят раз прочти "Отче наш" и столько же "Богородицу", потом, не мудрствуя лукаво, сделай свои дела, если у тебя таковые найдутся, отобедай, потом пойди в церковь к вечерне и прочти некоторые молитвы, – я их тебе запишу, без них обойтись никак невозможно, – а там скоро и повечерие, и опять все сначала. Я сам прошел через это испытание и уповаю, что если ты все будешь совершать с благоговением, то еще до конца епитимьи почувствуешь, сколь предивно вечное блаженство".

А брат Пуччо ему: "Это дело не так чтобы уж очень трудное и не так чтобы уж очень долгое, с этим вполне можно справиться, и я прямо со следующего воскресенья, во славу божию, и начну".

Воротясь к себе, он с дозволения монаха все подробно рассказал жене. Та живо смекнула, для какой цели монах придумал неподвижное стояние до самой утрени, и так как она была такого мнения, что это он весьма ловко придумал, то сказала, что она одобряет и это начинание, как одобряет всякое благое дело, которое ее муж замышляет во спасение своей души, а дабы господь бог содеял его покаяние возможно более благотворным, то она готова даже с ним вместе поститься, а вот насчет всего остального – это уж нет.

Уговорившись на том, брат Пуччо со следующего же воскресенья начал свою епитимью, а его преподобие, стакнувшись с Изабеттой, почти ежевечерне, в тот час, когда никто не мог увидеть его, приходил к ней ужинать, причем всякий раз приносил с собой сладких яств и питий, затем ложился с нею в кровать, лежал до утрени, потом вставал и уходил, а брат Пуччо приходил соснуть. Место, которое брат Пуччо избрал местом своего покаяния, находилось рядом с комнатой, где спала его жена, и отделялось от нее лишь тонкой перегородкой. И вот однажды, когда монах и жена брата Пуччо резвились без всякого удержу, брату Пуччо почудилось, будто под ним трясется пол, и он, уже сто раз прочитав "Отче наш", вдруг запнулся и стоя все так же неподвижно, окликнул жену и спросил, что она там делает. А жена его, преизрядная шутница, как раз в это самое время скакала без седла на верховом животном святого Бенедикта, а может, и святого Иоанна Гвальберта. "Я, муженек, изо всех сил верчусь, честное слово!" – крикнула она в ответ.

А брат Пуччо ей: "Как так вертишься? Что это еще за верченье?"

Жена его была веселого нрава и за словом в карман не лезла, а может, ей и было чему посмеяться. "Неужели вам не понятно? – крикнула она. – Вы же сами мне тысячу раз говорили: "На голодное брюхо спать не ложись, а то потом, знай, с боку на бок вертись".

Брат Пуччо поверил намеку на то, что причина ее бессонницы – пост, оттого, мол, она и вертится на постели, и в простоте душевной обратился к ней с такими словами: "Говорил я тебе, жена, не постись! Но раз уж ты настояла на своем, то не думай о еде и постарайся заснуть, а то ведь ты так скачешь по постели, что весь дом трясется".

"Не беспокойтесь, – сказала жена, – я сама знаю, что мне нужно. Вы занимайтесь своим делом, а я, сколько сил хватит, буду заниматься своим".

Тут брат Пуччо умолк и опять принялся читать молитвы, а жена с его преподобием блаженствовали и эту ночь и по-

том – до тех пор, пока не кончилась епитимья брата Пуччо, только ложе себе они велели устроить в другом конце дома; когда же монах уходил, жена перебиралась на свою кровать, а немного погодя на ту же кровать ложился, отстояв положенное время, брат Пуччо. Словом, брат Пуччо каялся, а жена его и монах наслаждались, и она не раз в шутку говорила монаху: "Ты заставил брата Пуччо епитимью на себя наложить, а мы благодаря этому рая сподобились". И так это ей пришлось по вкусу после той продолжительной диеты, на которой ее держал муж, и так привыкла она к монашеской пище, что, даже когда епитимья брата Пуччо кончилась, она ухитрялась питаться с ним в другом месте и, соблюдая осторожность, долго еще получала от того удовольствие.

Таким образом, конец нашего рассказа не противоречит началу: брат Пуччо каялся, рассчитывая благодаря этому попасть в рай, но вместо себя направил туда монаха, указавшего ему дорогу, и свою жену, которая, живя с мужем, терпела крайнюю нужду как раз в том, что его преподобие по своей отзывчивости доставлял ей в избытке.

5

“Щеголек” дарит своего верхового коня
мессеру Франческо Верджеллези
и за это с его дозволения разговаривает с его женой;
когда она молчит, он отвечает за нее,
и все потом у них происходит
в полном соответствии с его ответами

Когда Панфило, вызвав смешок у дам, кончил свой рассказ о брате Пуччо, королева с пленительной улыбкой велела продолжать Элиссе. Элисса, отличавшаяся некоторой ядовитостью, впрочем безобидной, начала так:

– Многие, много зная, воображают, что другие ничего не знают, вследствие чего, намереваясь оплести других, они только потом, когда все уже кончено, догадываются, что их самих оплели. Вот почему мне представляется крайним безрассудством – без особой нужды испытывать силу чужого разумения. Но так как, быть может, не все со мною согласны, то я хочу, следуя принятому нами правилу, рассказать, что случилось с одним пистойским дворянином.

Жил-был в Пистойе дворянин мессер Франческо из рода Верджеллези, человек весьма состоятельный, благоразумный, рассудительный, но необычайно скупой, и вот он, будучи назначен градоправителем в Милан, обзавелся всем необходимым, дабы показаться миланцам в надлежащем виде, а вот верхового коня у него не было: сколько ни смотрел, ни один ему не нравился, и был он этим крайне оза-

бочен. В Пистойе жил тогда молодой человек по имени Риччардо, худородный, но с огромным состоянием, всегда нарядный, вылощенный, так что его все обыкновенно звали "Щеголек". Риччардо давно любил, хотя и без взаимности, жену мессера Франческо, а она была красавица и скромница. У него был один из самых красивых коней во всей Тоскане, и он очень ценил его за красоту, а так как ни для кого не являлось тайной, что "Щеголек" прельстился женою мессера Франческо, то кто-то сказал мессеру, что, если он попросит коня у "Щеголька", тот из любви к его жене согласится продать коня. Мессер Франческо велел позвать "Щеголька" и попросил продать коня, но по своей скупости в глубине души надеялся, что "Щеголек" не продаст ему коня, а подарит.

"Щеголек" обрадовался. "Мессер! – сказал он. – Если б вы предложили мне за коня все, что у вас есть, и тогда я бы вам не продал его, а вот подарить могу, с условием, однако ж, что, прежде чем получить коня, вы мне позволите сказать несколько слов вашей супруге – сказать при вас, но в отдалении, так, чтобы никто нас не слышал".

В мессере Франческо заговорила скупость, да к тому же еще он рассчитывал натянуть "Щегольку" нос, – потому-то он и ответил согласием: говори, мол, сколько хочешь. Он оставил "Щеголька" в одной из зал своего дворца, а сам пошел к жене и, сообщив, что конь ему достанется даром, велел ей выслушать "Щеголька", но в ответ ни "да", ни "нет" не говорить. Жене это было совсем не по душе, но ничего не поделаешь: ослушаться мужа нельзя, – она сказала, что так и сделает, и пошла за ним в залу, дабы выслушать "Щеголька".

"Щеголек", подтвердив свой уговор с дворянином, сел с нею в одном из укромных уголков залы и повел такую речь: "Милостивая государыня! У меня нет сомнений в том, что вы с вашей проницательностью давно догадались, как мне вскружила голову красота ваша, – такой безукоризненной женской красоты мне еще встречать не приходилось. Я уже не говорю о достойном вашем поведении и о ваших со-

вершенствах – они способны покорить самого стойкого человека. Следственно, мне нет нужды доказывать на словах, что еще ни один мужчина так сильно и пламенно не любил женщину, как люблю вас я. И так я, вне всякого сомнения, и буду любить вас до тех пор, пока горькая моя жизнь будет теплиться в моем теле, более того: если и там любят так же, как здесь, то я буду любить вас вечно. Поверьте, что у вас нет такой вещи – драгоценности или какого-нибудь пустяка, – которую вы могли бы считать в такой же мере своею и на которую вы могли бы при любых обстоятельствах так же рассчитывать, как на меня, каков бы я ни был, равно как и на все, что принадлежит мне. Для вящей убедительности я хочу еще прибавить, что если б я повелевал всем миром и весь мир тот же час исполнял мои повеления, я бы это почитал не столь великой милостью судьбы, как если б я должен был по вашему приказанию сделать что-либо мне посильное, а вам приятное. Итак, коль скоро я – весь ваш, о чем вы сейчас от меня самого узнали, то, значит, у меня есть основания для того, чтобы дерзновенно обратиться с мольбою к вашему величию, а ведь только от вас одной, и ни от кого более, зависит мой покой, мое благополучие, мое спасение. Потому-то я и молю вас, как всепокорнейший раб ваш: сокровище мое, единственная надежда моей души, объятой любовным пламенем и на вас одну уповающей, будьте великодушны, смягчите суровость, которую вы, несмотря на то что я весь принадлежу вам, прежде ко мне выказывали, – смягчите, дабы, ободренный вашим состраданием, я мог сказать, что красота ваша пленила меня и она же вернула мне жизнь, а иначе, если гордый ваш дух моей мольбы не услышит, то жизнь моя пойдет на убыль, и я умру, а вас станут называть моим убийцей. Я не хочу сказать, что смерть моя не послужит вам к чести; полагаю, однако ж, что совесть заговорит в вас и вы пожалеете, что так со мной обошлись, и, тронутая моею участью, подумаете: "Ах, зачем я не сжалилась над моим "Щегольком"!" Но запоздалое это раскаяние только еще сильнее растравит вам сердце. И вот, чтобы этого не случи-

лось, пожалейте меня, пока еще моему горю можно помочь, пока еще я не умер, умилосердитесь надо мною, – ведь от вас одной зависит превратить меня в самого счастливого или же в самого несчастного человека на всем белом свете. Надеюсь, вы будете великодушны и не допустите, чтобы я в награду за великую и безграничную любовь был осужден на смерть, – я уповаю на то, что воодушевляющий и милосердия исполненный ответ ваш успокоит мой дух, в страхе трепещущий при одном взгляде на вас". Тут он умолк и, в ожидании, что скажет ему в ответ благородная дама, испустил глубокий вздох и пролил слезу.

На даму не действовали ни долговременные ухаживанья, ни турниры, ни любовные песни на рассвете, – не действовало все, на что из любви к ней решался "Щеголек", но сейчас ее тронули страстные речи пылкого любовника, и она впервые ощутила то, чего никогда прежде не ощущала: она узнала, что такое любовь. И хотя, исполняя волю мужа, она молчала, ее нечаянные вздохи не могли утаить то, что она теперь охотно сказала бы "Щегольку" на словах.

Немного подождав и наконец удостоверившись, что никакого ответа не воспоследует, "Щеголек" сперва удивился, а затем начал догадываться, какую уловку применил дворянин. Когда же он устремил взгляд на даму, то заметил, что глаза у нее блестят всякий раз, когда она обращает на него свой взор, а еще он уловил подавляемые ею вздохи; это его обнадежило, и, вдохновленный ею, он предпринял новую попытку – начал от ее лица сам себе отвечать: "Конечно, "Щеголек", я давным-давно заметила, что ты любишь меня любовью необычайной и бесконечной, а теперь, выслушав тебя, я окончательно в ней убедилась и, само собой разумеется, очень этому рада. До сих пор я казалась тебе суровой и жестокой, однако ж я не хочу, чтобы ты думал, будто я и в глубине души такая, какою я тебе представлялась по внешнему виду. Нет, я всегда любила тебя, ты был мне всех дороже, но я не могла держать себя иначе: во-первых, я боялась другого человека, а во-вторых, боялась за свою честь. Но вот наконец пришло время, когда я смогу доказать, как я те-

бя люблю, и вознаградить тебя за любовь, которую ты питал и питаешь ко мне. Не унывай же и надейся, ибо мессер Франческо спустя несколько дней отбудет в Милан, куда он назначен градоправителем, – впрочем, ты это знаешь и без меня: ведь ты же из любви ко мне подарил ему своего прекрасного коня. Клянусь тебе честью и верной моею любовью к тебе, что спустя несколько дней, как скоро он уедет, ты будешь со мной, и взаимное наше влечение счастливо увенчается для нас полным успехом. Я тебе сразу скажу (чтобы потом не надо было повторять), что когда ты увидишь в моем окне, выходящем в сад, два полотенца, то с наступлением темноты войди в сад через калитку и приходи ко мне, – только смотри, осторожней, чтобы никто тебя не увидел, – а я буду тебя ждать, и мы с тобой проведем ночь, как ты того желаешь, – проведем весело, услаждаясь друг дружкой".

Проговорив это от лица дамы, "Щеголек" стал теперь говорить от себя: "Дорогая! Меня так порадовал ваш благоприятный ответ, что от радости я не в состоянии найти слова, дабы изъявить вам благодарность. Впрочем, если бы даже я и сыскал подобающие выражения, то у меня не хватило бы времени достойно возблагодарить вас – так, как бы мне хотелось и как бы мне надлежало, – а потому я всецело полагаюсь на вашу сообразительность: вы, уж верно, поймете то, чего я при всем желании не могу выразить в словах. Скажу одно: как вы велели, так точно я и поступлю, и вот тогда-то, вдохновленный драгоценным даром, который вы мне посулили, я постараюсь в меру моих сил отблагодарить вас. Вот все, что я пока могу вам сказать. Да пошлет же вам господь, дорогая моя, радость и счастье, каких вы сами себе желаете! Поручаю вас его воле".

Дама на все это не ответила ни единого слова. "Щеголек" встал и направился к дворянину – тот пошел к нему навстречу и со смехом спросил: "Ну что? Сдержал я свое слово?"

"Нет, мессер, – отвечал "Щеголек", – вы мне обещали предоставить возможность поговорить с вашей супругой, мне же пришлось говорить с мраморной статуей".

Дворянин обрадовался, – он и прежде был высокого мнения о своей жене, а сейчас она еще выросла в его глазах. “Значит, конь теперь мой?” – спросил он.

“Да, мессер, – подтвердил “Щеголек”, – однако ж если б я знал, что извлеку из вашей любезности ту пользу, какую я извлек, то подарил бы вам коня, не прося о любезности. Так было бы не в пример лучше, а то ведь что вышло? Вы купили коня, хотя я вам его не продавал”.

Дворянин посмеялся и, обзаведясь конем, спустя несколько дней отбыл в Милан, дабы вступить в должность градоправителя. Жена его на досуге поразмыслила о словах “Щеголька”, о любви, которую он к ней питал, о том, что ради этой любви он подарил коня, и, видя, что он, то и знай, прохаживается мимо ее дома, сказала себе: “Что я делаю? Зачем я гублю свою младость? Муж уехал в Милан и целых полгода пробудет в отсутствии. Когда же он вознаградит меня за эти полгода? Когда я состарюсь? Да и где я найду такого поклонника, как “Щеголек”? Я одна, бояться мне некого, так почему бы, пока есть возможность, не провести приятно время? Когда-то еще дождусь я такой свободы! Никто ничего не узнает, а если бы даже это и всплыло, так лучше согрешить и покаяться, чем не согрешить и потом раскаиваться”. В конце концов она себя убедила и однажды по совету “Щеголька” повесила на окно, выходившее в сад, два полотенца. Увидев их, “Щеголек” возликовал и под покровом ночной темноты прокрался к ее калитке, – калитка оказалась отпертой, – а затем прошел в дом, где его уже поджидала хозяйка. При виде его она обрадовалась чрезвычайно – в ту же минуту встала и двинулась к нему навстречу, он же, обняв ее и расцеловав, пошел следом за ней вверх по лестнице, и там, в верхнем ее покое, они незамедлительно возлегли и познали конечную цель любовной страсти. И то был первый, но далеко не последний раз, потому что, пока дворянин был в Милане, равно как и по его возвращении, “Щеголек” неоднократно посещал его жену к величайшему обоюдному удовольствию.

6

Риччардо Минутоло
любит жену Филиппелло Сигинольфо;
узнав, что она ревнива, он уверяет ее,
будто Филиппелло назначил на завтра свидание
в банях с его женой; жена Филиппелло идет туда;
она убеждена, что с ней ее муж,
но потом выясняется,
что она провела время не с ним,
а с Минутоло

Как скоро Элисса досказала до конца, королева, воздав должное находчивости “Щеголька”, велела рассказывать Фьямметте.

– Слушаюсь, ваше величество, – со смехом молвила Фьямметта и начала так: – Нам придется временно оставить наш город, обильный всем вообще, в частности же – любыми примерами из жизни, – как и Элисса, я намерена вам сообщить, что́ приключилось в другом месте. Я перенесусь в Неаполь и расскажу, как одна из тех святош, что питают к любви отвращение, благодаря хитроумию своего любовника вкусила плод любви прежде, нежели познала ее цветы. Повесть моя послужит вам предостережением на будущее, приключения же, о которых пойдет в ней речь, вас позабавят.

В Неаполе, городе весьма древнем, таком же, а быть может, даже еще более веселом, нежели другие итальянские

города, жил когда-то молодой человек по имени Риччардо Минутоло, принадлежавший к наизнатнейшему роду, славившийся своим богатством, и вот этот самый Риччардо, несмотря на то что жена у него была молодая, пригожая, обворожительная, полюбил другую, как гласила молва — по красоте не имевшую себе равных во всем Неаполе, звали же ее Кателлой, и была она замужем за другим не менее родовитым молодым человеком по имени Филиппелло Сигинольфо, которого она, будучи верной женой, любила и лелеяла. Так вот, Риччардо Минутоло любил Кателлу, всеми возможными средствами старался заслужить благосклонность ее и любовь, однако же нимало в том не преуспел и был на краю отчаяния. Он так и не сумел подавить в себе чувство к Кателле, а быть может, это было свыше его сил, но только он и умереть не умер, и жизнь ему была не мила. И вот, когда он так изнывал, родственницы стали его уговаривать выкинуть из головы мысль о Кателле: ничего, мол, у него не выйдет, Кателле никто, кроме Филиппелло, не нужен, она его ревнует даже к птицам, пролетающим мимо него. Услышав, что Кателла ревнива, Риччардо живо смекнул, как ему достигнуть желанной цели, но притворился, что, утратив всякую надежду на взаимность, обратил взоры на другую знатную даму. И теперь уже он будто бы из любви к другой устраивал состязания, турниры, — словом, все, что прежде устраивал в честь Кателлы. Малое время спустя почти все неаполитанцы, в том числе и Кателла, решили, что он безумно влюблен уже не в Кателлу, а в другую даму. И так долго он выдерживал роль и так все в этом мнении укрепились, что и Кателла уже не дичилась его, как прежде, когда он преследовал ее своею любовью, — теперь она подобрососедски кланялась ему, уходя и приходя, так же, как кланялась всем прочим.

Однажды в жаркое время мужчины и женщины, по обычаю неаполитанцев, целой компанией отправились к морю, намереваясь там отобедать, а может статься, и отужинать. Узнав, что вместе со своими знакомыми отправилась к морю и Кателла, Риччардо со своими друзьями поспешил

туда же, и там ему предложили присоединиться к кружку Кателлы, однако ж, прежде чем принять приглашение, он долго ломался и заставлял себя упрашивать. Дамы, в том числе Кателла, начали подшучивать над его новой любовью, он же прикидывался, что сильно увлечен, и этим давал еще больше пищи для толков. Долго ли, коротко ли, приятельницы Кателлы, как это обыкновенно бывает во время прогулок, разбрелись кто куда. Кателла же с несколькими подругами осталась в обществе Риччардо, и тут он игриво намекнул ей на то, что муж ее Филиппелло будто бы развлекается на стороне, Кателла же, внезапно возревновав, загорелась желанием узнать, что имеет в виду Риччардо. Некоторое время она себя пересиливала, но все же не смогла удержаться и обратилась к Риччардо с просьбой ради любви к его избраннице сделать ей одолжение – объяснить, что такое он говорил про Филиппелло.

Риччардо же ей на это сказал: "Вы просите меня именем столь дорогой мне особы, что я не могу отказать вам. Я готов исполнить вашу просьбу, с условием, однако ж, что вы пообещаете не говорить об этом ни ему, ни кому-либо другому до тех пор, пока не убедитесь на деле, что я вам сказал правду, а как в том убедиться – этому я вас, если угодно, научу".

Дама, поверив Риччардо, пошла на его условия и поклялась молчать. Тогда Риччардо отвел ее в сторонку, чтобы их не подслушали, и начал так: "Сударыня! Если б я любил вас по-прежнему, у меня не хватило бы духу сообщить вам что-либо неприятное, но любовь моя прошла, и мне уже не так тяжело поведать вам истину. Мне не известно, был ли уязвлен Филиппелло моею любовью к вам и думал ли он, что вы отвечаете мне взаимностью; мне, во всяком случае, он этого не показывал. Дождавшись, по всей вероятности, такого времени, когда у меня могло бы быть меньше всего подозрений, он, видимо, намеревается совершить по отношению ко мне то самое, чего он, должно полагать, опасался с моей стороны, а именно – склонить на любовь мою жену. Сколько мне известно, он с некоторых пор тайно шлет ей письмо за письмом, – об этом я от нее же самой и узнал, и

ответила она ему под мою диктовку. Но не далее как нынче утром, собираясь ехать сюда, я заглянул к жене и застал у нее одну женщину, которая о чем-то с нею шепталась; с первого взгляда поняв, что это за птица, я отозвал жену и спросил, что ей нужно. А жена мне сказала: “Ты велел ответить Филиппелло и подать ему надежду, а теперь мне приходится эту кашу расхлебывать. Он требует, чтобы я прямо сказала ему о своих чувствах, и зовет на тайное свидание в бани. Вот с чем он ко мне пристает, и если б ты неизвестно для чего не заставил меня вступить с ним в переговоры, я бы так его отделала, что он позабыл бы, как пялить на меня глаза”. Тут уж мне стало ясно, что он слишком далеко зашел, что так это оставить нельзя и что надобно все рассказать вам, дабы вы уразумели, какой награды заслужила необоримая верность ваша, из-за которой я чуть было не погиб. А чтобы вы не думали, что это небылицы в лицах, чтобы вы могли, если вам угодно, все увидеть воочию, я велел жене передать ему с ожидавшей ее ответа женщиной, что она придет в бани около двух часов пополудни, когда все отдыхают, и посредница, вполне удовлетворенная, удалилась. Надеюсь, вы далеки от мысли, что я в самом деле намерен послать туда жену, но я бы на вашем месте подстроил так, чтобы он принял вас за ту, кого он будет там ждать, а побыв с ним некоторое время, я бы ему открылся и прохватил, как он того заслуживает. Полагаю, что, поступив таким образом, вы его так устыдите, что оскорбление, которое он собирается нанести и вам и мне, будет отомщено”.

The Кателла, как то свойственно ревнивым, забыла, кто все это говорит, и не разглядела подвоха, — она тотчас всему поверила, сопоставила с этим некоторые случаи, имевшие место в прошлом, и, воспылав гневом, ответила, что так и сделает, что это будет ей не слишком трудно и что, если только он явится на свидание, она его так устыдит, что он будет вспоминать о том всякий раз, когда ему захочется поглядеть на женщину. Риччардо был доволен; убедившись, что придумал он ловко и что дело идет на лад, он наговорил Кателле еще с три короба и окончательно утвердил и

укрепил ее в этом намерении, не преминув, однако же, напомнить, чтобы она никому не говорила, что это он ей все рассказал, в чем она и поклялась ему своею честью.

Наутро Риччардо отправился к одной почтенной женщине, державшей бани, куда он приглашал Кателлу, и, поделившись с нею своим замыслом, попросил оказать ему посильную помощь. Почтенная женщина была перед ним в долгу, а потому охотно взялась ему помочь и условилась с ним, что ей нужно говорить и как действовать. В доме, где находились бани, была одна темная-претемная комната без единого окошка, и вот ее-то почтенная женщина по указке Риччардо прибрала и поставила там лучшую из своих кроватей, на которую Риччардо, закусив, в ожидании Кателлы взгромоздился.

Меж тем Кателла, выслушав Риччардо и слепо ему поверив, вне себя от возмущения возвратилась ввечеру домой, а тоже возвратившийся к этому времени Филиппелло был занят своими мыслями и случайно не обнаружил, должно быть, при ее появлении той радости, какую всегда обыкновенно обнаруживал. Это и вовсе показалось ей подозрительным. "Уж верно, на уме у него та женщина, с которой предстоит ему завтра веселиться и наслаждаться, – сказала она себе. – Ну да не бывать же тому!" И всю ночь Кателла думала только о том, что она ему скажет после того, как побудет с ним. Что же было дальше? Желая быть исправной, Кателла во втором часу пополудни, взяв с собою служанку, пошла в бани, которые ей указал Риччардо, и, увидев почтенную женщину, осведомилась, здесь ли Филиппелло.

Почтенная женщина ответила так, как ее научил Риччардо: "А вы и есть та самая дама, которая должна сюда прийти поговорить с ним?"

"Я самая", – отвечала Кателла.

"А! Ну идемте!" – молвила почтенная женщина.

Кателла, предпочитавшая, чтобы этого человека здесь не оказалось, велела, однако, отвести ее в ту комнату, закутавшись в мантилью, вошла и заперла за собою дверь. При виде Кателлы Риччардо подскочил от восторга и, заклю-

чив ее в объятия, прошептал: “Добро пожаловать, душенька!” Кателла, войдя в роль, обняла его, поцеловала, притворилась, что очень ему рада, – и все это молча, потому что боялась выдать себя. Комнатушка была претемная, каковое обстоятельство было на руку обоим. Даже если долго в ней находиться, глаза к темноте не привыкали. Риччардо подвел даму к кровати, и на ней они молча, чтобы нельзя было узнать голос, и весьма долго пребывали, от какового пребывания одна сторона получила больше удовольствия и наслаждения, нежели другая.

Когда же Кателла наконец решила, что пора ей излить тайное свое негодование, то в порыве ярости повела такую речь: “О, какая горькая судьба у женщин и как безрассудно мы любим мужчин! Я, несчастная, восемь лет люблю тебя больше жизни, и что же я вижу? Ты пылаешь и горишь любовью к другой, преступник, злодей! Как ты думаешь: с кем ты провел время? С той, с которой ты восемь лет спишь, которую ты так долго обманывал лицемерными своими ласками, прикидываясь любящим, меж тем как ты любишь другую. Я – Кателла, а не жена Риччардо, бессовестный изменник! Прислушайся! Узнаешь мой голос? Это я! Промежуток времени, который отделяет нас от той минуты, когда мы выйдем на свет и я смогу пристыдить тебя, как ты того заслуживаешь, паршивый, поганый пес, мне кажется тысячелетием. Бедная я! Кого же я столько лет так любила? Вот этого окаянного пса, который, полагая, что держит в объятиях другую, за короткое время, что я с ним провела, подарил мне больше ласк и любви, нежели за все годы, когда я принадлежала ему. Нынче ты был в ударе, шелудивый пес, нынче ты был молодцом, а дома ты немощный, истощенный и слабосильный. Но, слава богу, ты возделал свое поле, а не чужое, как это тебе представлялось. Теперь я понимаю, почему ты нынче ночью не тронул меня. Ты собирался освободиться в другом месте, тебе хотелось со свежими силами въехать верхом на поле битвы. Но, по милости божией и благодаря моей догадливости, вода пошла по надлежащему руслу. Что ж ты молчишь, негодяй? Почему ты

ничего не отвечаешь? Ты что, онемел? Ей-богу, я не могу понять, как это я до сих пор не выцарапала тебе глаза! Ты надеялся, что измена твоя не узнается, но что известно одному, то станет известно и другому – это уж как бог свят! Не удалась тебе твоя затея! Ты не рассчитывал, что я направлю по твоему следу отличных собак".

Риччардо в душе ликовал; он молча обнимал ее, целовал и осыпал еще более бурными ласками. А та ему: "Да, теперь ты стараешься задобрить меня лживыми своими ласками, постылый пес, стараешься успокоить и утешить меня, – как бы не так! Я не успокоюсь до тех пор, пока не осрамлю тебя при всех наших родных и знакомых, сколько их ни есть. Разве я не такая красивая, как жена Риччардо Минутоло? Не такая же знатная? Что ж ты молчишь, пес ты паршивый? Чего у нее больше, чем у меня? Прочь, не смей меня трогать, ты и так нынче развоевался! Я знаю: раз тебе известно, кто я, ты теперь будешь действовать и через силу, но, с божьей помощью, ты у меня еще голодом насидишься. Отчего бы мне не послать за Риччардо? Он любил меня больше, чем себя, я же хоть бы раз на него взглянула, а между тем что в том дурного? Ты был уверен, что здесь с тобой его благоверная, и если б сюда в самом деле пришла она, ты бы это для нее так старался. Значит, если б Риччардо был моим любовником, ты не имел бы никакого права меня осуждать".

Долго еще она говорила и укоряла его, наконец Риччардо, сообразив, что если оставить ее в неведении, то неприятностей потом не оберешься, порешил объявиться и вывести ее из заблуждения. Стиснув и сдавив ее в объятиях так, чтобы она не могла вырваться, он обратился к ней с такими словами: "Не гневайтесь, душенька! Амур научил меня добыть хитростью то, чего я не мог добиться обычным путем: я – ваш Риччардо".

Услышав эти слова и узнав голос,
Кателла хотела было вскочить с постели, но это ей не удалось, хотела крикнуть, но Риччардо зажал ей рот рукой. "Сударыня! – снова заговорил он. – Что между нами было, того не поправишь, хотя бы вы потом кричали всю свою жизнь. Если же вы закри-

чите или еще как-нибудь дадите об этом знать, то последствия могут быть такие: во-первых, – для вас это имеет значение немаловажное, – ваша честь и ваше доброе имя будут опорочены, ибо, если б даже вы и стали говорить, что я заманил вас сюда обманом, я скажу, что вы говорите неправду, что вы польстились на деньги и на подарки, которые я вам посулил, и, не получив того, на что рассчитывали, подняли шум и крик, а вы знаете, что люди скорее склонны верить дурному, нежели хорошему, стало быть, моим словам они, во всяком случае, дадут не меньше веры, нежели вашим. Этого мало: между вашим супругом и мною вспыхнет смертельная вражда, и дело может дойти до того, что или я его убью, или он меня, – вам же от того ни радости, ни веселья. Итак, моя ненаглядная, смиритесь, иначе вы себя осрамите, а мужа и меня поссорите и подвергнете немалой опасности. Вы не первая и не последняя, я же обманул вас не с целью отнять то, что принадлежит вам, – меня на это толкнула безграничная любовь, которую я к вам питаю и буду питать всегда, оставаясь в то же время преданнейшим вашим слугою. Я сам, все, что мне принадлежит, все, на что я способен и чего я стою, – все это давным-давно находится в вашем распоряжении, и я хочу, чтобы отныне оно было в еще большей степени вашим. Вы всегда были благоразумны, и я льщу себя надеждою, что и в сем случае вы также выкажете благоразумие".

Из глаз Кателлы текли обильные слезы, но, хотя она была очень сердита и осыпала Риччардо упреками, здравый смысл говорил ей, что Риччардо прав: так именно все и произойдет, как он предсказывает. "Риччардо! – молвила она. – Не знаю, поможет ли мне господь бог пережить твой обман и то оскорбление, которое ты мне нанес. Здесь, куда меня завлекли моя доверчивость и безумная ревность, я кричать не стану, однако можешь быть уверен, что я не успокоюсь до тех пор, пока так или иначе тебе не отомщу за то, что ты мне учинил. Отпусти же меня, не держи! Ты добился, чего хотел, ты насладился мною вполне, ну и довольно, оставь меня!"

Видя, что гнев Кателлы еще не остыл, Риччардо порешил не отпускать ее, пока она с ним не помирится. Того ради он принялся всячески улещать ее и умасливать и так просил, так молил, так заклинал, что она сдалась и помирилась с ним, и они с обоюдного согласия долго еще здесь пробыли, получая друг от дружки величайшее удовольствие. Как скоро она познала, насколько поцелуи любовника слаще поцелуев мужа, ее суровость по отношению к Риччардо уступила место нежной любви. С того самого дня Кателла горячо его полюбила, и они, действуя весьма осмотрительно, часто предавались любовным утехам. Дай бог и нам предаваться тому же!

7

Тедальдо,
повздорив со своею возлюбленной,
покидает Флоренцию, но некоторое время спустя
под видом паломника возвращается,
беседует с возлюбленною,
доказывает ей, что она не права,
спасает от смертной казни ее мужа,
которого обвинили в его убийстве,
мирит его со своими братьями
и осмотрительно утешается
с его женою

Как скоро Фьямметта, заслужив всеобщее одобрение, умолкла, королева, чтобы не терять времени, тут же велела рассказывать Эмилии, и та начала так:

– Я хочу возвратиться в наш город, который двум моим предшественницам угодно было покинуть, и поведать вам о том, как один из наших сограждан вновь завоевал утраченное благоволение своей возлюбленной.

Итак, жил-был во Флоренции молодой человек по имени Тедальдо дельи Элизеи, без памяти влюбленный в одну даму по имени Эрмеллина, жену некоего Альдобрандино Палермини, и безупречною своею верностью заслуживший исполнение своих желаний. Блаженству его позавидовала судьба, ненавидящая счастливцев: возлюбленная Тедальдо, одно время к нему благоволившая, вдруг ни с того

ни с сего перестала к нему благоволить и не только не брала его писем, но и не хотела с ним видеться, по каковой причине он затосковал и в прежестокую впал хандру, однако ж любовь свою он так тщательно скрывал, что никому в голову не приходило, что это и есть причина его тоски. Чего-чего он только ни делал, чтобы вновь завоевать благорасположение своей возлюбленной, которое, как ему казалось, он утратил незаслуженно; наконец, уверившись в тщете усилий своих, вознамерился удалиться от света: ему не хотелось, чтобы та, которая была причиной его душевной муки, радовалась, глядя на то, как он сохнет. Взяв с собой все деньги, какие у него были, он тайком, ничего не сказав ни родным, ни друзьям, за исключением одного приятеля, который пользовался неограниченным его доверием, отбыл в Анкону; здесь, назвавшись Филиппо ди Сан Лодеччо, он свел знакомство с богатым купцом, поступил к нему в услужение и на его корабле поехал с ним на Кипр. Поведение его и обхождение до такой степени пришлись купцу по душе, что купец не только положил ему хорошее жалованье, но и принял его в долю, а кроме того, поручил вести почти все свои дела, Тедальдо же вел их столь успешно и с таким тщанием, что по прошествии нескольких лет сам стал хорошим, богатым, именитым купцом. Дела не мешали ему, тяжко раненному любовью, часто вспоминать бессердечную возлюбленную и тосковать без нее, однако ж он выказал твердость духа необычайную и семь лет успешно с собой боролся. Но вот как-то раз случилось ему услыхать на Кипре им же когда-то и сложенную песню, в которой речь шла о его любви к ней, о ее любви к нему, о том, как ему было с ней хорошо, и тут он проникся уверенностью, что не могла же она забыть его, и так ему захотелось ее увидеть, что, на сей раз не совладав с собою, он положил возвратиться во Флоренцию.

Приведя дела свои в порядок, он выехал вместе со слугой в Анкону, оттуда отправил свои вещи, как скоро они прибыли, во Флоренцию, на имя друга своего анконского приятеля, а сам, уже налегке, под видом паломника, ездившего по-

клониться гробу господню, вместе со слугой отбыл туда же. Приехав во Флоренцию, он остановился в скромной гостинице, которую держали два брата и которая находилась рядом с домом его возлюбленной, и порешил прежде всего подойти к ее дому, и если представится случай, то повидать ее. Приблизившись, он увидел, что все двери и окна в доме заперты, и это сильно его встревожило: не умерла ли она, — подумал он, — не переехала ли куда-либо? Крайне озабоченный, он пошел к своим братьям и всех четырех увидел возле дома, — к вящему его изумлению, они были одеты в черное. Приняв в соображение, что его не так-то просто узнать, — он сильно изменился за время своего отсутствия, да и одежда на нем была необычная, — он смело подошел к башмачнику и спросил, почему эти люди в черном. Башмачник же ему на это ответил так: "В черном они потому, что недели две тому назад одного из их братьев, по имени Тедальдо, который давно отсюда уехал, убили, и, как слышно, они показали на суде, что убил его некий Альдобрандино Палермини, который теперь находится в заключении, — убил же он Тедальдо из-за того, что тот любил его жену и ради нее тайно возвратился во Флоренцию".

Тедальдо крайне был изумлен, услыхав, что существовал на свете его двойник, и пожалел злополучного Альдобрандино. Уже стемнело, когда он, узнав, что дама его сердца жива и здорова, одолеваемый всякими мыслями, возвратился в гостиницу, отужинал вместе со своим слугой, и его положили спать чуть ли не под самой крышей. То ли в голову ему все еще лезли разные мысли, то ли плохо была постелена постель, а может статься, виной тому был несытный ужин, но только уже полночи прошло, а он все никак не мог уснуть. Он по-прежнему бодрствовал, как вдруг ему почудилось, что кто-то слезает с крыши, а немного погодя он увидел сквозь щель в двери поднимающийся вверх по лестнице свет. Любопытствуя знать, что же это такое, он бесшумно прильнул к дверной щели и увидел пригожую девушку со светильником в руке и спустившихся с крыши и шедших по направлению к ней трех мужчин, из коих один,

после того как все трое поздоровались с девушкой, обратился к ней с такими словами: "Теперь, слава богу, мы можем быть совершенно спокойны: мы из достоверных источников знаем, что братья Тедальдо Элизеи показали, что убил его Альдобрандино Палермини, в чем тот сознался, и приговор уже вынесен. И все-таки нам нужно соблюдать осторожность: ведь если когда-нибудь дознаются, что убили мы, то нам не миновать разделить печальную участь Альдобрандино". Девушка обрадовалась, и они пошли спать.

Подслушав этот разговор, Тедальдо углубился в размышления о том, сколь велики и каковы суть заблуждения, в которые способен впасть ум человеческий, и прежде всего подумал о своих братьях, принявших чужого человека за него и этого чужого человека похоронивших, о невинно осужденном на смерть по ошибочному подозрению и неверным показаниям, а также о слепой строгости законов и властей, которые весьма часто, делая вид, будто они с крайним тщанием доискиваются истины, на самом деле пытками добиваются ложных показаний и при этом выдают себя за слуг правосудия и господа бога, меж тем как они суть орудия неправды и сатаны. Потом он призадумался над тем, как бы спасти Альдобрандино, и наконец сообразил.

Наутро, проснувшись, он оставил слугу своего в гостинице, а сам, решив, что пора действовать, отправился к своей возлюбленной. Дверь была незаперта, он вошел в небольшую нижнюю залу и, увидев свою возлюбленную, заливавшуюся слезами скорби, от жалости сам чуть не заплакал и, приблизившись к ней, молвил: "Не горюйте, сударыня, — вы скоро утешитесь".

Дама вскинула на него глаза и, рыдая, проговорила: "Добрый человек! Ты, как видно, чужестранец, паломник, — откуда же тебе может быть известно, о чем я горюю и что способно меня утешить?"

Паломник же ей на это ответил так: "Сударыня! Я из Константинополя, я только что приехал, а послал меня сюда сам господь бог, дабы претворить печаль вашу в радость и спасти вашего мужа от смерти".

“Если ты из Константинополя и только что приехал, почем же ты знаешь, кто мой муж и кто я?” — спросила она.

Паломник, начав с начала, рассказал всю историю бедствий Альдобрандино, сказал, кто она и сколько времени замужем, присовокупив к этому много известных ему событий из ее жизни. Дама была поражена; приняв его за пророка и пав перед ним на колени, она богом его заклинала поспешить, если он явился ради спасения Альдобрандино, ибо времени остается, дескать, немного.

Паломник, разыгрывая из себя великого праведника, сказал: “Встаньте, сударыня, осушите слезы, выслушайте меня со вниманием и остерегитесь кому-либо проговориться. Господь открыл мне, что ваше несчастье послано вам за грех, некогда вами совершенный. Господь восхотел очистить вашу душу хотя бы от этого греха, ему угодно, чтобы вы страданием искупили его, а иначе ждите горшей беды”.

Дама же ему на это сказала: “У меня много грехов, мессер, и я не могу догадаться, какой именно грех я должна по воле божией искупить”.

“Мне доподлинно известно, сударыня, что это за грех, — молвил паломник. — И спрошу я у вас о нем не для того, чтобы лучше знать, а для того, чтобы вы, поведав о нем, восчувствовали еще более сильные угрызения совести. Приступим, однако ж. Припомните: не было ли у вас когда-нибудь любовника?”

При этих словах дама испустила глубокий вздох и пришла в немалое изумление: ей было невдомек, каким образом мог до кого-либо дойти о том слух, — хотя, впрочем, когда убили и похоронили человека, которого принимали за Тедальдо, об этом шушукались, пищей же для толков послужило несколько слов, неосторожно брошенных приятелем Тедальдо, который был обо всем осведомлен. “Я вижу, что господь открывает вам тайны всех людей, а потому я не стану перед вами таиться, — сказала она. — Да, правда, в молодости я любила одного несчастного юношу, которого будто бы убил мой муж. Я оплакивала его гибель и все еще о нем скорблю, ибо хотя до его отъезда я была с ним сурова и холодна, со

всем тем ни его отъезд, ни долговременная разлука, ни ужасная смерть не могли вырвать его из моего сердца".

Паломник ей на это сказал: "Вы никогда не любили несчастного убиенного юношу – вы любили Тедальдо Элизеи. Скажите: за что вы на него прогневались? Разве он вас чем-нибудь оскорбил?"

Дама же ему на это ответила так: "Нет, он никогда меня не оскорблял. Я к нему переменилась из-за одного окаянного монаха, у которого я однажды исповедовалась: когда я ему призналась, что люблю этого человека и что я с ним близка, он так на меня напустился, что я холодею при одном воспоминании об этом, да ведь и то сказать: он мне внушал, что если я с Тедальдо не порву, то в наказание попаду к дьяволу в пасть, меня низвергнут в преисподнюю, и буду я гореть в огне неугасимом. И такой на меня тогда напал страх, что порешила я прекратить с Тедальдо всякую связь и того ради перестала принимать письма его и послания, хотя, думается мне, если б он проявил упорство, а не бежал, сколько я могу судить, от отчаяния, и если б он на моих глазах таял, словно снег на солнце, то непреклонная моя решимость дрогнула бы, оттого что и я не могу жить без него, как и он без меня".

Паломник же ей на это сказал: "Вот этот-то самый грех, сударыня, вас теперь и мучает. Я знаю наверное, что Тедальдо не принуждал вас к сожительству – вы в него влюбились и сошлись с ним по доброй воле, оттого что он вам пришелся по нраву, снискал ваше благоволение, и вы столь усердно доказывали это ему и словом и делом, что любовь его тысячекратно усилилась. А когда так, то что же могло вынудить вас столь жестоко с ним обойтись? Вам надлежало прежде хорошенько подумать, и если б вы уразумели, как это дурно и что вам после придется горько каяться, вы бы так не поступили. Он принадлежал вам, вы принадлежали ему. Вы были вольны, понеже вы распоряжались им как своею собственностью, отказаться от своих прав на него, но похитить у него вас – вас, которою он владел, – это значит совершить кражу, совершить бесчестный поступок. Как видите, я

монах, монашеские нравы мне известны доподлинно, и если я для вашей же пользы выскажусь о них несколько вольно, то мне это простительнее, нежели кому-либо еще. Так вот, дабы вы их узнали лучше, чем, сколько я понимаю, знали до сей поры, я вам сейчас о них расскажу. В старину были праведные, святой жизни монахи, а вот у тех, которые в наше время именуют себя монахами и стремятся за таковых прослыть, нет ничего монашеского, кроме рясы, да и та не монашеская, ибо учредители монашества заповедали шить рясы узкие, простые, из грубой ткани – в знак того, что если они облекают тело в столь убогие одежды, значит, их дух презирает все преходящее, меж тем как нынешние монахи шьют себе рясы просторные, на подкладке, дорогого блестящего шелку, что́ придает им пышности и величественности, и, подобно как миряне пускают пыль в глаза своими нарядами, без зазрения совести щеголяют в них на улицах и во время богослужений. Подобно рыбарям, которые стараются уловить в свои мрежи как можно больше рыбы, они стремятся заманить в подолы широченных своих ряс возможно больше ханжей, возможно больше вдов, возможно больше простоватых мужчин и женщин, – вот о чем они всего больше пекутся. Так что, если уж быть ближе к истине, монашеские у них не рясы, а только цвет ряс. Древние монахи помышляли о спасении людей, нынешние помышляют о женщинах да о богатстве, и все свои усилия они прилагали и прилагают к тому, чтобы угрозами и изображениями всяких ужасов стращать дурачков и внушать им, что грехи искупаются милостыней и заказными обеднями: этим они, пошедшие в монахи не потому, чтобы они были такие богомольные, а в силу душевной своей низости и чтобы не работать, добиваются того, что один им принесет хлеба, другой пришлет вина, третий даст им на помин души усопших. Милостыня и молитва воистину и вправду искупают грехи, однако ж если б те, кто творит милостыню, видели или, по крайней мере, знали, кому они ее творят, они поберегли бы ее для себя, а не то так бросили свиньям. Черноризцы смекнули, что чем меньше совладельцев, тем для них

выгоднее, – вот почему любой из них норовит криками и угрозами отогнать другого от крупной поживы. Они обличают мужчин-прелюбодеев для того, чтобы те, кого они обличают, перестали развратничать, а все женщины достались обличителям. Они осуждают мздоимство и незаконные поборы – осуждают с тою целью, чтобы эти самые поборы поручили взыскивать им, и тогда они на средства, которые, как они уверяют, обрекают на вечную муку их обладателей, смогут сшить себе рясы пошире, откупить себе епископию или же еще какую-либо кафедру. Когда же их порицают за эти и за многие другие столь же грязные дела, они отвечают: "Поступайте так, как мы учим, а не так, как мы действуем", – они считают, что так именно можно снять с души тяжкий грех, словно овцам легче быть стойкими, железными, нежели пастырям. И ведь почти все они отлично знают, что многие, коим они этот совет преподают, толкуют его совсем в другом смысле. Нынешние монахи желают, чтобы вы делали то, чему они учат, а именно: набивали им мошну, доверяли им свои тайны, были целомудренны, долготерпеливы, прощали обиды, не злословили. Все это в высшей степени похвально, добродетельно, богоугодно, но для чего они вам об этом твердят? Для того чтобы они имели возможность действовать так, как им нельзя было бы действовать, если б так действовали миряне. Всякому понятно, что, не будь у них денег, они вынуждены были бы работать. Если ты тратишь деньги на собственные удовольствия, монаху бездельничать нельзя; если ты начнешь волочиться за женщинами, то монах останется ни при чем; если ты нетерпелив и обид не прощаешь, то монаху незачем приходить к тебе и заводить свару в твоей семье. Да что там говорить? Они сами себя обвиняют всякий раз, когда подобным образом оправдываются перед людьми здравомыслящими. Коли им не по силам вести жизнь умеренную и праведную, так сидели бы лучше дома. А уж коли приняли чин иноческий, так почему же они живут не по-евангельски? Ведь Христос действовал и учил. Пусть-ка и они сначала действуют, а потом уже учат других. Я видел на своем веку тьму повес, блудни-

ков, бабников, волочившихся не только за женщинами светскими, но и за монашками, и это были как раз те, что громче всех вопияли с амвона! Так неужто мы последуем за теми, кто так поступает? Поступать так эти люди вольны, но хорошо ли они поступают – тут уж судья им бог. Предположим, однако ж, что взъевшийся на вас монах прав в том, что измена супружеской верности есть тягчайший грех, но разве не еще больший грех – обокрасть человека? Разве не еще больший грех – убить его или же вынудить мыкаться по белу свету? Кто же станет против этого спорить? Связь мужчины с женщиной – это грех естественный, но обокрасть мужчину, убить или же изгнать – это уже злодеяние. Что вы обокрали Тедальдо, отняв у него самое себя, меж тем как вы по собственному желанию стали его собственностью, – это я вам уже доказал. Далее я утверждаю, что вы, в сущности, убили его, а что он, видя, что вы с ним обходитесь час от часу жесточе, все-таки рук на себя не наложил, так в том заслуги вашей нет; между тем закон гласит, что тот, кто явился причиной совершенного преступления, заслуживает той же меры наказания, что и преступник. А что он из-за вас бежал и семь лет скитался – это сомнению не подлежит. Итак, каждый из этих трех ваших поступков неизмеримо греховнее вашей близости с Тедальдо. Спросим себя, однако ж: может статься, Тедальдо понес наказание заслуженное? По чести, нет. Во-первых, вы сами это признали, а во-вторых, я ручаюсь головой, что он любит вас больше, чем самого себя. Когда он находился в хорошем обществе и мог говорить, не возбуждая подозрений, то ни о ком не отзывался он с таким уважением, никого так не превозносил и не прославлял, как вас. Благосостояние свое, честь, свободу – все готов он был принести в жертву вам. Или он не родовит? Или не так хорош собой, как его сограждане? Или не отважен, как пристало юноше? Разве его здесь не любили, не дорожили его обществом, не зазывали его к себе наперебой? Этого вы равным образом отрицать не станете. Так как же вы, из-за того, что вам наговорил невежественный и завистливый монах-сумасброд, могли столь сурово обойтись с Тедальдо?

Я отказываюсь понимать женщину, которая пренебрегает мужчиной и не ценит его по достоинству; ей, впадающей в подобного рода заблуждение, надлежало бы отдать себе отчет, что́ представляет собой она сама и сколь велико и каково душевное благородство, коим, по воле божией, мужчина отличается от всякого другого животного, — следственно, ей должно гордиться тем, что она любима, должно дорожить любимым человеком и стараться во всем ему угождать, дабы он никогда ее не разлюбил. Вы сами знаете, что поступили так по наущению монаха, чревоугодника и обжоры. Может статься, ему хотелось прогнать того, дабы заступить его место. И вот этот-то ваш грех божественная справедливость, мудро сообразующая свои действия с последствиями, не пожелала оставить безнаказанным, и подобно как Тедальдо ничем не заслужил, что вы пытались отнять себя у него, так точно супруг ваш безвинно осужден из-за Тедальдо, а из-за супруга крушитесь вы. Если ж вы хотите помочь своему горю, вот что вам надобно пообещать, и не только пообещать, но и, что гораздо важнее, исполнить: буде Тедальдо в один прекрасный день после долгого отсутствия возвратится, вы должны вновь взыскать его милостью, вернуть ему свою любовь, свое благоволение, вновь установить с ним близость, — словом, восстановить его в правах, какими он пользовался до тех пор, пока вы слепо не поверили полоумному монаху".

На том скончал свою речь паломник, и тогда она, слушавшая его со вниманием, ибо доводы его казались ей вполне убедительными и укрепили ее в мысли, что, как он утверждал, она несет наказание именно за этот грех, молвила: "Божий человек! Должна сознаться, что вы совершенно правы. Теперь, благодаря вам, я наконец постигла, что собой на самом деле представляют монахи, ибо до разговора с вами я почитала их за святых. Положа руку на сердце, я признаю, что, обойдясь таким образом с Тедальдо, я совершила великий грех, и если б только мне представилась возможность, я с радостью искупила бы его именно так, как вы почитаете нужным подобного рода грехи иску-

пать, но что же я тут могу поделать? Тедальдо никогда уже к нам сюда не вернется – его нет в живых. А раз это неосуществимо, значит, незачем, по-моему, и обещать".

Паломник же ей на это возразил: "Сударыня! Господь открыл мне, что Тедальдо не умер, – он жив-здоров, и если б вы вновь взыскали его своею милостью, он был бы наверху блаженства".

"Опомнитесь! Что вы говорите? – воскликнула дама. – Я же собственными глазами видела распростертое у дверей моего дома хладное его тело, видела ножевые раны на нем, обнимала его, кропила обильными слезами мертвое его лицо, что́, верно, и послужило пищей злым языкам".

Паломник же ей сказал: "Что бы вы ни говорили, сударыня, уверяю вас: Тедальдо жив, и если только вы дадите обещание и слово свое сдержите, то вы его вскорости увидите".

"Я на это пойду, с радостью пойду, – объявила дама. – Увериться в то́м, что мой муж на свободе и не терпит никаких утеснений, а Тедальдо жив, – выше э̀того счастья для меня ничего быть не может".

Тут Тедальдо решил, что пора открыться и подать ей более твердую надежду на спасение ее мужа. "Сударыня! – сказал он. – Чтобы вы больше не тревожились за участь вашего супруга, я поведаю вам великую тайну, с тем, однако ж, чтобы вы до конца ваших дней ее не выдали".

Дама была совершенно уверена, что паломник – святой человек, а потому не побоялась остаться с ним наедине и притом в отдаленном покое. Приняв в соображение это обстоятельство, Тедальдо вытащил перстень, который дама подарила ему в их последнюю ночь и который он берег пуще глаза, показал его ей и спросил: "Узнаете, сударыня?"

Дама тотчас узнала перстень. "Да, мессер, когда-то я подарила его Тедальдо", – сказала она.

Тут паломник вскочил, скинул с себя странническую одежду, снял шляпу и спросил по-флорентийски: "А меня вы узнаете?"

Узнав Тедальдо, дама оцепенела; она испугалась так, словно перед ней был выходец с того света, и она не кинулась к

нему, как кинулась бы к Тедальдо, прибывшему с острова Кипр, – нет, она в ужасе едва не выбежала из комнаты, ибо ей представилось, что это Тедальдо, вставший из гроба.

Но тут Тедальдо сказал: “Не бойтесь, сударыня. Я – ваш Тедальдо, я жив и здоров, я не умер и не был убит, как думали вы и мои братья”.

Узнав его голос, дама несколько успокоилась; когда же она вгляделась в него и удостоверилась, что перед нею точно Тедальдо, то со слезами бросилась к нему на шею и поцеловала его. “Милый мой Тедальдо! – воскликнула она. – Наконец-то ты вернулся!”

Тедальдо обнял ее и поцеловал. “Сударыня! – сказал он. – Сейчас не время для более нежных ласк. Я намерен сделать все от меня зависящее, чтобы Альдобрандино возвратился к вам цел и невредим, и уповаю, что не позже завтрашнего вечера сумею вас порадовать, а если у меня уже сегодня появится надежда на его спасение, то я приду к вам ночью и расскажу обо всем при более благоприятных обстоятельствах”.

Вновь облекшись в converted страническую одежду, надев шляпу, еще раз поцеловав свою возлюбленную и обнадежив ее, он от нее ушел и направился туда, где томился в заключении Альдобрандино, страшившийся предстоящей казни и почти утративший надежду на освобождение. С дозволения тюремщиков Тедальдо вошел к нему якобы для того, чтобы поднять в нем дух, сел рядом с ним и заговорил: “Альдобрандино! Я твой друг, посланный ради твоего вызволения самим богом, который, зная твою невиновность, сжалился над тобой. И вот если ты ради бога сделаешь мне небольшое одолжение, то, вне всякого сомнения, завтра вместо ожидаемого тобою смертного приговора ты услышишь приговор оправдательный”.

Альдобрандино же ему на это ответил: “Добрый человек! Ты так печешься о моем спасении, что, хотя я тебя и не знаю и не могу припомнить, чтобы где-нибудь тебя видел, ты, должно думать, точно мне друг. По совести, я не совершал преступления, за которое меня, как я слышал, собираются

казнить, но я совершил много других преступлений, и, может статься, за них-то я сейчас и страдаю. Но вот, как перед богом, говорю: если он точно умилосердится надо мной, то я готов обещать и оказать тебе не только малое, но и великое одолжение. Проси все, что угодно, – если я выйду на волю, я непременно и с крайним тщанием исполню все".

Тогда паломник ему сказал: "Я желаю одного: прости четырем братьям Тедальдо то, что они тебя оговорили, будучи уверены, что ты убил их брата, и если они попросят у тебя прощения, то будь им другом и братом".

Альдобрандино же ему на это ответил так: "Только тот, кого оскорбили, знает, сколь отрадна месть, и страстно желает отмстить. Со всем тем – только бы господь меня спас, а я с великой охотой прощу их, да я их уже и простил. Словом сказать, если мне будут дарованы жизнь и свобода, я твою просьбу исполню".

Паломник был этим удовлетворен и, не собираясь вдаваться в более подробные объяснения, сказал лишь, чтобы тот не отчаивался, ибо не позднее завтрашнего вечера он, мол, будет знать наверное, что все для него кончилось благополучно.

Из тюрьмы Тедальдо прошел во дворец градоправителя и обратился к тому дворянину, который был облечен этою властью: "Государь мой! Каждый должен прилагать все усилия к тому, чтобы доискаться истины, особливо те, что занимают должности, подобные вашей, цель же таковых поисков – освободить от наказания невинных и покарать виновных. Дабы так именно и произошло, чтó послужило бы к вашей чести и во осуждение того, кто заслуживает наказания, я и пришел к вам. Вам лучше, чем кому-либо, известно, что вы предъявили тяжкое обвинение Альдобрандино Палермини, – вы убеждены, что это он убил Тедальдо Элизеи, и склонны его засудить. Вы напали на ложный след, – я еще до полуночи сумею вам это доказать: я доставлю вам убийц этого юноши".

Доблестному мужу жаль было Альдобрандино; выслушав подробный рассказ паломника и вняв его настояниям, он по

его указанию велел взять под стражу видевших в то время первый сон братьев, содержавших гостиницу, а равно и слугу их, причем никто из них не оказал ни малейшего сопротивления. Когда же градоправитель, дабы вытянуть из них всю правду, отдал распоряжение пытать их, они, дабы избежать пытки, и вместе и порознь, чистосердечно повинились в том, что убили Тедальдо Элизеи, не имея понятия, кто он таков. Когда же их спросили, за что они его убили, они ответили, что, когда их не было в гостинице, он приставал к жене одного из них и намеревался учинить над нею насилие.

После допроса паломник отпросился у градоправителя и, тайно проникнув к донне Эрмеллине, уверился, что она одна во всем доме бодрствует: она ждала его, сгорая от нетерпения услышать добрые вести о муже и окончательно помириться со своим любимым Тедальдо. Войдя, он с веселым видом сказал: "Возрадуйся, владычица моей души! Завтра, вне всякого сомнения, твой Альдобрандино цел и невредим вернется домой". И тут он для вящей убедительности все обстоятельно ей рассказал. Даму эти два неожиданных и необычайных происшествия, как-то: возвращение живого Тедальдо, которого она оплакивала как мертвого, и поворот к лучшему в судьбе Альдобрандино, на оправдание которого она теперь твердо надеялась, привели в неописуемый восторг, – она крепко обняла и поцеловала Тедальдо, после чего они с обоюдного согласия легли в постель и, заключив благодатный и радостный мир, долго блаженствовали и услаждались друг дружкой. А на рассвете Тедальдо, посвятив Эрмеллину в свои замыслы, встал и, еще раз наказав ей держать все в строжайшей тайне, по-прежнему в страннической одеянии отправился по делам Альдобрандино.

Когда настал день, градоправитель, рассудив, что дело ясное, нимало не медля, выпустил на свободу Альдобрандино, а несколько дней спустя на том самом месте, где было совершено убийство, душегубам отрубили головы. Альдобрандино, к великой своей радости, а равно и к радости жены, родственников и друзей, обретя свободу и отдав себе ясный отчет, что этим он всецело обязан вмешательству па-

ломника, предложил ему пожить у него все то время, которое он намерен провести в этом городе. И муж и жена всячески старались ему угодить и ублажить его, особливо жена, отлично знавшая, для кого она так старается. Некоторое время спустя Тедальдо, решив, что пора помирить Альдобрандино со своими братьями, которые, как он слышал, были оскорблены оправдательным приговором и страха ради не расставались с оружием, напомнил Альдобрандино его обещание. Альдобрандино изъявил полнейшую готовность. Тогда паломник попросил его задать завтра пир горой, во время которого Альдобрандино, его родственники и их жены приветили бы четырех братьев Тедальдо и их жен, а он-де, со своей стороны, незамедлительно пригласит их на пир и на мировую. Заручившись согласием Альдобрандино, паломник пошел к своим братьям и после долгих необходимых переговоров, с помощью неопровержимых доводов, без особого труда убедил их в том, что нужно попросить у Альдобрандино прощения и вновь с ним подружиться. Затем он пригласил их вместе с женами на завтрашний обед к Альдобрандино, они же, поверив его честному слову, обещали прийти.

Итак, на другой день, в обеденное время, первыми пришли в дом к ожидавшему их Альдобрандино облаченные в траур четыре брата Тедальдо и кое-кто из их друзей, в присутствии гостей Альдобрандино побросали на пол оружие и, попросив прощения за свой поступок, отдались в его руки. Альдобрандино прослезился, принял их радушно и, поцеловав всех в уста, в кратких словах объявил, что прощает нанесенное ему оскорбление. Затем явились их сестры и жены в темных одеждах, и донна Эрмеллина и другие дамы оказали им любезный прием.

И мужчин и дам угостили на славу, все было на этом пиру выше всяких похвал, и, однако же, родственники Тедальдо были молчаливы и мрачны: слишком еще свежо было воспоминание о постигшем их несчастье, и внешне эта их мрачность выражалась в печальном цвете их одежд, каковое обстоятельство вызвало у иных неудовольствие пирше-

ством, которое затеял паломник, и от паломника это не укрылось; наконец за десертом, решив, что пора нарушить молчание, – а у него все было рассчитано наперед, – он встал и сказал: "Чтобы пир наш стал веселым, необходимо присутствие Тедальдо, и так как вы его не узнали, хотя он все время здесь, среди вас, то я вам его сейчас покажу".

Сказавши это, он скинул с себя рясу и все странническое одеяние и остался в зеленом шелковом камзоле, и тут все в крайнем изумлении на него воззрились, долго вглядывались в его черты и все никак не могли поверить, что это он. Тогда Тедальдо заговорил о своих родственниках, припомнил разные случаи из их жизни, а равно и свои собственные похождения. Тогда его братья и другие мужчины со слезами радости бросились его целовать, а за ними дамы – как родственницы его, так равно и посторонние, за исключением донны Эрмеллины.

Альдобрандино же ей сказал: "Что такое, Эрмеллина? Почему ты не приветствуешь Тедальдо, как другие дамы?"

Эрмеллина ответила ему во всеуслышание: "Никто из здесь присутствующих так страстно не желал бы и не желает приветствовать его, как я, – ведь я обязана ему больше чем кто-либо: он возвратил мне тебя, однако ж меня удерживают кривотолки, которые пошли по городу в те дни, когда мы оплакивали человека, коего мы приняли за Тедальдо".

"Да будет тебе! – молвил Альдобрандино. – Стану я верить сплетникам! Я и раньше был уверен, что это ложь, а уж теперь, после всего, что он сделал для моего спасения, и подавно. Встань сейчас же и пойди обними его".

Эрмеллине только того и нужно было – поспешив исполнить повеление своего супруга, она встала и, по примеру прочих поцеловав Тедальдо, радостно приветствовала его. Великодушие Альдобрандино произвело отрадное впечатление как на братьев Тедальдо, так равно и на всех мужчин и на всех женщин, ибо оно рассеяло малейшее подозрение, которое заронили кое-кому в душу ходившие по городу слухи. После того как все изъявили восторг по случаю возвращения Тедальдо, он собственноручно сорвал с

братьев черные одежды, а с сестер и темные и велел принести им другие. Переодевшись, гости начали петь, танцевать, веселиться, так что молчаливый этот пир под конец сделался шумным. А ввечеру все, сколько их ни было, в превеселом расположении духа пошли ужинать к Тедальдо, и так они праздновали несколько дней кряду.

Флорентийцы долгое время смотрели на Тедальдо, как на чудо, как на воскресшего из мертвых, и у многих, даже у его братьев, все еще оставались крупицы сомнения: он ли это или же кто-либо другой? Они верили и не верили и, может статься, долго бы еще не уверовали, когда бы не один случай, который ясно им показал, кого тогда убили, — случай же этот состоял вот в чем.

Как-то раз мимо дома Тедальдо проходили луниджанские солдаты и, увидев его, крикнули: “Здравствуй, Фацуоло!”

“Вы приняли меня за кого-то другого”, — в присутствии братьев отвечал Тедальдо.

Услышав его голос, солдаты смутились и, извинившись, сказали: “Вы и впрямь удивительно похожи на одного нашего товарища, Фацуоло из Понтремоли, — недели две тому назад он отбыл сюда, и мы до сих пор ничего о нем не знаем. Впрочем, нас с самого начала смутило ваше платье, — ведь он был такой же солдат, как и мы”.

При этих словах старший брат Тедальдо приблизился к ним и спросил, как именно был одет Фацуоло. Те ответили, — оказалось, что убитый был одет, как описывали солдаты. Так, на основании этих и разных других примет, было установлено, что убили Фацуоло, а не Тедальдо, и последние сомнения касательно Тедальдо, еще остававшиеся у братьев и у всех прочих, рассеялись окончательно. А Тедальдо, возвратившись во Флоренцию богачом, пребывал верен своему предмету, я так как его возлюбленная больше с ним не вздорила, то они, действуя осторожно, долго еще предавались любовным утехам. Да поможет господь бог таковым утехам предаваться и нам!

8

*Ферондо выпивает сонный порошок,
и его заживо хоронят;
аббат, который между тем развлекается
с его женой, переносит его из склепа в темницу,
и Ферондо уверяют, что он в чистилище;
воскреснув, Ферондо воспитывает сынка,
которого его супруга успела прижить с аббатом*

Когда Эмилия кончила свой рассказ, не только не утомивший своей продолжительностью, но, напротив того, показавшийся всем чересчур кратким, если принять в рассуждение количество и разнообразие заключенных в нем событий, королева знаком дала понять Лауретте, чего она от нее хочет, и та начала так:

— Милейшие дамы! Мне вспомнилось одно истинное происшествие, хотя оно вполне может показаться небывальщиной — до того оно неправдоподобно, а пришло оно мне на память, когда я слушала, как одного человека оплакивали и хоронили, принимая его за другого. Словом, я расскажу вам о том, как один человек был заживо погребен, как потом многие признали его не за живого, а за воскресшего, восставшего из гроба, да он и сам был в этом уверен, и о том, как виновника, который подлежал суду, причислили к лику святых.

Итак, в Тоскане была и есть обитель, расположенная, как это мы часто наблюдаем, в местах довольно пустынных, настоятелем же этой обители был некий монах, чело-

век во всех отношениях праведный, если не считать его пристрастия к женскому полу. Действовал он, однако, так осторожно, что почти никто не то что об этом не знал, но даже не подозревал, ибо строгость и святость его жизни не вызывали сомнений. Этот-то самый аббат свел дружбу с крестьянином-богатеем по имени Ферондо, неотесанным простофилей; дружил же с ним аббат поначалу ради удовольствия время от времени потешаться над его простотою, а затем, обратив внимание, что жена у него раскрасавица, так в нее влюбился, что мысль о ней преследовала его и днем и ночью. Разведав, однако ж, что Ферондо – дурак набитый во всех отношениях, но в любви к своей женушке и по части ее охраны выказывает себя мудрецом из мудрецов, впал в отчаяние. Со всем тем, будучи человеком хитроумным, он сумел-таки добиться, что Ферондо с женой коекогда приходил к нему в сад погулять, и в саду аббат вел с ними душеспасительные беседы о блаженстве жизни вечной и о богоугодных делах мужей и жен древности, так что супруге Ферондо захотелось исповедаться у аббата, на что она испросила дозволение мужа.

Итак, придя к аббату на исповедь, чем доставила ему великое удовольствие, и сев у его ног, она начала вот с чего: “Отец мой! Если бы господь послал мне настоящего мужа или даже не дал никакого, мне, может статься, было бы нетрудно, следуя вашим наставлениям, вступить на путь, который, как вы нам говорили, ведет к жизни вечной. Приняв, однако ж, в соображение, что собой представляет Ферондо и до чего он глуп, я, хоть и замужем, почитаю себя за вдову, оттого что, пока он жив, у меня не может быть другого мужа, а он, болван этакий, безо всякого повода бешено меня ревнует, так что у меня не жизнь, а мука мученическая. И вот, прежде чем приступить к исповеди, я покорнейше прошу вас преподать мне какой ни на есть совет, потому если вы меня тут не выручите, то ни исповедь, ни добрые дела мне не помогут”.

Выслушав ее, аббат взыграл духом: он решил, что судьба открывает ему путь к исполнению самого сильного его же-

лания. “Дочь моя! – молвил он. – Мне думается, что для такой прелестной и тонкой женщины, как вы, придурковатый муж – это большая обуза, тем паче что он к тому же еще и ревнив, а так как он и глуп и ревнив, то я живо себе представляю, как вам с ним тяжело. Коротко говоря, я могу вам преподать только один совет и предложить только одно средство: излечить Ферондо от ревности. Как подобное снадобье изготовляется – это мне хорошо известно, лишь бы вы сохранили в тайне все, что я вам сейчас сообщу”.

“Не сомневайтесь, отец мой, – сказала женщина, – я скорее умру, чем проговорюсь, раз вы велите мне молчать. Но как же это сделать?”

“Если вы хотите, чтоб он выздоровел, надобно отправить его в чистилище”, – отвечал аббат.

“Как же он живой туда отправится?” – спросила женщина.

“Ему надобно умереть, и тогда он попадет в чистилище, – отвечал аббат. – Когда же он претерпит все возможные муки и через то излечится от ревности, то вы начнете читать особые молитвы и умолите бога, чтобы он ожил, и он оживет”.

“А мне, значит, придется побыть вдовой?” – спросила женщина.

“Придется, – отвечал аббат, – и в течение этого времени не вздумайте выходить за другого, – богу это не угодно; ведь когда Ферондо оживет, вы принуждены будете вернуться к нему, и тогда он станет еще пуще вас ревновать”.

“Я согласна, – объявила женщина, – лишь бы он излечился от этого наваждения и не держал меня за семью замками. Делайте как хотите”.

“Сделать-то я сделаю, – сказал тут аббат, – а вот чем вы меня вознаградите за такую важную услугу?”

“Чем только могу, – отвечала женщина. – Но разве такая простая женщина, как я, может достойно отблагодарить столь высокую особу?”

Аббат же ей на это ответил так: “Сударыня! Вы властны сделать для меня не меньше, чем собираюсь сделать для вас я, ибо если я намерен предпринять нечто такое, что обра-

дует вас и утешит, то и вы способны сделать нечто такое, что будет телу моему во здравие, душе – во спасение".

"Ну, тогда я готова", – промолвила женщина.

"В таком случае, – сказал аббат, – полюбите меня и дайте мне насладиться вами, – ведь я же вас обожаю, я сохну по вас!"

При этих словах женщина пришла в великое смятение.

"Помилуйте, отец мой, о чем вы меня просите? – воскликнула она. – А я-то думала, что вы святой человек! Разве святые люди станут совращать женщин, которые пришли к ним за советом?"

Аббат же ей на это ответил так: "Душенька моя! Тут ничего удивительного нет: святость от того не умаляется, ибо она пребывает в душе, я же склоняю вас на грех плотский. Во всяком случае, меня подвигнул на то Амур – такой волшебной силой обладает ваша дивная красота. Смею вас уверить, что у вас больше оснований гордиться красотой вашей, нежели у какой-либо другой женщины: примите в соображение, что вы нравитесь святым, привыкшим созерцать красоту небесную. Притом хотя я и аббат, но я такой же человек, как и все прочие, и, как видите, еще не стар. Исполнить мое желание для вас не составит труда, напротив того: вам самим надлежит стремиться к тому же, ибо, пока Ферондо будет в чистилище, вы, наедине со мной, вкусите отраду, какую по-настоящему должны были бы вкушать наедине с мужем. Ни одна душа про то не узнает – все почитают меня за того, за кого и вы меня почитали до последней минуты. Не отвергайте же милость, которую вам ниспосылает господь, – много есть таких, которые жаждут получить то, что вы можете получить и что вы непременно получите, если только будете благоразумны и последуете моему совету. Помимо всего прочего, есть у меня прелестные драгоценные вещи – я предназначаю их для вас. Итак, радость моя, сделайте для меня то самое, что я с удовольствием сделаю для вас".

Женщина потупилась – она не знала, как ей быть: и отказать неудобно, и согласиться совестно. Аббат же, заме-

тив, что она колеблется, и решив, что наполовину все же обратил ее, вновь пустился в рассуждения и не успел договорить, как она уже прониклась его доводами и не без смущения объявила, что готова исполнить любое его приказание, но не прежде, чем Ферондо попадет в чистилище. Аббат же, возликовав, сказал: “Мы постараемся отправить его туда в самое ближайшее время, но только завтра или послезавтра пришлите его ко мне”. И тут он, сунув ей в руку дивное кольцо, отпустил ее. Женщина, придя в восторг от подарка и в чаянии будущих, вернулась к своим подружкам, нарассказала им разных разностей о святости аббата и пошла с ними домой.

Несколько дней спустя Ферондо пошел в монастырь. При виде его аббат решился не откладывая отправить его в чистилище. Он отыскал у себя чудодейственного свойства порошок, который получил на Востоке от одного владетельного князя, утверждавшего, что его имеет обыкновение применять Магомет, когда хочет кого-нибудь отправить в свой рай или же, напротив, вызвать его оттуда, и что порошок этот, сколько его ни дать, без малейшего вреда так усыпляет, что до тех пор, пока он действует, никто не подумает, что человек тот жив, и, насыпав в стакан с еще не отстоявшимся вином столько этого порошка, чтобы от него человек спал без просыпу трое суток, у себя в келье дал его выпить ничего не подозревавшему Ферондо, а затем повел его к другим монахам и стал потешаться над его дурашливостью. Малое время спустя порошок подействовал и навел на Ферондо столь внезапный и столь крепкий сон, что тот заснул стоя, а заснув, упал. Аббат, сделав вид, что напуган этим обстоятельством, велел раздеть Ферондо, принести холодной воды и сбрызнуть его, а также применить многие другие известные ему средства, помогающие от вредных испарений желудка, равно как и при других опасных явлениях, — применить якобы для того, чтобы привести его в чувство и вернуть к жизни, однако, видя, что средства бессильны и что Ферондо не опоминается, пощупав ему пульс и уверясь, что он не подает признаков жизни, все

пришли к твердому убеждению, что Ферондо умер. Послали сказать жене и родным – все явились тотчас же, и когда жена и родственники оплакали покойного, аббат велел положить его одетым в склеп.

Жена, воротившись домой, объявила, что нипочем не расстанется с ребенком, который был у нее от Ферондо, и принялась воспитывать сына и вести хозяйство, которое оставил ей муж.

Ночью аббат и один болонский монах, пользовавшийся особым доверием аббата и как раз в это время приехавший из Болоньи, тихохонько встали, вытащили Ферондо из склепа и положили в подземелье, куда совсем не проникал свет и куда обыкновенно заточали провинившихся монахов. Сняв с Ферондо его платье и надев на него одежду монашескую, они положили его на солому и оставили здесь до тех пор, пока он не опамятуется. Болонский монах, которого аббат научил, что́ должно делать, меж тем как никто в монастыре знать ничего не знал, караулил пробуждение Ферондо. На другой день аббат, взяв с собой нескольких монахов, пошел к жене Ферондо якобы для того, чтобы навестить вдовицу, и, застав ее в черной одежде, убитую горем, сказал ей в утешение несколько ласковых слов, а затем шепотом напомнил ей, что́ она ему обещала. Приняв в рассуждение, что она свободна и что ни Ферондо, ни кто-либо другой ей теперь не помеха, и увидев на руке аббата другое красивое колечко, она ответила согласием и уговорилась с аббатом, что он препожалует к ней ночью. И вот, как скоро настала ночь, аббат, переодевшись в платье Ферондо, вместе с одним монахом пошел к ней и услаждался и блаженствовал с нею до самой утрени, а потом возвратился в обитель, каковой путь он после этого проделывал частенько и с тою же целью, а те, что иной раз встречали его на пути туда или на возвратном пути, принимали его за неприкаянный дух Ферондо, и по сему обстоятельству суеверные сельчане напридумали тьму всяких небылиц и пересказывали их вдове, но та отлично понимала, в чем тут дело.

Когда Ферондо наконец очнулся и не мог понять, где он находится, к нему с диким криком вбежал болонский монах и отхлестал его розгой.

Ферондо плакал, вопил и все спрашивал: “Где я?”

На что монах всякий раз отвечал: “В чистилище”.

“Как! – воскликнул Ферондо. – Значит, я умер?”

“Конечно, умер”, – подтвердил монах.

Тут Ферондо давай оплакивать самого себя, жену, сына, а затем понес дичь несусветную.

Монах принес ему еды и питья. “А разве мертвые едят?” – спросил Ферондо.

“Едят, – отвечал монах, – я принес тебе то, что твоя бывшая жена утром прислала в монастырь на помин твоей души, – кушай во славу божию”.

“Дай бог ей здоровья! – воскликнул тут Ферондо. – Я при жизни очень ее любил, ночь напролет, бывало, лежал с ней в обнимку и все целовал, а когда припадала охота, то и еще кое-чем занимался”. Тут у него разыгрался аппетит, и он накинулся на еду и на питье, однако ж вино не пришлось ему по вкусу, и он сказал: “Господь накажет ее, что она налила священнику не из той бочки, которая около стены стоит”.

Как скоро он поел, монах опять принялся за него и опять всыпал горячих.

Ферондо, вдоволь наоравшись, спросил: “За что ты меня так?”

“Господь велел пороть тебя дважды в день”.

“За какой провин?” – спросил Ферондо.

“За то, что ты ревновал свою жену – самую благонравную женщину во всей округе”.

“Ох! Верно ты говоришь, – молвил Ферондо, – самую благонравную и самую утешную. Она была слаще карамели, но ведь я же не знал, что богу не угодно, когда ревнуют, иначе я бы и ревновать не стал”.

“Тебе надлежало уразуметь это, пока ты был на земле, и исправиться, – заметил монах. – Если же ты случайно возвратишься на землю, то советую тебе помнить, как я тут с тобой расправляюсь, и никогда больше не ревновать”.

“Разве умершие возвращаются когда-нибудь на землю?” – спросил Ферондо.

“Возвращаются, если на то есть воля божья”, – отвечал монах.

“Эх, если б мне только вернуться, – молвил Ферондо, – я был бы самым лучшим мужем на свете, пальцем бы ее не тронул, дурного слова не сказал, разве выбранил за вино, которое она нам нынче прислала, да еще за то, что не прислала ни одной свечки, так что мне пришлось есть впотьмах”.

“Свечки-то она прислала, – возразил монах, – но они сгорели во время обедни”.

“Может, оно и так, – молвил Ферондо. – Если я вернусь, то наверняка дам ей полную волю. Скажи мне, однако ж: кто ты, мучитель мой?”

Монах же ему на это ответил: “Я ведь тоже умер, а проживал в Сардинии, и в былое время я одобрял моего господина за то, что он был ревнивцем, и вот господь покарал меня так: мне вменяется в обязанность кормить тебя и поить, а равно и отсчитывать тебе удары до тех пор, пока господь не решит твою и мою участь”.

“Здесь, кроме нас двоих, никого нет?” – осведомился Ферондо.

“Тут целые сонмы, – отвечал монах, – но только ты не можешь ни видеть, ни слышать их, равно как и они тебя”.

“А как далеко мы от родного края?” – осведомился Ферондо.

“Ой-ой-ой как далеко! – воскликнул монах. – Отсюда не видать”.

“Ого! Стало быть, и впрямь далеко, – заметил Ферондо. – Эк нас с тобою занесло, – верно уж, мы на том свете”.

Так, чередуя эти и подобные им беседы с кормлением и поркой, Ферондо продержали в темнице около десяти месяцев, в течение которых аббат весьма часто и с большим успехом навещал красавицу и наиприятнейшим образом проводил с нею время. Нужно же было, однако, случиться такому несчастью, что она забеременела; быстро заметив

это, она призналась аббату, и тогда они оба решили, что нужно сей же час извлечь Ферондо из чистилища: он, мол, к ней вернется, а она ему скажет, что беременна от него.

Но распоряжению аббата болонский монах, изменив голос, возвестил томившемуся в заточении Ферондо: "Воспрянь духом, Ферондо! Богу угодно, чтобы ты возвратился на землю. После того как ты возвратишься, жена родит тебе сына, и ты нареки его Бенедиктом, ибо господь ниспосылает тебе эту милость по молитвам праведного твоего аббата, по молитвам жены твоей и из любви к святому Бенедикту".

Услышав такие речи, Ферондо преисполнился душевного веселия. "Ах, как я рад! – воскликнул он. – Господь да вознаградит за это самого себя, аббата, святого Бенедикта и мою хорошую, пригожую, прелестную, расчудесную жену!"

Аббат велел подсыпать в вино, которое он ему посылал, того же самого порошку, но только чтобы его хватило не более чем на четыре часа сна, одеть Ферондо в его платье, а затем он и монах тайком перенесли его обратно в склеп. На рассвете Ферондо пробудился и, увидев в щелочку свет, которого он не видал уже месяцев десять, решил, что он ожил, и давай кричать: "Отворите, отворите!" – и при этом уперся головой в крышку усыпальницы с такой силой, что она сдвинулась, – а сдвинуть ее не составляло большого труда, – и начал ее поворачивать. Монахи, отслужив утреню, услышали голос Ферондо, побежали в усыпальницу и как увидели, что он встает из гроба, в то же мгновенье, напуганные необычайным происшествием, дунули оттуда и помчались к аббату.

Сделав вид, будто он стоит на молитве, аббат им сказал: "Не бойтесь, дети мои! Возьмите крест, возьмите святой воды и следуйте за мной – посмотрим, что сотворил всемогущий господь". Как сказано, так и сделано.

Ферондо, без кровинки на лице, оттого что давно не был на воздухе, к тому времени уже вышел из усыпальницы.

Увидев аббата, он кинулся ему в ноги. "Отец мой! – воскликнул он. – Мне было открыто, что ваши молитвы, а также молитвы святого Бенедикта и моей жены избавили меня от мук чистилища и вернули на землю, и я молю бога, чтобы вы весь этот год жили счастливо, чтобы вы благоденствовали ныне и присно".

"Да будет препрославлено всемогущество божие! – молвил аббат. – Ступай же, сын мой, поелику всевышний вновь послал тебя на землю, утешь свою супругу, а то она, с тех пор как ты перешел в мир иной, плачет не осушая глаз, и будь отныне верным и ревностным христианином".

"Мне, ваше высокопреподобие, и там про это уже говорили, – сказал Ферондо. – Я ее смерть как люблю, – дайте мне только добраться до дому, и я ее зацелую".

По уходе Ферондо аббат выразил монахам крайнее свое изумление по поводу случившегося и велел благоговейно пропеть "Помилуй мя, боже...". Ферондо зашагал к себе в деревню, однако ж всякий при виде его бежал без оглядки, словно от пугалища, а он звал встречных и уверял, что воскрес. Жену он также повергнул в ужас.

Когда же сельчане удостоверились, что это точно Ферондо и что он жив, то начали его обо всем расспрашивать, он же за это время словно бы поумнел: сообщал, что там деется с душами их сродников, врал напропалую о том, как устроено чистилище, и при всем честном народе рассказывал о том, что́ услышал он, прежде чем воскреснуть, из уст самого архангела Гавриила. Дома он вновь вступил во владение своим имуществом и, как он сам себя уверил, обрюхатил свою жену, и по счастливой случайности она в определенный срок, в который свято веруют одни дураки, убежденные, что женщина должна носить ребенка ни больше, ни меньше, как девять месяцев, родила младенца мужеского пола, каковой младенец был назван Бенедиктом Ферондо. После возвращения Ферондо и после его россказней ореол аббатовой святости стал стократ ярче, ибо почти все уверовали в то, что Ферондо воскрес. А Ферондо, многажды сеченный за свою ревность, излечился

от нее и, как обещал аббат его жене, перестал ревновать. Она же, таковым обстоятельством удовлетворенная, вновь стала ему верной женой; впрочем, когда можно было сделать все шито-крыто, она охотно встречалась с праведным аббатом, который, не жалея трудов и усилий, столь великие оказал ей услуги.

9

Джилетта из Нарбонна
вылечивает французского короля от фистулы
и просит за это выдать ее замуж
за Бельтрана Руссильонского, –
тот, женившись на ней не по любви,
с досады уезжает во Флоренцию;
здесь он приволокнулся за одной девицей,
однако ж спит с ним не она,
а Джилетта и родит ему двух сыновей,
вследствие чего он по истечении некоторого времени
проникается к ней уважением
и обходится с ней как с женой

Льготы, предоставленной Дионео, никому не хотелось у него отнимать, Лауретта же свой рассказ досказала, а потому очередь была за королевой, и она, исполненная прелести неизъяснимой, не дожидаясь уговоров, начала так:

– Трудно рассказывать после Лауретты. Хорошо еще, что она была не первая, иначе немногие угодили бы вам; боюсь, что после нее никто уже похвал не заслужит. Ну, была не была: все-таки я расскажу вам нечто, на мой взгляд, подходящее к заданному предмету.

В королевстве французском жил-был некто Иснардо, граф Руссильонский, а так как он был человек хворый, то постоянно держал при себе врача, магистра Джерардо из Нарбонна. У графа был единственный сын, по имени

Бельтран, премиленький и прехорошенький, и с ним вместе воспитывались его сверстники, в частности дочка того самого лекаря по имени Джилетта, питавшая к Бельтрану любовь безграничную, более пылкую, нежели то приличествовало нежному ее возрасту. Что же до Бельтрана, то, когда скончался его отец, он принужден был переехать в Париж, ибо опекуном его стал сам король, и отъезд его сильно опечалил девушку. Малое время спустя приказал долго жить и отец девушки, и если б ей удалось найти благовидный предлог, она с радостью поехала бы в Париж повидаться с Бельтраном, но она была богата, круглая сирота, в городе был известен каждый ее шаг, а благовидный предлог не подвертывался. Она была уже на выданье, однако Бельтрана забыть не могла и потому, не объявляя причины, отказывала многим, за которых ее прочили родственники.

Случилось, однако ж, так, что когда она особенно пылала любовью к Бельтрану, оттого что, по слухам, он стал писаным красавцем, до нее донеслась весть, что у французского короля вследствие незалеченного нарыва образовалась фистула, причинявшая ему сильнейшее беспокойство и боль нестерпимую, и хотя многие врачи пытались вылечить его, но так ничего и не добились, а только еще хуже наделали, — потому-то король, придя в отчаяние, ни от кого больше ни совета, ни помощи не принимал. Девушка очень этому обстоятельству обрадовалась и сообразила, что, во-первых, это дает ей законное основание для поездки в Париж, а, во-вторых, если болезнь короля именно такова, какою она себе ее представляла, то легко может статься, что, излечив его, она получит в награду Бельтрана. Так как она многому научилась у отца, то ей нетрудно было изготовить снадобье из трав, кои, сколько ей было известно, помогают от заболевания, которое она предполагала у короля, а затем села на коня и поехала в Париж. В Париже она не стала предпринимать никаких шагов до встречи с Бельтраном и, только повидавшись с ним, явилась пред очи короля и как об особой милости попросила показать

его болячку. Король не смог отказать прелестной и обходительной девушке и показал фистулу. Как скоро девушка ее увидала, то прониклась уверенностью, что сумеет ее излечить. "Государь! – сказала она. – Буде на то ваше соизволение, я уповаю с божьей помощью в течение недели вылечить вас, не доставив вам никаких беспокойств и не причинив ни малейшей боли".

Король в глубине души посмеялся над ее самонадеянностью. "Лучшие врачи не распознали моего недуга и не справились с ним, – сказал он себе, – что ж тут может поделать неопытная девушка?" Поблагодарив ее за доброе намерение, он ответил, что решился к помощи врачей более не прибегать.

Девушка же ему на это сказала: "Государь! Вы пренебрегаете врачевальным моим искусством, потому что я девушка, потому что я женщина, однако ж позвольте напомнить вам, что я врач не благодаря своим собственным познаниям, а милостью божией и благодаря познаниям моего отца, магистра Джерардо из Нарбонна, который при жизни пользовался большой известностью".

Тут король призадумался: "А что, если она послана мне самим богом? Почему бы не попробовать? Ведь она же обещает излечить меня в кратчайший срок, не доставив притом никаких беспокойств". Решившись пойти на это испытание, он задал девушке вопрос: "А если вы, сударыня, меня не вылечите и тем самым не сдержите свое обещание, то как же тогда быть?" – "Государь! – отвечала девушка. – Приставьте ко мне караул, и если я через неделю вас не вылечу, то велите меня сжечь. А вот если я вас вылечу, то какая награда ожидает меня?"

Король же ей на это ответил так: "Вы, сдается мне, еще не замужем; если вы меня вылечите, то мы отдадим вас за хорошего человека из высшего общества".

Девушка же ему призналась: "Сказать по совести, государь, мне хочется выйти замуж, но пойду я только за того человека, за которого я попрошу вас выдать меня, – никто из ваших сыновей, никто из царствующего дома мне не надобен".

Король охотно ей это пообещал. Девушка принялась лечить его, и еще до указанного ею срока он поправился. Почувствовав, что он здоров, король обратился к ней с такими словами: "Девушка! Вы заслужили себе мужа".

Девушка же ему на это сказала: "Коли так, государь, то я заслужила Бельтрана Руссильонского, — я полюбила его измлада и до сего дня души в нем не чаю".

Королю показалось, что это для нее чересчур блестящая партия, но раз уж он обещал, то отступать почел для себя неудобным, а потому послал за Бельтраном и обратился к нему с такою речью: "Бельтран! Ты уже человек взрослый, воспитание твое окончено. Возвращайся в свое графство, с тем чтобы им управлять, и возьми с собой девицу, которую я прочу тебе в жены".

"Кто эта девица, ваше величество?" — спросил Бельтран.

"Та, которая своими лекарствами исцелила меня", — отвечал король.

Бельтран еще раньше видел ее и узнал, и хотя не мог отрицать, что она чудо как хороша собой, однако ж, приняв в соображение, что она ему не ровня, в негодовании воскликнул: "Государь! Итак, вы намерены отдать за меня лекарку? Видит бог, я никогда на ней не женюсь".

"Значит, я из-за тебя вынужден буду взять назад свое королевское слово, данное этой девице, которая бралась меня вылечить и которая в награду за мое выздоровление попросила, чтобы я выдал ее за тебя замуж?" — молвил король.

"Государь! — отвечал Бельтран. — Вы властны лишить меня всего и подарить меня кому угодно, понеже я есть ваш верноподданный, однако ж смею вас уверить, что сей брак будет для меня брак несчастливый".

"Нет, счастливый, — возразил король, — девица пригожа, сметлива, любит тебя всей душой, — вот почему я ласкаюсь надеждой, что ты будешь с нею счастливее, нежели с какой-либо знатною дамой".

Бельтран смолк, король же распорядился начать пышные приготовления к свадьбе. И вот, когда назначенный

для обручения день настал, Бельтран скрепя сердце обручился в присутствии короля с девушкой, любившей его больше, чем самое себя. Со всем тем обручиться-то он обручился, а сам заранее обдумал, как ему быть дальше, и под предлогом, что он намерен вернуться в свое графство, дабы там сочетаться браком, испросил на то дозволение короля и, сев на коня, поехал не в свое графство, а в Тоскану. Сведав, что флорентийцы воюют с сиенцами, он порешил принять сторону флорентийцев. Те обрадовались и приняли его с честью, он же изъявил желание возглавить один из их отрядов и, получая изрядное вознаграждение, долгое время состоял у них на службе.

Обрученная, не весьма довольная своею участью, в надежде приманить Бельтрана в графство плодотворною своею деятельностью, выехала в Руссильон, и здесь все встретили ее как законную владелицу. Граф долго не был у себя в имении, а потому все здесь пришло в расстройство и в упадок, и обрученная, будучи женщиной толковой, с крайним тщанием и усердием привела именье в порядок, подданные же были этим много довольны; они относились к ней с великим почтением и очень ее полюбили, а графа, напротив того, невзлюбили за разлад с женой. Приведя дела графства в надлежащее устройство, она через двух дворян уведомила о том графа и попросила известить ее, не из-за нее ли не едет он к себе в графство, — тогда она, мол, в угоду ему удалится. Ответ графа отличался крайней жестокостью: "Пусть поступает как хочет, я же ворочусь к ней не прежде, чем на пальце у нее окажется вот этот перстень, а на руках ребенок, прижитый со мною". Надобно знать, что у Бельтрана был драгоценный перстень, который он никогда не снимал, оттого что, как его уверили, он обладал волшебною силою. Дворяне приняли это жестокое его условие, содержавшее в себе два, в сущности, невыполнимых пункта, и, уверившись, что его не переупрямишь, возвратились к его жене и сообщили ответ. Сначала она сильно приуныла, но затем долго раскидывала умом, нельзя ли как-нибудь исхитриться и все-таки исполнить те

два условия и благодаря этому вернуть мужа. Хорошенько все взвесив, она призвала старейших и лучших людей во всем графстве и обстоятельно, в слезных словах рассказала, как много сделала она из любви к графу и как он ее за это отблагодарил. В заключение же своей речи она объявила, что вовсе не желает, чтобы граф из-за нее находился в вечном изгнании, – напротив того, она намерена во спасение души своей употребить остаток жизни на поклонение святым местам и на благотворительность. Того ради она обратилась к старейшинам с просьбой взять на себя охрану графства, равно как и заботы по управлению таковым, графу же дать знать, что она освобождает его владения от своего присутствия и покидает Руссильон навсегда. Пока она держала речь, добрые люди проливали обильные слезы; как же скоро она умолкла, они приступили к ней с увещаниями – передумать и остаться, но ничего с ней поделать не могли.

Она поручила их воле божией и в одежде странницы, взяв с собой побольше денег и дорогих вещей, в сопровождении двоюродного брата и служанки отправилась в путь-дорогу, а куда именно – про то ни один человек во всем графстве не ведал, направлялась же она во Флоренцию и по пути ни разу нигде не задержалась. Во Флоренции она остановилась в первой попавшейся гостиничке, которую держала некая почтенная вдова, и, сгорая от нетерпения услышать что-либо о своем супруге, под видом бедной странницы стала вести самый добродетельный образ жизни. Нужно же было случиться так, чтобы на другой же день мимо гостиницы во главе отряда проехал верхом Бельтран, и хотя жена сейчас узнала его, однако спросила у почтенной хозяйки, что это за человек.

Хозяйка же ей на это ответила так: “Это дворянин, чужеземец, граф Бельтран, человек любезный, обходительный, в городе все его очень любят. Он без ума от моей соседки, девушки благородного происхождения, но обедневшей. Она девушка честнейших правил, по бедности еще не замужем, а проживает со своею матерью, женщиною рассуди-

тельною и благонравною, так что, если б не мать, может, у девушки с графом что-нибудь бы и вышло".

Графиня хорошенько это запомнила и, обо всем допытавшись, обдумала план действий. Узнав, где живет та женщина с дочерью, в которую был влюблен граф, и как их зовут, она в одежде странницы тайно от всех пошла к ним и, с первого взгляда уверившись, что живут они в крайней бедности, поздоровалась с ними и изъявила желание поговорить наедине с дамой, если, впрочем, та ничего не имеет против.

Почтенная дама встала со своего места и объявила, что готова ее выслушать. Когда же они удалились в смежную комнату и уселись, графиня начала так: "Сдается мне, сударыня, что рок столь же не благоприятствует вам, как и мне, однако же от вас зависит обрадовать и себя и меня".

Женщина ей на это сказала, что самое заветное ее желание – честным путем достигнуть благополучия.

"Но только дайте слово, что вы меня не выдадите, – продолжала графиня. – Ведь если я вам доверюсь, а вы меня подведете, то и вам и мне будет плохо".

"Можете быть спокойны, – сказала почтенная дама. – Говорите все, что хотите, – я вас не подведу".

Тогда графиня, начав с юного своего увлечения, поведала, кто она и что с нею приключилось до сего дня, в таких выражениях, что почтенная дама, придав тем большую веру ее словам, что кое-что об этом она уже слышала, почувствовала к ней сострадание. Графиня же, сообщив ей о своих злоключениях, продолжала: "Итак, теперь вам ведомо, что, помимо прочих моих горестей, мне еще поставлены два условия, которые я должна выполнить, чтобы муж ко мне возвратился, и, кроме вас, никто не властен мне в этом помочь, если только достоверен дошедший до меня слух, что граф, супруг мой, без памяти влюблен в вашу дочь".

На это ей почтенная дама сказала: "Сударыня! Подлинно ль любит граф мою дочь – того я не ведаю, но таиться он не таится. Чем же, однако, могу я вам служить?"

“Сейчас я вам все объясню, сударыня, – отвечала графиня, – однако ж прежде я хочу, чтобы вы знали, какая награда ожидает вас за оказанную мне услугу. Дочь ваша хороша собой, уже невеста, не выходит же она замуж, сколько мне известно и сколько я понимаю, единственно потому, что она – бесприданница. И вот в награду за услугу, которую вы мне окажете, я готова сию же минуту дать ей из моих собственных денег на приданое столько, сколько вы сами почтете необходимым, чтобы выдать ее за человека порядочного”.

Это предложение обрадовало нуждающуюся женщину, но так как душа у нее была благородная, то она почла за нужное обратиться к незнакомке с вопросом: “Скажите же мне, сударыня, что именно я должна для вас сделать, и если это не уронит моей чести, то я к вашим услугам, а вы потом поступите со мной по своему благоусмотрению”.

Графиня же ей на это сказала: “Вот что мне от вас надобно: передайте графу, моему супругу, через кого-либо, кому вы всецело доверяете, что ваша дочь согласна исполнить любое его желание, если только она убедится, что любит он ее не только на словах, но и на деле, поверит же она ему не прежде, чем он пришлет ей перстень, который носит на пальце и который, как слышно, очень ему дорог. Если он пришлет перстень, вы отдадите его мне, тут же пошлете ему сказать, что ваша дочь согласна исполнить его желание, велите тайком пробраться сюда, а затем вместо вашей дочери неприметно подложите к нему в постель меня. Может, бог даст, я забеременею, и когда на пальце у меня будет перстень, а на руках – рожденный от него младенец, он будет мой, и станем мы с ним жить, как муж с женою, и всем этим я буду обязана вам”.

Почтенной даме это показалось предприятием нелегким, – она боялась, как бы от того не пострадала честь ее дочери, – однако ж, рассудив, что помочь доброй женщине вернуть мужа – это дело хорошее и что цель у женщины благородная, и поверив в ее искреннее и милостивое к себе расположение, она обещала графине все устроить,

несколько дней спустя, следуя ее наставлениям, храня тайну и соблюдая осторожность, выманила у графа перстень, как ни тяжело было ему с этою вещью расстаться, а затем, пустившись на хитрость, вместо дочери положила с ним спать графиню. После первых же сближений, которых так жаждал граф, графиня, по воле божией, зачала, и притом сразу двух мальчиков, как то впоследствии показали роды. И не один, а несколько раз почтенная женщина предоставляла возможность графине ласкаться с мужем, облекая это в столь непроницаемую тайну, что никому ничего не приходило в голову, граф же пребывал в полной уверенности, что ночует не с женой, а со своею возлюбленной. Утром, перед уходом, он дарил графине множество прелестных и дорогих вещей, а графиня свято их берегла.

Почувствовав себя не порожнею, она решилась не докучать более почтенной даме просьбами о подобного рода услугах. "Сударыня! – сказала она. – Благодаря богу и благодаря вам я своей цели достигла – теперь пора мне вас вознаградить, после чего я смогу удалиться".

Почтенная дама сказала, что она рада, если мечта графини сбылась, но что она помогала ей не из корысти, а потому что почитает за должное делать людям добро.

Графиня же ей сказала: "Мне отрадно это слышать, сударыня, и я также собираюсь дать вам то, что вы у меня попросите, не в виде награды, а повинуясь потребности сделать доброе дело".

Тут почтенная женщина, от крайней нужды пересилив чувство неловкости, попросила у нее сто лир на приданое дочери. Графиня, поняв, как совестно ей просить, выслушала скромную ее просьбу и дала ей пятьсот лир, а кроме того, так много прелестных и дорогих вещей, что они, пожалуй, стоили не меньше. Почтенная дама пришла в совершенный восторг и осыпала графиню словами благодарности, графиня же возвратилась в гостиницу. Чтобы Бельтран больше и сам не являлся, и не трудился посылать слуг, почтенная дама поспешила выехать вместе с дочерью

в деревню к своим родственникам, Бельтран же, не в долгом времени сведав, что графиня покинула графство, по зову подданных своих возвратился восвояси.

Дознавшись, что граф уехал из Флоренции к себе в графство, графиня осталась этим обстоятельством много довольна, а когда пришло ее время, родила во Флоренции двух сыновей, до чрезвычайности похожих на отца, и велела с великим бережением их воспитывать. Когда же она рассудила, что пора ее приспела, то покинула Флоренцию и, никем не узнанная, прибыла в Монпелье. Здесь она несколько дней отдыхала, разведала, где находится граф, и, узнав, что в день всех святых он затевает в Руссильоне пышное празднество для дам и рыцарей, по-прежнему в одежде странницы отправилась туда.

Узнав, что дамы и рыцари собрались в графском дворце, чтобы сесть за стол, она все в той же одежде, с двумя младенцами на руках поднялась в залу и, протиснувшись к графу, пала пред ним на колени и, рыдая, заговорила: “О мой повелитель! Я, злосчастная твоя супруга, долго странствовала, чтобы ты мог возвратиться и жить у себя дома. Богом тебя заклинаю соблюсти условие, которое ты мне передал через двух дворян, коих я к тебе посылала. На руках у меня даже не один младенец, зачатый от тебя, но целых двое, а вот и твой перстень. Пора тебе исполнить свое обещание и жить со мной как с женою”.

Тут граф пришел в крайнее замешательство, узнал перстень, признал, что это его дети, – так они были похожи на него, однако, со всем тем, задал графине вопрос: “Как же так могло случиться?”

Графиня, к великому изумлению графа и всех присутствовавших, рассказала все как было. Граф, удостоверившись, что она говорит правду, оценив ее постоянство и находчивость, умилившись при виде двух славных ребяток, сверх того почтя своим долгом исполнить обещанное и, снизойдя к мольбам своих подданных, мужчин и женщин, и преодолев упорную свою бесчеловечность, встретить и принять графиню с честью, как подобает встречать закон-

ную жену, – велел графине встать, обнял ее, расцеловал и признал законной супругой, младенцев же – родными своими детьми. К великой радости всех при сем присутствовавших, а равно и других своих подданных, которые о том прослышали, он приказал нарядить графиню прилично ее званию, и праздновал он праздник широко, не один, а несколько дней кряду. И с того самого дня он почитал ее за свою жену и супругу, любил ее и уважал безмерно.

10

*Алибек спасается в пустыне;
монах Рустико научает ее,
как загонять дьявола в ад;
оставив пустыню,
Алибек выходит замуж за Неербала*

Дионео слушал королеву со вниманием; когда же королева досказала до конца и, кроме Дионео, рассказывать было уже некому, он, не дожидаясь приказания, начал так:

– Обворожительные дамы! Вам, уж верно, не приходилось слышать, как загоняют дьявола в ад, – вот почему я намерен, по возможности не отдаляясь от предмета, о коем вы рассуждали весь нынешний день, именно об этом вам рассказать. Это поможет вам, как я полагаю, спасти душу и заодно удостовериться, что хотя Амур предпочитает гостеприимные чертоги и роскошные пала́ты, однако ж, со всем тем, он не прочь испытать свою силу и среди дремучих лесов, грозных скал и безлюдных пещер, – отсюда следствие, что все на свете ему покорствует.

Но к делу. Надобно вам знать, что в городе Капсе, в Берберии, жил-был когда-то страшнейший богач, и у многодетного этого богача была пригожая и благонравная дочка по имени Алибек. Сама она не была христианкой, однако ж ей приходилось слышать от многих проживавших в городе христиан о преимуществах христианской веры и христианского богоугождения, и к одному из них она обратилась

с вопросом, как лучше всего, не встречая на своем пути особых препон, угодить богу. Христианин отвечал, что тот наилучшим образом угождает богу, кто бежит мирской суеты, как, например, пустынники фиваидские. На другое утро эта самая простушка, – а ей и было-то, должно думать, лет четырнадцать, – не по призванию, а из детского каприза, никому ни слова не сказав, тайком, без спутников, отправилась в пустыню Фиваидскую, а так как каприз у нее по дороге не прошел, то спустя несколько дней она кое-как до тех уединенных мест добралась и, заприметив хижину, направилась к ней и увидела на пороге пустынножителя – тот при виде ее пришел в изумление и спросил, чего ей здесь надобно. Девушка ему на это ответила, что она по внушению самого господа бога пришла сюда послужить ему и найти такого человека, который наставил бы ее, как подобает ему служить.

Праведник, обратив внимание на то, что она еще совсем молода и прелестна, и убоявшись, как бы лукавый не попутал его, если он оставит ее у себя, одобрил благое ее намерение и, покормив ее кореньями, финиками, плодами диких яблонь и напоив водою, сказал: “Дочь моя! Тут неподалеку обитает святой жизни человек, он лучше, чем я, сумеет тебя наставить, – пойди-ка ты к нему”. И, сказавши это, он вывел ее на дорогу.

Девушка дошла до того праведника и, выслушав от него то же самое, в конце концов добралась до кельи юного отшельника по имени Рустико, человека в высшей степени богобоязненного и праведного, и обратилась к нему с тем же вопросом, какой она задавала другим. Рустико, дабы подвергнуть свою стойкость великому испытанию, не попросил ее удалиться, как прочие, но, напротив того, оставил в своей келье, а когда спустилась ночь, устроил ей ложе из пальмовых веток и сказал, что она может здесь соснуть.

Не успел он это вымолвить, как твердость его духа была тут же подвергнута искушению. Рассудив, что он чересчур понадеялся на свои силы, он признал себя побежденным и сдался без боя. Выкинув из головы благочестивые помыс-

лы, молитвы и истязание плоти, он вызывал в своем воображении молодость и красоту девушки и размышлял о том, как себя с ней держать и как действовать, чтобы ей не пришло в голову, что он распутник и замыслил овладеть ею. Задав ей несколько вопросов, он удостоверился, что она девственница и не представляется простодушною, а такова и есть на самом деле, и тогда у него созрело решение, как под видом богоугождения овладеть ею. Сначала он долго втолковывал ей, насколько дьявол враждебен богу, а затем объяснил, что нет дела более богоугодного, как загнать дьявола в ад, где ему самим всевышним определено находиться.

Девушка спросила, как же нужно загонять дьявола. Рустико ей на это ответил: “Не в долгом времени ты это узнаешь, а пока делай то же, что буду делать я”. И тут он, сбросив с себя то немногое, что на нем было, разделся догола, а его примеру последовала девушка. Потом стал на колени, словно хотел помолиться, а ей велел стать перед ним.

Итак, он стоял на коленях, и при виде ее прелестей похоть его все сильней распалялась, следствием чего явилось вздымание плоти; Алибек же, в изумлении созерцая таковое явление, спросила: “Что это у тебя торчит, Рустико? У меня такой штуки нет”.

“Ах, дочь моя! – ответствовал Рустико. – Это и есть дьявол, о котором я тебе толковал. И – поверишь ли? – как раз сейчас он причиняет мне нестерпимые муки”.

А девушка ему: “Слава богу, что у меня этого дьявола нет, – потому-то мне и легче”.

“То правда, – согласился Рустико, – зато у тебя есть другая штука, а у меня ее нет”.

“Какая штука?” – спросила Алибек.

Рустико же ей на это ответил: “У тебя ад, и сдается мне, что господь послал тебя ради спасения моей души, ибо если дьявол начнет уж очень досаждать мне, а ты надо мною сжалишься и дашь мне снова загнать его в ад, то мне ты доставишь великую отраду и в то же время как нельзя лучше послужишь и угодишь богу, а ведь ты, сколько я могу уразуметь из твоих слов, для того сюда и пришла”.

Девушка же в простоте души ему сказала: "Отец мой! Коли ад во мне, то загоняйте дьявола, как скоро вам заблагорассудится".

"Будь же ты вовек благословенна, дочь моя! – воскликнул тут Рустико. – Итак, пойдем и загоним дьявола, чтобы он оставил меня в покое".

С этими словами он положил девушку на постель и показал, какое положение следует ей принять, чтобы злой дух был заточен.

Девушке впервые пришлось загонять дьявола в ад, и потому ей было больновато. "Да уж, отец мой, – сказала она, – сквернавец он, этот самый дьявол, подлинно враг господень, не то что кому-нибудь там еще – самому аду больно, когда его туда загоняют".

"Это не всегда так будет, дочь моя", – возразил Рустико.

И чтобы впредь ей было легче, они, прежде чем встать с постели, еще раз шесть загоняли дьявола, сбили с него гордыню, и он до поры до времени охотно смирился.

Впоследствии, однако, дьявол часто бывал обуреваем гордыней, а девушка никогда не отказывалась сбить ее, оттого что эта игра пришлась ей по вкусу. "Видно, правду говорили добрые люди в Капсе, что богоугождение отрадно, – говорила она Рустико. – И точно: ничто не доставляет мне такого удовольствия и наслаждения, как загонять дьявола в ад. По мне, глупее глупого стараться угодить богу как-нибудь иначе". Девушка часто посещала Рустико и всякий раз ему говорила: "Отец мой! Я удалилась в пустыню, дабы угождать богу, а не бездельничать. Пойдем загоним дьявола в ад".

Загнав же его, она иной раз обращалась к Рустико с такими словами: "Не могу взять в толк, почему дьявол бежит из ада. Уж, кажется, ад встречает и принимает его радушно – другой на его месте так бы оттуда и не вышел".

Одним словом, девушка столь часто подбивала Рустико и уговаривала его послужить богу, что от него кожа да кости остались и он мерз на солнцепеке. По сему обстоятельству он стал внушать девушке, что дьявола должно наказывать и загонять в ад, только когда он гордо поднимает голову: "А

мы с тобой, по милости божией, спесь-то с него сбили, он теперь молит бога, чтобы его оставили в покое". Девушка на время притихла.

Видя же, что Рустико больше не просит ее помочь ему загнать дьявола в ад, она однажды сказала: "Рустико! Твой дьявол наказан и больше тебе не докучает, а вот мой ад не дает мне покою. Будь добр, при помощи своего дьявола утихомирь неистовство моего ада, так же как я с помощью моего ада подсобила тебе сбить гордыню с твоего дьявола".

Рустико, питавшийся кореньями и запивавший их водою, чувствовал себя, как промотавшийся игрок; он сказал, что слишком много нужно бесов, чтобы утихомирить ад, но что он, однако ж, постарается сделать все, что в его силах. И точно: время от времени он ее ублажал, но крайне редко, и толку ей от того бывало столько же, сколько льву, если б ему в пасть кинуть боб, так что девушка, полагавшая, что она недостаточно усердно служит богу, в конце концов возроптала.

Пока между дьяволом Рустико и адом Алибек по причине пылкости одной стороны и маломощности другой шли нелады, в Капсе вспыхнул пожар, и во время этого пожара сгорел в собственном доме отец Алибек со всеми своими чадами и домочадцами, так что Алибек являлась теперь единственною наследницею его достояния. И вот некий юноша, именем Неербал, живший не по средствам и спустивший все свои денежки, сведав, что Алибек жива, отправился ее разыскивать и, отыскав, к великой радости Рустико и наперекор ее желанию, доставил в Капсу, прежде чем казна успела присвоить имущество ее отца по причине отсутствия наследников, женился на ней и завладел огромным ее достоянием. Но еще до свадьбы местные жительницы спрашивали ее, как она угождала богу в пустыне; она же им на это отвечала, что загоняла дьявола в ад и что Неербал совершил великий грех — отвлек ее от служения богу.

Женщины полюбопытствовали: "Как же ты загоняла дьявола в ад?" Девушка пояснила им это на словах, а для пущей наглядности сопровождала свою речь телодвижениями. Женщины как покатились со смеху, так до сей поры еще по-

катываются. “Не кручинься, девушка, – сказали они, – здесь тоже отлично это умеют делать. Неербал будет вместе с тобой усердно служить богу”.

Они разнесли это по всему городу, и отсюда ведет свое происхождение поговорка: кто дьявола в ад загоняет, тот богу угождает. И поговорка эта, пришедшая к нам из-за моря, до сих пор имеет хождение в народе. А потому и вы, молодые девушки, благословясь, учитесь загонять дьявола в ад: это и богу угодно, и для обеих сторон усладительно, и от сего много хорошего может проистечь и воспоследовать.

Рассказ Дионео сопровождался беспрестанными взрывами хохота – в такое веселое расположение духа привел он почтенных дам. Как же скоро Дионео умолк, королева, в знак того, что ее правлению пришел конец, сняла с себя лавровый венок и, изящным движением возложив его на Филострато, молвила:

– Посмотрим, кто лучше умеет стеречь: волк – овец или же овцы – волков.

На это ей Филастрато ответил, смеясь:

– Послушались бы меня, так волки научили бы овец загонять дьявола в ад не хуже, чем Рустико научил Алибек. Так что не зовите вы нас волками – ведь и вы не овечки. Как бы то ни было, я стану править вверенным мне царством, насколько у меня хватит разуменья.

А Нейфила ему сказала:

– Послушай, Филострато: тебе не терпится поучать нас, а ведь тебе самому следовало бы прежде поучиться уму-разуму, как учился у монахинь Мазетто из Лампореккьо, и вновь обрести дар речи не прежде, чем ты превратишься в скелет.

Убедившись, что дамы за словом в карман не лезут, Филострато прекратил шутки и принял бразды правления: позвал дворецкого, расспросил, как идут дела, а затем отдал надлежащие мудрые распоряжения, чтобы во время его царствования всей компании жилось хорошо. После этого он обратился к дамам с такою речью:

— Любезные дамы! С тех пор как я научился различать добро и зло, я, себе на горе, по воле Амура вечно в кого-нибудь из вас да влюблялся, но ни смирение, ни покорность, ни стремление исполнять все заповеди Амура — ничто мне не помогало: всякий раз меня предпочитали другому, и дела мои шли раз от разу все хуже и хуже, и, сдается мне, жребий мой теперь уже не улучшится до самой моей кончины. Вот почему мне бы хотелось, чтобы завтра речь у нас шла применительно к моим сердечным обстоятельствам, то есть *О несчастной любви*, ибо, если так будет продолжаться, мою любовь ожидает самый несчастный конец, да ведь и то сказать: человек, который дал мне то имя, которым вы меня называете, знал, что он делает.

С этими словами он встал и всех отпустил до ужина.

Сад был до того красив и приютен, что никому и в голову не могло прийти искать от добра добра. Солнце уже не пекло и не мешало бегать за ланями, кроликами и другими животными, прыгавшими через тех, которые сидели, и, как видно, этими прыжками изрядно им надоедавшими, и общество стало за ними гоняться. Дионео и Фьямметта пели песни про мессера Гвильельмо и про даму дель Верджу, Филомена и Панфило играли в шахматы, время шло незаметно, не успели оглянуться — пора ужинать. Столы были расставлены вокруг дивного фонтана, и ужин прошел необычайно весело.

Чтобы не нарушать заведенного королевами порядка, Филострато, едва убрали со столов, велел Лауретте начать танец и спеть песню. Лауретта же ему на это сказала:

— Государь! Чужих песен я не знаю, а ни одна из моих не может прийтись по душе столь веселому обществу. И все же, если вы ничего не будете иметь против, я спою вам что-нибудь свое.

Король ей на это ответил так:

— Все, что исходит от тебя, не может не быть прекрасным и отрадным, а потому пой, что тебе хочется.

Тогда Лауретта запела нежным голосом несколько заунывную песню, а другие ей подпевали:

Ах, в мире нет несчастной,
Которая б сильней,
Чем я, терзалась от любви напрасной!

Тот, кто расчислил вечный ход планет,
Желанной и прелестной
Благоволил создать меня на свет,
Чтоб, созерцая облик мой телесный,
В нем разум видел след
И отблеск дивной сущности небесной.
Но этот дар чудесный
Не оценен людьми
И только скорбь приносит мне всечасно.

Достойный человек со мной дружил
И так пленился мною,
Что сердце и объятья мне открыл.
В нем юностью своей и красотою
Зажгла я нежный пыл,
И он охотно стал моим слугою.
Была я всей душою
Признательна ему,
Но быстро миновал тот миг прекрасный.

И вот на жизненном пути предстал
Мне юноша кичливый.
Достоинствами, правда, он блистал —
Природа делит их несправедливо, —
Но чувства не питал,
Хоть клясться в нем умел красноречиво.
Так велико ли диво,
Что он меня увлек
И я поверила мечте опасной?

О, как пришлось раскаиваться мне,
Когда я увидала,
Что, обольщаясь страстью к новизне,

Лишилась и того, чем обладала!
Но знать страшней вдвойне,
Что боль, которой я перестрадала, —
Лишь новых бед начало.
Нет, даже смерть — и та
Была б отрадней доли столь ужасной.

Мой первый, верный друг, о коем так
Я ныне сожалею,
Тебя господь, всезрящ и присноблаг,
Призвал к себе. И все ж молить я смею:
Подай мне, бедной, знак,
Что ты меня подругою своею
Зовешь и в эмпирее,
Что у меня судьба
Отнять твою любовь нигде не властна.

На этом Лауретта кончила свою песню, и песня эта, обратив на себя всеобщее внимание, всеми была понята по-разному. Нашлись и такие, которые истолковали ее на миланский лад, — дескать, хорошая свинья лучше красивой девки, — другие же истолковали ее на более возвышенный лад, поняли ее лучше и вернее, но сейчас не время об этом распространяться. Король велел зажечь как можно больше светильников, и потом на цветущей лужайке долго еще раздавалось пение — до тех пор, пока не начали меркнуть звезды. Тут король решил, что пора идти спать, и, пожелав всем спокойной ночи, приказал разойтись по своим покоям.

Кончился третий день
ДЕКАМЕРОНА,
начинается четвертый.
В день правления
ФИЛОСТРАТО
предлагаются вниманию
рассказы о несчастной любви

Милейшие дамы! На основании того, что я слышал от людей рассудительных, а равно и на основании того, чему сам был свидетелем и о чем мне приходилось читать, я пришел к заключению, что буйный, сокрушительный вихрь зависти повергает наземь лишь высокие башни и верхушки дерев, однако ж в конце концов я убедился в ошибочности моего представления. В самом деле, я избегал и всегда неуклонно стремился избегать бурных порывов яростного этого дуновения и потому бесшумно, крадучись, шел полями, а то и глубокими лощинами. В этом легко удостоверится всякий, кто прочтет эти мои повести без заглавия, написанные в прозе, народным флорентийским языком, слогом, по возможности, простым и незатейливым. Со всем тем вихрь тот трепал меня немилосердно, едва не вырвал с корнем, зависть всего меня искусала, так что теперь мне стало вполне понятно изречение мудрецов: в подлунном мире не завидуют только ничтожеству.

Ведь нашлись же, о благоразумные мои дамы, такие читатели, которые утверждали, будто я уж чересчур вами пленен и что, мол, негоже мне стараться забавлять и занимать вас, а другие еще хуже обо мне отзывались за то, что я воздаю вам хвалу. Кое-кто, выражаясь осторожнее, заметил, что в мои лета неприлично увлекаться таким предметом, а именно – рассуждать о женщинах и стараться угодить им. Многие же, радея, видите ли, о моей славе, твердят, что я поступил бы благоразумнее, если б оставался с Музами на

Парнасе, а не забивал вам голову своими побасенками. Находятся и такие, которые, выказывая не столько здравомыслие, сколько высокомерие, утверждают, что лучше бы я позаботился о хлебе насущном, нежели, мороча себе голову всякой чепухой, питался воздухом. Есть, наконец, и такие, которые с целью опорочить мой труд силятся доказать, что все на самом деле обстояло не так, как я о том повествую.

Вот какие бушуют надо мною бури, вот какие кровожадные, острые зубы впиваются в меня и причиняют мне боль за то, что я вам служу, достойные дамы. Бог свидетель: все укоризны я выслушиваю и принимаю спокойно. Защищать меня, в сущности, надлежало бы вам, и все же я решился наконец сам себя защитить. Не почитая за нужное ответить так, как бы следовало, я ограничусь лишь краткою отповедью – только чтобы оградить мой слух, и намерен сделать это, не откладывая. Ведь если уже теперь, когда я еще и до трети моего труда не дошел, у меня оказалось так много противников и они так обнаглели, то, прежде чем я доберусь до конца, они размножатся неисчислимо и, не встречая надлежащего отпора, без труда повергнут меня во прах, а у вас при всем вашем могуществе не достанет сил оказать им сопротивление. Прежде чем, однако ж, кое-кому ответить, я замыслил рассказать в свою защиту не целую повесть, – а то как бы не подумали, будто я мешаю свои собственные повести с теми, что рассказывает у меня столь почтенное общество, которое я вам представил, – но отрывок из повести, дабы самая ее отрывочность указывала на то, что она к ним не относится. Итак, я обращаюсь к моим хулителям.

Давным-давно в нашем городе жил-был некто Филиппо Бальдуччи, человек происхождения незнатного, однако ж состоятельный, благовоспитанный, искушенный в тех именно делах, какими он занимался. Была у него жена, и он ее очень любил, а она любила его, и, живя в мире и согласии, они думали только о том, как бы угодить друг дружке. Случилось, однако ж, так, как рано или поздно случается со

всеми нами: добрая женщина переселилась в мир иной, оставив Филиппо единственного сына, которому было тогда годика два. После кончины своей жены Филиппо, как всякий человек, потерявший то, что он любил, пребывал неутешен. Лишившись подруги жизни, которая была ему дороже всех сокровищ, оставшись один на всем свете, он утвердился в мысли не оставаться долее в миру, а посвятить себя богу, равно как и своего малолетнего сына. Раздав все достояние бедным, он тут же отправился на Ослиную гору, поместился в одной келийке с сыном, и, живя подаянием, проводя все время в посте и в молитве, он пуще всего боялся заговорить с сыном о чем-либо суетном или же обратить его внимание на нечто такое, что могло бы отвлечь его от служения богу; он постоянно беседовал с ним о славе жизни вечной, о боге и о святых его и обучал молитвам. И такую жизнь он заставлял его вести много лет, никуда не выпуская из кельи и ни с кем не дозволяя общаться.

Время от времени этот добрый человек отправлялся во Флоренцию – там люди богобоязненные наделяли его всем необходимым, и он возвращался к себе в келью.

И вот однажды, когда юноше было уже восемнадцать лет, а Филиппо состарился, юноша спросил отца, куда это он собрался. Филиппо ему ответил. А юноша сказал: “Отец мой! Вы уже в преклонных летах, вам не под силу совершать такое путешествие. Почему бы вам когда-нибудь не взять меня с собой во Флоренцию и не познакомить с людьми, которые и бога почитают и вас? Я человек молодой, посильнее вас, и потом, когда нужно, я бы ходил по нашим делам во Флоренцию, а вы сидели бы дома”.

Добрый человек, рассудив, что сын его уже взрослый и такой богомольный, что суета мирская навряд ли соблазнит его, сказал себе: “А ведь он дело говорит!” И когда ему понадобилось побывать во Флоренции, он взял его с собою.

Как же скоро юноша увидел дворцы, дома, храмы и все прочее, чем обилен город и чего он, сколько ни напрягал память, как будто бы не видел, то дался диву и стал приста-

вать к отцу с расспросами, что это такое да как это называется. Отец отвечал, – тогда сын, удовлетворенный ответом, спрашивал его о другом. Итак, сын все еще спрашивал, а отец отвечал, как вдруг впереди показалась целая компания красивых и нарядных женщин, возвращавшихся со свадьбы, и стоило сыну остановить на них взгляд, как он тотчас же обратился к отцу с вопросом: "А это что такое?"

Отец же ему сказал: "Сын мой, опусти очи долу я не гляди, они – поганые".

"А как они называются?" – спросил сын.

Дабы не пробуждать в сыне сладострастных вожделений и не наводить его на грешные мысли, отец порешил не называть женщин их настоящим именем, а потому ответил так: "Это гусыни".

И что за диво! Сын, сроду ни одной женщины не видавший, не задержавший взора ни на дворцах, ни на быке, ни на коне, ни на осле, ни на деньгах, словом, ни на чем, что ему в тот день попалось на глаза, тут вдруг обратился к отцу с просьбой: "Отец мой! Достаньте мне, пожалуйста, одну гусыню".

"Полно, сын мой! – воскликнул отец. – Даже и не думай. Они поганые!"

Тогда юноша его спросил: "Разве поганые бывают такими?"

"Бывают", – отвечал отец.

А сын ему на это: "Никак не возьму в толк, почему вы называете их погаными. По-моему, я никогда еще не видел ничего столь красивого и привлекательного. Они красивее нарисованных ангелов, которых вы мне показывали. Ну, пожалуйста! Если вы меня любите, дозвольте взять с собой одну из этих гусынь – я буду ее кормить".

"Нет, не дозволю, – отвечал отец. – Ты еще не знаешь, чем их и кормить-то!" И тут он понял, что природа человеческая сильнее разума, и раскаялся, что взял сына во Флоренцию.

На этом можно оборвать мою повесть, а теперь мне хочется вновь обратиться к тем, для кого я ее рассказал.

Итак, иные из моих недоброжелателей стоят на том, что я уж чересчур стараюсь прельстить вас, о юные дамы, а что сам я уж чересчур вами прельщен. Но ведь я же этого и не отрицаю: в самом деле я вами прельщен и стараюсь, в свою очередь, прельстить вас. Ну так что же их тут удивляет? Ведь они-то познали негу сладких поцелуев и объятий и ту упоительную близость, какую вы, драгоценнейшие дамы, нередко им разрешаете. Да взять хотя бы в соображение одно то, что они постоянно наблюдают искусство вашего обхождения, обольстительную вашу красоту, обворожительную приятность и, вдобавок ко всему, благородную скромность, — так что же удивительного, что человек, вскормленный, воспитанный, выросший на пустынной горе, в стенах тесной кельи, никого, кроме отца, не видевший, к одной из вас почувствовал влечение, к другой — склонность, к третьей — страсть? Как можно меня костить, честить, гвоздить, если я, чье тело по воле неба создано для любви, а душа, смущенная волшебною силою огненных ваших взоров, нежностью сладких ваших речей, бурнопламенностью участливых ваших вздохов, смолоду тянется к вам, — если я вами прельщен и стараюсь прельстить и вас, коль скоро вы больше, чем что-либо иное, прельстили отшельника, юнца, несмышленыша, дикому зверю подобного? Право, только те, что не любят вас и не желают, чтобы вы их любили, только те, что не испытали и не познали, сколь сильна и сколь отрадна природная склонность, способны меня осуждать, а мне до них нужды мало.

Те же, что над моим возрастом издеваются, как видно, не знают, почему у порея головка уже белая, когда стебель еще зелен. Шутки в сторону. Этим людям я скажу, что мне будет не стыдно до конца дней угождать женщинам, коль скоро в угождении им находили отраду, коль скоро угождать им почитали за честь бывшие уже на склоне лет Гвидо Кавальканти, и Данте Алигьери, и престарелый Чино да Пистойя. Я хочу остаться верен принятому мною способу изложения, а то бы я сослался на историю и доказал, что история полна примеров, свидетельствующих о том, что доблестные

мужи древности, уже достигнув зрелого возраста, всеми силами старались угодить женщинам. Если некоторым сии примеры неизвестны, пусть сядут за книжку.

Что мне не мешало бы побыть с Музами на Парнасе – вот это, по крайнему моему разумению, совет добрый, однако ж ни мы не можем быть всегда с Музами, ни они с нами. И вот если кто-либо принужден с ними расстаться, то ничего предосудительного с его стороны не будет в том, ежели он увлечется теми, что на них похожи. Музы – женщины, и хотя женщинам с Музами не равняться, однако ж наружное сходство между ними есть, так что если бы даже что-либо другое мне в них и не понравилось, то уж это-то сходство не может мне не понравиться. Притом женщины дали мне тему для множества стихов, а вот Музы не дали и для одного. Правда, они оказали мне большую помощь – они учили меня, как писать стихи. Да, может статься, когда я сочинял эти свои непритязательные повестушки, они тоже неоднократно являлись мне – то ли в угоду женщинам, то ли в честь того сходства, какое между ними существует, так что, сочиняя сии рассказы, я не удаляюсь ни от горы Парнас, ни от Муз, как это, вероятно, представляется многим.

Что же сказать о тех, кто ревнует о моей славе и советует мне позаботиться о хлебе насущном? Право, не знаю. Я только догадываюсь, что́ бы они мне ответили, если б я по бедности попросил у них хлеба, – они бы мне сказали: "Пойди поищи его в баснях". Кстати сказать, стихотворцы находили его в своих баснях побольше, нежели многие богачи в своих сокровищницах, – баснями они прославили свой век, между тем как многие, у которых хлеба было невпроед, погибли бесславно. А, да что там говорить! Пусть эти люди прогонят меня, когда я попрошу у них хлеба, хотя, слава богу, пока что я в хлебе нужды не терплю, а если бы и пришла нужда, то, по слову апостола, я умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, а потому уж я сам как-нибудь о себе позабочусь.

Те же, которые утверждают, что все, о чем я рассказываю, на самом деле происходило не так, весьма удружили

бы мне, предоставив в мое распоряжение подлинники, и вот если бы обнаружились противоречия, то я признал бы их упрек справедливым и постарался бы исправиться. Но пока все это одни слова, а когда так, то пусть эти люди остаются при своем мнении, я же буду придерживаться своего и буду говорить о них то самое, что они говорят обо мне.

Ну, на этот раз, пожалуй, довольно. С помощью божьей и с помощью вашей, высокородные дамы, – уж я на вас надеюсь, – запасшись терпением, я пойду вперед, спиной к ветру, – пускай себе дует! Полагаю, что, на худой конец, со мной может произойти то же, что с пылью, которую буйный ветер либо совсем не поднимает с земли, либо, подняв, проносит в вышине, над головами простых смертных, над венцами императоров и королей, и коекогда оставляет на кровлях высоких дворцов и башен, и пусть даже она оттуда и упадет, да ведь не ниже того места, откуда ее поднял вихрь. И если я и прежде всячески старался вам угодить, то теперь готов служить вам больше, чем когда-либо, ибо такие ваши поклонники, каков я, могут сказать одно: что поклоняться вам – это в природе вещей. А чтобы противиться законам природы – на это требуется слишком много сил, вот почему усилия сопротивляющихся не только в большинстве случаев оказываются тщетными, но и причиняют им огромный вред. Признаюсь, у меня таких сил нет, да они мне для этой цели и не нужны, а если бы даже я ими и обладал, то скорей поделился бы с кем-либо, чем воспользовался бы ради такого случая. А потому да смолкнут ругатели, и если они не способны воспламеняться, то пусть мерзнут и, находя отраду в том, чтобы давать волю порочным своим наклонностям, пусть не мешают мне в нашей краткой жизни утешаться по-своему.

Долгонько, однако ж, мы с вами бродили, приятные дамы, – вернемся к исходному пункту и будем следовать однажды установленному порядку.

Уже солнце прогнало с неба все звезды, а с влажной земли прогнало ночную тень, когда Филострато поднялся со своего ложа, тем самым подав знак всему обществу, что пора вставать, и все пошли веселиться в чудесный сад; когда же пришло время обедать, то пообедали на том же самом месте, где вчера вечером ужинали. В то время, когда солнце стояло особенно высоко, все отдыхали, а затем, как всегда, сели у прелестного фонтана, и тут Филострато велел рассказывать Фьямметте, она же, не дожидаясь напоминаний, с великою приятностью начала так.

1

*Танкред, правитель Салернский,
убивает любовника своей дочери
и посылает ей в золотом кубке его сердце;
она поливает сердце отравой,
выпивает отраву и умирает*

– Печальный удел назначил нам ныне король. И то сказать: мы собрались повеселиться, а предстоит нам рассказывать о горестях; когда же идет речь о скорбях, то и рассказчики и слушатели не могут не сочувствовать страждущим. Может статься, король задал нам такую задачу для того, чтобы умерить веселье, которому мы предавались последнее время. Впрочем, что бы им ни руководило, мне не подобает идти наперекор его желанию, и потому я поведаю вам одно прискорбное злоключение, заслуживающее того, чтобы мы над ним поплакали.

Танкред, принц Салернский, был правитель человеколюбивый и добросердечный (если не считать того, что на старости лет он обагрил руки в крови влюбленных), и была у него за всю его жизнь одна-единственная дочь, однако ж он был бы счастливее, если б у него ее не было. Ни один отец так нежно не любил свою дочь, как любил ее Танкред, – вот почему, хотя ей давно пора было замуж, он все не выдавал ее, ибо не мог с нею расстаться. Наконец он все же выдал ее за сына герцога Капуанского, но она пожила с мужем недолго и, рано овдовев, возвратилась к отцу. То была самая

статная и самая красивая женщина в мире, молодая, смелая и не по-женски умная. Она жила у заботливого отца своего в неге и в холе, и он так любил ее, что не спешил выдать замуж вторично, она же почитала неприличным с этим к нему подступиться и надумала завести себе, если к тому представится возможность, тайного и достойного возлюбленного. Присматриваясь к мужчинам высокородным, а равно и к худородным, которые, как при каждом дворе, были и при дворе ее отца, она наблюдала за их обхождением, за их поведением и в конце концов отличила молодого слугу своего отца по имени Гвискардо: то был человек, в низкой доле рожденный, однако ж по достоинствам души своей и по поведению благороднее всякого другого, и вот к нему-то, часто с ним встречаясь и находя все большую приятность в его обхождении, она и воспылала тайною страстью. От юноши, который, к слову сказать, тоже отличался живостью ума, это не укрылось, и он так ею увлекся, что позабыл обо всем на свете.

Словом, они тайно полюбили друг друга, и молодая женщина ни о чем так не мечтала, как о свидании с ним наедине, однако ж, боясь кому бы то ни было поверить любовную свою тайну, пустилась на особую хитрость, чтобы уведомить его, как им свидеться. Она написала ему записку и объяснила, как ему надлежит действовать на другой день. Записку эту она засунула в тростинку и, передав ее Гвискардо, с игривым видом молвила: “Отдай ее вечером служанке – пусть она в нее подует и разожжет огонь”.

Гвискардо тростинку взял и, смекнув, что она дала ему ее и обратилась к нему с такими словами не без умысла, пошел к себе, а дома осмотрел тростинку и, обнаружив в ней углубление, достал оттуда записку, прочел и, уразумев, как ему надлежит действовать, обрадовался чрезвычайно и стал готовиться к свиданию, которое она ему в определенном месте назначила. Поблизости от палат властителя некогда была вырыта в горе пещера, и в эту пещеру через проделанное отверстие проникал слабый свет, а так как пещера была давно заброшена и дорога к ней заросла терновником и

травою, то проникнуть в нее можно было лишь по потайной лестнице, ведшей как раз из той комнаты нижнего этажа, где жила дочь правителя, хотя дверь на лестницу была заперта крепко-накрепко. Все об этой лестнице давно позабыли, никто по ней с незапамятных времен не ходил, и не осталось уже почти никого, кто мог бы припомнить, где она находится. Однако ж Амур, для взоров которого все тайное становится явным, напомнил о ней любящей женщине. Чтобы никого не посвящать в свои замыслы, она сама несколько дней возилась с дверью, пока наконец с помощью различных инструментов ей не удалось отпереть дверь. Отворив же ее и спустившись в пещеру, она обнаружила отверстие и послала сказать Гвискардо, чтобы он попытался проникнуть через него, и указала высоту, на которой отверстие находилось. Гвискардо, нимало не медля, приготовил веревку с узлами и петлями, чтобы удобней было по ней спускаться и подыматься, и на следующую же ночь, надев на себя одежду из кожи, предохраняющую от колючек, и никому ни слова не сказав, направился к пещере, привязал покрепче один конец веревки к стволу могучего дерева, росшего у самого отверстия, спустился по веревке в пещеру и стал поджидать даму. Между тем дама, сделав вид, что ей хочется спать, услала своих девушек, заперлась у себя в комнате, а затем отворила дверь и, спустившись в пещеру, увидела Гвискардо, и тут они оба возликовали и, пройдя к ней в комнату, с превеликим удовольствием провели здесь почти весь день. Затем, с крайним тщанием осмотревшись, дабы никто не проник в тайну его любви, Гвискардо спустился в пещеру, она, заперев за ним, вышла к девушкам, Гвискардо же, дождавшись ночи, поднялся по веревке, выбрался из пещеры через то же самое отверстие и возвратился домой. Узнав дорогу, он потом еще несколько раз ходил на свидание.

Судьба, однако ж, позавидовала их продолжительному и неизъяснимому блаженству и одним прискорбным стечением обстоятельств обратила радость любовников в неутешное горе. Танкред имел обыкновение заходить к доче-

ри, – приходил он к ней один и после краткой беседы удалялся. Как-то раз он пошел к ней после обеда; дочь его – ее звали Гисмонда – была в это время с девушками в саду, так что никто не видел и не слышал, как он вошел в ее комнату; войдя же, он не стал мешать ей развлекаться; окна в комнате были закрыты, полог над кроватью опущен; Танкред сел в углу на скамеечку, прислонился к кровати, задернул полог, словно нарочно от кого-нибудь прячась, и задремал. Пока он спал, Гисмонда, как на грех условившаяся с Гвискардо, что он сегодня придет, оставила девушек в саду, тихонько вошла к себе в комнату, заперлась и, не заметив отца, отворила дверь на лестницу ожидавшему ее Гвискардо; затем они оба, по своему обыкновению, легли на кровать и принялись резвиться и баловаться, и вдруг Танкред пробудился и услышал и увидел воочию, что вытворяют Гвискардо и его дочь. Придя от этого в ужас, он хотел было обрушиться на них с криком, но передумал и порешил не подавать голоса и из тайника своего не выходить, дабы негласно, с возможно меньшим для себя позором, поступить так, как он уже замыслил. Любовники, по обыкновению, долго пробыли в постели, а затем, решив, что пора им расстаться, встали, и Гвискардо спустился в пещеру, а она вышла из комнаты. Танкред, несмотря на преклонные свои годы, выпрыгнул из окна в сад и, никем не замеченный, убитый горем, возвратился к себе.

По его повелению два человека на следующую же ночь, когда добрые люди только еще первый сон видели, схватили Гвискардо, которого движения сковывала кожаная его одежда, когда он вылезал из отверстия, и повели к Танкреду. Как скоро Танкред увидел Гвискардо, то чуть не со слезами молвил: “Гвискардо! Ты отплатил за мое милостивое к тебе расположение срамом и оскорблением всему моему роду, чему я сам был свидетелем”.

На это ему Гвискардо сказал только одно: “Любовь сильнее нас с вами”.

Танкред приказал тайно от всех сторожить его в одной из ближних комнат, что и было исполнено.

На другой день, когда Гисмонда ничего еще не подозревала, Танкред, перебрав в уме множество чрезвычайных мер, после обеда пошел, по обыкновению, к дочери, послал за нею и, запершись, со слезами заговорил: "Гисмонда! Я был так уверен в твоем целомудрии и в твоей честности, что мне в голову никогда не могло прийти, хотя бы я о том от кого-нибудь услышал, но не видел собственными глазами, чтобы ты не только решилась, но даже подумала отдаться кому бы то ни было, кроме мужа, – вот почему те немногие годы, что мне еще сулит прожить моя старость, я при одном воспоминании об этом не устану крушиться. И если уж суждено было тебе так низко пасть, то, по крайности, избрала бы ты себе ровню, но нет: изо всех, кто находится при моем дворе, ты остановилась на Гвискардо – молодчике самого темного происхождения, которого я от молодых его лет и даже до сего дня держал при своем дворе из милости, и тем повергла меня в крайнее душевное смятение, ибо я не знаю, как мне с тобою быть. Участь Гвискардо, которого я велел схватить ночью, когда он выбирался из пещеры, я уже решил, а вот что мне делать с тобой – это одному богу известно. С одной стороны, во мне говорит любовь к тебе, – а ведь я любил тебя так, как еще ни один отец не любил свою дочь, – с другой, во мне говорит правый гнев, вызванный великим твоим безрассудством: любовь требует, чтобы я тебя простил, гнев же требует, чтобы я против тебя вопреки своей природе ожесточился. Прежде, однако ж, чем на что-либо решиться, я желаю знать, что ты обо всем этом думаешь?" С последним словом он уронил голову и заплакал, как побитый ребенок.

Поняв из слов отца, что не только раскрыта тайная их связь, но что Гвискардо схвачен, Гисмонда впала в невообразимое отчаяние и много раз была близка к тому, чтобы, как в подобных случаях обыкновенно поступают женщины, излить душу в воплях и рыданиях, однако ж гордость ее взяла верх над слабостью, она напрягла все усилия, чтобы не перемениться в лице, и в глубине души положила не про-

сить о чем-либо отца, а покончить все счеты с жизнью, ибо она была уверена, что Гвискардо уже нет в живых.

Вот почему не как страждущая или же уличенная женщина заговорила она с отцом, – вид у нее был в эту минуту невозмутимый и решительный, взгляд открытый и нимало не растерянный. “Отец! – сказала она. – Я не намерена ни запираться, ни унижаться, – мне бы это все равно не помогло, да я и не хочу, чтобы это мне помогло. Но я и не собираюсь взывать к твоему великодушию и играть на твоей любви ко мне, – я хочу во всем признаться и привести веские доводы в защиту моей чести, а затем на деле доказать несокрушимую твердость моего духа. То правда: я любила и люблю Гвискардо и буду любить его до самой смерти, – а смерть моя близка, – однако ж повинна в том не столько женская моя слабость, сколько, во-первых, то, что ты не спешил с моим замужеством, а во-вторых, достоинства Гвискардо. Ведь ты же отлично знаешь, отец, что ты сам из плоти и что детище твое, дочь, также из плоти, а не из камня и не из железа, и тебе не мешало бы помнить, хотя ты и стар, какие такие, каковы суть и с какой силой себя проявляют законы юности. И хотя, как подобает мужчине, ты почти все свои лучшие годы посвятил упражнениям воинским, со всем тем тебе должно быть понятно, как действуют праздность и нега на людей престарелых, а тем более на молодых. Итак, коль скоро я рождена от тебя, значит, я из плоти, и я еще так мало жила на свете, что могу считать себя молодой, в силу каковых обстоятельств во мне кипят страсти, и страсти эти стократ усилились во мне после того, как я побывала замужем и познала, как приятно их утолять. Не в силах будучи противиться моей склонности, я, как это бывает с молодыми женщинами, покорилась ей и полюбила. По чести, я старалась сделать все возможное для того, чтобы грех, на который меня толкала сама природа, не покрыл позором ни тебя, ни меня. Сострадательный Амур и благосклонная судьба нашли и указали мне потайной ход, благодаря которому я неприметно достигала своей цели. Указал ли его кто-нибудь тебе, сам ли ты догадал-

ся – как бы то ни было, я этого не отрицаю. Я поступила не так, как другие женщины: мой выбор пал на Гвискардо не случайно, – лишь после глубоких раздумий я отличила его пред другими, я допустила его до себя, все обдумав и взвесив, и с благоразумным постоянством, каковое выказывал и он, долго упивалась своею страстью. Сколько я тебя понимаю, ты горько меня упрекаешь не так за мое падение, как за мой выбор, ибо ты находишься во власти предрассуждений света: ты упираешь на то, что я сошлась с простолюдином, словно мой проступок заслуживал бы с твоей стороны не столь строгого осуждения, если бы я остановила свой выбор на человеке, происшедшем от благородных родителей. Ты не хочешь понять, что то не мой грех, но грех Фортуны, весьма часто возвышающей недостойных, а наидостойнейших обрекающей на низкую долю. Однако ж оставим пока этот предмет. Обрати внимание на устройство вещей – и ты увидишь, что плоть у всех у нас одинакова и что один и тот же творец наделил наши души одними и теми же свойствами, качествами и особенностями. Мы и прежде рождались и ныне рождаемся существами одинаковыми – меж нами впервые внесла различие добродетель, и кто был добродетельнее и кто ревностнее выказывал свою добродетель на деле, те и были названы благородными, прочие же – неблагородными. И хотя впоследствии это установление было вытеснено прямо противоположным, со всем тем оно еще не вовсе искоренено как из природы человеческой, так равно и из общественного благонравия. Вот почему кто совершает добродетельный поступок, тот доказывает, что он человек благородный; если же его называют иначе, то вина за это ложится не на называемого, а на называющего. Окинь взором своих вельмож, понаблюдай, какую ведут они жизнь, присмотрись к нравам их и обычаям, а затем переведи взгляд на Гвискардо, и вот, если ты будешь судить беспристрастно, то его ты назовешь человеком благороднейшим, тех же, кого почитают за благородных, – смердами. Что касается достоинств и совершенств Гвискардо, то тут я верила только твоим словам и моим соб-

ственным глазам. А кто же еще так хвалил его, как не ты, за поступки истинно похвальные, за которые стоит сказать доброе слово о человеке достойном? И, по чести, ты воздавал ему должное: если только глаза мои меня не обманывали, ты ни разу не отозвался о нем с похвалой, которой он бы не заслужил, – более того: он всегда поступал выше всяких похвал. Если же я на его счет обманулась, то ввел меня в обман не кто иной, как ты. Сможешь ли ты теперь сказать, что я сошлась с человеком низкого происхождения? Если и скажешь, то это будет неправда. Если же ты назовешь его бедняком, то с этим согласиться можно, хотя к чести это тебе не служит, – значит, ты не сумел достойно вознаградить честного человека, твоего слугу, однако ж бедность указывает лишь на отсутствие средств, но не на отсутствие благородства. Многие короли, многие владетельные князья были бедняками, многие же из тех, кто пашет землю и пасет скот, были и есть богатеи. Так рассей же последнее сомнение касательно того, как быть со мной. Если ты намерен поступить в глубокой старости так, как ты никогда не поступал в юности, то есть выказать жестокость, то обрушь на меня свою ярость, тем более что я и не собираюсь молить тебя о пощаде: ведь если тут можно говорить о вине, то во всем виновата я. Можешь мне поверить: если ты не поступишь со мною так же точно, как поступил или же велишь поступить с Гвискардо, то я наложу на себя руки. Иди же, поплачь с женщинами, а затем, рассвирепев, убей одним ударом его и меня, если только ты уверен, что мы этого заслужили".

Правителю открылось величие духа его дочери, и все же он был не вполне убежден, что она непременно осуществит свой замысел. В сих мыслях он ушел от нее и отказался от намерения как-либо ей отомстить, – он порешил обрушить весь свой гнев на ее возлюбленного и тем охладить любовный ее пламень; того ради приказал он двум стражам ночью, не производя ни малейшего шума, задушить Гвискардо и, вынув у него из груди сердце, принести ему, и как он им приказал, так они и сделали.

На другой день Танкред велел принести большой красивый золотой кубок и, положив туда сердце Гвискардо, послал с этим кубком к Гисмонде верного своего слугу и велел передать ей: “Отец посылает тебе в утешение то, чем ты больше всего дорожила, подобно как ты берегла то, что было ему дороже всего на свете”.

Между тем Гисмонда, не отказавшаяся от бедственного своего намерения, велела принести ядовитых трав и кореньев и в отсутствие отца, чтобы иметь под рукой отраву на тот случай, если бы произошло то, чего она опасалась, изготовила настой. Когда же к ней явился слуга с подарком и передал слова принца, она, не дрогнув, взяла кубок, заглянула в него и, увидев сердце, поняла, что́ хотел сказать отец, и совершенно уверилась, что это сердце Гвискардо. Глядя слуге прямо в глаза, она сказала: “Такому сердцу золотая подобает гробница – отец мой поступил мудро”. Тут Гисмонда поднесла сердце к устам своим и поцеловала его. “Всегда и во всем, вплоть до этого последнего дня моей жизни, отец проявлял ко мне нежнейшую любовь, – продолжала она, – ныне он превзошел себя в своей нежности, – так передай же ему за бесценный сей дар последнюю мою благодарность”.

Затем она обратилась к кубку, который крепко держала в руках, и, глядя на сердце, снова заговорила: “О сладчайшее святилище утех моих! Да будет проклята жестокость того, кто вынудил меня ныне увидеть тебя телесными очами! Мне довольно было созерцать тебя всечасно очами духовными. *Течение ты совершило,* все, что уготовала тебе судьба, ты исполнило. Ты достигнуло меты, к коей стремится всякий, ты покинуло сию плачевную юдоль, с ее скорбями, а недруг твой подарил тебе гробницу, коей твоя доблесть заслуживала. Для твоего погребения недоставало лишь слез той, которую ты так любил при жизни. Дабы не лишать тебя их, господь внушил бесчеловечному отцу моему мысль послать мне тебя, и я приношу тебе в дар мои слезы, несмотря на то, что решилась умереть без слез и без страха. Подарив же тебе мои слезы, я не задумываясь соединю при

твоей помощи свою душу с той, которую ты, о сердце, столь бережно хранило. С кем еще мне было бы так отрадно и покойно устремиться в неведомые края, как не с твоею душою? Я уверена, что она еще здесь, что она созерцает место своего и моего блаженства и, любя меня, в чем я не сомневаюсь, ждет мою душу, а моя душа любит ее больше всего на свете".

В противоположность тому, как ведут себя в таких случаях женщины, Гисмонда не испустила ни единого вопля, — она молча наклонилась над кубком и, словно в голове у нее находился источник, стала проливать на диво обильные слезы и осыпать поцелуями безжизненное сердце. Девушки, стоявшие вокруг, не знали, чье это сердце, смысл ее слов был им неясен, однако же все они плакали от жалости, движимые состраданием, допытывались у нее, отчего она плачет, и, сколько могли и умели, пытались ее утешить.

Вволю наплакавшись, она подняла голову и, отерев глаза, молвила: "Обожаемое сердце! Свой долг по отношению к тебе я исполнила — теперь мне остается лишь соединить мою душу с твоею". Сказавши это, она велела подать кувшин, в который еще вчера налила отравы, и вылила отраву на омытое ее слезами сердце. Затем смело поднесла кубок ко рту и, выпив все, что в нем было, с кубком в руке возлегла на свое ложе, благоговейно приложила к своему сердцу сердце мертвого любовника и молча стала ждать смерти.

Видевшие и слышавшие все это девушки хоть и не имели понятия, что именно она выпила, послали, однако, сказать Танкреду, он же, испугавшись, что произойдет как раз то, что на самом деле и произошло, поспешил к дочери и вошел в ту самую минуту, когда она легла. Увидев, в каком она положении, и поняв, что утешить ее ласковыми словами теперь уже поздно, он горько заплакал.

Она же ему сказала: "Отец! Прибереги слезы для менее желанного горя, не проливай их надо мною — мне они не нужны. Кто еще, кроме тебя, оплакивал то, к чему он стремился? Но если твоя любовь ко мне еще не вовсе угасла, окажи мне последнюю милость: как ни ненавистна была те-

бе тайная и сокровенная моя связь с Гвискардо, дозволь, чтобы тело мое у всех на виду легло рядом с его мертвым телом, где бы ты ни велел его закопать". Слезы душили правителя, и он ничего не мог сказать ей в ответ. Тогда молодая женщина, почувствовав, что конец ее близок, еще крепче прижала к груди безжизненное сердце. "Да хранит вас господь, а я умираю", – вымолвила она. Очи ее подернулись пеленою, она перестала что-либо чувствовать и покинула горестную сию юдоль.

Итак, теперь вам известен печальный конец любви Гвискардо и Гисмонды, а Танкред много слез пролил и, поздно раскаявшись в своей жестокости, под громкие стенания всех салернцев с почестями похоронил любовников в одной гробнице.

2

Монах Альберт
уверяет одну женщину,
что в нее влюблен архангел Гавриил,
и, приняв его обличье,
несколько раз у нее ночует;
как-то ночью, убоявшись родственников ее,
он выбрасывается из окна ее дома
и находит пристанище у одного бедняка;
на другой день бедняк ведет его,
переодетого дикарем, на площадь,
и тут все узнают его, а монахи хватают
и заключают в темницу

Повесть Фьямметты не раз исторгала слезы из очей подруг. Когда же Фьяммета ее досказала, король с мрачным видом молвил:

– Я бы с радостью отдал жизнь за половину того наслаждения, какое изведали Гвискардо и Гисмонда, и в том нет ничего удивительного: я, правда, живу, но, что ни час, тысячу раз умираю и притом не испытываю самомалейшего наслаждения. Но оставим до времени мои обстоятельства такими, как они есть, – я хочу, чтобы теперь Пампинея рассказала что-нибудь печальное, отчасти напоминающее то положение, в каком нахожусь я. Если она пойдет по следам Фьямметты, то, вне всякого сомнения, повесть ее будет подобна росе, которая охладит мой пламень.

Выслушав это приказание, Пампинея не весьма ясно поняла из слов короля, чего он от нее хочет, зато она чутьем угадала расположение духа ее подруг, а потому, желая не столько угодить королю, – а если и угодить, то лишь исполнением его приказания, – сколько развлечь подружек, надумала, не выходя за рамки заданной темы, рассказать смешную повесть, и начала она так:

– Есть народная поговорка: “Кто праведником слывет, тот всегда очки вотрет”. Поговорка эта открывает предо мною вольный простор для беседы на предложенную тему, а кроме того, дает возможность показать, каково и сколь сильно лицемерие монахов с их широким и долгополым одеянием, с неестественной бледностью их лиц, с их голосами, умильными и вкрадчивыми, когда они клянчат, громоподобными и устрашающими, когда они обличают в других свои собственные пороки и уверяют, будто они спасают свою душу тем, что берут, а все прочие – тем, что дают, будто они, в отличие от всех нас, не обязаны заслужить царство небесное, будто царство небесное – это их вотчина и поместье и они вольны отводить в нем умирающим, в зависимости от того, сколько те завещают на монастыри, более или менее хорошее место, и этим только обманывают себя, если, впрочем, они сами в этом убеждены, а равно и тех, которые верят им на слово. Если б мне было дозволено выложить про них все, я бы в ту ж секунду показала простецам, что́ прячут монахи в складках широченных своих мантий. Дай бог, чтобы за те небылицы, которые они плетут, с ними со всеми случилось то же, что с одним миноритом, человеком уже немолодым, из всех францисканцев пользовавшимся в Венеции наибольшим уважением. Мне страх как хочется рассказать о нем поподробнее, – может статься, я сумею развеселить и развлечь вас, огорченных кончиной Гисмонды.

Итак, достойные дамы, жил-был в Имоле грешник и злодей по имени Берто делла Масса, столь широко известный предосудительными своими поступками, что ему не верили, даже когда он говорил правду. В конце концов, видя,

что ему здесь делать нечего, отчаявшись еще кого-либо обмишулить, он перебрался в Венецию – в это гнездилище всяческой скверны, – с тем чтобы разбойничать здесь по-иному. Притворившись, будто совесть мучает его за все содеянное им в прошлом зло, прикинувшись великим смиренником и необыкновенным молитвенником, он ушел к миноритам и стал братом Альбертом из Имолы. В иноческом чине он делал вид, что ведет жизнь строгую, призывал к покаянию и воздержанию, мяса не ел и вина не пил – в тех случаях, когда ему ни есть, ни пить не хотелось. Никто и оглянуться не успел, как он из разбойника, сводника, фальшивомонетчика и убийцы превратился в знаменитого проповедника, что не мешало ему предаваться перечисленным порокам, но только втайне. Став иеромонахом, он у престола, во время богослужения, так, чтобы все это видели, оплакивал страсти Христовы, благо слезы у него были дешевы. Своими проповедями и слезами он в короткий срок сумел так очаровать венецианцев, что они назначали его своим душеприказчиком, отдавали ему свои духовные на сохранение, деньги – на сбережение, и мужчины, и женщины избирали его своим духовником и советчиком. Так, из волка преобразившись в пастыря, он достигнул того, что о святом Франциске никогда столько не говорили в Ассизи, сколько теперь говорили в Венеции об его святости.

Случилось, однако ж, так, что некая молодая особа, пустенькая и глупенькая, Лизетта из рода Квирино, жена именитого купца, который на нескольких галерах повез товар во Фландрию, пошла вместе с другими женщинами на исповедь к этому честно́му иноку. Опустившись на колени, она стала рассказывать ему о своих грешках – а ведь венецианки, все, сколько их ни есть, ветреницы – брат же Альберт задал ей вопрос, нет ли у нее любовника.

“Где у вас глаза, ваше преподобие? – в сердцах спросила Лизетта. – Или, по-вашему, между моей красотой и красотой вон тех исповедниц никакой разницы нет? Да если б только я захотела, я бы себе целый рой любовников завела, но я до того хороша, что не могу дозволить любить себя

встречному и поперечному. Много ль вы видели таких красавиц, как я? На меня загляделись бы и в раю". Говорила она о своих прелестях до бесконечности, так что тошно было ее слушать.

Брат Альберт живо смекнул, что она с придурью, и, рассудив, что для него это сущий клад, внезапно и без памяти в нее влюбился. Отложив, однако, объяснения в любви до другого раза, он, дабы на первых порах сойти в ее глазах за праведника, начал укорять ее в самохвальстве, стал ее отчитывать, она же ему сказала, что он дурак: не понимает, дескать, что красота красоте рознь. Брат Альберт, боясь, что она еще пуще разгневается, наскоро поисповедал ее и отпустил вместе с другими домой.

Выждав несколько дней, он взял с собой верного своего друга, отправился к Лизетте, прошел с ней в комнату, где их никто не мог видеть, и, отведя ее в укромный уголок, повалился перед ней на колени и сказал: "Дочь моя! Ради бога, простите меня за то, что я вам сказал в воскресенье, когда вы мне говорили о своей красоте. На следующую же ночь меня так лихо отколотили, что я только сегодня в первый раз встал с постели".

"Кто же это вас так отколотил?" – спросила дуреха.

"Сейчас вам все расскажу, – отвечал брат Альберт. – Когда я ночью, по обыкновению, стоял на молитве, внезапно келья моя озарилась ослепительным светом, и едва я поднял глаза, как увидел дивной красоты юношу с толстой палкой в руке, – он схватил меня за сутану и, повергнув ниц, обломал мне бока. Когда же я спросил его, за что, он мне ответил так: "За то, что ты нынче осмелился изрыгать хулу на небесную красоту госпожи Лизетты, которую я, после господа бога, люблю больше всего на свете". Тут я спросил его: "Но кто же вы?" А он мне сказал, что он архангел Гавриил. "О господине! – воскликнул я. – Молю вас: простите меня!" – "Прощаю, – ответствовал он, – с условием, однако ж, чтобы ты как можно скорее увиделся с ней и испросил себе прощение. Буде же она тебя не простит, то я еще раз в твою келью наведаюсь и так тебя отделаю, что ты до самой смер-

ти не забудешь". То же, что он к этому присовокупил, я осмелюсь поведать вам не прежде, чем вы меня простите".

У Лизетты мозги были набекрень, – она верила всем турусам, которые разводил брат Альберт, и таяла от каждого его слова. "Говорила я вам, брат Альберт, что моя красота – красота небесная, – заметила она немного погодя, – а все-таки мне вас жаль, истинный бог, и я вас прощаю, а то как бы с вами еще хуже не обошлись, но только вы должны мне сказать, что́ вам поведал ангел".

Брат Альберт ей на это ответил: "Дочь моя! Раз вы меня простили, я вам с удовольствием все расскажу, но прошу запомнить: что бы вы от меня ни услышали, бойтесь кому бы то ни было проговориться, если только вы, счастливейшая в мире женщина, не хотите испортить все дело. Архангел Гавриил велел мне передать вам, что вы ему очень нравитесь, и его останавливает только одно: как бы не испугать вас, а то бы он уже не раз явился вам ночью. Вот он и велел передать, что намерен как-нибудь прийти к вам ночью и побыть с вами подольше. А так как он ангел и если б он явился вам в образе ангела, то вы не смогли бы к нему прикоснуться, он хочет ради вашего удовольствия предстать перед вами в образе человеческом. Словом, он хочет знать, когда ему лучше к вам прийти и в каком виде, – он все исполнит по слову вашему так что вы можете почитать себя блаженнейшей из женщин, ныне живущих на земле".

Дурында ему на это ответила, что ей очень лестно, что ее любит ангел, и она его, мол, тоже любит и всегда перед его образом ставит большущую свечу. Когда бы, мол, он ни пожелал прийти, он всегда будет желанным гостем и она будет одна в комнате. Только пусть уж он теперь, коли вправду любит, ради девы Марии ее не бросает, а уж она-то, еще и не подозревая о его любви, где бы его ни увидела, всегда, бывало, становилась перед ним на колени. А в каком образе явиться – это, дескать, его дело, только бы ей не было страшно.

Брат Альберт ей на это сказал: "Дочь моя! Вы рассудили умно, и я все берусь устроить. Но вы можете заодно оказать

мне великую милость, вам же это ничего не будет стоить. Вот в чем она заключается: изъявите желание, чтобы он явился вам в моей плоти. Послушайте, какую милость вы мне этим окажете: он вынет душу мою из тела и пошлет ее в рай, а сам войдет в меня, и, пока он будет с вами, душа моя будет в раю".

А дурья голова ему на это: "Я согласна. Пусть это послужит вам утешением за трепку, которую вы из-за меня получили".

Брат Альберт ей на это сказал: "В таком случае проследите за тем, чтобы дверь вашего дома на ночь осталась отворенной: раз он явится в человеческом образе, то иначе, чем через дверь, ему не проникнуть".

Лизетта ответила согласием. Брат Альберт удалился, а она света не взвидела от радости и не чаяла, как дождаться той минуты, когда появится ангел. Брат Альберт, рассудив, что ночью ему придется быть не ангелом, но всадником, стал подкрепляться сластями и прочими вкусными вещами, дабы не слететь с коня. Получив дозволение выйти из монастыря, он, едва стемнело, пошел со своим другом к одной приятельнице, откуда он уже не раз отправлялся объезжать кобыл, а когда пришло время, переоделся – и скорей к Лизетте; войдя к ней, он при помощи разных финтифлюшек придал себе обличье ангела и, поднявшись наверх, вошел к Лизетте в комнату.

Лизетта, увидев перед собой нечто белоснежное, опустилась на колени, ангел же благословил ее, помог встать с колен и подал знак лечь в постель, каковое повеление она с великой охотой в ту же минуту исполнила, после чего ангел не замедлил присоседиться к той, которая так его всегда чтила. Брат Альберт был мужчина из себя видный, дюжий, крепыш и здоровяк, а потому, очутившись на одной постели с донной Лизеттой, свежей и сдобной, он принялся откалывать такие штуки – куда там ее муж! – и в течение ночи много раз летал без помощи крыльев, от чего она пришла в совершенный восторг, а в промежутках многое успел рассказать ей о славе небесной. Когда же стало светать, он условился с ней касательно следующего раза, взял

свои доспехи и зашел за товарищем, которому, чтоб ему не страшно было спать одному, любезно согласилась составить компанию радушная служанка.

После обеда Лизетта со своими подружками пошла к брату Альберту, рассказала об ангеле, а равно и о том, что слышала от него о славе жизни вечной, о том, каков он на вид, и невесть сколько еще приврала.

Брат Альберт ей на это сказал: "Не знаю, дочь моя, хорошо ли вам было с ним, – я знаю одно: нынче ночью он меня посетил, и стоило мне исполнить ваше поручение, как в тот же миг он поместил мою душу среди такого количества цветов и роз, какого здесь, на земле, никто и не видывал, и пробыл я в упоительных этих местах до самой утрени, а что происходило в это время с моим телом, про то я не ведаю".

"А разве я вам не сказала? – молвила Лизетта. – Ваше тело всю ночь пребывало в моих объятиях вместе с архангелом Гавриилом. Коли не верите, поглядите у себя под левым соском – я так его туда поцеловала, что след будет виден несколько дней".

На это ей брат Альберт сказал: "Сделаю-ка я нынче то, чего давно-давно не делал: разденусь и проверю".

Долго еще болтала Лизетта с братом Альбертом, а брат Альберт после этого еще много раз в ангельском виде беспрепятственно ее навещал.

Случилось, однако ж, Лизетте как-то раз заспорить со своей соседкой о красоте и, чтобы доказать, что краше ее на всем свете нет, она сдуру сболтнула: "Если б вы знали, кому я нравлюсь, вы бы меня с другими не сравнивали".

Соседка отлично знала, с кем имеет дело, а потому, снедаемая любопытством, сказала ей так: "Может статься, вы и правду говорите, но если не знать, кто же он таков, трудно переменить мнение".

Лизетту ничего не стоило поддеть на удочку, а потому она тут же все ей и выболтала: "Об этом неудобно говорить, соседка, но мой поклонник – архангел Гавриил, и любит он меня больше, чем самого себя, как самую красивую, по его словам, женщину во всем мире и даже во всем нашем околотке".

Соседка чуть-чуть не прыснула, но, чтобы не прервать разговор, сдержалась. “Если сам архангел Гавриил признался вам в любви, сударыня, значит, так оно, наверно, и есть, — сказала она, — но, клянусь богом, я и в мыслях-то никогда не держала, чтобы ангелы занимались такими делами”.

“Вы ошибаетесь, соседка, — возразила Лизетта. — Вот как бог свят, он действует лучше моего мужа. Он мне сказал, что и на небе этим занимается, а в меня влюбился потому, что я для него милее всех, и он часто ко мне приходит. Ну? Что вы на это скажете?”

Соседка не чаяла, как дождаться той минуты, когда все это можно будет раззвонить. Попав на праздник в большое женское общество, она пересказала эту историю во всех подробностях. Женщины рассказали ее своим мужьям и другим женщинам, а те — своим приятельницам; словом, через два дня об этом уже говорила вся Венеция. В числе тех, до кого это дошло, были Лизеттины деверья, и они, ни слова ей не сказав, порешили подстеречь этого самого ангела и посмотреть, умеет ли он летать. Несколько ночей кряду они его караулили.

Слух о том достигнул ушей брата Альберта, и как-то раз ночью он отправился к своей даме пожурить ее за болтливость, но стоило ему раздеться, и деверья, видевшие, как он к ней входил, в ту же минуту оказались у дверей в ее комнату. Услыхав шорох и догадавшись, что это означает, брат Альберт вскочил, заметался в поисках выхода, растворил окно, выходившее на Большой канал, и прыгнул в воду. Здесь было глубоко, но плавать он умел, так что все обошлось для него благополучно. Переплыв на тот берег, он вбежал в незапертый дом и взмолился к одному доброму человеку, которого он там увидел, чтобы тот спас его ради Христа, причем наврал ему с три короба касательно того, как он в столь поздний час, к тому же совершенно голый, здесь очутился. Добрый человек пожалел его, уложил в свою постель, — сам он должен был отлучиться по своим надобностям, — сказал, чтобы тот подождал его, запер пришельца и пошел по своим делам.

А деверья, войдя к Лизетте в комнату, обнаружили, что архангел Гавриил крылья оставил, а сам улетел. Обозлившись на то, что их одурачили, они на чем свет стоит обругали Лизетту, довели ее до слез и, захватив с собой все ангельские доспехи, пошли домой. Между тем уже ободняло, и добрый хозяин услышал на Риальто толки о том, что к Лизетте приходил ночевать архангел Гавриил, но деверья его подкараулили, и он со страху бросился в канал, а что с ним сталось потом – никто, дескать, не знает, и толки эти навели доброго хозяина на мысль, что это и есть его постоялец. Воротившись домой, он окончательно в том уверился и после долгих пререканий потребовал, чтобы тот дал ему полсотни дукатов, а иначе, мол, он выдаст его Лизеттиным деверьям, брату же Альберту ничего иного не оставалось, как согласиться.

Когда же брат Альберт изъявил желание удалиться, добрый человек ему сказал: "Вы можете отсюда выйти только вот каким образом: нынче у нас праздник, и ради праздника кто водит человека, наряженного медведем, кто – наряженного дикарем, кто – наряженного эдак, кто – наряженного разэдак, затем на площади Святого Марка устраивается охота, а как скоро охота кончится, тут и празднику конец, и тогда все, вместе с теми, кого они привели, могут идти куда угодно. Так вот, если вы ничего не имеете против, чтобы, пока еще никто не пронюхал, что вы здесь, я повел вас в какой-нибудь личине, то потом я смогу вас доставить в любое место, а иначе вам отсюда не ускользнуть – деверья прознали, что вы где-то здесь скрываетесь, и всюду расставили караулы".

Брату Альберту отнюдь не улыбалось ходить по городу ряженым, однако ж из страха перед Лизеттиными родственниками он себя переломил и сказал: ведите, дескать, меня куда угодно и как угодно – он, мол, на все согласен. Тогда добрый человек вымазал его медом, обсыпал пухом, надел на него цепь, напялил маску, в одну руку сунул здоровенную палку, в другую – свору, на которую были привязаны два большущих пса, которых он привел с бойни, а сам

послал на Риальто человека оповестить народ: кто, мол, хочет посмотреть на архангела Гавриила, пусть идет на площадь Святого Марка, – вот она, "верность" венецианца! Немного погодя он вывел брата Альберта, велел идти вперед, на площадь, а сам, держа его за цепь, пошел сзади, и дорогой многие с криком: "Это еще что такое? Это еще что такое?" – увязались за ними, многие же из тех, что были на Риальто, как услышали приглашение, тоже кинулись на площадь, так что народу там собралось видимо-невидимо. Придя на площадь, добрый человек, будто бы в ожидании охоты, привязал своего дикаря к столбу на видном и высоком месте, а так как дикарь был вымазан медом, то мухи и слепни немилосердно его кусали.

Удостоверившись, что на площади народу тьма, добрый человек сделал вид, будто хочет спустить дикаря с цепи, но вместо этого сорвал с него маску и сказал: "Господа! Так как кабан не пришел, а без кабана и охоты нет, то, чтобы вы не даром потратили время, я хочу показать вам архангела Гавриила, который по ночам сходит с небес утешать венецианок". Как скоро маска спала, все, тот же час узнав брата Альберта, загалдели и ну осыпать его самыми что ни на есть оскорбительными словами и такою отборной бранью, какою когда-либо осыпали негодяя, и давай швырять в него всякой дрянью! И так продолжалось очень долго, пока, наконец, к счастью, слух о том не долетел до монастыря, – тогда человек шесть монахов пришли на площадь, набросили на брата Альберта сутану, отвязали его и, провожаемые улюлюканьем толпы, отвели в монастырь, где, как слышно, протомившись в заключении, он и скончался.

Так этот человек, которого все почитали за праведника, ни на что дурное не способного, осмелился выдать себя за архангела Гавриила, но в конце концов, из ангела став дикарем, был по заслугам выставлен на позор, а затем вотще оплакивал свои прегрешения. Дай бог, чтобы такой же точно конец ожидал и всех ему подобных.

3

Трое молодых людей любят трех сестер
и бегут с ними на остров Крит;
старшая из ревности умерщвляет своего любовника;
средняя отдается герцогу Критскому
и благодаря этому
избавляет старшую от смертной казни,
но ее убивает любовник и бежит со старшей сестрой;
в ее убийстве обвиняют младшую сестру
и ее любовника; будучи схвачены,
они принимают на себя вину, но потом,
убоявшись казни, подкупают стражу
и, обедневшие бегут в Родос,
где и умирают в нищете

Выслушав повесть Пампинеи, Филострато призадумался, а затем обратился к ней:

– Конец вашей повести мне скорее понравился, но в самой повести слишком много смешного, а я как раз этого-то и не хотел. – Тут он обратился к Лауретте: – Пожалуйста, сударыня, расскажите что-нибудь получше.

Лауретта же ему со смехом сказала:

– Уж очень вы жестоки к любящим, коль скоро всем им желаете печальной развязки. Все же я вас послушаюсь и расскажу о троих, не успевших насладиться своею любовью и одинаково дурно кончивших.

И начала она так:

— Юные дамы! Вам хорошо известно, что всякий порок может причинить величайший вред не только тем, кто ему предается, но весьма часто и тем, кто их окружает. К числу наиболее пагубных пороков я отношу гнев, гнев же есть не что иное, как внезапное и безрассудное движение чувства, вызываемое скорбью, заглушающее голос разума, помрачающее мысленный взор наш и раздувающее в нашей душе неугасимое пламя ярости. Чаще это проявляется у мужчин, у кого — сильнее, у кого — слабее, однако ж наблюдается и у женщин, и притом с еще более тяжелыми последствиями, оттого что у женщин пламень сей быстрее вспыхивает, ярче горит, и затушить его во много раз труднее. И это не должно нас удивлять, — вспомним, что огонь по самой своей природе быстрее охватывает вещества легкие и мягкие, нежели твердые и плотные, а ведь мы и в самом деле — пусть только мужчины не ставят нам этого в упрек — и более хрупки, и гораздо более впечатлительны. И вот, зная это наше предрасположение, памятуя о том, что уступчивость наша и добродушие служат источником отдохновения и наслаждения для близких нам мужчин, меж тем как наши гнев и ярость представляют собой для них великое бедствие и грозную опасность, я хочу, дабы в будущем мы сильнее с собой боролись, рассказать о том, как любовь трех юношей и трех девушек только оттого, что одна из них разгневалась, из счастливой превратилась в несчастнейшую.

Сколько вам известно, Марсель находится в Провансе, у самого моря, но только в этом древнем и славном городе прежде было больше богатых людей и именитых купцов, нежели нынче. К таковым принадлежал мессер Арнальд Чивада, человек низкого звания, однако ж добросовестный и честный торговец, у которого и поместий и казны было не счесть, и были у него и дочери, и сыновья, причем все три дочери старше сыновей. Двум старшим дочкам-близнецам исполнилось пятнадцать лет, а младшей — четырнадцать, и родственники ждали только, когда вернется мессер Арнальд, который повез товар в Испанию, с тем чтобы по его возвращении выдать их замуж. Двояшек зва-

ли Нинеттой и Маддаленой, младшую – Бертеллой. В Нинетту был безумно влюблен благородный, но бедный юноша по имени Рестаньоне, а она – в него. И они довольно долго ухитрялись любиться тайком, но тут случилось так, что два юных друга, Фолько и Угетто, получив по смерти родителей своих богатое наследство, влюбились в сестер Нинетты: Фолько – в Маддалену, Угетто – в Бертеллу.

Нинетта довела об этом до сведения Рестаньоне; положив воспользоваться их сердечною склонностью, чтобы поправить свои дела, Рестаньоне с ними подружился, и теперь они уже все трое ходили на свидание к трем сестрам. Как же скоро он удостоверился, что находится с Фолько и Угетто на самой дружеской и короткой ноге, то повел с ними такую речь: "Юные мои друзья! Общаясь со мной, вы, должно думать, убедились, сколь вы мне дороги и что для вас я готов на все – так же точно, как для самого себя. Именно потому, что я душевно люблю вас, я и намерен поделиться с вами тем, что мне вспало на ум, а после мы с вами вместе рассудим, как нам лучше всего поступить. Если верить вашим словам и если судить по вашим поступкам, вы день и ночь пылаете бурною страстью к двум любимым девушкам, я же – к третьей их сестре. И вот я, если только вы ничего не будете иметь против, сыскал для утоления нашего пыла средство отрадное и усладительное; сейчас я вам скажу – какое именно. Вы богачи, а я бедняк. Если б вы согласились объединить ваши состояния, а меня сделали совладельцем и решили, в какую часть света нам переехать, чтобы там вместе с нашими возлюбленными вести привольную жизнь, то я ручаюсь уговорить всех трех сестер захватить львиную долю отцовского достояния и бежать с нами, куда мы заблагорассудим, и там мы, как три родных брата, каждый со своею возлюбленною, будем утопать в блаженстве. А теперь решайте: хотите вы наслаждаться жизнью или предпочтете отвергнуть мое предложение".

Оба молодых человека, ослепленные страстью, представили себе, что девушки будут принадлежать им, и, не долго думая, объявили, что коли так, то они согласны. Заручив-

шись их согласием, Рестаньоне несколько дней спустя пошел к Нинетте, к которой он всякий раз пробирался с опаской. Некоторое время с нею побыв, он передал ей свой разговор с молодыми людьми и привел много доводов в пользу задуманного предприятия. Склонить ее на побег для него не составляло труда – ей еще больше, чем ему, хотелось пожить с ним на свободе, вот почему она не колеблясь объявила, что это ей по душе, что сестры во всем ее послушаются, а уж в сем случае и подавно, и велела Рестаньоне как можно скорее устроить побег. Придя к двум молодым людям, которые тоже его торопили, он сказал, что с их возлюбленными все улажено. Порешив бежать на остров Крит, молодые люди продали свои имения под тем предлогом, что намерены пустить деньги в оборот, распродали все свои вещи, приобрели быстроходное судно, постарались тайком от всего города как можно лучше оснастить его и стали ждать установленного срока. Между тем Нинетта, от которой сестры не скрывали сердечного своего волнения, сладкими речами так их подогрела, что они не чаяли, как дождаться отплытия.

И вот, когда настала долгожданная ночь, три сестры открыли большой отцовский сундук, достали уйму денег и дорогих вещей, крадучись вышли из дому, встретились в условленном месте со своими поклонниками, не теряя драгоценного времени сели на корабль, гребцы взялись за весла, корабль отошел и, нигде по дороге не останавливаясь, на другой же вечер доставил их в Геную, – здесь новоявленные любовники и вкусили впервые радость и блаженство любви. Пополнив в Генуе запасы, они двинулись дальше, от гавани к гавани, через недельку благополучно прибыли на остров Крит, приобрели здесь обширные и живописные поместья, а неподалеку от Кандии построили себе чудные, роскошные замки. Постепенно завели они многочисленную прислугу, собак, птиц, коней, стали проводить время в пирах, забавах и увеселениях, зажили со своими возлюбленными, как бароны, и не было на всем свете людей счастливее их.

Случилось, однако ж, именно так, как на наших глазах случается ежедневно: человек тешится чем-либо, пока не пресытится, а потом это ему приедается; так же точно и Рестаньоне страстно любил Нинетту, но с тех пор как он мог беспрепятственно ею наслаждаться, она ему наскучила, и он разлюбил ее. Во время какого-то увеселения ему сильно приглянулась одна девушка, местная уроженка, красивая, из хорошей семьи, и он начал за нею ухаживать, оказывать ей всевозможные знаки внимания и предпочтения. Заметив это, Нинетта приревновала его, установила за ним слежку, осыпала его упреками, выходила из себя и этим только его донимала и себе растравляла душу. Если избыток чего-либо вызывает отвращение, то запрет, на что-либо налагаемый, как раз наоборот – усиливает влечение к нему, – вот отчего вспышки Нинетты усиливали в душе Рестаньоне восторг его новой страсти. Какой бы оборот впоследствии дело ни приняло, добился бы Рестаньоне взаимности от любимой девушки, а быть может, и не добился бы, Нинетта, кто бы и что бы ей ни говорил, заранее уверила себя в том, что Рестаньоне пользуется взаимностью. Это повергло ее в отчаяние, из отчаяния вырос гнев, гнев неизбежно перешел в ярость, а ярость превратила ее любовь к Рестаньоне в жгучую ненависть, и она, ослепленная злобой, решилась умертвить его и тем отомстить за то, что он, как ей казалось, ее опозорил. Послав за старухой гречанкой, изрядной искусницей по части изготовления ядов, она с помощью посулов и подарков уговорила ее изготовить смертельный яд, а затем однажды вечером, никого не посвятив в свою тайну, дала его выпить Рестаньоне, который совсем потерял голову и никаких предосторожностей не принимал. Яд был столь сильно действующий, что Рестаньоне ночью скончался. Фолько, Угетто, Маддалене и Бертелле в голову не могло прийти, что Рестаньоне умер от яда; вместе с Нинеттой они горько оплакивали его и с почестями похоронили. Однако ж несколько дней спустя за какое-то новое злодеяние была схвачена та самая старуха, что по просьбе Нинетты изготовила яд, и под пыткой в

числе прочих своих преступлений созналась и в этом, не утаив и его последствий. Тогда герцог Критский, нарочно не предав этого дела огласке, однажды ночью бесшумно окружил замок Фолько и, не вызвав в замке переполоха и не встретив сопротивления, схватил и увел Нинетту, от которой тот же час, не применяя пытки, все узнал об обстоятельствах кончины Рестаньоне.

Герцог по секрету сообщил Фолько и Угетто, за что была схвачена Нинетта, а Фолько и Угетто рассказали об этом Маддалене и Бертелле, и все четверо закручинились. Они употребили все усилия, чтобы спасти Нинетту от костра, который, по крайнему их разумению, ее ожидал, как вполне заслуженная ею кара, однако ж в благоприятный исход не верили, оттого что герцог был непреклонен. В конце концов юная красавица Маддалена, за которой долго и безуспешно ухаживал герцог, решила, что, угодив ему, она избавит сестру от костра, и через тайную посланницу дала ему знать, что согласна разделить с ним ложе, но ставит ему два условия: во-первых, сестра должна быть ей возвращена живой и здоровой, а во-вторых, чтобы все это осталось в тайне. Герцог, с удовлетворением выслушав посланницу, долго раздумывал, как ему быть, однако ж в конце концов решился и дал согласие. Однажды ночью он с ведома Маддалены распорядился отвести Фолько и Угетто на допрос по делу Нинетты, а сам в это время пробрался к Маддалене. Перед этим он распустил слух, будто велел посадить Нинетту в мешок и ночью утопить в море, на самом же деле привел к сестре в награду за ее благосклонность, а утром, перед уходом, сказал Маддалене, что он хочет, чтобы эта первая ночь их любви была не последней. К этому он прибавил, чтобы она куда-нибудь отправила преступницу, а иначе, мол, народ возропщет и ему волей-неволей придется судить ее по всей строгости закона.

Наутро Фолько и Угетто, до которых дошел слух, будто ночью Нинетту утопили в море, и которые этому слуху поверили, были освобождены. Когда же они возвратились домой и стали утешать сестер, Фолько скоро догадался, что

Нинетта здесь, в замке, хотя Маддалена всячески старалась это скрыть, каковое обстоятельство крайне удивило Фолько, и он сей же час заподозрил Маддалену, ибо ему было известно, что герцог ее любит, и спросил, как это Нинетта вдруг оказалась дома. Маддалена сочинила целую историю, однако ж Фолько, будучи человеком себе на уме, не очень-то ей поверил и пристал к ней с расспросами, и после долгих запирательств она вынуждена была во всем повиниться. Обезумев от горя и придя в ярость, Фолько выхватил шпагу и, сколько Маддалена ни молила его о пощаде, пронзил ее. Затем, убоявшись герцогского гнева и герцогского суда, он оставил ее тело лежать на полу, а сам пошел к Нинетте и, как ни в чем не бывало, сказал: "Едем немедля, – твоя сестра велела мне сопровождать тебя, – а то как бы герцог опять тебя не схватил". Нинетта поверила и, даже не зайдя проститься с сестрою – так она была напугана и так не терпелось ей тронуться в путь, ночью вместе с Фолько, захватившим с собою немного денег, бежала из замка; добежав до взморья, они сели в лодку, и никто так и не узнал, где эта лодка причалила.

На другой день Маддалена была найдена убитой, и те, кто завидовал Угетто и ненавидел его, не преминули донести о том герцогу, герцог же, без памяти любивший Маддалену, бросился в ее замок, сгоряча велел схватить Угетто и Бертеллу, которые еще ничего не знали о бегстве Фолько и Нинетты, и заставил их признаться, что они вместе с Фолько убили Маддалену. Не без основания опасаясь, что это признание обрекает их на смертную казнь, Угетто и Бертелла, соблюдая величайшую осторожность, подкупили стражу, отдав им те деньги, которые были у них на всякий случай спрятаны в замке, и, не имея времени захватить что-либо из вещей, ночью вместе с тюремщиками сели в лодку и отбыли в Родос, где немного спустя в нужде и в бедности окончили дни свои. Так вот к чему безрассудная любовь Рестаньоне и гнев Нинетты привели их самих, а также их близких.

4

Джербино в нарушение слов чести,
которые дал его дед, король Вильгельм,
нападает на корабль тунисского короля
с целью похитить его дочь;
моряки убивают ее,
Джербино убивает их,
а ему впоследствии отсекают голову

Когда, окончив свою повесть, Лауретта умолкла, иные из слушателей, заговорив друг с другом, стали выражать сочувствие злосчастным любовникам, а кто осуждал Нинетту за ее гневливость, один утверждал одно, другой – другое; наконец король, как бы выйдя из глубокой задумчивости, вскинул голову и подал знак Элиссе начинать рассказ, и Элисса со свойственной ей скромностью заговорила:

– Очаровательные дамы! Многие полагают, что Амур мечет стрелы лишь в тех, чей взор кем-либо пленился, и смеются, когда их уверяют, что в иных случаях влюбляются и понаслышке. Что они заблуждаются – это будет явствовать из повести, которую я собираюсь рассказать и из которой вам станет ясно, что молва так именно подействовала на людей, друг друга прежде никогда не видавших, и явилась причиной ужасной их смерти.

У Вильгельма Второго, короля сицилийского, было, как сказывают сицилийцы, двое детей: сын Руджери и дочь Костанца. После смерти Руджери, скончавшегося раньше сво-

его отца, остался сын Джербино, и дед дал ему отличное воспитание; то был на редкость красивый юноша, славившийся своею храбростью, а равно и учтивостью. И слава о нем облетела не только всю Сицилию – голос ее слышался в разных частях света, особливо в Берберии, которая в те времена являлась данницею короля сицилийского. В числе тех, чей слух был поражен доброй молвой о достоинствах и обходительности Джербино, оказалась дочь короля туниcского, о которой те, кто видел ее, говорили в один голос, что это совершеннейшее творение природы, украшенное всеми добродетелями и необыкновенным душевным благородством. Она любила, чтобы ей рассказывали о мужах доблестных; особенно было ей отрадно внимать повестям о подвигах Джербино; повести эти так ее захватывали, что она, создав его образ в своем представлении, кончила тем, что безумно в него влюбилась и охотнее всего сама говорила о нем и слушала, когда говорили другие. Между тем и в Сицилию, как и всюду, проникла громчайшая слава о красоте королевны, о душевных ее качествах, и Джербино внимал рассказам о ней с сердечным волнением и, как оказалось, не зря: он воспылал к ней не менее сильной любовью, чем она к нему. Однако ж он все никак не мог найти благовидный предлог для того, чтобы испросить у деда дозволения съездить в Тунис, повидаться же с нею ему страх как хотелось, и он наказывал всем своим друзьям, которые туда отправлялись, каким-нибудь образом уведомить ее об его тайной и великой любви и доставить ему вести о ней. Один из них все это весьма ловко обделал: принес ей показать, как это водится у купцов, женские украшения и поведал ей о любви Джербино, прибавив, что она вольна распорядиться самим Джербино и всем, что ему принадлежит, как ей заблагорассудится. Она с восторгом приняла и выслушала посланца, призналась, что питает к Джербино не менее пылкое чувство, и в знак своей любви послала ему одно из самых дорогих своих украшений. Джербино обрадовался ему как некоей святыне и потом с этим же своим другом не раз посылал ей письма и дорогие подарки и че-

рез друга вступил с нею в тайные переговоры касательно того, как бы это им, если будет на то милость судьбы, свидеться и сблизиться.

Дело, таким образом, затянулось, а между тем и девушка и Джербино пылали страстью, и вдруг король тунисский помолвил свою дочь за короля гранадского и тем повергнул ее в отчаяние; ей несносна была одна мысль, что она так далеко будет от своего возлюбленного и, может статься, никогда не увидит его. Если б только ей к тому представился случай, она, лишь бы не выходить замуж, с радостью убежала бы от отца к Джербино. А Джербино, сведав об этой помолвке, также совершенно пал духом и все старался измыслить способ отбить ее, ее повезут к жениху морем. Король тунисский кое-что слышал о взаимной нежности его дочери и Джербино, о том, что́ Джербино затевает, и, зная, что Джербино – человек отчаянный и силач необыкновенный, прежде чем отправить ее к жениху, дал знать королю Вильгельму, что он задумал и что непременно приведет в исполнение, если только король Вильгельм поручится, что ни Джербино, ни кто-либо еще ему в том не воспрепятствуют. Король Вильгельм был тогда уже очень стар; он ничего не слыхал о любви Джербино и был весьма далек от мысли, что из-за нее-то и потребовалось от него таковое ручательство, а потому охотно на это пошел и в знак того, что он ручается, послал королю тунисскому свою перчатку. Получив перчатку, король тунисский повелел снарядить к отплытию в гавани Карфагена прекрасный большой корабль, снабдить его всем, что может пригодиться путешественнице, оснастить и украсить его, и теперь он дожидался лишь благоприятной погоды, чтобы отправить свою дочь в Гранаду. Девушка, за всеми этими приготовлениями следившая и наблюдавшая, тайно послала слугу своего в Палермо, велела кланяться удальцу Джербино и передать ему, что спустя несколько дней ее повезут в Гранаду, и вот теперь-то, мол, будет видно, так ли он отважен, как о нем толкуют, и точно ли он ее любит, как он ей клялся. Нарочный отлично со своим поручением справился и возвратился в Тунис.

Джербино, услышав такие вести и узнав, что дед его, король Вильгельм, дал ручательство королю тунисскому, совсем растерялся. Любовь, однако ж, воодушевила его, и, получив от своей возлюбленной эти сведения, он не только не сробел, но, напротив того, поехал в Мессину, велел, нимало не медля, вооружить две быстроходные галеры, набрал команду из смельчаков и отправился с ними к берегам Сардинии в расчете на то, что мимо Сардинии должен пройти корабль с его возлюбленной.

И он не ошибся: несколько дней спустя после его прибытия подгоняемый легким ветром корабль показался неподалеку от того места, где его подстерегал Джербино. Как скоро Джербино его завидел, он тот же час обратился к своим спутникам с такими словами: "Братцы! Если вы точно люди достойные, за каковых я вас почитаю, то среди вас, чаятельно, нет никого, кто бы не любил прежде или же не любит ныне, ибо, по моему разумению, кто не любил, тому не свойственны добродетели и тот никогда не ведал счастья. Если же вы когда-нибудь любили или любите ныне, то вам легко будет меня понять. Я люблю, и моя любовь внушила мне подбить вас на такое дело, та же, которую я люблю, находится вон на том корабле, и корабль тот увозит не только владычицу моих мечтаний, но и несметные сокровища, коими мы, люди храбрые, мужественно сражаясь, без особого труда можем завладеть. Однако, если мы одолеем, я возьму в добычу только девушку, из любви к которой я и взялся за оружие, все остальное уступаю вам. Итак, вперед, час добрый, — на корабль! Сам господь нам покровительствует: ветра нет, корабль стоит на месте".

Удальцу Джербино не нужно было тратить столько слов, ибо мессинцы, жадные до поживы, мысленно уже приготовились совершить то, к чему призывал их Джербино. Последние его слова они покрыли воинственными кликами, затрубили в трубы, взялись за оружие и, ударив в весла, пристали к кораблю. Моряки, еще издали увидев галеры и рассудив, что им от них не уйти, изготовились к обороне. Удалец Джербино выставил требование: если они не хотят

сражаться, то пусть доставят своих начальников на галеры. Сарацины, узнав, что это за люди, и услышав их требование, возразили, что они на них напали в нарушение слова, которое дал их же король, в доказательство предъявили перчатку, объявили, что сдадутся не иначе как после боя, и наотрез отказались что-либо находящееся на корабле им выдать. Джербино, увидев на корме девушку, которая оказалась гораздо красивее, чем он ее себе представлял, воспылал к ней еще более сильной любовью и, когда ему показали перчатку, сказал, что соколов здесь сейчас нет и перчатка им не нужна, а вот если они не отдадут девушку, то пусть готовятся к бою. Бой немедленно завязался, с обеих сторон полетели стрелы и камни, и длилось это долго, так что и те и другие от упорного боя немалый терпели урон. Наконец Джербино, убедившись, что это ни к чему не ведет, велел поджечь брандер, который они привели с собой из Сардинии, и при помощи двух галер подтащить к кораблю. Тут сарацины, поняв, что им ничего иного не остается, как сдаться или погибнуть, велели вывести на палубу королевскую дочь, которая стояла внизу и плакала. Втащив ее на нос и окликнув Джербино, они на его глазах, как она ни молила о пощаде и ни призывала на помощь, убили ее и, бросив в море, сказали Джербино: "На, возьми ее! Отдать тебе ее по-другому мы не могли – ты настолько честен, что ничего иного и не заслуживаешь".

Увидев, какое злодеяние они учинили, Джербино, не обращая внимания ни на стрелы, ни на камни, словно ища смерти, велел подвезти себя к кораблю. Преодолев сопротивление сарацин, он прыгнул на корабль и точно голодный лев, который, накинувшись на стадо бычков и одного за другим загрызая, первое время с помощью зубов и когтей утоляет не столько голод, сколько свое свирепство, многих сарацин предал лютой смерти, одному за другим отсекая мечом головы. Когда же на брандере пламя разгорелось, он, дабы вознаградить своих товарищей, велел им разграбить корабль, а затем, одержав над неприятелем безрадостную победу, спрыгнул на галеру. Он приказал выло-

вить тело красавицы и потом долго оплакивал ее, а на возвратном пути в Сицилию велел с почестями похоронить ее на Устике – островке, расположенном почти напротив Трапани, и, убитый горем, возвратился восвояси. Когда весть о том дошла до короля тунисского, он отправил к королю Вильгельму одетых в траур послов с жалобой на то, что король слова своего не сдержал, и послы рассказали королю Вильгельму все как было. Короля Вильгельма это привело в ярость; не считая возможным отказать послам в правосудии и предпочитая лишиться внука, нежели прослыть бесчестным государем, он велел схватить Джербино и, хотя царедворцы, все, как один, вступились за него, приговорил его к смертной казни, и Джербино в присутствии короля отрубили голову.

Вот я и рассказала вам о том, какая печальная участь постигла влюбленных: оба они один за другим умерли лютою смертью, не вкусив плода от своей любви.

5

Братья Лизабетты убивают ее любовника; любовник является ей во сне и сообщает, где его закопали; Лизабетта тайком выкапывает его голову, кладет ее в горшок с базиликом и каждый день подолгу плачет над ним; братья отнимают у нее голову возлюбленного, и вскорости она умирает с горя

Когда Элисса умолкла, король, присовокупив к ее повести краткое рассуждение, велел рассказывать Филомене, и Филомена, исполненная сострадания к злосчастному Джербино и его возлюбленной, вздохнула горестно и начала так:

— Обворожительные дамы! Я поведу речь не о столь высоких особах, о которых повествовала Элисса, но, может статься, рассказ мой будет не менее трогателен. Вспомнила же я обо всех этих событиях потому, что Элисса упомянула Мессину, а в Мессине-то они и произошли.

Итак, жили-были в Мессине три брата, три молодых купца, сильно разбогатевшие после смерти отца своего, уроженца Сан Джиминьяно, и была у них сестра по имени Лизабетта, пригожая и благонравная девица, которую они почему-то еще не успели выдать замуж. При одной из их лавок находился юноша из Пизы, по имени Лоренцо, — он-то и вел и делал все их дела. Был он обходителен, очень хорош собой, Лизабетта стала на него заглядываться, и он ей

смерть как полюбился. А Лоренцо за ней примечал и в конце концов, вырвав из сердца все свои былые привязанности, устремил помыслы к ней. Почувствовав взаимное влечение, они довольно скоро друг в друге уверились и достигли предела своих желаний.

Продолжая в том же духе, блаженствуя и наслаждаясь, они позабыли осторожность, и вот как-то ночью, когда Лизабетта шла к Лоренцо, старший брат выследил ее, она же его не уследила. Поступок сестры крайне его огорчил, но так как он был юноша рассудительный, то здравый смысл подсказал ему ничего пока не предпринимать, себя не обнаруживать и подождать до утра, и всю ночь он только об этом и думал. Когда же настал день, он рассказал братьям, что видел ночью, как Лизабетта пробиралась к Лоренцо; братья долго держали совет и наконец порешили, дабы не срамить ни себя, ни сестру, замять это происшествие и до поры до времени притвориться, будто они ничего не видели и ничего не знают, а затем, при случае, когда можно будет это сделать без вреда и ущерба для себя, искоренить позор, пока он еще не принял размеров угрожающих.

Порешив на том, они по-прежнему болтали и шутили с Лоренцо, а как-то раз сделали вид, что идут втроем погулять за город, и взяли его с собой. Когда же они зашли в места пустынные и отдаленные, то, воспользовавшись удобным случаем, убили ничего не подозревавшего Лоренцо и тайно похоронили его. Вернувшись же в Мессину, они сказали, что послали его куда-то по делу, и все этому поверили, так как братья посылали его часто. Лоренцо меж тем все не возвращался, и Лизабетта, не на шутку встревоженная долгим его отсутствием, все чаще и все настойчивее допытывалась у братьев, где же Лоренцо; и вот однажды, когда она с особым упорством их расспрашивала, один из братьев сказал ей: "Что бы это значило? Какое тебе дело до Лоренцо, почему ты все о нем спрашиваешь? Ужо еще раз спросишь — и мы тебе ответим так, как ты того заслуживаешь". После этого разговора девушка была печальна и грустна, ничто ее не веселило, она испытывала какой-то непонятный страх, о Ло-

ренцо более не расспрашивала, а только все поджидала его и лишь по ночам жалобно к нему взывала, умоляла прийти к ней и оплакивала долгую с ним разлуку.

Однажды ночью, когда она, вволю наплакавшись, наконец, вся в слезах, уснула, во сне привиделся ей Лоренцо; он был бледен, волосы у него стояли дыбом, одежда порвалась и истлела, и тут послышался девушке его голос: "О Лизабетта! Ты все зовешь меня и томишься в разлуке, плачешь не осушая глаз и горько меня упрекаешь. Так знай же, что я не властен к тебе вернуться, – в тот день, когда ты видела меня в последний раз, братья твои меня убили". Сообщив, где его зарыли, и сказав, чтобы она больше его не звала и не ждала, он исчез.

Пробудившись, девушка уверилась, что то была не сонная греза, и залилась слезами. Поутру она встала и, не отважившись рассказать братьям о посетившем ее видении, задумала пойти в указанное ей место, дабы удостовериться, правду ли слышала она во сне. Получив дозволение погулять за городом, она вместе с одной девушкой, прежде состоявшей при ней в услужении и все о ней знавшей, с великой поспешностью направилась туда, разгребла сухие листья и стала копать в том месте, где земля показалась ей наиболее рыхлой. Копать ей пришлось недолго – вскоре она увидела труп несчастного своего любовника, еще совсем не тронутый тлением и не разложившийся, и тут для нее стало очевидно, что видение ее было не обманчивое. Это ее сразило, и все же она сказала себе, что сейчас не время плакать; если б она могла, она унесла бы тело с собою, дабы как должно похоронить его, но она понимала, что это невозможно, – она лишь постаралась отделить ножом голову от туловища, тело засыпала землей, а голову завернула в полотенце, положила ее служанке в подол и, никем не замеченная, возвратилась домой.

Запершись у себя в комнате, она долго и горько плакала над головою возлюбленного своего, всю ее омыла слезами и покрыла поцелуями. Затем взяла один из тех больших красивых цветочных горшков, в которых обыкновенно

произрастают майоран и базилик, завернула голову в красивое полотенце и положила ее в горшок, а сверху насыпала земли и посадила несколько отростков чудного салернского базилика, и поливала она потом этот базилик розовой водой, померанцевой водой или же своими слезами. Она не отходила от базилика и с любовью смотрела на него, потому что под ним лежала голова ее Лоренцо. Наглядевшись, она наклонялась над базиликом и поливала его слезами.

Базилик отчасти благодаря постоянному и заботливому уходу, отчасти благодаря тому, что голова внутри разлагалась и утучняла землю, стал красивым и душистым. Так как подобный уход за цветком вошел у девушки в обычай, соседи не могли не обратить на это внимание, и когда братья выразили удивление, отчего ее красота вянет и отчего так впали у нее глаза, соседи сказали: "Мы заметили, что она каждый день делает то-то и то-то". Услышавши это, а затем уверившись в том воочию, братья несколько раз принимались журить сестру, но так как это не помогло, то они велели унести тайком цветочный горшок. Не найдя базилик, девушка много раз с великой настойчивостью просила вернуть его – братья так и не отдали; девушка изошла слезами, слегла и, больная, просила только о том, чтобы ей отдали горшок с базиликом. Настоятельные ее просьбы удивили братьев, и им захотелось посмотреть, что там внутри. Высыпав землю, они увидели полотенце, а в ней голову, еще не совсем разложившуюся, так что по цвету волос они определили, что то голова Лоренцо. Братья пришли в крайнее изумление; боясь огласки, они украдкой закопали голову, а затем, устроив свои дела, тайно перебрались из Мессины в Неаполь.

А девушка все плакала и молила отдать ей базилик и в слезах умерла – таков был конец ее несчастной любви. Когда же некоторое время спустя слух о том распространился, кто-то сложил песню, которую поют еще и сейчас:

Отнял нехристь у меня
Мой цветок любимый,

и так далее.

6

*Андреола любит Габриотто;
она рассказывает ему свой сон,
он рассказывает ей свой и скоропостижно умирает
в ее объятиях; когда же она и ее служанка
несут мертвого Габриотто к нему домой,
стража задерживает их обеих,
и Андреола дает показания;
градоправитель хочет учинить над ней насилие,
она же оказывает ему сопротивление;
так как невиновность ее выяснена,
то узнавший обо всем отец Андреолы
добивается ее освобождения;
Андреола, однако, не желает более жить в миру
и уходит в монастырь*

Повесть Филомены произвела на дам глубокое впечатление; они много раз слышали эту песню, но не знали, по какому поводу она сложена. Выслушав рассказ Филомены, король, следуя заведенному порядку, велел рассказывать Панфило. Панфило начал следующим образом:

– Сон, о котором идет речь в повести Филомены, привел мне на память другую повесть, но уже не с одним, а с двумя снами, в которых все происходило так, как оно потом и случилось, и стоило тем, кто эти сны видел, поведать их друг другу, как тут же оба сна и сбылись. Вы, конечно, знаете, пригожие дамы, что всем нам свойственно видеть

сны, причем некоторые сны спящий, покуда он спит, целиком принимает за истину; когда же он просыпается, то иные сны представляются ему вещими, иные – правдоподобными, иные – совершенно невероятными, со всем тем многие сны потом сбываются. Вот почему многие так же верят в сон, как в явь; сны то огорчают их, то радуют – смотря по тому, что они в них вселяют: страх или же надежду. Есть, однако, и такие, которые не верят в сны до тех пор, пока с ними не стрясется беда, которая им была предсказана во сне. А я – ни на чьей стороне, потому что не все сны вещие и не все обманчивые. Что не все сны вещие – это каждый, по всей вероятности, не раз испытал на себе, а что не все сны обманчивы – это доказала в своей повести Филомена, я же предуведомил, что докажу это в моей. По моему разумению, человек, который живет и поступает по совести, не должен бояться какого-либо смутного сна или же отступаться из-за него от своих добрых намерений. Что касается козней и злодеяний, то если бы даже сны и толкали на них, если бы даже они снились неоднократно и этой своей неотвязностью подбивали человека на нехороший поступок, то таким снам верить не следует, как не следует вполне полагаться и на сны добрые. Но обратимся к нашему рассказу.

В Брешии жил когда-то дворянин, мессер Негро да Понте Карраро, у которого было несколько человек детей, дочь же его Андреола, красавица девушка, невзначай влюбилась в своего соседа по имени Габриотто, человека низкого звания, но добродетельного, из себя видного и привлекательного. Через посредство служанки девушка уведомила Габриотто о своей любви к нему, затем та же самая служанка не раз и не два, к великой радости обоих, приводила его в чудный сад отца Андреолы. А дабы одна лишь смерть вольна была разрушить их счастье, они тайно стали мужем и женой.

Так, украдкой, продолжали они встречаться, и вот однажды ночью девушка увидела во сне, будто она в саду, к величайшему обоюдному удовольствию, держит Габриотто в

своих объятиях. А потом ей приснилось, будто из тела Габриотто вышло нечто темное и страшное, что именно – это она не могла разглядеть, схватило Габриотто и, употребив сверхъестественную силу, вырвало его из ее объятий и вместе с ним провалилось сквозь землю, и больше она их уже не видела. Ей стало так невыразимо тяжело, что она проснулась, и хотя, проснувшись, она обрадовалась, что все это ей только снилось, со всем тем в сердце к ней закрался страх. Вот почему она попыталась отменить ночное свидание с Габриотто, однако, видя, что он упорствует, и не желая возбуждать в нем подозрения, она все же встретилась с ним ночью в саду. То была пора, когда цвели розы, и Андреола, нарвав целую охапку белых и алых роз, пошла с Габриотто посидеть у дивного фонтана, струившего прозрачную воду. Долго они тут сидели и не могли друг дружкой нарадоваться, как вдруг Габриотто спросил, почему она сегодня не хотела с ним встретиться. Девушка рассказала ему свой сон и поделилась с ним своими опасениями – словом, ничего от него не утаила.

Габриотто над ней посмеялся и заметил, что глупее глупого верить снам: сны, дескать, снятся или когда человек объелся, или же когда он голоден; сны – вздор, и в этом, мол, легко можно убедиться чуть ли не каждый день. И вот что еще он сказал: "Если б я придавал значение снам, я бы к тебе не пришел не столько из-за твоего сна, сколько из-за того, который я сам видел нынче ночью: снилось мне, будто я охочусь в чудном, приютном лесу и будто я поймал прелестную, премилую лань – другой такой не сыскать. Лань эта будто белее снега и будто мне удалось так скоро ее приручить, что она не отходит от меня ни на шаг, и все же она до того будто бы мне дорога, что, боясь, как бы она не ушла, я надел на нее золотой ошейник и вожу ее на золотой цепочке. Потом, гляжу, лань положила голову мне на колени; откуда ни возьмись, охотничья собака, с виду – сущее страшилище, черная, как все равно уголь, голодная, и прямо на меня, а я не в силах сдвинуться с места. Собака впилась зубами мне в грудь, там, где сердце, и так долго ее

грызла, что в конце концов добралась до сердца, вырвала его и убежала. От дикой боли я проснулся и схватился рукой за грудь. Никакой раны я там не обнаружил и сам над собой посмеялся. Что же из этого следует? Такие и даже еще более страшные сны снились мне часто, однако ж со мной решительно ничего не случалось. Давай выкинем все это из головы и постараемся как можно приятнее провести время".

Девушка, и без того напуганная своим сном, выслушав рассказ Габриотто, перепугалась до смерти, однако, не желая его огорчать, взяла себя в руки. Но хотя она с ним и обнималась и целовалась, делая вид, что ей хорошо, все же безотчетный страх не оставлял ее, и она чаще, чем всегда, всматривалась в его лицо и время от времени окидывала взором сад, не подкрадывается ли к ним нечто темное.

И вдруг Габриотто, испустив глубокий вздох, обнял ее, промолвил: "Ох! Помоги мне, моя ненаглядная, я умираю!" – и упал на траву.

Девушка прижала его голову к своей груди и, еле сдерживая рыдания, спросила: "Услада жизни моей! Что тобою?"

Габриотто ничего ей не ответил; он тяжело дышал, обливался потом и вскоре отошел.

Каждая из вас легко может вообразить, какая скорбь и какое отчаяние охватили тут девушку, которая любила его больше, чем самое себя. Она исходила слезами, тщетно к нему взывала, а когда она, ощупав его уже холодное тело, совершенно уверилась, что он мертв, то в крайнем расстройстве чувств, с заплаканным лицом, отягченная печалью, пошла к своей наперснице и рассказала о своем злополучии и о своем горе.

После того как обе они слезами скорби омочили лицо мертвого Габриотто, девушка сказала служанке: "Раз господь взял его у меня, я не хочу больше жить. Однако, прежде чем покончить с собой, я хочу с твоей помощью сделать все от меня зависящее, чтобы честь моя осталась незапятнанной, хочу похоронить тело, которое покинула родная мне душа, а вместе с телом похоронить и тайну нашей любви".

А служанка ей на это сказала: “Ты о самоубийстве и не помышляй, доченька, — пока ты Габриотто потеряла только здесь, а вот если ты руки на себя наложишь, ты потеряешь и на том свете: ведь ты попадешь в ад, а его душа, — поверь мне, — в ад не попадет, потому как он был юноша славный. Утешься и подумай лучше, как молитвами и добрыми делами помочь его душе на тот случай, ежели он совершил какой-либо грех и душа его нуждается в помощи. А похоронить Габриотто спокойней всего в саду, — тогда тайна будет сохранена: ведь никто же не видел, как он сюда вошел. А не то вынесем его за ограду и там положим, — завтра его найдут и отнесут домой, а родные похоронят”.

Девушка хоть и тужила и плакала не осушая глаз, однако ж к словам служанки прислушивалась и, отвергнув и тот и другой совет, промолвила: “Избави бог! Да разве я решусь моего милого, которого я так любила и который был моим мужем, закопать, как собаку, или же бросить его тело на улице? Я его оплакала, и я устрою так, что оплачут его и родные, я уже все обдумала”.

Она послала служанку за шелковой тканью, которая лежала у нее в сундуке, и как скоро служанка принесла ткань, они расстелили ее на земле, положили на нее тело Габриотто, а под голову ему подложили подушку, проливая обильные слезы, закрыли ему глаза и рот, на голову положили венок из роз и все тело его засыпали розами, которых предварительно нарвали в саду. “Его дом отсюда близко, — сказала девушка, — мы его убрали цветами, а теперь давай отнесем и положим около дверей. До рассвета недолго, и его скоро обнаружат. Скончался он у меня на руках, и хотя для родных его смерть — страшное горе, мне будет легче от сознания, что я отнесла его к ним”.

И тут она, снова давши волю слезам, склонилась над ним и долго плакала. Служанка торопила ее, так как уже брезжил свет; наконец она выпрямилась и, сняв с пальца обручальное кольцо, которое ей подарил Габриотто, надела на палец ему. “Драгоценный мой повелитель! — оказала она, рыдая. — Если душа твоя видит сейчас мои слезы и если по-

сле того как она покинула тело, в нем еще остается некое подобие чувства и разумения, то прими благосклонно последний дар от той, которую ты так любил при жизни". И тут она без чувств упала на него.

Когда же Андреола очнулась и встала, то она и служанка взялись за ткань, на которой лежало тело, и, выйдя из сада, направились к дому Габриотто. В это самое время по улице случилось проходить городской страже; наткнувшись на Андреолу и служанку, стража остановила их и забрала вместе с мертвым телом. Андреола смерти не боялась, а потому, увидев стражников, так прямо им и сказала: "Я знаю, кто вы; знаю, что если б я и бросилась бежать, то это было бы бесполезно. Я не убегу, я пойду с вами к градоправителю и расскажу все, но только не смейте ко мне прикасаться и ничего не трогайте из того, что на мертвом, иначе я буду жаловаться". Никто ее не тронул, и она внесла тело Габриотто во двор градоправителя. Когда о случившемся доложили градоправителю, он поднялся со своего места и, оставшись с Андреолой наедине, начал ее допрашивать. Врачам он велел определить, не от яда ли умер этот добрый человек и не был ли он еще как-либо умерщвлен, но врачи признали, что смерть его была не насильственная, а что около сердца у него лопнул нарыв, и он задохся. Выслушав врачей и уверившись, что вина девушки не велика, он намекнул, что намерен подарить ей то, чего не имеет права продать, и сказал, что отпустит ее, если только она согласится исполнить его желание. Уговоры, однако ж, на нее не подействовали, – тогда он, забывши приличия, попытался применить силу, но Андреоле придало отваги негодование: она храбро защищалась, и в конце концов градоправитель, осыпав ее бранью и насмешками, отступил.

Когда настал ясный день, мессер Негро узнал о случившемся и, убитый горем, в сопровождении многих друзей своих отправился во дворец, расспросил градоправителя и, удрученный, потребовал, чтобы ему отдали дочь. Градоправитель, решив, что будет лучше, если он сам о себе все скажет, начал с того, что принялся восхищаться девушкой

и ее стойкостью и в подтверждение рассказал о своей попытке прибегнуть к силе. Видя, мол, таковую ее непреклонность, он полюбил ее всей душой, и если, мол, и отец, и она сама ничего не имеют против, он с удовольствием возьмет ее за себя, даром что муж ее был незнатного происхождения.

Они все еще вели этот разговор, как вдруг вбежала Андреола и, рыдая, бросилась отцу в ноги. "Отец! – воскликнула она. – Вряд ли стоит рассказывать вам повесть о том, какое несчастье меня постигло и какую выказала я решимость, – уж верно, вы обо всем наслышаны и все уже знаете. Я лишь смиренно, всем сердцем молю вас простить мою вину, то есть что я без вашего ведома вышла замуж по страстной любви. Я молю вас о прощении не ради того, чтобы, испросив его, спокойно жить на свете, а чтобы умереть вашей любимой, а не проклинаемой дочерью".

Выслушав дочь, мессер Негро, дряхлый старик, к тому же от природы незлобивый и мягкий, расплакался и, бережно подняв Андреолу, заговорил: "Дочь моя! Мне было бы гораздо приятнее, если бы твоим супругом был человек, которого я почитал бы достойным тебя, но раз ты вышла замуж по любви, то и я бы его полюбил. Вот что ты скрыла от меня свое замужество – это меня огорчает: значит, ты не хотела быть со мной откровенной, а еще больше меня огорчает то, что ты потеряла супруга, когда я еще ничего не знал о твоем замужестве. Но раз уж так вышло, то все, что ради тебя я сделал бы для него, если б он был жив, я сделаю после его смерти, то есть воздам почести, подобающие этому человеку как моему, зятю". Тут он обратился к своим сыновьям и родственникам и распорядился устроить Габриотто богатые и пышные похороны.

Между тем, узнав о происшедшем, во дворе собрались родственники и родственницы юноши, а также почти все горожане, и тело его, лежавшее посреди двора на шелковой ткани Андреолы и по-прежнему утопавшее в розах, оплакали не только Андреола и ее родственницы, но почти все горожанки и многие горожане, вынесли же его со дво-

ра не как простолюдина, а как знатного человека: самые именитые граждане с великими почестями несли его на плечах к месту погребения. Несколько дней спустя градоправитель вторично сделал предложение, но когда мессер Негро заговорил об этом с дочерью, она и слышать ни о чем не хотела. С благословения отца она вместе со своей служанкой удалилась в честну́ю обитель, и там они еще долго и праведно жили.

7

Симона любит Пасквино;
оба находятся в саду; Пасквино,
потерев себе зубы шалфеем, умирает;
Симону схватили; желая показать судье,
как погиб Пасквино, она трет себе зубы
тем же самым листом шалфея
и тоже умирает

Итак, Панфило отделался, и тогда король, не выказав ни малейшей жалости к судьбе Андреолы, взглядом дал понять Эмилии, что будет рад, если теперь что-нибудь расскажет она. Эмилия, не долго думая, начала так:

– Милые подружки! Рассказ Панфило возбудил во мне желание рассказать вам другую историю, похожую на ту, что поведал он; та девушка, о которой я поведу речь, подобно Андреоле, потеряла своего возлюбленного в саду. Будучи же, как и Андреола, схвачена, она избавилась от суда не благодаря своей силе и не благодаря своему целомудрию – избавила ее от суда внезапная смерть. Мы с вами уже пришли к заключению, что Амур охотно поселяется в богатых хоромах, однако ж не брезгует и убогими хижинами, более того: именно там он иной раз забирает такую власть над людьми, что и богачи, прознав о том, трепещут его как всемогущего властелина. Это вам станет если и не вполне, то, во всяком случае, достаточно ясно, когда вы дослушаете до конца мой рассказ, который снова перенесет нас в наш род-

ной город, а то ведь мы сегодня, толкуя о разных разностях и странствуя в различных частях света, чересчур от него отдалились.

Словом, не так давно жила-была во Флоренции дочь бедняка, по имени Симона, красивая, ладная девушка. Нужда заставила ее добывать себе пропитание собственными руками, и она зарабатывала на жизнь тем, что пряла шерсть, и все же она была не столь малодушна, чтобы побояться открыть свое сердце Амуру, которому давно уже хотелось туда проникнуть с помощью ухаживаний и сладких речей одного юноши, не более знатного, чем она сама, ибо он состоял на побегушках у своего хозяина-ткача и разносил прядильщицам шерсть. Итак, впустив в свое сердце Амура, представшего перед ней в прельстительном обличье влюбленного юноши, которого звали Пасквино, она томилась желанием, но слишком далеко зайти боялась и лишь, наматывая каждый новый клубок на веретено, неизменно испускала жаркий вздох, ибо всякий раз вспоминала, кто ей принес эту шерсть. Пасквино же, со своей стороны, выказывал необыкновенную заботу о том, чтобы прядильщицы как можно лучше пряли хозяйскую шерсть, и, словно только пряжа Симоны, а не чья-либо еще, годилась для тканья, наведывался к ней чаще, нежели к другим. Он наведывался, она же эти его наведывания принимала благосклонно, и вот как-то раз и он расхрабрился, и она отринула страх и стыд, следствием чего явилось усладительное для обоих сближение. И так они тогда слюбились, что никто из них потом не ждал приглашения, – в назначении свиданий они неизменно шли друг дружке навстречу.

Коротко говоря, блаженствовали они ежедневно, день ото дня все жарче пылая, и вот однажды Пасквино возьми да и предложи Симоне пойти с ним в один сад, – там, дескать, им будет удобнее и безопаснее. Симона согласилась и в одно из воскресений, после обеда, сказав отцу, что идет исповедаться в Сан Галло, со своей подругой Ладжиной направилась в сад, который ей указал Пасквино, а он ее уже там поджидал со своим товарищем по имени Пуччино, а по

прозвищу “Шалый”. Шалый и Ладжина тут же завели шуры-муры, а потому Пасквино и Симона рассудили за благо на предмет взаимоуслаждений удалиться в один конец сада, им же предоставили другой.

В той части сада, куда ушли Пасквино и Симона, рос высокий красивый куст шалфея. Усевшись подле него, они долго ласкались и толковали о том, как они, отдохнув, здесь подзакусят, а затем Пасквино сорвал лист шалфея и, пояснив, что шалфеем хорошо чистить рот после еды, начал тереть себе зубы и десны. Потом Пасквино возобновил прерванный разговор о предстоящей закуске, но тут же переменился в лице, а еще немного погодя ослеп, онемел и вскоре скончался. Симона заплакала, запричитала и стала звать Шалого и Ладжину. Те сейчас же прибежали, но как скоро Шалый увидел, что Пасквино мало того что умер, но и весь распух, и по всему лицу его и телу пошли темные пятна, то напустился на Симону: “Ах, злодейка! Ты его отравила!” И тут он поднял такой шум, что его услыхали многие из тех, кто жил по соседству. Все они сбежались на шум и, убедившись, что Пасквино мертв и распух, услыхав, что Шалый обвиняет Симону в предумышленном отравлении Пасквино, и видя, что она, обезумев от горя, которое ей причинила скоропостижная смерть ее возлюбленного, не знает, что сказать в свое оправдание, всецело поверили Шалому.

На этом основании они ее, плакавшую навзрыд, схватили и повели во дворец градоправителя. Шалый, равно как и подоспевшие сюда же приятели Пасквино, “Здоровяк” и “Надоеда”, стали требовать немедленного суда, и судья прямо приступил к допросу. Не найдя, однако ж, улик для того, чтобы обвинить Симону в преднамеренном отравлении, судья изъявил желание осмотреть при ней мертвое тело и место происшествия и самолично ознакомиться со всеми обстоятельствами дела, так как из ее слов он его себе как должно не уяснил. Того ради он отдал распоряжение — не поднимая шума, отвести Симону в сад, где еще лежало раздувшееся, величиною с бочку, тело Пасквино, а за ней про-

следовал и он и, давшись диву при взгляде на мертвеца, спросил ее, как было дело. Тогда она приблизилась к кусту и, чтобы судье все было ясно, рассказала о том, что предшествовало гибели Пасквино, а затем, в подражание своему возлюбленному, потерла себе зубы листом этого самого шалфея. Здоровяк, Шалый и другие приятели и товарищи Пасквино в присутствии судьи издевались над ней, утверждая, что это россказни и враки, все настойчивее обвиняя ее в злодеянии и требуя для нее в качестве меры наказания ни более ни менее, как костра, и вдруг, истерзанная скорбью утраты возлюбленного и страхом наказания, коего требовал Шалый, бедняжка, потерев себе зубы шалфеем, упала так же точно, как и Пасквино, и тем повергла в крайнее изумление всех присутствовавших.

О блаженные души! Вам выпало на долю в один и тот же день положить предел пылкой вашей любви и сей бренной жизни. О тем паче блаженные, если только вам предназначено не разлучаться в мире потустороннем! О преблаженные, если только любят и за гробом и если вы и там любите друг друга, как любили здесь! Взглянемте, однако ж, на дело, как свойственно смотреть живущим, и мы должны будем признать, что всех блаженнее душа Симоны, ибо судьбе не угодно было, чтобы ее невиновность оспаривали Шалый, Здоровяк, Надоеда, какие-нибудь там чесальщики и всякий подлый люд, – судьба избавила ее от их напраслины и уготовала ей удел почетный – умереть тою же смертью, что и ее возлюбленный, последовать за родственной ей душою Пасквино.

Судья, ошеломленный этим происшествием не меньше, чем все остальные, не мог выговорить ни слова и погрузился в глубокое раздумье, а затем, поразмыслив, пришел к такому заключению: "Как видно, этот куст ядовитый, хотя вообще шалфей не ядовит. А чтобы еще кто-нибудь не отравился, надобно срубить его под корень и сжечь". Сторож тут же, при судье, начал рубить его, и как скоро высокий этот куст упал, всем стала ясна причина смерти несчастных любовников. Под кустом шалфея притаилась

невероятной величины жаба, и вот она-то, по единодушному мнению присутствовавших, ядовитым своим дыханием отравила шалфей. Никто не отважился подойти к этой жабе, а потому ее обложили грудами хвороста и вместе с кустом шалфея сожгли, и на этом судья прекратил дело о трупе злосчастного Пасквино. Его и Симону, распухших от яда, Шалый, Здоровяк, Гуччо "Пачкун" и Надоеда похоронили в церкви Сан Паоло, – по случайному совпадению, и он и она были прихожанами этой церкви.

8

Джироламо любит Сальвестру;
уступая просьбам матери,
он едет в Париж, по возвращении же узнает,
что Сальвестра вышла замуж за другого,
и, тайно проникнув к ней в дом, умирает подле нее;
когда же тело его вынесли в церковь,
Сальвестра тоже умирает подле него

Как скоро Эмилия окончила свой рассказ, по повелению короля начала рассказывать Нейфила:

– Достойные дамы! Есть такие люди, которые воображают, что знают больше других, а на самом деле, сколько я могу судить, знают мало, – вот почему они не желают считаться не только с чужими мнениями, но даже с природой вещей, и от этой их самоуверенности уже проистекли бедствия неисчислимые, а вот добра что-то не видать. Любовь, как никакое другое естественное проявление, терпеть не может, чтобы ее поучали и ей перечили: уж такова ее природа, что она скорее сама собою сойдет на нет, нежели послушается голоса разума, и вот мне захотелось рассказать вам про одну женщину, которая во что бы то ни стало вознамерилась доказать, что она умней, чем ей следовало быть и чем она была в действительности, да и дело-то было такого рода, что ум тут мало чем мог бы помочь, и вышло так, что надеялась-то она изгнать из сердца своего сына любовь, зародившуюся в нем, может статься, по внушению

светил небесных, а добилась того, что исторгла из его тела вместе с любовью и душу.

Старые люди сказывают, что в нашем городе проживал именитый и богатый купец по имени Леонардо Сигьери, и был у него сын Джироламо, но вскоре после того, как Джироламо появился на свет, отец, оставив дела свои в блестящем состоянии, скончался. Опекуны ребенка совместно с его матерью исполняли свои обязанности по отношению к нему честно и добросовестно. Мальчик рос вместе с соседскими детьми, но особенно он подружился с дочерью портного – своею сверстницею. С течением времени дружба перешла в такую жаркую и страстную любовь, что Джироламо жить без своей подруги не мог, она же, разумеется, отвечала ему взаимностью.

От взора матери это не укрылось, и она часто пробирала и наказывала мальчика, однако ж, видя, что это на него не действует, нажаловалась опекунам и, думая, что при таких средствах, как у ее сына, можно звезду с неба для него достать, повела с ними такую речь: “Нашему мальчику еще и четырнадцати лет не исполнилось, а он уже так влюбился в дочь портного, нашего соседа, Сальвестру, что если мы их не разлучим, он, не ровен час, возьмет да и, не спросясь, на ней женится, и это будет для меня горе неизбывное; если же она выйдет за другого, то тогда он зачахнет с тоски. Так вот, во избежание этого, хорошо, если бы вы услали его куда-нибудь подальше по делам: в разлуке он бы о ней и думать забыл, а мы ему тем временем подыщем девушку благородного происхождения”.

Опекуны с ней согласились и обещали сделать все, что от них зависит. И вот один из них, зазвав мальчугана в лавку, ласково с ним заговорил: “Мальчик мой! Ты уже большой, теперь тебе самому не худо бы заняться делами. Нам бы очень хотелось, чтобы ты пожил в Париже, потому что основная часть твоего капитала обращается именно там, в чем ты и удостоверишься, а кроме того, в Париже ты насмотришься на вельмож, на господ, на дворян, – их там многое множество, – и сам станешь лучше, благовоспитан-

нее и учтивее, а как переймешь у них приятность обхождения, тогда можно и домой".

Мальчик выслушал его со вниманием, однако ж в коротких словах ответил отказом, сославшись на то, что живут же, мол, люди и во Флоренции. Почтенные опекуны стали ему выговаривать, но толку так и не добились и все рассказали матери. Ее страшно злило не нежелание сына ехать в Париж, а его увлечение, и она задала ему звону, но потом начала улещать его сладкими словами, всячески умасливать и упрашивать, чтобы он исполнил желание опекунов. И так она сумела к нему подольститься, что в конце концов он согласился пробыть в Париже год, но никак не более, и на том они и порешили.

Джироламо, без памяти влюбленный, отправился в Париж, и опекуны, кормя, как говорится, завтраками, продержали его там целых два года. Когда же он, влюбленный в Сальвестру еще пламеннее, нежели до отъезда, возвратился домой, оказалось, что Сальвестра вышла замуж за славного молодого человека, который по роду своих занятий был шатерником, и Джироламо был сильно этим удручен. Но так как он сознавал, что утраченного не воротишь, то постарался свыкнуться со своим положением. Разузнав, где она живет, он, как это принято у влюбленных юношей, начал ходить мимо ее дома, – он был уверен, что и она его не позабыла, как не позабыл ее он. Однако он заблуждался: она держала себя так, как будто в первый раз его видит; если же она его все-таки помнила, то никак этого не показывала. К великому своему огорчению, юноша весьма скоро в том удостоверился; со всем тем он прилагал отчаянные усилия, чтобы вновь завладеть ее сердцем, а так как усилия его были тщетны, то он замыслил побеседовать с нею, хотя бы это стоило ему жизни.

Вызнав у одного из соседей расположение комнат у нее в доме, он однажды вечером, воспользовавшись тем, что она с мужем ушла к соседям в гости, пробрался к ней и схоронился в спальне за развешанными полотнищами шатров. Дождавшись, когда они, вернувшись домой, улеглись и

муж Сальвестры заснул, Джироламо направился к ней и, положив ей руку на грудь, прошептал: “Счастье мое! Ты не спишь?”

Сальвестра еще не спала; она хотела крикнуть, но Джироламо взмолился: “Ради бога, не кричи! Я – твой Джироламо”.

Тогда она, дрожа всем телом, заговорила: “Уйди ради бога, Джироламо! Мы с тобой уже не дети – нам неприлично разыгрывать влюбленных. Как видишь, я замужем и должна любить только своего мужа, а больше никого. Уйди, ради создателя, – если тебя услышит мой муж, то тебе-то он никакого зла не причинит, но мы уж с ним после этого не сможем жить в мире и согласии, а сейчас он меня любит, и живем мы с ним душа в душу”.

При этих ее словах сердце Джироламо стеснила лютая скорбь. Он попытался напомнить ей прошлое, признался, что расстояние, разделявшее их, не охладило его чувство, заклинал, уверял, что готов ради нее на все, – она быль непреклонна. Тогда он, задумав покончить с собой, попросил ее в награду за его любовь дозволить ему лечь рядом с ней, чтобы согреться, а то он, мол, замерз, пока дожидался ее возвращения; при этом он дал ей слово не разговаривать с ней, не дотрагиваться до нее и уйти, едва лишь обогреется. Сальвестра сжалилась над ним и позволила прилечь, с тем, однако, чтобы он слово свое держал. Джироламо лег так, чтобы не прикасаться к ней. Его непоколебимая верность, ее жестокость, утраченные надежды – все это в одно мгновенье промелькнуло у него в голове, и понял он, что жить ему не для чего. Не сказав ей ни слова, он задержал дыхание и, судорожно сжав кулаки, умер около нее.

Немного погодя Сальвестра дивясь его стойкости и боясь, как бы не проснулся муж, прошептала: “Эй, Джироламо! Что же ты не уходишь?” Не получив ответа, она решила, что он уснул. Тогда она протянула руку, чтобы разбудить Джироламо, ощупала его и, почувствовав, что он холодный как лед, пришла в крайнее изумление. Она надавила на него рукой – он не пошевелился, еще раз надавила – и тут

только поняла, что он мертв; объятая ужасом, она долго не могла на что-либо решиться. Наконец надумала спросить совета у мужа, но сначала изобразить дело так, как будто это касается посторонних лиц. Разбудив мужа, она рассказала о том, что случилось у него в доме, так, будто это произошло где-нибудь еще, а потом задала ему вопрос: если бы нечто подобное случилось с нею, как бы он советовал поступить? Муж, будучи человеком добрым, ответил, что, по его мнению, покойника нужно тайком отнести к дверям его дома и там оставить, а на жену, мол, гневаться не должно, так как она ни в чем не виновата.

Тогда Сальвестра сказала: "Значит, так надлежит поступить и нам". Тут она взяла мужа за руку и поднесла ее к мертвому телу. Муж в крайнем замешательстве встал, раздобыл огня и, не вдаваясь ни в какие расспросы, надел на мертвеца его платье, тут же взвалил его себе на плечи, на что мужу придало сил сознание невиновности его жены, отнес к дверям его дома и там и оставил.

Когда рассвело, Джироламо нашли мертвым у дверей его дома и подняли крик; особенно громко голосила его мать. Врачи обыскали его, осмотрели, однако ж ни ран, ни ушибов не обнаружили и пришли к единодушному заключению, что умер он с горя, как оно и было на самом деле. Тело его вынесли в церковь, и туда же пришла его удрученная мать, а с нею целая толпа родственниц и соседок, и начали они, по нашему обычаю, рыдать над ним и причитать.

Между тем как в храме стоял вопль и стон, добрый человек, в доме у которого скончался Джироламо, сказал Сальвестре: "Накинь мантилью, пойди в ту церковь, куда вынесли Джироламо, замешайся в толпу женщин и послушай, что говорят, а я послушаю, что говорят мужчины, — тогда мы будем знать, не обвиняют ли в чем-либо нас". Сальвестра, пожалевшая Джироламо, когда было уже поздно, согласилась, — теперь ей хотелось взглянуть на него хоть на мертвого, а когда он был жив, она не пожелала порадовать его одним-единственным поцелуем. И пошла она в церковь.

Удивления достойно, как трудно бывает постигнуть причуды любви! То самое сердце, которое не вняло мольбам Джироламо, когда он был благополучен, смягчилось, когда благополучие сменилось злополучием, и это его злополучие внезапно разожгло в ней угасшее было пламя любви, а любовь породила такое глубокое сострадание, что стоило закутанной в мантилью Сальвестре издали увидеть лицо покойника, как она начала пробираться в толпе женщин и наконец подошла вплотную к гробу. Испустив вопль отчаяния, она упала на гроб и не окропила слезами лицо мертвого юноши единственно потому, что едва лишь она к нему прикоснулась, как в то же мгновенье душевная мука, похитившая жизнь у юноши, похитила жизнь и у нее. Женщины, не знавшие, кто она такая, начали утешать ее, уговаривали подняться – она не поднималась; тогда они сами попытались ее приподнять – и удостоверились, что она недвижима; когда же им наконец удалось приподнять ее, тут только они увидели, что это Сальвестра и что она мертва. Преисполненные сострадания женщины, все до одной, еще громче заплакали.

Как скоро весть о том вышла за пределы храма и, облетев толпу мужчин, поразила слух находившегося тут же ее мужа, он заплакал и, не внемля ни утешениям, ни ободрениям, плакал долго, а затем рассказал окружавшим его, что приключилось ночью с его женой и с этим юношей, и тут все, уразумев, отчего они оба скончались, поникли головой. Тело же Сальвестры убрали, как убирают обыкновенно покойниц, положили рядом с Джироламо, а затем похоронили в одной гробнице. Так любовь оказалась бессильной соединить их при жизни, зато смерть связала их неразрывными узами.

9

Мессер Гвильельмо Россильоне угощает жену свою сердцем мессера Гвильельмо Гвардастаньо, которого он лишил жизни и которого она любила; узнав об этом, она выбрасывается из высокого окна, разбивается насмерть, и ее хоронят рядом с ее возлюбленным

Как скоро Нейфила, возбудив живейшее сочувствие у подруг, окончила свой рассказ, король, приняв в соображение, что, кроме Дионео, рассказывать больше некому, отнимать же у Дионео предоставленную ему льготу он не собирался, начал так:

— Сердобольные дамы! Вы так глубоко сочувствуете несчастной любви, а потому повесть, которая пришла мне на память, должна растрогать вас не меньше, чем предыдущая, ибо поведу я речь о людях, гораздо более известных, произошло же с ними нечто куда более страшное.

По рассказам провансальцев вам, уж верно, известно, что в Провансе некогда жили два благородных рыцаря, владевшие замками и вассалами, звали же одного из них мессер Гвильельмо Россильоне, а другого — мессер Гвильельмо Гвардастаньо. Эти два отважных воина любили друг друга и всегда вместе, в одинаковых доспехах, выезжали на турниры, ристалища и прочие бранные потехи. Но хотя их замки отстояли один от другого на добрых десять миль и хотя их связывали дружба и приязнь, со всем тем мессер

Гвильельмо Гвардастаньо горячо полюбил красивую, очаровательную жену мессера Гвильельмо Россильоне и не так, так эдак старался выразить ей свое чувство, она же не могла этого не заметить. Он тоже пришелся ей по нраву, ибо она знала его за доблестного рыцаря, и столь сильную пробудил он в ней страсть, что теперь она любила и хотела его одного и ждала лишь, чтобы он прямо сказал ей о своем желании, он же не замедлил с ней объясниться, и они, покорясь бурному стремлению своей страсти, несколько раз ее утолили.

Действовали они, однако ж, недостаточно осторожно, и муж, проследив за ними, пришел в такое неистовство, что сердечная приязнь, которую он прежде питал к Гвардастаньо, сменилась у него смертельною ненавистью. Однако эту ненависть он скрывал искуснее, нежели любовники скрывали любовь свою, задумал же он во что бы то ни стало убить Гвардастаньо. И вот, как раз когда Россильоне на том порешил, стало известно, что во Франции затевается большой турнир; Россильоне поспешил уведомить о том Гвардастаньо и велел передать, чтобы он за ним заехал, а они уж тут обсудят, как и что. Гвардастаньо чрезвычайно обрадовался и ответил, что не преминет быть у него на другой день к ужину.

Получив такое известие, Россильоне решил, что теперь самое время отмстить Гвардастаньо. На другой день он вооружился, взял с собой нескольких слуг, сел на коня и примерно в миле от своего замка, в лесу, устроил Гвардастаньо засаду. Ждал он его долго, вдруг видит: впереди едет безоружный Гвардастаньо, а за ним двое слуг, тоже безоружных, ибо Гвардастаньо не чуял опасности. Когда же Гвардастаньо доехал до того места, где Росоильоне рассчитывал преградить ему дорогу, коварный и разъяренный Россильоне выскочил из лесу с криком: "Умри, злодей!" — и в то же мгновенье пронзил ему грудь копьем. Гвардастаньо не успел вымолвить ни единого слова, а не то чтобы защититься, — пронзенный копьем, он свалился с коня и тут же испустил последний вздох. Слуги его, не узнав убийцу,

поворотили коней и во весь опор помчались к замку своего господина. Россильоне сошел с коня, разрезал ножом грудь Гвардастаньо, собственными руками извлек сердце, а слуге велел завернуть его во флажок, который был прикреплен к копью, и отвезти в замок. Строго-настрого приказав слугам никому ничего не говорить, он сел на коня и поздно вечером воротился домой.

Жена слышала, что Гвардастаньо должен быть к ужину, и с величайшим нетерпением его поджидала; видя, что он не приехал, она была этим озадачена и спросила мужа: "Что же это Гвардастаньо не приехал?"

"Я получил от него известие, что он будет завтра", — отвечал муж, и этот его ответ слегка огорчил жену.

Сойдя с коня, Россильоне послал за поваром и сказал ему: "Вот кабанье сердце, — изготовь мне из него аппетитное и вкусное кушанье. Когда я сяду за стол, пришли мне его на серебряном блюде". Повар отнес его в кухню, разрезал на мелкие куски, положил для вкуса разных пряностей, словом, употребил все свое искусство и приложил все старанья, чтобы изготовить лакомое блюдо.

Мессер Гвильельмо и его жена сели в положенный час за стол. Ужин был подан, однако Гвильельмо не давала покоя мысль о совершенном злодеянии, и ел он мало. Повар прислал то кушанье, которое Гвильельмо ему заказал. Гвильельмо, сославшись на то, что ему есть не хочется, велел поставить блюдо перед женой и расхвалил его. Жене, напротив того, хотелось есть, она попробовала, ей понравилось, и она съела все.

Когда рыцарь увидел, что жена съела все, он обратился к ней с вопросом:

"Ну как вам это кушанье?"

"Очень вкусно, даю вам слово", — отвечала жена.

"Ну и ладно, коли так, — сказал рыцарь. — Впрочем, тут нет ничего удивительного: что вживе было вам дороже всего на свете, то должно понравиться и в виде мертвом".

При этих словах жена его призадумалась.

"Что, что? Чем вы меня накормили?" — спросила она.

Рыцарь же ей ответил так: "Вы съели не что иное, как сердце мессера Гвильельмо Гвардастаньо, которого вы, изменница, так горячо полюбили. Можете быть уверены, что это его сердце, ибо перед тем, как воротиться домой, я своими руками вырвал его из груди Гвардастаньо".

Легко себе представить, в какое отчаяние пришла жена Россильоне, когда узнала, что за участь постигла человека, которого она любила больше всего на свете. "Вы поступили как вероломный и коварный человек, – немного погодя сказала она. – Я добровольно сделала его властелином моей души – он меня к тому не принуждал, – и если я этим вас оскорбила, то наказывать нужно было не его, а меня. Но господь не допустит, чтобы я вкусила что-либо еще после той благородной пищи, какую представляет собой сердце столь доблестного и великодушного рыцаря, каков был мессер Гвильельмо Гвардастаньо!"

С этими словами она вскочила и, не колеблясь ни секунды, спиной выбросилась из окна, у которого она сидела. Окно было высоко над землей, и она разбилась насмерть, тело же ее было изуродовано до неузнаваемости. Мессер Гвильельмо оцепенел. Тут только с совершенной ясностью представилось ему его злодейство, и, убоявшись народного мщения и гнева графа Провансальского, велел он седлать коней и ударился в бегство.

На другое утро вся округа уже знала, что произошло. Обитатели замка мессера Гвильельмо Гвардастаньо вместе с обитателями замка, где жила та женщина, подобрали останки обоих и, горестно рыдая, погребли их в одной гробнице, в церкви при замке жены Россильоне, на гробнице же были начертаны стихи, из коих явствовало, кто здесь похоронен и какова была причина гибели покоящихся под этой плитой.

10

*Жена врача кладет своего любовника,
который был всего-навсего одурманен зельем,
но которого она сочла умершим, в ларь,
и этот ларь вместе с лежащим в нем человеком
уносят два ростовщика; любовник пришел в себя,
но его тут же хватают как вора;
служанка лекарской жены показывает у градоправителя,
что это она положила его в ларь,
позднее украденный ростовщиками,
и ее показания избавляют любовника от виселицы,
а ростовщиков за кражу ларя приговаривают
к денежной пене*

Теперь, после короля, дело было только за Дионео; он и сам это знал, а король ему еще напомнил, и начал он так:

— Горести несчастной любви, о коих нам здесь рассказывали, не только дамам, но и мне преисполнили грусти и сердце и взор, и я с нетерпением ждал, когда же этим рассказам будет конец. Теперь все они, слава создателю, досказаны (если только и мне не припадет охота выделывать нестоящую эту овчинку, но да упасет меня от этого бог!), и я, оставив столь печальный предмет, расскажу что-нибудь получше и повеселее, — может статься, это послужит хорошим началом для завтрашних наших рассказов.

Итак, прекрасные девушки, надобно вам знать, что не так давно жил в Салерно знаменитый врач-хирург Маццео дел-

ла Монтанья, и вот он, уже в глубокой старости, взял да и женился на красивой и знатной девице, своей согражданке, и рядил он ее, на зависть всем прочим горожанкам, в самые что ни на есть роскошные дорогие платья, дарил ей разные драгоценности и все, что только может порадовать женщину, да вот беда: она почти все время мерзла, потому что лекарь плохо ее покрывал в постели. Подобно как мессер Ричардо да Киндзика, о котором у нас с вами шла речь, учил свою жену соблюдать праздничные дни, так же точно лекарь внушал своей благоверной, что, поспавши с женщиной, надобно потом сколько-то там дней набираться сил, и тому подобную чепуху, она же была им весьма недовольна. А так как она была женщина сообразительная и смелая, то и замыслила она свое добро поберечь, выйти на улицу и воспользоваться чужим добром. Многое множество молодых людей прошло перед ее взором, но по нраву ей пришелся только один, и к нему одному устремила она все свои помыслы и на нем одном основала все свои надежды и все свое счастье. Молодой человек это заметил, а так как и она возбудила в нем сильное чувство, то он полюбил ее всем сердцем. Этот молодой человек по имени Руджери д'Айероли происходил от благородных родителей, но был известен дурными своими наклонностями и беспутным поведением, так что у него не осталось ни родственника, ни друга, которые питали бы к нему приязнь и желали бы поддерживать с ним отношения. По всему Салерно шла молва о совершенных им кражах и всяких прочих плутнях, однако лекарская жена смотрела на это сквозь пальцы: он нужен был ей для иных целей, и вот наконец, воспользовавшись посредничеством одной из своих служанок, она назначила ему свидание. Сначала они немножко порезвились, а потом она начала пенять ему за тот образ жизни, который он до сих пор вел, и обратилась к нему с просьбой – ради нее постараться исправиться. А чтобы облегчить ему переход на стезю праведную, она потом время от времени снабжала его деньгами.

Случилось, однако ж, так, что пока они с великою осторожностью продолжали действовать в том же духе, врача

пригласили к человеку с больной ногой. Врач осмотрел ногу и сказал родным, что если теперь же не извлечь загнившую кость, то потом придется отрезать ногу, иначе больной умрет; если же кость будет удалена, то больной может выздороветь, однако и в сем случае он, лекарь, за благоприятный исход не ручается. Родные, будучи подготовлены к смертельному исходу, на это пошли. Приняв в соображение, что без усыпительного средства больной не вытерпит и не дастся, врач, решившись удалить кость вечером, с утра заказал жидкую смесь, которая, по его расчетам, должна была усыпить больного на столько времени, сколько продлится операция. Когда ему эту смесь принесли, он поставил ее у себя в комнате на окне и никому не сказал, что это такое. Вечером, однако ж, только врач собрался идти к тому больному, как из Амальфи к нему явился человек, которого послали ближайшие друзья врача, и передал настоятельную их просьбу бросить все и незамедлительно выехать в Амальфи, ибо там произошло великое побоище и многие пострадали. Врач отложил операцию до утра, сел в лодку и отправился на место происшествия. Будучи уверена, что ночью муж не вернется, жена, по обыкновению, послала тайком за Руджери и заперла его у себя в комнате до того времени, пока домашние не улягутся.

Руджери, поджидавшему свою любезную, то ли от переутомления, то ли оттого, что он наелся соленого, то ли просто-напросто по привычке, мучительно захотелось пить, и когда он увидел на окне бутыль, приготовленную лекарем для больного, то решил, что это питьевая вода, и всю ее выпил. Немного погодя веки у него стали слипаться, и он заснул крепчайшим сном. Возлюбленная при первой возможности пришла к нему, но, увидев, что он спит, принялась тормошить его и тихонько будить, – это не оказало на него ни малейшего действия: он ничего не отвечал и не шевелился. “Вставай, сонная тетеря! Ты что, спать сюда пришел?” – сказала дама и в сердцах толкнула его. Руджери свалился с сундука, как труп. Слегка испуганная, дама попыталась приподнять его, начала трясти, хватала его за

нос, дергала за бороду – все было напрасно: он спал без задних ног. Тогда ей пришла в голову страшная мысль: а что, если он умер? Уж она его и щипала, и свечкой жгла, – никакого толку. Хотя муж у нее был медик, она в медицине ничего не понимала, а потому у нее не осталось никаких сомнений, что Руджери мертв. Легко себе представить, в какое отчаяние пришла она, любившая Руджери больше всего на свете. Не смея поднимать шум, она втихомолку плакала над ним и сетовала на свою недолю.

Немного спустя, подумав, что утрата утратой, да ведь вдобавок и сраму, пожалуй, не оберешься, она стала напрягать мысль: как бы вынести из дому мертвое тело. Поломав голову, она тихонько позвала служанку и, объяснив, что за напасть с ней приключилась, попросила что-нибудь ей присоветовать. Служанка подивилась; она тоже потрясла, пощипала Руджери, однако ж, уверившись, что перед нею бесчувственное тело, пришла к такому же точно заключению, что и ее госпожа, то есть что он, вне всякого сомнения, кончился, и посоветовала вынести его из дому.

"Где бы нам его положить, так, чтобы завтра, когда его обнаружат, никто не заподозрил, что его вынесли из нашего дома?" – спросила госпожа.

А служанка ей: "Сударыня! Вечером я видела около мастерской нашего соседа-столяра небольшой ларь. Если только хозяин не унес его домой, он бы нам очень пригодился: мы положим мертвого туда, пырнем его раза три ножом и там и оставим. Те, что его найдут, вряд ли заподозрят, что его вынесли от нас. Скорей подумают, что он вышел на недоброе дело, – ведь всем и каждому известно, что он малый дрянной, – а кто-нибудь из недругов его прикончил и спрятал в ларь".

Совет служанки показался госпоже разумным, – вот только нанести ему раны у нее, мол, не хватит духу, – и она послала ее поглядеть, там ли еще ларь. Служанка сбегала и сказала, что ларь еще там. И вот служанка, молодая, здоровая, с помощью госпожи взвалила Руджери себе на плечи, госпожа пошла вперед в качестве дозорного, и как скоро

приблизились они к ларю, то положили туда Руджери и, захлопнув крышку, так там и оставили.

В тот дом, который находился за домом столяра, переехали на постоянное жительство два молодых человека, отдававших деньги в рост; оба они были приобретатели и жмоты, а так как они нуждались в домашней утвари, то когда на глаза им попался этот самый ларь, то они решили, что если он простоит здесь до ночи, то они уволокут его к себе в дом. В полночь они вышли из дому, обнаружили ларь на прежнем месте и, не теряя драгоценного времени, хоть и тяжеленек он им показался, утащили к себе, кое-как поставили рядом с комнатой, где спали их жены, и пошли на боковую.

Руджери долго спал без просыпу, однако ж в конце концов снадобье, переварившись у него в желудке, перестало действовать, и проснулся он перед самой утреней, и все же, хотя сон у него и прошел и чувствительность к нему вернулась, голова у него была тяжелая, и отупение это длилось всю ночь и потом еще несколько суток. Он открыл глаза – темно; тогда он вытянул руки и, убедившись, что лежит в ларе, начал шевелить мозгами и сам с собой рассуждать: “Что же это такое? Где я? Сплю или же бодрствую? Ведь я отлично помню, что вечером был в комнате у моей возлюбленной, а теперь я словно бы в ларе. Как же так? Уж не вернулся ли врач, а может, еще что-нибудь произошло, из-за чего моя возлюбленная вынуждена была запрятать меня, сонного, в ларь? Наверно, так оно и было”.

Тут он притаился и прислушался. Долго он напрягал слух, а так как ларь был узковат и представлял собой неудобное ложе, – да к тому же еще Руджери отлежал себе бок, – то и захотелось ему повернуться на другой бок, однако ж при этом он выказал изрядную ловкость: ударился спиной об одну из стенок ларя, который стоял на неровном полу, ларь наклонился и упал. Упал же он с таким невообразимым грохотом, что женщины, спавшие за перегородкой, проснулись, перепугались и от испуга притихли. Падение ларя устрашило Руджери, однако ж, почувствовав, что ларь раскрылся,

он предпочел, коль скоро представился такой случай, выйти из ларя, нежели в нем оставаться. Но ведь Руджери понятия не имел, где он находится, а потому он наугад, наудачу двинулся в поисках лестницы или же двери. Услышав, что кто-то ходит, проснувшиеся женщины крикнули: “Кто там?” Голоса были незнакомые, и Руджери рассудил за благо не откликаться; тогда жены позвали мужей, но те легли поздно, спали по сему случаю крепким сном и ровным счетом ничего не слыхали. Тут у женщин и вовсе душа в пятки ушла, — они бросились к окнам и давай кричать: “Караул! Грабят!” Соседи переполошились и разными путями поспешили к ним на помощь: кто проник через слуховое окно, кто через парадный ход, кто через черный, а тем временем и хозяева проснулись от крика.

Остолбеневшего Руджери, не знавшего, куда бежать, да и следует ли бежать, схватили и сдали с рук на руки стражникам, коих привлек сюда шум. Когда Руджери привели к судье, то его, как человека, которого считали способным на любое преступление, незамедлительно подвергли пытке, и под пыткой он сознался, что проник в дом ростовщиков с целью грабежа, а градоправитель, основываясь на сей пыточной записи, вознамерился повесить его без промедления.

Утром уже весь Салерно говорил о том, что Руджери пойман на месте преступления в доме у ростовщиков. Когда же сия весть дошла до лекарской жены и ее служанки, то обе они были так поражены, что им уже начало казаться, будто ночные их похождения привиделись им во сне. Ко всему прочему опасность, нависшая над Руджери, сводила его возлюбленную с ума. Рано утром возвратился из Амальфи лекарь и, намереваясь сделать больному операцию, велел подать ему бутыль со снадобьем. Когда же он увидел пустую бутыль, то стал кричать, что в доме у него порядка нет.

У его жены была своя кручина на сердце, и потому она огрызнулась: “Как бы вы запели, доктор, если б с вами взаправду беда стряслась? А вы разбушевались, оттого что из

бутылки воду вылили. Да что, на свете больше воды, что ли, нет?"

А лекарь ей на это: "Ты думаешь, жена, что то была чистая вода, но ты ошибаешься: то было усыпительное снадобье". И тут лекарь ей рассказал, на какой предмет он его изготовил.

Выслушав его, жена тот же час сообразила, что воду эту выпил Руджери, и оттого-то они со служанкой и решили, что он мертв. "А мы и не знали, доктор, – сказала она, – уж придется вам еще раз заказать". Делать нечего – пришлось лекарю заказать свежее снадобье.

Немного погодя служанка, ходившая по приказанию госпожи послушать, что говорят о Руджери, вернулась и доложила: "Сударыня! О Руджери я доброго слова не слышала. Сколько мне известно, ни один родственник и ни один его друг не пришел и не пожелал прийти, чтобы его выгородить, и все убеждены, что завтра судья по уголовным делам велит его повесить. А теперь я вам расскажу, как он попал к ростовщикам. Вы только послушайте. Вы же знаете столяра, – против его мастерской стоял ларь, куда мы положили Руджери. Так вот, столяр ругался сейчас с каким-то мужчиной – должно полагать, с владельцем того самого ларя: владелец требовал деньги за ларь, а столяр уверял, что он его не продавал – ларь, дескать, у него ночью украли. А тот ему: "Неправда! Ты его продал двум молодым ростовщикам – я увидел ларь у них в доме, когда изловили Руджери, и они мне сами сказали". А столяр ему: "Врут они, я и не думал ларь продавать; верно, они-то ночью и сперли его у меня. А ну, пойдем к ним!" Тут они вместе пошли к ростовщикам, а я – домой. Вот, значит, как Руджери там очутился, а уж как он ожил – это для меня загадка".

Тут жене лекаря все стало ясно, и она, пересказав служанке свой разговор с мужем, обратилась к ней с просьбой спасти Руджери: стоит, мол, ей захотеть – и она спасет Руджери, а госпожу свою избавит от поношенья.

"Вы меня только научите, сударыня, – молвила служанка, – а уж за мной дело не станет".

Понимая, что время не терпит, госпожа тут же придумала, как должно действовать, и обстоятельно изложила замысел свой служанке.

Служанка первым делом пошла к лекарю и со слезами заговорила: “Мессер! Я хочу попросить у вас прощения, потому как я перед вами очень виновата”.

“В чем же?” – спросил доктор.

Служанка, все так же неутешно плача, продолжала: “Мессер! Вы, конечно, знаете, кто таков Руджери д'Айероли, и вот я ему приглянулась и отчасти из страха, отчасти по любви стала в нынешнем году его подружкой. Когда он прослышал, что вечером вы уезжаете, он меня уговорил пустить его в ваш дом, ко мне в комнату, переночевать, но, как на грех, он умирал от жажды, а я не знала, где тут близко вода или вино, да и не хотелось мне, чтобы ваша супруга меня увидела, – на ту пору она в зале была, – и вдруг я вспомнила, что у вас в комнате стоит бутыль с водой, сбегала за ней, напоила его, а бутыль на место поставила, – из-за этого-то вы потом и раскричались. Я поступила дурно, это я сознаю, – ну да ведь все мы не без греха. Я очень даже раскаиваюсь, тем паче что за этот мой проступок и за его последствия может поплатиться жизнью Руджери, и вот я слезно молю вас: уж вы простите меня и дозвольте сделать все, что в моих силах, чтобы спасти Руджери”.

Лекарь хоть и был раздосадован, однако ж не отказал себе в удовольствии подшутить над служанкой. “Ты сама себя наказала, – заметил он, – поджидала молодца, чтобы он тебя всю ночь нажаривал, а заполучила сонную тетерю. Ступай выручай своего милого, но только чур: больше ко мне в дом его не водить, а то я с тобой рассчитаюсь сразу за все!”

Лиха беда – начало; служанка бегом побежала в тюрьму, где сидел Руджери, и упросила тюремщика дозволить ей поговорить с заключенным. Научив Руджери, как должно отвечать на вопросы судьи, если он желает выкрутиться, она тут же добилась того, что ее принял судья.

Обратив внимание на то, какая она свежая и здоровая, судья не стал пока ничего слушать, а вознамерился поддеть

рабу божию на крючок, и она для пользы дела не отвергла его притязаний; когда же она поднялась после накачки, то обратилась к нему с такими словами: “Мессер! У вас сидит за грабеж Руджери д'Айероли, но он ни в чем не виноват”. И тут она ему от начала до конца все и рассказала: как она, подружка Руджери, привела его в дом лекаря, как нечаянно напоила его сонным зельем и как, вообразив, что он мертв, положила его в ларь, а затем, в пояснение того, каким образом Руджери оказался в доме у ростовщиков, сообщила о ссоре столяра с владельцем ларя, коей она явилась невольной свидетельницей.

Судья, сообразив, что все это легко проверить, первым делом расспросил лекаря, что это был за напиток, и убедился, что служанка говорила правду. Затем призвал столяра, владельца ларя и ростовщиков и после длительного допроса установил, что ростовщики прошедшей ночью действительно утащили ларь к себе в дом. После этого он велел привести Руджери и задал ему вопрос, где он был вечером; Руджери ответил, что не знает, – помнит только, что пошел вечером к служанке доктора Маццео, что его мучила жажда и что он у нее в комнате выпил воды, а дальше, мол, ничего не помнит, очнулся же он в ларе, в доме у ростовщиков. Судье это показалось презабавным, и он заставлял служанку, Руджери, столяра и ростовщиков по нескольку раз все опять сначала рассказывать.

В конце концов он присудил ростовщиков, укравших ларь, к уплате десяти унций, а Руджери признал невиновным и освободил из-под стражи. Легко себе представить, как счастлив был Руджери, а его возлюбленная ликовала. Впоследствии она, Руджери и их благодетельница служанка часто хохотали до упаду при одном воспоминании о том, как служанка чуть было не пырнула ножом Руджери; что же касается Руджери и жены лекаря, то они жили в совете и в любви, все больше друг дружкой пленяясь. И я бы себе желал того же, но только чтоб меня не упрятывали в ларь.

Первые повести опечалили пленительных дам, зато последняя, которую рассказал Дионео, вызвала у них неудержимый смех, особливо в том месте, где судья поддевает на крючок, и это вознаградило их за испытанную ими сегодня душевную боль. Но тут Филострато, обратив внимание, что солнечный свет потускнел, — а это означало, что царствованию его пришел конец, — со всевозможною учтивостью извинился перед приятными дамами за то, что предложил столь печальный предмет, как несчастная любовь. Принеся же извинения, он встал, снял с головы лавровый венок, и только дамы успели задать себе вопрос, на кого он его возложит, как он изящным движением возложил его на златокудрую головку Фьямметты.

— Я возлагаю этот венок на тебя, — сказал он, — потому что завтра ты лучше, чем кто-либо из твоих подруг, сумеешь вознаградить их за сегодняшний тяжелый день.

Фьямметта, у которой длинные, вьющиеся золотистые волосы падали на белые нежные плечи, у которой кругленькое личико отливало и белизною лилий, и румянцем роз, у которой были ясные очи, а губки — как два рубина, ответила ему, улыбаясь:

— Я охотно принимаю от тебя венок, Филострато. А чтобы тебе стало еще яснее, что ты испортил нам сегодняшний день, я уже сейчас объявляю свою волю и всем приказываю быть готовыми рассказывать завтра *О том, как влюбленным после мытарств и злоключений в конце концов улыбалось счастье.*

Предложение Фьямметты всеми было одобрено. Тогда она послала за дворецким и обо всем с ним уговорилась, после чего дамы и молодые люди встали, и Фьямметта со спокойной душою отпустила их до ужина.

Кто пошел в сад, — а сад был до того красив, что на него нельзя было наглядеться, — кто — к мельницам, что за садом, кто — туда, кто — сюда, и до самого ужина все развлекались соответственно своим склонностям. Но вот пришло время ужинать, все, по обыкновению, собрались у дивного фонтана и с превеликим удовольствием сели за отлично

сервированный ужин. Когда же они встали из-за стола, то, по обычаю, надлежало быть танцам и пенью, и едва лишь Филомена открыла танец, как королева сказала:

— Филострато! Я не собираюсь отступать от обычая, заведенного моими предшественниками. По их примеру я изъявляю желание послушать пенье, а так как я уверена, что песни твои ничем не отличаются от твоих повестей, то, чтобы ты нам, по крайней мере, другие дни не омрачал своими злоключениями, я приказываю тебе спеть нынче, — так спой же свою любимую песню!

Филострато охотно согласился и в ту же минуту запел:

Страданьем доказал
Я миру, сколь достоин сожаленья
Тот, кто к неверной возымел влеченье.

Любовь! Когда зажгла в душе моей
Ты образ той, о ком грущу в разлуке,
Казалось мне, она
Такой небесной чистоты полна,
Что легкими я мнил любые муки,
Какие ждут людей
По милости твоей;
Но понимаю ныне в сокрушенье,
Что пребывал в глубоком заблужденье.

Открылось это в черный день, когда
Я был покинут тою,
Кем навсегда пленен.
Как быстро, с первой встречи покорен,
Я сделался ей преданным слугою!
Не чуял я тогда,
Что ждет меня беда
И что, презрев свои же уверенья,
Она отдаст другому предпочтенье.

Едва лишь я уразумел, какой
Нежданный и тем более ужасный

Удар меня постиг,
Мне стали ненавистны час и миг,
Когда узрел я лик ее прекрасный,
Сверкающий такой
Красою неземной.
Теперь свое былое ослепленье
Считаю я достойным лишь презренья.

Отчаянья и боли не тая,
Владычица-любовь, твой раб послушный
Смиренно шлет тебе
Мольбу в надежде, что к его судьбе
Ты, дивная, не будешь равнодушна.
Так жизнь страшна моя,
Что смерти жажду я.
Пускай придет, прервет мои мученья
И разом мне дарует избавленье.

Поверь, любовь, от горя моего
Осталось средство лишь одно – кончина
И, мне послав ее,
Ты явишь милосердие свое,
А той, кто всех моих скорбей причина
И обвинять кого
Мне тяжелей всего,
Доставишь больше удовлетворенья,
Чем новый друг внушает вожделенья.

Не жду я, песнь моя, что в ком-нибудь
Сочувствие найдет твой звук унылый,
Но ты к любви лети
И ей нелицемерно возвести,
Что груз утраты у меня нет силы
С усталых плеч стряхнуть.

Пусть в море слез мне путь
Она укажет к гавани забвенья,

Где обрету и я успокоенье.
Страданьем доказал,
и так далее.

Из слов этой песни всем стало ясно, каково было у Филострато расположение духа и чем оно было вызвано; впрочем, это было бы еще яснее, когда бы ночная темнота не скрыла румянца, внезапно вспыхнувшего на ланитах одной из танцевавших девушек. После Филострато пели многие, а затем настала пора отдохнуть, и по повелению королевы все разошлись по своим покоям.

Кончился четвертый день
ДЕКАМЕРОНА,
начинается пятый.
В день правления
ФЬЯММЕТТЫ
предлагаются вниманию
рассказы о том,
как влюбленным после мытарств
и злоключений в конце концов
улыбалось счастье

Восток побелел и первые лучи восходящего солнца озарили все наше полушарие, когда Фьямметта, пробужденная приятным для слуха пением птичек, в шесть часов утра уже весело щебетавших в кустах, встала с постели и велела позвать девушек и трех молодых людей. Неспешным шагом спустившись в долину, она пошла по росистой траве широкого луга, беседуя с друзьями о том, о сем, и так они гуляли, пока солнце было еще низко. Когда же Фьямметта ощутила жгучесть его лучей, то повернула обратно. Придя домой, она отдала распоряжение подкрепиться после прогулки добрым вином и сластями, а затем до самого обеда все общество развлекалось в приютном саду. Как же скоро пришло время обеда и распорядительный дворецкий все уже приготовил, девушки и молодые люди спели несколько песенок, а затем, согласно тому, как изволила приказать королева, с веселым видом заняли места за столом. Обед прошел оживленно, с соблюдением чина; не был нарушен и обычай потанцевать после обеда: под аккомпанемент музыкальных инструментов было исполнено несколько танцев с пением. Затем королева отпустила всех отдохнуть. Некоторые пошли спать, другие предпочли остаться в чудном саду. Но в начале четвертого часа все, исполняя желание королевы, собрались, как того требовал заведенный порядок, у фонтана. Заняв председательское место и с улыбкой взглянув на Панфило, королева объявила, что ему первому повелевает она рассказать повесть с благополучным концом.

1

Чимоне, умудренный любовью,
похищает в море любимую свою Ифигению;
в Родосе его заключают в темницу;
Лизимах выпускает его на волю,
и они оба умыкают Ифигению и Кассандру
во время свадебного их торжества;
они бегут с ними на остров Крит, женятся на них,
а затем все получают приглашение вернуться домой

– В начале столь веселого дня, каким обещает быть сегодняшний день, я бы мог рассказать вам, прелестные дамы, немало повестей, но одна из них представляется мне наиболее уместной, ибо это не только повесть с благополучным концом, ради которого мы, собственно, и намерены рассказывать, – из нее вам станет ясно, сколь священна, сколь могущественна и сколь благодетельна сила Амура, которого многие, сами не зная – за что, в высшей степени несправедливо, клянут и порочат. Так как вы все влюблены, то надеюсь, что подобного рода повесть может быть вам только приятной.

Итак, нам приходилось читать в летописях Кипра, что там некогда жил знатный человек по имени Аристипп, оделенный житейскими благами больше, чем кто-либо из его земляков, так что, когда бы судьбина не обделила его в другом, он мог бы почитать себя за счастливейшего человека в мире. Дело состояло в том, что один из его сыновей, самый

рослый и статный юноша на всем Кипре, был глуп, и притом – безнадежно; как ни бился с ним учитель, как ни старался пронять его лаской и тоской отец, на какие только ухищрения ни пускались другие – учение так ему и не далось, он так и не пообтесался, голос у него был грубый и для ушей несносный; вообще это был не человек, а животное, – вот почему, хотя настоящее имя его было Галезо, все в насмешку называли его “Чимоне”, что на их языке означает “скот”. Неудачный сын доставлял отцу немало огорчений, и в конце концов отец махнул на него рукой и, чтобы не видеть больше перед собой этот свой крест, сослал сына в деревню: пусть, мол, живет там вместе с простыми земледельцами, а Чимоне тому и рад, ибо нрав и обычай простолюдинов был ему во много раз милее городских нравов.

И вот случилось так, что когда Чимоне уже перебрался на жительство в деревню и занялся полевыми работами, однажды, в полуденный час, с посохом на плече идя из одного именья в другое, он вошел в самую красивую из всех окрестных рощ, одетую густою листвой, ибо дело было в мае. Сама судьба вывела его на поляну, окруженную высокими деревьями, на краю поляны бил чудесный, холодный ключ, а подле ключа на зеленой луговине почивала красавица девушка, коей прозрачная одежда почти не утаивала белого ее тела; от пояса же до ступней ее прикрывал легкий белоснежный покров; у ног девушки спали две ее служанки и один слуга. Узрев ее, Чимоне оперся на посох и молча, с неизъяснимым восторгом, как будто впервые видел женщину, устремил на нее пристальный взор. И тут в его грубой душе, которой, как ни пытались облагородить ее, нежность чувствований дотоле была не сродна, возникло ощущение, внушившее низменному и незрелому его уму, что пред ним прекраснейшее создание из всех, какие когда-либо созерцал смертный. Рассматривая ее тело, Чимоне пришел в восхищение от ее волос, которые он уподобил золоту, ото лба, носа, рта, шеи, рук, в особенности же – от груди, еще не высокой, и, внезапно превратившись из хлебопашца в ценителя прекрасного, почувствовал неодоли-

мое желание увидеть ее глаза, которые смежил ей глубокий сон, – чтобы увидеть их, он несколько раз порывался ее разбудить. Но так как она показалась ему неизмеримо прекраснее всех женщин, которых он видел прежде, то ему пришла в голову мысль: уж не богиня ли это? Однако ж у него все-таки достало ума, чтобы сообразить, что божества подобает чтить больше, нежели существа земнородные, – вот почему он себя сдержал и вознамерился подождать, пока она проснется сама, и хотя время тянулось долго, со всем тем уходить ему не хотелось – так сильно было впервые испытываемое им наслаждение.

В конце концов девушка, – ее звали Ифигения, – пробудилась прежде слуг своих и, подняв голову и раскрыв глаза, увидела, что перед ней, опершись на посох, стоит Чимоне. "Это ты, Чимоне? – в крайнем изумлении спросила она. – Что ты в лесу делаешь?"

Надобно заметить, что Чимоне был известен на всю округу как своим пригожеством, так и своею придурковатостью; знали также, что отец его – человек именитый и состоятельный. Чимоне ничего не ответил Ифигении, – увидев раскрытые ее глаза, он приковал к ним взгляд, и почудилось ему, будто нега ее очей вливает ему в душу не изведанную им доселе отраду.

Как скоро девушка это заметила, у нее мелькнула мысль, не предвещает ли пристальный взгляд этого мужлана чего-либо порочащего ее честь, а потому она разбудила служанок и, став на ноги, сказала: "Иди себе с богом, Чимоне!"

А Чимоне ей на это: "Я с тобой пойду".

Сколько девушка ни отнекивалась, все еще боясь каких-либо выходок с его стороны, но так и не сумела от него отделаться, и он проводил ее до самого дома, а затем пошел к отцу и объявил, что больше жить в деревне не желает. И хотя отцу и другим его родным это было не по сердцу, они все же не прогнали Чимоне: дай, думают, поглядим, что это вдруг ему вздумалось переменить образ жизни.

Между тем в душу Чимоне, куда бессильна была проникнуть любая наука, благодаря красоте Ифигении проникла

стрела Амура, и он, поразив отца, а равно и всех своих родных и знакомых, в кратчайший срок привел в исполнение множество родившихся у него в голове замыслов. Прежде всего он обратился к отцу с просьбой выдать ему такое же точно одеяние и убранство, как у его, Чимоне, братьев, каковую просьбу отец с превеликим удовольствием исполнил. Далее, начав водиться с достойными молодыми людьми и узнав, каким требованиям долженствует удовлетворять молодой человек благородного происхождения, да к тому же еще влюбленный, он, вызвав всеобщее и чрезвычайное изумление, за короткое время не только выучился грамоте, но и стал одним из великих любомудров. Затем, – и все ради Ифигении, – он сумел изменить свой голос: прежде голос у него был грубый, как у деревенского малого, а теперь он стал у него благозвучным, каким надлежит быть голосу человека светского; этого мало: Чимоне хорошо разбирался и в пении и в музыке, сделался искусным и смелым наездником, оказал успехи и в ратном деле – как на море, так и на суше. Чтобы особенно не распространяться об его подвигах, скажу лишь, что не прошло и четырех лет с тех пор, как Чимоне влюбился, а он уже стал привлекательнейшим, благовоспитаннейшим и достойнейшим юношей на всем Кипре.

Так что же все-таки, очаровательные дамы, произошло с Чимоне? А вот что: те совершенства, коими небо наделило его благородную душу, завистливый рок заточил в крохотном уголке его сердца и крепким вервием их привязал, Амур же оказался неизмеримо сильнее рока, и он это вервие распутал и, распутав, порвал. Обладая способностью пробуждать дремлющие умы, Амур, употребляя для таковой цели свою мощь, возносит их из злобной тьмы к яркому свету, наглядно показывая, откуда вызволяет он подвластный ему дух и куда, озаряя своими лучами, ведет.

Так вот, хотя влюбленный в Ифигению Чимоне и развлекался кое-когда на стороне, как то обыкновенно водится за влюбленными юношами, со всем тем Аристипп, приняв в уважение, что Амур превратил его сына из барана в

человека, не только терпел его развлечения, но еще и внушал ему, что стеснять себя не следует. Однако же Чимоне, который, кстати сказать, просил, чтобы его не называли Галезо, – он помнил, что Ифигения называла его Чимоне, – имел насчет нее самые честные намерения и неоднократно делал попытки разведать, согласится ли отец Ифигении Чипсео отдать за него дочь, Чипсео же неизменно отвечал, что он просватал ее за Пазимунда, знатного родосского юношу, и хочет быть верен своему слову.

Когда время Ифигениевой свадьбы приблизилось и жених уже прислал за невестой, Чимоне сказал себе: "Теперь мне надлежит доказать тебе, Ифигения, как я тебя люблю. Только благодаря тебе я стал человеком, и я не сомневаюсь, что когда ты будешь моей, я стану счастливее всех богов. Что-нибудь одно: или ты будешь принадлежать мне, или я погибну". Он тут же вступил в заговор со своими друзьями, знатными юношами, и, отдав тайное распоряжение снабдить корабль всем, что потребно для морского сражения, вышел в море и стал поджидать корабль, на котором должны были доставить Ифигению к ее жениху в Родос. Отец Ифигении оказал друзьям ее жениха великие почести, а затем они вышли в море и взяли курс на Родос. Чимоне тем временем не дремал: на другой же день он их настиг и, стоя на носу своего корабля, громким голосом крикнул: "Уберите паруса, а не то мы вас одолеем и потопим в море!" Противники Чимоне взялись за оружие и изготовились к обороне. Тогда Чимоне схватил длинный железный абордажный крюк и, ухитрившись зацепить за корму быстро уходивший родосский корабль, притянул его к борту своего судна и, исполненный львиной отваги, не долго думая и ни во что врагов своих не ставя, перепрыгнул на их корабль. Воодушевляемый Амуром, он с кинжалом в руке ринулся в самую гущу врагов и, одного за другим, принялся резать их, как овец. Родосцы мигом побросали оружие и почти все сдались в плен.

Чимоне же им сказал: "Выслушайте меня, юноши: не корысть и не злоба принудили меня оставить Кипр и в откры-

том море подъять против вас вооруженную длань. То, из-за чего я на это решился, составит для меня драгоценнейшую добычу, вы же не потерпите ни малейшего урона, если отдадите мне это добром: я разумею Ифигению, – я люблю ее больше всего на свете, но отец не пожелал выдать ее за меня добром, полюбовно, – тогда Амур подстрекнул меня действовать враждебно и с оружием в руках отбить ее у вас. Словом, я намерен заменить ей Пазимунда. Отдайте мне ее, и да хранит вас господь!"

Молодые люди, движимые не столько великодушием, сколько страхом, уступили Чимоне плачущую Ифигению. Видя, что она плачет, Чимоне обратился к ней с такими словами: "Утешься, высокородная дева! Я – твой Чимоне, я люблю тебя с давних пор и потому более достоин быть твоим мужем, нежели Пазимунд, у которого, кроме обещания, данного ему твоим отцом, нет никаких прав на тебя".

Тут Чимоне велел перевести Ифигению на свой корабль и, ничего больше не взяв у родосцев, возвратился к своим товарищам, родосцев же отпустил с миром. В восторге от того, что ему столь драгоценная досталась добыча, Чимоне постарался успокоить плачущую Ифигению, а затем стал держать совет со своими товарищами, и на этом совете было решено, что сейчас не стоит возвращаться на Кипр; Чимоне и его товарищи единодушно остановили свой выбор на Крите, исходили же они из того, что благодаря своим старинным и недавним родственным связям, а также благодаря множеству друзей, какие у них там были, все они, в особенности же Чимоне и Ифигения, будут чувствовать себя там в безопасности, – туда они и направили свой корабль.

Однако ж изменчивый рок, дозволивший Чимоне почти беспрепятственно взять в добычу любимую девушку, претворил неизъяснимый восторг влюбленного юноши в лютую и горькую муку. Спустя всего каких-нибудь четыре часа после того, как Чимоне расстался с родосцами, спустилась ночь, от коей Чимоне ожидал больших приятств, нежели от какой-либо еще в своей жизни, но с наступлением ночи

вдруг поднялась страшнейшая буря, небо заволокло тучами, на море заходил буйный ветер, все растерялись и не знали, в каком направлении двигаться, корабль швыряло так, что моряки не могли удержаться на ногах, а уж об исполнении обязанностей и думать было нечего. Легко себе представить, в каком отчаянии пребывал Чимоне. Ему казалось, что боги исполнили его желание лишь для того, чтобы тем горше было ему умирать, тогда как, не будь с ним Ифигении, он встретил бы смерть спокойно. Пали духом и его товарищи, но всех более – Ифигения: она плакала навзрыд и пугалась каждой новой волны, ударявшейся о борт корабля. Рыдая, Ифигения осыпала страшными проклятьями Чимоне с его любовью, возмущалась его удальством и уверяла, что свирепую эту бурю наслали на них боги: они воспрепятствовали тому, чтобы он, посмевший взять ее, Ифигению, за себя наперекор их воле, осуществил дерзостное свое намерение, – они обрекли его на то, чтобы он сначала явился свидетелем ее гибели, а затем и сам бесславно погиб. Все громче и громче стеная, не зная, что предпринять, ибо ветер усиливался, моряки, ничего не видя и не представляя себе, куда они идут, приблизились к острову Родосу. Не поняв, что это Родос, они напрягли нечеловеческие усилия, дабы высадиться и спастись. Судьба им благоприятствовала: она привела их в небольшой залив, куда незадолго до них вошли на своем корабле отпущенные Чимоне родосцы. Не успели они сообразить, что это остров Родос, как занялась заря, небо прояснело, и они увидели, что находятся на расстоянии выстрела из лука от корабля, который они за день до того отпустили. Удрученный этим обстоятельством, опасаясь как раз того, что потом с ними и случилось, Чимоне приказал во что бы то ни стало отсюда выбраться, а там, мол, будь что будет: все равно хуже того, что с ними приключилось, быть уже не может. Сверхъестественные усилия моряков оказались, однако ж, тщетными: крепчайший ветер, дувший в противную сторону, не только не дал им выйти из заливчика, но, вопреки их стараниям, пригнал их обратно к берегу. Как скоро они

причалили, их узнали сошедшие со своего корабля родосцы. Один из них помчался в ближайшую деревню, куда пошли знатные родосские юноши, и сообщил им, что судьба забросила сюда и Чимоне с Ифигенией. Те, взыграв духом, взяли с собой множество поселян, поспешили к морю, и Чимоне, вместе со своими спутниками ступивший на сушу и надеявшийся укрыться в ближнем лесу, был ими схвачен вместе с товарищами, с Ифигенией и приведен в деревню. С целым отрядом вооруженных людей прибыл сюда из города правивший тогда Родосом Лизимах и препроводил Чимоне и его товарищей в тюрьму, чего как раз и добивался Пазимунд, узнавший о происшедшем и подавший жалобу в родосский сенат.

Так несчастный влюбленный Чимоне, только успев похитить Ифигению и сорвать с ее уст поцелуй, принужден был с нею расстаться. Родосские знатные дамы приютили Ифигению и пытались приободрить ее, так как она все еще не могла опомниться после похищения и после всего, что она натерпелась в бурю; они предложили ей до свадьбы пожить у них. Чимоне и его сообщникам в награду за то, что они отпустили родосских юношей, была дарована жизнь, хотя Пазимунд добивался для них смертной казни, — они были приговорены к пожизненному заключению. Не трудно вообразить, что отчаяние их было безысходно; что же касается Пазимунда, то он всячески старался приблизить день свадьбы.

Но вот тут-то судьба, раскаявшись, как видно, в том, что обошлась с Чимоне столь круто и столь несправедливо, отыскала для него путь к спасению. У Пазимунда был брат по имени Ормизд, хоть и моложе его, но нисколько не хуже, и вот этот-то самый Ормизд давно уже искал руки родовитой и красивой девушки, местной жительницы по имени Кассандра, которую страстно любил Лизимах, однако же свадьба по разным причинам неоднократно расстраивалась. И вот Пазимунд в преддверии высокоторжественного своего бракосочетания, дабы избежать лишних расходов, сопряженных с празднеством, рассудил за благо

отпраздновать заодно и свадьбу Ормизда. Того ради он вновь вступил в переговоры с родителями Кассандры, получил их согласие, и тогда оба брата вместе с родителями Кассандры порешили, что в один и тот же день Пазимунд женится на Ифигении, а Ормизд – на Кассандре. Лизимах пришел от того в великое отчаяние, ибо до сих пор у него все еще теплилась надежда, что если с Ормиздом у Кассандры дело разойдется, Кассандра непременно достанется ему. Но так как он был человек благоразумный, то горе свое затаил и, раздумывая о том, как бы это расстроить свадьбу, пришел к заключению, что самый верный способ – это похищение. Власть, которою он пользовался, облегчала ему осуществление его замысла, однако ж он полагал, что если б он не стоял у кормила власти, честь его пострадала бы меньше. В конце концов, после долгих колебаний, любовь осилила чувство чести, и он порешил во что бы то ни стало похитить Кассандру. Подумав же о сообщниках и о том, как это лучше всего привести в исполнение, он вспомнил о Чимоне и его товарищах, которых он содержал в тюрьме, и пришел к мысли, что лучше и надежнее сообщника для такого дела, чем Чимоне, ему не найти.

Того ради он велел тайно привести к нему ночью Чимоне и обратился к нему с такими словами: "Чимоне! Боги – всещедрые податели благ, они же суть мудрейшие испытатели человеческой доблести, и тех, что выказали стойкость и твердость во всех случаях жизни, они, как наиболее достойных, наивысшей отличают наградой. Так вот, они пожелали, чтобы ты повел себя еще достойнее, нежели в дому отца твоего, а я знаю твоего отца как обладателя несметных богатств. Я слыхал, что с помощью язвительных мук любви они прежде всего превратили тебя из неразумного животного в человека, а затем, подвергнув тяжкому испытанию и заключив в мрачное узилище, положили удостовериться, стал ли ты менее отважен после того, как тебе довелось недолго радоваться захваченной добыче. Если отвага твоя осталась прежней, то никогда еще их благостыня не была столь великой и щедрой, как та, которую они

ныне восхотели уготовать тебе, а в чем она будет заключаться, это я тебе сейчас объясню, дабы ты оживился и воспрял духом. Пазимунд радуется твоему несчастью, ищет твоей погибели и делает все для того, чтобы ускорить свой брак с Ифигенией и воспользоваться добычей, которою благоприятствовавшая тебе судьба сначала тебя осчастливила, дабы потом, внезапно разгневавшись, ее у тебя отнять. Как ты сейчас должен страдать, – если только ты в самом деле любишь Ифигению, – это я знаю по себе: такую же точно рану в тот же день нанесет мне брат его Ормизд из-за Кассандры, которую я люблю больше всего на свете. Для того чтобы предотвратить эту напасть, эту несправедливость судьбы, у нас с тобой по воле все той же судьбы не остается иного средства, как бодрость нашего духа и крепость наших десниц, каковые должно вооружить мечами, дабы ты проложил себе путь к вторичному похищению своей любимой, мне же предстоит похитить мою любезную впервые. Так вот, если ты мечтаешь не о том, чтобы возвратить себе свободу, – сколько я могу судить, свобода без твоей любимой не представляет для тебя особой ценности, – а о том, чтобы воссоединиться с твоей любимой, то прими участие в моем начинании, и боги отдадут ее тебе".

Эти слова подняли упавший дух Чимоне, и он не замедлил на них ответить: "Лизимах! Для такого дела ты не сыщешь себе товарища более стойкого и более верного, чем я, если только я получу обещанную награду, а потому поручи мне то, что от меня требуется, и ты увидишь, на какие чудеса храбрости я способен".

Лизимах же ему сказал: "Послезавтра обе молодые впервые войдут в дом своих супругов; туда же к вечеру явимся и мы: ты – с вооруженными своими товарищами, я – с теми, на кого всецело полагаюсь, в разгар свадебного пира похитим их обеих и посадим на корабль, который, по моему тайному приказанию, уже готов к отплытию; тех же, кто вздумает оказать нам сопротивление, мы всех до одного перебьем".

Чимоне замысел сей одобрил и стал спокойно ждать в тюрьме условленного дня и часа.

По случаю свадьбы было устроено великое и пышное торжество; каждый уголок в доме братьев был преисполнен праздничного веселья. В урочный час, когда похитители были наготове, Лизимах, дабы поднять сообщников на такое дело, обратился к ним с продолжительной речью, а затем разделил товарищей Чимоне, равно как и своих друзей, – все они прятали под платьем оружие, – на три отряда и один отряд тайком направил в гавань, чтобы в случае чего никто не помешал им сесть на корабль, Другой поставил у входа в дом Пазимунда, чтобы никто не смог запереть двери изнутри или же еще как-либо заградить им выход, во главе же третьего отряда, вместе с Чимоне, поднялся по лестнице. Войдя в зал, где обе молодые, а равно и многие другие женщины, сидели за пиршественным столом на отведенных для них местах, Лизимах и Чимоне опрокинули столы, схватили своих возлюбленных, передали их с рук на руки сообщникам и приказали, нимало не медля, отнести на стоявший под парусами корабль. Молодые заплакали, закричали, заплакали гости, слуги, – словом, шум и крик поднялся во всем доме. Между тем Чимоне и Лизимах, а также их сообщники, с мечами наголо, не встретив сопротивления, достигли лестницы, ибо все перед ними расступались. Когда же они начали спускаться, то увидели Пазимунда, который, будучи привлечен шумом, с большой палкой в руке поднимался по лестнице, но тут Чимоне ударом меча рассек ему голову надвое, и тот пал бездыханный. Когда же на помощь брату прибежал злосчастный Ормизд, то Чимоне сразил и его, тех же, кто попытался броситься на незваных гостей, сообщники Лизимаха и Чимоне ранили или же отбросили. Покинув дом, где все было полно крови, слез, стонов и воплей, Лизимах и Чимоне, упоенные победой, беспрепятственно добрались до гавани, сели вместе со всеми своими сообщниками на корабль, где уже находились их возлюбленные, и, пока люди с оружием в руках сбегались на берег, чтобы отбить похищенных девушек, весело отчалили.

На острове Крит, где родные и знакомые очень им обрадовались, они женились на своих возлюбленных и, торжественно отпраздновав свадьбу, стали наслаждаться драгоценной своей добычей. После этого происшествия и Кипр и Родос долго не могли успокоиться и утихомириться. Наконец и с той и с другой стороны вмешались родные и знакомые и добились того, что, пробыв некоторое время в изгнании, Чимоне и Ифигения возвратились на Кипр, Лизимах же с Кассандрой – в Родос, и потом все четверо долго еще благоденствовали у себя на родине.

2

Костанца любит Мартуччо Гомито:
услышав, что он погиб, и впав в отчаяние,
она одна садится в лодку,
и ее ветром относит к Сузе;
некоторое время спустя он предстает перед ней,
живой и здоровый, в Тунисе и узнает ее;
за время их разлуки Мартуччо,
подав королю мудрый совет,
становится его приближенным;
обручившись с Констанцией
Мартуччо богатым человеком
возвращается на Липари

Королева, поняв, что Панфило досказал свою повесть, и, весьма одобрив ее, велела рассказывать Эмилии, и та начала так:

– Мы все должны радоваться, когда истинное чувство получает достойное вознаграждение, а так как любовь – чувство скорее отрадное, нежели грустное, то я охотнее повинуюсь королеве, нежели вчерашнему нашему королю, ибо мне приятнее толковать о том предмете, который предложила она.

Итак, добросердечные дамы, вам должно быть известно, что близ острова Сицилия находится островок Липари, где еще недавно жила красотка, дочь благородных родителей, местных уроженцев, по имени Костанца, которую

любил житель того же острова, молодой человек по имени Мартуччо Гомито, пригожий, честных правил и в своем деле мастак. Она же отвечала ему взаимностью и только о нем и помышляла. Имея намерение жениться на Костанце, Мартуччо сказал ей, чтобы она попросила у отца благословения, однако ж отец из-за того, что Мартуччо был человек бедный, благословения своего не дал. Мартуччо, уязвленный тем, что его отвергли единственно потому, что он беден, снарядил вместе со своими родственниками и друзьями суденышко и поклялся, что если не разбогатеет, то на Липари не вернется никогда. Того ради он стал пиратом и, держась берегов Берберии, нападал на всех, кто был послабее. Судьба же благоприятствовала ему до тех пор, пока он не зарвался. Он и его товарищи в короткий срок сказочно разбогатели; тут бы им и остановиться, но им все было мало; дело кончилось тем, что на них напали сарацины и, сломив упорное их сопротивление, захватили их, ограбили, почти что всех побросали в море, судно потопили, а Мартуччо отвезли в Тунис и засадили в тюрьму, и здесь он долгое время томился.

На Липари не один и не двое, а многие и самые разные люди передавали за верное, что всех, кто был с Мартуччо на его суденышке, утопили. Когда Мартуччо оставил Липари, Костанца изнывала от тоски; как же скоро до нее дошла весть, что он погиб вместе с прочими, она долго плакала, а затем решилась покончить все счеты с жизнью, но так как у нее недоставало мужества что-либо над собой учинить, то она задумала предпринять такой шаг, чтобы смерть была для нее неизбежной. И вот тайком, в ночную пору, уйдя из отчего дома, она добралась до гавани и случайно обнаружила на некотором расстоянии от судов рыбачью лодку с мачтой, парусом и веслами, – как видно, хозяева только что из нее вышли. Прыгнув в лодку и отгребясь от берега, – Костанца, подобно всем островитянкам, обладала моряцкой сноровкой, – она поставила парус и, не прикоснувшись ни к веслам, ни к рулю, отдалась на волю ветра в надежде на то, что ветер либо опрокинет пустую и никем не управляе-

мую лодку, либо ударит и разобьет ее о скалу, – ни в том, ни в другом случае Костанца при всем желании ничего не могла бы поделать и, вне всякого сомнения, пошла бы ко дну. Завернувшись с головой в мантилью, она легла и заплакала.

Судьба, однако ж, распорядилась иначе: дула легкая трамонтана, море было тихое, лодку не качало, и к вечеру следующего дня ее отнесло миль на сто выше Туниса, туда где расположен город Суза. Костанце не для чего было поднимать голову, да она и дала себе слово не подниматься, а потому и не поняла, что находится скорей на суше, чем на море. Когда же лодка врезалась в берег, там случайно оказалась одна бедная женщина, – она убирала сушившиеся на солнце рыбачьи сети. Ей показалось странным, что лодке с раздутым парусом дали врезаться в берег, и, решив, что рыбаки, уж верно, уснули, она приблизилась к лодке, но не обнаружила никого, кроме девушки, спавшей крепким сном; несколько раз она ее окликала, наконец добудилась и, догадавшись по одежде, что девушка – христианка, спросила ее по-итальянски, как это она одна отважилась пуститься в плаванье на этой лодке. Костанца, услыхав итальянскую речь и вообразив, что противным ветром ее пригнало обратно к Липари, живо вскочила и огляделась по сторонам, однако тут же уверилась, что хотя она и у самого берега, но местность ей не знакома, и спросила женщину, где она.

“Ты, дочка, находишься в Берберии, неподалеку от Сузы”, – отвечала женщина.

Костанца, удрученная тем, что бог не послал ей смерть, боясь за свою девичью честь, совсем растерялась, села возле лодки и давай плакать. Добрая женщина сжалилась над нею, уговорила зайти к ней в лачужку, обласкала, и Костанца, доверившись ей, рассказала, какими судьбами она здесь очутилась. Узнав, что девушка ничего не ела, добрая женщина умолила ее съесть хоть немного черствого хлеба, рыбы и выпить воды. Костанца спросила, кто она и почему говорит по-итальянски. Та ответила, что она из Трапани, что зовут ее Карапрезой и что она прислуживает рыбакам-хри-

стианам. Услыхав, что ее зовут Карапрезой, Костанца, хотя и скорбела душой, сочла это, сама не зная почему, добрым предзнаменованием, в ней зародилась неясная ей самой надежда, и теперь ей уже не так хотелось умереть. Не говоря, кто она и откуда, Костанца Христом-богом стала молить добрую женщину, чтобы та пожалела ее молодость и научила, как ей избежать обесчещенья.

Выслушав Костанцу, Карапреза по доброте душевной оставила ее у себя в лачуге, а сама побежала убирать сети, потом вернулась, набросила на нее свою накидку и повела в Сузу, а когда они вошли в город, она ей сказала: "Костанца! Я тут часто помогаю по хозяйству одной предоброй сарацинке, вот я тебя к ней и отведу: она – старушка душевная, я ее попрошу хорошенько, и ты можешь быть уверена: она тебя к себе пустит, и будешь ты у нее заместо родной дочери, только уж ты постарайся ей угодить и заслужить ее любовь, а господь тебя не оставит". И как она сказала, так и сделала.

Престарелая сарацинка, выслушав Карапрезу, пристально посмотрела на Костанцу, заплакала, потом обняла ее, поцеловала в лоб и провела к себе в дом, – здесь, помимо нее, проживало еще несколько женщин, мужчин же в доме не было; женщины рукодельничали и выделывали всевозможные вещицы из шелка, из пальмового дерева и из кожи. Спустя несколько дней Костанца кое-чему уже научилась, работала вместе со всеми и снискала такое благорасположение и любовь добросердечной хозяйки и мастериц, что нельзя было этому не подивиться. В короткий срок они обучили ее своему языку.

Итак, Костанца жила в Сузе, домашние, не имея от нее никаких вестей, решили, что она умерла, и оплакали ее, а в это время некий весьма знатный и могущественный юноша из Гранады, объявив, что королевство Тунисское принадлежит ему, двинул на короля тунисского Мариабдела многочисленное войско с целью отнять у него королевство.

Весть о том проникла и под своды темницы, а так как Мартуччо Гомито отлично знал берберский язык, то понял

из разговоров, что король тунисский деятельно готовится к обороне, и сказал одному из тюремщиков: “Если б мне предоставили возможность поговорить с королем, я бы осмелился преподать ему один совет, и он бы в этой войне победил”.

Тюремщик передал эти слова смотрителю тюрьмы, – тот не замедлил доложить королю. Король велел привести Мартуччо, и Мартуччо на вопрос о том, какого рода совет намерен он преподать, ответил так: “Государь! Мне приходилось бывать в ваших странах и наблюдать за тем, как вы сражаетесь, – если не ошибаюсь, главные силы вашего войска – это лучники; так вот, если б у неприятеля была нехватка стрел, а у вас их было бы предостаточно, то вы наверняка выиграли бы сражение”.

“Если бы дело обстояло таким образом, я бы в победе не сомневался”, – заметил король.

“Вам стоит только захотеть, государь, а добиться этого легко, и вот каким образом, – подхватил Мартуччо, – прикажите изготовить для ваших луков более тонкую тетиву, нежели та, какая обыкновенно применяется, а на стрелах сделать надрезы с таким расчетом, чтобы они как раз подошли к тонкой тетиве, но только это должно держать в строжайшей тайне, иначе неприятель проведает и что-нибудь да изобретет в противовес. А совет я вам даю такой вот почему: как скоро лучники из вражеского войска расстреляют все свои стрелы, а ваши лучники расстреляют свои, то, как это вы легко можете себе представить, лучники из вражеского войска вынуждены будут во время боя подбирать стрелы, выпущенные вашими лучниками, тогда как ваши лучники примутся подбирать выпущенные врагами, однако ж враги не сумеют воспользоваться стрелами, которые были расстреляны вашими воинами, оттого что толстая тетива к узкому надрезу не подойдет, а вот вражьи стрелы вашим воинам пригодятся: у врагов стрелы – с широким надрезом, и для них тонкая тетива – не помеха. И получится так, что стрел у ваших воинов будет сколько угодно, меж тем как вражеским лучникам придется туго”.

Король был человек мудрый, и он тотчас сообразил, что Мартуччо дает ему дельный совет. Он в точности исполнил все, что тот ему предлагал, и одержал победу, Мартуччо же через то вошел к нему в милость и стал человеком влиятельным и богатым.

Слух о том облетел страну, и тут Костанца узнала, что Мартуччо Гомито, которого она давным-давно мысленно похоронила, жив, вследствие чего ее любовь к нему, уже охладевшая, внезапно возгорелась с новою силой и, окрепнув, воскресила увядшую надежду. Тогда она поведала доброй своей хозяйке все, что с ней приключилось, и сказала, что ей хочется поехать в Тунис, дабы взор ее насытился лицезрением того, чем пленился ее слух, коего достигла радостная весть. Старушка вполне одобрила это ее намерение и, как бы поступила родная мать, села с ней в лодку, и обе отправились в Тунис, а в Тунисе их приютила родственница старушки. Их сопровождала Карапреза, и родственница старушки послала ее разузнать про Мартуччо, – та сообщила, что Мартуччо жив и занимает высокий пост. Тогда добрая женщина возымела желание самолично довести до сведения Мартуччо, что его Костанца находится здесь.

Она пошла к нему и сказала: "Мартуччо! Из Липари приехал твой слуга и остановился у меня, – ему надобно поговорить с тобой без свидетелей. Впутывать сюда кого-либо еще он побоялся и сходить за тобой попросил меня". Мартуччо поблагодарил женщину и пошел к ней.

Костанца, увидев его, чуть не умерла от радости; не совладав с собой, она кинулась к нему, обвила его шею руками и, под наплывом воспоминаний о былых невзгодах и наступившего блаженства, тихо, безмолвно заплакала. Мартуччо первое время стоял как вкопанный – так он был поражен, затем, испустив вздох облегченья, воскликнул: "Так ты жива, моя Костанца? Я слышал, что ты исчезла, у нас на родине давно никто о тебе ничего не знает". И тут он прослезился от умиленья, обнял ее и поцеловал. Костанца рассказала ему о всех своих злоключениях, а также о том, как хорошо ей жилось у почтенной старушки.

Долго не мог Мартуччо наговориться со своею возлюбленной, наконец пошел к государю и поведал все, что ему и Костанце пришлось испытать, а затем попросил дозволения по христианскому закону с ней обвенчаться. Король, придя в изумление, послал за Костанцей и выяснил из ее слов, что Мартуччо говорил истинную правду. "Ты вполне заслужила себе такого мужа", – рассудил он. Вручив и ей и Мартуччо великие и богатые дары, он дозволил им устраивать свое счастье по их собственному благоусмотрению. Мартуччо, прощаясь с почтенной старушкой, пригревшей Костанцу, обратился к ней с прочувственными словами, изъявил ей свою признательность за все, что она сделала для Костанцы, одарил ее с той щедростью, какой она заслуживала, и, сказав ей: "Оставайтесь с богом", – вместе с Костанцей, которая не могла удержаться от слез, удалился. Затем, с дозволения короля, Мартуччо, Костанца и Карапреза, которую они взяли с собой, сели на быстроходный корабль, а так как ветер был попутный, то они скоро прибыли на Липари, где их ожидала несказанно торжественная встреча. Здесь Мартуччо женился на Костанце, справил пышную, великолепную свадьбу, и потом они еще долго в мире и согласии наслаждались своим счастьем.

3

Пьетро Боккамацца и Аньолелла совершают побег, на них нападают разбойники; Аньолелла скрывается в лесу, а затем ее отводят в замок; разбойники окружают Пьетро, но ему удается спастись; пройдя ряд испытаний, он попадает в замок, здесь встречается с Аньолеллой, женится на ней, а затем они вместе возвращаются в Рим

Все единодушно одобрили повесть Эмилии. Уверившись в том, что повесть окончена, королева велела рассказывать Элиссе; покорная ее воле, Элисса начала так:

– Дражайшие дамы! Мне вспомнилось, какую страшную ночь пришлось однажды провести не весьма благоразумным влюбленным, но так как за этой ночью последовало много счастливых дней, то я полагаю, что мне можно об этом рассказать, коль скоро это подходит к сегодняшнему нашему предмету.

В Риме, который когда-то был главою целого мира, меж тем как в наши дни он являет собою не более, как его хвост, не так давно жил юноша по имени Пьетро Боккамацца, из весьма почтенной римской семьи, и вот этот самый Пьетро влюбился в красивую, очаровательную девушку по имени Аньолелла, дочь некоего Джильоццо Саулло, человека низкого звания, снискавшего себе, однако, уважение римлян. Влюбившись в девушку, Пьетро достигнул того, что и она его полюбила не менее страстно. Палимый огнем свое-

го чувства, не в силах долее терпеть тяжкую муку желаний, он к ней посватался. Проведав о том, его родственники, все, как один, напустились на него, и ему от них как следует влетело за этот его шаг, а кроме того, они велели передать Джильоццо Саулло, чтобы он не вздумал дать Пьетро согласие, – все равно, мол, они его ни за друга, ни за родственника почитать не станут. Убедившись, что единственный путь, каким он хотел прийти к пределу своих мечтаний, заказан, Пьетро чуть не умер от горя. Если бы Джильоццо благословил их, он бы женился на Аньолелле наперекор всей своей родне. Несмотря ни на что, он был полон решимости соединиться с нею, и теперь ему оставалось одно: заручиться ее согласием. Узнав через третье лицо, что она готова на побег, он сговорился с нею бежать из Рима. Все для этого приготовив, Пьетро однажды встал спозаранку, оба они сели на коней и направили путь в Аланью, где у Пьетро были верные друзья. Дорогой им было не до сближения – они боялись погони, а потому довольствовались до времени тем, что изъяснялись друг дружке в любви и время от времени целовались.

На беду, Пьетро плохо знал дорогу, и когда они уже миль на восемь отъехали от Рима, то, вместо того чтобы взять вправо, свернули налево. Не успели они проехать и двух миль, как впереди показался замок, – из замка их увидели, и оттуда с оружием в руках выбежало человек двенадцать. Увидев их, когда они были уже совсем близко, девушка крикнула: "Спасайся, Пьетро! На нас хотят напасть!" – и, держась за луку седла и пришпорив коня, погнала его к темному лесу, а конь, почувствовав шпоры, помчал ее во весь дух.

Пьетро смотрел не столько на дорогу, сколько на свою спутницу, – потому-то она раньше него и приметила вооруженных людей, и пока он, никого еще не видя, озирался, они успели на него напасть, окружили его, стащили с коня и спросили, кто он таков; когда же он им ответил, они посовещались между собой и сказали: "Он – друг недругов наших. Чего тут долго думать? Снять с него одежду, отнять ко-

ня, а самого, назло всем Орсини, повесить на любом из этих дубов". Вынеся такой приговор, они велели Пьетро раздеться. Однако ж, в то время как он, понимая, что ему несдобровать, снимал с себя одежду, нежданно-негаданно выскочили из засады человек двадцать пять и с криком: "Смерть вам! Смерть вам!" – ударили на тех, кто чинил расправу над Пьетро. Застигнутые врасплох, они бросили Пьетро и начали было защищаться, однако, убедившись в превосходстве сил противника, пустились наутек, а те погнались за ними. Тут Пьетро схватил свои вещи, вскочил на коня и во весь его мах помчался по той дороге, по которой на его глазах умчалась Аньолелла. Когда же он уверился, что ему не грозит опасность вновь быть пойманным теми, кто на него напал, или же угодить в лапы к тем, кто устроил засаду им, то, оглядевшись, не различил в лесу ни дорог, ни троп, ни следов от конских копыт, – его возлюбленная исчезла, и он в лютой тоске стал кружить по лесу, звал ее и плакал. Ответом ему было молчание, и он не знал, что делать: повернуть назад страшно; ехать вперед – неизвестно, куда выедешь. Помимо всего прочего, он боялся и за себя и за Аньолеллу, как бы на них не напали дикие звери, и ему уже чудилось, будто ее задавил медведь или загрыз волк. Так бедный Пьетро целый день ехал лесом, кричал, звал, и когда ему казалось, что он заехал слишком далеко вперед, то поворачивал назад; в конце концов от крика, от слез, от страха и голода он до того обессилел, что уже не мог ехать дальше. Между тем наступила ночь, и, чтобы укрыться от зверей, Пьетро, приметив высоченный дуб, рассудил за благо спешиться, коня привязать, а самому влезть на дерево. Немного спустя взошла луна, в лесу посветлело, однако Пьетро из боязни свалиться с дерева так и не заснул; впрочем, если бы даже ему и не страшно было спать, черные думы об Аньолелле все равно отогнали бы от него сон, и он всю ночь бодрствовал, плача, стеная и проклиная судьбу.

А девушка, как я уже сказала, умчалась и, всецело положившись на своего коня, так углубилась в чащу леса, что потом уже не могла сообразить, с какой стороны она в него

въехала. Потому-то и она, подобно Пьетро, день-деньской проплутала в лесной глуши, – шаг вперед, два назад, – сетовала, кричала и оплакивала горькую свою долю. Пьетро все не откликался; наконец, уже под вечер, конь ее набрел на тропинку и поехал по ней, а как проехал более двух миль, вдали показался домик, и тут Аньолелла припустила коня и увидела возле дома мужчину в преклонных годах и его супругу, престарелую, как и он.

Увидев, что девушка едет одна, они ее окликнули: "Как это ты, дочка, очутилась одна в такой поздний час в этаких дебрях?"

Девушка, рыдая, ответила, что отстала в лесу от своих спутников, и спросила, как далеко отсюда до Аланьи. Добрый человек ей сказал: "Это, доченька, дорога не в Аланью, а до Аланьи отсюда двенадцать миль с лишком".

"А нет ли здесь поблизости селенья, где бы можно было переночевать?" – спросила девушка.

"От нас до ближайшего селенья за целый день не доедешь", – отвечал добрый человек.

"Раз мне до села не добраться, пустите меня, Христа ради, переночевать!" – взмолилась Аньолелла.

"Вот что, девушка, – молвил добрый человек. – Пустим мы тебя на ночь охотно, но почитаем за должное предупредить: по лесу и днем и ночью бродят шайки недобрых людей – и союзников и врагов, нам же от них одно беспокойство и немалый урон. Так вот, если, как на грех, лихие люди нагрянут к нам ночью и увидят тебя, такую молодую да пригожую, они над тобой надругаются, обесчестят, а мы тебе ничем помочь не сможем. Все это мы говорим к тому, чтобы в случае чего ты на нас не пеняла".

Аньолеллу слова старика напугали, но час был поздний, и она обратилась к старику с такою речью: "Если богу будет угодно, он и вас и меня избавит от этой напасти, но если даже так именно и случится, то пусть уж лучше меня замучают люди, нежели растерзают в лесу дикие звери".

Тут она, сойдя с коня, вошла в дом бедняка, хозяева разделили с ней скудную свою трапезу, а затем она, как была,

одетая, легла рядом с ними на убогое их ложе и всю ночь напролет вздыхала и оплакивала свою недолю, а также недолю Пьетро, ибо она склонялась к мысли, что его постиг печальный конец. Перед зарею внезапно послышался громкий топот; Аньолелла мигом вскочила и, выбежав на широкий двор за домиком, увидела стог сена – туда-то она и поспешила забраться, чтобы подъехавшим людям не так-то просто было ее найти. Только успела она схорониться, как подъехавшие люди, – то была целая шайка злодеев, – приблизились к дверям домика, крикнули, чтобы им отворили, вошли и спросили, чей это нерасседланный конь.

Добрый человек, удостоверившись, что девушка спряталась, ответил: “Мы одни во всем доме. Этот конь, как видно, отбился от хозяина и вчера вечером прибежал к нам, – мы его спрятали от волков”.

“Коли нет у него хозяина, стало быть, мы его возьмем себе”, – рассудил главарь.

Тут разбойники разбрелись по всему домику, некоторые пошли во двор и сложили свои щиты и копья, один же из них от нечего делать метнул копье в стог и чуть не убил прятавшуюся там Аньолеллу, а она едва себя не выдала: копье пролетело так близко от левой ее груди, порвав на ней платье, что ей показалось, будто ее пронзило копьем, и она чуть было не вскрикнула, однако ж, вспомнив, где она, скрепилась. Разбойники, кто здесь, кто там, принялись за еду, запивая вином козлятину и другое мясо, а затем собрались и уехали, уведя с собой коня Аньолеллы.

Как скоро они удалились, добрый человек обратился к жене: “Где же наша вчерашняя гостья? Когда я встал, ее уже не было”.

Жена ответила, что тоже не видела ее, и они отправились на поиски.

Услыхав, что разбойники уехали, девушка выбралась из стога, и добрый человек, увидев ее, очень обрадовался, что она не попала в руки разбойников, а так как уже занялся день, то он предложил ей: “Сейчас уже светло. Если хочешь, мы тебя проводим до замка, – это в пяти милях отсю-

да, — там ты будешь в безопасности, но только тебе придется идти пешком: коня твоего увели злодеи". Аньолелла с этим примирилась и сказала хозяевам: ради бога, мол, уведите меня в замок. Все трое направились к замку и в половине восьмого утра были уже там.

Замок принадлежал одному из Орсини, которого звали Льелло ди Кампо ди Фьоре, и по счастливой случайности здесь тогда находилась его супруга — добрейшая, святая душа. Владелица замка тотчас узнала Аньолеллу, обрадовалась ей и попросила рассказать во всех подробностях, каким образом она здесь очутилась. Аньолелла поведала ей все без утайки. Пьетро был другом мужа владелицы замка, поэтому она знала и его и была крайне огорчена, услышав о том, что с ним приключилось. Она не сомневалась, что раз его схватили разбойники, значит, его уже нет в живых. И она сказала Аньолелле: "Раз ты ничего не знаешь о Пьетро, то поживи у меня — до тех пор, пока я не смогу с ручательством за твою безопасность доставить тебя в Рим".

Между тем Пьетро в неописуемом отчаянии сидел на дубу, как вдруг, в ту пору, когда добрые люди еще только первый сон видят, большущая стая волков окружила его коня. Почуяв волков, конь мотнул головой, порвал поводья и побежал, но тут волки приблизились к нему вплотную и, сколько он ни кусал их и ни лягал, в конце концов повалили, вцепились ему в горло, в брюхо, растерзали, сожрали и, оставив от него одни кости, ушли. Конь этот был верным товарищем Пьетро и опорой в беде, и теперь, утратив его, он окончательно пал духом и решил, что ему не выбраться из леса. Уже занималась заря, а он все еще трясся на дубу от холода, оглядывался по сторонам — и вдруг на расстоянии примерно одной мили увидел яркий огонь. Когда окончательно рассвело, он с некоторым страхом спустился на землю и, пойдя прямо на огонь, вскоре увидел костер, а вокруг костра пастухов, сидевших за едой и балагуривших, — пастухи сжалились над ним и приняли в свою компанию. Пьетро сначала наелся, согрелся, а потом рассказал пастухам, какая с ним стряслась беда, как он оказался здесь в совер-

шеннейшем одиночестве, и спросил, нет ли тут поблизости селения или замка, где бы он мог остановиться. Пастухи сказали, что милях в трех отсюда находится замок Льелло ди Кампо ди Фьоре и что там сейчас живет его супруга. Пьетро был очень рад этому обстоятельству и попросил проводить его до замка – два пастуха охотно согласились. В замке Пьетро встретил кое-кого из своих знакомых, и первою его мыслью было – как бы поскорей начать искать в лесу Аньолеллу, но тут его позвали к владелице замка, и когда он, нимало не медля, вошел к ней, то увидел Аньолеллу, и радости его не было границ. Он чуть было не обнял ее, но постеснялся хозяйки. И если был счастлив он, то не менее счастлива была Аньолелла.

Почтенная дама поздоровалась с Пьетро, приветствовала его, но когда он все рассказал ей о себе, она изъявила ему крайнее свое неудовольствие за то, что он не послушался родных. Видя, однако ж, что его упорство не сломишь, а что девушка его любит, она рассудила так: "Да мне-то что, в конце концов? Они друг друга любят, они друг друга знают, оба хороши с моим мужем, цель у них благая, и, должно полагать, так угодно богу, раз его он избавил от виселицы, ее – от копья и обоих – от диких зверей. Видно, так тому делу и быть". И тут она обратилась к ним: "Женитесь, я за вас, быть по сему. Свадьбу мы отпразднуем за счет Льелло, а уж я сумею помирить вас с родными".

Возликовавший Пьетро и еще сильнее, чем он, возвеселившаяся духом Аньолелла немедленно обручились. Почтенная дама устроила им пышное свадебное торжество, какое только можно было устроить в глухом лесу, и здесь они впервые вкусили от сладчайших плодов своей любви. А несколько дней спустя владелица замка, Пьетро и Аньолелла верхом на конях, под надежной охраной возвратились в Рим. Родственники Пьетро были на него очень злы, однако ж владелице замка удалось их всех помирить, и Пьетро с Аньолеллой счастливо и безмятежно дожили до старости.

4

Мессер Лицио да Вальбона
застает Риччардо Манарди со своею дочерью;
помирившись с мессером Лицио,
Риччардо на ней женится

Когда Элисса умолкла, королева, выслушав похвалы, коими осыпали повесть Элиссы подруги, велела рассказывать Филострато, и он, усмехнувшись, начал так:

– Многие из вас рассердились на меня за то, что я избрал предмет, вызывающий слезы и наводящий на грустные размышления, а потому я долгом своим почитаю хотя бы частично вознаградить вас за тоску, которую нагнали вчерашние рассказы, и немножко вас посмешить. Того ради я хочу рассказать короткую повесть о любви, в коей не будет прискорбных событий, а будут лишь воздыхания, кратковременный страх и стыд, – повесть со счастливым концом.

Словом сказать, достойные дамы, не так давно жил в Романье некий добропорядочный дворянин по имени Лицио да Вальбона со своей женой Джакоминой, и уже на закате их дней у них неожиданно родилась дочь, которая, войдя в возраст, превзошла красотою и очарованием всех девушек той округи, а так как это была единственная дочь, то родители души в ней не чаяли, холили ее, берегли пуще глаза и надеялись подыскать для нее наивыгоднейшую партию. У мессера Лицио часто бывал и сделался у него в доме своим

человеком здоровый, пригожий юноша по имени Риччардо, из рода Манарди да Бреттиноро; мессер Лицио и его жена так же мало остерегались Риччардо, как если б то был их родной сын, а Риччардо чуть не с первого взгляда без памяти влюбился в их дочь, прелестную, обворожительную девушку, прекрасно себя державшую, примерного поведения и уже на выданье, однако любовь свою тщательно скрывал. А девушка, уверившись в его любви к ней, и не подумала уклоняться от ее стрел, – напротив, она сама полюбила Риччардо, и Риччардо был от этого на верху блаженства.

Много раз порывался он с ней объясниться, но его удерживал страх; наконец однажды, улучив минутку и собравшись с духом, он ей сказал: "Катерина! Не дай мне умереть от любви!"

А девушка ему на это: "Дай бог, чтобы я-то не умерла от любви к тебе!"

Этот ее ответ очень обрадовал и ободрил Риччардо, и он сказал ей: "Ради тебя я готов на все, от тебя же зависит сохранить твою и мою жизнь".

Девушка ему на это сказала: "Ты сам знаешь, Риччардо, какой строгий за мной надзор, и как ты ко мне проникнешь – просто ума не приложу. Впрочем, если ты сыщешь способ, который честь мою не сгубит, то открой мне его, а за мной дело не станет".

Риччардо успел уже все обмозговать, а потому ответил не задумываясь: "Милая Катерина! Я знаю только один способ: что, если б ты легла спать на балконе, который выходит к вам в сад? Когда б я наверное знал, что ты там, я бы непременно ухитрился ночью туда залезть, хотя это и высоко".

А Катерина ему: "Смотри не сробей, а я уж как-нибудь сумею расположиться там на ночь".

Риччардо дал слово, после чего они поцеловались украдкой и разошлись.

На другой день, – а дело было уже в конце мая, – девушка пожаловалась матери, что она не спала всю ночь из-за дикой жары.

“Какая там жара, дочка? – возразила мать. – Ночью совсем не было жарко”.

А Катерина ей: “Это вам, матушка, так показалось. Примите в соображение, насколько у девушек кровь горячее, нежели у пожилых женщин”.

“Может, оно и так, – возразила мать, – а все-таки я не вольна в угоду тебе насылать то зной, то прохладу. Жара и холод зависят от времени года. Может, эта ночь будет прохладнее, и ты уснешь”.

“Дай-то бог, – молвила Катерина, – но только так не бывает, чтобы ближе к лету ночи становились прохладнее”.

“Да ты чего хочешь?” – спросила мать.

“Если бы вы с батюшкой позволили, – отвечала Катерина, – я бы поставила на ночь кровать на балкон, который выходит в сад, рядом с батюшкиной комнатой: я бы слушала соловья и не задыхалась бы от жары, – там мне было бы лучше, чем у вас в спальне”.

“Ну хорошо, дочка, – сказала мать, – я поговорю с отцом: как он скажет, так мы и сделаем”.

Мессер Лицио заупрямился, – несговорчивость, видимо, усиливалась в нем с годами. “Что это ей вздумалось спать под пенье соловья? – проворчал он. – Я ей такого соловья покажу – она у меня и под дневной треск цикад заснет как убитая!”

Узнав, что́ сказал отец, Катерина не столько от жары, сколько с досады сама потом всю ночь глаз не сомкнула и матери спать не дала, – ей, дескать, душно невмоготу. Наутро мать пошла к мессеру Лицио и сказала: “Вижу я, государь мой, как вы любите свою дочку! Да пусть себе поспит на балконе – вам-то что? Ведь она всю ночь места себе не находила от жары. И почему вас удивляет, что ей нравится соловьиное пенье? Наша девчушка еще так молода! А молодые девушки любят все, что говорит им о юности”.

“Ну ладно, – рассудил мессер Лицио, – выбери для нее кровать, чтобы она уставилась на балконе, повесь полог, и пусть себе спит и слушает соловья, сколько душе угодно”.

Узнав об этом разговоре, девушка тотчас же велела постелить ей на балконе, дождалась Риччардо, подала условный знак, как ему надлежит действовать, а вечером вышла на балкон. Мессер Лицио, услышав, что дочка отправилась на покой, запер у себя в комнате балконную дверь и лег спать. Как скоро все в доме затихло, Риччардо влез по лестнице на стену, с нее, держась за выступы, перелез на другую и в конце концов, с величайшим трудом и, в случае, если б он сорвался, с опасностью для жизни, очутился на балконе, и тут его в безмолвном и упоительном восторге встретила девушка. Вдоволь нацеловавшись, они легли и почти всю ночь ублажали и услаждали друг дружку, и соловей у них пел песню за песней. Удовольствие оба получили великое, да ночи-то в мае короткие, но они про это забыли; уже светало, а они, изнемогшие и от жары, и от любовных игр, ничем не прикрывшись, уснули, причем Катерина правой рукой обняла Риччардо за шею, а левой держала его за тот предмет, который вы особенно стесняетесь называть при мужчинах.

Так они безмятежным сном и проспали до рассвета, а на рассвете мессер Лицио встал и, вспомнив, что дочка спит на балконе, подумал: “Дай-ка я погляжу, каково нынче Катерине спится под пенье соловья”, — и тихохонько отворил дверь. Выйдя на балкон, мессер Лицио осторожно приподнял полог и увидел, что Риччардо и его дочь, ничем не прикрытые, голые, спят, описанным мною способом обнявшись. Тотчас узнав Риччардо, мессер Лицио пошел к жене и давай будить ее: “Вставай, вставай, жена! Пойди-ка погляди: твоей дочке так полюбился соловей, что она его поймала и держит в руке”.

“Статочное ли это дело?” — воскликнула жена.

“Коли не замешкаешься, так сама увидишь”, — молвил мессер Лицио.

Жена второпях оделась и на цыпочках проследовала за супругом. Когда же они оба приблизились к ложу и подняли полог, то донна Джакомина получила возможность увидеть воочию, как ее дочка держала в руке пойманного соловья, пенье которого она так мечтала послушать.

Признав Риччардо за великого обманщика, мать хотела было крикнуть и отругать его на чем свет стоит, однако ж мессер Лицио сказал ей на ухо: “Жена! Если ты не хочешь, чтобы мы с тобой поссорились, то придержи язык – коли она его словила, так пусть уж не отпускает. Риччардо – юноша знатный и богатый, более выгодной партии не сыщешь. Если он предпочтет, чтобы мы с ним покончили дело миром, то пусть наперед обручится с нею, и тогда, значит, выйдет так, что соловья-то он в свою клетку посадил, а не в чужую”. Видя, что муж не злобствует, и помыслив о том, что дочка славно провела ночь, хорошо отдохнула и поймала соловья, мать успокоилась и как воды в рот набрала.

Малое время спустя пробудился Риччардо. Увидев, что уже рассвело, он пришел в ужас и, разбудив Катерину, сказал: “Ах, моя радость! Как быть? На дворе белый день – что ж теперь со мной будет?”

Тут мессер Лицио шагнул и, подняв полог, сказал: “Все будет хорошо”.

Когда Риччардо увидел мессера Лицио, сердце у него точно оборвалось. Приподнявшись и сев на кровати, он обратился к нему с такими словами: “Государь мой! Пожалейте меня, ради Христа! Я сознаю, что я злодей и обманщик, я повинен смерти и все же молю вас: поступайте со мной, как вам будет угодно, только сделайте милость – сохраните мне жизнь, не убивайте меня!”

На это ему мессер Лицио ответил так: “Риччардо! Я тебя любил, я тебе доверял, а ты вот как мне отплатил! Но раз уж так случилось, раз ты по молодости лет увлекся, то себя не губи и меня не позорь, а сочетайся с Катериной узами законного брака: ночью она уже была твоею – так пусть она будет твоею до конца своих дней. Тогда я тебя прощу – и ты спасен, а иначе молись о душе”.

Во время этого разговора Катерина выпустила соловья и прикрылась, а затем начала горько плакать и умолять отца, чтобы он простил Риччардо, Риччардо же она умоляла, чтобы он исполнил волю мессера Лицио, и тогда, мол, впереди у них будет много уже бестревожных ночей. Собствен-

но говоря, Риччардо и не нужно было умолять: во-первых, ему было стыдно того, что он натворил, и проступок свой он рад был бы загладить; во-вторых, он боялся, что его убьют, а ему хотелось жить; наконец, он горячо любил девушку и жаждал обладать ею – все это, вместе взятое, побудило Риччардо по собственному желанию и не колеблясь объявить, что он готов исполнить все, чего мессер Лицио ни потребует. Тогда мессер Лицио взял на время у донны Джакомины одно из ее колец, и Риччардо тут же, на балконе, в их присутствии обручился с Катериной. Прежде чем направиться к выходу, мессер Лицио и его жена сказали обрученным: "Ну, а теперь лягте. Уж верно, вам больше хочется лечь, нежели встать". Едва родители невесты ушли к себе, Риччардо и Катерина, за ночь отмахав миль этак шесть, снова обнялись, отмахали еще две и, только после этого встав с постели, на том окончили первый свой день. Покинув ложе, Риччардо уже вполне разумно заговорил с мессером Лицио о делах, а несколько дней спустя, как того требовал обычай, в присутствии родных и друзей обвенчался с Катериной, затем торжественно привел ее домой и отпраздновал роскошную и великолепную свадьбу, после же свадьбы он долго еще, в ладу со своею супругой и себе на радость, и днем и ночью вовсю охотился сообща за соловьями.

5

Гвидотто из Кремоны
оставляет на попечение Джакомино из Павии
приемную свою дочь и умирает;
в Фаэнце в нее влюбляется Джанноле ди Северино
и Мингино ди Минголе и вступают из-за нее в борьбу;
впоследствии выясняется,
что девушка – сестра Джанноле,
и ее выдают замуж за Мингино

Слушая рассказ про соловья, все дамы смеялись до упаду; уж Филострато давно кончил рассказывать, а они все еще не могли удержаться от смеха. Когда же они нахохотались досыта, королева сказала Филострато:

— Вчера ты на нас тоску нагнал, зато уж сегодня так развеселил, что после этого никто не вправе на тебя сердиться.

Тут она обратилась к Нейфиле и напомнила, что теперь ее очередь; Нейфила с игривым видом начала так:

— Рассказ Филострато перенес нас в Романью, ну и я не прочь прогуляться по ней в моей повести.

Итак, да будет вам известно, что в городе Фано жили-были два ломбардца, Гвидотто из Кремоны и Джакомино из Павии; оба они были уже в преклонном возрасте, оба почти всю свою молодость провоевали. У Гвидотто не было ни сына, ни родственника, ни приятеля, которому он доверял бы больше, чем Джакомино, а потому, умирая, он поручил его заботам приемную свою дочку лет десяти, равно как и

все, что было у него из имущества, и, подробно обсудив с ним состояние дел своих, скончался. Тут как раз город Фаэнца, долгое время служивший ареной военных действий и находившийся в бедственном положении, оправился от потрясений, и в него был разрешен свободный въезд для всех, кто бы ни пожелал туда возвратиться, а Джакомино жил там когда-то, у него остались об этом городе приятные воспоминания, и по сему обстоятельству он переехал туда, захватив все свое достояние и взяв с собой дочь Гвидотто, которую он любил и лелеял, как родную. Войдя в возраст, она стала первою красавицею во всем городе, красоте же соответствовали скромность ее и добронравие. Благодаря этому у нее оказалось много поклонников, но всех более ее обожали два молодых человека приятной наружности и безукоризненного поведения и из ревности возненавидели друг друга; одного из них звали Джанноле ди Северино, другого – Мингино ди Минголе. Оба они счастливы были бы на ней жениться, тем паче что ей уже минуло пятнадцать лет, лишь бы только согласились ее родные, однако им обоим под благовидным предлогом было отказано, и по сему обстоятельству и тот и другой замыслили ее умыкнуть, избрав для того средства, которые каждому из них представлялись наиболее верными.

У Джакомино жили старая служанка и слуга по имени Кривелло, забавник и услужник, и вот с этим-то самым Кривелло свел близкое знакомство Джанноле и, дождавшись благоприятного случая, поверил ему тайну своей любви и обратился с просьбой способствовать ему в достижении его цели, обещав за то немалую мзду. Кривелло же сказал: “Видите ли, я могу помочь вам в этом предприятии разве только вот чем: когда Джакомино пойдет куда-либо ужинать, я сведу вас с ней; если же я попытался бы замолвить за вас словечко, она и слушать бы меня не стала. Так вот, если хотите, я вам это обещаю и обещанное исполню, а дальше действуйте сами, как вам заблагорассудится”.

Джанноле объявил, что большего ему и не требуется, и на том они и уговорились.

Тем временем Мингино познакомился со служанкой и так сумел ее задобрить, что она не раз служила посредницею между ним и девушкой и сумела заронить в ее сердце искру любви к нему. Она даже обещала свести его с нею, когда Джакомино почему-либо отлучится вечером из дому. И вот, вскоре после этих переговоров, Кривелло подстроил так, что Джакомино пошел ужинать к одному своему приятелю. Сообщив о том Джанноле, Кривелло с ним условился, что по данному знаку Джанноле в ту же минуту явится, а дверь будет не заперта. Тем временем ничего не подозревавшая служанка уведомила Мингино, что нынче Джакомино ужинает не дома, и сказала, чтобы он находился неподалеку: она, мол, подаст ему знак – тогда он приблизится и войдет. Вечером двое влюбленных, ничего друг о друге не ведая и во всем друг друга подозревая, взяли с собой вооруженных сообщников и отправились на добычу. Мингино со своими людьми спрятался в соседнем доме у одного своего приятеля, Джанноле со своими людьми схоронился немного дальше.

Когда Джакомино ушел из дому, Кривелло и служанка попытались как-нибудь спровадить друг друга.

Кривелло говорил служанке: "Шла бы ты спать, чего слоняешься по дому?" А служанка ему: "Ты-то чего не пошел с хозяином? Ведь ты поужинал – ну и шел бы со двора". Так никому из них и не удалось выпроводить другого.

Когда настало время подать знак Джанноле, Кривелло подумал: "А, да пусть ее! Не будет сидеть смирно – ей же хуже будет", – и, подав знак, только успел отворить дверь, как в дом ворвался Джанноле с двумя товарищами и, застав девушку в зале, схватил ее и потащил к выходу. Девушка отбивалась, кричала, подняла крик и служанка. На шум прибежали Мингино и его товарищи и, увидев, что девушку вот-вот вытащат за порог, тотчас обнажили шпаги. "Смерть вам, злодеи! – вскричали они. – Отпустите ее! Мы вам не позволим чинить насилие!" С этими словами они бросились на своих недругов. Заслышав шум, сбежались со светильниками и оружием в руках соседи и, возмутившись

действиями Джанноле, стали на сторону Мингино, благодаря чему после упорной борьбы Мингино удалось отбить девушку у Джанноле, и он провел ее в покои. Стычка продолжалась до тех пор, пока не нагрянули стражники – они многих схватили, в частности Мингино, Джанноле и Кривелло, и отвели в тюрьму. Джакомино возвратился домой, когда все уже утихомирилось, и, узнав о случившемся, сначала очень огорчился, но, расспросив, как было дело, и убедившись, что девушка ни в чем не виновата, успокоился, дав себе, однако же, слово как можно скорее выдать ее замуж, чтобы больше подобных случаев не повторялось.

Утром родные заключенных юношей, получив доскональные сведения о ночном происшествии и представив себе, чтó может грозить обоим в случае, если Джакомино на законном основании подаст жалобу, пришли к нему, в самых трогательных выражениях попросили его принять в рассуждение не обиду, нанесенную ему безрассудными юнцами, а любовь и благорасположение, которые он, как они полагают, питает к ним, его просителям, и поручились и за себя и за юношей, что все они готовы дать ему какое угодно удовлетворение.

Джакомино, человек многоопытный и незлобивый, ответил им в немногих словах: “Синьоры! Если бы даже я жил у себя на родине, а не в вашем родном городе, то и тогда я пошел бы вам навстречу – столь сильны во мне дружеские чувства к вам. Сверх того, меня побуждает исполнить вашу просьбу следующее обстоятельство: ведь вы же сами себя оскорбили – девушка-то родом не из Кремоны и не из Павии, как многие, кажется, думают; она – фаэнтинка, хотя должен вам сказать, что ни я, ни тот человек, который отдал мне ее на воспитание, не знали, чья она дочь. Словом, я сделаю все, как вы хотите”.

Подивились почтенные горожане, услышав, что девушка – уроженка Фаэнцы, и, поблагодарив Джакомино за его великодушие, попросили его о любезности рассказать им, как она к нему попала и как он узнал, что она – фаэнтинка. Джакомино им на это сказал: “У меня был однополчанин и

друг Гвидотто из Кремоны, и перед смертью он мне поведал, что, когда Фаэнцу взял император Фридрих и в городе шел повальный грабеж, Гвидотто с товарищами зашел в один дом и увидел, что здесь полно всякого добра, а хозяев нет, и только маленькая девочка лет двух встретилась ему на лестнице и назвала его отцом. Ему стало жалко девочку, и он взял ее к себе в Фано, захватив и весь скарб, а когда пришел его конец, он поручил девочку моим заботам и передал мне все свое имущество с тем, чтобы оно, когда я буду выдавать ее замуж, пошло ей в приданое. Теперь она уже на выданье, а подходящего жениха я пока не нашел. Между тем, во избежание повторений вчерашнего происшествия, я с удовольствием выдал бы ее замуж".

Среди просителей находился некто Гвильельмино да Медичина, который был тогда вместе с Гвидотто и прекрасно помнил, чей дом Гвидотто очистил. Увидев, что вместе с другими пришел к Джакомино и хозяин того дома, он подошел к нему и спросил: "Бернабуччо! Ты слышал, что сказал Джакомино?"

"Слышал, – отвечал Бернабуччо. – Я как раз сейчас об этом думаю – я вспомнил, что во время всей этой сумятицы я потерял дочурку именно в том возрасте, в каком была та девочка, о которой вел речь Джакомино".

"Уж верно, это она, – заметил Гвильельмино. – Гвидотто как-то при мне рассказывал, где он попользовался чужим добром, и я сейчас догадался, что это он твой дом ограбил. Постарайся припомнить, нет ли у твоей дочки особой приметы, и если найдешь ее у этой девушки, тогда уж ты будешь знать наверное, что это твоя дочь".

Бернабуччо подумал, подумал и вспомнил, что у девочки над левым ухом должен быть рубчик в виде крестика на месте нарыва, который он велел разрезать незадолго до всех этих событий. В ту же минуту он подошел к Джакомино и попросил показать ему девушку. Джакомино охотно согласился исполнить его просьбу и позвал девушку. Когда Бернабуччо ее увидел, ему показалось, что он видит перед собой ее мать, еще не утратившую своей красоты. Не

удовольствовавшись, однако ж, этим обстоятельством, он попросил у Джакомино дозволения приподнять девушке волосы над левым ухом – Джакомино этому не воспротивился. Приблизившись к застыдившейся девушке, Бернабуччо приподнял ей правой рукой волосы и обнаружил крестик. Тут он совершенно уверился, что это его дочь, заплакал от радости и, хотя девушка пыталась сопротивляться, обнял ее.

Затем он обратился к Джакомино: "Дружище! Это моя дочь. Гвидотто разграбил мой дом, а моя жена – ее мать – с перепугу про нее забыла. Дом наш в тот же день сгорел, и мы были уверены, что сгорела и девочка".

Услышав все это и приняв в соображение, что перед ней – старик, девушка ему поверила; повинуясь какому-то ей самой непонятному чувству, она уже не противилась его объятиям и, глядя на него, тоже заплакала от радости. Бернабуччо немедленно послал за ее матерью, за сестрами, братьями и другими родственниками, всем ее показал, поведал, как было дело, и, когда все родственники ее перецеловали, к великой радости Джакомино, торжественно повел ее в свой дом.

Правитель того города был человек хороший; узнав, что Джанноле, которого он взял под стражу, – сын Бернабуччо и, следственно, родной брат той девушки, он порешил оказать ему снисхождение; при посредничестве Бернабуччо и Джакомино он помирил Мингино с Джанноле и, к общему удовольствию родственников Мингино, выдал за него девушку, которую звали Агнесой; что же касается Кривелло и других, в этом деле замешанных, то он их всех из-под стражи освободил. А Мингино на радостях отпраздновал пышную и богатую свадьбу и, введя Агнесу в свой дом, долго еще жил с нею счастливо и мирно.

6

Девушку, которую отдали во власть королю Федериго,
застают с Джанни, жителем острова Прочида;
их обоих привязывают к колу
и собираются сжечь на костре;
но тут Руджери де Лориа,
узнав Джанни, освобождает его,
и Джанни женится на девушке

Как скоро Нейфила досказала свою повесть, которая всем дамам очень понравилась, королева велела приготовиться Пампинее, и Пампинея, ясным своим взглядом обведя слушателей, начала так:

– Очаровательные дамы! Силы любви безграничны: любовь вдохновляет любящих на смелые подвиги и помогает им выдерживать испытания чрезвычайные и неожиданные, как это мы могли заключить из многого, о чем шла у нас речь и сегодня, и в предыдущие дни. И все же я не могу лишить себя удовольствия еще раз показать это на примере одного влюбленного юноши.

На Искии, острове, находящемся близ Неаполя, жила-была красивая и пребойкая девушка по имениРеститута, дочь одного знатного островитянина по имени Марино Болгаро, девушку же эту любил больше собственной жизни юноша Джанни, проживавший на соседнем островке, который носит название Прочида, а девушка любила его. Днем Джанни приезжал с Прочиды на Искию повидаться

со своею возлюбленною, но этого ему было мало: ночью, за неимением лодки, он переплывал разделявшее эти два острова расстояние единственно для того, чтобы поглядеть хоть на стены ее дома. И вот в пору столь бурного течения их страсти в один прекрасный летний день девушка гуляла одна на берегу моря, меж скал, отделяя ножом ракушки от камней, и набрела на ущелье; здесь было тенисто, по дну ущелья студеный протекал ключ, и это, видимо, соблазнило ехавших из Неаполя на фрегате юных сицилийцев расположиться здесь на отдых. Девушка их не приметила, они же, сойдясь во мнении, что она – красотка, и уверившись, что никто ее не сопровождает, решились похитить ее и увезти и мигом перешли от слов к делу. Как девушка ни кричала, они схватили ее, посадили на фрегат и отчалили. В Калабрии они заспорили, кому достанется девушка, – каждый из них на нее зарился. Так они ни к чему и не пришли и в конце концов уговорились, – а то, мол, долго ли до греха, как бы не перессориться, – что они отдадут ее в распоряжение короля сицилийского Федериго, который был тогда еще молодым человеком и охотником до любовных похождений. Прибыв в Палермо, они именно так и поступили. Король нашел, что она хороша собой, и влюбился в нее, но так как он был человек болезненный, то велел, до тех пор, пока не окрепнет, поместить ее в великолепном дворце, который стоял в глубине сада, носящего название Куба, и окружить заботливым уходом, что и было исполнено.

Похищение девушки наделало много шуму на Искии; в особенности всех угнетало то обстоятельство, что похитители так и остались неизвестными. Джанни, принимавший это событие к сердцу ближе, чем кто-либо другой, не стал дожидаться, пока что-нибудь узнают на Искии, разведал, в каком направлении отбыл фрегат, сел на свой корабль и с наивозможной для него скоростью проехал вдоль побережья от Минервы до Скалеи, что́ в Калабрии, всюду расспрашивая о девушке, и в Скалее ему сообщили, что девушку сицилийские моряки увезли в Палермо. Джанни полетел туда

на всех парусах и, после продолжительных поисков дознавшись, что девушку отдали королю и что ее держат в Кубе, пришел в отчаяние и почти утратил надежду не только вызволить, но хотя бы увидеть ее. Любовь, однако ж, его удержала; он отпустил фрегат и решился остаться в Палермо, где никто его не знал. Он стал часто ходить в Кубу и как-то раз случайно увидел девушку у окна, а девушка увидела его, и оба друг другу страх как обрадовались. Оглядевшись, нет ли кого вокруг, Джанни подошел поближе к девушке, поговорил с ней, а затем, получив от нее наставления, как им встретиться без преград, и внимательно изучив местоположение дворца, удалился. В полночь он опять сюда пришел и, цепляясь за сучки, на которых не могли бы удержаться и дятлы, проник в сад, а затем, увидев шест, приставил его к тому окну, которое ему указала девушка, и мигом вскарабкался. В былое время девушка, блюдя свою честь, дичилась его, но теперь, полагая, что честь ее все равно уже загублена и что он наиболее достоин обладать ею, порешила отдаться ему в надежде на то, что это его подвигнет увезти ее, и оставила окно незапертым, чтобы он мог беспрепятственно проникнуть к ней в комнату. Итак, обнаружив, что окно не заперто, Джанни бесшумно влез в него и лег рядом с девушкой, которая не спала. Девушка, прежде чем приступить к делу, поведала ему свой замысел и обратилась к нему с жаркой мольбой вызволить ее отсюда и увезти. Джанни ей ответил, что он об этом и сам мечтает и что, уйдя от нее, немедленно все наладит и в следующий раз придет уже прямо за ней. Тут они с превеликим удовольствием обнялись, а затем познали наивысшее из всех любовных услаждений, и, повторив это удовольствие несколько раз, незаметно для себя уснули в объятиях друг у дружки.

Королю девушка с первого взгляда очень понравилась; он вспомнил о ней и, почувствовав себя лучше, решился, хотя дело уже шло к рассвету, посетить ее и провести с нею время.

Тайно прибыв со слугами в Кубу, он вошел во дворец, велел тихонько отворить дверь в комнату, где, сколько было

ему известно, спала девушка, пропустил вперед слугу с большим светильником в руке и, едва переступив порог, бросил взгляд на кровать и увидел девушку и Джанни, спавших нагишом и в обнимку. Он не сказал ни слова, но это так его возмутило и пробудило в нем такую бешеную злобу, что он еле удержался, чтобы не пронзить обоих кинжалом. И только помыслив о том, что убивать спящих – это дело, недостойное не только короля, но и простого смертного, он все же взял себя в руки и порешил сжечь их обоих на костре при народе. Обратясь к единственному своему спутнику, он спросил: "Какого ты мнения об этой презренной женщине – бывшем предмете моих мечтаний?" – а потом задал ему вопрос, знает ли он этого мальчишку, у которого хватило наглости проникнуть во дворец и нанести ему, королю, такое оскорбление и так его огорчить.

Слуга ему на это ответил, что не помнит, чтобы он когда-нибудь этого юношу видел.

Король в гневе вышел из комнаты и повелел схватить любовников, связать и белым днем в голом виде отвести в Палермо, а там, на площади, привязать, спина к спине, к колу, продержать их так до девяти часов утра, чтобы кто угодно мог на них поглядеть, а там и сжечь, как они того заслуживают. Отдав приказ, король в сильнейшем раздражении возвратился к себе в Палермо.

Как скоро король удалился, слуги бросились на любовников, растолкали их, схватили, связали. Нетрудно вообразить; как испугались молодые люди, в каком они были отчаянии, как кричали и рыдали. По приказу короля их отвели в Палермо, на площадь, привязали к колу и на их глазах стали готовить костер, дабы сжечь их в час, назначенный королем. Все палермитане, и мужчины и женщины, высыпали на площадь поглазеть на любовников: мужчинам любопытно было посмотреть на девушку, и они восхищались безупречной ее красотою и стройностью, женщины сбежались посмотреть на юношу и восторгались статностью его и пригожеством. А несчастные любовники, готовые сквозь землю провалиться от стыда, стояли,

понурив головы, и, ожидая с часу на час лютой смерти на костре, оплакивали свое злополучие. Словом, их все еще держали у костра, меж тем как глашатаи всех оповещали о совершенном ими преступлении, и наконец слух о том дошел до генерал-адмирала Руджери де Лориа, доблестнейшего мужа, и он пошел на площадь посмотреть на преступников. Прежде всего он окинул взглядом девушку и был поражен ее красотой, потом взглянул на юношу и, сейчас узнав его, приблизился и спросил, не Джанни ли он с острова Прочида.

Джанни вскинул голову и, узнав адмирала, ответил: "Так, государь мой, это я и есть, но только скоро меня не станет".

Адмирал задал ему вопрос, что его довело до такой крайности. "Во-первых, любовь, а во-вторых, гнев короля", – отвечал Джанни.

Тогда адмирал велел рассказать ему все до мельчайших подробностей и, выслушав его со вниманием, собрался было уходить, но Джанни остановил его. "Государь мой! – сказал он. – Если можно, испросите мне одну милость у того, по чьему приказу я здесь стою".

Руджери спросил, что это за милость, а Джанни ему ответил: "Я знаю, что я умру, и умру скоро. Я боготворю эту девушку, а она меня, мы стоим друг к другу спиной, я же прошу как об особой милости, чтобы нас поставили друг к другу лицом, – я буду смотреть на нее, и мне легче будет умирать".

Руджери засмеялся и сказал: "Да я добьюсь того, что тебе еще надоест на нее смотреть!"

Отойдя, он приказал тем, кому было поручено привести королевский приговор в исполнение, впредь до нового королевского приказа ничего больше не предпринимать, потом, нимало не медля, отправился к королю и, хотя тот был в гневе, обратился к нему с вопросом: "Государь! Чем тебя так оскорбили юноша и девушка, которых ты повелел сжечь на площади?"

Король ему объяснил. Тогда Руджери сказал: "Не тебе бы их наказывать. Преступления заслуживают кары, а благоде-

яния – награды, не говоря уже о милости и сострадании. Известно ли тебе, кого ты собираешься сжечь?”

Король ответил, что нет. Тогда Руджери сказал: “Вот я и хочу, чтобы тебе это стало известно, дабы ты постиг, благоразумно ли поддаваться порывам ярости. Этот юноша – сын Ландольфо с острова Прочиды, родного брата мессера Джанни, благодаря которому ты стал королем и правителем этого острова, а девушка – дочь Марино Болгаро, коего могуществу ты обязан тем, что остров Иския все еще тебе подвластен. Юноша и девушка давно любят друг друга, и любовь, а вовсе не желание оскорбить твое величество, ввела их во грех, если только можно назвать грехом то, к чему молодых людей побуждает любовь. Тебе надлежало выказать им необыкновенное радушие и осыпать их милостями, а ты что? К смертной казни их присудил?”

Король понял, что Руджери прав, и не только отменил свой приговор, но и раскаялся в уже содеянном. Он тут же велел развязать юношу и девушку и привести их к нему, что и было исполнено. Выслушав обстоятельный их рассказ, он порешил вознаградить их за учиненную им обиду почестями и дарами. По его повелению юноша и девушка были облачены в драгоценный наряд, а затем, зная взаимную их склонность, король женил Джанни на девушке и, щедро одарив, отпустил счастливую чету домой, где их ожидала торжественнейшая встреча, и потом они долго еще благоденствовали и наслаждались жизнью.

7

Теодоро любит Виоланту,
дочь своего господина, мессера Америго;
Виоланта зачала от Теодоро;
Теодоро хотят повесить и плетьми гонят
на место казни, но тут его узнает отец;
Теодоро освобождают, и он женится
на Виоланте

Дамы, с ужасом ожидавшие, что любовников сожгут на костре, услыхав, что оба спасены, возрадовались и возблагодарили бога, королева же, дослушав повесть до конца, велела рассказывать Лауретте, и та бойко повела свой рассказ.

– Прекрасные дамы! В те времена, когда в Сицилии царствовал добрый король Вильгельм, жил-был на острове дворянин, мессер Америго Аббате да Трапани, у которого было много земных благ и много детей. По сему обстоятельству он нуждался в слугах и, воспользовавшись тем, что с Востока прибыли галеры генуэзских корсаров, которые, идя вдоль берегов Армении, захватили много мальчиков, и полагая, что это турки, кое-кого из них купил, и все они оказались пастухами, но был среди них один, по имени Теодоро, отличавшийся от всех благородством и красотою черт лица. Обходились с ним, как с рабом, однако же рос он в доме мессера Америго вместе с его детьми, но безупречным поведением и учтивостью он лишь в малой мере

обязан был своей переимчивости, — таким уж он уродился, и до того мессер Америго возлюбил его, что дал ему вольную, велел окрестить его и дать ему имя Пьетро, — ведь он принимал его за турка, — и, питая к нему доверие чрезвычайное, сделал его своим управляющим.

Подрастали все дети мессера Америго, подрастала и дочка его Виоланта, красивая, стройная девушка, отец не спешил выдавать ее замуж, а она тем временем влюбилась в Пьетро, но как она ни любила его, как ни ценила нрав его и обычай, а все же излить ему свои чувства ей мешал девичий стыд. Амур, однако ж, избавил ее от этой заботы: Пьетро, украдкой бросавший на нее взгляды, влюбился в нее без памяти и только о ней и думал. Пьетро боялся одного: как бы кто этого не заметил, ибо в глубине души он себя осуждал. Девушка всегда была ему рада, а теперь, угадав, что́ творится у него в душе, она, чтобы его ободрить, дала понять, что она в восторге, и так оно и было на самом деле. Долго у них это длилось, долго не решались они открыться друг дружке, хотя оба к тому стремились.

Итак, сердца их продолжали гореть одинаково ярким пламенем, пока наконец Фортуна, явно о них позаботившись, не подвигнула их сбросить с себя сковывавшую их робкую стеснительность. У мессера Америго примерно в одной миле от Трапани было живописнейшее имение, куда его жена с дочерью, с приятельницами и служанками частенько хаживала ради приятного времяпрепровождения. И вот однажды, в сильную жару, они отправились туда вместе с Пьетро, погуляли, но вдруг, как это часто бывает летом, небо внезапно затянулось темными тучами, и тогда госпожа и ее спутницы, боясь, как бы их здесь не застала гроза, быстрым шагом пошли обратно в Трапани. У Пьетро и у девушки ноги были молодые, и они, подгоняемые, по всей вероятности, не столько переменой погоды, сколько любовью, ушли далеко вперед. Когда же они ушли так далеко, что их почти не было видно, то после многократных ударов грома посыпался крупный и частый град, и мать со всей компанией укрылась от непогоды в доме у одного по-

селянина. А Пьетро и девушка, за неимением другого пристанища, зашли в нежилую развалюшку и стали под крышу, а так как уцелела лишь небольшая ее часть, то им поневоле пришлось друг к дружке прижаться. От этой близости оба осмелели, и она вдохновила их на сердечные излияния.

Первым заговорил Пьетро. “Дай бог, чтобы град не переставал!” – воскликнул он.

“Как бы это было хорошо!” – воскликнула девушка.

От слов они перешли к делу: пожали друг дружке руку, потом обнялись, затем поцеловались, а град все не переставал. Коротко говоря, разъяснилось не прежде, чем они познали наивысшие восторги страсти и уговорились, как им тайком услаждать друг дружку. Гроза между тем утихла, и они, приблизившись к городу, до которого было недалеко, здесь дождались мать и вместе с нею возвратились домой. После этого у них было много тайных свиданий, ради которых они принимали все меры предосторожности и которые доставляли им обоим живейшую отраду. И дело у них так далеко зашло, что девушка забеременела, и это крайне их огорчило. На что они только не пускались, чтобы, наперекор природе, вытравить плод, но у них так ничего и не вышло.

Пьетро, в страхе за свою жизнь, решился бежать и сказал об этом девушке, а девушка ему: “Если ты убежишь, я тут же покончу с собой”.

Пьетро горячо любил ее, но вот что он ей сказал: “Родная моя! Подумай сама: могу ли я тут остаться? Твоя беременность изобличит наш грех – тебя-то скоро простят, а вот мне, горемычному, придется держать ответ и за твою и за мою вину”.

Девушка же ему на это сказала так: “Моя вина, конечно, узнается, а твоя – можешь быть уверен, Пьетро, – никогда, только сам смотри не проговорись”.

“Ну, когда так, то я остаюсь, – молвил Пьетро, – но уж ты меня не выдавай”.

Девушка до последней возможности скрывала свою беременность, но она так располнела, что дольше скрывать было уже нельзя, и вот однажды она, обливаясь слезами, все

рассказала матери, моля выручить ее из беды. Мать пришла в ужас, разбранила дочку, а затем пристала к ней с расспросами, как же это случилось. Девушка, боясь за Пьетро, не сказала ей правды, а сочинила целую небылицу. Мать ей поверила и, чтобы скрыть ее грех, поехала с нею в одно из своих владений. Когда дочери пришло время родить, она начала кричать, как обыкновенно кричат роженицы, Америго же, почти никогда в это имение не заглядывавший, возвращаясь с охоты на птиц, сверх ожиданий своей жены, прошел мимо дома, откуда как раз в это время неслись крики его дочери, подивился, вбежал в ее комнату и спросил, что это значит. Жена, увидев мужа, вскочила в страхе и объявила, что дочка рожает, однако муж оказался не столь доверчивым: он возразил жене, что дочь не может не знать, от кого она понесла, и порешил все у нее выпытать: если, мол, она скажет правду – он ее простит, а не скажет – казнит без милосердия. Жена пыталась уверить мужа, что дочка не солгала, но – безуспешно. Придя в ярость, мессер Америго выхватил шпагу и бросился на дочь, а та, пока мать говорила с отцом, успела родить сына. “Скажи, от кого ты родила, или я тебя убью!” – вскричал отец. Дочь страха ради изменила слову, которое она дала Пьетро, и призналась, что это его ребенок. Отец рассвирепел и чуть не убил родную дочь, но все же совладал с собой, ограничился тем, что излил на нее свой гнев, а затем вскочил на коня и, прибыв в Трапани, пожаловался наместнику короля, мессеру Куррадо, на то бесчестье, какое нанес ему Пьетро, тут же велел схватить ничего не подозревавшего слугу своего, и Пьетро под пыткой во всем сознался. Несколько дней спустя наместник вынес приговор: провести Пьетро по городу и бить плетьми, затем вздернуть на виселицу, у мессера же Америго гнев не остыл и после того, как он добился для Пьетро смертного приговора, а потому он, задавшись целью одновременно отправить на тот свет любовников и их младенца, насыпал в чашу с вином яду, дал эту чашу и обнаженный кинжал одному из слуг своих и сказал: “Пойди с этим к Виоланте и скажи ей от моего имени: пусть сию же минуту выбирает себе

смерть – от яда или от кинжала, но только чтоб не мешкала, иначе я велю сжечь ее при народе, – это будет ей заслуженным возмездием. Когда же она умрет, возьми малого, которого она назад тому несколько дней произвела на свет, тресни его головой об стену и отдай на съедение псам". Когда бесчеловечный мессер Америго изрек столь суровый приговор дочери своей и внуку, слуга, которого трудно было смягчить, тот же час удалился.

Путь осужденного Пьетро, которого плетьми гнали на место казни, лежал, как то заблагорассудилось стражникам, мимо гостиницы, где в то время стояли трое знатных армян, – царь армянский послал их в Рим на предмет переговоров с папой о делах первостепенной важности, сопряженных с предстоявшим крестовым походом, а они остановились здесь на несколько дней освежиться и передохнуть, знатные же люди Трапани, в особенности мессер Америго, приняли их с отменными почестями. Услыхав, что мимо них кого-то ведут, армяне выглянули в окно. Пьетро был наг до пояса, руки ему скрутили за спиной. Один из трех послов, по имени Финео, весьма влиятельный старик, бросил взгляд на осужденного и увидел у него на груди большое красное пятно, не нарисованное, а естественное, – женщины такие пятна называют родимыми. Едва лишь старик увидел это пятно, как ему вспомнился сын, которого назад тому пятнадцать лет на берегу моря, близ Лаяццо, у него похитили корсары и о котором он с тех пор ничего не знал. Прикинув, сколько лет этому несчастному, которого били плетьми, он подумал, что если б его сын был жив, то ему было бы примерно столько же, а пятно усилило в нем подозрения; если же это подлинно его сын, – продолжал рассуждать армянин, – то он еще должен помнить, как зовут его самого, как зовут его отца, и, наверное, еще не разучился говорить по-армянски.

Когда же этот человек поравнялся с его окном, он крикнул: "Эй, Теодоро!"

Пьетро тотчас вскинул голову, Финео же спросил его по-армянски: "Откуда ты и чей ты сын?"

Стражники из уважения к почтенному человеку остановились, и Пьетро ответил: “Я – из Армении, сын Финео, меня привезли сюда, когда я был совсем маленьким, а кто привез – того я не ведаю”.

Тут у Финео уже не осталось сомнений, что это его сын; рыдая, он выбежал со своими спутниками на улицу, стража перед ним расступилась, он обнял сына, накинул на него свой, тонкого шелку, плащ и попросил начальника стражи подождать вести осужденного впредь до особого распоряжения. Тот охотно согласился.

Финео уже знал, за что должны были казнить этого человека, – весь город только о том и говорил. Поэтому он со своими спутниками и слугами пошел прямо к мессеру Куррадо и сказал: “Мессер! Тот, кого вы посылаете на смерть, как раба, на самом деле человек вольный, это мой сын, и он готов жениться на той, которую он, по слухам, лишил невинности. По сему обстоятельству нельзя ли приостановить казнь, пока не станет известно, хочет ли она отдать ему руку, а то ведь если она изъявит таковое желание, то выйдет, что вы нарушили закон”. Мессер Куррадо, узнав, что это сын Финео, пришел в изумление. Ему стало стыдно, что он волею судеб чуть было не допустил ошибки, и, уверившись, что Финео сказал правду, он попросил его возвратиться в гостиницу, а сам послал за мессером Америго и все как есть ему рассказал. Мессер Америго был убежден, что и дочери его и внука уже нет на свете, и был в совершенном отчаянии от того, что он наделал, ибо он сознавал, что, если б его дочь не умертвили, все еще можно было бы поправить. Со всем тем он, нимало не медля, послал к дочери человека, дабы объявить ей, – в том случае, если она еще жива, – что он свой приказ отменяет. Посланец, войдя, услышал, что слуга мессера Америго, поставивший перед его дочерью чашу с ядом и положивший кинжал, бранит девушку за то, что она колеблется, и понуждает ее сделать выбор. Узнав о новом распоряжении своего господина, он оставил ее в покое, пошел к нему и обо всем ему доложил. Мессер Америго возликовал; он поспешил к Финео, при-

нес ему самое искреннее раскаяние, слезно молил о прощении и объявил, что, если Теодоро пожелает жениться на его дочери, он, мессер Америго, будет только этому рад.

Финео охотно принял его извинения и сказал: “Я тоже хочу, чтобы мой сын женился на вашей дочери. Если же он откажется, то да свершится вынесенный ему приговор!” Уговорившись на том, Финео и Америго спросили Теодоро, обуреваемого смешанным чувством страха смерти и радости от встречи с отцом, чего бы он хотел. Уразумев, что, буде он пожелает, Виоланта выйдет за него замуж, Теодоро возликовал так, словно из преисподней допрыгнул до рая, и объявил, что если родители согласны, то он примет дозволение на брак с Виолантой как величайшую для себя милость. Засим решено было послать к Виоланте и узнать, как смотрит на это она. Виоланта была в совершенном отчаянии: она знала, чтó случилось с Теодоро и чтó его еще ждет, над ней самой нависла угроза смерти, потому, когда к ней явился посланец, она далеко не сразу ему поверила, но потом все же приободрилась и ответила, что если б это только от нее зависело, то для нее не могло бы быть большего счастья, чем выйти замуж за Теодоро, но что в любом случае она из родительской воли не выйдет. Так, с общего согласия, Виоланта вступила в брак с Теодоро, и по сему случаю, к великому удовольствию всех горожан, было устроено невиданное торжество.

Виоланта успокоилась, отдала ребенка кормилице и немного спустя стала еще красивее, чем была прежде. Когда Финео возвратился из Рима, Виоланта, уже оправившись после родов, встретила его, как родного отца, он же, в восторге от того, что у него такая красивая невестка, обласкал ее, как родную дочь, — он и потом относился к ней, как к родной, — и необычайно торжественно и весело отпраздновал бракосочетание ее и своего сына. А несколько дней спустя Финео отвез на галере своего сына, невестку и внучонка к себе в Лаяццо, и здесь любящие супруги в радости и в спокойствии прожили свою жизнь.

8

Настаджо дельи Онести,
влюбленный в девушку из рода Траверсари,
тратит деньги без счета,
однако ж так и не добивается взаимности;
уступая просьбам своих близких,
он уезжает в Кьясси; здесь на его глазах
всадник преследует девушку, убивает ее
и оставляет ее тело на растерзание двум псам;
Настаджо приглашает своих родных
и свою возлюбленную на обед;
на глазах у возлюбленной мучают девушку,
и возлюбленная из боязни,
что ее может постигнуть такая же участь,
выходит замуж за Настаджо

Когда Лауретта умолкла, Филомена по повелению королевы начала так:

– Достолюбезные дамы! За милосердие нас одобряют, а за жестокость божественное правосудие строго наказывает. Чтобы вам это стало ясно и чтобы вы раз и навсегда изгнали из своего сердца жестокость, я хочу рассказать повесть, столь же трогательную, сколь и занимательную.

В Равенне, принадлежащей к числу самых старинных городов Романьи, жило когда-то много людей знатных и состоятельных, в частности юноша по имени Настаджо дельи Онести, у которого после смерти отца и дяди остались

на руках несметные богатства. Как это часто бывает с холостыми юношами, он влюбился в дочь мессера Паоло Траверсари, – она была еще родовитей его, и потому он надеялся заслужить ее расположение своими поступками, но эти его великодушные, прекрасные и похвальные поступки были ему не на пользу, а, казалось, скорее во вред – до того сурова, жестока и бессердечна была с ним его возлюбленная, так возгордившаяся и возомнившая о себе, может статься, оттого, что для нее не являлось тайной, как она хороша собой и что принадлежит она к высшей знати, – словом, она и смотреть-то на него не хотела. Настаджо это было так горько, что его нередко после долгого и тяжкого раздумья тянуло руки на себя наложить, однако ж всякий раз он пересиливал себя и давал себе слово оставить всякую мысль о ней и даже возненавидеть ее, подобно как она ненавидела его. Со всем тем усилия его были бесплодны, и чем меньше оставалось у него надежд, тем, казалось, сильнее становилось его чувство к ней. Словом, молодой человек продолжал обожать девушку и продолжал сорить деньгами; наконец родные его и друзья рассудили, что так он расстроит и здоровье свое, и состояние, и начали просить его и молить уехать из Равенны и некоторое время пожить где-нибудь еще, – тогда остынет-де и страсть любовная, и страсть к расточительству. Настаджо долго оборачивал дело в шутку, однако ж в конце концов его упросили, он сдался на уговоры и согласился. Снаряжался он в дорогу так, словно задумал поехать во Францию, в Испанию или же еще в какой-либо дальний край, затем сел на коня и, окруженный множеством друзей, отъехал мили три от Равенны; здесь, в Кьясси, он велел разбить шатры и палатки и объявил сопровождавшим его, что дальше он никуда не поедет, а они пусть себе возвращаются в Равенну. Расположившись в Кьясси, Настаджо повел жизнь привольную и широкую и, как это у него обыкновенно водилось, то того, то другого приглашал отужинать или же отобедать.

И вот в один из тех дивных дней, какие бывают в начале мая, вспомнилась ему бездушная его возлюбленная, и

он, велев приближенным своим оставить его одного, дабы он мог мечтать о ней без помех, пошел куда глаза глядят и не заметил, как дошел до соснового бора. Пройдя с полмили и даже не вспомнив, что он с утра ничего не ел, и вообще позабыв обо всем на свете, в двенадцатом часу дня он вдруг услыхал громкий плач и отчаянные вопли — то плакала и кричала женщина. Сладостные его мечтания были, таким образом, прерваны; он поднял голову и с изумлением убедился, что находится в сосновом бору. Затем взглянул прямо перед собой и увидел, что к нему сквозь частый колючий кустарник бежит прелестная нагая девушка, с растрепанными волосами, исцарапанная сучками и колючками, и громко плачет и молит о пощаде. За нею справа и слева мчались два огромных разъяренных пса и, настигнув, пребольно ее кусали. А сзади, размахивая шпагой, скакал на вороном коне черный всадник с остервенелым взором и, изливая свою злобу в гневных и бранных словах, грозил ей смертью. Настаджо был поражен, испуган и в то же время преисполнен жалости к несчастной женщине, и его охватило желание избавить ее от травли и спасти от смерти. Так как он был безоружен, то отломил сук и двинулся навстречу собакам и всаднику.

Всадник, однако же, издали крикнул ему: “Не вмешивайся, Настаджо! Не препятствуй собакам и мне учинить с этой злодейкой то, чего она заслужила!”

Тем временем псы, впившись девушке зубами в бока, задержали ее, а всадник нагнал девушку и соскочил с коня. Настаджо приблизился к нему и сказал: “Ты, как видно, хорошо меня знаешь, а я понятия не имею, кто ты таков, и все же не могу не сказать тебе: нужно быть величайшим подлецом, чтобы с оружием в руках, верхом на коне, преследовать нагую девушку и, словно дикого зверя, травить ее собаками. Я буду защищать ее до последней капли крови”.

Всадник же ему на это сказал: “Настаджо! Мы с тобой из одного города, ты был еще совсем маленьким, когда я, которого звали тогда Гвидо дельи Анастаджи, был гораздо пламеннее влюблен в эту женщину, нежели ты — в Травер-

сари, и кичливость ее и жестокость довели меня до того, что однажды, в порыве отчаяния, я пронзил себя вот этой самой шпагой и тем осудил себя на вечную муку. Немного погодя эта женщина, ликовавшая по случаю моей смерти, тоже скончалась, и за то, что она жестоко со мной обошлась, за то, что мучения мои доставляли ей удовольствие, и за то, что она ни в чем не раскаялась, ибо не почитала все это за грех, осуждена была гореть в аду. Как скоро попала она в ад, в наказание она должна была бежать от меня, а я, который так пламенно когда-то ее любил, – преследовать ее, но не как любимую женщину, а как смертельного своего врага. И сколько бы раз я ее ни настиг, столько же раз этою самою шпагою, которою я пронзил себя, я пронзаю теперь ее, извлекаю, как ты это сейчас увидишь, ее сердце, безжалостное и холодное, куда ни любовь, ни сострадание так и не сумели проникнуть, и вместе с другими внутренностями бросаю на съедение псам. Малое время спустя по воле всеправедного и всемогущего бога она оживает, как если бы до того никогда и не умирала, и опять начинается мучительное для нее бегство, а я с собаками гонюсь за ней. И так каждую пятницу в это самое время я ее здесь настигаю и, как ты сейчас увидишь, подвергаю мучениям. Не подумай, однако ж, что в другие дни мы с ней отдыхаем, – я настигаю ее всюду и мщу ей за каждый злой помысел обо мне, за то зло, которое она мне где-либо причинила. Как видишь, из любовника я превратился во врага, и мне надлежит преследовать ее ровно столько лет, сколько месяцев она жестоко со мной обходилась. Так не мешай же мне исполнить волю божественного правосудия – все равно ты не властен этому воспрепятствовать!"

У Настаджо от ужаса волосы встали дыбом; он попятился и, обратив взор на несчастную девушку, в страхе ждал, что́ будет делать всадник; всадник же, словно бешеный пес, кинулся на девушку, – а в девушку вцепились псы, и она, стоя на коленях, молила всадника о пощаде, – и, взмахнув что было силы шпагой, пронзил ей грудь. Девушка, по-прежнему крича и плача, повалилась наземь, всадник же

выхватил нож и, вынув сердце и прочие внутренности, швырнул псам, а голодные псы все мигом пожрали. Прошло немного времени – глядь, девушка как ни в чем не бывало вскакивает и бежит к морю, собаки бросаются за ней и то и дело кусают ее, всадник же ступает в стремя и со шпагою наголо устремляется в погоню, и вскоре все они скрываются из виду.

Настаджо и страху натерпелся, и душой изболелся, но потом ему вспало на ум, что так как это случается каждую пятницу, то он может извлечь из сего немалую пользу. Запомнив место, где это происходило, он возвратился к себе, а затем почел за нужное послать за родственниками своими и друзьями и сказал: "Вы долго убеждали меня разлюбить мою ненавистницу и перестать швырять деньги, – что ж, я исполню ваше желание, но только если вы окажете мне одну любезность, а именно – пригласите в следующую пятницу Паоло Траверсари с супругой, дочерью, со всеми его родственницами и со всеми, кто только пожелает, ко мне сюда отобедать. Зачем мне нужно их позвать – это вы тогда же и поймете".

Те решили, что просьба Настаджо вполне исполнима, и пообещали все устроить. Возвратившись в Равенну, они, когда подошло время, пригласили всех, кого хотел зазвать к себе Настаджо; в конце концов уломали и его возлюбленную, хотя это оказалось делом нелегким. Настаджо велел приготовить роскошный обед и расставить столы под соснами, близ того места, где на его глазах замучили жестокосердную девушку. Рассадил же он мужчин и женщин с таким расчетом, чтобы его возлюбленная села как раз напротив места происшествия. И вот подали последнее блюдо, как вдруг все услыхали отчаянные вопли преследуемой девушки. Гости в изумлении стали спрашивать друг друга, что бы это могло быть, но никто не мог взять в толк, наконец все встали с мест и, всмотревшись, увидели кричавшую девушку, всадника и собак, а немного погодя и девушка, и всадник, и псы были уже здесь. Все закричали на всадника и на собак, а многие попытались вступиться за девушку, однако

же всадник, обратившись к ним с тою же речью, с какой уже обращался к Настаджо, вынудил их от изумления и страха податься назад. Как скоро всадник учинил то же, что и тогда, все женщины, – а среди них было много родственниц несчастной девушки и родственниц всадника, у которых еще свежи были в памяти и его любовь, и его кончина, – заплакали в голос, как будто их самих так же точно терзали. Когда же все кончилось, когда девушка и всадник удалились, происшествие это вызвало самые разные толки. К числу тех, кого оно особенно ужаснуло, принадлежала все ясно видевшая и слышавшая неприступная возлюбленная Настаджо, ибо она уразумела, что оно имеет к ней самое прямое отношение; она вспомнила, сколь высокомерно она держала себя с Настаджо, и ей уже чудилось, будто она бежит впереди, собаки бегут по бокам, а сзади мчится разъяренный Настаджо. И до того она была перепугана, что не чаяла, как дождаться удобного случая, – а случай не замедлил представиться вечером, – чтобы, сменив гнев на милость, тайно послать к Настаджо свою наперсницу и позвать его к себе – она, мол, согласна на все. Настаджо велел передать ей, что это ему очень приятно слышать, но что, буде на то ее соизволение, он хотел бы достигнуть исполнения своих желаний честным путем, то есть взять ее в жены. Девушка, сознававшая, что дело только за ней, ответила согласием. Решившись стать самой себе свахой, она объявила родителям, что хочет выйти замуж за Настаджо, – родители чрезвычайно обрадовались, в следующее же воскресенье Настаджо обручился и повенчался со своей возлюбленною, и зажили они весело. И не только их счастье породил ужас, в который повергло тогда гостей Настаджо то происшествие, – все равеннские дамы после описанного случая с перепугу стали куда податливее, чем прежде.

9

Федериго дельи Альбериги влюблен,
но ему не отвечают взаимностью;
он разоряется ради своей возлюбленной,
и у него остается только сокол,
которого он за неимением чего-либо еще
и подает на обед пришедшей к нему в гости даме его сердца;
узнав об этом, дама изменяет к нему свое отношение,
выходит за него замуж, и благодаря этому
он опять становится
богатым человеком

Филомена умолкла, а королева, приняв в рассуждение, что, за исключением пользовавшегося своею льготою Дионео, рассказывать больше некому, с веселым видом заговорила:

– Теперь моя очередь рассказывать, и я, милейшие дамы, с удовольствием расскажу повесть, отчасти похожую на предыдущую, не только для того, чтобы вы уразумели, какою властью обладают ваши чары над сердцами благородными, но также и для того, чтобы вы себе уяснили, что в иных случаях вам самим следует награждать и не всегда полагаться на судьбу, оттого что судьба чаще всего раздает награды без толку и без разбору.

Итак, надобно вам знать, что в нашем городе жил, – а может статься, живет еще и сейчас, – Коппо ди Боргезе Доменики, человек всеми почитаемый и весьма влиятельный, пользовавшийся глубочайшим уважением и достой-

ный вечной славы не столько за то, что в жилах у него текла благородная кровь, сколько за свое благонравие и достоинства души, и на старости лет, в разговорах с соседями и другими людьми, ему доставляло особое удовольствие вспоминать прошлое, а так как он отличался незаурядной памятью и был на редкость красноречив, то рассказывал лучше и складнее, чем кто бы то ни было. Одна из самых прекрасных его повестей, которые он особенно часто рассказывал, — это повесть об одном юном флорентийце по имени Федериго, сыне мессера Филиппо Альбериги, выделявшемся среди тосканских юношей своею искушенностью в ратном искусстве, а равно и своею благовоспитанностью. Как это случается с большинством благородных юношей, он влюбился в знатную даму, монну Джованну, которая в то время считалась одной из самых красивых и очаровательных женщин во всей Флоренции. И вот, дабы снискать ее любовь, Федериго участвовал в состязаниях и соревнованиях, устраивал в ее честь празднества, одаривал ее, тратил деньги, не жалея, однако монна Джованна, столь же очаровательная, сколь и добродетельная, не придавала значения всему, что делалось ради нее, и не обращала внимания на того, кто это устраивал. Словом, Федериго жил не по средствам, но так ничего и не добился, и, как это обыкновенно бывает, деньги у него все вышли, он обеднел, и осталось у него одно-единственное именьице, на доходы с которого он еле-еле сводил концы с концами, да еще сокол, но зато один из лучших соколов на всем свете. Любил он монну Джованну еще сильнее, чем когда-либо, а жить в городе и вести прежний образ жизни уже не мог, — по сему обстоятельству он перебрался в Кампи, где находилось его именьице, и занялся охотой на птиц; о вспомоществовании он никого не просил и покорно терпел лишения.

Нужно же было случиться так, что, когда Федериго дошел до последней крайности, муж монны Джованны занемог и, чувствуя свой конец, перед самой смертью составил духовную. Все свое огромное состояние он завещал своему сыну, в то время — подростку, с тем чтобы в случае, если

сын умрет и законнорожденных детей у него не останется, состояние перешло к монне Джованне, которую он очень любил. Овдовев, монна Джованна, как это принято у наших дам, каждый год уезжала с сыном на все лето в деревню, к себе в именье, находившееся по соседству с именьем Федериго, и из этого соседства проистекло то, что мальчуган, которого привлекали птицы и собаки Федериго, с ним сдружился. Он не сводил глаз с летавшего сокола, он завидовал Федериго, но, зная, как тот дорожит соколом, не решался попросить, чтобы тот подарил ему птицу. И вот однажды мальчуган заболел. Мать сильно встревожилась, — ведь это был ее единственный сын, она души в нем не чаяла, — и теперь она ни на шаг не отходила от его постели, старалась развлечь его и все допытывалась, чего бы ему хотелось, — она, мол, все, что только в ее силах, ему достанет.

Наконец мальчик не вытерпел и сказал: "Матушка! Достаньте мне сокола Федериго — я тогда мигом поправлюсь".

Мать призадумалась и пораскинула умом. Она помнила, что Федериго долгое время ее любил, а она даже взглядом его не одарила. "Ну как я пошлю к нему за птицей и как у меня у самой повернется язык попросить у него сокола? — рассуждала она сама с собой. — Сказывают, лучше этого сокола на всем свете нет; притом сокол его кормит. И какой нужно быть наглянкой, чтобы отнять у порядочного человека единственную его отраду?" Монна Джованна была совершенно уверена, что отказу бы ей не было, но обратиться с подобной просьбой она не решалась, а потому, не зная, что ответить сыну, в растерянности молчала.

В конце концов материнская любовь восторжествовала: монна Джованна решилась порадовать сына и, что бы там ни было, не посылать, а пойти за соколом самой. "Успокойся, сынок! — сказала она. — Ты только как можно скорей выздоравливай, а я тебе обещаю завтра же принести сокола". Мальчуган так обрадовался, что в тот же день ему стало лучше.

Наутро монна Джованна взяла с собой свою знакомую, якобы в виде прогулки пошла по направлению к домику Фе-

дериго и, приблизившись, велела позвать его. В тот день погода была для охоты неподходящая; впрочем, Федериго уже несколько дней не ходил на охоту и копался у себя в огороде. Услыхав, что его спрашивает монна Джованна, он, не помня себя от радостного изумления, побежал к ней.

При виде Федериго монна Джованна с величественно-благосклонным видом встала и, ответив на почтительное его приветствие: "Мир дому Федериго!" – продолжала: "Я пришла вознаградить тебя за то зло, которое я тебе причинила в то время, когда ты с излишнею пылкостью меня любил. Награда же будет заключаться в следующем: я хочу со своею подругой запросто отобедать у тебя сегодня".

Федериго же ей скромно на это ответил: "Я не помню, сударыня, чтобы вы мне какое-либо зло причинили, напротив того: вы мне сделали много добра; ваши достоинства столь велики, что я не мог не полюбить вас, и это чувство меня облагородило. Смею вас уверить: радость от сознания, что вы осчастливили меня своим посещением, неизмеримо выше той радости, какую вызвала бы во мне возможность расходовать столько, сколько я расходовал прежде, хотя почитаю за должное упредить вас: вы пришли в гости к бедняку". Тут он не без смущения провел ее через дом в сад, а так как ему не с кем было оставить ее, то он обратился к ней с такими словами: "Сударыня! Семьи у меня нет, – с вами пока побудет вот эта добрая женщина, жена моего работника, а я пойду прикажу накрывать на стол".

Несмотря на крайнюю нищету, в какую впал Федериго, он до сих пор как-то не задумывался, зачем он так безрассудно промотал свое состояние, и только нынче, не обнаружив ничего, чем он мог бы попотчевать гостью, ради любви к которой он в былые времена угощал столько народу, он ясно представил себе весь ужас своего положения. На краю отчаяния, проклиная судьбу, он, сам не свой, заметался по комнатам – ни денег, ни вещей, которые можно было бы заложить, а час поздний, угостить чем-нибудь почетную гостью ему смерть как хочется, обращаться же к кому-либо, даже к своему работнику, неловко, но тут взгляд Федериго

задержался на милом его сердцу соколе, — тот сидел у него в каморке на жердочке. Видя, что делать нечего, Федериго снял его с жердочки, пощупал — сокол показался ему достаточно упитанным, вполне пригодным для того, чтобы угостить им столь важную даму. Не долго думая, Федериго свернул соколу шею и тут же велел служанке ощипать его, приготовить и хорошенько зажарить на вертеле. Стол он распорядился накрыть белоснежными скатертями, которые у него еще остались от прежней роскоши, а затем с веселым видом возвратился к даме в сад и объявил, что кушать подано, — чем, дескать, богат, тем и рад. Дама и ее подруга сели за стол и, не подозревая, что они едят, вместе с Федериго, который усиленно их угощал, съели чудного сокола.

Наконец убрали со стола, некоторое время после обеда прошло в приятной беседе, а затем гостья подумала, что пора заговорить о цели ее прихода, и, обратив на Федериго благосклонный взор, начала так: "Федериго! Тебе, уж верно, памятно твое прошлое, памятно и мое прямодушие, которое ты, может статься, принимал за суровость и жестокость, и я не сомневаюсь, что, узнав, зачем, собственно, я к тебе пришла, ты подивишься моей смелости. Впрочем, я убеждена, что, если б у тебя были дети, если б ты знал, что такое любовь к детям, ты бы не судил меня строго. Но у тебя детей нет, а у меня есть сын, следственно, то, что свойственно всем матерям, свойственно и мне. И вот я, коль скоро я разделяю жребий всех матерей, вынуждена, наперекор себе самой и вопреки правилам приличия, попросить у тебя то, что, сколько мне известно, тебе чрезвычайно дорого, и я понимаю — почему: горькая твоя судьбина не оставила тебе никакой иной забавы, никакой иной отрады, никакой иной утехи. Я прошу, чтобы ты подарил мне сокола: мой мальчик в таком от него восторге, что если я ему не принесу его, то он этого не переживет. Так вот, я прошу тебя не ради твоей любви ко мне, ни к чему тебя не обязывающей, — я взываю к душевному твоему благородству, которое уже выказалось в несравненной твоей щедрости; будь

добр, подари мне сокола – этим ты спасешь моего сына, я же буду тебе благодарна до конца дней".

Федериго, выслушав просьбу гостьи и поняв, что не может ей быть полезен, так как сокола они съели за обедом, вместо ответа расплакался. Гостья подумала, что Федериго заплакал, вернее всего, оттого, что ему жаль сокола, и хотела было сказать, что не возьмет подарка, но потом все же рассудила за благо подождать, пока Федериго выплачется, и послушать, что он ответит, он же сказал ей так: "Сударыня! С тех пор как, по воле божией, я все свои любовные думы посвятил вам, судьба не благоприятствовала мне, и я на нее роптал, но все ее прежние удары – ничто в сравнении с сегодняшним, – отныне я буду на нее сетовать при одном воспоминании о том, как вы посетили убогую мою хижину, которую вы не удостаивали своим посещением, пока я жил богато; при одном воспоминании о том, как вы попросили меня сделать вам скромный подарок, а я по прихоти судьбы вынужден был отказать вам; почему я вынужден вам отказать – это я в немногих словах сейчас объясню. Узнав, что вы снизошли до того, чтобы у меня отобедать, я, приняв в рассуждение ваше положение в свете, равно как и ваши достоинства, почел приличным и необходимым угостить вас редкостным блюдом, каким потчуют далеко не всех. И тут я вспомнил о соколе, которого вы у меня просите, представил себе, каков он должен быть на вкус, рассудил, что таким кушаньем не стыдно вас угостить, и, полагая, что лучше я не мог бы им распорядиться, велел зажарить его и подать к обеду. Оказывается, он вам нужен был живой, и мне так горько, что я не смог оказать вам услугу, так горько, что теперь я до самой смерти не успокоюсь".

И тут он в подтверждение своих слов приказал разложить у ее ног перья, лапы и клюв сокола. Увидав все это и услыхав, гостья попеняла Федериго за то, что он, единственно для того, чтобы угостить женщину, убил такого прекрасного сокола, однако ж в глубине души по достоинству оценила широкую его натуру, которую не в силах была сузить бедность. Поблагодарив Федериго за оказанную ей

честь и за гостеприимство, она, удрученная тем, что придет домой без сокола и что сыну от этого может стать хуже, простилась с хозяином и вернулась к сыну, – сын же, то ли с горя, что не будет у него сокола, то ли оттого, что болезнь его была неизлечима, спустя несколько дней, растерзав сердце матери, скончался.

Монна Джованна долго плакала и горевала, но братья ее, полагая, что такой богатой и еще молодой женщине не след оставаться вдовой, настойчиво советовали ей выйти замуж вторично. Ей этого не хотелось, но братья от нее не отставали, и тут она вспомнила, какой хороший человек Федериго и какая у него добрая душа, – ведь он не пожалел в тот раз такого великолепного сокола только для того, чтобы ее угостить, – и сказала братьям: “Если б вы мне не докучали, я бы предпочла остаться вдовой, но если вы уж непременно хотите, чтобы я вышла замуж, то я не выйду ни за кого, кроме Федериго дельи Альбериги”.

Братья подняли ее на смех. “Глупышка! – сказали они. – Что ты выдумала? Да ведь у него гроша за душой нет!”

А она им: “Это я, братцы, не хуже вас знаю, но только, по мне, мужчина, нуждающийся в деньгах, лучше денег, нуждающихся в мужчине”.

Братья, знавшие Федериго за человека порядочного, хотя и неимущего, не стали противиться ее желанию и поженили их, и Федериго получил за ней богатое приданое. Женившись на любимой женщине, разбогатев благодаря ей и сделавшись рачительным хозяином, он счастливо прожил с ней свою жизнь.

10

*Пьетро ди Винчоло ужинает не дома;
его жена приглашает к себе молодого человека;
Пьетро возвращается; жена прячет молодого человека
под корзину, где прежде держали цыплят;
Пьетро рассказывает, как у Эрколано;
у которого он ужинал, был только что найден
молодой человек, которого укрывала жена Эрколано;
жена Пьетро осуждает жену Эрколано;
как на грех, осел наступает
на пальцы молодому человеку,
который прячется под корзиной,
и тот вскрикивает от боли;
Пьетро подбегает к корзине, убеждается,
что под ней прятался мужчина, и таким образом
обман жены всплывает наружу,
но в конце концов из-за своей извращенности
Пьетро с нею мирится*

Повесть королевы подошла к концу, и все прославили бога, достойно вознаградившего Федериго, после чего Дионео, не ожидая понуждений, начал так:

– Мне трудно сказать, почему людей радуют не столько добрые, сколько дурные дела, особливо в тех случаях, когда они их не затрагивают: быть может, это зависит от испорченности того или иного человека, быть может – от повреждения нравов, а быть может – в силу нашей врож-

денной греховности. Я же взял на себя труд, — и готов нести эту обязанность и в дальнейшем, — разгонять вашу тоску, смешить вас и веселить: такова единственная моя цель; вот почему я намерен рассказать вам, возлюбленные девушки, повесть, правда, не весьма пристойную, но зато забавную, вы же, прослушав ее, поступите так, как вы обыкновенно поступаете, входя в сад: протягиваете нежную ручку, срываете розу, а шипы оставляете. Так же точно поступите и в сем случае: примите в рассуждение, что нерадивый муж, быв опозорен, заслужил горькую свою участь, и весело посмейтесь над шурами-мурами его супруги, а где найдете нужным — посочувствуйте чужому горю.

Не так давно жил-был в Перудже богатый человек по имени Пьетро ди Винчоло, и вот этот самый Пьетро не столько потому, что ему уж так загорелось жениться, сколько, по всей вероятности, дабы ввести в заблуждение перуджинцев и заставить их переменить о себе мнение, вступил в брак. Судьба выбрала ему жену как раз по его вкусу: дебелую, рыжую, ненасытную бабу, — она бы и от двух мужей не отказалась, а нарвалась на такого, который меньше всего думал о том, чтобы ей угодить. В этом она вскоре убедилась, а между тем она была уверена в своей красоте и свежести, словом, баба была в самой поре и в соку, и первое время она из себя вон выходила, ругала мужа на все корки, словом — не ладила с ним. Но потом сообразила, что мужа она этим все равно не исправит, только свое здоровье расстроит. "Этот паршивец брезгует мной, оттого-то он, пакостник, умеет только на голове ходить, — подумала она, — найду-ка я себе такого, который, как все добрые люди, ходит. Ведь я почему за него вышла и принесла ему хорошее, богатое приданое? Я думала, он — мужчина, я думала, ему любо то, что любо и должно быть любо всем мужчинам на свете, а если б я только знала, что он не мужчина, нипочем бы за него не пошла. А вот он знал, что я — женщина, так зачем же он на мне женился, коли женщина ему противна? Терпение мое лопается. Если б я не хотела жить в миру, я бы ушла в монастырь. Но я живу и намерена жить в миру, я

жажду мирских радостей и утех, а этак я, пожалуй, состарюсь и ничего путного не дождусь. Придет старость, спохватишься, да поздно: молодость прошла, и прошла зря, а что в молодости нужно себя радовать – тут мой супруг подает мне отличный пример: сам забавляется и меня учит забавляться, но только в моих-то забавах ничего дурного не усмотришь, а вот его забавы в высшей степени предосудительны: я нарушу закон, а он идет и против закона, и против природы".

Мысль эта все чаще стала приходить почтенной женщине в голову; наконец, дабы тайно привести замысел свой в исполнение, она свела знакомство с одной старухой, похожей на святую Вердиану, кормящую змей; эта самая старуха ходила за отпущением грехов, не иначе как перебирая четки, говорила только о житиях святых да о язвах святого Франциска, и почти все считали ее святой. Жена Пьетро, решив, что пора поговорить с ней начистоту, поведала ей свои намерения. Старуха же рассудила так: "Доченька! Господь всеведущ, и он знает, что ты поступишь как должно. Если бы даже у тебя и не было такого повода, тебе, как всякой молодой женщине, следовало бы так поступить, иначе молодость пройдет даром, а ведь человеку тяжелее всего сознавать, что он упустил время. На кой черт мы нужны в старости? Золу из печки выгребать? Я это знаю по себе, я на себе это испытала, так что уж ты мне поверь: вот я теперь, на старости лет, томлюсь мучительным, горьким, да, жаль, беспроким раскаянием, как много времени я потратила даром. Правда, я не все свое время прозевала, – не думай, что я уж такая рохля, – но своего не отгуляла, и стоит мне вспомнить, какая я молодая была, да сравнить, какою стала, – а старость-то ведь не радость, – так у меня сердце кровью обливается. Мужчины – дело другое: они все умеют, не только это, и старики-то еще молодых за пояс заткнут, а женщины годны лишь на это, да еще детей рожать, – только за то их и ценят. Вот тебе самое явное доказательство: женщины всегда могут, а у мужчин не так. Притом одна женщина способна довести до изнеможения много муж-

чин, меж тем как много мужчин не доведут до изнеможения одну женщину. Так вот, раз мы для того и рождены, то – повторяю – ты очень хорошо сделаешь, ежели обведешь своего муженька вокруг пальца, – тогда в старости душе твоей не в чем будет упрекнуть твою плоть. Всем людям, а в особенности – женщинам, нужно брать от жизни все, что только она может дать; мужчинам тоже надлежит пользоваться каждым удобным случаем, ну, а женщинам и подавно: сама знаешь – состаримся, так ни муж, ни посторонний – никто и смотреть-то на нас не хочет, гонят нас на кухню: мурлыкайте там себе с кошкой, а не то так пересчитывайте кастрюльки да миски. И они же еще измываются над нами, говорят: "Юнцам чтоб угоститься, а старухам чтоб подавиться", – и чего они только про нас не говорят! Словом сказать, лучше меня ты ни к кому бы не могла обратиться за помощью: нет такого франта, к которому я не осмелилась бы подступиться, и нет такого мужлана и облома, которого я не сумела бы улестить и заставить плясать под мою дудку. Ты только покажи мне того, кто пришелся тебе по сердцу, а уж дальше я сама все обстряпаю. Но только, доченька, не забудь: я женщина бедная, уж ты теперь давай мне и на отпущения и на молебны, – это все равно, что ты богу свечку за упокой души усопших сродников поставишь". На том старуха окончила свою речь.

Молодая женщина условилась со старухой, что ежели та увидит молодца, который частенько проходил по ее улице и все приметы которого она ей описала, то пусть, мол, действует. При расставании дала она ей кусок солонины – и, дескать, с богом. А несколько дней спустя старуха потихоньку провела к ней в комнату того молодого человека, о котором у них было говорено, и потом она уже приводила к ней всех, кто только приходился ей по нраву, а хозяйка хоть и боялась мужа, однако маху не давала. Но вот как-то вечером случилось ее супругу пойти отужинать к своему приятелю Эрколано, а жена наказала старухе направить к ней одного из самых красивых и прелестных юношей во всей Перудже, каковое поручение старуха исполнила неза-

медлительно. Не успели, однако ж, хозяйка дома с молодым человеком приняться за ужин, как на улице послышался голос Пьетро, кричавшего, чтобы ему отворили. Жена, услыхав голос мужа, замерла, но, тут же порешив во что бы то ни стало устроить так, чтобы муж и полюбовник не встретились, она не догадалась выпустить молодого человека в другую дверь, а от великого ума спрятала его в чулане, рядом с комнатой, где они ужинали, накрыла корзиной, где прежде держала цыплят, на корзину накинула чехол от тюфяка, который она велела перед тем вытрясти, а потом послала отворить мужу дверь.

"Скоро же вы умяли ужин", — сказала она вошедшему супругу.

"Да мы к нему и не притронулись", — молвил Пьетро.

"Как так?" — спросила жена.

"Сейчас скажу, — отвечал Пьетро. — Только Эрколано, его жена и я — за стол, слышим; кто-то чихнул; раз чихнул, два чихнул — мы не обращаем внимания, но уж когда он в третий, в четвертый, в пятый раз чихнул, — а там мы и счет потеряли, — то мы поневоле диву дались. А Эрколано уже успел дать жене легкую взбучку за то, что она долго нам не отворяла, и тут он на нее накинулся: "Это еще что такое? Кто там чихает?" Встает из-за стола и идет к лестнице, а под лестницей у них, как во всех домах, — чуланчик, куда сваливают всякий хлам. Покажись ему, что чихают в чулане, он дверцу-то и распахнул, а как отворил — оттуда дико завоняло серой, хотя должно заметить, что запах серы доносился до нас и прежде, и мы на это жаловались, но хозяйка нам сказала: "А это я, говорит, нынче в котелок с белилами серы положила и поставила под лестницу дымом окурить — вот оттого и пахнет". Эрколано дверцу открыл, дым немножко повытянуло, он заглянул и увидел мужчину: тот все еще чихал — так на него действовала сера. Но хоть он и чихал, а дыханье-то у него в груди сперло, так что, побудь он там еще немножко, он бы уже не смог ни чихнуть, ни еще что-либо сделать. Увидел его Эрколано и разбушевался: "Теперь, кричит, я понимаю, почему ты нам давеча так долго не отворя-

ла! Да разразит меня господь, если я тебе сейчас не отплачу!" А жена видит, что ее вывели на чистую воду, – даже оправдываться не стала: выбежала из-за стола и – куда глаза глядят! Эрколано и не заметил, что жена убежала, он к этому чихале: вылезай да вылезай, а тот – при последнем издыхании, не подает признаков жизни. Ну, тут Эрколано хвать его за ногу, выволок из чулана и побежал было за ножом, – хотел его зарезать, – а я не дал, не позволил пальцем до него дотронуться: а вдруг, думаю, меня за соучастие стражники притянут? – вскочил, вступился за него и так заорал, что сбежались соседи, подняли на руки обмершего молодца и понесли неизвестно куда. Оттого-то ужин наш и не состоялся: так ничего и не съели – понюхать даже не успели".

Выслушав Пьетро, жена его поняла, что и другие не глупее ее, хотя и не у всех все гладко выходит; она всецело была на стороне жены Эрколано, однако ж, смекнув, что осуждение чужого греха – наилучший способ прикрыть свои грешки, такую повела речь: "Ну и дела! Нечего сказать: добродетельная, честная женщина! А поглядишь: святая, да и только, – прямо хоть исповедуйся у нее! Ведь уж старуха, а какой пример молодым подает! Да будет проклят тот час, когда она на свет появилась! И как это еще земля ее носит? Экая змея, экая лиходейка, всех нас, перуджиек, осрамила и опозорила! Ведь это что: забыть всякий стыд, нарушить супружескую верность, запятнать свое доброе имя, ради полюбовника не пожалеть такого порядочного, такого почтенного человека, который так хорошо с ней жил, – и его и себя обесчестить! Прости, господи, мое согрешение, таким бабам спуску давать нельзя: убивать их нужно, живыми в огонь бросать и сжигать".

Но тут она вспомнила о своем дружке, сидевшем под корзиной, и сказала Пьетро, что пора спать. Пьетро не столько спать хотелось, сколько есть, и он спросил, не даст ли она ему поужинать. "Какой тебе еще ужин! – возразила жена. – Если ты уходишь со двора, разве я когда готовлю ужин? Я тебе не жена Эрколано! Иди-ка ты спать – так-то дело будет лучше!"

Случилось, однако ж, что в тот вечер приехали из деревни работники Пьетро и поставили ослов в стойло, около чулана, поставить-то поставили, а напоить не напоили, и вот один из ослов, которому здорово пить хотелось, сорвался с веревки, вышел из стойла, стал все кругом обнюхивать – нет ли где воды – и в конце концов забрел в чулан и наступил копытом на корзину, под которой хоронился молодой человек. Молодой человек стоял на четвереньках, высунув из-под корзины пальцы одной руки, и такая уж была его доля, или, вернее, недоля, что осел на них наступил, а молодой человек взвыл от боли. Услыхав вопль, Пьетро подивился, но тут же сообразил, что кричат где-то тут, в доме. Молодой человек по-прежнему вопил, оттого что осел всей тяжестью давил ему на пальцы; в конце концов Пьетро вышел из комнаты, спросил: “Кто там?” – затем поднял корзину и увидел молодого человека, а тот теперь уже чувствовал не только боль в пальцах, которые отдавил ему осел, – он затрясся от страха, как бы хозяин не расправился с ним по-свойски. Но тут Пьетро удостоверился, что это тот самый молодой человек, за которым он в силу своей испорченности бегал, и спросил: “Что ты тут делаешь?” – тот же ему на это ничего не ответил, – он молил ради Христа не бить его.

“Вставай, не бойся, не стану я тебя бить, – молвил Пьетро, – ты только скажи, как и зачем ты здесь очутился”.

Тогда молодой человек все ему рассказал. Пьетро, столь же обрадованный встречей с ним, сколь удручена была хозяйка, взял его за руку и повел в комнату, где, не помня себя от страха, жена ожидала мужа. Пьетро сел напротив нее и сказал: “Вот ты сейчас поносила жену Эрколано, говорила, что ее нужно сжечь, что она всех вас, женщин, позорит. Что же ты о себе-то промолчала? Если же ты о себе помалкиваешь, как же у тебя хватило духу ругать ее, когда ты сама поступаешь так же точно, как она? Все вы на одну стать, вот что, все вы ухищряетесь, как бы это чужими провинностями прикрыть свои собственные шашни. Да снизойдет с небеси огнь и да попалит он весь окаянный ваш род!”

Жена, приняв за добрый знак, что он пока рукам воли не дает, а только на словах ее отделывает, и заметив, что он рад-радехонек пригожему этому юноше, расхрабрилась. "Я не сомневаюсь, что ты был бы счастлив, если бы огнь с небеси всех нас попалил, – сказала она, – ведь ты нас любишь, как собака палку, но только, вот как бог свят, желание твое не исполнится. Хотела бы я, однако же, знать, чем ты мной недоволен. Я была бы только рада, – поверь, – если б ты сравнил, как живется мне и как живется жене Эрколано: эта старая святоша и ханжа получает от мужа все, что ей надобно, он держит ее в холе, как и подобает держать жену, а я именно этого-то и лишена. Я одета-обута, это правда, но ты же сам прекрасно знаешь, как у нас с тобой обстоит насчет другого-прочего и сколько времени ты уже со мной не спишь. Я бы предпочла ходить в лохмотьях, босиком, лишь бы ты ублажал меня в постели, чем быть нарядной и терпеть такое твое обхождение. Пойми, Пьетро: я обыкновенная женщина и хочу того же, чего хотим мы все, так что если я стараюсь промыслить себе то, чем ты меня не ублаготворяешь, то нечего мне за это выговаривать. Скажи спасибо, что я твою честь блюду: ни с какими проходимцами и прощелыгами не путаюсь".

Пьетро, видя, что у жены накипело и теперь она может об этом хоть до утра говорить, и, сознавая, что до сих пор он плохо о ней заботился, обратился к ней с такими словами: "Полно, жена! Ужо я тебя удовольствую, а сейчас будь добра, дай нам поужинать, а то, как видно, молодой человек тоже ничего не ел".

"Конечно, нет, – подтвердила жена. – Он не успел поужинать. Мы с ним только было за стол, а тут тебя нелегкая несет".

"Ну так ступай, дай же нам поужинать, – сказал Пьетро, – а уж после я позабочусь о том, чтобы тебе не на что было пожаловаться".

Удостоверившись, что муж более не гневается, жена вышла, велела накрыть на стол и вместе со своим нерадивым мужем и молодым человеком села за приготовленный ею

ужин, каковой прошел для нее весело. Что именно Пьетро устроил после ужина для ублаготворения всех троих, – это из моей памяти изгладилось. Знаю только, что утром молодого человека провожали до Главной площади, а он шел и думал – кем же он все-таки был ночью: мужем или скорее женой? Так что вот, милые дамы: всегда плати тою же монетой, а не можешь сейчас – подожди удобного случая, но все же как тебе аукнут, так ты и откликнись.

На том Дионео окончил свой рассказ, во время которого женщины только слегка хихикали, но не потому, чтобы он им не понравился, а потому, что им было неловко, и тут пришел конец царствованию Фьямметты; она встала и, сняв с головы лавровый венок, с обворожительною приятностью возложила его на Элиссу.

– Теперь, милостивая государыня, настала очередь повелевать вам, – объявила она.

Приняв сию дань уважения, Элисса поступила так же точно, как ее предшественники, – отдала распоряжения дворецкому на все время своего царствования, а затем, к общему удовольствию, повела такую речь:

– Всем нам нередко приходилось слышать, что многим удавалось острыми словцами, быстрыми и находчивыми ответами мгновенно притуплять зубы, которые на них точились, и предотвращать опасности. Это отличный, поучительный предмет, и я хочу, чтобы завтра, с божьей помощью, беседа у нас шла именно в этих пределах, то есть – *О том, как люди, уязвленные чьей-либо шуткой, платили тем же или быстрыми и находчивыми ответами предотвращали утрату, опасность и бесчестье.*

Мысль королевы встретила полное одобрение, и королева отпустила всех до ужина. Она встала, вслед за тем ее примеру последовало все почтенное общество, и тут каждый, согласно уставу, занялся своим делом. Как же скоро смолкли цикады, королева велела всех звать к ужину; ужин прошел весело, а после ужина начались танцы и пенье. Эмилии королева приказала повести танец, а Дионео –

спеть песню. Дионео сейчас же затянул: *Монна Альдруда, хвост задирай, я к тебе с доброю вестью.* Женщины расхохотались, причем громче всех смеялась королева; со всем тем она велела Дионео перестать и спеть что-нибудь другое.

Дионео же ей на это сказал:

— Государыня! Будь у меня цимбалы, я бы спел: *Поднимай-ка подол, монна Лапа,* или же: *Под оливой мурава,* а не то: *От морском воды не нажить бы мне беды,* но цимбал у меня нет, а потому выбирайте сами. Может, хотите: *А ну-ка, высунься, дружочек, – тебя сорву я, как цветочек?*

– Нет, что-нибудь еще, — молвила королева.

— Ну, тогда: *Не подставляй, Симона, бочку – ведь на дворе же не октябрь.*

– Да будет тебе! — со смехом молвила королева. — Если хочешь, так спой какую-нибудь хорошую песню, а эту мы слушать не станем.

— Не извольте гневаться, государыня, — молвил Дионео. — Какую прикажете? Я же их знаю больше тысячи. Хотите: *Не дам тебе, моя ракушечка, покою и створочки твои немедленно раскрою?* Или: *Полегче, муженек?* Или: *Я за сто лир купила петушка?*

Все посмеивались, а королева осердилась.

— Полно же дурачиться, Дионео! — молвила она. — Спой нам хорошую песню, а то я тебе задам!

Дионео в ту же секунду перестал зубоскалить и пропел вот какую песню:

Любовь! Столь ярок свет
В очах у милой, что из-за него я
Стал ей, а значит, и тебе слугою.

Он пламя негасимое твое
В душе моей питает ежечасно,
Меня лишая сна.
Когда гляжу на дивный лик ее,
Я сознаю, как ты, любовь, всевластна
Так хороша она,

Так совершенств полна,
Что я ее небесной красотою
Пленяюсь с каждым днем сильнее вдвое.

Давно уже, владычица моя,
Награды от тебя за все страданья
Ждет раб покорный твой,
Но до сих пор еще не знаю я,
Лелея сладостные упованья,
Внушенные тобой,
Известно ль это той,
Мысль о которой так владеет мною,
Что мне без милой больше нет покоя.

Владычица благая! Соизволь,
Чтоб занялся и в ней пожар нежданный
От твоего огня
И поняла она, какую боль
Из-за нее терплю я непрестанно,
Рыдая и стеня.
Вступись же за меня
И слей свои мольбы с моей мольбою,
Когда прекрасной сердце я открою.

Когда Дионео умолк, тем самым дав понять, что песне — конец, королева осы́пала Дионео похвалами, что не помешало ей долго еще потом слушать пенье других. Наконец, когда дневной жар сменился ночною прохладой, королева объявила, что теперь каждый волен отдыхать до утра как ему бог на душу положит.

Кончился пятый день
Декамерона,
начинается шестой.
В день правления
Элиссы
предлагаются вниманию
рассказы о том,
как люди,
уязвленные чьей-либо шуткой
платили тем же
или быстрыми
и находчивыми ответами
предотвращали утрату,
опасность и бесчестье

Уже луна, стоявшая в самом зените неба, померкла и новое светило, взойдя, осияло наш мир, когда королева, поднявшись со своего ложа, велела созвать приближенных, и все медленным шагом пошли по росе и, прогуливаясь неподалеку от прекрасного дворца, заговорили о том, о сем, заспорили, чья повесть лучше, чья хуже, припоминая отдельные случаи, опять не могли удержаться от смеха, и так они гуляли до тех пор, пока солнце не поднялось и не начало припекать, – тогда все решили, что пора домой, и повернули обратно. Столы уже были расставлены, пахло душистыми травами и прелестными цветами, и королева сказала, что нужно успеть позавтракать, пока еще не так жарко. Завтрак прошел весело, потом было спето несколько славных, премилых песенок, потом кто пошел отдыхать, кто – играть в шахматы или же в шашки, а Дионео и Лауретта запели песню о Троиле и Крессиде. Когда же настал час собеседования, то по зову королевы все собрались и, по обыкновению, расположились возле водомета. Королева только хотела было приказать рассказывать, как произошло нечто еще не бывалое: ушей королевы и всех, кто с ней был, достигнул невероятный шум, поднятый на кухне слугами и служанками. Позвали дворецкого, спросили, кто это кричит и из-за чего поднялся такой содом, дворецкий же ответил, что перебранку затеяли Личиска и Тиндаро, а вот из-за чего – этого он не знает: он пришел на кухню, чтобы цыкнуть на них, а тут его как раз позвали к королеве. Ко-

ролева велела ему тот же час прислать Личиску и Тиндаро, и когда оба явились, она обратилась к ним с вопросом, из-за чего они повздорили.

Тиндаро только успел рот раскрыть, как Личиска, пожилая, заносчивая от природы, да к тому же еще разгоряченная спором, смерила Тиндаро уничтожающим взглядом.

— Видали болвана? — заговорила она. — Смеет лезть с объяснениями, когда я тут! Нет уж, дай я расскажу! — И, обратясь к королеве, продолжала: — Государыня! Он мне толкует, кто такая супруга Сикофанта, как будто я сама этого не знаю, и уверяет, что в их первую брачную ночь мессер Дубини взял Черногорию приступом, ценою кровопролития, а я стою на том, что это неправда, — совсем даже наоборот: он занял ее без боя, к великому удовольствию туземцев. Этот болван воображает, будто девушки настолько глупы, что теряют даром время и дожидаются дозволения отца и братьев, а те в шести случаях из семи откладывают свадьбу на три, а то и на четыре года. Хороши бы они, братец ты мой, были, если б они так долго терпели. Вот вам Христос, — а я всуе имя божие никогда не поминаю, — среди моих соседок не найдется ни одной, которая вышла бы замуж девушкой, да и замужние-то, сколько мне известно, такие штуки вытворяют с мужьями! А этот остолоп так со мной говорит о женщинах, как будто я только вчера родилась!

Дамы, слушая Личиску, смеялись до слез, королева же несколько раз пыталась заставить ее замолчать, но безуспешно: Личиска умолкла только после того, как выговорилась.

Когда же она наконец утихла, королева с усмешкой сказала Дионео:

— Это — по твоей части, Дионео, так что, когда мы все наши повести расскажем, ты этот спор разрешишь.

Дионео же не замедлил с ответом:

— Государыня! — сказал он. — Решение у меня уже готово, и добавлять к нему нечего: по мне, Личиска права, дело, по всей вероятности, обстоит именно так, как она утверждает, а Тиндаро — болван.

При этих словах Личиска так и покатилась со смеху.

– Ну? Что я тебе говорила? – обратясь к Тиндаро, сказала она. – Уж ты, братец, лучше бы помалкивал! Ведь ты же щенок передо мной, а туда же, суешься спорить! Я, слава тебе, господи, всего навидалась на своем веку, – всего навидалась!

Если б королева в конце концов не прикрикнула на Личиску, если б она ей не велела перестать орать и трепать языком, – а иначе, мол, она распорядится, чтобы ее высекли, – и не отослала бы ее вместе с Тиндаро на кухню, обществу пришлось бы целый день только ее и слушать. Как скоро Личиска с Тиндаро удалились, королева приказала рассказывать Филомене, и та весело начала так.

1

Некий дворянин дорóгой обещает донне Оретте
так увлекательно рассказать одну повесть,
что она не заметит, как дойдет до места,
словно ехала на коне,
однако ж рассказчик он неискусный,
и Оретта просит ссадить ее с коня

– Юные дамы! Подобно как в ясные ночи украшением небесного свода служат звезды, а весною цветы красят зелень лугов, меж тем как одевшиеся в листья кусты составляют красу холмов, так же точно добрые нравы и приятную беседу красят острые слова. В силу своей краткости они больше приличествуют женщинам, нежели мужчинам, ибо много говорить еще менее пристало женщинам, нежели мужчинам. Впрочем, к нашему стыду, неизвестно, по какой причине: то ли потому, что мы, женщины, поглупели, то ли потому, что мы прогневали небеса, но только теперь уже мало, а может, и вовсе не осталось женщин, которые могли бы сами ввернуть, когда нужно, острое словцо и правильно понять остроту, исходящую из уст другого. Ну, да об этом уже говорила Пампинея, а потому я прямо перейду к своей повести, из коей вам должно быть ясно, до чего хорошо кстати сказанное словцо: я расскажу о том, как деликатно одна знатная дама заставила умолкнуть одного дворянина.

Многие из вас, уж верно, встречали не так давно проживавшую в нашем городе некую знатную даму, – или, по

крайности, могли о ней слышать, — даму столь добродетельную и столь речистую, что имя ее заслуживает быть названным. Итак, звали ее донной Ореттой, и была она замужем за мессером Джери Спи́ной. Как-то раз все мы были у нее в имении, и она гуляла с дамами и мужчинами, которые в тот день у нее обедали, а так как до того места, куда они собирались идти пешком, было довольно далеко, то один из сопровождавших ее мужчин предложил: "Позвольте, донна Оретта, рассказать вам презанимательную повесть, и вы не заметите, как дойдете, будто почти все время ехали на коне".

"Прошу вас, мессер, — молвила дама, — буду вам чрезвычайно признательна".

Получив дозволение, сей господин, которому, видимо, так же пристало носить шпагу, как и разглагольствовать, начал рассказывать повесть, и повесть эта сама по себе была прелестна, и шла в ней речь о высоких особах и о любопытных случаях, с ними происходивших, но он по три, по четыре, по шесть раз повторял одно и то же, беспрестанно возвращался назад, поправлялся: "Нет, не так!" — перевирал имена и тем безнадежно испортил повесть, и, в довершение всего, у него была каша во рту. Донну Оретту в пот ударило, сердце у нее начало останавливаться, словно она была при смерти. И вот, когда ей стало совсем уже невмоготу, она, видя, что кавалер запутался окончательно, с очаровательною улыбкою молвила: "Мессер! Ваш конь очень уж спотыкается. Будьте любезны, ссадите меня!"

Спутник, как видно, был рассказчик не занимательный, но человек проницательный, а потому он сразу уловил намек, обернул его в шутку, сам первый засмеялся и поспешил перейти на другие темы; повесть же, которую он было начал и в которой потом увяз, так и осталась неоконченной.

2

Несколько слов,
сказанных хлебопеком Чисти,
открывают мессеру Джери Спине
глаза на нескромность той просьбы,
с какою он к хлебопеку обратился

Дамы и мужчины долго восхищались остроумием донны Оретты; наконец королева велела рассказывать Пампинее, и та начала так:

— Приятные дамы! Я не берусь судить, кто грешнее — природа, облекающая возвышенную душу в презренную плоть, или же Фортуна, принуждающая плоть, наделенную возвышенною душою, заниматься неказистым ремеслом, как это мы можем видеть на примере нашего согражданина Чисти, равно как на примере многих других. И я бы, уж верно, прокляла и природу и Фортуну, когда бы мне не было известно, что природа премудра, а Фортуна тысячеока, хотя глупцы и изображают ее слепой. По моему разумению, обе они, будучи в высшей степени предусмотрительны, поступают так же точно, как поступают нередко смертные, от которых будущее закрыто и которые поэтому самые дорогие свои вещи прячут на черный день в укромных тайниках дома, где никому не пришло бы в голову их искать, ибо, — рассуждают они, — неказистый закоулок — более надежное место для хранения, нежели прекрасная комната, и достают они их оттуда только в случае крайней

необходимости. Вот так и эти две правительницы мироздания укрывают тех, кем они особенно дорожат, под сенью ремесел, считающихся самыми незавидными, — укрывают с той целью, чтобы эти ремесленники, когда природа и Фортуна в случае надобности к ним обратятся, показали себя во всем своем блеске. Повесть о донне Оретте напомнила мне, по какому ничтожному поводу хлебопек Чисти проявил себя с хорошей стороны и заставил прозреть мужа донны Оретты — мессера Джери Спину, и вот об этом-то мне и хочется рассказать коротенькую повесть.

Итак, надобно вам знать, что папа Бонифаций, у которого мессер Джери Спина был в большой чести, по чрезвычайно важным делам направил во Флоренцию высоких послов, и те остановились у мессера Джери, дабы вместе с ним обсудить то, что заботило папу, и вот с этими-то папскими послами мессер Джери почти каждое утро, куда бы он ни направился, непременно проходил мимо церкви Санта Мария Уги, и тут же рядом у хлебопека Чисти была своя пекарня, где тот собственноручно выпекал хлеб. Судьба обучила его ремеслу весьма скромному, но в то же время она ему благоприятствовала, и он разбогател, да так, что не променял бы свой род занятий ни на какой другой: ни в чем он себе не отказывал, чего-чего только у него не было, и всегда он держал запас наилучших белых и красных вин, какие можно было найти в самой Флоренции и в ее окрестностях. Приметив, что мессер Джери и папские послы каждое утро в сильную жару проходят мимо его дома, он подумал, что с его стороны было бы весьма любезно, если б он предложил им доброго белого винца, однако ж, представив себе, насколько он ниже по положению мессера Джери, решил, что ему не подобает зазывать его к себе, и тут же изыскал средство устроить так, чтобы мессер Джери сам напросился. Каждое утро, когда, по его расчетам, мессер Джери и папские послы должны были пройти мимо, он приказывал ставить у порога новенькое луженое ведро с холодной водой, новенький болонский кувшинчик с добрым белым вином и два стакана, блестевших так, что их

можно было принять за серебряные, а сам в белоснежном полукафтанье и в свежевыстиранном фартуке, делавшем его похожим скорее на мельника, нежели на пекаря, усаживался у дверей и, раза два сплюнув, принимался за вино, и пил он его с таким смаком, что, глядя на него, возжаждали бы и мертвые.

Мессер Джери прошел мимо него молча, на другое утро тоже, а на третье не вытерпел и спросил: "Что, Чисти? Вкусное вино?"

Чисти вытянулся перед ним в струнку. "До того вкусное, что я и передать не могу, – отвечал он, – вы только попробуйте!"

Мессеру Джери, то ли от жары, то ли от сильной усталости, то ли глядя на Чисти, захотелось пить. "Синьоры! – усмехаясь, обратился он к послам. – А что, если мы попробуем, какое у этого почтенного человека вино? Полагаю, что мы не раскаемся". И тут они все направились к Чисти.

Чисти велел вынести из пекарни лавку, какую получше, и попросил гостей сесть, слугам же их, подскочившим сполоснуть стаканы, сказал: "Нет уж, я сам: наливать вино я умею не хуже, чем сажать в печь хлеб. И вам, братцы мои, я даже глотнуть не дам – лучше не надейтесь". Затем Чисти собственноручно сполоснул четыре новеньких красивых стакана, велел принести кувшинчик доброго вина и стал усердно наливать мессеру Джери и спутникам его, они же признали, что давно такого не пили. И до того пришлось оно им по вкусу, что, пока послы не уехали из Флоренции, мессер Джери почти каждое утро ходил с ними к Чисти пить вино.

Когда послы покончили со всеми своими делами и начали собираться в обратный путь, мессер Джери устроил роскошный пир, на который он в числе наиболее именитых граждан позвал и Чисти, но тот отказался наотрез. Тогда мессер Джери послал к Чисти слугу за бутылкой вина, чтобы каждому гостю после первого блюда пришлось по полстаканчика. Слуга, должно думать, был сердит на Чисти за то, что тот не дал ему вина, и по сему обстоятельству взял с собой большущую бутыль.

Чисти поглядел на бутыль и сказал: “Мессер Джери, братец ты мой, послал тебя не ко мне”.

Сколько ни уверял его слуга, Чисти стоял на своем; в конце концов слуга вернулся к мессеру Джери и передал слова Чисти. А мессер Джери: “Сходи к нему, говорит, еще раз и скажи, что послал тебя я. Если он опять так же ответит, то спроси, к кому же я тогда тебя послал”.

Слуга опять пришел к Чисти и сказал: “Чисти! Мессер Джери послал меня именно к тебе”.

“Нет, братец ты мой, только не ко мне”, – объявил Чисти.

“А куда же тогда, если не к тебе?” – спросил слуга.

“На Арно”, – отвечал Чисти.

Когда слуга передал этот разговор мессеру Джери, тот внезапно прозрел. “Покажи-ка мне бутылку, – приказал он и, увидев бутыль, молвил: – Чисти прав”. Слугу он обругал и велел взять более подходящую бутылку.

Когда Чисти взглянул на нее, то сказал: “Вот теперь я вижу, что это он послал тебя ко мне, – сейчас налью”.

В тот же день он велел налить целый бочонок этого вина и осторожно отнести к мессеру Джери, а затем пошел к нему сам и сказал: “Не подумайте, мессер, что меня испугала утрешняя бутыль, но я решил, что вы не поняли, почему я все эти дни наливал вам вино из кувшинчиков: вино-то ведь не простое, – вот на это я утром вам и намекал. Но беречь мне его больше не для кого, и я вам послал все, что у меня было, – распоряжайтесь им, как найдете нужным”.

Мессер Джери чрезвычайно обрадовался подарку, от всей души поблагодарил Чисти, и с той поры он питал к нему глубокое уважение и был с ним в дружбе.

3

Монна Нонна де Пульчи
благодаря своей находчивости
обрывает епископа Флорентийского,
позволившего себе более
чем неуместную шутку

Когда Пампинея окончила свой рассказ, все очень одобрили и ответ Чисти, и его щедрость, королева же изъявила желание, чтобы теперь рассказывала Лауретта, и Лауретта с игривым видом начала так:

– Очаровательные дамы! Все, что сначала Пампинея, а потом Филомена говорили о нашей неискусности и о прелести острого слова, – совершенно справедливо. Возвращаться к этому нет нужды; вот только я хочу добавить касательно острого слова: острое слово по самой своей сущности таково, что оно должно кусать не как собака, а как овца; если же оно кусает, как собака, то это уже не острота, а ругань. Слова донны Оретты и ответ Чисти – это именно образец удачной остроты. Впрочем, если человек отвечает на что-то и, отвечая, кусает, как собака, потому что его самого кто-то укусил, как собака, то ставить это ему в вину не должно, – всякий раз следует принимать в соображение, при каких обстоятельствах, где, когда и кому было сказано острое слово. Одна из наших духовных особ с этим не посчиталась, зато ее и укусили так же больно, как укусила она, – вот об этом-то я и хочу вам коротко рассказать.

В то время, когда епископом Флорентийским был его преосвященство Антоний д'Орсо, достойный и мудрый пастырь, во Флоренцию прибыл каталонский дворянин, шталмейстер короля Роберта, Дьего де Ла Рат. Этот красавчик и повеса из повес пленился одной прелестной флорентийской дамой, внучатой племянницей епископа Антония. Прознав, что ее муж хотя и благородного происхождения, однако ж скупердяй и сквернавец, он с ним условился, что проведет одну ночь с его женой, а за это отсыплет ему пятьсот золотых флоринов. Того ради он велел позолотить имевшие тогда хождение серебряные монеты стоимостью в два сольдо каждая и, проведя ночь с его женой, хотя она этому противилась, отдал их мужу в уплату. Впоследствии выяснилось, что сквернавца-мужа обжулили, и он стал всеобщим посмешищем, епископ же был настолько умен, что притворился, будто знать ничего не знает. Епископ и шталмейстер часто встречались, и вот, в день Иоанна Предтечи, ехали они рядом верхами по той улице, где устраиваются конские ристалища, и епископ углядел среди дам молодую женщину, двоюродную сестру мессера Алессио Ринуччи, монну Нонну де Пульчи, которую вы все, наверное, помните – ее унесла нынешняя чума. Вот на нее-то, тогда еще свежую и молодую, остроумную, находчивую, недавно вышедшую замуж в Порта Сан Пьеро, и указал шталмейстеру епископ. Затем, приблизившись к ней, он положил ему руки на плечи и сказал: "Ну как, Нонна? Справишься ты с ним?"

Нонна почувствовала, что слова эти затрагивают ее честь и унижают ее в глазах тех, кто их слышал, – а таковых было немало, – и потому она, не затем, чтобы смыть пятно, а единственно для того, чтобы ответить ударом на удар, сейчас же нашлась. "Владыка! – сказала она. – Он-то со мной, возможно, и не справился бы, но мне важно одно: чтобы монеты были не фальшивые".

Тут и шталмейстер и епископ уловили в ее словах укор: шталмейстер в том, что он с внучкой брата епископа нечестно поступил, а епископ – в том, что он оскорбление, на-

несенное внучке его брата, проглотил, и обоим стало стыдно в глаза друг другу глядеть; ничего ей не ответив, они молча разъехались в разные стороны. Итак, молодую женщину сперва самое укусили, — значит, ничего зазорного не было в том, что в ответ и она шутя укусила.

4

Кикибио, повару Куррадо Джанфильяцци,
находчивым ответом, который он придумал
для того, чтобы себя спасти,
удается развеселить взбешенного Куррадо
и избежать передряги,
коей тот ему грозил

Когда Лауретта умолкла, все принялись расхваливать Нонну, а затем королева, велела рассказывать Нейфиле, и та повела свой рассказ так:

– Любезные дамы! Люди бывают обязаны быстрыми, находчивыми и блестящими ответами не только своей собственной сообразительности, но и случаю, который иной раз приходит на помощь застенчивым и мгновенно вкладывает им в уста такие ответы, которые в обычных обстоятельствах не пришли бы им в голову. Вот об этом-то я и хочу рассказать.

Все вы могли знать, а если не знать, то, по крайности, слышать об именитом нашем горожанине Куррадо Джанфильяцци, человеке щедром, широком, жившем по-барски, любившем охоту псовую и соколиную, что не мешало ему, однако ж, заниматься и важными делами. Как-то раз, близ Перетолы, его сокол поймал журавля, и Куррадо, уверившись, что журавль молодой и упитанный, послал его искусному своему повару, венецианцу по имени Кикибио, и велел передать, чтобы тот как можно лучше изжарил его и

подал к ужину. Кикибио, – малый, должно заметить, препустейший, – зарезал журавля, положил на сковородку и принялся усердно его поджаривать. Когда журавль был уже почти готов и из кухни сильно запахло жареным, на кухню случайно забежала бабенка из ближней деревни, по имени Брунетта, за которой Кикибио здорово приударял, и, сперва восчувствовав запах жареного журавля, а потом и увидев его с умильным видом стала просить Кикибио дать ей бедрышко.

"Не дам я вам бедрышко, донна Брунетта, не дам я вам бедрышко!" – на певучем своем наречии отвечал ей Кикибио.

"Не дашь, так и я тебе не дам, крест истинный!" – в сердцах сказала донья Брунетта.

Коротко говоря, оба расшумелись. Кончилось дело тем, что Кикибио, дабы не огорчать свою даму сердца, оторвал от журавля бедро и отдал ей.

Когда же Куррадо и его гостям был подан журавль без одной ноги, то Куррадо пришел в изумление, тут же послал за Кикибио и спросил, где другая нога. На это ему венецианский враль, не моргнув глазом, ответил: "Сударь! Да ведь у всех журавлей одна нога!"

Куррадо возмутился. "То есть как, черт побери, у всех одна нога? – вскричал он. – Что, я журавлей никогда не видал, что ли?"

Кикибио твердил свое: "Да правда же, мессер! Если угодно, я вам это докажу на живых".

Из уважения к гостям Куррадо не хотелось вступать с ним в дальнейшие препирательства, и он только пригрозил: "Ты намерен показать мне у живых журавлей нечто такое, чего я видом не видал и слыхом не слыхал, – ну так покажи мне это завтра же, тогда я успокоюсь. Но если не покажешь, – вот тебе Христос, – я велю так тебя вздуть, что ты, себе на горе, всю жизнь меня будешь помнить".

Тем и кончилось в тот вечер их словопрение, а наутро гнев у Куррадо вместе со сном не прошел, – напротив: внутри у него все кипело; он встал чуть свет, велел седлать коней и, приказав Кикибио сесть на клячу, поехал к болоту,

где на рассвете всегда было много журавлей. "Сейчас мы увидим, кто вчера солгал – ты или я", – сказал Куррадо.

Кикибио, до смерти напуганный, трусил следом за ним, а сам рад был бы дернуть, ибо он ясно видел, что Куррадо еще не отошел, – значит, ему во что бы то ни стало нужно было вывернуться, а вот каким образом – этого он себе не представлял. Но и дернуть он не мог и все только посматривал – то вперед, то назад, то по сторонам, и что ни попадалось ему на глаза, все-то он принимал за журавля, стоящего на двух ногах.

Подъезжают они к болоту – глядь, на берегу журавлей этак десять стоят на одной ноге, – так обыкновенно журавли спят. Кикибио не преминул указать на них Куррадо. "Теперь вы сами видите, мессер, что вчера я говорил правду, – молвил он, – у журавлей-то одна нога! Глядите – вон они стоят!"

Куррадо посмотрел на журавлей и сказал: "Погоди! Сейчас я тебе покажу, что у них две ноги". Тут он к ним подкрался, да как крикнет: "Хо-хо!" – все журавли, словно по команде, опустили другую ногу и, взяв разбег, полетели. Тогда Куррадо обратился к Кикибио: "Что, мошенник? Теперь ты видишь, что у них две ноги?" Кикибио совсем было растерялся, но вдруг его осенило. "Вижу, мессер, – сказал он, – да ведь вчера-то вы же не крикнули: "Хо-хо!" – а вот если б вы крикнули, тогда бы и вчерашний журавль опустил вторую ногу".

Этот ответ так понравился Куррадо, что, вместо того чтобы еще пуще разгневаться, он весело рассмеялся. "Твоя правда, Кикибио, – сказал он. – Жаль, что я вчера не крикнул".

Так, благодаря находчивому и забавному ответу, Кикибио отвел от себя беду и помирился со своим господином.

5

*Мессер Форезе да Рабатта
и живописец Джотто
возвращаются из Муджелло;
у обоих прежалкий вид,
и по этому поводу они изощряют
друг над другом свое остроумие*

Когда Нейфила умолкла и дамы выразили свое восхищение тем, как ловко извернулся Кикибио, Панфило по воле королевы начал так:

— Милейшие дамы! Подобно как Фортуна под покровом низменных занятий таит иногда дивные сокровища сердечных достоинств, о чем нам только что поведала Пампинея, так же точно природа в безобразнейшем человеческом теле скрывает иной раз какой-нибудь чудный дар. Это мы можем видеть на примере двух наших сограждан — о них-то я и собираюсь вкратце вам рассказать. Один из них, мессер Форезе да Рабатта, был коротышка, урод, с приплюснутым лицом, курносый, так что самому неказистому из семьи Барончи было бы противно на него смотреть, а вместе с тем он так знал законы, что сведущие люди прозвали его кладезем премудрости юридической. Другой, по фамилии Джотто, благодаря несравненному своему дару все, что только природа, содетельница и мать всего сущего, ни производит на свет под вечно вращающимся небосводом, изображал карандашом, пером или же кистью до того по-

хоже, что казалось, будто это не изображение, а сам предмет, по каковой причине многое из того, что было им написано, вводило в заблуждение людей: обман зрения был так силен, что они принимали изображенное им за сущее. Он возродил искусство, которое на протяжении столетий затаптывали по своему неразумию те, что старались не столько угодить вкусу знатоков, сколько увеселить взор невежд, и за это по праву может быть назван красою и гордостью Флоренции. И тем большая подобает ему слава, что держал он себя в высшей степени скромно: он был первым мастером, однако упорно от этого звания отказывался. Оно же тем ярче сверкало на его челе, чем больше его домогались и с чем большей жадностью присваивали его себе менее искусные, чем он, живописцы или же его ученики. Словом, художник он был великий, а вот фигура его и лицо были ничуть не лучше, чем у мессера Форезе. Но обратимся к нашему рассказу.

И у мессера Форезе и у Джотто были в Муджелло имения. В тот летний месяц, когда суды бывают закрыты, мессер Форезе собрался осмотреть свои владения, а когда ехал верхом на наемной клячонке обратно, то нагнал Джотто, также осмотревшего свои владения и возвращавшегося во Флоренцию. Кляча и сбруя у Джотто были такие же убогие, как и у мессера Форезе, и вот два старика не спеша поехали вместе. Как это часто бывает летом, вдруг полил дождь, и спутники постарались как можно скорее укрыться у одного сельчанина, общего их знакомого и друга. Видно было, что дождь зарядил надолго, а мессеру Форезе и Джотто хотелось добраться до Флоренции засветло, и они попросили хозяина дать им на время плащи и шляпы; хозяин дал им два старых плаща, какие носят в Романье, две дырявые шляпы, за неимением лучших, и они поехали дальше.

Вымокшие до нитки, забрызганные все время летевшей из-под конских копыт грязью, которая отнюдь не украшала путников, они долго ехали молча, однако ж в конце концов разговорились, тем более что и на небе стало светлее. Мессер Форезе со вниманием слушал Джотто, ибо тот был го-

ворун изрядный, а сам все посматривал на него: то сбоку, то спереди, то сзади, – словом, оглядел его с головы до ног; на себя-то он не смотрел, а у Джотто был такой жалкий и несчастный вид, что мессер Форезе невольно расхохотался. “А что, Джотто, – сказал он, – вдруг бы нам сейчас повстречался человек, который никогда тебя прежде не видел, – как ты думаешь: поверил бы он, что ты – лучший живописец в мире?”

Джотто ему на это ответил так: “Я думаю, мессер, что поверил бы в том случае, если бы, взглянув на вас, поверил бы, что вы умеете читать по складам”.

Тут мессер Форезе сознал свою оплошность и понял, что долг платежом красен.

6

Микеле Скальца
спорит с молодыми людьми на ужин,
что Барончи – самые знатные люди
не только на всем свете,
но даже на всем побережье,
и выигрывает спор

Дамы долго смеялись над находчивым и блестящим ответом Джотто; наконец королева обратилась к Фьямметте, и та начала следующим образом:

– Юные дамы! Может статься, вы хуже знаете Барончи, нежели Панфило, который о них упомянул, а мне он напомнил о том, как была доказана их родовитость, – это имеет прямое отношение к сегодняшней нашей беседе, и потому я вам про них расскажу.

В нашем городе жил некогда молодой человек по имени Микеле Скальца, такой славный и такой забавный, какого свет не производил, и всегда у него были в запасе самые невероятные истории, – вот почему флорентийские юноши весьма дорожили его обществом. Как-то раз был он кое с кем из приятелей в Монтуги, и они заспорили: чей род во Флоренции самый славный и самый древний? Одни называли Уберти, другие – Ламберти, каждый отстаивал свое мнение.

Скальца выслушал их и усмехнулся. “Экое же вы дурачье! – сказал он. – И что вы только мелете? Самый славный и са-

мый древний род – не только на всем свете, но даже на всем побережье – то род Барончи, и на этом сходятся все просвещенные люди и все, кто знает их так же хорошо, как я, а во избежание недоразумений я почитаю за нужное пояснить, что я имею в виду ваших соседей – тех самых Барончи, что живут близ Санта Мария Маджоре".

Для молодых людей эти слова Скальцы явились неожиданностью, и они подняли своего приятеля на смех. "Ты что, издеваешься над нами? – сказали они. – Мы знаем Барончи не хуже тебя".

"Да не думаю я издеваться, клянусь Евангелием, – объявил Скальца, – я говорю правду и если кто-нибудь из вас накормит ужином выигравшего спор и еще шестерых приятелей, каких он сам выберет, то я охотно с ним поспорю и готов пойти на самые невыгодные для себя условия: право рассудить наш спор я предоставляю любому из вас".

Тогда один молодой человек по имени Нери Маннини сказал: "Я готов держать пари и выиграю его". Выбрав судьею Пьеро ди Фьорентино, в доме которого они находились, спорщики пошли к нему в комнату, дабы сообщить о своей затее, а следом за ними и все остальные, – всем хотелось присутствовать при том, как проиграет Скальца, и позлить его.

Пьеро был юноша толковый; сначала он выслушал доводы Нери, а затем, обратившись к Скальце, спросил: "Ну, а ты чем докажешь свою правоту?"

"Чем? – переспросил Скальца. – У меня есть такой веский довод, что, когда я его приведу, не только ты, но и вот он, который со мной спорит, подтвердит, что я говорю правду. Известно, что чем род древнее, тем он славнее – с этим все здесь согласны. Род Барончи всех древнее, а значит, и славнее. Доказав же, что их род – самый древний, я выиграю спор. Надобно вам знать, что господь сотворил Барончи, когда он только еще начал учиться живописи, меж тем как других людей господь сотворил, когда он уже научился живописи. Если вам угодно удостовериться, что я говорю правду, то присмотритесь к Барончи и к другим лю-

дям: у всех лица как лица, с правильными чертами, а теперь переведите взгляд на Барончи: у одного лицо слишком длинное и слишком узкое, а у другого – чересчур широкое, у этого – длинный носище, а у того – пуговкой, у иного подбородок выступил вперед и крючком изогнулся, а челюсти – как у осла, есть и такие, у которых один глаз больше другого, есть и такие, у которых один глаз ниже другого, точь-в-точь как на рожицах, которые получаются у детей, когда они начинают рисовать. Отсюда вывод: как я уже сказал, господь сотворил Барончи, когда только еще учился живописи, – следственно, их род самый древний, а значит, и самый славный".

Выслушав потешное рассуждение Скальцы, судья Пьеро и Нери, поспоривший со Скальцей на ужин, расхохотались и признали, что Скальца прав, что спор он выиграл и что род Барончи, подлинно, самый славный и самый древний не только во всей Флоренции, но и на всем свете и даже на всем побережье.

Вот почему Панфило, желая, чтобы мы получили представление о том, сколь безобразен был мессер Форезе, имел полное право сказать, что даже самому неказистому из всех Барончи было бы противно на него смотреть.

7

*Донну Филиппу
муж застает с любовником;
на суде она благодаря находчивому
и остроумному ответу
избавляет себя
от наказания
и дает повод для того,
чтобы изменить закон*

Фьямметта умолкла, а все еще продолжали смеяться над своеобразным доводом, который привел Скальца в доказательство особой родовитости Барончи; наконец королева велела рассказывать Филострато, и он начал так:

— Достойные дамы! Весьма похвально проявлять красноречие при любых обстоятельствах, однако ж, по мне, еще похвальнее уметь проявлять его в нужных случаях. Этим искусством прекрасно владела та знатная дама, про которую я намерен вам рассказать: она не только вызвала у тех, кто слушал ее, веселый смех, но, как это вы сейчас узнаете, избавила себя от позорной смерти.

В городе Прато некогда существовал суровый и постыдный, ни для кого не делавший исключений закон, присуждавший женщин, уличенных мужьями в прелюбодеянии, равно как и отдавшихся кому-либо за деньги, к сожжению на костре. И вот, когда этот закон еще действовал, некую знатную, красивую и безумно влюбленную даму по имени

донна Филиппа муж, Ринальдо де Пульези, ночью застал у нее в комнате в объятиях Ладзарино де Гваццальотри, уроженца того же города, благородного и прекрасного юноши, которого она любила, как самое себя, и который отвечал ей взаимностью. Ринальдо в порыве ярости чуть было на них не бросился, и если бы только он не боялся за это ответить, то прикончил бы их обоих на месте — столь сильный обуял его гнев. От убийства он удержался, но зато потом, опираясь на пратский закон, не удержался, чтобы не потребовать того, что он сам не имел права совершить: он потребовал казни своей жены. Уликами он располагал неопровержимыми, а потому, дождавшись утра, не долго думая, предъявил жене обвинение и вызвал ее в суд. Донна Филиппа, женщина бесстрашная, как все влюбленные женщины, сколько ни отговаривали ее родные и знакомые, решилась непременно явиться в суд, — она предпочитала сказать всю правду и храбро умереть, нежели трусливо бежать, из-за неявки в суд обречь себя на изгнание и оказаться недостойной любовника, в чьих объятиях она провела минувшую ночь. Сопровождаемая целой толпой мужчин и женщин, убеждавших ее все отрицать на суде, она предстала перед градоправителем и, смело глядя ему прямо в глаза, недрогнувшим голосом спросила, чего ему от нее надобно. Градоправитель обратил внимание, как она хороша собой и с каким достоинством себя держит, в самом звуке ее голоса ему послышалась душевная твердость, и он пожалел ее; более того, он уже боялся, как бы она не призналась в чем-нибудь таком, за что он, верный своему долгу, вынужден будет приговорить ее к смертной казни.

Со всем тем ему ничего иного не оставалось, как подвергнуть ее допросу по поводу возведенного на нее обвинения. “Милостивая государыня! — начал он — Сколько вам известно, ваш муж Ринальдо подал на вас жалобу, в коей он утверждает, что застал вас с мужчиной, с которым вы прелюбодействовали, и на основании этого требует, чтобы я, в согласии с действующим у нас законом, приговорил вас к смертной казни, я же не могу вас пригово-

рить, если вы не сознаетесь. Итак, подумайте хорошенько, прежде чем отвечать, а затем скажите, правду ли показал на вас муж".

Донна Филиппа нимало не смутилась. "Мессер! – веселым голосом заговорила она. – Что Ринальдо – мой муж и что нынче ночью он застал меня в объятиях Ладзарино, – а я много раз бывала в его объятиях, ибо люблю его пламенно и беззаветно, – все это совершенная правда, я этого и не думаю отрицать, однако ж вам не может не быть известно, что законы должны применяться ко всем одинаково, и вводиться они должны с согласия тех, кого они касаются. Настоящий закон таковым требованиям не отвечает: он только горемычным женщинам не дает развернуться, а между тем женщины в состоянии удовлетворить многих, мужчины же им в этом значительно уступают. Кроме того, когда этот закон вводили, женщины опрошены не были, согласия своего женщины не дали, – вот почему его нельзя назвать иначе как злодейским. В вашей воле – применить его ко мне и тем погубить мою жизнь, а вместе с ней и свою душу, но, прежде чем выносить какое-либо решение по моему делу, явите мне, пожалуйста, одну невеликую милость: спросите моего мужа, отказывала ли я ему когда-либо, вся ли я ему каждый раз отдавалась и притом столько ли раз, сколько ему было угодно". На это Ринальдо, не дожидаясь вопроса со стороны градоправителя, поспешил ответить, что жена в самом деле безотказно исполняла все его желания. "А коли так, – подхватила донна Филиппа, – позвольте вас спросить, господин градоправитель: если он берет от меня все, что только ему требуется и желается, то как же я должна поступить с излишком, который у меня остается? Собакам, что ли, его скормить? Ведь это может потеряться, может испортиться, так не лучше ли услужить благородному человеку, который любит меня больше самого себя?"

На расследование дела столь обольстительной и столь знатной дамы собрался чуть ли не весь Прато; услышав забавный ее ответ, все захохотали, а потом, досыта насмеяв-

шись, почти в один голос крикнули, что жена права и что она говорит дело. Прежде чем разойтись, горожане, поощряемые градоправителем, исправили закон: теперь его можно было применять только к женам, которые изменяли мужьям ради денег. По сему обстоятельству Ринальдо, потерпевший неудачу с безрассудной своей затеей, удалился в смущении, зато его оправданная жена возвратилась домой с видом торжествующим и победоносным.

8

Фреско советует своей племяннице не смотреться в зеркало, коль скоро, как она уверяет, ее тошнит от людей противных

Рассказ Филострато поначалу слегка смутил слушательниц, о чем свидетельствовала краска стыда, проступившая на их лицах; однако ж, переглядываясь, фыркая и давясь хохотом, они кое-как его дослушали. Когда же Филострато досказал, королева велела рассказывать Эмилии, и та, глубоко вздохнув, словно только что пробудилась, начала следующим образом:

– Милые подружки! Я задумалась и в мыслях унеслась отсюда надолго и далеко, – вот почему я исполню повеление королевы, но только, по всей вероятности, рассказ мой получится гораздо короче, чем если бы я душой была здесь, а расскажу я вам о сумасбродстве одной девицы, о том, как дядя, прибегнув к шутке, попытался ее образумить и как у нее не хватило ума понять его шутку.

Так вот, у одного человека по имени Фреско да Челатико была племянница, которую все называли ласкательным именем – Ческа, и хотя она была и пригожа и стройна, со всем тем никак нельзя было сказать, что у нее ангельское личико, – такие теперь встречаются часто, – она же была весьма высокого о себе мнения, много о себе думала, и у нее вошло в привычку осуждать и мужчин, и женщин, и

все, что бы ни попалось ей на глаза, вот только о самой себе она умалчивала, между тем неприятнее, надоедливее и взбалмошнее ее не было никого на свете, и ничем нельзя было ей угодить. Помимо всего прочего, особы французского королевского рода не были так спесивы, как она. По улице она шла с брезгливым видом и поминутно морщилась, точно от всех прохожих дурно пахло. Я не стану описывать все ее отвратительные и омерзительные выходки — расскажу только вот о чем: как-то раз вернулась она домой, подсела к Фреско — и давай ломаться и фыркать. Наконец Фреско не выдержал и спросил: “Что это значит, Ческа? Ведь нынче праздник, а ты так скоро возвратилась домой”.

На это она ему, кривляясь до отвращения, ответила так: “Возвратилась я скоро, это верно, но я никак не могла себе представить, чтобы в нашем городе и мужчины и женщины были до такой степени отвратительны и омерзительны. Что ни прохожий, то чучело, а я просто не выношу противных людей, меня от них тошнит! Оттого-то я так скоро и возвратилась”.

Фреско опостылели несносные ужимки его племянницы, и он ей сказал: “Если тебе, голубушка, до того уж претят противные люди, то, чтобы не портить себе расположение духа, никогда не глядись в зеркало”. Но девица хоть и почитала себя премудрой, как Соломон, на самом деле представляла собой трость, ветром колеблемую, и, поняв шутку Фреско не лучше, чем бы ее понял баран, она объявила, что намерена смотреться в зеркало не реже других. Какой была она тупицей, такой и осталась.

9

*Гвидо Кавальканти
под видом безобидной шутки
наносит оскорбление флорентийским дворянам,
которые сделали попытку
застать его врасплох*

Как скоро королева увидела, что Эмилия уже отделалась и что, — за исключением того, кому было предоставлено право последней очереди, — рассказывать, кроме нее, больше некому, то начала так:

— Обольстительные дамы! Сегодня вы рассказали, по крайней мере, две повести, которые я сама собиралась вам рассказать, но у меня осталась в запасе еще одна, и вот в конце этой повести приводятся слова, глубокомысленнее которых я еще не слыхивала.

Итак, надобно вам знать, что в старину город наш славился прекрасными и достохвальными обычаями, однако ж ни один из них не сохранился, и обязаны мы этим ничему иному, как сребролюбию, которое все усиливалось, по мере того как люди богатели, и вот оно-то старинные обычаи и искоренило. Среди прочих обычаев был у нас и такой: знатные флорентийцы, проживавшие друг от друга поблизости, образовывали общества, которые должны были состоять из определенного числа членов, и следили за тем, чтобы вступающие имели полную возможность ради общества тряхнуть мошной, и, согласно уставу, нынче — ты,

завтра – он, словом, все по очереди, – у каждого был свой день, – приглашали к себе все общество, причем нередко угощали и знатных чужестранцев, равно как и других горожан. Кроме того, раз в год все они одинаково наряжались, по высокоторжественным дням вместе катались по городу, время от времени, главным образом по большим праздникам или же когда получалось радостное известие о победе либо о чем-нибудь подобном, устраивали состязания. Среди таковых обществ было общество мессера Бетто Брунеллески, куда сам мессер Бетто и его сотоварищи всячески старались заманить Гвидо, сына Кавальканте де Кавальканти, и заманивали они его неспроста: то был один из лучших знатоков логики и выдающийся натурфилософ, но как раз эти его качества не представляли для членов общества большой ценности, – их привлекало в нем то, что это был очаровательный человек, красноречивый, честного поведения, за что бы он ни взялся, – а брался он только за то, что пристало порядочному человеку, – все делал лучше всех; вдобавок он был страшно богат, а уж какой почет оказывал Гвидо тем, кого он уважал, – этого язык человеческий не в силах изобразить. И все же мессер Бетто не достигнул своей цели; не достигнул же он ее, по его собственному мнению, равно как и по мнению его сотоварищей, оттого, что Гвидо любил оставаться один на один со своими мыслями и сторонился людей. А так как он до известной степени был приверженцем эпикурейцев, то простой народ полагал, что размышляет он только о том, можно ли доказать, что бога нет.

Как-то раз вышел он с Орто Сан Микеле на Корсо дельи Адимари и двинулся по направлению к Сан Джованни, – то был его обычный путь, – а вокруг Сан Джованни было тогда много больших мраморных и всяких других гробниц, – теперь они находятся в Санта Репарата, – словом, тут тебе и порфировые колонны, и эти самые гробницы, и запертые двери Сан Джованни, по площади же Санта Репарата проезжали верхами мессер Бетто и его приятели; заприметив меж гробниц Гвидо, они сказали друг другу: “Давайте

позлим его!” Гвидо шел, ничего вокруг себя не замечая, а они, пришпорив коней, сделали вид, что чуть на него не наехали, и заговорили с ним: “Гвидо! Ты предпочитаешь нашему обществу одиночество. Но если даже ты откроешь, что бога нет, то какой тебе от этого прок?”

Гвидо, заметив, что они окружили его со всех сторон, выпалил: “Синьоры! У себя дома вы вольны говорить мне все, что вам вздумается”, – затем оперся рукой на одну из гробниц и с поразительной легкостью перемахнул через нее, хотя гробница была достаточно высока, и, очутившись вне досягаемости своих собеседников, пошел от них прочь.

Те сначала в недоумении переглянулись, а потом стали говорить, что Гвидо спятил, – в его словах нет-де никакого смысла; то место, где они сейчас находятся, не принадлежит ни им, ни кому-либо еще из горожан, – скорей уж Гвидо может на него притязать. А мессер Бетто им сказал: “Сами вы спятили, раз не уловили смысла в его речах: ведь он с помощью немногих слов и в учтивых выражениях нанес нам чудовищное оскорбление. Вникните в его слова, и тогда вы поймете все: эти гробницы – дома мертвецов, ибо туда кладут мертвые тела, и они там лежат; он же называет их нашим домом, намекая на то, что мы, равно как и все прочие невежды и неучи, по сравнению с ним и с другими просвещенными людьми – хуже мертвых и потому, находясь здесь, мы находимся у себя дома”.

Спутникам мессера Бетто, уразумевшим наконец, что хотел сказать Гвидо, стало стыдно, и больше они к нему не приставали, а мессера Бетто признали за человека догадливого и сообразительного.

10

Брат Лука обещает крестьянам показать перо архангела Гавриила, но, обнаружив угли там, где лежало перо, уверяет, будто это те самые угли, на коих был изжарен святой Лаврентий

Когда все члены общества отбыли свою очередь, Дионео, видя, что теперь надлежит рассказывать ему, не стал дожидаться особого приглашения и, попросив умолкнуть тех, кто все еще восхищался острым словом Гвидо, начал так:

– Дражайшие дамы! Хоть я и пользуюсь преимуществом рассказывать о чем угодно, нынче я все же не собираюсь уклоняться от того, что послужило вам предметом для столь остроумных рассказов; идя по вашим стопам, я хочу рассказать, как ловко один монах Ордена святого Антония избегнул срама, вовремя учуяв ловушку, которую ему подстроили два молодых человека. Надеюсь, вы не будете на меня в обиде, если я, чтобы не комкать рассказа, отниму у вас порядочно времени, – ведь солнце еще в зените, гляньте на небо.

Вы, наверно, слышали, что в нашей округе, в Валь д'Эльза, находится селение Чертальдо, и хотя селение это и невелико, в былое время там жили люди знатные и состоятельные. И вот туда-то, зная наверняка, что там будет чем поживиться, долгое время имел обыкновение являться раз в год для сбора пожертвований, поступающих от просто-

филь, монах Ордена святого Антония брат Лука, которого радушно принимали в Чертальдо, быть может, не только потому, что там жили люди благочестивые, но также и из-за его имени, ибо в тех местах родится лук, славящийся на всю Тоскану.

Брат Лука, рыжий, низкорослый, был весельчак и душа общества. Круглый невежда, он, однако ж, пользовался известностью как великолепный, находчивый оратор, – кто его не знал, тот почитал его за великого ритора, за новоявленного Цицерона или же за Квинтилиана, и всем он был друг-приятель.

И вот как-то раз в августе он, по своему обыкновению, пошел туда, и воскресным утром, когда все добрые крестьяне и крестьянки из окрестных деревень пришли в свою приходскую церковь к обедне, он, выбрав время, вышел на амвон и обратился к прихожанам с такими словами: “Возлюбленные братья и сестры! Сколько вам известно, есть у вас такой обычай: каждый год помогать неимущим, находящимся под покровительством святого Антония, зерном и хлебом, – кто сколько может, все зависит от вашей зажиточности и от вашего усердия к богу, – дабы блаженный Антоний охранял ваших волов, ослов, свиней и овец. А еще вам надлежит уплатить небольшой взнос, который вы платите раз в год, – это особенно относится к тем, кто приписан к нашему братству. И вот, для того чтобы все это с вас собрать, начальник мой, то есть отец настоятель, и послал меня сюда. Того ради в четвертом часу пополудни вы, как услышите звон, идите, с богом, сюда, к церкви, я, по обыкновению, скажу проповедь, а затем вы приложитесь к кресту. Помимо этого, за то, что вы так чтите нашего покровителя – святого Антония, я в виде особой милости покажу вам великую и предивную святыню, которую я самолично привез из святых мест, а именно – перо архангела Гавриила, которое он обронил в Назарете в жилище девы Марии после того, как поведал ей благую весть”. Засим брат Лука продолжал служить обедню.

Когда брат Лука обратился с этой речью к прихожанам, в густой толпе молящихся находились два юных забавника –

Джованни дель Брагоньера и Бьяджо Пиццини. Посмеявшись втихомолку над святыней брата Луки, они, хоть и были с ним в большой дружбе – их, бывало, водой не разольешь, – порешили поднять его с этим пером на смех. Прознав, что брат Лука обедает нынче у своего приятеля, и уверившись, что он уже сел за стол, они пошли в ту гостиницу, где он остановился, предварительно условившись, что Бьяджо заговорит слугу брата Луки, а Джованни в это время поищет в вещах брата Луки перо и стащит его, – обоим было любопытно, что-то он скажет потом народу. Слугу брата Луки одни называли "Гуччо Кит", другие – "Гуччо Грязнуля", а иные – "Гуччо Свинья", и был он до того дурашлив, что сам Липпо Топо, уж верно, ему в том уступал. Брат Лука любил подшутить над ним в тесном кругу и говорил про него; "У моего слуги девять таких свойств, что, если б хоть одно из них было у Соломона, у Аристотеля или же у Сенеки, этого было бы довольно, чтобы опорочить всю их добродетель, мудрость и святость. А теперь представьте себе человека, у которого нет ни добродетели, ни мудрости, ни святости, а тех самых свойств – девять!" Когда же брату Луке задавали вопрос, какие это свойства, он отвечал в рифму: "Сейчас вам скажу: он копун, пачкун и лгун; он неисполнителен, нерачителен и непочтителен; он лентяя, он разгильдяй, он негодяй. Есть у него и другие изъяны, но о них я лучше умолчу. А вот самая смешная из его замашек: везде-то он сватается и везде собирается снять дом. А так как борода у него длинная, черная, лоснящаяся, то он почитает себя совершенно неотразимым и воображает, что все женщины поголовно в него влюблены. Дай ему волю – он так бы за всеми, задравши хвост, и бегал. Должен, однако ж, заметить, что мне от него польза великая: кто бы ни пожелал поговорить со мной наедине, он всегда начеку: боится, что я отвечу невпопад, и, чуть только зададут мне вопрос, он, по своему разумению, отвечает за меня "да" или "нет".

Уходя, брат Лука строго-настрого наказал слуге смотреть, чтобы никто не трогал его вещей, особливо – сумы, ибо там – его святыни. Однако ж Гуччо Грязнулю сильней

манила к себе кухня, чем соловушку зеленая ветвь; особенно его туда тянуло, когда он там замечал служанку, и тут он как раз увидел в гостиничной кухне грязную, грузную, приземистую, безобразную бабу, с грудями, что корзины, в которых таскают навоз, с лицом, как у Барончи, в поту, в сале и в саже, и, как стервятник на падаль, бросился туда, не заперев двери в комнату брата Луки и оставив на произвол судьбы все его вещи. Хотя дело было в августе, он подсел к огню и, заведя разговор со служанкой, – ее звали Нутой, – сообщил ей, что он дворянин на предъявителя и что у него девять уйм флоринов, не считая тех, которые он задолжал, а таковых, пожалуй, будет еще побольше, и все-то он умеет; и дело делать, и лясы точить, ей-ей! Позабыв, что из его засаленного капюшона можно было суп сварить, позабыв о своем рваном, заплатанном, лоснившемся от грязи на воротнике и под мышками полукафтанье, с таким количеством разноцветных пятен, что по сравнению с ним ткани татарские и индийские; показались бы куда менее пестрыми, о стоптанных башмаках и дырявых чулках, он, вообразив себя не ниже высокого герцога Кастильонского, объявил, что намерен вырядить ее, как куколку, и вполне обеспечить, так, чтобы она была избавлена от горькой необходимости жить в людях; золотых гор он, дескать, ей не сулит, однако ж надеяться на лучшее будущее у нее есть теперь все основания. Но он только даром расточал ласковые слова: и это его предприятие, подобно большинству предшествующих, успехом не увенчалось. Словом, два молодых человека застали Гуччо Свинью хлопочущим около Нуты. Это обстоятельство обрадовало их, – полдела было, таким образом, уже сделано, – и они беспрепятственно проникли в комнату брата Луки, в дверь которая оказалась незапертой, и начали поиски с той сумы, где лежало перо. В суме они обнаружили завернутый в шелковую ткань ларчик, а в ларчике – перо из хвоста попугая, и решили, что это и есть то самое перо, которое брат Лука обещал показать жителям Чертальдо. В те времена он вполне мог рассчитывать, что ему поверят, потому что тогда еще египетские диковины

были в Тоскане редкостью, – это уж они потом хлынули потоком и разорили Италию. Тогда вообще мало кто имел о них понятие, а уж местные-то жители и подавно. Тогда еще там держалась простота и чистота нравов, завещанная предками, и поздние их потомки не только никогда не видели попугаев, но большинство и слыхом про них не слыхало. Довольные своею находкою, молодые люди взяли перо, а взамен наложили в ларец углей, которые попались им на глаза в углу комнаты. Закрыв ларчик и все оставив так, как было, молодые люди незаметно прошмыгнули на улицу, предвкушая удовольствие посмотреть, как-то станет выпутываться брат Лука, обнаружив вместо пера угли.

Когда обедня кончилась, бывшие в церкви мужчины и простодушные женщины разошлись по домам. Сосед рассказал соседу, кума – куме, так что после обеда в селе началось сущее столпотворение – так много явилось жаждущих взглянуть на перо. Брат Лука, плотно пообедав, а после обеда вздремнув, в четвертом часу встал и, узнав, что целая толпа крестьян с нетерпением ждет, когда ей покажут перо, велел сказать Гуччо Грязнуле, чтобы он захватил колокольчики и суму и шел к церкви. С трудом оторвавшись от кухни и от Нуты, Гуччо взял все, что требовалось, и медленным шагом, отдуваясь, – до того он разбух от неимоверного количества выпитой воды, – направился к церкви; брат Лука велел ему стать у церковных дверей, и он изо всех сил зазвонил в колокольчики. Когда все собрались, брат Лука, уверенный, что все у него в целости, произнес длинную проповедь, подходившую к данному случаю. Нужно было наконец показать перо, – тут он с особым благоговением прочел молитву, велел зажечь два факела, откинул капюшон и осторожно развернул шелковую ткань. Засим сказал несколько слов в похвалу и во славу архангела Гавриила и своей святыни и только после этого открыл ларчик. Увидев, что там полно углей, монах не заподозрил Гуччо Кита, – он знал, что Гуччо до этого не додуматься, – и даже не выругал его за недосмотр, – он мысленно проклинал себя за то, что доверил свои вещи человеку, которого сам же считал неисполнительным, нерачитель-

ным, лентяем и разгильдяем. И все же брат Лука не растерялся — подняв очи и воздев руки горе, он громогласно произнес: “Слава силе твоей, господи!” Тут он закрыл ларчик и обратился к народу с такою речью:

“Возлюбленные братья и сестры! Да будет вам известно, что, когда я еще был весьма юн, начальник мой послал меня в те страны, где восходит солнце; особенно настаивал он на том, чтобы я посетил Страну Свинячих Пузырей, но ведь надуть-то их ничего не стоит, да что от них толку? Итак, вышел я из Венеции, прошел все Борго де Гречи, проехал верхом королевство Алгарвское, затем — Багдад, прибыл в Парионе, и наконец, испытывая сильную жажду, некоторое время спустя достигнул Сардинии. Я не стану подробно описывать вам все страны, где мне довелось побывать. Коротко говоря, переплыв пролив Святого Георгия, я посетил Страну Проходимцев и Страну Лихоимцев — страны многолюдные и густо населенные. Оттуда я пробрался в страну Обманулию, — там многие монахи нашего и других Орденов, ревнуя о боге, ни в чем себе не отказывают, чужих забот к сердцу не принимают, думают только о своей выгоде и расплачиваются поддельными индульгенциями. Оттуда я направился в землю Абруццкую — здесь мужчины и женщины ходят кто — передом, кто — задом, а питаются колбасами и сосисками. Немного дальше я увидел людей, носивших хлеб на палках, а вино в бурдюках, после чего приблизился к Червивым горам — вся вода с них стекает вниз. За короткое время я забрался далеко: в самую глубь Морковной Индии, и, клянусь своей рясой, мне случилось там видеть, как цветут ножи, — кто сам этого не видал, тот может подумать, что я плету небылицы. Но тут не даст мне соврать Мазо дель Саджо — именитый купец, с коим мы там встретились, — он колол орехи, а скорлупу продавал в розницу. Так я там и не нашел, чего искал, потому что дальше нужно ехать водой, — делать нечего, повернул я назад и достигнул Святой земли, где в летний год черствый хлеб стоит четыре динария, а свежий даром дают. Там я побывал у великого отца Небранитеменябогарадия, святей-

шего патриарха Иерусалимского, который из уважения к Ордену моего покровителя — святого Антония, к коему я принадлежу, соизволил показать мне все свои святыни, а их у него такое великое множество, что если б я взялся их перечислить, то до конца так бы и не добрался, но все-таки, чтобы не огорчать вас, некоторые я упомяну. Он показал мне и перст святого духа, совершенно целый и непопорченный, и локон серафима, являвшегося святому Франциску, и ноготь херувима, и ребро Слова-в-позолоте, и одеяния Святой католической веры, и несколько лучей звезды, которую волхвы увидели на востоке, и пузырек с каплями пота, струившегося со святого Михаила, когда тот боролся с дьяволом, и челюсть смерти Лазаря, и прочее тому подобное. А так как я не пожалел для патриарха склонов Монте Морелло в переводе на итальянский язык и нескольких глав из Содомия, которые он давно разыскивал, то в благодарность он наделил меня кое-чем от своих святынь: подарил мне зубец из Санта Кроче, пузыречек со звоном колоколов Храма Соломона, перо архангела Гавриила, о котором я уже упоминал, деревянный башмак святого Герарда Вилламаньского, который я недавно пожертвовал во Флоренции Герарду ди Бонзи, ибо он особенно высоко чтит этого святого, а еще патриарх дал мне углей, на коих был изжарен мученик, блаженный Лаврентий, — все эти святыни я с великим бережением оттуда вывез и взял с собой сюда. Первое время настоятель не позволял мне показывать их — пока не будет удостоверено, подлинные ли то святыни, однако ж чудеса, от них проистекающие, и письма от патриарха доказали их подлинность, и теперь настоятель разрешает мне показывать их. Но только вот что: перо архангела Гавриила я ношу, чтобы оно не смялось, в одном ларце, а угли, на коих был изжарен святой Лаврентий, — в другом, однако ларцы эти так похожи, что я их частенько путаю, и как раз это самое и произошло со мной сегодня: я воображал, что принес ларчик с пером, а на самом деле принес ларчик с углями. Однако ж я склонен думать, более того — я уверен, что это не случайно, что на то была

воля божья и что сам господь вложил мне в руки ларец с углями, – ведь я только сейчас вспомнил, что через два дня – Лаврентиев день. Так, видно, богу угодно было, чтобы я, показав вам угли, на коих был изжарен святой Лаврентий, исполнил ваши души благоговения, которое вы должны к нему питать, – вот для чего он внушил мне, что я должен взять не перо, как я предполагал вначале, но честные угли, погашенные жидкостью, содержавшейся во святой его плоти. А посему, возлюбленные чада мои, обнажите головы и с благоговением приблизьтесь, дабы узреть их. Знайте: на ком эти угли изобразят крест, тот потом целый год может быть уверен, что когда он обожжется, то это будет ему очень даже чувствительно".

Тут брат Лука запел тропарь святому Лаврентию и, открыв ларчик, показал угли. Некоторое время скопище глупцов рассматривало их с благоговейным трепетом, а потом все, давя друг друга, стали протискиваться к брату Луке, жертвовали ему больше обычного и просили коснуться их углями. Того ради брат Лука стал чертить углем кресты во всю длину и во всю ширину их белых рубах, полукафтаний и покрывал; при этом он уверял, что от начертания крестов угли уменьшаются в размерах, но потом опять вырастают у него в ларце, – это, мол, он уже не раз наблюдал. Так, к великой для себя выгоде, окрестил он всех местных жителей и благодаря своему хитроумию посмеялся над теми, что, похитив у него перо, рассчитывали посмеяться над ним. Молодые люди слышали его проповедь, и после того как он у них на глазах, с помощью подходов и витиеватых оборотов речи, столь ловко вывернулся, обоих разобрал такой смех, что у них долго еще потом болели скулы. Когда же народ разошелся, они направились к нему и с диким хохотом рассказали о своей затее, а затем вернули перо, и на следующий год оно пригодилось брату Луке так же, как в тот день пригодились угли.

Повесть эта всех развеселила и развлекла. Слушатели много смеялись над братом Лукой, особливо над его странствиями

и над святынями, которые он видел и которые он привез. Итак, повести Дионео пришел конец, и одновременно пришел конец и власти королевы; тут королева встала, сняла с себя венок и, улыбаясь, возложила его на голову Дионео.

– Пора и тебе, Дионео, хотя бы отчасти испытать, что значит управлять и повелевать женщинами, – сказала она. – Будь же королем и управляй нами таким образом, чтобы в конце твоего царствования мы одобрили принятый тобою образ правления.

Дионео с венком на голове, заметил, смеясь:

– Да вы же их много раз видели – я разумею шахматных королей, коим цена гораздо выше, чем мне! Впрочем, если б вы меня слушались, как подобает слушаться взаправдашнего короля, я бы доставил вам развлечение, без коего и праздник не в праздник. Оставим, однако ж, этот разговор. Буду править, как умею. – Тут он по заведенному обычаю послал за дворецким и, отдав ему подробные распоряжения на все время своего царствования, сказал: – Достойные дамы! Хорошо, что с нами вступила в разговор донна Личиска, – в ее речах я сыскал предмет для завтрашних наших рассказов, а то здесь было приведено столько самых разнообразных случаев человеческой находчивости, что мне, пожалуй, пришлось бы немало потрудиться над выбором предмета. Как вы помните, она уверяла, что среди ее соседок нет ни одной, которая вышла бы замуж девушкой, и к этому она еще добавила, что ей хорошо известно, сколь многочисленны и каковы те штуки, которые жены вытворяют со своими мужьями. Первое мы отбросим, – это детские забавы, – а вот поговорить о другом было бы, мне кажется, любопытно. Итак, я повелеваю, раз уж донна Личиска подала нам для этого повод, рассказывать завтра *О тех штуках, какие во имя любви или же ради своего спасения вытворяли со своими догадливыми и недогадливыми мужьями жены.*

Некоторые дамы почли для себя неприличным рассуждать на эту тему и обратились с просьбой к Дионео придумать другой какой-нибудь предмет. Король, однако ж, возразил им:

— Милостивые государыни! Я не менее ясно, чем вы, отдаю себе отчет в том, что́ это за предмет, и вы меня нимало не поколебали: мне кажется, что в наши дни и мужчинам и женщинам возбраняется совершать дурные поступки, беседовать же они вольны о чем угодно. Разве вы не знаете, что у нас теперь такое страшное время, когда судьи покинули суды, когда законы, как божеские, так равно и человеческие, безмолвствуют и когда каждому предоставлено право любыми средствами бороться за жизнь? Даже если во время нашей беседы вы несколько расширите рамки приличий, то это ни в коем случае не должно дурно повлиять на ваше поведение, — вы только позабавите и себя и других, так что вряд ли вас впоследствии кто-нибудь за это упрекнет. О чем бы мы ни рассказывали, все мы с первого же дня ведем себя безукоризненно, ничем себя, сколько мне известно, не запятнали и с божьей помощью не запятнаем себя и впредь. Да и кто может сомневаться в строгости ваших правил? Что там потешные рассказы, — вы бы и под страхом смерти правилам своим не изменили. Коли на то пошло, так если бы кто узнал, что вы иногда восставали против столь невинной болтовни, он бы, пожалуй, подумал, что у вас у самих совесть не чиста, — оттого-то, мол, вы и противитесь. Да и хороши же, значит, у меня подданные: сами избрали меня королем, — а ведь я-то всем решительно подчинялся, — и теперь навязываете мне свои законы и отказываетесь беседовать о предмете, который я вам предложил! Рассейте же свои сомнения, — им место не в таких чистых душах, как ваши, — желаю удачи, надеюсь, что вы не оплошаете.

Выслушав его, дамы решились пойти навстречу его желанию, а посему король всем дозволил до ужина считать себя свободными.

Сегодняшние рассказы отняли немного времени, и сейчас солнце стояло еще высоко. Дионео и другие молодые люди засели за шашки, Элисса же отозвала дам в сторонку и сказала:

— Когда мы сюда прибыли, мне в первый же день захотелось повести вас недалеко отсюда, — по-моему, никто из

вас там не был: это так называемая Долина Дам, – но до сих пор у нас не было для этого времени, ну, а сейчас солнце еще высоко, – пойдемте, я убеждена, что вы не пожалеете.

Дамы сказали, что пойдут с удовольствием, и, кликнув одну из служанок и не сказавшись молодым людям, отправились. Прошли они не больше одной мили, и перед ними открылась долина. К ней вела узенькая тропинка, тянувшаяся вдоль прозрачного ручья, и когда они эту долину увидели, то она показалась им неизъяснимо прекрасной и живописной, каковому отрадному впечатлению много способствовал солнечный день. Одна из них мне потом рассказывала, что долина эта такая круглая, точно ее обвели циркулем, хотя сразу было видно, что это – творение природы, а не человеческих рук. Окружность ее равнялась миле с небольшим; оцепляли ее шесть не весьма высоких гор; на вершине каждой из гор виднелось нечто вроде красивого замка. Горы спускались к долине уступами, наподобие амфитеатров, где ступени идут сверху вниз, постепенно суживая свой круг. То были южные склоны, сплошь покрытые виноградными лозами, оливковыми, миндалевыми, вишневыми, фиговыми и многими другими плодовыми деревьями. Между тем северные склоны поросли дубами, ясенями и другими ярко-зелеными, на диво стройными деревьями. А на дне долины, куда не было иной дороги, кроме той, по которой шли дамы, густо росли ели, кипарисы и лавры, а несколько сосен были так красиво рассажены, что сажал их, уж верно, мастер своего дела. Даже когда солнце стояло высоко, его лучи почти не пробивались сквозь деревья, и оттого долина представляла собою пышный луг, где росла мелкая трава, где росли алые и всякой иной окраски цветы. Приятно было также смотреть на поток: низвергаясь по кремнистым уступам, прельщая слух своим шумом и взметая брызги, напоминавшие капельки ртути, которую откуда-нибудь выдавливают, он вытекал из той части долины, что отделяет одну гору от другой; когда же он достигал небольшой ложбинки, то, сузившись до размеров прелестно-

го ручейка, стремительно нес свои воды к середине долины и здесь образовывал пруд, напоминавший садки, которые там, где это возможно, устраивают у себя горожане. Воды в пруду было по грудь человеку, не выше, и такою отличалась она чистотой и такою удивительною прозрачностью, что на дне ее видны были мельчайшие камешки – при желании и от нечего делать их можно было пересчитать. И не только дно было видно в пруду, но и великое множество мелькавшей в воде рыбы, восхищавшей и дивившей взор. Пруд со всех сторон окаймляла луговая трава, особенно в этом месте яркая, оттого что у нее не было недостатка во влаге. Всю воду пруд вместить в себя не мог, и эта лишняя вода по другому протоку вытекала из долины и орошала более низкие места.

Молодые дамы все здесь осмотрели, и местность им очень понравилась, а так как жара стояла палящая, то они, уверившись, что подглядывать здесь некому, решились в прозрачном этом пруду искупаться. Все же они велели служанке стоять на тропе, которая их сюда привела, смотреть, не идет ли кто, и в случае чего дать им знать, а затем все семь девушек разделись, вошли в воду, и вода настолько же скрыла белое их тело, насколько тонкое стекло могло бы скрыть алую розу. Войдя в воду, нимало от того не замутившуюся, они принялись гоняться за рыбками, которые не знали, куда от них деться, и старались поймать их руками. Так они некоторое время резвились и поймали несколько рыбок, потом вышли из воды, оделись, решили, что пора домой, и, в совершенном восторге от всего, что им довелось видеть, не спеша тронулись в обратный путь, и дорогой они еще долго говорили о том, как здесь красиво.

Вернулись они довольно рано и от чего ушли, к тому и пришли: молодые люди все еще играли в шашки.

– А мы вас нынче перехитрили! – со смехом сказала Пампинея.

– Каким образом? – спросил Дионео. – Стало быть, прежде чем рассказать о чужих плутнях, вы сами начали плутовать?

— Да, государь, — отвечала Пампинея, а затем подробно рассказала, где они были, что это за местность, как далеко это отсюда и что они там делали.

Узнав, какая там красивая природа, король загорелся желанием ею полюбоваться и велел немедленно подавать ужин. За ужином все изрядно веселились, а затем трое молодых людей, оставив дам и взяв с собою слуг, направились к долине, где никто из них никогда не был, и, вволю налюбовавшись ею, сошлись на том, что это один из самых красивых уголков во всем мире. Так как было уже поздно, то они, выкупавшись и одевшись, возвратились домой и увидели, что девушки под пенье Фьямметты танцуют круговой танец; как же скоро девушки перестали танцевать, молодые люди заговорили с ними о Долине Дам и долго восхищались и восторгались красотою тех мест. Король позвал дворецкого и велел наутро все там приготовить, между прочим захватить и постели на случай, если бы кто захотел поспать или поваляться в полдень. Затем он распорядился принести свечи, подать вина и сластей и, когда все и тому и другому отдали должное, сказал, что пора открывать танцы. По воле короля повел быстрый танец Панфило, а сам король, обратясь к Элиссе, ласково сказал ей:

— Красавица! Утром ты оказала мне честь, возложив на меня венок, а я намерен оказать тебе иного рода честь: я хочу, чтобы нынче вечером спела нам песню ты. Спой ту, какая тебе больше нравится.

Элисса в ответ улыбнулась, охотно согласилась спеть, и в то же мгновенье послышался сладкий ее голос;

Любовь! Ты так впилась в меня когтями,
Что сделать мне больней
Не мог бы самый хищный меж зверями.

Была еще совсем я молодой,
Когда беспечно в бой с тобой вступила
И, мня, что все окончится игрой,
Оружие в сторонку отложила,

А ты, коварная, напала с тыла
И на спине моей
Повисла, горло стиснув мне руками.

Потом, не внемля стону моему,
Меня скрутила, в цепи заковала
И выдала, как пленницу, тому,
В чьем сердце милосердье не живало.
Тирана беспощадней не бывало
И нет среди людей.
Его нельзя разжалобить слезами.

Устала я их бесполезно лить,
На скорбный зов бесцельно ждать ответа,
И жизнь нет у меня желанья длить,
Хотя и сил покончить с нею нету.
Так пусть, любовь, не избежит за это
И тот твоих цепей,
Кого я не растрогала мольбами.

А коль над ним не властна даже ты,
То погаси хотя б огонь, который
Зажгли во мне напрасные мечты,
Чтоб вновь красой я радовала взоры
И вновь могла венчать себя, как в пору
Счастливых юных дней,
Багряными и белыми цветами.

Спев песню, Элисса горестно вздохнула, и хотя слова той песни всех удивили, ни один человек так и не догадался, кто же виновник ее мучений. А король был в добром расположении духа; он позвал Тиндаро, послал его за волынкой, и под звуки этой волынки по желанию короля все долго еще танцевали. Когда же перевалило за полночь, король всем велел идти спать.

Кончился шестой день
Д Е К А М Е Р О Н А,
начинается седьмой.
В день правления
Д И О Н Е О
предлагаются вниманию
рассказы о тех штуках,
какие во имя любви
или же
ради своего спасения
вытворяли
со своими догадливыми
и недогадливыми
мужьями жены

Уже на востоке погасли все звезды, кроме одной, которую мы называем Светоносцем, еще мерцавшей на белеющем небе, когда дворецкий встал и с длинным обозом тронулся в Долину Дам, чтобы все там устроить, как распорядился и повелел его господин. Тотчас после его ухода встал и король – его разбудили лошади и люди, укладывавшие вещи, – встал и поднял дам и молодых людей. Все пустились в путь с первыми лучами зари. Казалось, никогда еще соловьи и другие пташки так весело не пели, как в то утро. Так, под неумолчное пение птиц, они и дошли до Долины Дам, и тут уже их встретили целые хоры пернатых, которые словно обрадовались, что они сюда пришли. Дамы и молодые люди обошли всю долину, снова всю ее осмотрели, и она им еще больше понравилась, – в это время дня здесь было еще красивее. Подкрепившись добрым вином и сластями, они, чтобы не отстать от пичужек, начали петь песни, и вся долина им вторила, а птички не сдавались и оглашали дол сладкими звуками. Столы были расставлены около самого озерца, под сенью цветущих лавров и других красивых деревьев, и когда настало время обеда, все сели на места, указанные королем, и во время еды следили за тем, как в воде целыми стайками ходила рыба, каковое явление послужило им предметом для застольной беседы. Но вот обед кончился, блюда, а затем и столы убраны, и тут у них пуще прежнего пошло веселье: пенье, музыка, танцы. Для желающих вздремнуть в ложбинке были заранее рас-

стелены постели, которые предусмотрительный дворецкий велел завесить пологами из французской саржи, — нужно было только отпроситься поспать у короля, а кто не хотел спать, тот мог развлекаться сколько душе угодно. Когда же все встали и собрались для беседы, неподалеку от того места, где был подан обед, у самого озера, на траве, по распоряжению короля были разостланы ковры, и тотчас после того, как все на этих коврах расселись, король приказал Эмилии начать. Она же, весело улыбаясь, начала так.

1

Джанни Лоттеринги,
услыхав ночью стук в дверь,
будит жену, а она его уверяет,
что это привидение;
оба встают, творят заклинание,
и стук прекращается

– Государь! Я была бы очень рада, если бы с вашего соизволения кто-нибудь другой вместо меня начал рассказывать на прелюбопытную тему, которая была нам предложена для нынешнего собеседования, однако ж если вам угодно, чтобы я подала пример другим, то я охотно вам повинуюсь. А расскажу я нечто такое, что может вам милейшие дамы, принести пользу в будущем, потому что все вы, наверно, такие же трусихи, как я, и больше всего на свете боитесь привидений, а что это такое, про то одному богу известно; боимся-то мы их все, но я, по крайности, не знаю ни одной женщины, которая имела бы о них понятие, – так вот, если вы со вниманием выслушаете мой рассказ, то научитесь одной святой молитве, которая хорошо помогает от привидений.

Жил некогда во Флоренции, в квартале святого Панкратия, шерстяник, по имени Джанни Лоттеринги, мастер своего дела, во всем же остальном человек несведущий и простоватый, и вот этого самого шерстяника частенько выбирали старостой братства Санта Мария Новелла, и он

неусыпно следил за исполнением его устава, и еще много таких же местечек доводилось ему занимать, так что в конце концов он стал высокого о себе мнения, а между тем получал он эти места за то, что, будучи человеком зажиточным, имел возможность на славу угостить монахов. Они постоянно что-нибудь у него выклянчивали: кто – чулки, кто – капюшон, кто – нарамник, а в благодарность учили его хорошим молитвам, дарили ему молитвенник на итальянском языке, житие святого Алексия, плач святого Бернарда, похвалу донне Матильде и прочую тому подобную чепушищу, он же всем этим очень дорожил и все это – душе своей во спасение – тщательно хранил. Жена его, монна Тесса, дочь Мануччо делла Кукулья, была женщина красивая, пригожая, толковая и весьма проницательная. Раскусив простоватого своего мужа, монна Тесса, будучи влюблена в красивого, здорового детину Федериго ди Нери Пеголотти, отвечавшего ей взаимностью, при посредстве служанки пригласила Федериго на беседу в Камерату, где у Джанни было живописное именье, – она здесь проводила все лето, а Джанни изредка наезжал поужинать и переночевать, с тем чтобы утром уехать в город по своим торговым делам или же по делам братства. Федериго только и ждал такого приглашения; в назначенный день он к вечерку отправился в Камерату и, так как Джанни в тот раз не приехал, славно поужинал и со всеми удобствами переночевал у хозяйки, а хозяйка за ночь, лежа в его объятиях, научила его, по крайней мере, шести песнопениям, коим обучил ее муж. Так как она надеялась, что эта ночь будет у них не последней, и так как на то же самое рассчитывал и Федериго, то, чтобы служанке всякий раз за ним не ходить, они уговорились следующим образом: она-де каждый день будет ходить осматривать свои угодья, расположенные чуть выше дома, а он, после того как она пройдет туда или же вернется обратно, должен бросить взгляд на виноградник при доме: если на одной из тычин будет висеть ослиный череп мордой к Флоренции, это значит, что, как скоро смеркнется, он может свободно и смело идти к ней; коли дверь за-

перта, пусть три раза тихонько постучится – она ему отворит; если же череп висит мордой к Фьезоле, пусть не приходит, – стало быть, Джанни тут. И так, действуя согласно уговору, они встречались неоднократно.

Но вот однажды, когда Федериго предстояло отужинать у монны Тессы и она велела зажарить двух жирных каплунов, Джанни, которого в тот вечер не ждали, хоть и очень поздно, да приехал. Хозяйка, весьма этим обстоятельством опечаленная, велела подать себе и супругу на ужин маленький кусочек солонины, который она на всякий случай велела сварить, а служанке приказала завернуть в белоснежную салфетку двух каплунов, только что сваренных яиц да бутылку доброго вина, отнести все это в сад, куда можно было пройти и не через дом и где она иной раз ужинала с Федериго, и положить на лужайке, под персиковым деревом. И до того она была расстроена, что забыла сказать служанке, чтобы та дождалась Федериго и предупредила его, что Джанни здесь, а еду пусть, мол, возьмет с собой. И вот, вскоре после того, как она, Джанни и служанка легли спать, в дверь тихонько постучался Федериго, дверь же была так близко от спальни, что Джанни явственно услыхал стук, равно как и его супруга, но только она, чтобы не возбуждать у Джанни подозрений, притворилась спящей.

Немного погодя Федериго еще раз постучался. Джанни, не веря ушам своим, легонько толкнул жену. “Тесса! Ты слышишь? – прошептал он. – К нам кто-то стучится”.

Жена, все слышавшая еще лучше мужа, сделала вид, будто только сейчас проснулась. “А? Что?” – спросила она.

“Кто-то, говорю, к нам стучится”, – отвечал Джанни.

“Стучится? – переспросила жена. – Вот горе-то! Джанни, родненький! Ты разве не знаешь, что это такое? Это – привидение, я за последние ночи такого страху от него натерпелась! Как заслышу стук – одеялом с головой накроюсь и так лежу до самого до рассвета”.

“Полно, жена, чего ты боишься? – сказал тут Джанни. – Я прочел на ночь *От стражи утренней, Под твою милость* и еще несколько хороших молитв, всю кровать, от края до

края, перекрестил во имя отца, и сына, и святаго духа, так что бояться нечего: какой бы силой привидение ни обладало, с нами оно ничего поделать не может".

Опасаясь, как бы Федериго в чем-либо ее не заподозрил и не поссорился с нею, монна Тесса решилась встать с постели и дать ему понять, что Джанни здесь. "Ну да, рассказывай! – молвила она мужу. – А я буду ни жива ни мертва до тех пор, пока мы не сотворим заклинания, благо ты здесь".

"А как его заклинают?" – спросил Джанни.

"Уж это-то я знаю! – отвечала жена. – На днях я ходила во Фьезоле за отпущением грехов, и одна странница, – голубчик, Джанни, вот уж святые-то женщины эти странницы, истинный бог! – одна странница заметила, что я трусиха, и научила меня хорошей, святой молитве, – так вот, она сказывала, что много раз, еще до того как стала странницей, проверяла ее чудотворную силу, – не было, говорит, случая, чтобы не помогла. Но только, вот тебе крест, одна я нипочем не отважилась бы испытывать ее силу, а раз ты со мной – пойдем и сотворим заклинание".

Джанни изъявил полную готовность. Оба встали и на цыпочках подошли к двери, за которой все еще ждал уже что-то заподозривший Федериго.

"Плюнь, когда я тебе скажу", – приблизившись к двери, шепнула монна Тесса.

"Ладно", – отвечал Джанни.

И тут жена начала творить заклинание: "Привиденье, привиденье! Что покою не даешь? Хвост поднявши ты пришел, хвост поднявши и уйдешь. Ступай в сад – там под большим персиковым деревом жирное-прежирное найдешь, а вдобавок – сотню круглячков из-под моей курочки. Приложись к бутылочке и иди своей дорогой, а меня с моим Джанни не трогай". Сказавши это, монна Тесса обратилась к мужу: "Плюнь, Джанни!" – и Джанни плюнул.

У Федериго, стоявшего за дверью и все до последнего слова слышавшего, ревность улетучилась мигом, и, как ему ни было досадно, он чуть не лопнул от еле сдерживаемого смеха, а когда Джанни плюнул, он прошептал: "Ты себе зу-

бы выплюнь!" Монна Тесса, трижды сотворив заклинание, опять улеглась с мужем в постель. Федериго, рассчитывавший на ужин и оставшийся без ужина, отлично понял смысл этого заклинания; он поспешил в сад, нашел под большим персиковым деревом двух каплунов, яйца, вино, все это отнес к себе домой и поужинал в свое удовольствие. Когда же он потом встречался с монной Тессой, оба, вспоминая заклинание, умирали от хохота.

Иные, впрочем, уверяют, что она-то повернула ослиный череп мордой к Фьезоле, но один работник, проходя через виноградник, так хватил палкой по черепу, что череп завертелся и повернулся мордой к Флоренции – вот почему Федериго решил, что его зовут, и пришел. А еще говорят, будто монна Тесса заклинала так: "Привиденье, привиденье! Сгинь, под дверью не стой! Ослиный череп повернут не мной – повернул его кто-то другой, чтоб ему не пошевелить ни рукой, ни ногой, а Джанни – со мной!" Так Федериго, не солоно хлебавши, и ушел. Но одна моя соседка, совсем дряхлая старуха, уверяет, что и то и другое было на самом деле, – она еще якобы в молодости об этом слыхала, – но только второй случай произошел не в доме Джанни Лоттеринги, а в доме проживавшего у ворот Сан Пьеро некоего Джанни ди Нелло, такого же точно остолопа, как и Джанни Лоттеринги. Ну так вот, милые дамы, выбирайте: какое заклинание вам больше нравится? А если хотите, запомните и то и другое – вы могли убедиться, что и то и другое в таких случаях чудодейственны. Затвердите их наизусть – они вам пригодятся.

2

Муж Перонеллы возвращается домой,
и Перонелла прячет своего возлюбленного
в винную бочку; муж запродал бочку,
а жена уверяет, будто она уже продала ее
одному человеку и тот в нее влез,
чтобы удостовериться, сколь она прочна;
возлюбленный Перонеллы вылезает из бочки,
велит мужу очистить ее,
а затем уносит бочку к себе домой

Слушатели то и дело прерывали рассказ Эмилии взрывами хохота, заклинанье же признали полезным и чудодейственным. Затем король приказал рассказывать Филострато, и тот начал так:

— Милейшие дамы! Мужчины, особливо — мужья, вытворяют с вами такие штуки, что когда какой-нибудь жене в кой-то веки посчастливится одурачить мужа, вы должны радоваться, что это произошло, что вам это стало известно, что вы от кого-нибудь об этом услышали, но не только радоваться, — вы должны, в свою очередь, всем рассказывать о случившемся, чтобы мужчины наконец уразумели, что если они на все горазды, то и женщины им не уступят. Нам это может быть только полезно: когда одному известно про другого, что и тот — не промах, он еще подумает, прежде чем решиться провести его. Не подлежит сомнению, что когда нынешние наши рассказы дойдут до сведе-

ния мужчин, они, приняв в рассуждение, что и вы при желании можете сыграть с ними шутку, станут куда осторожнее. С этою целью я и хочу рассказать, что́ ради собственного спасения в мгновение ока проделала с мужем одна молодая, низкого состояния, женщина.

В Неаполе не так давно один бедняк женился на красивой, прелестной девушке по имени Перонелла; он был каменщик, она – пряха, и на скудный свой заработок они кое-как сводили концы с концами. Случилось, однако ж, так, что некий юный вертопрах увидел однажды Перонеллу, пришел от нее в восторг, воспылал к ней страстью, стал усиленно домогаться ее расположения – и добился своего. Касательно свиданий они уговорились так: ее муж вставал спозаранку и уходил либо на работу, либо искать работу, а молодой человек должен был в это время находиться поблизости и поглядывать, ушел ли муж, а так как улица Аворио была ненаселенная, то молодому человеку не составляло труда тотчас после ухода мужа неприметно прошмыгнуть к нему в дом. И так они проделывали многократно.

Но вот в одно прекрасное утро почтенный супруг удалился, а Джаннелло Скриньярио, – так звали молодого человека, – прошмыгнул к нему в дом и остался наедине с Перонеллой, а немного погодя муж, уходивший обыкновенно на целый день, вернулся и толкнул дверь, – она оказалась запертой изнутри, тогда он постучался, а постучавшись, подумал: “Благодарю тебя, господи! Богатством ты меня не наделил, но зато в утешение послал мне хорошую, честную женку! Ведь это что: только я за порог, а она скорей дверь на запор, чтобы никто к ней не забрался и как-нибудь ее не изобидел!”

Перонелла по стуку догадалась, что это муж. “Беда, ненаглядный мой Джаннелло! – сказала она. – Не жить мне теперь на свете! Это же мой муж, пропади он пропадом! И что это ему вздумалось нынче так скоро вернуться? Может, он видел, как ты входил? Ну, была не была! Полезай, бога ради, вот в эту бочку, а я пойду отворять. Сейчас узнаем, что это его так скоро принесло”.

Джаннелло без дальних размышлений полез в бочку, а Перонелла встретила мужа неласково. "Это еще что за новости? – сказала она. – Что это ты так скоро вернулся? Да еще и со всем своим инструментом? Видно, ты себе нынче праздник задумал устроить. А на что мы жить будем? Где хлеба возьмем? Уж не воображаешь ли ты, что я тебе позволю заложить мою юбчонку или же еще что-нибудь из тряпья? Я день и ночь пряду, из сил выбиваюсь, чтобы хоть на гарное масло заработать, а ты что? Эх, муженек, муженек! Все соседки-то диву даются и на смех меня поднимают, что я тружусь не покладая рук, а ты ничего еще не успел наработать – и уже домой!" Тут Перонелла заплакала. "Бедная я, несчастная, горемычная! – продолжала она. – Не в добрый час я на свет появилась, не в добрый час у него в дому поселилась! Мне бы выйти за хорошего парня, так нет же: угораздило пойти за него, а он меня нисколечко не ценит! Другие с любовниками весело время проводят, у иной их два, у иной – целых три, и они с любовниками развлекаются, а мужей за нос проводят. За что же мне такое наказанье? Я женщина честная, ничего худого себе не позволяю, а уж как же мне не везет, какая у меня горькая доля! И то сказать: отчего бы и мне не завести любовника? Было бы тебе известно, муженек: если б я захотела согрешить, то уж нашла бы с кем – я стольким красавчикам головы вскружила, и они ко мне подъезжают, через доверенных людей сулят мне деньги, а коли, мол, захочу, так будут у меня и новые платья, и драгоценные вещи, да я-то не такая, мне совесть этого не позволяет, а ты, вместо того чтобы работать, идешь домой!"

"Полно, жена, не печалься! – сказал муж. – Поверь мне, что я знаю, какая ты у меня хорошая, я только сейчас в этом лишний раз убедился. А ведь я пошел на работу, но только ни ты, ни я не знали, что нынче день святого Галионе, и все отдыхают, – потому-то я и вернулся так скоро домой. Но хлеба нам с тобой на целый месяц хватит – об этом-то я как раз подумал и позаботился. Со мной человек пришел, видишь? Я ему бочку продал, – бочка-то, как тебе

известно, давным-давно пустая у нас стоит, только место зря занимает, а он мне дает за нее пять флоринов".

"Час от часу не легче! – вскричала тут Перонелла. – Ты как-никак мужчина, везде бываешь, должен бы, кажется, поднатореть в житейских делах, а бочку продал всего за пять флоринов, я же – глупая баба, за порог, можно сказать, ни ногой, а вот попалась мне на глаза ненужная бочка – я и продала ее одному почтенному человеку, да не за пять, а за семь флоринов, и он как раз сейчас влез в нее – проверяет, прочная ли она".

Муж очень обрадовался и сказал тому, кто с ним пришел; "Ступай себе с богом, почтеннейший! Ты слышал? Жена продала бочку за семь флоринов, а ты говорил, что красная цена ей пять".

"Дело ваше", – сказал покупатель и ушел.

"Раз уж ты вернулся, – сказала мужу Перонелла, – так иди туда и покончи с ним".

У Джаннелло ушки были на макушке: он старался понять из разговора, что́ ему грозит и что тут можно предпринять; когда же до него донеслись последние слова Перонеллы, он мигом выскочил из бочки и, как будто не слыхал о том, что вернулся муж, крикнул: "Хозяюшка! Где же ты? "

Но тут вошел муж и сказал: "Я за нее! Тебе что?"

"А ты кто таков? – спросил Джаннелло. – Мне эту бочку продала женщина – я ее и зову".

"Ты с таким же успехом можешь кончить это дело и со мной – я ее муж", – отвечал почтенный супруг.

"Бочка прочная, я проверял, – сказал ему на это Джаннелло, – но у вас тут, по всей видимости, была гуща, и она так пристала и присохла, что я ногтем не мог ее отколупнуть. Отчистите бочку – тогда я ее у вас возьму".

"За этим дело не станет, – вмешалась Перонелла, – сейчас мой муж хорошенько ее отчистит".

"Конечно, отчищу", – сказал муж, положил свой инструмент, снял куртку, велел зажечь свечу и подать скребок, влез в бочку и давай скрести. Бочка же была не очень широкая; Перонелла сунула в нее голову, будто ей хочется посмо-

треть, как работает муж, да еще и руку по самое плечо, и начала приговаривать: “Поскобли вот здесь, вот здесь, а теперь вон там, вот тут еще немножко осталось”.

Так она стояла, указывая мужу, где еще требуется почистить, а Джаннелло из-за его прихода не успел получить полное удовольствие, и теперь он, убедившись, что, как бы он хотел, так ему нынче все равно не удастся, решился утолить свою страсть как придется. Того ради он приблизился к Перонелле, которая прикрывала собой всю бочку, и, обойдясь с нею так, как поступали в широких полях разнузданные горячие жеребцы, бросавшиеся на парфянских кобылиц, наконец-то юный свой пыл остудил; отскочил он от бочки в то самое мгновенье, когда Перонелла высунула голову, а супруг вылез наружу.

И тут Перонелла сказала: “Возьми свечу, милый человек, и погляди: как там теперь, на твой взгляд, чисто?” Джаннелло заглянул и сказал, что вот теперь, мол, чисто, теперь он доволен. Затем вручил мужу семь флоринов и велел отнести бочку к себе домой.

3

Брат Ринальдо балуется со своей кумой;
муж застает брата Ринальдо у нее в комнате,
а брат Ринальдо уверяет,
будто он заговаривал глисты
у своего крестника

Филострато недостаточно туманно выразился насчет парфянских кобылиц, а потому догадливые дамы поняли, что́ он хочет сказать, и рассмеялись, хотя сделали вид, будто их насмешило нечто другое. Удостоверившись, что повесть Филострато окончена, король велел рассказывать Элиссе, и покорная его воле Элисса начала так:

– Очаровательные дамы! Заклинание, которое привела в своем рассказе Эмилия, напомнило мне рассказ о заговоре, и хотя он и не так хорош, со всем тем я, за неимением чего-нибудь более подходящего к предмету нынешнего нашего собеседования, предложу его вашему вниманию.

Надобно вам знать, что в Сиене жил когда-то прелестный юноша благородного происхождения, по имени Ринальдо. Он был без памяти влюблен в свою соседку, красивую женщину, которая была замужем за богатым человеком, и питал надежду, что если только ему удастся поговорить с ней наедине, ни в ком не возбуждая подозрений, то он достигнет венца своих мечтаний, но только он не видел иного пути к осуществлению сего замысла, как покумиться с нею, – должно заметить, что она была беременна. С этой целью

он подружился с ее мужем, сообщил ему о своем желании в самых изысканных выражениях, и муж согласился. Итак, Ринальдо покумился с донной Агнесой; теперь он всегда мог найти благовидный предлог для беседы с нею наедине, и вот как-то раз, набравшись храбрости, он прямо заговорил с ней о своих намерениях, о каковых она, впрочем, еще раньше прочла у него в глазах, однако ж признанием этим он ничего не добился, хотя слушала она его не без удовольствия. Вскоре после этого Ринальдо почему-то пошел в монахи; какой был ему в том прок – неизвестно, но только он так монахом и остался. Приняв постриг, Ринальдо на время выкинул из головы любовь к куме и прочие мирские соблазны, однако ж по прошествии некоторого времени он, не снимая рясы, опять взялся за свое и снова стал находить удовольствие в прихорашиванье, во франтовстве, в щегольстве, в модничанье, в сочинении канцон, баллад и сонетов, в пении и в прочем, и тому подобном.

Дался мне, однако ж, этот брат Ринальдо! Да разве другие лучше его? О позор нашего развращенного общества! Им нисколько не стыдно своей тучности, им нисколько не стыдно румянца во всю щеку, им нисколько не стыдно своей изнеженности, им нисколько не стыдно дорогого своего облачения и всего своего убранства, и вся повадка у них не голубиная, – надуются, как петухи, и преважно расхаживают, задравши гребень и выпятив грудь. В кельях у них полно баночек с мазями и притираньями, коробочек со сластями, склянок и пузырьков с духами и маслами, бочонков с мальвазией, греческим и другими тонкими винами, – можно подумать, что это не монашеские кельи, а бакалейные или парфюмерные лавки, но это еще что! Они не стыдятся своей подагры; они воображают, будто никто не знает и не ведает, что от строгого поста, от простой и скудной пищи, от воздержания люди худеют, спадают с тела и обыкновенно здоровеют, а если и заболевают, то уж, во всяком случае, не подагрой, верное средство от которой – целомудрие, равно как и весь скромный образ жизни монаха. Никто не знает, полагают они, что прямое следствие лише-

ний, долговременного бодрствования, стояний на молитве, истязания плоти — бледность и сокрушенный дух, что ни у святого Доминика, ни у святого Франциска не было четырех ряс, что они не носили ярких и дорогих одежд, что они ходили в грубошерстных рясах самого скромного цвета, что одеяние служило им защитой от холода, а не для того, чтобы покрасоваться. Да исправит же господь бог это повреждение нравов на благо алчущих духовной пищи простецов, коих приношениями те кормятся!

Итак, в брате Ринальдо заговорили прежние его наклонности, и он зачастил к куме. С годами он осмелел, и его домогательства становились все настойчивее. Сердобольная женщина нашла, что брат Ринальдо за это время похорошел, а кроме того, ей трудно было устоять против такого напора, и вот, когда он уж очень к ней пристал, она прибегла к последнему средству, к которому обращаются в подобных случаях женщины, готовые уступить. “Что с вами, брат Ринальдо? — воскликнула донна Агнеса. — Разве монахи такими делами занимаются?”

Брат Ринальдо так ей на это ответил: “Сударыня! Когда я сброшу рясу, — а я ее мигом скидываю, — вы увидите, что я не монах, а такой же мужчина, как и все прочие”.

На лице донны Агнесы появилась кривая усмешка. “Ах, боже мой, что же мне делать? — воскликнула она. — Ведь вы мой кум, а с кумом-то разве можно? Это было бы очень дурно с нашей стороны, да, да, я от многих слыхала, что это великий грех, а иначе я бы вам непременно доставила удовольствие”.

“Если у вас другой причины нет, то это просто глупо с вашей стороны, — возразил брат Ринальдо. — Я не отрицаю, что это грех, но раскаявшемуся господь и не такие грехи прощает. Ответьте мне: кто роднее вашему сыну — я, его крестный отец, или же ваш муж, который его породил?”

“Мой муж”, — отвечала донна Агнеса.

“Ваша правда, — молвил монах. — А разве ваш муж с вами не живет?”

“Конечно, живет”, — отвечала донна Агнеса.

“Когда так, – продолжал монах, – и если еще принять в рассуждение, что я более дальняя родня вашему сыну, чем ваш супруг, то, стало быть, и я имею право жить с вами”.

Донна Агнеса логике не обучалась, ей только нужно было на что-нибудь опереться, и потому она поверила монаху, а быть может, сделала вид, что поверила. “Что можно возразить на ваши умные речи?” – сказала она и, невзирая на кумовство, порешила удовлетворить монаха. Они тотчас же приступили к делу, а так как кумовство облегчало им встречи и отводило от них подозрения, они потом еще несколько раз встретились.

Но вот однажды брат Ринальдо пришел к донне Агнесе и, уверившись, что, кроме нее и прехорошенькой и премиленькой ее служанки, в доме никого больше нет, отправил служанку со своим приятелем на чердак, чтобы он поучил ее молитвам, а сам вместе с донной Агнесой, на руках у которой был мальчик, прошел к ней в комнату, и тут они заперлись, легли на диван и давай резвиться. В это самое время вернулся хозяин дома и, никем не замеченный, подошел к двери, постучался и позвал жену.

“Я погибла! – услыхав голос мужа, прошептала донна Агнеса. – Это мой муж. Теперь он сразу догадается, почему мы с вами стали так близки”.

Брат Ринальдо был раздет, вернее – он был в одном исподнем, – рясу и нарамник он снял. “То правда, – сказал он. – Если б я был одет, то еще можно было бы как-нибудь выкрутиться, но если вы ему сейчас отворите и он застанет меня в таком виде, то уж тут никакие оправдания не помогут”.

У донны Агнесы мелькнула счастливая мысль. “Одевайтесь, – сказала она, – а как оденетесь, возьмите на руки своего крестника и со вниманием слушайте, что я буду говорить, чтобы у нас с вами не вышло разногласий, а в остальном положитесь на меня”.

Благоверный все стучался; наконец жена крикнула: “Иду, иду!” – встала и с самым непринужденным видом вышла к нему. “Ты знаешь, муженек, – заговорила она, – здесь наш

кум — сам бог его к нам послал: если б он не пришел, мы бы потеряли нашего мальчика".

При этих словах простодушный святоша так и обомлел. "То есть как?" — воскликнул он.

"Ах, муженек! — продолжала донна Агнеса. — С ним приключился глубокий обморок, — я уж думала, что он умер, не знала, что делать и как быть, но тут, на мое счастье, пришел наш кум, брат Ринальдо, взял его на руки, да и говорит: "Кума! У него глисты подошли к сердцу. Обыкновенно это кончается смертью, но вы не бойтесь: я их заговорю и всех повыморю. Я не уйду от вас, пока вы не увидите, что ваш ребенок здоровехонек". Ты был нам нужен, чтобы прочитать молитвы, но служанка не знала, где тебя найти, и он попросил своего приятеля прочитать молитвы на самом высоком месте во всем нашем доме, а мы с ним прошли сюда. Присутствовать при этом обряде никому, кроме матери, не дозволяется, — вот мы здесь и заперлись, чтобы никто нам не мешал. Нашего мальчугашечку он все еще держит на руках и, наверно, будет держать, пока его приятель молится, но я думаю, что дело уже сделано, — мальчик-то ведь очнулся".

Дурачина всему поверил: прилив отцовской нежности в его душе был столь силен, что он не обнаружил обмана в словах жены. Он с облегчением вздохнул и сказал: "Пойду погляжу на него".

"Не ходи, — сказала жена, — ты можешь все испортить. Погоди, я зайду сама, и если уже можно, я тебя кликну".

Брат Ринальдо слышал весь этот разговор; за это время он не спеша оделся, а когда привел себя в порядок, то взял ребенка на руки и крикнул: "Эй, кума! Это уж не кум ли?"

"Да, отец мой, это я", — откликнулся дурачина.

"Ну так входите же!" — крикнул брат Ринальдо.

Дурачина вошел, а брат Ринальдо ему и говорит: "Вот ваш сынок, теперь он, по милости божией, здоров, а ведь несколько минут тому назад я был уверен, что ему не дожить до вечера. Прикажите в знак вашей благодарности отцу небесному поставить восковую фигуру с него ростом перед

изображением преподобного отца нашего Амвросия, – это ради его заслуг господь ниспослал вам такую великую милость".

Как это обыкновенно бывает с детьми, малыш, увидев отца, бросился к нему и начал ласкаться, а тот со слезами, будто достал ребенка из могилы, подхватил его на руки, расцеловал, а затем рассыпался в благодарностях куму за исцеление. Тем временем приятель брата Ринальдо, уж верно, не меньше четырех раз принимался обучать служанку, как нужно каяться; он преподнес ей белый вязаный кошелечек, который ему самому подарила одна монахиня, и приобщил ее к числу своих духовных дочерей; когда же он услышал голос дурачины, взывавшего к своей жене, то тихохонько спустился на несколько ступенек чердачной лестницы и стал так, чтобы ему все было видно и слышно. Убедившись, что дело приняло наилучший оборот, он сошел вниз и, войдя в комнату, объявил: "Брат Ринальдо! Я прочитал все четыре молитвы".

"Дело мастера боится, – сказал ему на это брат Ринальдо, – а я только успел две, как пришел кум, но всемилостивый господь и за твое и за мое усердие исцелил младенца".

Дурачина велел подать лучших вин и сластей, оделил кума и его приятеля всем, в чем они особенно нуждались, затем пошел проводить их и отпустил с миром, а восковую фигуру заказал в тот же день и велел повесить ее рядом с другими напротив изображения святого Амвросия, но только не того, которое в Милане.

4

Однажды ночью Тофано запирается от жены;
как она его ни умоляет,
он отказывается ее впустить;
тогда она делает вид, что бросается в колодец,
а на самом деле швыряет туда громадный камень;
Тофано выбегает из дому и устремляется к колодцу,
а жена тем временем входит в дом,
запирается от мужа
и срамит его на всю улицу

Убедившись в том, что повесть Элиссы окончена, король тут же обратился к Лауретте и изъявил желание послушать ее, и она, нимало не медля, начала так:

– О Амур! Сколь ты всемогущ, хитроумен и проницателен! Был ли и есть ли такой мыслитель и такой художник, который мог или мог бы воспроизвести все твои наставления, изобретения и ухищрения, которые в трудную минуту выручают тех, что идут по твоим стопам? Всякая другая наука по сравнению с твоей кажется, по правде сказать, недостаточно гибкой, что явствует из всех выслушанных нами рассказов. Вдобавок, любезные дамы, я хочу рассказать вам о хитрости, на какую пустилась – разумеется, по наущению Амура – одна простушка.

Итак, жил-был в Ареццо богач по имени Тофано. Женившись на красавице по имени монна Гита, он ни с того ни с сего начал ее ревновать. Монна Гита была этим возмущена;

несколько раз она к нему приступала — какие, дескать, у него основания ревновать ее, он же, будучи не в состоянии привести хотя бы одну вескую причину, отделывался общими ничего не значащими фразами, и в конце концов ей пришло в голову извести его тою же самою хворью, которой он без всяких оснований опасался. Заметив, что один молодой человек, производивший на нее самое благоприятное впечатление, очарован ею, она осторожно начала с ним заигрывать. Когда же они друг с дружкой поладили и оставалось лишь перейти от слов к делу, то она вознамерилась и для сего изыскать способ. Зная, что одна из дурных привычек мужа — страсть к вину, она стала его в том поощрять и частенько сама предлагала ему выпить. С течением времени он до того к вину приохотился, что теперь она напаивала его всякий раз, когда это было ей нужно. Благодаря таковой уловке состоялась ее первая встреча с возлюбленным: мужа она напоила и спать уложила, а сама побежала на свидание, и с той поры она встречалась с возлюбленным часто и уже безбоязненно. Будучи твердо уверена, что пьяный муж ей не опасен, она отваживалась приводить любовника домой, а кое-когда почти на всю ночь уходила к нему, благо он жил неподалеку. Так действовала влюбленная женщина, однако ж злополучный супруг стал примечать, что его-то она подпаивает, а сама не пьет, и в конце концов смекнул, в чем тут дело, то есть что поит она его для того, чтобы погулять на свободе, пока он спит. Возымев желание окончательно в том убедиться, он как-то раз нарочно капли в рот не взял, а вечером пришел домой и разыграл мертвецки пьяного. Жена, поверив ему и решив, что больше поить его не нужно — он и так, мол, заснет, поспешила уложить его. Как скоро он улегся, она, по обыкновению, побежала к своему возлюбленному и пробыла у него до полуночи.

Удостоверившись в том, что жена ушла, Тофано поднялся с постели, запер дверь изнутри и стал у окна, чтобы, когда жена вернется, сказать ей, что он ее вывел на чистую воду. Так он и простоял тут, пока жена не вернулась, а жена,

убедившись, что дверь заперта изнутри, и будучи этим обстоятельством очень расстроена, приналегла на дверь в надежде, что она подастся. Выждав некоторое время, Тофано крикнул ей: "Зря ты силы тратишь, жена, – тебе домой не войти! Иди туда, откуда пришла. Домой ты не вернешься до тех пор, пока я при твоих родных и при соседях не воздам тебе по заслугам, так и знай!"

Жена Христом-богом стала молить мужа впустить ее: она, мол, совсем не оттуда, откуда он думает, – она была у соседки: ночи длинные, куда ж столько спать-то, а сидеть дома одной – скучно. Просьбы, однако ж, не помогли; в городе никто еще ничего не знал, однако ж этот дуралей решил, что он не успокоится, пока не осрамит и себя и жену на весь Ареццо.

Видя, что мольбами его не проймешь, жена прибегла к угрозам. "Если ты не отопрешь, я тебя погублю", – сказала она.

"А что ты можешь мне сделать?" – спросил Тофано.

Стараниями Амура жена за последнее время понавострилась.

"Я незаслуженного бесчестья не перенесу, – объявила она, – я сейчас брошусь вон в тот колодец, и когда найдут мое тело, то все подумают на тебя – что это ты в пьяном виде меня туда бросил. Стало быть, тебе придется бежать, распроститься со всем своим имуществом и жить в изгнании, иначе тебя казнят как моего убийцу, и то сказать: кто же ты еще тогда будешь, как не мой убийца?"

Слова жены не заставили Тофано отказаться от его дурацкой затеи. Тогда жена ему сказала: "Ну вот что: я такой обиды не потерплю. Бог тебе судья! Отольются тебе мои слезки".

С этими словами она направилась к колодцу и, воспользовавшись тем, что ночь была темная – хоть глаз выколи, подняла лежавший у колодца громадный камень и с криком: "Господи, прости!" – бросила его в колодец. Камень плюхнулся в воду. Услыхав сильный плеск и решив, что жена и впрямь бросилась в колодец, Тофано опрометью вы-

бежал из дому и помчался к колодцу спасать жену. А жена притаилась у входной двери, и только он за порог, она – юрк в дом, заперлась изнутри, а затем подошла к окну и крикнула: "Воду подливают в вино, когда пьют, а не после попойки!"

Поняв, что жена провела его, Тофано кинулся к двери, но дверь была заперта, – тогда он стал просить жену, чтобы она его впустила.

До сих пор жена говорила тихо, но тут она возвысила голос. "Мерзкий пьяница! – почти крикнула она. – Нынче тебе сюда не войти. Мне эта твоя мода надоела. Пусть все видят, что ты за человек и когда ты приходишь домой".

Тофано, взбеленившись, стал тоже орать и ругать ее. Перебранка разбудила соседей и соседок – они вскочили и, подбежав к окнам, спросили супругов, из-за чего у них идет пря.

Тут, плача навзрыд, заговорила жена: "Все из-за него, из-за этого мерзавца: каждый вечер является домой пьяный, а коли проспится в кабачке, то приходит глухою ночью. Долго я терпела, долго я его пробирала – ничего на него не действует, больше у меня сил нет терпеть – вот я и решилась его осрамить: заперлась от него – авось-либо исправится".

Олух Тофано тоже объяснял, как все это произошло, и осыпал жену угрозами.

А жена кричала соседям: "Теперь вы видите, что это за человек? А что бы вы сказали, если б я была на улице, а он дома? Клянусь богом, вы бы ему поверили! Теперь вы можете судить, насколько он трезв: обвиняет меня как раз в том, что, скорее всего, сам же и спроворил. Он что-то бросил в колодец – хотел меня напугать. Господи, да хоть бы он сам туда бросился и утонул, – ведь он винища-то невесть сколько выдул, вот бы оно тогда и разбавилось!"

Соседи и соседки напустились на Тофано; они во всем винили его и ругали за то, что он оклеветал жену. Сосед соседу – скоро слух об этой ссоре дошел до родственников жены. Все они мигом сюда налетели, видят: в окнах соседи,

они к тому, к другому: как было дело? Потом взялись за Тофано, обломали ему бока и — прямо к нему в дом; забрали женины вещи и, пригрозив Тофано, что это еще только цветочки, вместе с его женой возвратились восвояси. Тофано понял, что остался в дураках и что ревность до добра его не довела, а так как он по-своему любил жену, то положил прибегнуть к посредничеству друзей, друзья ему порадели, он, со своей стороны, обещал больше не ревновать, предоставил жене действовать, как ей угодно, но только так хитро, чтобы он ничего не замечал, и жена по доброй воле вернулась к нему. Дурак мирится — только пуще срамится. Да здравствует любовь, а на деньги наплевать!

5

Некий ревнивец
под видом священника исповедует свою жену,
а жена кается ему на исповеди в том,
что любит священника,
который якобы проводит у нее все ночи;
ревнивец притаивается у входа в дом,
а тем временем возлюбленный по ее приглашению
пробирается к ней через крышу
и остается у нее

Когда Лауретта окончила свой рассказ, все нашли, что жена поступила умно и что, мол, этому негоднику так и надо, король же, не теряя времени, обратился к Фьямметте и в наиучтивейших выражениях предложил ей начать рассказывать, и Фьямметта, исполняя его волю, повела свой рассказ так:

– Знатнейшие дамы! Предыдущее повествование побуждает меня рассказать еще об одном ревнивце: я ведь вполне одобряю жен, дурачащих ревнивых мужей, в особенности если мужья ревнуют их без всякого повода. Когда бы составители законов могли все предусмотреть, им, по моему разумению, следовало бы определить в сем случае для жен такое же точно наказание, как и всякому человеку, который наносит другому урон, обороняясь, ибо ревнивцы против молодых жен злоумышляют и смертный их час приближают. Жены по целым неделям сидят взаперти, занимаются

семейными и домашними делами, и в праздник им, как и всем добрым людям, хочется немножко развлечься, отдохнуть, повеселиться, — ведь отдыхают и хлебопашцы, и городские ремесленники, и судьи, так нам заповедал господь, ибо в день седьмой он почил от дел своих, и того же требуют законы божеские и человеческие, которые, ревнуя о славе божией и о всеобщем благе, установили дни для труда и особые дни — для отдыха. Ревнивцы и этим недовольны; дни, для всех остальных радостные, особенно печальны и тягостны для их жен, потому что в эти дни мужья усиливают надзор и держат их за семью замками. Только бедняжки, которые испытали это на себе, знают, как это невыносимо. Поэтому-то я и утверждаю: что бы жена ни проделала со своим мужем, ревнующим ее без всякой причины, она заслуживает не осуждения, но одобрения.

Итак, жил в Римини один торговец, и было у него много имений, много денег и красавица жена, которую он ревновал превыше всякой меры. Повод же к тому у него был только один: он ее очень любил, восхищался ее красотой, видел, что она все делает для того, чтобы ему нравиться, а когда так, — рассуждал он, — стало быть, и другие ее любят, восхищаются ее красотой, она же всем хочет нравиться. Такой вывод мог сделать человек дурной и притом недальнего ума. Из ревности он следил за каждым ее шагом и держал в четырех стенах, — не за всеми приговоренными к смертной казни так надзирают тюремщики, как надзирал он за ней. Жена не имела права пойти на свадьбу, на семейное торжество, в церковь, не смела не только уйти из дому, но даже выглянуть в окно; словом, жизнь у нее была тяжелая, и тем несноснее была ей эта мука, что она не чувствовала себя виноватой.

Наконец, видя, что муж продолжает поступать с нею несправедливо, она вознамерилась как-нибудь заслужить такое с его стороны отношение — тогда, мол, по крайней мере, ей будет не так обидно. Подходить к окнам ей возбранялось; следственно, она не имела возможности дать понять комулибо из прохожих, заглядевшихся на нее, что он ей нравится, однако ей было известно, что в том же доме живет краси-

вый, прелестный молодой человек, и вот она порешила, в случае, если в стене, за которой находилось помещение, где жил молодой человек, найдется щелка, смотреть туда до тех пор, пока она не увидит юношу, потом заговорить с ним и, буде он пожелает, осчастливить его своей любовью, в дальнейшем же, от случая к случаю, встречаться с ним и тем хоть немного скрасить томную свою жизнь, а там авось-либо муж выкинет из головы дурь. Как-то раз, когда мужа не было дома, она долго ходила по комнате, водя глазами по стене, и вдруг обнаружила в наименее освещенной части стены щель. Она туда заглянула, – видно было плохо, но все-таки ей удалось разглядеть комнату, и тут она подумала: "Если б это была комната Филиппо (то есть юного ее соседа), дело было бы наполовину сделано". Служанке, которая ей сочувствовала, она отдала тайное распоряжение все разведать – оказалось, что то была спальня молодого человека. После этого она стала все чаще приникать к щели; услыхав шаги молодого человека, она просовывала в щель камешки, соломинки – и в конце концов добилась того, что молодой человек подошел поглядеть, что это значит. Тут она тихонько окликнула его, – узнав ее голос, он ей ответил; тогда она, воспользовавшись случаем, в коротких словах излила ему свою душу. Молодой человек обрадовался; он постарался расширить щель со стороны своей комнаты, но так, чтобы это не бросалось в глаза. Теперь они часто беседовали через щель, даже пожимали друг другу руку, но дальше этого не заходили – над ними тяготел строгий надзор ревнивца.

Приближалось Рождество, и по сему случаю жена стала отпрашиваться у мужа – не позволит ли он ей пойти на Рождество в церковь и по христианскому обычаю исповедаться и приобщиться. "Зачем тебе исповедаться? Что у тебя за грехи?" – спросил ревнивец.

"То есть как какие грехи? – возразила жена. – Ты воображаешь, что если ты держишь меня взаперти, так я от этого стала святой? Ты отлично знаешь, что и у меня, как и у всех людей, есть грехи, но тебе я в них не покаюсь, потому что ты не священник".

Ревнивец заподозрил неладное; положив непременно дознаться, что у нее за грехи, он надумал, как это осуществить, ей же сказал, что дает свое согласие, но с условием, что она будет исповедоваться не где-нибудь, а в их приходской церкви: пусть, дескать, пойдет туда пораньше и исповедуется либо у настоятеля, либо у того священника, которого назначит ей настоятель, словом – у кого-нибудь из них двоих, а после обедни пусть немедленно возвращается домой. Жена, поняв, что почти разгадала его умысел, решилась более не перечить.

Рождественским утром она встала на рассвете, приоделась и пошла, как ей приказал муж, в приходскую церковь. Ревнивец тоже встал и опередил ее. Вступив в заговор с настоятелем, он быстрым движением надел на себя рясу с большим, спускающимся на лицо капюшоном, – такие капюшоны носят священники, – сдвинул капюшон на лоб и сел на клиросе. Жена, войдя в церковь, сказала, что ей нужно видеть настоятеля. Настоятель вышел к ней, но, узнав, что она желает исповедаться, объявил, что он занят, но что сейчас он пришлет к ней кого-нибудь из священников. Сказавши это, он удалился и, к несчастью для ревнивца, послал к ней его. Ревнивец с величественным видом вышел к ней, и хотя еще не совсем рассвело, а он из предосторожности надвинул капюшон на глаза, со всем тем жена сразу его узнала. "Как хорошо, что моему ревнивцу пришло в голову вырядиться священником! – подумала она. – Ну, погоди ж ты у меня: на что сам набиваешься, то сейчас и получишь". Сделав вид, что не узнала его, она стала перед ним на колени. Почтенный ревнивец положил в рот камешков для того, чтобы они затрудняли ему речь, – он рассчитывал, что благодаря этому жена не узнает его и по выговору, а за свою наружность он был совершенно спокоен: жена, убеждал он себя, нипочем его не узнает – так он преобразился. В начале исповеди жена объявила, что она замужем и что она влюблена в одного священника, который проводит у нее все ночи.

Для ревнивца это был нож в сердце; ему смерть как хотелось выпытать подробности, а то бы он бросил исповедь и

ушел. Сделав над собой усилие, он спросил жену: "Как? Разве ваш муж не живет с вами?"

"Живет, ваше преподобие", – отвечала жена.

"Так как же ухитряется жить с вами священник?" – спросил ревнивец.

"Мне непонятно, ваше преподобие, как это ему удается, – отвечала жена, – но только нет во всем доме крепко запертой двери, которая не распахнулась бы от одного его прикосновения. Он говорит, что когда подходит к двери в мою комнату, то шепчет какие-то слова, от которых мой муж мгновенно засыпает, а как скоро он услышит, что муж спит, так сейчас же отворяет дверь, входит и остается у меня. Еще не было случая, чтобы у него это сорвалось".

"Дурно вы поступаете, сударыня, – сказал ревнивец, – вам нужно это прекратить".

"Боюсь, ваше преподобие, что не смогу, – сказала жена, – я так его люблю".

"Тогда я не отпущу вам грехи", – объявил ревнивец.

"Мне это очень горько, – объявила жена. – Я знаю, что на исповеди лгать нельзя. Если б я чувствовала себя в силах от этого отказаться, я бы вам так прямо и сказала".

"Мне искренне жаль вас, сударыня, – сказал ревнивец. – Так вы погубите свою душу – это несомненно. Но я, со своей стороны, постараюсь сделать для вас все, что могу, буду особенно за вас молиться – может статься, эти молитвы помогут вам. Время от времени буду посылать моего служку – вы с ним передадите мне, помогают молитвы или нет; если помогают, мы усилим моления".

"Не посылайте ко мне никого, ваше преподобие! – сказала жена. – Мой муж безумно ревнив, и если только он узнает, что ко мне приходили, то непременно заберет себе в голову, что не с доброй целью, и потом уж никакими силами у него это из головы не выбьешь, целый год будет меня тиранить".

"Не беспокойтесь, сударыня, – возразил ревнивец. – Я буду действовать так, что об этом вы ни единого слова от него не услышите".

“Тогда я согласна”, – молвила жена. Поисповедовавшись и получив отпущение грехов, она встала с колен, а затем побыла у обедни.

Ревнивец, вздыхая о плачевной своей судьбе, снял рясу и пошел домой, и доро́гой он все думал о том, как застанет жену со священником и как им обоим задаст жару. Придя из церкви, жена глянула на мужа и по выражению его лица сейчас догадалась, что испортила ему праздник, а муж всеми силами старался скрыть от нее все, что он совершил, а также все, что, как ему казалось, он разузнал.

Задумав подкараулить священника ночью на улице, у входа в дом, он сказал жене: “Нынче я дома не ужинаю и не ночую. Запри получше входную дверь, дверь на лестницу и дверь к себе в комнату, захочется спать – ложись”.

“Ладно”, – сказала жена.

Улучив минутку, она подошла к щели и подала условный знак; услышав его, Филиппе тоже подошел к щели. Она сообщила ему о своем утреннем похождении, а также о том, что муж сказал ей дома. “Но только никуда он не уйдет, – в этом я больше чем уверена, – примолвила она, – а будет караулить у входа, так что если ты хочешь побыть со мной, то постарайся пробраться ко мне через крышу”.

“Так я и сделаю, сударыня”, – придя в восторг, сказал молодой человек.

Ночью ревнивец, захватив с собой оружие, до времени притаился в одной из нижних комнат, а жена велела запереть все двери, особенно крепко – дверь на лестницу, чтобы ревнивцу нельзя было подняться наверх, молодой же человек выждал время, затем, соблюдая вящую осторожность, пробрался к ней, и тут они улеглись и принялись ублажать и услаждать друг дружку, а с рассветом молодой человек перебрался к себе. Ревнивец между тем почти всю ночь, поджидая священника, простоял с оружием в руках у входа; когда же занялся день, он, измученный, голодный, иззябший, не в силах долее бодрствовать, лег спать внизу. Встал он около шести утра, когда входная дверь была уже отперта, и, сделав вид, будто только что откуда-то явился,

накинулся на еду. А немного погодя он подослал к жене мальчишку, будто это служка священника, у которого она исповедовалась, и велел спросить, было ли у неё известное ей лицо. Жена сейчас узнала посланца; она ответила, что нынче ночью он не приходил и что если он и дальше так будет поступать, то выскочит у нее из ума вон, хотя она вовсе не желает, чтобы он вылетел у нее вон из ума.

Стоит ли рассказывать дальше? Еще много ночей простоял ревнивец у входа в надежде подстеречь священника, а жена без передышки весело проводила время с любовником. Однажды ревнивый супруг, потеряв терпение, грозно поглядел на жену и спросил, что она тогда говорила священнику на исповеди. Жена ответила, что не скажет, – это, мол, грешно и некрасиво.

"Бесчестная женщина! – вскричал тут ревнивец. – Как это для тебя ни печально, я знаю, что ты говорила священнику, но мне нужно точно знать, кто тот священник, в которого ты влюбилась по уши и который благодаря своим заклинаниям спит с тобой каждую ночь! Говори, а не то я тебе все жилы повытяну!"

Жена сказала, что ни в какого священника она не влюблена.

"Как? – воскликнул ревнивец. – Разве ты не говорила того-то и того-то на исповеди?"

"Как видно, священник рассказал тебе об этом со всеми подробностями, – можно подумать, что ты в это время был там и подслушивал, – заметила жена. – Ну да, я ему в этом призналась".

"Говори же, кто этот священник? – воскликнул ревнивец. – Говори скорей!"

Жена усмехнулась. "Я люблю, когда простушка-жена ведет умного мужа, как ведут за рога барана на бойню, – заметила она. – Впрочем, тебя умным не назовешь, – ты весь свой ум растерял после того, как впустил к себе в душу злой дух беспричинной ревности. И чем ты глупее и грубее, тем меньше это делает чести мне. Неужели ты воображаешь, муженек, что мои телесные очи столь же слепы, как твои

духовные? Нет, они не слепы. Я с первого взгляда поняла, кто этот священник, который меня исповедовал, я тебя сразу узнала, но я решила, что ты у меня сейчас получишь то, на что сам набиваешься. И ты получил. Если б ты в самом деле был умным человеком, за какового ты себя почитаешь, ты бы не стал таким путем выведывать тайны своей верной жены, ты постарался бы рассеять вздорные свои подозрения, ты бы сообразил, что она тебе правду сказала и что в этой правде ничего позорящего тебя нет. Я тебе сказала, что люблю священника, но ведь ты же тогда и был священником. Стало быть, выходит, что я люблю тебя, хоть любить тебя и не за что. Я сказала, что когда он хочет со мной спать, то ни одна дверь не служит ему препятствием. Ну, а когда ты шел ко мне, хоть одна дверь была заперта? Я сказала, что священник проводит у меня все ночи. А когда ты ночевал не у меня в комнате? Только перед тем, как подослать ко мне служку, и я ему так и ответила, что священник ко мне не приходил. Только сумасшедший, ослепший от ревности человек может всего этого не понять. Ты по ночам стоял на страже у входа, а меня уверял, будто ужинал и ночевал не дома! Опомнись, приди в себя, если не хочешь быть посмешищем для всех, кто, как и я, знает о твоих проделках, и не ходи за мной по пятам. Уж если б я захотела наставить тебе рога и будь у тебя не два, а сто глаз, — клянусь богом, я бы тебя так сумела этим наградить, что ты нипочем бы и не догадался".

Незадачливый ревнивец воображал, что он очень ловко выведал тайну жены, но тут он понял, что остался в дураках. Он ничего жене не ответил и, придя к заключению, что жена у него умная и хорошая, перестал ее ревновать именно тогда, когда имел для этого все основания, начал же он ревновать, когда она не подавала для этого ни малейшего повода. Обретя почти полную свободу, умная жена предлагала теперь своему возлюбленному пройти к ней не через крышу, как кошки, а прямо в дверь и, действуя с оглядкой много раз потом блаженствовала с ним и веселилась.

6

В то самое время,
когда донна Изабелла принимает у себя Леонетто,
к ней приезжает ее поклонник, мессер Ламбертуччо;
вслед за тем возвращается ее муж;
по ее просьбе мессер Ламбертуччо
с ножом в руке выбегает из комнаты;
муж провожает Леонетто
до самого дома

Рассказ Фьямметты привел слушателей в восхищение; все нашли, что жена поступила совершенно правильно – так, мол, дураку и надо. Затем король велел рассказывать Пампинее, и она начала следующим образом:

– Многие в простоте душевной полагают, что Амур сводит людей с ума, что по его милости люди, можно сказать, глупеют. Мне же это кажется заблуждением. Предыдущие повести доказали нам ошибочность подобного заключения, но все-таки я хочу еще раз вам это доказать на примере.

В нашем городе, где прежде всего было вдоволь, жила молодая, знатная, красивая женщина, жена одного доблестного и состоятельного дворянина. Одни и те же кушанья нам обыкновенно приедаются; иной раз нам хочется как-нибудь поразнообразить кухню, – так вот и эта женщина: муж не вполне ее удовлетворял, и она влюбилась в некоего Леонетто – юношу благовоспитанного и добронравного, хотя и не родовитого, Леонетто же влюбился в нее, а когда оба стре-

мятся к одному и тому же, то, сколько вам известно, чаемое ими чаще всего сбывается, – так и тут: юноше и даме потребовалось не много времени для того, чтобы достигнуть предела их любовных мечтаний. Нужно же было случиться так, что в нее, красивую, очаровательную женщину, безумно влюбился мессер Ламбертуччо, ей же он был отвратителен и омерзителен, и никакого чувства она питать к нему не могла. Долго ей докучали его посланцы, но – безуспешно; наконец мессер Ламбертуччо велел передать ей, что он человек могущественный и что если она ему не уступит, то он ее опозорит. Зная, что от этого человека всего ожидать можно, она испугалась и рассудила за благо покориться.

На лето донна Изабелла, – так звали даму, – выехала в прекрасное свое имение, как обыкновенно поступают все наши дамы, и вот, когда однажды утром муж ее на несколько дней зачем-то уехал, она тут же дала об этом знать Леонетто, и Леонетто, в совершенном восторге, мигом к ней прикатил. Сведав, что муж донны Изабеллы отлучился из дому, мессер Ламбертуччо тоже поехал к ней верхом, без спутников, и постучался в ворота. Служанка бросилась к своей госпоже, у которой в это время был Леонетто, и, вызвав ее, сказала: "Сударыня! К вам приехал мессер Ламбертуччо! Один!" В эту минуту донне Изабелле показалось, что в целом мире нет женщины несчастнее ее. Насмерть перепугавшись, она попросила Леонетто сделать ей одолжение – спрятаться за пологом и побыть там, пока не уйдет мессер Ламбертуччо. Леонетто боялся мессера Ламбертуччо не меньше, чем донна Изабелла, а потому, не теряя времени, спрятался. Донна Изабелла велела служанке отворить мессеру Ламбертуччо. Служанка отворила. Мессер Ламбертуччо сошел во дворе с коня, привязал его и поднялся наверх. Донна Изабелла как ни в чем не бывало вышла к нему на лестницу, сделала вид, что она ему очень рада, и спросила, как он поживает. Поклонник обнял ее и поцеловал. "Душенька моя! – молвил он. – Мне сказали, что вашего мужа нет дома, – вот я к вам ненадолго и приехал". Тут они вошли в комнату, заперлись, и мессер Ламбертуччо начал с ней развлекаться.

В это самое время вернулся муж, чего донна Изабелла уж никак не могла ожидать. Увидев его, когда он был уже недалеко от дома, служанка взбежала на лестницу и крикнула своей госпоже: "Сударыня! Ваш супруг приехал! Наверно, уже на дворе".

При мысли, что у нее двое мужчин и что мессера Ламбертуччо не спрячешь, потому что конь его стоит на дворе, хозяйка помертвела. Но ее тут же осенило, и, соскочив с постели, она обратилась к мессеру Ламбертуччо с такими словами: "Мессер! Если вы желаете мне добра и хотите избавить меня от смерти, вы поступите так, как я вас сейчас научу. Возьмите нож, сделайте злое лицо, прикиньтесь разгневанным и, спускаясь по лестнице, кричите: "Я с тобой еще разделаюсь, вот как бог свят!" И если мой муж станет вас удерживать, о чем-либо спрашивать, то ничего ему не отвечайте, не останавливайтесь, садитесь на коня и уезжайте".

Мессер Ламбертуччо обещал исполнить ее просьбу. Щеки у него пылали и от напряжения, и с досады, что вернулся супруг; он выхватил нож и выбежал из комнаты. Муж, который к этому времени уже спешился во дворе, с удивлением посмотрел на привязанного коня и только хотел было подняться наверх, как увидел спускавшегося мессера Ламбертуччо; подивившись и угрозам его, и всему его виду, он спросил: "Что с вами, мессер?"

Мессер Ламбертуччо ступил в стремя, сел на коня, крикнул: "Я с тобой еще разделаюсь, вот как перед богом говорю!" – и ускакал.

Поднимаясь по лестнице, почтенный супруг увидел, что его жена, растерянная, напуганная, стоит на самом верху. "Что это значит? – спросил он. – Кому грозит мессер Ламбертуччо и что его привело в такое негодование?"

На это ему донна Изабелла, подойдя поближе к двери комнаты, чтобы Леонетто мог ее слышать, ответила так: "Если б вы знали, какого я страху натерпелась! К нам в дом вбежал неведомый мне юноша, за которым гнался с ножом мессер Ламбертуччо. Случайно дверь в мою комнату была отворена – он влетел сюда и, весь дрожа, проговорил: "Су-

дарыня! Спасите меня бога ради, иначе меня убьют у вас на глазах!" Я вскочила и только хотела спросить, кто он таков и что с ним приключилось, как в дверях показался мессер Ламбертуччо. "А, ты вот где, злодей?" – крикнул он. Я стала на пороге и не впустила его, он же был настолько учтив, что не оттолкнул меня, – он только долго грозил юноше, а потом, как вы видели, спустился во двор".

Муж ей на это сказал: "Ты хорошо поступила, жена. Если б у нас в доме произошло убийство, нам бы позору вовек не избыть, со стороны же мессера Ламбертуччо величайшей низостью было разыскивать спрятавшегося у нас беглеца". Тут он спросил, где сейчас этот юноша.

"А я не видала, где он схоронился", – отвечала жена.

"Где же ты? – крикнул муж. – Выходи, не бойся!"

Леонетто слышал весь этот разговор; ни жив ни мертв от самого настоящего, неподдельного страха, он вышел из своего тайника.

"Что у тебя произошло с мессером Ламбертуччо?" – спросил муж.

"Ровным счетом ничего, мессер, – отвечал юноша. – Я совершенно уверен, что он не в своем уме или принял меня за кого-то другого. Мы встретились с ним на дороге, что ведет к вашей усадьбе. Он ни с того ни с сего выхватил нож да как крикнет: "Умри, злодей!" Я не стал спрашивать, за что это он меня, а со всех ног пустился прочь, вбежал в ваш дом – и тут, по милости божией и по милости благородной этой дамы, был спасен".

"Ну, теперь тебе бояться нечего, – сказал муж. – Я доставлю тебя домой целым и невредимым, а там уж ты постарайся выяснить, что́ он против тебя имеет".

Накормив молодого человека ужином, он посадил его на коня, поехал с ним во Флоренцию и проводил до самого дома, а молодой человек по совету донны Изабеллы в тот же вечер вступил в тайные переговоры с мессером Ламбертуччо, и они между собой так хорошо поладили, что хотя происшествие это наделало много шуму, супруг так и не догадался, что жена его одурачила.

7

Лодовико изъясняется донне Беатриче в любви;
она велит своему мужу, которого зовут Эгано,
надеть ее платье и отправляет его в сад,
а сама милуется с Лодовико;
наконец Лодовико встает,
выходит в сад
и колошматит Эгано

Изобретательность донны Изабеллы, о коей поведала Пампинея, поразила все общество, однако Филомена, которой король велел рассказывать после Пампинеи, заметила:

– Любезные дамы! Я могу и ошибагься, но все же мне кажется, что дама, о которой я собираюсь вам рассказать, не менее сообразительна и ловка.

Надобно вам знать, что в Париже некогда жил флорентийский дворянин, и вот этот самый дворянин, обеднев, порешил заняться торговлей, быстро пошел в гору и не в долгом времени сказочно разбогател. У него был единственный сын, которого он назвал Лодовико. Отцу не хотелось, чтобы сын шел по торговой части; в надежде, что тот поддержит честь его рода, он за прилавок его не поставил, – по желанию отца Лодовико вместе с другими дворянами поступил на службу к французскому королю, и здесь он научился светскому обхождению и многим другим хорошим вещам. И вот как-то раз, когда молодые люди, в том числе Лодовико, между собою беседовали, к ним присое-

динились рыцари, ездившие на поклонение гробу господню и недавно возвратившиеся, и тут один из рыцарей, услышав, что юноши толкуют о том, где красивее женщины – во Франции, в Англии или же еще где-либо, стал уверять, что он объездил весь свет, видел немало красивых женщин, но такой красавицы, какова донна Беатриче, жена Эгано де Галуцци из Болоньи, ему видеть не приходилось. Его приятели, которые тоже видели ее в Болонье, это подтвердили. Лодовико никого еще не любил, а тут вдруг, услыхав про донну Беатриче, загорелся желанием увидеть ее и больше ни о чем не мог думать. Положив во что бы то ни стало поехать к ней в Болонью и, если донна Беатриче придется ему по сердцу, там и остаться, он подпустил отцу турусы, что, мол, хочет ехать на поклонение гробу господню. Отец дал свое согласие, хотя и с большим неудовольствием.

И вот, назвавшись Аникино, Лодовико выехал в Болонью, по милости судьбы на другой же день увидел эту даму во время торжества и нашел, что она еще прекраснее, чем о ней говорят. С первого же взгляда влюбившись в нее без памяти, он решил, что не покинет Болонью до тех пор, пока не добьется взаимности. Подумав о том, что́ должно для этого предпринять, он выбрал один путь, все же остальные отверг: ему пришло на ум, что если он поступит в услужение к ее мужу, – а у того слуг было много, – то, быть может, ему удастся достигнуть цели. Распродав коней, позаботившись о том, чтобы как можно лучше пристроить своих слуг и наказав им делать вид при встрече, будто они его не знают, Лодовико подружился с хозяином той гостиницы, где он остановился, и сказал ему, что с удовольствием пошел бы в услужение к хорошему господину, если бы таковой нашелся. Хозяин ему на это сказал: "Ты бы как раз подошел одному здешнему дворянину по имени Эгано, – у него много слуг, и нанимает он только таких же из себя видных, как ты. Я с ним поговорю". Обещание свое хозяин исполнил: отправился к Эгано и не ушел от него до тех пор, пока тот не взял Аникино; Аникино же был на седьмом небе. Посту-

пив к Эгано, он получил возможность часто видеть его жену; между тем служил он усердно и так старался во всем угодить Эгано, что тот полюбил его, не делал ни шагу, не посоветовавшись с ним, и поручил его заботам не только свою особу, но и свои дела.

И вот как-то раз Эгано отправился на охоту, Аникино же с ним не поехал, и донна Беатриче, которая хоть и не знала еще, что он ее любит, однако ж, присмотревшись к нему и понаблюдав за тем, как он себя держит, составила о нем хорошее мнение и благоволила к нему, села играть с ним в шахматы. Чтобы доставить ей удовольствие, Аникино нарочно проигрывал, — только делал это весьма искусно, — а донна Беатриче была от того в восторге.

Когда следившие за игрой служанки ушли, оставив их вдвоем, Аникино тяжело вздохнул.

Донна Беатриче подняла на него глаза. "Что с тобой, Аникино? — спросила она. — Тебе неприятно, что я выигрываю?"

"О нет, сударыня! — отвечал Аникино. — Стал бы я из-за таких пустяков вздыхать?"

"Если ты меня любишь, скажи, что у тебя такое", — молвила донна Беатриче.

Услыхав, что та, которую он любил больше всего на свете, говорит ему: "Если ты меня любишь", — Аникино вздохнул еще тяжелее, — тогда донна Беатриче снова обратилась к нему с просьбой объяснить ей, отчего он вздыхает. Аникино же ей сказал: "Боюсь прогневать вас, сударыня. А еще меня пугает, что вы расскажете об этом другому".

"Я не обижусь, уверяю тебя, — сказала донна Беатриче, — и никому ничего не скажу, — можешь быть спокоен, — разве уж ты сам меня об этом попросишь".

"Ну, раз вы обещаете, я скажу", — молвил Аникино и чуть ли не со слезами на глазах поведал ей, кто он таков, сказал, что он о ней слышал, где и при каких обстоятельствах полюбил ее и с какой целью поступил в услужение к ее мужу, а затем обратился к ней с покорной просьбой сжалиться над ним и, если только это для нее возможно, исполнить его сокровенное и страстное желание; если же она не согласна,

то пусть, мол, все останется по-прежнему, только да будет ему позволено любить ее.

О, на диво мягкосердечные женщины Болоньи! Как вы всегда в подобных случаях великодушно поступали! Слезы и вздохи на вас не действовали; зато вы неизменно приклоняли слух к мольбам и уступали страсти любовной. Если б я считал себя достойным, я восславлял бы вас неустанно.

Пока Аникино рассказывал, донна Беатриче не сводила с него глаз; она вполне ему поверила, чувство, которое он выражал в своих мольбах, глубоко запало ей в душу, наконец и из ее груди вырвался вздох, и она обратилась к Аникино с такою речью: "Милый мой Аникино! Можешь быть уверен; ни подношения, ни посулы, ни ухаживания сановников, вельмож и чьи бы то ни было еще, – а ведь за мной ухаживали и сейчас еще ухаживают многие, – не затронули моего сердца настолько, чтобы я кого-нибудь полюбила, ты же в кратчайший срок, – пока изъяснял мне свои чувства, – достигнул того, что теперь я в большей мере принадлежу тебе, нежели себе самой. Я убедилась, что ты стоишь моей любви, – я тебе ее дарю и обещаю, что ты насладишься ею еще до того, как настанет утро. А чтобы это сбылось, постарайся проникнуть ко мне в комнату около полуночи. Дверь я не запру. Ты знаешь, с какого краю кровати я сплю. Как войдешь – дотронься до меня, чтобы я проснулась, если невзначай засну до твоего прихода, и тогда твоя давняя мечта осуществится. А чтобы ты в этом не сомневался, я в задаток дам тебе поцелуй". Тут она обняла Аникино и нежно поцеловала, а он поцеловал ее.

Затем Аникино расстался с донной Беатриче и, не чая, как дождаться ночи, отправился по своим делам. Вечером возвратился уставший после охоты Эгано и, отужинав, пошел спать; следом за ним пошла донна Беатриче и, как обещала, дверь за собою не заперла. В условленный час к незапертой двери приблизился Аникино, на цыпочках вошел в комнату, запер дверь изнутри, пробрался к тому краю кровати, где лежала донна Беатриче, положил ей руку на грудь и убедился, что она не спит. Почувствовав его прикоснове-

ние, донна Беатриче обеими руками вцепилась в его руку и так заворочалась на постели, что проснулся Эгано. "Вечером я тебе ничего не стала говорить, – у тебя был очень утомленный вид, – начала она, – а теперь скажи мне как перед богом, Эгано: кого ты считаешь самым лучшим и самым верным своим слугою и кого из слуг ты больше всего любишь?"

"Зачем ты меня об этом спрашиваешь, жена? – молвил Эгано. – Разве ты не знаешь? Я никому так не доверял, никому так не доверяю и никого так не люблю, как Аникино. А почему ты меня об этом спрашиваешь?"

Аникино, слышавший, что Эгано проснулся и что речь у супругов зашла о нем, испугался, – он решил, что донна Беатриче устроила ему ловушку; он попытался выдернуть руку, но донна Беатриче так крепко ее держала, что он никакими силами не мог вырваться.

"Сейчас объясню, – снова заговорила донна Беатриче. – Я ведь тоже так думала и считала его самым преданным из твоих слуг, но он меня разочаровал: после того как ты уехал на охоту, он, улучив минутку, не постеснялся обратиться ко мне с просьбой утолить его страсть, я же, чтобы не искать потом других доказательств и чтобы ты мог самолично увериться в том, что я сказала тебе правду, дала ему слово, что после полуночи выйду в сад и буду ждать его под сосною. Разумеется, я туда не пойду, а вот если ты хочешь испытать верность своего слуги, то тебе это не составит труда: надень мое платье, на голову набрось покрывало, выйди в сад и дождись его – я убеждена, что ты его дождешься".

"Да, мне бы не мешало с ним повидаться", – выслушав жену, рассудил Эгано. Он встал с постели и, кое-как надев в темноте женино платье и покрывало, пошел в сад и стал ждать под сосной Аникино.

Удостоверившись, что муж вышел из комнаты, донна Беатриче встала и заперлась изнутри. Все это время Аникино, умирая от страха, тщетно пытался высвободить свою руку; он уже сто тысяч раз проклял и донну Беатриче, и

свое чувство к ней, и самого себя — за доверчивость; когда же он уразумел, с какою целью все это донна Беатриче придумала, то несказанно обрадовался и, как скоро она снова улеглась в постель, по ее приказу снял с себя одежду и остался в том же виде, что и она, и потом они долго ублаготворяли и услаждали друг дружку. Наконец донна Беатриче, подумав о том, что дальнейшее пребывание Аникино у нее в спальне небезопасно, велела ему встать и одеться. "Любимый мой! — сказала она. — Возьми здоровенную палку, пойди в сад, сделай вид, будто ты вызвал меня на свидание, чтобы испытать, сделай вид, будто ты уверен, что перед тобой — я, отругай его и как следует взгрей — нам с тобой на счастье и на радость".

Аникино встал и, вооружившись дубиной, вышел в сад, Эгано увидел Аникино, когда тот был уже около сосны, и, притворившись, что радости его нет границ, вскочил и двинулся к нему навстречу, Аникино же обрушился на него с криком: "Ах, гадина ты эдакая! Так ты сюда пришла, воображая, что я собирался и собираюсь обмануть моего господина? Ну я же тебе сейчас покажу!" Тут он взмахнул дубиной и давай его охаживать. Послушав такие речи и увидев дубину, Эгано, ни слова не говоря, пустился бежать, Аникино — за ним, бежит и кричит ему вдогонку: "Беги, беги, срамница, и да разразит тебя господь, а завтра я все расскажу Эгано!"

Всыпал ему Аникино лихо, и он духом домчался до спальни. Жена спросила, выходил ли в сад Аникино. "Уж лучше бы не выходил, — отвечал Эгано, — он принял меня за тебя, наломал мне бока дубиной и наговорил столько всяких гадостей, сколько ни одна непотребная женщина за всю свою жизнь не слыхала. Меня, по правде сказать, крайне удивило, что он завел с тобой такой разговор и хочет сгубить мою честь, а это он, зная твой игривый и веселый нрав, задумал только для того, чтобы испытать тебя!"

"Слава богу, что меня он испытал словом, а тебя — действием, — заметила донна Беатриче. — Наверно, он мог бы подтвердить, что я терпеливее выношу слова, нежели ты —

действия. Как бы то ни было, он так тебе предан, что его нельзя не любить и не уважать".

"Что правда, то правда", – молвил Эгано.

После этого он совершенно уверился, что ни у одного дворянина нет такой верной жены и такого преданного слуги, как у него. И он сам, и его жена, и Аникино часто со смехом вспоминали этот случай, благодаря которому донна Беатриче и Аникино могли все то время, что Аникино пробыл у Эгано в Болонье, свободнее предаваться любовным резвостям и утехам, а то ведь иначе такого раздолья для них могло бы и не быть.

8

Один человек ревнует свою жену;
по ночам жена, чтобы знать,
что ее любовник пришел,
привязывает себе к пальцу нитку;
муж обнаруживает обман,
но, пока он преследует любовника,
жена уговаривает лечь вместо нее в постель
другую женщину; муж избивает эту женщину
и отрезает ей косы,
а потом идет за своими шурьями;
те, убедившись, что он сказал неправду,
ругательски его ругают

Все, что проделала со своим мужем донна Беатриче, показалось слушателям необычайно хитроумным, и они заговорили о том, как, должно полагать, трусил Аникино, когда донна Беатриче, крепко держа его за руку, сообщала мужу, что он домогался ее расположения. Видя, однако ж, что Филомене больше прибавить нечего, король обратился к Нейфиле и сказал:

– Ну, а теперь вы.

Нейфила, чуть заметно усмехнувшись, начала так:

– Приятные дамы! Доставить вам удовольствие занимательною повестью, как это удалось тем, кто рассказывал передо мной, – задача не из легких, однако с божьей помощью я надеюсь ее разрешить.

Итак, надобно вам знать, что в нашем городе некогда проживал богатейший купец по имени Арригуччо Берлингьери, и вот этот самый купец сделал глупость, которую и теперь ежедневно делают купцы: ему захотелось породниться с дворянами, и он выбрал себе в жены неровню — девушку благородного происхождения, по имени монна Сисмонда. Как все купцы, он много разъезжал и мало бывал с женой, а она влюбилась в молодого человека по имени Руберто, давнего своего поклонника. Вступив с ним в близкие отношения, она не весьма тщательно близость эту скрывала — уж очень она была увлечена, Арригуччо же, должно думать, кое-что о том проведал, — во всяком случае, он начал бешено ее ревновать, перестал разъезжать, забросил все свои дела, теперь у него только и заботы было, что караулить жену, и засыпал он лишь после того, как убеждался, что она тоже легла, а жена от этого очень страдала, ибо ей все не удавалось побыть со своим милым наедине. Руберто молил ее о том неотступно, и она долго ломала себе голову, как бы изыскать способ побыть с ним вдвоем; наконец вот что она надумала: спальня ее выходила окнами на улицу, а, по ее наблюдениям, Арригуччо засыпал с трудом, зато потом уже спал без просыпу, — вот она и порешила устроиться таким образом: Руберто будет приходить около полуночи, а она отворит ему дверь и побудет с ним, пока ее супруг спит сном праведника, а чтобы всякий раз догадываться, что Руберто пришел, и чтобы никто другой ничего не услышал, она придумала спускать из окна нитку до самой земли, в комнате же провести ее по полу от окна к кровати, другой ее конец прятать под простыней и, после того как она уляжется, привязывать его к большому пальцу на ноге. Уведомив о том Руберто, она велела ему, как скоро он явится, потянуть за нитку: если муж спит, то она, дескать, отпустит нитку и отворит ему; если же не спит, то она, чтобы Руберто не ждал, не отпустит нитку, а напротив того — потянет к себе. Руберто одобрил этот способ; он много раз к ней приходил, и иной раз им удавалось повидаться, а иной раз — нет.

Так продолжалось до тех пор, пока однажды ночью, в то время как жена спала, Арригуччо не вытянул ногу и не почувствовал нитку; схватившись за нее рукой, он обнаружил, что нитка привязана кжениному пальцу. "Тут кроется измена", — сказал он себе. Когда же он заметил, что нитка спускается из окна на улицу, то утвердился в сем подозрении окончательно. Тихонько отрезав нитку, он привязал ее к своему пальцу и стал ждать, что будет дальше. Немного погодя пришел Руберто и, как было заведено, потянул за нитку, и Арригуччо это почувствовал, привязал же он нитку не крепко, между тем Руберто потянул ее с силой, и нитка осталась у него в руке, — для него это означало: "Жди", — и он стал ждать. Арригуччо вскочил и, вооружившись, подбежал к двери посмотреть, кто там, и учинить расправу. Человек вспыльчивый и к тому же силач, хоть и происходил из купцов, Арригуччо стал отворять дверь не так осторожно, как его супруга, и поджидавший ее Руберто, не без основания заподозрив, что отворяет Арригуччо, бросился бежать со всех ног, а за ним припустился Арригуччо. Руберто бежал долго, Арригуччо же гнался за ним по пятам; в конце концов Руберто, у которого тоже было оружие, выхватив шпагу, обернулся к нему лицом, и тут один из них начал нападать, а другой — защищаться.

Когда Арригуччо распахнул дверь, его жена проснулась и увидела, что кто-то отрезал нитку, — тогда она поняла, что ее уловка раскрыта. Услыхав, что Арригуччо бросился догонять Руберто, и, представив себе, каковы могут быть последствия этой погони, она мигом поднялась с постели и, позвав служанку, которой все было известно, уговорила ее лечь вместо нее в постель, ни в коем случае себя не называть и покорно принять побои от Арригуччо, а уж Сисмонда так, мол, ее отблагодарит, что она не пожалеет. Потушив свечу, монна Сисмонда вышла из комнаты и, притаившись, стала ждать, что будет дальше. Между тем Арригуччо и Руберто все еще дрались, и в конце концов шум этой битвы разбудил соседей; соседи вскочили и принялись осыпать дерущихся бранью, и тут Арригуччо испугался, как бы его

не узнали, – даже не разглядев, кто этот юнец, и не нанеся ему ни малейшего ущерба, он бросил его и, озлобленный и рассвирепевший, пошел домой. Войдя в комнату, он крикнул в сердцах: "Ты где, срамница? Ты нарочно погасила свечку, чтобы я тебя не нашел, – шалишь!" Тут он подошел к кровати и, полагая, что это жена, сгреб служанку и, что было силы у него в руках и в ногах, надавал ей невесть сколько пинков и колотушек, разбил в кровь все лицо, вдобавок отрезал ей косы и наговорил при этом столько всяких гадостей, сколько ни одна непотребная женщина во всю свою жизнь не слыхала. Служанка плакала навзрыд, и, по правде сказать, было отчего. Время от времени она все-таки вскрикивала: "Ой! Ради бога! Больше не могу!" – но рыдания не давали ей говорить. Арригуччо же был до того взбешен, что утратил способность различать голоса. Итак, – повторяю, – отделав служанку за мое почтение и отрезав ей косы, Арригуччо обратился к ней с такой речью: "Больше я тебя, гадина, бить не стану, – я сейчас пойду к твоим братьям и расскажу про твои шашни, – пусть-ка они за тобой придут, поступят с тобой так, как им подскажет их честь, и уведут тебя – в моем доме тебе, право слово, делать нечего". С этими словами он вышел из комнаты, запер за собой дверь и ушел.

Когда все слышавшая монна Сисмонда удостоверилась, что муж ее вышел из дому, она отперла дверь в спальню и зажгла свечу – на служанке не было живого места, и она горькими слезами плакала. Монна Сисмонда утешила ее, сколько могла, отвела к ней в комнату, отдала тайное распоряжение ухаживать за ней и лечить ее и так отблагодарила ее из средств Арригуччо, что та осталась премного довольна. Отведя служанку, монна Сисмонда вернулась к себе в спальню, мигом оправила постель, прибрала и привела в порядок комнату, – можно было подумать, что эту ночь никто здесь не спал, – зажгла ночничок, оделась, убралась, как будто еще и не ложилась, засветила лампу, взяла белье, села на верху лестницы и, в ожидании, что из всего этого воспоследует, начала шить.

Меж тем Арригуччо, выйдя из дому, стрелой полетел к шурьям и так забарабанил к ним в дверь, что ему тотчас же отворили. Поняв, что это Арригуччо, мать монны Сисмонды и все три брата поднялись, велели зажечь свечи и, выйдя к нему, спросили, зачем он пожаловал к ним один и в столь поздний час. Арригуччо рассказал им всю историю, с начала до конца: во-первых – о том, что к пальцу на ноге монны Сисмонды оказалась привязанной нитка а затем – обо всем, что ему удалось обнаружить в дальнейшем и что он, со своей стороны, почел за нужное предпринять. Чтобы у них не оставалось никаких сомнений, Арригуччо отдал им косы, которые он срезал, как ему казалось, у своей супруги, и в заключение потребовал, чтобы братья пошли за ней и поступили, как им подскажет чувство чести, он же, дескать, держать ее у себя в доме не станет. Братья монны Сисмонды поверили Арригуччо, и рассказ его привел их в негодование; возмутившись поведением сестрицы, они велели зажечь факелы и, вознамерившись хорошенько ее поучить, пошли с Арригуччо. Следом за ними пошла мать и начала слезно молить сыновей не принимать на веру подобного рода сообщения, пока они не расспросят и не выслушают сестру; муж, дескать мог и по другому поводу осерчать на жену и обойтись с нею круто, а теперь, в оправдание, плетет про нее небылицы. Затем она выразила крайнее удивление, как, дескать, это могло случиться, – она, мол, дочку свою хорошо знает, она ее воспитала, и прочее, и тому подобное

Но вот и дом Арригуччо – взошли, начали подниматься по лестнице. “Кто там?” – спросил монна Сисмонда.

“Сейчас узнаешь, срамница!” – отвечал один из братцев.

“Господи помилуй! Это еще что такое? – вставая, прошептала монна Сисмонда. – Милости просим, братцы! – обратилась она к вошедшим братьям. – Что это вас к нам привело – всех троих и в столь поздний час?”

Увидев, что она сидит и шьет и что на лице у нее нет никаких следов побоев, тогда как Арригуччо уверял, что измо-

лотил ее всю как есть, братья слегка удивились, однако тут же, преоборов душившую их злобу, объявили, что им на нее пожаловался Арригуччо – пусть, мол, она им выложит всю правду, а не то ей худо придется.

“Не знаю, что вам и сказать, – отвечала монна Сисмонда. – Я просто ума не приложу, на что вам мог пожаловаться Арригуччо”. Между тем Арригуччо смотрел на нее и глазам своим не верил: он припоминал, как он, наверное, не меньше тысячи раз смазал ее по лицу, как он ее царапал, как отводил на ней душу, а ей – хоть бы что! Братья вкратце рассказали монне Сисмонде обо всем, что было им известно со слов Арригуччо, – и о нитке и о взбучке, словом, решительно обо всем.

“Боже мой! Что я слышу? – обратясь к Арригуччо, воскликнула монна Сисмонда. – Зачем ты, муженек, себе же на великий позор, говоришь обо мне, что я – срамница, когда на самом деле я не такая, а самого себя выставляешь злым и жестоким человеком, когда на самом деле ты не таков? Да ведь эту ночь ты не то что здесь, со мной, в этой комнате, – ты и дома-то не был! И когда это ты меня бил? Я, по крайней мере, не помню”.

“Да ты что, срамница? – заговорил Арригуччо. – Ведь спали-то мы вместе? Я побежал за твоим любовником, а потом-то ведь я вернулся? Ведь я ж тебя вздул как собаку, да еще и косы твои отрезал?”

“Ты дома не ночевал, – возразила жена, – но это я оставляю в стороне, – я стою на том, что говорю истинную правду, но никаких доказательств у меня нет, – перейдем к твоим россказням, будто ты меня избил и отрезал мне косы. Нет, ты меня не бил. Прошу всех вас, и тебя также, обратить внимание, есть ли у меня на всем теле хоть один след побоев. Да я бы тебе и не советовала поднимать на меня руку, – если б ты настолько обнаглел, клянусь богом, я выцарапала бы тебе глаза. И не чувствовала я и не видела, когда это ты отреза́л мне косы. Может быть, ты как-нибудь украдкой это сделал? Я сейчас погляжу, отрезаны они или нет”.

Тут она сняла с головы покрывало, и все увидели, что косы у нее целы, а вовсе не отрезаны.

Выслушав обе стороны и во всем убедившись воочию, мать и братья приступили к Арригуччо: “Что, Арригуччо? Ведь ты нам не так рассказывал. Как же ты теперь докажешь все прочее?”

Арригуччо мнилось, что все это он видит во сне; он несколько раз порывался прервать жену, но она разбивала все его доказательства, и он рассудил за благо молчать.

“Что ж, братцы, – снова заговорила монна Сисмонда, – ведь он сам напрашивается на то, чего я никогда прежде не делала, – на то, чтобы я рассказала про его мерзости и подлости, – коли так, то я расскажу. Я совершенно уверена, что все, что он наговорил на меня, произошло с ним самим, все это он сам и проделал. Вы только послушайте. Этот почтенный человек, за которого вы, на мое несчастье, выдали меня замуж, этот почтенный человек, который именует себя купцом, который должен бы, кажется, стремиться к тому, чтобы заслужить всеобщее доверие, и которому надлежит быть воздерженнее монаха и добродетельнее девушки, редкий вечер не шатается по кабакам и не путается то с той, то с другой гулящей бабенкой, а я жду его до полуночи, иной раз и до утра, – вот как вы меня сейчас застали. Бьюсь об заклад, что он нахлестался и пошел спать с какой-нибудь потаскушкой, а когда проспался, то увидел у нее на ноге нитку, затем совершил те подвиги, о которых он вам рассказал, потом вернулся, всыпал ей и отрезал косы, а так как он еще не вполне протрезвился, то вообразил, – да, поди, и сейчас еще воображает, – будто он это надо мной учинил. Приглядитесь к нему повнимательней – у него же еще хмель из головы не вышел. Со всем тем, что бы он на меня ни наклепал, – смотрите на это как на пьяную болтовню; я ему прощаю – простите и вы”.

Но тут расшумелась мать.

“Нет, дочурка, нельзя ему прощать, ей-ей, нельзя! – вскричала она. – Убить его надобно, шелудивого пса, ско-

тину неблагодарную, — не достоин он быть твоим мужем. Ишь ты, какой нашелся! Да если б ты ее из грязи выволок, все равно с женщиной так не обращаются. Чтоб ему ни дна, ни покрышки! Плюнь ты на него, мало ли что спьяну мелет этот купчишка из ослиного дерьма, — такой сволочи, как он, видимо-невидимо понаехало к нам из деревень: ходят в домотканой одежде, каждая штанина — что колокол, на заднице перо, а как заведется у них в кармане три сольдо, так сейчас присватываются к дочерям дворян и знатных дам, сочиняют себе гербы и все твердят: "Я из таких-то, предки мои совершили то-то и то-то". Ах, зачем сыновья не послушались моего совета! У них была возможность, даром что приданого у тебя всего ничего, отлично устроить твою судьбу, и жила бы ты теперь в семье графов Гвиди, но им вздумалось выдать тебя вот за это сокровище, а он не постеснялся в глухую полночь сказать о тебе, — о тебе, лучшей, честнейшей женщине во всей Флоренции, — что ты шлюха, как будто мы тебя не знаем! Доведись до меня, ему бы, вот как бог свят, отлились мои слезы". Тут она обратилась к сыновьям: "Сколько я вас, детки, отговаривала! Слыхали, как ваш милый зятек, этот несчастный купчишка, отзывается о вашей сестре? Будь я на вашем месте и если б он при мне так про нее сказал и так с ней поступил, я бы не успокоилась и не унялась до тех пор, пока не загнала бы его в гроб. Будь я мужчина, а не женщина, я бы его своими руками пристукнула. Господи! Покарай ты этого жалкого пьянчужку, ведь у него ни стыда, ни совести нет!"

Молодые люди, все выслушавшие и всему бывшие свидетелями, наговорили Арригуччо столько грубостей, сколько ни один мерзавец за свою жизнь не слыхал, а в заключение пригрозили: "На сей раз мы тебя прощаем, коль скоро ты это с пьяных глаз, но если только тебе дорога жизнь, веди себя так, чтобы впредь подобные рассказы о тебе до нас не доходили; дойдут — тогда уж мы с тобой рассчитаемся сразу за все". С этими словами они удалились.

Арригуччо стоял как вкопанный; он не мог понять, то ли он в самом деле все это натворил, то ли это ему приснилось, а потому не сказал жене ни слова и оставил ее в покое, она же благодаря своей сообразительности не только отвела от себя беду, но и получила возможность в будущем делать все, что угодно, уже не боясь мужа.

9

Жена Никострата Лидия любит Пирра;
дабы увериться в истинности ее чувства,
Пирр ставит ей три условия,
и Лидия все эти условия выполняет;
к довершению всего
она в присутствии Никострата
развлекается с Пирром,
Никострата же уверяет,
что ничего этого не было

Рассказ Нейфилы так понравился слушателям, что дамы не могли удержаться ни от смеха, ни от обмена мнениями по поводу только что услышанного, хотя король несколько раз просил всех замолчать и велел начать рассказывать Панфило; когда же тишина водворилась, Панфило начал так:

– Я полагаю, достопочтенные дамы, что нет такого тяжелого и рискованного предприятия, на которое не отважился бы пламенно влюбленный, и хотя это явствовало из многих повестей, со всем тем я почитаю за нужное еще раз это доказать на примере одной женщины, которой больше помогала в осуществлении ее замыслов Фортуна, нежели природная ее сметка, – вот почему я никому не посоветую ей подражать, ибо Фортуна не всегда бывает благосклонна, да и не все мужчины одинаково слепы.

В Греции есть старинный город Аргос, сам по себе небольшой, однако ж славящийся древними своими правите-

лями, и вот в этом городе назад тому много лет жил знатный человек по имени Никострат, и когда он был уже в преклонных годах, судьба сочетала его узами брака с прелестной женщиной по имени Лидия, столь же отважной, сколь и красивой. Как все знатные и богатые люди, Никострат держал много прислуги, много собак и ловчих птиц и был заядлым охотником. И был у него слугою Пирр, прелестный юноша, стройный, пригожий, на все руки мастер, – Никострат ото всех его отличал и всех более к себе приближал. В него-то и влюбилась Лидия, да так, что он ни днем, ни ночью не выходил у нее из головы, а между тем Пирр, то ли потому, что ничего не замечал, то ли потому, что не желал замечать, не обращал на нее никакого внимания и тем причинял Лидии нестерпимую душевную муку.

Наконец, решившись ему открыться, Лидия позвала к себе свою служанку по имени Луска, коей она доверяла всецело, и повела с ней такую речь: "Луска! Я тебя облагодетельствовала, и ты должна быть мне послушной и верной, – смотри же, никому не открывай тайны, которую я тебе сейчас поверю, никому, за исключением одного человека. Ты видишь, Луска: я молода, свежа, богата и обильна всем, что только женщина может себе пожелать, – словом сказать, жаловаться мне не на что, кроме одного: мой муж гораздо старше меня, – вот почему я не чувствую себя вполне удовлетворенной как раз в том, что доставляет молодым женщинам особую отраду. Мне хочется того же, чего и другим, и я уже давно рассудила так: если Фортуна была ко мне столь неблагосклонна, что связала меня с таким старым мужем, то уж я-то врагом самой себе не буду, я сумею найти путь к наслаждению и к благополучию. И вот наконец я поняла, что могу быть вполне счастлива и довольна только в объятиях Пирра, ибо он наиболее достоин моей любви, а люблю я его так горячо, что мне только тогда и бывает хорошо на душе, когда я вижу его или же о нем помышляю. Я чувствую, что умру, если в самом непродолжительном времени не буду ему принадлежать. Так вот, если тебе не хочется, чтобы я умерла, изыщи наилучший способ уведомить

его о моих чувствах и попроси его от моего имени прийти ко мне, а ты, мол, за ним зайдешь".

Служанка охотно за это взялась и, выбрав время и место, отвела Пирра в сторону и постаралась как можно лучше выполнить поручение своей госпожи. Слова служанки привели Пирра в крайнее изумление, ибо он ничего такого за госпожой не замечал, и в душу к нему закралось подозрение: уж не хочет ли госпожа испытать его? С живостью обратясь к Луске, он грубо ответил ей: "Луска! Я не могу поверить, чтобы это исходило от моей госпожи, – смотри, как бы тебе не пришлось отвечать за такие слова, – а если даже и от нее, то я не думаю, чтобы она это говорила от чистого сердца; если же и от чистого сердца, все равно я не нанесу моему господину такого оскорбления, ибо он превознес меня не по заслугам. Смотри же, никогда больше со мной о таких вещах не говори!"

Суровая его отповедь не смутила Луску. "Пирр! – сказала она. – Нравится тебе это или нет, я буду с тобой говорить и о таких вещах, и обо всем прочем столько, сколько мне прикажет моя госпожа. А ты осел!"

Раздосадованная ответом Пирра, она возвратилась к своей госпоже, – та, выслушав ее, чуть не умерла, однако ж несколько дней спустя снова с ней об этом заговорила. "Знаешь, Луска, – сказала она, – дуб после первого удара не падает. А коли так, то почему бы тебе еще разок не поговорить с этим человеком, который, назло мне, выказывает неслыханную преданность своему господину? Улучи минутку, скажи ему все, – пусть он восчувствует пыл моей страсти, – и доведи дело до конца; если же ты бросишь его на полдороге, то я умру, а он будет думать, что его хотели испытать, и, в противность тому, о чем я мечтала, не полюбит меня, а возненавидит".

Служанка успокоила госпожу; она разыскала Пирра и, заметив, что он весел и в добром расположении духа, повела с ним такую речь: "Пирр! Назад тому несколько дней ты от меня узнал, как пылает к тебе любовью наша общая госпожа. Еще раз повторяю: если ты и сейчас проявишь такое же

бессердечие, то можешь быть уверен, что жить ей осталось недолго. Потому я и прошу тебя: исполни ее желание, а то ведь я всегда считала тебя умницей, но если ты заупрямишься, то будешь в моих глазах дураком. Неужто тебе не лестно, что такая красивая, благородная и богатая женщина любит тебя больше всего на свете? Помимо всего прочего, не сама ли судьба устраивает так, что ты сможешь удовлетворять желания, свойственные юному твоему возрасту, а сверх того, ни в чем не будешь иметь недостатка? Если ты проявишь благоразумие, то по части утех кто из ровесников твоих окажется в лучшем положении, нежели ты? Если ты ответишь ей взаимностью, то у кого еще будет столько оружия, коней, нарядов и денег, сколько у тебя? Одумайся и отнесись благосклонно к моим словам. Помни, что Фортуна улыбается человеку и отверзает ему свое лоно только однажды, – кто не окажет ей гостеприимства, тот потом, пребывая в нищете и убожестве, пусть пеняет на себя. И еще я тебе скажу: слугам не должно выказывать по отношению к господам такую же точно верность, как к родным друзьям, – напротив того: слуги долженствуют обходиться с господами по возможности так же, как господа обходятся с ними. Или ты воображаешь, что если б у тебя была красивая жена, мать, дочь, сестра и она приглянулась бы Никострату, то он не перешагнул бы через верность, которую ты намерен соблюсти по отношению к нему, отказавшись от его жены? Если ты так думаешь, то ты болван. Можешь мне поверить: не помогли бы тебе ни ласки, ни просьбы – он бы на тебя не посмотрел, а применил бы силу. Будем же обходиться с ними самими и с тем, что им принадлежит, так же точно, как они обходятся с нами и с тем, что принадлежит нам. Воспользуйся милостью судьбы, не гони ее, выйди ей навстречу и прими у себя; если же ты поступишь иначе, то ручаюсь тебе, что госпожа твоя непременно умрет; этого мало: ты будешь так горько каяться, что в конце концов смерть и тебе покажется желанным исходом".

Обдумав все, что сказала Луска, Пирр пришел к такому решению: если только ему будет предоставлена возмож-

ность удостовериться, что его не испытывают, то в следующий раз, когда Луска к нему придет, он даст уже иной ответ и изъявит полную готовность ублаготворить госпожу. А пока что он обратился к Луске с такою речью: "Я понимаю, Луска, что ты говоришь дело, однако ж, с другой стороны, я знаю, что мой господин мудр и хитроумен, а так как он сдал мне на руки все дела, то я боюсь, не вздумал ли он меня испытать и не действует ли таким образом Лидия по его наущению и не исполняет ли она его волю. Так вот, если она в доказательство своей любви ко мне выполнит три условия, которые я ей поставлю, то уж тогда она может быть уверена, что всякое ее желание будет для меня законом. Итак, я ставлю ей три условия: во-первых, пусть она в присутствии Никострата убьет его лучшего ястреба; затем пусть она мне пошлет клок волос из Никостратовой бороды и, наконец, один из самых крепких его зубов".

Луске эти условия показались нелегкими, а еще более трудными показались они Лидии, однако ж Амур, великий утешитель и премудрый советчик, вдохновил ее на это, и она послала служанку передать Пирру, что все его требования будут исполнены, и притом – в самом скором времени. Кроме того, она велела передать ему следующее: пусть, мол, Пирр почитает Никострата за необыкновенно умного человека, а она будет в присутствии Никострата развлекаться с Пирром, Никострата же уверит, что ничего этого не было. Пирр стал ждать, что же предпримет знатная дама. И вот, когда несколько дней спустя Никострат, по своему обыкновению, давал некоторым дворянам парадный обед, Лидия надела зеленое бархатное платье, нацепила на себя множество драгоценных вещей и, после того как со столов уже убрали, вошла в залу, где сидели гости, в присутствии Пирра и всех остальных направилась к жердочке, на которой сидел ястреб, коим особенно дорожил Никострат, как бы с намерением посадить ястреба себе на руку, отвязала его, схватила за ремешок и, хватив об стену, убила.

"Ох, жена, что ты наделала!" – вскричал Никострат. Ему Лидия ничего на это не ответила, – она обратилась к обе-

давшим у него дворянам. “Когда бы у меня, господа, не достало смелости отомстить ястребу, — сказала она, — то как бы я тогда отомстила королю, если б он нанес мне оскорбление? Надобно вам знать, что этот ястреб долго отнимал у меня время, которое мужчины обязаны посвящать женщинам. Бывало, чуть забрезжит свет, Никострат встает, садиться на коня, с ястребом на руке едет в чистое поле поглядеть, как он летает, а я, женщина, как видите, в самой поре, рассерженная, остаюсь в постели одна. Я давно уже задумала убить ястреба, но меня удерживало одно: мне хотелось убить его на глазах у людей, которые могли бы рассудить меня с мужем по справедливости, чего я от вас и ожидаю”.

Выслушав Лидию и придя к заключению, что любовь ее к Никострату в самом деле так сильна, как о том свидетельствуют ее слова, гости со смехом сказали огорченному Никострату: “Ах, как славно твоя жена выместила обиду на ястребе!” — и, обернув дело в шутку, добились того, что и насупившийся Никострат в конце концов развеселился, а Лидия между тем ушла к себе в комнату.

“Любовь моя, верно, будет счастливой, — подумал при сем присутствовавший Пирр, — Лидия положила прекрасное начало — помоги ей бог довести дело до конца!”

Прошло всего несколько дней после того, как Лидия убила ястреба, и вот как-то раз, сидя у себя в комнате с Никостратом, она ласкала его, заигрывала с ним, он же в шутку слегка потянул ее за волосы, и это послужило для нее поводом выполнить и второе Пиррово условие: не долго думая, она вцепилась Никострату в бороду, изо всех сил дернула и, смеясь, вырвала клочок волос. Никострат стал ей за это выговаривать. “Да что с тобой? Чего это ты надулся? — спросила она. — Из-за нескольких волосков, которые я у тебя вырвала? Мне было больней, когда ты меня дернул за волосы”. Продолжая болтать с ним и шутить, Лидия незаметно припрятала клочок волос и в тот же день послала его своему милому.

Третье условие заставило Лидию поломать голову, но так как она была очень умна от природы, Амур же изощрил

ее ум, то в конце концов она придумала, как ей достигнуть цели. У Никострата жили два мальчика, оба из хороших семей, – родители отдали их ему на воспитание, дабы они у него в доме обучились светскому обхождению; один из них нарезáл Никострату на кусочки кушанья, когда тот сидел за столом, другой подносил питье; Лидия позвала к себе обоих, сказала, что у них пахнет изо рта, что, когда они прислуживают Никострату, им надлежит держать голову как можно дальше от него, и велела никому про то не говорить. Мальчики ей поверили и стали делать так, как она их научила. И вот однажды она задала Никострату вопрос: "Ты заметил, как делают мальчики, когда прислуживают тебе?"

"Конечно, заметил, – отвечал Никострат, – я даже хотел спросить, зачем это они так делают". – "Не надо, – сказала Лидия, – я тебе сейчас объясню. Я долго не решалась с тобой об этом заговорить – боялась, что тебе это будет неприятно, но потом вижу, что и другие стали замечать, – нет, думаю, дольше скрывать нельзя. Делают мальчики так оттого, что у тебя скверно пахнет изо рта, – не могу понять, в чем дело, раньше ведь этого не было. Нехорошо! Ты постоянно бываешь в высшем обществе, – нужно с этим покончить".

"Что же это такое? – спросил Никострат. – Нет ли у меня во рту гнилого зуба?"

"Очень может быть, – отвечала Лидия и, подведя Никострата к окну, велела открыть рот. – Ах, Никострат! – осмотрев ему рот и справа и слева, воскликнула она. – Как же это ты так запустил? С той стороны у тебя испорченный зуб, – по-моему, он совсем сгнил, и если ты его не удалишь, то он испортит тебе соседние, – не доводи до этого, выдерни его!"

"Когда так, я согласен, – сказал Никострат, – пусть сей же час пошлют за лекарем – он мне его и выдернет".

А жена ему: "Да зачем тебе лекарь? Зуб шатается – я сама отлично его выдерну, безо всякого лекаря. Да и потом, эти лекари зверски обращаются с больными – у меня сердце разорвалось бы от жалости, если б я видела или если б зна-

ла, что ты попал в руки к кому-либо из них Никаких разговоров, — я сама, а если будет больно, сейчас же брошу; лекарь так бы не поступил".

Послав за инструментами, она всех, кроме Луски, выпроводила из комнаты, заперла дверь изнутри, велела Никострату лечь на стол, и, сунув ему в рот щипцы, подцепила один из его зубов; Никострат на крик кричал от боли, но с одной стороны его крепко держали, а потому с другой стороны ценою огромных усилий зуб все же удалось вытащить. Спрятав его, Лидия показала страждущему, полумертвому Никострату другой, весь как есть сгнивший, который был у нее в руке. "Посмотри, что у тебя столько времени было во рту", — сказала она. Никострат всему поверил; он вынес адскую боль, кричал от нее не своим голосом, но после того как зуб вытащили, почувствовал себя здоровым. Его еще кое-чем подкрепили, боль утихла, и он пошел к себе. А Лидия, нимало не медля, послала зуб своему возлюбленному, — тот, уверившись в ее чувстве, просил ей передать, что теперь он готов исполнить любое ее желание.

А чтобы у Пирра не оставалось и тени сомнений, Лидия, которой каждый час разлуки с милым казался вечностью и которой не терпелось исполнить свое обещание, сказалась больной, и когда однажды, после обеда, Никострат к ней зашел, она, удостоверившись, что вошел он в сопровождении одного лишь Пирра, попросила обоих вывести ее в сад — там-де ей будет легче. Никострат и Пирр в ту же минуту взяли ее на руки, вынесли в сад и положили на лужайке, под сенью чудного грушевого дерева. Посидев здесь немного, Лидия уже успевшая научить Пирра, как ему надлежит в сих обстоятельствах действовать, сказала: "Пирр! Мне очень хочется груш. Влезь на дерево, брось несколько штучек!"

Пирр мигом вскарабкался на дерево. "Эй, мессер, что это вы там делаете? — бросая груши, заговорил он. — А вы, донна Лидия? Как вам не стыдно! Как вы разрешаете это в моем присутствии? Вы думаете, что я слепой? Вы же только что были тяжело больны? Скоро же вам удалось попра-

виться, раз вы этакое вытворяете. Коли вам невтерпеж, то ведь в вашем распоряжении столько прекрасных комнат – почему бы вам не пойти в любую и там этим не заняться? Так будет приличнее, чем при мне!"

"Что это Пирр говорит? – обратясь к мужу, спросила Лидия. – Бредит он, что ли?"

"Нет, не брежу, – отозвался с дерева Пирр. – Неужели вы думаете, что я ничего не вижу?"

"Тебе что-то снится, Пирр", – в крайнем изумлении заметил Никострат.

"Да ничего мне не снится, государь мой, – возразил Пирр, – и вам ничего не снится, – какое там! Если бы это дерево тряслось так же, как трясетесь сейчас вы, то на нем не осталось бы ни единой груши".

"Что с ним такое? – снова заговорила Лидия. – Неужто ему и впрямь что-то кажется? Ах, боже мой, если б я была здорова, я бы непременно влезла на дерево и поглядела, что за чудеса ему мерещатся".

Пирр, сидя на груше, продолжал молоть вздор. "Слезай!" – крикнул ему Никострат. Пирр слез. "Так что же ты видел?" – спросил его Никострат.

"Вы, уж верно, думаете, что я грежу или брежу, – отвечал Пирр, – но если уж говорить по чистой совести, то я видел вас на вашей жене. Только я спустился на землю – гляжу; ан вы уже слезли и сидите там же, где и сейчас".

"Значит, на тебя тогда нашло, – заключил Никострат. – После того как ты взобрался на грушу, мы оба с места не сдвинулись".

"Да что вы со мной спорите? – воскликнул Пирр. – Я же вас видел – видел, что вы лежите кверху спиной".

Никострат был окончательно сбит с толку. "Дай-ка я посмотрю, не колдовское ли это дерево и подлинно ль тому, кто на нем сидит, мерещатся чудеса", – сказал он и полез на дерево. Стоило ему взгромоздиться на грушу – Лидия с Пирром давай развлекаться. Увидел их Никострат, да как закричит: "Ах ты срамница! Ты что делаешь? И ты, Пирр! А я так тебе верил!" И тут он поспешил слезть с груши.

Жена и Пирр ему: “Да мы сидим!” А потом видят, что он спускается на землю, – и снова приняли прежнее положение. Никострат слез, удостоверился, что они там же, где и были, и начал их ругать.

А Пирр ему: “Теперь я понимаю, Никострат, что давеча вы были правы: все, что я видел, когда сидел на груше, – это обман зрения, а вывожу я это вот из чего: как видно, и у вас был такой же точно обман зрения. А что я говорю правду – в этом вы можете убедиться, как скоро поразмыслите и раздумаетесь: если бы даже ваша супруга, честнейшая и благоразумнейшая женщина, и решилась запятнать вашу честь, то стала ли бы она заниматься этим у вас на глазах? О себе уж я не говорю, – я скорее позволил бы четвертовать себя, чем хотя бы помыслил о таком деле, а не то что заниматься, им в вашем присутствии. Таким образом, всему виной грушевое дерево – это оно вызывает обман зрения. В самом деле, весь свет не сумел бы мне доказать, что вы не совокуплялись сейчас с вашей женой, если б я не услышал от вас, что вам показалось, будто и я тем же самым занимался, тогда как я не только не занимался такими вещами, а и в мыслях-то их не держал – кому же это и знать, как не мне?”

Тут Лидия, притворившись разгневанной, встала. “Как тебе не совестно! – обратясь к мужу, вскричала она. – Значит, я, по-твоему, совсем уже дурочка, коли вздумала, как ты уверяешь, творить блуд у тебя на глазах? Если б мне припала такая охота, я бы расположилась в какой-нибудь комнате, – уж ты мне поверь, – да так бы хитро и ловко устроила, что если б ты когда-нибудь узнал, я бы ахнула”.

Никострат пришел к заключению, что оба говорят правду, – никогда бы они не дерзнули так при нем поступить; перестав бранить их и корить, он заговорил о небывалом случае – о том, что с дерева все представляется не так, как оно есть на самом деле.

Лидия, однако ж, делала вид, будто она все еще зла на Никострата за то, что он посмел дурно о ней подумать.

“Я постараюсь сделать так, чтобы это дерево больше не срамило ни меня, ни других женщин, – сказала она. – Сбе-

гай, Пирр, принеси топор и отомсти и за себя и за меня: сруби это дерево. Впрочем, гораздо лучше было бы хватить топором не по дереву, а по твоей голове, Никострат, – за то, что ты не дал себе труда подумать, вследствие чего мысленные твои очи мгновенно ослепли. Пусть даже глазам твоим и почудилось то, о чем ты нам толковал, – суд твоего разумения ни в коем случае не должен был принимать и признавать это за правду".

Пирр в ту же секунду сбегал за топором и срубил грушевое дерево. Когда оно упало, Лидия объявила Никострату: "Враг моей чести повержен, и я уже не сержусь", – и, великодушно простив Никострата, который ее о том умолял, примолвила, чтоб он больше не смел подозревать женщину, которая любит его больше, чем самое себя.

Засим бедный обманутый муж, жена и любовник вошли в дом, и в этом доме Пирр с Лидией и Лидия с Пирром много раз потом, и уже без помех, наслаждались и утешались, Дай бог и нам того же!

10

Двое сиенцев
влюбляются в куму одного из них;
кум неожиданно умирает;
согласно данному обещанию,
он после смерти
является своему приятелю
и рассказывает,
как живется на том свете

Все что-нибудь да рассказали, кроме короля. Как скоро дамы, жалевшие грушевое дерево, которое ни за что ни про что срубили, успокоились, король начал следующим образом:

— Всем известно, что справедливый король является самым строгим блюстителем изданных им законов; если же он поступает не так, то это не король, а заслуживающий наказания раб. В такой именно грех — в сущности, поневоле — придется впасть и мне, вашему королю, и такие же точно навлеку я на себя обвинения. В самом деле, когда я вчера устанавливал закон для нынешнего нашего собеседования, то я не рассчитывал воспользоваться предоставленной мне льготой, — напротив того: я намерен был заодно с вами подчиниться общему для всех закону и повести речь о том же, о чем и вы, однако вы не только рассказали о том, что должно было составить предмет моей повести, вы рассказывали значительно подробнее и гораздо занимательнее,

чем это мог бы сделать я, и теперь, сколько ни роюсь я в памяти, а все не могу припомнить и сообразить, какая из мне известных историй выдержала бы сравнение с вашими рассказами. Вот почему я, вынужденный нарушить мною же самим изданный закон и, следственно, заслуживающий наказания, заранее уведомляю, что готов уплатить пеню в любом размере, но льготою моею воспользуюсь. Признаюсь, милейшие дамы, рассказ Элиссы про кума и куму и про тупоумие сиенцев произвел на меня столь сильное впечатление, что я решился оставить штуки, которые умные жены вытворяют с глупыми мужьями, и предложить вашему вниманию небольшой рассказ про кума и куму, который вы, уж верно, выслушаете не без приятности, хотя многое в нем неправдоподобно.

Итак, жили-были в Сиене два молодых человека низшего состояния, из коих одного звали Тингоччо Мини, другого – Меуччо ди Тура, а проживали они у ворот Салайя, общались преимущественно друг с другом и, казалось, очень друг друга любили. Как все добрые люди, они часто ходили в церковь и слушали проповеди, а проповедники постоянно внушали молящимся, что души усопших ожидают на том свете слава или мука – в зависимости от их заслуг. Друзьям хотелось раздобыть достоверные о том сведения, но они не знали, как можно их получить, и потому дали друг другу такое обещание: кто первый умрет, то постарается прийти к оставшемуся в живых и осведомить его; и на том они поклялись.

Итак, они продолжали постоянно друг с другом общаться, о чем я уже упоминал, а после того как они дали это обещание, Тингоччо покумился с неким Амброджо Ансельмини, проживавшим в Кампо Реджи, – жена этого Ансельмини, монна Мита, только что родила ему сына. После крестин Тингоччо вместе с Меуччо изредка навещал свою куму, прелестную, обворожительную женщину, и невзирая на кумовство влюбился в нее. Меуччо она тоже очень нравилась, а тут еще Тингоччо постоянно ее расхваливал, – кончилось дело тем, что и Меуччо в нее влюбился.

Оба скрывали это друг от друга, однако ж основания у каждого были особые: Тингоччо не хотелось сообщать об этом Меуччо потому, что он почитал свою любовь к куме за грех и ему было стыдно кому-либо в этом признаться, а Меуччо держал свою любовь в тайне по другой причине: от него не укрылось, что монна Мита нравится Тингоччо. "Если я ему откроюсь, – рассуждал он сам с собой, – это вызовет в нем чувство ревности, а так как он на правах кума имеет возможность говорить с ней сколько угодно, то настроит ее против меня, и тогда я от нее уже ничего не добьюсь".

Итак, оба молодых человека полюбили монну Миту, но Тингоччо легче было с ней объясниться, и он при помощи слов и действий добился от нее, чего хотел. Меуччо прекрасно понял, что между ними произошло, и хотя это было ему очень больно, все же он не утратил надежды на успех в дальнейшем, а чтобы у Тингоччо не было поводов и оснований вредить ему и мешать, он притворился, что ничего не замечает.

Итак, один приятель оказался удачливее в любви, нежели другой, однако ж Тингоччо, обнаружив во владениях кумы благодарную почву, столь ретиво принялся на ней трудиться и вскапывать ее, что, переусердствовав, опасно заболел и, не перенеся этого недуга, спустя несколько дней ушел от жизни. А на третий день после смерти, – раньше, очевидно, было нельзя, – он по обещанию явился Меуччо ночью и, хотя тот крепко спал, разбудил его.

"Кто это?" – проснувшись, спросил Меуччо.

"Тингоччо, – отвечал призрак, – я пришел к тебе, как обещал, рассказать про тот свет".

При виде его Меуччо струхнул, но быстро оправился. "Добро пожаловать, друг мой!" – сказал он и тут же задал Тингоччо вопрос, пропащая ли он душа.

Тингоччо же ему на это ответил так: "Что пропало, того уже не найдешь. Если б я пропал, то как бы я здесь очутился?"

"Да я не про то, – возразил Меуччо. – Я тебя спрашиваю: осуждена ли душа твоя гореть в адском огне?"

Тингоччо же ему ответил так: “Нет, на это она не осуждена, но за свои грехи я люто стражду и томлюсь”.

Тут Меуччо начал подробно расспрашивать своего приятеля, какое наказание влечет за собой каждый содеянный на этом свете грех, а Тингоччо все ему объяснил. Тогда Меуччо спросил, не может ли он быть ему чем-либо полезен; Тингоччо ответил, что может: пусть, мол, закажет по нем заупокойные обедни, попросит за него молиться, пусть подает милостыню на помин его души – все это, дескать, на том свете очень помогает. Меуччо сказал, что исполнит все это с радостью.

Когда Тингоччо собрался уходить, Меуччо вспомнил про куму и, искоса взглянув на Тингоччо, спросил: “Да, хорошо, что я вспомнил! Послушай, Тингоччо: какое тебе дали наказание за то, что ты на этом свете жил со своей кумой?”

Тингоччо же ему на это ответил так: “Друг мой! Когда я туда попал, оказалось, что некто, находящийся там, знает все мои грехи, как свои пять пальцев, – он повелел мне отправиться в определенное место, и там я, тяжко скорбя, оплакивал мои прегрешения вместе со многими другими, осужденными на ту же муку, что и я. Находясь среди них, я вспомнил, что́ я проделывал с кумою, и, ожидая за это еще более строгого наказания, задрожал от страха, несмотря на то что весь был объят жарким и неугасимым пламенем. Заметив мое состояние, он спросил: “Тебя палит огонь, а ты дрожишь, – значит, ты совершил более тяжкое преступление, чем все остальные, здесь пребывающие?” – “О друг мой! – воскликнул я. – Я страшусь наказания за совершенный мною великий грех”. Тогда тот спросил меня, какой же это грех. “А вот какой, – отвечал я, – я баловался со своей кумой, и до того добаловался, что в конце концов доконал себя”. Тот расхохотался. “Ах ты дурачина! – сказал он. – Чего ты боишься? Кумы в счет здесь не идут”. И тогда я успокоился”. Но тут уже начало светать, и Тингоччо сказал: “Ну, Меуччо, оставайся с богом, мне пора”. С этими словами он вдруг исчез.

Узнав, что кумы в счет не идут, Меуччо посмеялся над собственной глупостью, – скольких кумушек он не тронул только потому, что был глуп! Мрак его невежества рассеялся, и впредь он стал умнее. Если бы брат Ринальдо знал о том, что кумы в счет не идут, ему не пришлось бы тратить столько красноречия, когда он соблазнял добрую свою куму.

Солнце уже склонялось к закату и повевал зефир, когда король, окончив свою повесть и приняв в соображение, что рассказывать больше некому, снял с головы венок и, возложив его на Лауретту, сказал:

– Милостивая государыня! В соответствии с вашим именем я венчаю вас лаврами; отныне вы – наша королева. Распоряжайтесь же на правах властительницы, как вам заблагорассудится, – лишь бы нам было весело и приятно.

Сказавши это, он сел на свое место.

Тотчас после коронации Лауретта послала за дворецким и велела накрыть столы в приютной долине ранее обыкновенного, чтобы можно было не спешить возвращаться во дворец, а потом объяснила, каков должен быть распорядок во все продолжение ее царствования. Потом Лауретта обратилась к обществу с такою речью:

– Вчера Дионео изъявил желание, чтобы мы рассказывали о том, какие штуки вытворяют жены с мужьями. Если б я не боялась, что меня примут за кусачую собачонку, я бы отдала распоряжение, чтобы завтра рассказывали о том, какие штуки вытворяют с женщинами мужчины. Но это мы пока оставим, – я хочу, чтобы к завтрашнему дню у всех были готовы рассказы *О том, какие штуки ежедневно вытворяют женщина с мужчиной, мужчина с женщиной и мужчина с мужчиной*, и, сдается мне, что забавных о том рассказов будет не меньше, чем нынче.

С этими словами Лауретта встала и всех отпустила до ужина.

Дамы и мужчины тоже встали; кто разулся и пошел босиком по прозрачной воде ручейков, кто пошел погулять по

зеленому лугу, окаймленному красивыми и стройными деревами. Дионео и Фьямметта долго пели вдвоем об Арчите и Палемоне. Так, в многоразличных удовольствиях, необычайно приятно прошло у них время до ужина. Затем все сели за стол недалеко от озерца и под пение множества птиц, овеваемые легким ветерком, дувшим с окрестных гор, и совсем не тревожимые мошкарой, весело и спокойно отужинали. Затем немножко погуляли по приютной долине и еще до захода солнца по велению королевы медленным шагом направились к своему жилищу. Шутя и болтая о самых разных вещах, как относящихся к выслушанным в этот день рассказам, так и не относящихся, они подошли к роскошному своему дворцу, когда уже стемнело. Хотя путь был недолог, однако ж все притомились, но холодные вина и сласти сделали свое дело: усталость скоро прошла, и все затанцевали вокруг прелестного фонтана — сначала под звуки Тиндаровой волынки, а потом под другую музыку. Наконец королева велела Филомене спеть песню, и Филомена начала так:

Как жизнь моя грустна!
Ах, неужели не вернусь я снова
Туда, где чашу нег пила до дна?

Напрасно бедный мой рассудок тщится
Ответить мне на это —
Кто слишком сильно ослеплен мечтой,
Тот правде посмотреть в лицо страшится;
У ближних я совета
Просить стыжусь; но ты, властитель мой,
Не будь жесток со мной
И молви утешительное слово
Той, чья душа разлукой смятена.

Нет, невозможно звуками земными
Поведать с должной силой
И так, чтоб понял ты меня вполне,

Насколько всеми чувствами своими
К тебе влекусь я, милый.
В столь жарком и безжалостном огне
Сгораю я, что мне
Вдали от друга моего былого
Смерть кажется ни капли не страшна.

Скажи, когда ж в приюте нашем старом
Взглянуть смогу опять я
В глаза тому, чей взор, мой пыл зажег,
Когда же ты придешь, чтоб с прежним жаром
Упасть в мои объятья;
И если скажешь, что недолог срок,
То больше — видит бог! —
Не надо мне лекарства никакого
От раны, что тобой нанесена.

Коль мне судьба отдаст тебя обратно,
Ты не уйдешь вторично —
Научена я горем быть умней.
О, как я жажду вновь тысячекратно,
С любовью безграничной
Лобзать тебя, припав к груди твоей!
Явись же поскорей
И верь: запеть ликующе готова
Я от сознанья, что тебе нужна.

Эта песня всех навела на мысль, что какая-то новая и на сей раз счастливая любовь завладела сердцем Филомены, а так как из ее слов можно было заключить, что она не ограничилась лицезрением своего предмета, то все пришли к заключению, что на ее долю выпала редкостная удача, а иные позавидовали ей. Но тут королева вспомнила, что завтра пятница, и потому обратилась ко всем с учтивою речью:

— Вам, знатные дамы, и вам, молодые люди, известно, что завтра мы вспоминаем страдания господа нашего, а вы, уж верно, не забыли, что когда королевой была Ней-

фила, то мы этот день провели, как подобает благочестивым людям, и отменили игривые рассказы, и подобным образом поступили мы и в субботу. Так вот, я желаю следовать благому примеру, который подала нам Нейфила, а посему, памятуя о том, что́ было совершено в эти дни ради нашего спасения, почитаю приличным завтра и послезавтра воздержаться от наших прелестных рассказов, как это мы сделали прошлый раз.

Благочестивая мысль королевы всем пришлась по душе. Отпустила она общество, когда уже минула бо́льшая часть ночи, и все пошли спать.

Кончился седьмой день
Декамерона,
начинается восьмой.
В день правления
Лауретты
предлагаются вниманию
рассказы о том, какие штуки
ежедневно вытворяют
женщина с мужчиной,
мужчина с женщиной
и мужчина с мужчиной

Воскресным утром лучи восходящего солнца уже озарили гребни самых высоких гор, уже исчезли ночные тени, и все предметы стали явственно различимы, когда королева и ее подданные встали и, погуляв по росистой траве, в половине восьмого пошли в ближнюю церковку, дабы присутствовать при богослужении. Вернувшись, сели обедать, и обед прошел весело и оживленно, затем попели, потанцевали, а потом королева разрешила желающим пойти отдохнуть. После полудня все по велению королевы собрались у прелестного фонтана на предмет обычного собеседования, и, исполняя волю государыни, Нейфила начала так.

1

Вольфард берет у Гаспарруоло взаймы денег,
предварительно уговорившись с его женой,
что как раз за такую сумму
он проведет с нею время;
он вручает ей эти деньги,
потом говорит в ее присутствии мужу,
что вернул их жене,
а жена это подтверждает

– Если уж так угодно богу, чтобы я первая начала сегодня рассказывать, то быть по сему. О штуках, которые женщины вытворяют с мужчинами, мы говорили много, я же хочу рассказать вам, любезные дамы, о штуке, которую вытворил мужчина с женщиной, причем я не собираюсь его за это осуждать и вовсе не хочу сказать, что женщина этого не заслужила, – как раз наоборот: моя цель – одобрить мужчину, осудить женщину и доказать, что и мужчины умеют вытворять штуки с теми, кто им доверяется, ничуть не хуже, чем с ними самими вытворяют штуки те, кому доверяются они. Собственно говоря, то, о чем я собираюсь рассказать, следовало бы назвать не штукой, но заслуженным возмездием, ибо женщине надлежит быть особенно целомудренной, беречь свою честь, как жизнь, и пресекать малейшие на нее посягновения. Но мы, женщины, народ слабый, блюсти себя так, как это от нас требуется, мы не можем; со всем тем я утверждаю, что женщина, которая дает себя ув-

лечь ради денег, заслуживает сожжения на костре, а та женщина, которую вводит в грех любовь, коей всемогущество нам хорошо известно, в глазах не слишком строгого судьи заслуживает снисхождения, как то несколько дней назад нам доказал Филострато на примере донны Филиппы из Прато.

Итак, жил некогда в Милане немец, наемный солдат по имени Вольфард, человек храбрый, в отличие от большинства немцев верой и правдой служивший тем, кто его нанимал. А так как Вольфард честнейшим образом расплачивался с долгами, то любой купец давал ему взаймы охотно и под небольшой процент. В Милане Вольфард полюбил красивую женщину, которую звали Амброджа, жену своего друга-приятеля, богатого купца по имени Гаспарруоло Кагастраччо. Проявлял он свои чувства к ней весьма осторожно, так что никто, в том числе муж, ни о чем не догадывался; наконец однажды он послал ей сказать, что умоляет ее ответить на его любовь, он же, мол, со своей стороны, готов исполнить все, чего она ни потребует. Долго они переливали из пустого в порожнее, наконец Амброджа дала ему знать, что исполнит то, чего от нее добивается Вольфард, если он выполнит следующие два условия: во-первых, он должен хранить это в строжайшей тайне; во-вторых, ей нужно для одной цели двести флоринов золотом, а он человек богатый, — дал бы он ей двести флоринов, за это она, мол, всегда потом будет к его услугам. До сих пор Вольфард считал ее женщиной порядочной, но тут он увидел, до чего она корыстолюбива, какая у нее низкая душонка, пламенная его страсть превратилась почти что в ненависть, и он, задумав сшутить с ней шутку, велел передать ей, что ради нее готов на все, что только в его силах, — пусть, мол, скажет, когда ему можно прийти, и он вручит нужную ей сумму, и никто-де про то не узнает, за исключением одного приятеля, которому он всецело доверяет и которого он во все свои дела посвящает. Дама, а лучше сказать — дрянная бабенка, обрадовалась и велела передать Вольфарду, что ее муж Гаспарруоло спустя несколько дней

уедет по делам в Геную – тогда, мол, она его уведомит и пошлет за ним.

Выбрав подходящее время, Вольфард пошел к Гаспарруоло и сказал ему: “Мне для одного дела нужно двести флоринов золотом. Дай мне взаймы под обычный процент”. Гаспарруоло охотно согласился и тут же отсчитал ему всю сумму.

Спустя несколько дней, как и говорила Амброджа, Гаспарруоло выехал в Геную, о чем она не замедлила сообщить Вольфарду; кроме того, она просила передать ему приглашение и просьбу принести двести флоринов. Вольфард взял с собой своего приятеля, пошел к поджидавшей его Амбродже и первым делом вручил ей в присутствии своего приятеля двести флоринов. “Вот вам деньги, сударыня, – сказал он. – Когда ваш супруг вернется, отдайте их ему”.

Амброджа взяла деньги; она только не поняла, почему Вольфард так сказал; это он для того, решила она, чтобы приятель не подумал, что он ей платит. “Хорошо, передам, – сказала она, – я только пойду пересчитаю”. Высыпав деньги на стол и, к великой своей радости, удостоверившись, что тут двести флоринов, она их спрятала. Затем вернулась к Вольфарду и провела его к себе в комнату. И не только в тот раз, но потом еще много раз – вплоть до возвращения мужа из Генуи – она своим телом расплачивалась с Вольфардом.

Как скоро Гаспарруоло возвратился из Генуи, Вольфард, выбрав такое время, когда и он и жена были дома, побежал к нему и в присутствии жены сказал: “Знаешь, Гаспарруоло, двести флоринов, коими ты меня ссудил, мне не понадобились – то дело, ради которого я их у тебя брал, у меня не выгорело. Я их сейчас же отдал твоей жене. По сему случаю уничтожь мое долговое обязательство”.

Гаспарруоло спросил жену, получила ли она деньги. Жена, вспомнив, что получила она их при свидетеле, решила, что отрицать бесполезно. “Да, да, как же, получила, – подтвердила она, – я только забыла тебе об этом сказать”.

“Все в порядке, Вольфард, – молвил Гаспарруоло. – Ступай себе с богом – долг за тобою не числится”.

Когда Вольфард ушел, одураченная Амброджа вернула мужу постыдное вознаграждение за свою низость. Так хитроумный любовник бесплатно попользовался алчною своею возлюбленной.

2

Варлунгский священник
проводит время с монной Белькоторе;
в залог он оставляет ей свою накидку;
немного погодя он просит у нее ступку,
потом возвращает
и просит вернуть накидку,
которую он оставил ей в заклад;
почтенная женщина хоть и с бранью,
но заклад возвращает

И мужчины и дамы одобрили Вольфарда за его проделку с алчной миланкой, а затем королева, с улыбкой обратясь к Панфило, сказала, что теперь его черед, и Панфило начал так:

– Приятные дамы! Я намерен предложить вашему вниманию небольшой рассказ, изобличающий тех, что на каждом шагу оскорбляют нас, зная заведомо, что мы не можем им отплатить; изобличающий тех духовных особ, которые воздвигли крестовый поход на наших жен, – ведь когда кому-нибудь из них удается овладеть замужней женщиной, он воображает, что ему за это будут отпущены грехи и божья кара его минует, как будто он самого султана доставил связанным из Александрии в Авиньон; между тем у бедных мирян нет возможности отплатить им той же монетой, – так они вымещают обиду на матерях, сестрах, приятельницах, дочерях обидчиков и берут их приступом, подобно как

обидчики берут их жен. Так вот, я и хочу вам рассказать деревенскую любовную историю, не длинную, но зато с уморительным концом, — из нее вам, помимо всего прочего, будет ясно, что священникам нельзя доверять всегда и во всем.

Итак, надобно вам сказать, что в селе Варлунго, которое, как вы знаете или хотя бы могли слышать, находится недалеко отсюда, жил священник, неутомимый по части ублаготворения женщин крепыш, не бог весть какой грамотей, однако ж имевший обыкновение по воскресеньям, сидя под ольхою, поучать пасомых и обильно уснащать свою речь благочестивыми и душеполезными изреченьицами, что не мешало ему, когда те отлучались, навещать их жен чаще, чем кто-либо из его предшественников, под каким-либо благовидным предлогом: одной принести образок, другой — огарочек, третьей — святой водички, четвертую благословить. Более других прихожанок пришлась ему по сердцу некая монна Бельколоре, жена хлебопашца Бентивеньи дель Маццо, прехорошенькая, смуглая крестьяночка, свежая, в теле, как нельзя лучше приспособленная для накачивания. Кроме того, она лучше всех играла на цимбалах, пела *Вода стекается в овраг* и с красивым, дорогим платком в руке танцевала ридду и баллонкио. Священник прямо с ума по ней сходил и все старался попасться ей на глаза. Воскресным утром, если ему было известно, что она в церкви, он, когда произносил *Kyrie*[1] или же *Sanctus*[2], выказывал столь совершенное певческое искусство, что можно было подумать, будто это верещит осел; если же он ее не видел, то из кожи вон не лез. При этом он действовал так, что и Бентивенья дель Маццо, и все прочие поселяне ничего не замечали. Для того чтобы задобрить монну Бельколоре, священник время от времени чем-либо ее одарял: то пошлет из своего огорода, который он возделывал собственноручно, связку свежего чесночку, — а лучше его чеснока не

1 Господи, помилуй (*лат.*).
2 Да святится... (*лат.*)

было во всем селе, – то корзинку фасоли, а иной раз пучок зеленого луку или же шарлота. При встречах он, если никто их не видел, запускал глазенапа или же любя щунял ее, а монна Бельколоре дичилась его и, делая вид, будто ничего не замечает, чинно проходила мимо, священник же оставался ни при чем.

Но вот однажды, когда его преподобие в полуденный час слонялся по селу, ему встретился Бентивенья дель Маццо, погонявший осла, навьюченного всякой всячиной; священник с ним поздоровался и спросил, куда он путь держит.

Бентивенья же ему на это ответил так: "Откровенно говоря, ваше преподобие, я направляюсь по своей надобности в город и вот это все везу мессеру Бонакорри да Джинестрето, чтобы он мне помог в одном деле, – из-за этого дела меня в срочном беспорядке вызывает через своего письмородителя судья по уголовным делам".

Священник обрадовался. "Добро, сын мой, да будет с тобой мое благословение! – сказал он. – Возвращайся скорее, а если увидишь Лапуччо или же Нальдино, то не забудь сказать им, чтобы они принесли мне ремней для цепов".

Бентивенья обещал и пошел себе во Флоренцию, а священник подумал, что теперь самое время зайти к Бельколоре и попытать счастья. Духом домчался он до ее дома и, войдя, сказал: "Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас! Есть кто дома?"

Бельколоре была в это время на чердаке. "Ах, это вы, отец мой! – услыхав его голос, сказала она. – Милости просим. Что это вы шатаетесь по такой жарище?"

"Да нет, что ты, бог с тобой! – отвечал священник. – Это я только к тебе зашел ненадолго: твой-то ведь в город собрался – я его встретил".

Бельколоре слезла с чердака, села и принялась перебирать капустные семена, которые ее муж недавно насобирал. "Ну так как же, Бельколоре, – снова заговорил священник, – ты и дальше будешь меня мучить?"

"А что я вам дела́ю?" – усмехнувшись, спросила Бельколоре.

"Ты и сама ничего не делаешь, и мне не даешь сделать то, чего мне хочется и что сам бог велел делать", – отвечал священник.

"Ну-ну, перестаньте, перестаньте! – сказала Бельколоре. – Разве священники такие вещи делают?"

"Еще как делаем – получше других мужчин, – отвечал священник, – а почему бы нет? Я тебе больше скажу: мы лучше накачиваем. А знаешь почему? Потому что в наших насосах полно воды. Так вот, если ты не будешь противиться и предоставишь мне полную свободу действий, то тебе от этого будет только польза".

"Какая же мне от этого будет польза, если все вы скупее черта?" – спросила Бельколоре.

А священник ей: "Это уж я там не знаю, проси, чего тебе хочется: башмачки, ленту, доброго шелку поясок – что хочешь, того и проси".

"Эка невидаль! У меня все это есть, – заметила Бельколоре. – А вот если вы меня взаправду любите, окажите мне одну услугу – тогда я исполню ваше желание".

"А что за услуга? Для тебя я на все готов", – объявил священник.

Тут Бельколоре возьми да и скажи: "Мне, говорит, нужно в субботу сходить во Флоренцию – сдать шерсть, которую я выпряла, и отдать починить мою прялку. И вот, если вы мне дадите взаймы пять лир, – а у вас пять-то лир, уж верно, найдутся, – я выкуплю у ростовщика мое темно-красное платье и пояс, который я принесла в приданое мужу и который я ношу по праздникам, а то мне и в церковь, и в приличный дом стыдно показаться. А уж я тогда для вас расстараюсь".

"Видит бог, при мне таких денег нет, – сказал священник, – но ты можешь быть спокойна: до субботы они у тебя будут – я с величайшим удовольствием для тебя это сделаю".

"Да, жди! – молвила Бельколоре. – Обещать-то вы все мастаки, а слова своего не держите. Вы, верно уж, хотите обойтись со мной, как с Бильюццей, которая осталась на

бобах? Со мной вам это не удастся, клянусь богом, — из-за этого она потом и стала гулящей бабенкой. Коли нет при вас денег — сходите и принесите".

"Нет, ты уж меня теперь не гони со двора, благо случай вышел такой, что ты одна дома, — взмолился священник, — ведь у меня дело зря стоит, а пока я за деньгами пробегаю — глядишь, кто-нибудь да явится и помешает. Когда-то еще мне выпадет такая удача!"

А она ему на это: "Воля ваша, говорит. Коль хотите, так идите; коли нет, тогда терпите".

Священник, видя, что она согласна доставить ему удовольствие только при условии: *salvum me fac*[1], меж тем как ему хотелось добиться от нее этого *sine custodia*[2], сказал: "Ну, раз ты мне не веришь, что я принесу деньги, я оставлю в залог свою синюю накидку".

Бельколоре подняла на него глаза. "Вот эту накидку? — спросила она. — Сколько же она стоит?"

"Сколько стоит? — воскликнул священник. — К твоему сведению, она из дуэйского сукна, плотного-расплотного, нет, пожалуй, — двуплотного или триплотного, а местные жители даже уверяют, что четырехплотного. Недели две тому назад я отдал за нее ветошнику Лотто целых семь лир, да еще выгадал пять сольдо, как мне сказал Бульетто д'Альберто, а он, сколько тебе известно, в синих сукнах толк понимает".

"Ах, вот оно что! — воскликнула Бельколоре. — Истинный господь, никогда бы не подумала. Ну ладно, только дайте мне ее сейчас".

Тетива у его преподобия была туго натянута; он мигом снял накидку и отдал Бельколоре. "Пойдемте, отец мой, вон в ту лачужку, — прибрав накидку, сказала Бельколоре, — туда никто никогда не заходит".

Что сказано, то и сделано. Здесь священник долго развлекался с Бельколоре: всласть нацеловался, породнил ее с

1 С гарантией (*лат.*)
2 Без гарантии и залога (*лат.*)

самим богом, а от нее, в одной сутане, без накидки, как полагается духовным лицам ходить лишь в особо торжественных случаях, направил стопы свои в церковь.

Тут его преподобие, подсчитав, что, сколько огарков ни удалось бы ему собрать за целый год, все равно это не составило бы и двух с половиной лир, решил, что дал маху; пожалев накидку, он стал думать, как бы это выцарапать ее, не заплатив ни гроша. Человек он был продувной, а потому живо смекнул, как получить обратно накидку, и обделал это дело в наилучшем виде. На другой же день, – то был день праздничный, – он послал соседского мальчика к монне Бельколоре попросить у нее каменную ступку, а то, мол, у него сегодня обедают Бингуччо дель Поджо и Нуто Бульетти, и ему хочется сделать подливку. Бельколоре дала мальчику ступку. Подгадав к тому времени, когда Бентивенья дель Маццо и Бельколоре обыкновенно обедали, священник позвал служку и сказал: "Отнеси эту ступку Бельколоре и скажи: священник, дескать, очень благодарит и просит прислать накидку, которую мальчик оставил вам в залог". Служка пошел со ступкой к Бельколоре, – она и Бентивенья сидели в это время за столом и обедали. Служка поставил ступку и передал просьбу священника.

Бельколоре, услыхав, что у нее вытребывают накидку, хотела было возразить, но Бентивенья с сердитым видом прервал ее: "Ты берешь у отца в залог вещи? – вскричал он. – Так бы и дал тебе по зубам, ей-ей! Сейчас же верни накидку, паралич тебя расшиби! Да вперед смотри: чего бы отец ни попросил, хоть бы осла, – отказа ему ни в чем быть не должно".

Бельколоре с ворчаньем подошла к сундуку, достала накидку и отдала служке. "Передай от меня отцу, – сказала она, – Бельколоре, мол, клянется-божится, что вы никогда больше не будете тереть у нее в ступке, раз вы так хорошо отблагодарили ее за эту".

Служка отнес накидку священнику и передал ему слова Бельколоре. Священник засмеялся и сказал: "Когда ты увидишь Бельколоре, скажи ей: если, мол, она не даст мне

ступки, то я не дам ей пестика, – как аукнется, так и откликнется".

Бентивенья решил, что Белльколоре сказала так в сердцах, – оттого, что он ее обругал, – и пропустил ее слова мимо ушей, а Белльколоре, лишившись рога, рассорилась со священником и не разговаривала с ним до самого сбора винограда, но во время сбора священник пригрозил, что отправит ее в пасть старшого черта, и тогда Белльколоре перепугалась насмерть, он же угостил ее молодым вином и горячими каштанами, и потом они еще много раз угощались. А в уплату пяти лир священник велел обтянуть новой кожей ее цимбалы и привесить к ним колокольчик, так что в конце концов она осталась довольна.

3

Каландрино, Бруно и Буффальмакко ищут на берегу Муньоне гелиотропий; Каландрино воображает, что нашел его, и, набрав камней, возвращается домой; жена накидывается на него с бранью; взбешенный Каландрино колотит ее, а затем рассказывает своим приятелям о том, что они знают лучше его

Как скоро Панфило окончил свой рассказ (дамы над ним уж так смеялись, так смеялись – до сих пор еще смеются), королева объявила Элиссе, что теперь ее очередь, и она, еще не отсмеявшись, начала так:

– Я не ручаюсь, очаровательные дамы, что мне удастся моим рассказцем, столь же правдивым, сколь и занятным, насмешить вас так, как насмешил Панфило, однако ж я постараюсь.

В нашем городе много было всяких обычаев, много было всяких чудаков, и еще не так давно проживал там живописец по имени Каландрино, недальнего ума и со странностями, бóльшую часть своего времени проводивший с двумя другими живописцами, из коих одного звали Бруно, а другого – Буффальмакко, изрядными забавниками, впрочем, людьми толковыми и здравомыслящими, водившими дружбу с Каландрино потому, что он своими выходками, равно как и своею придурью, беспрестанно морил их со смеху. Тог-

да же проживал во Флоренции молодой человек по имени Мазо дель Саджо, гораздый на всевозможные шутки, провор, себе на уме, и вот он-то, прознав о приглуповатости Каландрино, вздумал для-ради развлечения подшутить над ним или же обморочить его. Однажды Мазо встретил Каландрино в церкви Сан Джованни, – тот рассматривал изображения и резьбу на надпрестольной сени, которую в этой церкви незадолго перед тем поставили; решив, что это самый удобный случай для осуществления такового замысла, Мазо рассказал о своей затее товарищу, после чего оба, приблизясь к тому месту, где Каландрино сидел в одиночестве, и притворясь, что не видят его, завели разговор о чудесных свойствах драгоценных камней, причем Мазо рассуждал о них тоном, недопускающим возражений, так что можно было подумать, будто он великий знаток в этой области. Каландрино прислушался, а затем, убедясь, что секретов у них нет, некоторое время спустя встал, подошел к ним, чем весьма обрадовал продолжавшего разговор Мазо, и спросил, где такие чудные камни встречаются. Мазо ему ответил, что встречаются они у басков, на берегу реки Молочной, во Вракии, – там-де виноградные лозы подвязывают сосисками, там на грош дают целого гуся, да еще и гусенка в придачу, там есть гора из тертого сыру и живут на ней люди, которые занимаются лишь тем, что готовят макароны и равьоли, варят их в каплуньем соку и бросают вниз – кто больше поймает, тому больше достается, – и тут же, неподалеку, бьет источник верначчи – такого вкусного вина на всем свете, дескать, не сыщешь, и воды в нем ни капли нет.

“Ах, какой благодатный край! – воскликнул Каландрино. – А скажи на милость, куда же идут каплуны?”

“Всех съедают баски”, – отвечал Мазо.

“А ты там бывал?” – осведомился Каландрино.

“Бывал ли я там? – переспросил Мазо. – Тысячу раз, если от нее отнять тысячу”.

“А это далеко?” – спросил Каландрино.

“Столько, да полстолька, да четверть столька, – вот сколько!” – отвечал Мазо.

“Стало быть, дальше, чем Абруццы”, – заключил Каландрино.

“Далеко – отсюда не видать”, – подтвердил Мазо.

Видя, что Мазо отвечает на все вопросы с невозмутимым видом, без тени улыбки, простак Каландрино принял россказни Мазо на веру – так, как если б то была чистейшая правда. “Это для меня далеко, – заметил он. – Кабы поближе, я бы непременно там с тобой хоть разок да побывал, поглядел бы, как бросают с горы макароны, и наелся бы до отвала. Будь добр, скажи мне на милость: а что, в наших краях есть такие дивные камни?”

Мазо ему на это ответил так: “Да, у нас встречаются два камня, обладающих чудодейственной силой. Один – это гранит сеттиньянский и монтишский: если из того и из другого гранита сделать жернова, то посыплется мука, – вот почему в тех краях говорят, что от бога – милости, а из Монтиши – жернова, но у нас жерновов этих столько, что мы их не ценим, подобно как местные жители не ценят изумрудов, потому что у них целые изумрудные горы, выше Морелло, и так они по ночам светятся – никаким пером не опишешь. Ну и вот, прежде чем буравить уже готовые, отменные жернова, рекомендуется надеть на них обручи, и если ты в эдаком виде принесешь их султану, то он тебя в благодарности всем, чем хочешь, оделит. Другой камень мы, знатоки, именуем гелиотропием, – он обладает огромной силой: пока он на человеке, до тех пор человек бывает невидим всюду, где только этого человека нет”.

“Вот так камни! – воскликнул Каландрино. – Ну, а этот камень где встречается?”

Мазо ему ответил, что встречается он по берегам Муньоне.

“А какой величины этот камень? – спросил Каландрино. – И какого цвета?”

“Разной величины, – отвечал Мазо, – один побольше, другой поменьше, но все почти что черные”.

Запомнив все это, Каландрино, под предлогом, что у него есть дела, простился с Мазо и тут же вознамерился сыс-

кать этот камень, предварительно поставив о том в известность Бруно и Буффальмакко, которые пользовались особым его расположением. Решившись искать этот камень незамедлительно, дабы опередить всех остальных, он пошел искать их и проискал все утро. Наконец, уже в третьем часу, Каландрино вспомнил, что его приятели работают в женском фаэнтинском монастыре, и, бросив все свои дела, несмотря на страшную жару, кинулся туда, подозвал их и сказал: “Друзья! Если только вы мне поверите, мы станем первейшими богачами во всей Флоренции. Один надежный человек сказывал мне, что по берегам Муньоне встречается такой камень: пока он на человеке, никто этого человека не увидит. Так вот, хорошо бы нам опередить всех остальных и пойти поискать камень. Найдем мы его наверняка – его приметы мне известны, а как найдем, так положим в карман – и скорей к менялам, а на столах у менял, сколько вам известно, всегда полно серебра и золота – бери целыми пригоршнями. Все это мы проделаем незаметно. Мы внезапно разбогатееем, и тогда нам уже не нужно будет целыми днями малевать”.

Выслушав Каландрино, Бруно и Буффальмакко про себя усмехнулись и, удивленно переглянувшись, изъявили ему свое согласие; Буффальмакко, однако ж, спросил, как называется камень. У Каландрино котелок варил плохо, и название камня уже успело выскочить у него из головы. “А не все ли нам равно, как он называется, раз мы знаем его свойства? – возразил он. – По мне, мешкать нечего – пойдем искать”.

“Добро, – молвил Бруно, – а как же он выглядит?”

“По-разному, – отвечал Каландрино, – но все камешки почти что черные. Давайте собирать подряд все черные камни, пока не нападем на тот. Не будем терять время, – пошли!”

“Нет, погоди, – возразил Бруно и, обратясь к Буффальмакко, сказал: – По-моему, Каландрино говорит дело, но только идти сейчас не время: солнце стоит высоко, светит прямо на Муньоне, и оно высушило все камни, так что не-

которые кажутся теперь белыми, а утром, пока солнце еще не успеет их высушить, они кажутся черными. Да и потом, нынче на Муньоне много народу собралось по разным делам, — нынче ведь все работают, — увидят нас и сразу догадаются, что́ мы делаем, чего доброго, последуют нашему примеру, завладеют камнем, — и мы останемся с носом. Мне думается, вы не станете возражать, что это нужно делать утром, — утром легче отличить черное от белого, — и притом в праздничный день, когда никто нас там не увидит". Буффальмакко присоединился к мнению Бруно, Каландрино согласился с Буффальмакко, и они порешили втроем пойти искать камень в воскресенье утром, Каландрино же обратился к ним с покорнейшей просьбой не проболтаться, — ведь ему тоже, дескать, сообщили о том по секрету. Рассказав про камень, Каландрино не умолчал и про Молочную реку и клятвенно уверял, что все это истинная правда. Как скоро Каландрино ушел, Бруно и Буффальмакко уговорились между собой, как им в сих обстоятельствах надлежит действовать.

Каландрино с нетерпением ожидал воскресного утра; когда же это утро настало, он поднялся на зорьке, позвал приятелей, и все трое, выйдя из ворот Сан Галло и спустившись к Муньоне, в поисках камня двинулись вниз по течению. Каландрино, как наиболее ревностный искатель, шел впереди и делал быстрые перебежки: увидит черный камень, нагнется, цоп — и скорей за пазуху. Приятели шли сзади и собирали камни без особого рвения; зато Каландрино малое время спустя набил полную пазуху; по сему случаю он поднял полы своей одежды, сшитой иначе, нежели ее шьют в Геннегау, и с крайним тщанием и спереди и сзади заткнул их края за ремень, — так у него получился широкий мешок, каковой он тоже вскорости насыпал доверху, и тогда ему пришлось сделать мешок из плаща, каковой он тоже насыпал доверху. Видя, что Каландрино переобременен, а между тем пора было обедать, Бруно, как было у него с Буффальмакко уговорено, спросил: "А где же Каландрино?"

Каландрино находился в двух шагах от Буффальмакко, но тот, оглядевшись по сторонам, ответил: “Не знаю. Только что был впереди”.

“Был, да весь вышел, – заметил Бруно. – Готов об заклад побиться, что он давно дома сидит – обедает, а нас в дураках оставил: дескать, пусть себе собирают черные камни на берегу Муньоне”.

“Ловко он нас надул, – сказал Буффальмакко, – а мы, дураки, ему поверили! Нет, правда, ну где еще сыщешь таких оболдуев, которые поверили бы, что на берегах Муньоне встречается чудодейственный камень?”

Слышавший их разговор Каландрино вообразил, что нашел камень и потому-то они его и не видят. В восторге от такой удачи, он вознамерился, ничего не сказав приятелям, идти домой и в сих мыслях повернул обратно.

Тогда Буффальмакко сказал Бруно: “А мы как же? Почему бы и нам не вернуться?”

“Пойдем, – сказал Бруно, – но уж Каландрино теперь меня не проведет, клянусь богом! Когда я увижу его на столь близком расстоянии, как нынче утром, я его так стукну камнем по пятке, что он долго будет помнить мою милую шутку”. С этими словами он размахнулся и угодил Каландрино камнем в пятку. Каландрино задрал от боли ногу, зашипел, однако ничего не сказал и пошел дальше.

Но тут Буффальмакко схватил один из собранных им камней.

“Погляди, какой славный камешек! Вот бы запустить его Каландрино в спину!” – воскликнул он и, изо всех сил швырнув камень, попал в цель. Так, на разные лады потешаясь над Каландрино, они потчевали его камнями всю дорогу, до самых ворот Сан Галло. Тут они побросали собранные камни и предупредили стражников – те, хохоча до упаду, притворились, будто не видят Каландрино, и пропустили его. Каландрино же дошел, не останавливаясь, до самого своего дома, находившегося близ Канто алла Мачина, и так благоприятствовала этой шутке судьба, что, пока он шел берегом, а затем по городу, никто с ним не заговорил; впро-

чем, и встречных-то попадалось немного, потому что время было обеденное.

Наконец он со всею своею ношей ввалился к себе в дом. Жена его, монна Тесса, женщина красивая и порядочная, стояла на верхней ступеньке лестницы. Возмущенная длительным отсутствием супруга, она, как скоро увидела его, начала браниться: "А, мой милый! – заговорила монна Тесса. – Наконец-то тебя черт несет! Добрые люди уж пообедали, а ты только еще идешь обедать!"

Поняв, что он видим, Каландрино огорчился и разгневался. "Ах ты сквернавка! – крикнул он. – Ты чего здесь торчишь? Ты меня погубила, но я с тобой разделаюсь, вот как бог свят!" Тут он вошел в каморку, высыпал на пол уйму камней, а затем налетел на жену, схватил ее за косы, повалил – и давай пинать ее и тузить по чему ни попало, пока у самого руки и ноги не заболели, – словом, сколько она, скрестив на груди руки, ни молила его о пощаде, он живого места на ней не оставил, дал ей и таску и встряску.

А Буффальмакко и Бруно, посмеявшись со стражниками у городских ворот, не спеша двинулись следом за Каландрино. Подойдя к его дому, они постояли, послушали, наконец поняли, что он задает жене здоровую трепку, и, сделав вид, будто только сейчас явились, покричали ему. Каландрино, побагровевший, взмыленный и озверевший, приблизился к окну и попросил друзей подняться. Они как бы в сердцах поднялись и увидели такую картину: пол комнаты усыпан камнями, в одном углу горько плачет растрепанная, растерзанная жена Каландрино, и лицо у нее все в синяках, а в другом углу отдувается распоясанный Каландрино.

Поглядели, поглядели Бруно и Буффальмакко, да и говорят: "Это что ж такое, Каландрино? Строишься ты, что ли? Зачем тебе столько камней? А что это с монной Тессой? – продолжали они. – Видать, ты ее побил. Это еще что за новости?" Каландрино, изнемогший под тяжестью камней, после лихой взбучки, какую он задал жене, и от горькой мысли, что счастье ему изменило, был неспособен на членораздельный ответ. Выждав некоторое время, Буффаль-

макко снова обратился к нему: “Если ты рассердился на жену, Каландрино, то мы тут ни при чем: чего же над нами-то было издеваться? Ты потащил нас искать драгоценный камень, а сам взял и удрал, и остались мы, два дурака, на берегу реки, – мы на тебя очень обижены, и в другой раз ты нам очки не вотрешь”.

Тут Каландрино сделал над собой усилие и сказал: “Не сердитесь, друзья! Дело обстоит совсем иначе. Ведь я, горемычный, нашел камень! Хотите, я вам скажу всю правду? Когда вы начали спрашивать друг друга обо мне, я был от вас меньше, чем в десяти локтях. Я вижу, что вы себе шагаете и меня не замечаете, взял да и обогнал вас, и потом уже все время шел чуть-чуть впереди”. Так он рассказал им все, с начала до конца, все, что они говорили, и все, что они творили, показал, как ему камни отделали спину и пятки, а засим продолжал: “И вот, изволите ли видеть, когда я со всеми этими камнями за пазухой входил в ворота, никто мне ничего не сказал, а уж на что надоедливы и привязчивы стражники: все-то они ищут, глазами так и рыщут. По дороге я встретил многих друзей-приятелей; обыкновенно они со мной заговаривают, предлагают выпить, а тут – ни слова, ни полслова: они меня не видели, вот в чем дело! А когда я пришел домой, эта ведьма окаянная вышла мне навстречу и увидела меня, – ведь вы же знаете, что женщины лишают силы любой предмет. И вот глядите: только что я почитал себя за счастливейшего человека во всей Флоренции, а теперь я разнесчастный человек – оттого-то я и колотил ее, покуда руки не устали, и сейчас у меня руки чешутся до крови ее избить. Да будет проклят тот час, когда я увидел ее впервые и когда она вошла в мой дом!” Тут он снова рассвирепел и чуть было опять не набросился на жену с кулаками.

Буффальмакко и Бруно, делая вид, что они крайне изумлены, все время поддакивали Каландрино; заметив же, что он, придя в бешенство, встает и вот сейчас бросится на жену, они подскочили к нему и удержали, а затем принялись доказывать, что всему виной не жена, а он: он же знал, что

женщины лишают силы любой предмет, — почему же он, дескать, ей не сказал, чтобы она сегодня не показывалась ему на глаза? Как видно, господь отнял у него разум, — отнял, может статься, потому, что это счастье не было назначено ему в удел, а может статься, в наказание за то, что он хотел обмануть друзей, которым он обязан был сказать, что нашел камень. С величайшим трудом, после долгих перекоров, удалось им наконец помирить Каландрино с его удрученной женой, и они удалились, предоставив ему сокрушаться, сидя над грудой камней.

4

Настоятель собора во Фьезоле любит вдовушку,
но вдовушка его не любит;
он полеживает с ее служанкой,
а воображает, что с ней;
между тем братья вдовушки
выдают его головой епископу

Как скоро Элисса окончила свою повесть, доставившую всему обществу изрядное удовольствие, королева, обратясь к Эмилии, изъявила желание, чтобы после Элиссы рассказывала она, и Эмилия тотчас же начала так:

— Достойные дамы! Нашему вниманию уже не раз предлагались повести о том, как священники, монахи, а равно и все прочие духовные лица, искушают наши души, однако исчерпать сей предмет невозможно: уж кажется, насказано много, ан нет — недосказано еще больше, вот почему в добавление к выслушанным повестям я хочу рассказать вам еще одну — о настоятеле собора, который во что бы то ни стало порешил добиться от одной благородной вдовы, чтобы она волей или неволей разделила его пламень, она же, будучи женщиной на редкость находчивой, обошлась с ним так, как он того заслуживал.

Сколько вам известно, Фьезоле, — отсюда видна гора, на которой он расположен, — город очень древний, и в старину это был большой город, но с течением времени он захирел, однако ж и теперь, как и в былые годы, там живет епи-

скоп. Неподалеку от собора находились усадьба и домик благородной вдовы по имени монна Пиккарда. Так как она была не из богатых, то жила здесь почти безвыездно, вместе с двумя братьями — славными, учтивыми юношами. Молиться богу монна Пиккарда ходила в собор, а была она еще очень молода, красива, мила, и по этой причине в нее по уши влюбился настоятель, да так, что совсем потерял голову. Некоторое время спустя он дошел до такой наглости, что изъяснился даме в любви и обратился к ней с мольбой не отвергать его домогательств и ответить ему взаимностью.

Старый годами, но прыткий, напористый, спесивый, самонадеянный, с жеманными и противными манерами, он был до того отвратителен и омерзителен, что все испытывали к нему отвращение, в особенности — вдова: для нее он был хуже головной боли. Будучи женщиной умной, она ответила ему так: “Ваше высокопреподобие! Мне может быть только лестно, что вы меня любите; я тоже обязана любить вас и с удовольствием полюблю, но только и в вашем и в моем чувстве не должно быть ничего недозволенного. Вы мой духовный отец, вы священник, вы уже на склоне лет, вам подобает вести добродетельный и целомудренный образ жизни, а я уже не девушка, — это девушкам приличествует выслушивать изъяснения в любви, — я вдова, а вы знаете, какого строгого поведения должны быть вдовы, так что вы уж извините, а только я никогда не полюблю вас той любовью, какой вы от меня ожидаете, и не хочу, чтобы так же любили меня и вы”.

Настоятель хоть и ничего на сей раз от нее не добился, однако ж после первого удара духом не пал и не сдался, — по свойственному ему нахальству и навязчивости он засылал к ней гонцов, которые передавали ей от него письма или же что-либо на словах, а то и сам лез к ней с разговорами, когда она появлялась в церкви. Все эти его подходы надоели и опротивели монне Пиккарде, и она положила отделаться от него, за неимением другого средства, тем способом, какого он заслуживал, но только рассудила за благо предвари-

тельно посоветоваться с братьями. Она сообщила им, как ведет себя с ней настоятель собора и что намерена предпринять она, братья же вполне ее одобрили, и вот спустя несколько дней она, по обыкновению, пошла в церковь, и стоило настоятелю ее увидеть, он, как всегда, направился к ней и развязным тоном заговорил. Монна Пиккарда обратила на него приветливый взор, а затем отошла с ним в сторонку и, выслушав обычные его излияния, с глубоким вздохом молвила: “Мне часто приходилось слышать, отец мой, что нет такой неприступной крепости, которая после многодневного приступа не была бы в конце концов взята, и теперь я в этом убедилась на собственном опыте. Осадив меня, вы пускали в ход сладкие слова, применяли то одну любезность, то другую, и в конце концов я решилась изменить обычному моему образу действий: если уж я так вам понравилась, то я – ваша”.

Настоятель пришел в восторг. “Чувствительно вам благодарен, сударыня, – сказал он. – Откровенно говоря, я диву давался, что вы так долго держитесь, – это первый случай в моей жизни. Бывало, я не раз говорил себе: “Если бы женщины были из серебра, то монет из них нельзя было бы начеканить – ни одна из них не выдержала бы молота”. Но это между прочим. Когда и где мы встретимся?”

“Когда хотите, мой драгоценный, – отвечала вдова, – ведь у меня нет мужа, которому я была бы обязана отчетом в том, с кем я пробыла ночь. Но вот где? Тут я ничего не могу придумать”.

“Как где? А у вас?” – спросил настоятель.

“Вы же знаете, отец мой, что со мной живут два брата, два молодых человека, – отвечала монна Пиккарда, – они и днем и ночью вваливаются с целой ватагой приятелей, а дом у меня не велик, и потому встречаться там неудобно, разве если на время онеметь и не проронить ни единого слова, ни единого звука, и, словно слепые, сидеть в темноте. На таких условиях встретиться можно, потому что ко мне в комнату они не заглядывают, но беда в том, что наши комнаты близехонько одна от другой: шепоток – и тот слышен”.

“Ничего, одну-две ночи можно и там, сударыня, — возразил настоятель, — а потом я подыщу что-нибудь поуютнее”.

“Это уж ваша забота, отец мой, — заметила вдова, — я прошу вас об одном: чтобы все это осталось в тайне, никому ни полслова!”

“Об этом можете не беспокоиться, сударыня, — сказал настоятель. — Вы только постарайтесь устроить нам свидание вечером”.

“Хорошо”, — молвила вдова и, объяснив ему, как и в какое время лучше всего к ней пройти, пошла домой.

У вдовы была служанка — не первой молодости и вдобавок на редкость уродливая и безобразная: нос у нее был приплюснутый, рот кривой, губы толстые, зубы редкие и большие; она слегка косила, глаза у нее часто болели, цвет лица у нее был изжелта-зеленый, словно лето она провела не во Фьезоле, а в Синигалье, и к довершению всего она была хромая и слегка кривобокая; за зеленый цвет лица все звали ее Зеленушкой; однако ж при всем своем безобразии она была не лишена хитрецы.

Вдова позвала ее и сказала: “Зеленушка! Если ты ночью окажешь мне услугу, я подарю тебе красивую новенькую сорочку”.

Услыхав, что госпожа собирается подарить ей сорочку, Зеленушка ответила так: “Если вы, сударыня, подарите мне сорочку, я все, что ни прикажете, сделаю, даже в огонь брошусь”.

“Ну вот и отлично, — заметила вдова. — Пробудь эту ночь в моей постели с мужчиной и приласкай его, но только, молча, чтобы братья мои не услыхали, — ведь они спят за стеной, — а потом я подарю тебе сорочку”.

“Да я, коли нужно, с шестерыми просплю, а не то что с одним”, — молвила Зеленушка.

И вот вечером, в назначенный час, явился настоятель, а молодые люди, как это у них было уговорено с сестрой, были у себя в комнате и громко заявляли о своем присутствии, по каковой причине настоятель в потемках тихохонько пробрался в комнату монны Пиккарды и направился,

как ему было сказано, к постели, – Зеленушка же, наученная монной Пиккардой, как ей надлежит действовать, направилась туда же, но только с другой стороны. Полагая, что с ним монна Пиккарда, отец настоятель заключил Зеленушку в объятия и молча стал целовать ее, а Зеленушка его. Словом, настоятель вступил во владение вожделенными благами и начал развлекаться. Устроив свидание, монна Пиккарда велела братьям доделать остальное. Братья на цыпочках вышли из дому и пошли на площадь, судьба же благоприятствовала им в задуманном предприятии даже больше, чем они рассчитывали. Стояла сильная жара, и епископ велел узнать, дома ли эти молодые люди, – ему хотелось пройтись и выпить у них вина, но тут как раз он увидел, что они сами идут к нему; он признался, чего ему хочется, и пошел с ними; когда же он вошел в прохладный их дворик, освещенный множеством свечей, то не отказал себе в великом удовольствии выпить доброго вина.

Когда же он выпил, молодые люди обратились к нему с такими словами: "Владыка! Вы оказали нам такую милость: удостоили своим посещением убогое наше жилище, – а мы ведь и шли пригласить вас в гости, – соблаговолите же взглянуть на одну вещицу – мы были бы счастливы вам ее показать".

Епископ ответил, что с удовольствием посмотрит. Тогда один из братьев взял зажженный факел и пошел прямо в комнату, где отец настоятель полеживал с Зеленушкой, а за ним – епископ и все остальные; настоятель же успел отмахать более трех миль, ибо все это время он скакал во весь опор, а потому, притомившись, отдыхал, несмотря на жару держа Зеленушку в объятиях. Когда, вслед за освещавшим дорогу молодым человеком, в комнату вошел епископ и все прочие, то епископу в ту же минуту показали настоятеля, обнимавшего Зеленушку. Отец настоятель между тем пробудился и, увидев свет и чужих людей вокруг, от нестерпимого стыда и страха с головою накрылся простыней. Тогда епископ, отчитав настоятеля, велел ему высунуть голову и посмотреть, с кем он лежит. Удостоверившись, что монна

Пиккарда его обманула, и помыслив о том, как он осрамился, настоятель в превеликое впал уныние. Епископ велел ему одеться, а затем настоятеля под усиленным караулом отвели в собор, – там на него должна была быть наложена строжайшая епитимья за совершенный им грех. Затем епископ полюбопытствовал, каким это образом настоятель разлегся тут с Зеленушкой. Молодые люди все рассказали епископу. Епископ очень одобрил и вдовушку, и молодых людей за то, что они, не пожелав обагрять руки в крови священника, обошлись с ним, как он того заслуживал.

Епископ присудил настоятеля сорок дней оплакивать свой грех, однако ж любовь и негодование кающегося оказались столь сильны, что оплакивал он свой грех сорок девять дней с лишком, и, к умножению его несчастий, ему долго потом не давали проходу мальчишки – показывали на него пальцем, кричали: “Глядите! Это он спал с Зеленушкой!” – и чуть было не довели его до сумасшествия. Так почтенная дама избавилась от тошнотворного и нахального настоятеля, а Зеленушка заработала на этом сорочку.

5

Пока судья из Марки
заседает во Флорентийском суде,
трое молодых людей снимают
с него подштанники

Когда Эмилия дошла до конца своей повести и все выразили одобрение вдовушке, королева обратила взор на Филострато.

— Теперь твоя очередь, — сказала она.

Тот сейчас же изъявил готовность и начал так:

— Прелестные дамы! Элисса упомянула одного молодого человека по имени Мазо дель Саджо, и это навело меня на мысль вместо повести, которую я прежде собирался вам предложить, рассказать другую — о нем и о его товарищах, повесть не непристойную, однако ж заключающую в себе такие выражения, которые вы стесняетесь употреблять, но до того смешную, что грех было бы не рассказать ее.

Все вы знаете, что градоправителями у нас нередко бывают уроженцы Марки, и по большей части это — мелкие душонки, народ прижимистый и сквалыжный, всю жизнь они только и делают, что крохоборничают. И вот по причине этого своего сквалыжничества и скопидомства градоправители и привозят с собой таких судей и нотариусов, о которых скорей можно подумать, что они прямо от плуга или из сапожной мастерской, но только не из школы законоведения. Итак, некий градоправитель вместе с множе-

ством других судей привез мессера Никкола да Сан Лепидио, с виду больше всего похожего на кузнеца, и было этому судье поручено вести дела уголовные. Горожанам делать в суде решительно нечего, и все-таки они нет-нет да туда и заглянут, и вот нужно же было случиться так, что однажды утром туда зашел разыскивавший своего приятеля Мазо дель Саджо. Обратив внимание на заседавшего там мессера Никкола, он спросил себя: что это, мол, еще за птица, и стал его разглядывать. На судье была грязная беличья шапка, у пояса болталась чернильница, из-под мантии вылезала нательная рубаха, да и многое другое говорило о том, что судья не принадлежит к числу людей чистоплотных и благородных, но особенно поразили Мазо дель Саджо его подштанники, доходившие чуть не до икр; мантия была узкой, полы ее расходились, и из-под них выглядывали подштанники.

На этом Мазо дель Саджо прекратил осмотр судьи, равно как и поиски своего приятеля, и, отправившись на новые поиски, встретил двух других своих приятелей, из коих одного звали Риби, а другого – Маттеуццо, не меньших забавников, нежели он сам. "Хотите доставить мне удовольствие? – спросил он. – Пойдемте в суд: я вам покажу такое чучело, какого вы сроду не видывали".

Все трое пошли в суд, и Мазо показал своим приятелям судью и его подштанники. Приятели еще издали начали покатываться, а подойдя ближе к скамьям, на одной из коих восседал господин судья, они обнаружили во-первых, что под скамьи легко подлезть, а во-вторых, что перекладина, на которой покоились ноги судьи, треснула, и в дыру ничего не стоило просунуть руку.

"Меня так и подмывает совсем стащить с него подштанники – уж больно это просто!" – сказал своим товарищам Мазо.

Каждому было ясно, как за это взяться, а потому, условившись, что нужно делать и что говорить, приятели на другое утро опять пришли в суд. В переполненной зале Маттеуццо ухитрился незаметно подлезть под скамью и

очутиться как раз возле судейских ног. Тем временем к судье с одной стороны приблизился Мазо и взял его за полу мантии, а с другой стороны к нему подошел Риби и сделал то же самое, и тут заговорил Мазо. "Господин судья, а господин судья! – начал он. – Пока вот этот воришка не улизнул, ради бога велите ему вернуть мне сапоги: он у меня их стибрил, но не признается, а я с месяц тому назад собственными глазами видел, как он отдавал поставить на них новые подметки".

А с другой стороны вопил Риби: "Не верьте ему, господин судья, – он плутяга: он прекрасно знает, что я пришел в суд, чтобы потребовать сундук, который он у меня спер, – потому-то он и завел речь про сапоги, а ведь я эти сапоги давным-давно купил. Коли не верите, могу вам представить свидетелей: мою соседку-зеленщицу, потом Толстуху, которая требухой торгует, и потом еще мусорщика, который собирает отбросы возле церкви Санта Мария, что у Фредианских ворот, – мусорщик видел, как тот возвращался из пригорода".

Мазо не давал Риби слова сказать – орал во всю глотку, а Риби еще того лише. Чтобы лучше их слышать, судья встал со скамьи – этим не преминул воспользоваться Маттеуццо: он просунул руку в дыру, которая образовалась в перекладине, и, ухватившись за задок судейских подштанников, изо всех сил потянул их книзу. Подштанники немедленно спустились, ибо судья был худ – кожа да кости. Чувствуя, что что-то неладно, но еще не понимая, в чем дело, судья попытался было запахнуть мантию и сесть на свое место, но Мазо и Риби вцепились в нее с обоих боков. "Нехорошо вы делаете, господин судья! – кричали они дикими голосами. – Не желаете рассудить меня, не хотите даже выслушать, порываетесь уйти. В нашем городе из-за таких пустяков переписки не заводят". И так они долго еще держали его за мантию – до тех пор, пока все, кто был в суде, не увидели, что с судьи спустили подштанники. Маттеуццо некоторое время их подержал, а потом отпустил и незаметно вышел из залы. Риби, вдоволь над судьею натешившись, объявил: "Я пожа-

луюсь в управу, ей-богу, пожалуюсь!" Мазо тоже отпустил полу мантии. "Ну, а я, – сказал он, – буду ходить и ходить в суд и дождусь такого дня, когда вы будете посвободнее". Словом, все трое с великою поспешностью разошлись кто куда.

Господин судья натянул при всех подштанники, и вид у него был такой, словно он только сейчас проснулся; догадавшись наконец, что́ произошло, он осведомился, куда делись те, что препирались из-за сапог и сундука. Когда же судья удостоверился, что они скрылись, то поклялся божьим чревом дознаться и допытаться, существует ли во Флоренции обычай снимать с судьи подштанники во время судебного заседания. А как скоро это происшествие достигло ушей градоправителя, то и он расшумелся; друзья, однако ж, сумели убедить его, что все это было проделано единственно для того, чтобы показать градоправителю, что флорентийцы понимают, почему вместо судей он привез с собой скотов, – так, мол, дешевле, и градоправитель почел благоразумным смолчать, и на этом дело и кончилось.

6

Бруно и Буффальмакко
крадут у Каландрино свиную тушу;
оба советуют Каландрино постараться найти ее,
испытав подозреваемых на имбирных пилюлях
и верначче, а ему дают, одну за другой, две пилюли
из собачьего кала, в который подбавлен сабур.
Каковое испытание всем доказывает,
что Каландрино сам у себя стащил свинью;
под угрозой все рассказать его жене
Бруно и Буффальмакко требуют
с Каландрино откуп

Как скоро Филострато окончил свою всех насмешившую повесть, королева велела рассказывать Филомене, и Филомена начала так:

— Обворожительные дамы! Подобно как имя Мазо навело Филострато на мысль рассказать повесть, которую вы только что слышали, так же точно и мне имена Каландрино и его приятелей привели на память одно происшествие; о нем-то я и поведу рассказ — надеюсь, он вам понравится.

Мне незачем пояснять вам, кто такие Каландрино, Бруно и Буффальмакко, — вы уже довольно о них наслышаны, — а потому я прямо приступаю к рассказу: итак, у Каландрино близ Флоренции было небольшое имение, которое он получил в приданое за женой; именьице при-

носило хозяину доход, — между прочим, там ежегодно откармливалась свинья. В самом конце ноября Каландрино непременно отправлялся туда с женой, резал свинью и солил ее.

Нужно же было случиться так, чтобы в этот год жена Каландрино оказалась не совсем здорова, и пришлось ему одному идти резать свинью. Сведав о том и узнав наверное, что жена Каландрино остается дома, Бруно и Буффальмакко тот же час отправились к одному священнику, ближайшему их другу, соседу Каландрино, с тем чтобы несколько дней у него погостить. Пришли они к священнику как раз в то утро, когда Каландрино зарезал свинью. Увидев Бруно и Буффальмакко вместе со священником, Каландрино окликнул их. "Добро пожаловать! — сказал он. — Поглядите, какой я хороший хозяин". И тут он повел их к себе и показал свинью.

Свинья оказалась отменная; Каландрино признался, что намерен засолить ее, но не на продажу, а для себя. "Экий же ты дуралей! — воскликнул Бруно. — Да ты лучше продай свинью, деньги мы прокутим, а женке скажешь, что ее у тебя украли".

"А она не поверит и выгонит меня из дому, — возразил Каландрино. — Нет уж, оставьте, все равно вы этого от меня не добьетесь".

Сколько ни уговаривали Каландрино, он остался непреклонен. Он пригласил приятелей закусить чем бог послал, но они отказались и ушли.

"А что, если мы ночью украдем у него свинью?" — сказал Бруно.

"Каким образом?" — спросил Буффальмакко.

"Каким образом — это я уже обдумал, — отвечал Бруно, — лишь бы только он ее не перенес на другое место".

"Коли так — спроворим, — заключил Буффальмакко. — Да и почему бы, собственно, не спроворить? А потом мы вместе с его преподобием устроим пир".

Священник сказал, что он с удовольствием поел бы свининки.

"Тут уж придется пуститься на хитрость, – снова заговорил Бруно. – Ты знаешь, Буффальмакко, какой Каландрино скряга и какой он любитель выпить на чужой счет. Так вот, мы сведем его в таверну, и там священник пусть скажет, что по случаю нашего прибытия он всех угощает, и не позволит ему платить. Каландрино упьется, и тогда мы все обделаем в лучшем виде, – ведь дома-то он один!"

Как Бруно сказал, так и было сделано. Видя, что священник не позволяет платить, Каландрино давай хлестать; впрочем, ему немного и нужно-то было, так что вскоре он уже был хорош. Ужинать он не стал, ушел из таверны за полночь и когда входил к себе, то вообразил, что запер за собою дверь, хотя на самом деле оставил ее незапертой, а войдя, лег спать. Буффальмакко же и Бруно пошли к священнику ужинать, отужинали, а потом, захватив с собою кое-какой инструмент, потребный для того, чтобы проникнуть в дом к Каландрино в том месте, которое выбрал Бруно, два приятеля осторожным шагом направились к Каландрино и, обнаружив, что входная дверь не заперта, вошли, сняли с гвоздя свиную тушу, отнесли ее к священнику, хорошенько припрятали и улеглись спать.

К утру хмель у Каландрино прошел; он встал с постели, сошел вниз и увидел, что дверь отворена, а свиньи нет. Он стал спрашивать того, другого, не видали ль, кто стянул у него свинью, – никто не знал; тогда он поднял страшнейший шум: дескать, у него, бедного, несчастного, свинью украли. Бруно же и Буффальмакко встали и пошли к Каландрино послушать, что-то он скажет им про свинью. Увидев их, Каландрино со слезами сказал: "Друзья! У меня несчастье: свинью украли!"

Бруно подошел к Каландрино и шепнул ему на ухо: "Что за диво! Первый раз в жизни ты поступаешь умно".

"Ах ты господи, да ведь я правду говорю!" – возразил Каландрино.

"Продолжай в том же духе, – сказал Бруно, – ори во всю мочь, так будет еще правдоподобнее".

Тут Каландрино и впрямь еще громче крикнул: "Клянусь телом Христовым, у меня правда украли свинью!"

"Так, так! – подзуживал его Бруно. – Если хочешь достигнуть цели – вопи громче: тогда тебя все услышат и подумают, что взаправду украли".

"Ты меня до исступления доведешь! – вскричал Каландрино. – Я говорю, а ты не веришь! Висеть мне на виселице, если свинью у меня не унесли!"

"Постой! Как же это могло случиться? – сказал Бруно. – Я еще вчера видел ее вот здесь. Неужели ты думаешь, что я могу подумать, будто ее у тебя уволокли?"

"Я говорю так, как оно есть", – подтвердил Каландрино.

"Да как же так?" – спросил Бруно.

"А вот так, – отвечал Каландрино. – Пропащий я теперь человек, – как же я домой покажусь? Жена мне не поверит, а хоть бы и поверила – все равно потом дуться на меня целый год будет".

"Ай-ай-ай! – воскликнул Бруно. – Коли так, то дело плохо. Но только вот что, Каландрино: ведь я же сам вчера научил тебя так голосить. Морочь кого хочешь, только не женку и не нас с Буффальмакко".

Тут Каландрино разбушевался и раскричался: "Вы меня до того доведете, что я начну хулить бога, святых и все подряд! Вам же говорят: ночью у меня украли свинью!"

"Если правда украли, значит, нужно подумать, как бы отнять ее у вора", – заметил Буффальмакко.

"А как ее найти?" – спросил Каландрино.

"Да ведь не из Индии же кто-то пришел слямзить у тебя свинью, – верно, кто-нибудь из соседей, – заметил Буффальмакко. – Постарайся созвать всех до единого – я умею испытывать людей на хлебе и сыре, и мы тогда сразу узнаем, кто спер".

"Много ты вытянешь с помощью хлеба и сыра у соседских молодчиков, а ведь я уверен, что это кто-нибудь из них постарался, – возразил Каландрино. – Догадаются, зачем их зовут, и не явятся".

"Как же быть?" – спросил Буффальмакко.

“Это можно сделать при помощи имбирных пилюлек и доброй верначчи, – отвечал Бруно. – Надобно пригласить их выпить – они не поймут и придут, а имбирные пилюли можно заговорить так же, как хлеб и сыр”.

“Ей-богу, ты прав, – заметил Буффальмакко. – А ты что скажешь, Каландрино? Сделать так, как он говорит?”

“Ради всего святого! – воскликнул Каландрино. – Мне бы только узнать, кто уворовал, – я уже наполовину был бы утешен”.

“Коли так, – подхватил Бруно, – то для тебя я готов пойти за пилюлями и вином во Флоренцию, но только если ты дашь мне денег”.

У Каландрино было около сорока сольдо, – он их и отдал Бруно.

Во Флоренции Бруно зашел к своему другу аптекарю, купил у него фунт хороших имбирных пилюль и заказал еще две пилюли из собачьего кала, в который он просил подбавить свежего сабура; пилюли эти он просил посахарить, точь-в-точь как имбирные, а чтобы не смешать их и не спутать, он просил сделать на них какой-нибудь знак, чтобы их можно было легко отличить; еще он купил бутыль доброй верначчи и, возвратившись к Каландрино, сказал: “Завтра постарайся угостить тех, кто у тебя на подозрении. Явятся все, – ведь завтра праздник, – а ночью мы с Буффальмакко заговорим пилюли, и утром я их тебе принесу. По старой дружбе я все устрою сам: пилюли раздам, гостей уважу и все улажу”.

Каландрино так именно и поступил. И вот наутро, когда возле церкви, под вязом, собралось немало молодых флорентийцев, прибывших в свои усадьбы, равно как и местных крестьян, Бруно и Буффальмакко явились с коробкой пилюль и бутылью вина, и, посадив всех в кружок, Бруно заговорил: “Синьоры! Я хочу объяснить, для чего мы вас здесь собрали, чтобы в случае чего вы на меня потом не жаловались. У Каландрино, – вон он сидит! – ночью утянули роскошную свиную тушу, и он до сих пор ее не нашел, а так как утянуть ее никто, кроме нас, здесь присутствующих, не

мог, то, дабы установить, кто именно ее подтибрил, он предлагает вам съесть по одной пилюле и выпить вина. Упреждаю вас: кто спер свинью, тот не сможет проглотить пилюлю – она покажется ему горше яда, и он выплюнет ее, а потому пусть лучше тот, кто украл, покается в своем грехе священнику, чем срамиться при народе, я же обещаю этому делу хода не давать".

Все изъявили желание съесть пилюли. Тогда Бруно рассадил всех, в том числе и Каландрино, и, начав с одного конца, стал раздавать пилюли. Дойдя до Каландрино, он положил ему на ладонь пилюлю из собачьего этого самого. Каландрино, нимало не медля, сунул ее в рот и начал разжевывать, но как скоро язык его ощутил вкус сабура, во рту у него стало так горько, что он не удержался и выплюнул пилюлю. Между тем все зорко следили друг за другом – не выплюнет ли кто-нибудь, и не успел Бруно, сделавший вид, что ничего не заметил, дораздать пилюли, как за его спиной послышался чей-то голос: "Эй, Каландрино, ты что это?" Тут Бруно живо обернулся и, удостоверившись, что Каландрино выплюнул пилюлю, сказал: "Погодите! Может, он по какой-либо другой причине выплюнул. На-ка еще!" С этими словами он положил ему другую пилюлю прямо в рот, а затем дораздал остаток. Если первая пилюля показалась Каландрино горькой, то вторая – горькой-прегорькой, а выплюнуть ему было стыдно, и он некоторое время ее жевал, меж тем как из глаз у него текли слезы величиною с орех, однако ж в конце концов сил его не стало, и вторую пилюлю постигла та же участь, что и первую. В это время Буффальмакко и Бруно поили собравшихся. Увидев, что Каландрино выплюнул и вторую пилюлю, все сошлись на том, что, вне всякого сомнения, он сам у себя украл свинью, а некоторые принялись ругательски ругать его.

Наконец все разошлись – с Каландрино остались только Буффальмакко и Бруно. "Я с самого начала был убежден, – обратясь к Каландрино, заговорил Буффальмакко, – что ты сам же ее и похитил, а нас уверял, будто ее у тебя ук-

рали, для того чтобы не распить с нами те деньги, которые ты за нее получил".

Каландрино, во рту у которого все еще было горько, начал божиться, что и не думал похищать у себя свинью.

"Скажи-ка, брат, по чистой совести, – спросил Буффальмакко, – сколько ты за нее содрал? Уж не меньше шести флоринов?"

Каландрино это взорвало. "Послушай, Каландрино, – вмешался тут Бруно. – Один из тех, которые с нами ели и пили, сказал мне, что ты здесь завел себе девочку и что ей от тебя перепадает; так вот, он уверен, что свинью ты послал своей красотке. Здорово же ты наловчился дурачить добрых людей! Повел нас по берегу Муньоне собирать черные камни, потом дал тягу, а нас оставил, что называется, на корабле без сухарей и потом еще уверял, будто нашел камень, а теперь клянешься и божишься, будто у тебя украли свинью, которую ты сам же кому-то подарил или продал. Мы тебя раскусили, мы тебя видим насквозь, больше тебе своими плутнями на удочку нас не поддеть, однако ж, сказать по правде, хитрость наша обошлась нам недешево, вот мы с Буффальмакко и порешили взять с тебя по сему случаю двух каплунов, а коли не дашь – мы все расскажем монне Тессе".

Видя, что ему не верят, и рассудив, что, дескать, мало ему покражи – недостает только головомойки от жены, Каландрино дал им двух каплунов. Свинью они засолили и отвезли во Флоренцию; Каландрино же остался внакладе, да еще и в дураках.

7

Студент любит вдовушку,
а вдовушка любит другого
и заставляет студента ночь напролет
прождать ее на снегу; впоследствии
по наущению студента
она в середине июля целый день
стоит на башне нагая,
и ее жалят мухи, слепни
и печет солнце

Дамы много смеялись над горемычным Каландрино и смеялись бы еще больше, если б им не было досадно, что те самые люди, которые стащили у Каландрино свинью, с него же стребовали каплунов. Как скоро рассказ о Каландрино пришел к концу, королева велела рассказывать Пампинее, и та сейчас же начала:

— Милейшие дамы! Одна хитрость часто смеется над другою — вот почему безрассудно смеяться над себе подобными. Слушая разные историйки, мы много смеялись над всевозможными проделками, но вот об отместке за них мы не слыхали ни разу. Мне же хочется вызвать у вас сострадание к одной нашей согражданке, понесшей заслуженную кару, — ее проделку ей припомнили, и она едва не стоила ей жизни. Послушать мой рассказ вам будет не бесполезно — вы уже не так будете потом смеяться над другими, и в том проявится ваш превеликий разум.

Не так давно жила-была во Флоренции молодая женщина по имени Элена, красивая, гордая, славного рода и отнюдь не обойденная судьбой по части земных благ. Оставшись вдовой, она не пожелала вторично выходить замуж, так как по своей доброй воле отдала сердце некоему пригожему и очаровательному юноше и, позабыв обо всем на свете, при посредстве служанки, которая пользовалась у нее доверием безграничным, часто проводила с ним время, наслаждаясь безоблачным счастьем. Случилось, однако ж, так, что один молодой человек по имени Риньери, принадлежавший к городской знати, долго учившийся в Париже, но не для того, чтобы потом, по примеру многих других, торговать своими сведениями, а чтобы, как подобает человеку благородному, к источнику знания приникнуть и в суть и корень вещей проникнуть, вернулся тогда из Парижа во Флоренцию и, будучи весьма уважаем как за благородное свое происхождение, так и за свои познания, здесь обосновался и зажил на широкую ногу. Но те, кто отличается умом глубоким, чаще всего и теряют голову от любви, — так именно и произошло с нашим Риньери. Однажды он поехал на бал, там его взору явилась Элена в черном платье, как у нас полагается быть одетой вдове, и он усмотрел в ней столько красоты и столько прелести, сколько, как ему казалось, ни у одной женщины он до сих пор не видал. Только тот человек, думалось ему, имеет право назвать себя счастливым, кого господь сподобил держать ее, нагую, в своих объятиях. Искоса на нее поглядывая, он, отдав себе отчет, что все великое и драгоценное дается нелегко, порешил не жалеть трудов и усилий, чтобы понравиться ей, понравившись — влюбить ее в себя, а добившись этого — получить возможность обладать ею. Взгляд у молодой женщины вовсе не был устремлен в преисподнюю, — напротив того, думая о себе больше, чем следовало, она ловко водила глазами и сразу замечала, кто ею любуется. Обратив внимание на Риньери, она усмехнулась про себя. “Нынче я не зря сюда пришла, — подумала она. — Если не ошибаюсь, птичка попалась”. И вот она нет-нет да и поглядит на него вскользь и

даст понять, что он произвел на нее впечатление. Помимо всего прочего, Элена рассуждала так, что чем больше она силою своих чар приманит и поймает поклонников, тем выше будут ценить ее красоту, в особенности тот, кому она подарила ее вместе со своею любовью.

Молодой ученый больше уже не философствовал – все его мысли были заняты Эленой. Ласкаясь надеждою понравиться ей, он разузнал, где она живет, и под разными предлогами начал прохаживаться мимо ее дома. По указанной причине это не могло не льстить ее самолюбию, и она притворялась, что его появления доставляют ей удовольствие, вследствие чего студент, воспользовавшись удобным случаем, вошел в дружбу к ее служанке, поведал ей тайну своей любви и попросил замолвить за него словечко госпоже. Служанка твердо обещала и все рассказала госпоже – та выслушала ее и залилась хохотом. "Что же это он, нажил ума-разума в Париже и уже успел все растерять? – сказала она. – Ну хорошо, чего домогается, то от нас и получит. Когда он еще раз с тобою заговорит, скажи, что я люблю его гораздо сильнее, чем он меня, но мне нужно беречь мое доброе имя, чтобы я могла, как все честные женщины, высоко держать голову, и если он и впрямь так умен, как о нем говорят, то должен еще больше меня за это ценить". Ах, бедняжка, бедняжка! Не знала она, мои дорогие, что значит связываться со студентами. Служанка при встрече передала студенту все, что ей наказывала госпожа. Студент на радостях перешел к еще более жарким мольбам, начал писать письма, посылать подарки – все принималось, но в ответ студент получал общие фразы, и так Элена долго водила его за нос.

Она все рассказала своему возлюбленному, и тот на нее рассердился, даже стал ревновать, и вот, чтобы доказать ему, что он к ней несправедлив, она как-то раз послала к студенту, который все еще упорно домогался ее расположения, служанку, и та от ее имени ему сказала, что Элена давно уже уверилась в его чувстве к ней, что до сих пор ей все не удавалось доставить ему удовольствие, но что подходят

святки, и вот-де на святках она надеется с ним побыть, так что, если ему угодно, пусть, мол, на другой день праздника вечером придет к ней во двор, а она при первой возможности к нему выйдет. Студент был наверху блаженства; в условленный час он пошел к своей возлюбленной, служанка впустила его во двор и заперла калитку, а он остался ждать Элену.

В тот же вечер Элена позвала к себе своего возлюбленного и после веселого ужина сообщила, что она затеяла в эту ночь. "Теперь ты увидишь, сколь сильное и глубокое чувство у меня было и есть к тому человеку, к которому ты так глупо меня приревновал", – прибавила она. От этих ее слов любовник возвеселился духом, и ему уже не терпелось поглядеть, как будет приводиться в исполнение ее замысел. Накануне выпало много снегу, всюду намело сугробов, и студент очень скоро стал мерзнуть, однако ж, уповая на награду, терпел.

Немного спустя Элена предложила своему возлюбленному: "Пойдем в ту комнату, поглядим в окошко – что поделывает тот человек, к которому ты меня приревновал, и послушаем, что он ответит служанке, – я ей велела поговорить с ним".

Они подошли к окошку, – им все отсюда было видно, а вот их никто не мог увидеть, – и подслушали разговор служанки со студентом. "Риньери! – сказала служанка. – Моя госпожа очень расстроена: к ней брат пришел, долго разговаривал, потом изъявил желание отужинать и до сих пор еще не ушел, но теперь она скоро к тебе выйдет. Она просит тебя не пенять на нее за долгое ожидание".

Не подозревавший обмана студент ответил ей так: "Скажи моей бесценной, чтобы она обо мне не беспокоилась. Нельзя так нельзя – пусть выйдет, когда освободится".

Служанка пошла спать.

"Ну? Что скажешь? – обратилась к своему возлюбленному Элена. – Если б я точно любила этого человека, как это ты себе вбил в голову, то неужели же заставила бы его мерзнуть во дворе?" Тут она и ее отчасти удовлетворенный лю-

бовник легли в постель и долго-долго блаженствовали и наслаждались, смеясь и потешаясь над злосчастным студентом.

Студент, чтобы согреться, ходил по двору и делал различные телодвижения, но спрятаться от стужи ему было негде, и он проклинал засидевшегося у Элены брата. При каждом шорохе у него возникала надежда, что это она отворяет ему дверь, но ожидания его были напрасны.

Порезвившись со своим возлюбленным до полуночи, Элена его спросила: “Как тебе, душа моя, нравится наш студент? Что, по-твоему, сильнее: его благоразумие или же моя любовь к нему? И не выморозит ли в твоей груди стужа то, что в ней поселили мои шутки?”

“Душенька моя! Теперь я вижу, что ты мое блаженство, мое утешение, моя радость, мое упование, а я весь твой!” – сказал ей в ответ возлюбленный.

“Ну так поцелуй же меня тысячу раз – тогда я тебе поверю”, – молвила Элена. И тут любовник сдавил ее в объятиях и поцеловал даже не тысячу, а более ста тысяч раз.

Поговорив еще немного с возлюбленным, Элена предложила ему: “Давай встанем и поглядим, не погас ли тот огонь, в котором целый день горел новоявленный мой любовник, как он писал о том в своем письме ко мне”.

Оба встали, подошли к тому же самому окошку и, заглянув во двор, увидели, что студент, промерзнув до костей, под щелканье собственных зубов выбивает на снегу чечетку, да такую быструю и частую, какой им отроду видеть не приходилось. “Что скажешь, моя отрада? – спросила Элена. – Теперь ты видишь, что когда мои поклонники ради меня вытанцовывают дробь, то им не нужны ни трубы, ни волынки?”

“Вижу, счастье мое!” – со смехом отвечал ей возлюбленный.

“Давай подойдем к двери, – предложила Элена. – Ты молчи – говорить буду я. Любопытно знать, что-то он скажет. Может, его ответы будут еще забавнее, чем его вид”. На цыпочках выйдя из комнаты, они приблизились к вход-

ной двери, и тут Элена, не отворяя ее, прильнула к замочной скважине и шепотом позвала студента.

Услыхав, что его зовут, и понадеявшись, что сейчас он войдет в помещение, студент мысленно возблагодарил бога. "Я здесь, сударыня, – подбежав к двери, проговорил он, – ради бога, отворите, я замерз!"

"Уж больно ты зябкий! – молвила Элена. – Какой же это холод – снегу-то ведь немного! В Париже куда больше бывает снегу! Я еще не могу тебе отворить – мой окаянный братец отужинал и не уходит. Но он скоро уйдет, и тогда я сейчас же отворю. Я от него еле вырвалась на секундочку, чтобы тебе не так томительно было ждать".

"Ах, сударыня! – возопил студент. – Отворите мне ради создателя, дайте побыть в тепле, – весь день бушевала вьюга и сейчас еще метет, а в закрытом помещении я буду ждать сколько угодно".

"Не могу, голубчик, – сказала Элена, – дверь очень скрипучая, как бы братик не услыхал, но я его сейчас выпровожу, приду и отворю".

"Пожалуйста, поскорей! – взмолился студент. – И вот еще что: будьте добры, прикажите развести пожарче огонь, а то я весь закоченел".

"Не может быть, – возразила Элена, – ведь ты же сам писал мне, что пылаешь ко мне любовью. Да нет, ты просто шутишь надо мной! Ну, я пойду, а ты жди и не падай духом". В восторге от этого разговора, любовник возвратился с Эленой в ее опочивальню, но только эту ночь они почти не спали: все только миловались да посмеивались над студентом.

А несчастный студент щелкал зубами, как волк; он уже догадывался, что над ним смеются, пытался отворить дверь, искал другого выхода и, не находя, метался, как лев в клетке, проклиная и непогодь, и женское коварство, и ночи зимней долготу, а заодно и свою простоту. Он был так сердит на Элену, что его длительная и жаркая страсть внезапно превратилась в дикую, бешеную злобу, и он уже перебирал в уме разные способы мести, один другого страшнее,

ибо мести он жаждал теперь сильней, нежели еще так недавно жаждал свидания со своею возлюбленною.

Ночь тянулась бесконечно долго, но все же уступила место дню, и когда стало светать, служанка, исполняя приказание своей госпожи, вышла во двор, отворила калитку и, изобразив на своем лице сочувствие, сказала студенту: "А, чтоб ему пусто было, вчерашнему нашему гостю! Мы из-за него всю ночь волновались, а ты тут мерзнул. Но только ты не горюй – что сорвалось нынче ночью, то не сорвется в другой раз. Моей госпоже это было так неприятно, так неприятно, уж ты мне поверь!"

У студента в душе все кипело, но он был человек рассудительный и прекрасно понимал, что угрозы – это оружие того, кто сам находится под угрозой, а потому предпочел затаить в груди слова, под действием неукротимого гнева рвавшиеся у него наружу. Не возвышая голоса и не показывая вида, что он озлоблен, студент ответил служанке: "Откровенно говоря, такой скверной ночи у меня еще не было, но я понимаю, что твоя госпожа нисколько не виновата, тем более что она меня пожалела и приходила извиниться и подбодрить меня. Ты же сама говоришь: что сорвалось нынче ночью, то не сорвется в другой раз. Не забудь поклониться от меня своей госпоже. Ну, оставайся с богом!"

Скрючившись от холода, студент еле добрался до дому. Дома усталость и бессонная ночь сморили его, и он повалился на постель и заснул; когда же он проснулся, то ему показалось, что ни рук, ни ног у него нет. Тогда он послал за лекарем и, рассказав, как он продрог, попросил его принять меры. Лекари применили к нему средства сильные, действующие быстро, и все же им лишь по прошествии некоторого времени удалось привести его мышцы в такое состояние, что они вновь обрели способность сокращаться, а не будь он так молод и если б не наступила теплая погода, он бы еще намучился. Когда же он снова стал бодрым и свежим, то, глубоко запрятав свою ненависть, притворился, что никогда еще не был так влюблен в свою госпожу, как теперь.

И вот некоторое время спустя судьба предоставила ему возможность осуществить свое намерение. Молодой человек, которого любила вдова, презрел ее чувство и, прельстившись другою женщиною, выказывал по отношению к Элене совершенное равнодушие и холодность, отчего Элена скорбела и плакала не осушая глаз. Служанка очень жалела свою госпожу, но не знала, как рассеять ее тоску по изменившем ей возлюбленном. Студент между тем все так же прохаживался под окнами Элены, и вот у служанки явилась безрассудная мысль: с помощью некромантии пробудить в бывшем любовнике прежнее чувство, студент же — думалось ей — должен быть великим мастером по некромантической части, и все эти свои домыслы служанка выложила госпоже. Ум у госпожи был короткий, и, не сообразив, что если б студент знал толк в некромантии, то, верно уж, воспользовался бы ею в своих целях, она вполне прониклась доводами служанки, велела ей переговорить со студентом и, в случае его согласия, дать ему твердое обещание, что, какой бы награды он себе за это ни попросил, желание его будет, дескать, исполнено.

Служанка выполнила поручение в точности и добросовестно. Выслушав ее, студент возрадовался. “Слава тебе, господи! — подумал он. — Наконец-то пришло время с твоею помощью наказать подлую женщину, опозорившую меня в благодарность за мою великую к ней любовь”. А служанке он сказал так: “Передай владычице моей души, чтобы она не печалилась: если б даже ее возлюбленный находился в Индии, я бы и оттуда немедленно вызвал его и заставил просить у нее прощения за то, что он так ее изобидел. А как ей надлежит действовать — об этом она от меня узнает, когда и где ей будет угодно. Так ты ей и передай и скажи, чтоб она не волновалась”. Служанка сообщила его ответ госпоже, и Элена условилась встретиться со студентом в Санта Лючия дель Прато.

Когда Элена и студент пришли на свидание и начали беседовать наедине, Элена, позабыв о том, что она чуть было его не заморозила, чистосердечно призналась ему во всем

и попросила помочь ей, студент же ответил так: “Признаюсь, сударыня, в Париже я, между прочим, изучил и некромантию, – тайны ее мне открыты, – но занятие это богопротивное, и я дал клятву никогда не прибегать к ней ни ради себя, ни ради других. И все же я так вас люблю, что ни в чем не могу отказать вам, и, если бы даже за одно это я угодил в пекло, все равно я исполню ваше желание. Но только я упреждаю вас, что некромантия – дело трудное, труднее, чем вы, вероятно, себе его представляете, особливо когда речь идет о том, чтобы заставить мужчину полюбить женщину или женщину заставить полюбить мужчину, потому что здесь нельзя обойтись без участия заинтересованного лица, и участнику надлежит быть неустрашимым, ибо это нужно проделать ночью, в уединении, без свидетелей, а я не знаю, способны ли вы на это”.

“Ради любви я готова на все, лишь бы вернуть человека, который ни за что ни про что меня бросил, – отвечала пылкая, но недалекая Элена, – Ты только скажи мне на милость: в чем именно должна выразиться моя неустрашимость?”

Тут глаза у студента загорелись недобрым огнем. “Мне нужно будет, сударыня, изготовить оловянное изображение того человека, любовь которого вы желаете вернуть, – отвечал он, – и вот, как скоро я пришлю вам его, вы должны ночью в первосонье, когда месяц будет уже не так ярко, светить, раздеться догола, взять в руки изображение и семь раз окунуться в проточную воду, а затем совершенно голой взлезть на дерево или на крышу нежилого дома и, повернувшись лицом к северу, с изображением в руке семь раз подряд произнести те несколько слов, которые я вам напишу. Когда же вы их произнесете, перед вами предстанут две девушки, писаные красавицы, поздороваются с вами и любезно спросят, в чем заключается ваше желание. Вы им на это вразумительно и подробно ответите, но только смотрите не назовите кого-нибудь другого. Девушки после этого удалятся, а вам тогда можно будет спуститься, одеться и вернуться домой. Ручаюсь вам, что в следующую же ночь придет ваш возлюб-

ленный и будет со слезами каяться и просить у вас прощения, и больше он ни на кого вас не променяет".

Выслушав студента и всему поверив, Элена обрадовалась так, как будто мечта ее уже наполовину сбылась; ей казалось, что она снова держит любовника в своих объятиях. "Можешь не сомневаться, что я все исполню как нельзя лучше, тем более что у меня есть для этого полная возможность, — сказала она. — В Верхнем Вальдарно недалеко от реки расположена моя усадьба, а ведь сейчас июль — самое время для купанья. Помнится, там неподалеку от реки стоит необитаемая башенка; на вышку ведет приставная лестница из каштанового дерева, туда иной раз взбираются пастухи поглядеть, не видать ли где отбившейся от стада скотины, — место, как видишь, безлюдное и глухое. Туда-то я и заберусь и все, что ты мне велишь, отлично исполню".

Студент прекрасно знал эти места, знал и эту башенку; Довольный тем, что Элена приняла твердое решение, он сказал ей: "Мне, сударыня, не приходилось бывать в тех краях, я не знаю ни ваших владений, ни башенки, но если все обстоит так, как вы говорите, то лучше и желать нечего. Итак, немного погодя я пришлю вам изображение и заклинание, но только очень прошу вас: как скоро желание ваше исполнится и вы уверитесь, что я сослужил вам службу, — вспомните тогда обо мне и слово свое сдержите". Элена сказала, что он может быть совершенно спокоен, и, простясь с ним, возвратилась домой.

Обрадованный тем, что замысел его близок к осуществлению, студент приготовил изображение, что-то на нем нацарапал, вместо заклинания написал какую-то чепуху, затем отослал и то и другое Элене и велел передать ей, чтобы она этого дела не откладывала: пусть, мол, нынче же ночью исполнит то, о чем у него был с ней разговор, а сам взял с собою слугу и, дабы насладиться плодами задуманного предприятия, отправился тайком к своему другу, жившему совсем близко от башенки.

Туда же направила путь и Элена со своей служанкой, и, когда наступила ночь, она сделала вид, что сейчас ляжет, а

служанку услала спать, и вот в первосонье крадучись вышла она из дому, пошла к башенке, что стояла на берегу Арно, и долго оглядывалась по сторонам, — кругом все тихо, нигде ни души; тогда она разделась, спрятала одежду под кустом, семь раз с изображением в руке окунулась, а затем, нагая, не выпуская из рук изображения, пошла к башенке. Студент со слугою еще с вечера схоронился подле башенки среди ив и других деревьев, и он видел, как она окуналась; когда же она, сверкая во мраке ночи белизною своего обнаженного тела, прошла мимо него, он разглядел ее грудь, разглядел ее всю, восхитился тем, как прекрасно она сложена, и, подумав о том, что в самом непродолжительном времени с этим телом станется, ощутил нечто похожее на жалость, но тут же в нем заговорила плотская похоть и заставила нечто перейти из лежачего состояния в стоячее, так что студент готов был выскочить из засады, схватить Элену и удовлетворить свое желание, — словом, он был раздираем противоположными чувствами. Когда же он пришел в себя и вспомнил, как и за что его оскорбили, то снова вознегодовал и, подавив в себе и сострадание, и позывы плоти, решился во что бы то ни стало довести дело до конца и не остановил Элену. Элена взошла на башню и, повернувшись лицом к северу, начала произносить слова, которые он ей написал. Малое время спустя студент подкрался к башенке, незаметно убрал лестницу, ведшую на вышку, где сейчас находилась Элена, и начал за ней наблюдать.

Элена семь раз подряд сотворила заклинание и стала поджидать девушек, но прождала она их, дрожа от холода, до самой зари — девушки так и не появились. Огорченная тем, что предсказания студента не сбылись, она невольно подумала: "А не устроил ли он мне такую же ночь, какую я когда-то устроила ему? Если так, то это неудачная месть: нынешняя ночь втрое короче той, да и похолодней тогда было". Тут она решилась спуститься, чтобы день не застал ее на башне, и вдруг обнаружила, что лестницы нет. Перед глазами у нее все поплыло, сердце зашлось, и она упала как подкошенная. Когда же она очнулась, то начала горько пла-

кать и роптать на судьбу. Смекнув, что это дело рук студента, она стала упрекать себя в том, что напрасно обидела человека, а равно и в том, что доверилась этому человеку, которого не без основания должна была считать своим недругом. И так прошло много времени. Поглядев, нельзя ли каким-либо другим способом сойти с башни, но ничего утешительного не обнаружив, Элена пришла в отчаяние и снова заплакала и запричитала: "Горе тебе! Что скажут твои братья, твои родственники, соседи и все флорентийцы, когда узнают, что тебя нашли здесь нагою? Твое доброе имя было до сего дня незапятнанным, а теперь все станут говорить, что о тебе составилось ложное мнение. Если бы даже ты и попыталась как-нибудь вывернуться, что́ не так-то уж трудно, проклятый студент, которому все про тебя известно, выведет тебя на чистую воду. Нужно же уродиться такой несчастливой: одновременно утратить возлюбленного, которого ты полюбила на свою беду, и свое доброе имя!" Тут душевная ее мука достигла такой силы, что она чуть было не бросилась с башни.

В это время взошло солнце, и Элена, подойдя к краю вышки, посмотрела вокруг — не видать ли стада с подпаском, которого она могла бы послать за своей служанкой, но тут студент, вздремнувший под кустом, проснулся и увидел ее, а она его. "С добрым утром сударыня! Ну как, приходили девушки?" — спросил он.

Увидав и услыхав студента, Элена опять заплакала навзрыд и попросила его подойти к башне — ей-де нужно с ним поговорить. Студент в сем случае оказался достаточно любезен. Элена легла на пол, так что в проеме виднелась только ее голова, и со слезами заговорила: "Ты, Риньери, провел из-за меня мучительную ночь, но, право же, ты мне жестоко за нее отомстил, хотя сейчас июль месяц, но я думала, что замерзну; ведь я же совсем раздета. Притом я всю ночь проплакала оттого, что я тебя тогда обманула, и оттого, что имела глупость тебе поверить, — диву даюсь, как я еще глаза не выплакала. Так вот, я обращаюсь к тебе с просьбой не ради любви ко мне — любить меня ты уже не

можешь, я взываю к твоему благородству: удовлетворись тем, что ты уже совершил, и больше не мсти. Вели принести мою одежду, чтобы мне можно было сойти с башни, и не отнимай у меня моего доброго имени – ведь ты при всем желании не сможешь мне его потом возвратить. В ту ночь я не позволила тебе побыть со мной – ну так я за одну ту ночь подарю тебе много ночей, стоит только тебе захотеть! Словом, удовольствуйся этим. Ты человек порядочный, так пусть же тебе будет довольно сознания, что ты сумел отомстить и дал мне это понять. Не издевайся над женщиной – победа над голубкой славы орлу не приносит. Ради бога и ради своей чести, смилуйся надо мной!"

Ожесточившийся студент, вновь и вновь вспоминая учиненную ему обиду, слушал плач ее и мольбу, и в душе у него боролись чувство удовлетворения и чувство жалости: удовлетворение доставляла месть – мести он жаждал больше всего на свете, – меж тем как жалость внушала ему человеколюбие: оно пробуждало в нем сострадание к попавшей в беду. И все же человеколюбие не смогло вытеснить в нем злорадство, и он ответил ей так: "Элена! Если б мои жалобы, к которым я – увы! – не сумел подбавить ни слез, ни меда, как это делаешь сейчас ты, тебя тронули и в ту ночь, когда я замерзал на твоем заметенном дворе, ты впустила меня хоть ненадолго погреться, то мне было бы нетрудно внять твоим жалобам ныне. Но раз тебе дорого твое доброе имя, – тогда ты, кстати сказать, так о нем не заботилась, – раз тебе неловко, что ты раздета, то воззови к тому, в чьих объятиях тебе не стыдно было голой лежать в ту памятную для тебя ночь, когда ты слышала, как я хожу по твоему двору, щелкая зубами и утаптывая снег, – вот пусть он и придет тебе на помощь, пусть принесет одежду, пусть приставит лестницу, пусть позаботится о твоем добром имени, которое ты ради него и тогда, и во многих других случаях не задумываясь ставила на карту. Что же ты его не зовешь? Кому же еще и выручить тебя, как не этому человеку? Ты принадлежишь ему. Кого же он тогда охраняет и кого вызволяет, если не тебя? Позови же его, безрассудная женщина, и удо-

стоверься, способна ли твоя любовь к нему, а также твоя изворотливость совместно с его изворотливостью избавить тебя от моего безумия, – ведь ты же, развлекаясь с ним, спрашивала, что сильнее – моя глупость или же твоя любовь к нему. И не предлагай мне то, чего я теперь не желаю и в чем ты все равно не могла бы мне отказать, если б я пожелал. Побереги ночи для любовника, если только тебе удастся выйти отсюда живой. Я вам их уступаю – с меня довольно одной, раз поизмывались – и будет. Сейчас ты пытаешься меня растрогать, стараешься ко мне подольститься, нарочно толкуешь о моей порядочности, о моем благородстве, думаешь, как бы это ловчее воспользоваться моей добротой, чтобы я не наказывал тебя за твою подлость, но лести твоей не ослепить духовные мои очи, как ослепили их твои посулы. Теперь я закален; за все время моего пребывания в Париже я так не закалился, как в ту ночь – благодаря тебе. Положим даже, я выказал бы великодушие, но ведь ты этого не заслуживаешь: если б меня просил человек, я бы, конечно, удовольствовался содеянным, но такие хищницы, как ты, должны искупать свои злодеяния только смертью, и только так должно отмщать им. Я не орел, но ведь и ты не голубка, ты ядовитая змея, и преследовать я тебя буду как исконного своего врага – со всею силою ненависти; впрочем, то, что я с тобой делаю, в сущности, нельзя назвать местью – скорее, это наказание, ибо месть должна быть сильней оскорбления, а моя месть это не настоящая месть: ведь если б я захотел отомстить как должно, то, приняв в рассуждение, что́ ты со мной сделала, мне мало было бы лишить тебя жизни, – да и не одну тебя, а сто таких, как ты, – потому что я умертвил бы всего-навсего скверную, гадкую, злую бабенку. Черт побери, если бы не твоя смазливая мордашка, которая очень скоро подурнеет, ибо годы избороздят ее морщинами, то чем ты лучше ничтожной служанки? А из-за тебя чуть не умер, как ты сама меня только что назвала, порядочный человек; я могу за один день принести людям больше пользы, нежели сто тысяч таких, как ты, способны принести пользы до сконча-

ния века. Словом, я покажу тебе, как глумиться над людьми здравомыслящими, я покажу тебе, как глумиться над людьми просвещенными, я раз навсегда отучу тебя от таких безобразий, если только ты выживешь. Ну, а если тебе там невмоготу, так что же ты не бросишься с башни? Коли, с божьей помощью, сломишь себе шею, то и себя избавишь от страданий, – а ты, как видно, в самом деле страдаешь, – и меня сделаешь счастливейшим человеком в мире. Больше я тебе ничего не скажу. Я сумел устроить так, что ты туда взобралась, – сумей же ты теперь устроить так, чтобы тебе можно было сойти, как сумела ты надо мной насмеяться".

Пока студент говорил, несчастная женщина утопала в слезах. А время шло, и солнце подымалось все выше. Когда же студент умолк, заговорила она: "Послушай, жестокосердый человек! Если тебе так дорого досталась та проклятая ночь и проступок мой представляется тебе столь ужасным, что тебя не трогают ни моя молодость, ни моя красота, ни горючие слезы, ни смиренные мольбы, то пусть тебя разжалобит и пусть смягчит неумолимую твою суровость то обстоятельство, что я вновь тебе доверилась и поведала все мои тайны, – ведь этим я дала тебе возможность пробудить мою совесть, ибо если б я тебе не доверилась, ты не смог бы мне отомстить, а ведь ты, судя по всему, так жаждал мщения! Не гневись, прости же меня наконец! Если ты меня простишь и вызволишь отсюда, я брошу ветреного моего юнца, и ты будешь единственным моим обожателем и обладателем, хотя ты и ни во что не ставишь мою красоту и утверждаешь, что она недолговечна и не так уж обольстительна. Какова бы, впрочем, ни была моя красота, она, как и всякая женская красота, сколько мне известно, хоть тем одним ценна, что доставляет удовольствие, наслаждение и отраду молодым мужчинам, а ведь ты не стар. Хотя ты поступаешь со мною жестоко, я все же не могу допустить мысли, что ты жаждешь присутствовать при моей позорной смерти, что ты хочешь, чтобы я в отчаянии бросилась с башни у тебя на глазах, а ведь когда-то, сколько бы ты сей-

час ни отпирался, взор твой пленился мною. Сжалься надо мной ради бога и не мучай меня! Солнце припекает. Ночью я страдала от холода, а теперь мне жарко невмочь!"

Студенту доставляло удовольствие донимать Элену своими речами, и он заговорил снова: "Элена! Ты доверилась мне не по любви, а потому, что ты стремишься вернуть утраченное, – следственно, ты заслуживаешь еще более строгого наказания. И напрасно ты думаешь, что у меня была только одна возможность утолить желанную месть. В моем распоряжении было множество средств: притворяясь, что люблю тебя по-прежнему, я расставил вокруг тебя множество капканов, и если бы даже ты не попалась в этот, то немного погодя непременно угодила бы в другой, и в других капканах тебе было бы еще хуже и еще стыднее; избрал же я именно этот не для того, чтобы облегчить твою участь, а потому, что из всех способов мести это наиболее забавный. Если бы даже все способы мести оказались мне недоступны, у меня осталось бы перо, и я написал бы о тебе столько и так, что, когда бы ты об этом узнала, – а не узнать ты бы никак не могла, – ты бы тысячу раз в день жалела о том, что родилась на свет божий. Сила пера несравненно сильнее, нежели думают люди, не имевшие случая удостовериться в том на опыте. Клянусь богом, – и да ниспошлет он моей мести столь же отрадный конец, сколь отрадное ниспослал ей начало, – я написал бы о тебе такие вещи, что, устыдившись не только других, но и себя самой, ты, лишь бы не видеть себя, вырвала бы себе глаза, – так не упрекай же море за то, что ручеек подбавил в него воды! Я уже сказал, что до твоей любви мне теперь нужды нет, обладать тобою я не хочу. Продолжай, если только тебе это удастся, жить со своим бывшим любовником, – прежде я его ненавидел, а теперь люблю – за то, как он с тобой обошелся. Вы, женщины, влюбляетесь в молодых и гоняетесь за ними, потому что у них цвет лица здоровее, борода чернее, потому что они на все горазды: и на балах красоваться, и на турнирах состязаться, хотя это отлично умеют и пожилые, у которых тем следовало бы еще поучиться. Кроме того, вы убеждены,

что они лучше умеют ездить верхом и в день отмахивают больше, чем люди зрелого возраста. С этим я готов согласиться: в самом деле, нажаривать они мастаки, зато люди в летах, как более опытные, в отличие от них, хорошо разбираются, в чем самый смак. Лучше мало, да вкусно, чем много, да невкусно. Бешеная скачка утомляет и изматывает, а кто пойдет медленным шагом — пусть даже это будет человек молодой, — тот достигнет цели хотя и позднее, да зато с меньшей затратой сил. Вы — неразумные твари, вам невдомек, сколько зла таит в себе мишурный блеск. Молодые люди никогда не довольствуются одною; сколько женщин ни пройдет перед их взором — к каждой испытывают они вожделение, ибо они уверены, что нет такой женщины, которой они не были бы достойны; вот почему их любовь не может быть постоянной, — теперь ты это узнала на собственном горьком опыте. Молодые люди полагают, что женщины обязаны угождать им, лелеять их, и ничем они так не любят хвастаться, как своими победами над женщинами, оттого-то многие женщины предпочитают монахов — те, по крайней мере, держат язык за зубами. Ты уверяешь, что о твоих сердечных делах не знал никто, кроме твоей служанки да меня, но ты заблуждаешься; напрасно ты так думаешь, если, впрочем, ты и вправду так думаешь. И в его и в твоем околотке только про вас и говорят, но чаще всего тот, кого эти разговоры касаются, узнает о них в последнюю очередь. В довершение всего молодые люди вас грабят, меж тем как люди пожилые одаряют. Словом, выбор твой плох, ну так и живи с тем, кому ты отдалась, а надо мной ты насмеялась — так не отнимай же меня у другой: я нашел женщину гораздо лучше тебя, она меня оценила — не то что ты! Словам моим ты не веришь, зато увидишь по глазам моим, как страстно я желаю, чтобы ты покончила с собой, — так вот, чтобы это последнее впечатление ты унесла с собой на тот свет, бросайся скорее вниз, и душа твоя, которая уже сейчас находится в когтях у дьявола (для меня это сомнению не подлежит), увидит, изменюсь ли я в лице, глядя на то, с какой головокружительной быстротою пада-

ешь ты с башни наземь. Впрочем, я уверен, что ты меня этим не порадуешь; слушай же, что я тебе скажу: если солнце тебя прижгло, вспомни, как ты меня морозила, и если ты сравнишь сегодняшнюю жару с тогдашним холодом, то неминуемо придешь к заключению, что нынче не так еще жарко".

Доведенная до отчаяния Элена, видя, что все речи студента направлены к одной и той же бесчеловечной цели, снова залилась слезами. "Послушай! – сказала она. – Бессильна я разжалобить тебя, так сжалься надо мной хотя бы из любви к той женщине: по твоим словам, она оказалась умнее меня, она тебя любит – прости же меня ради нее, принеси мне одежду и помоги спуститься".

Студент рассмеялся; было, однако, уже около десяти. "Ну вот теперь, – молвил студент, – раз ты просишь меня ради такой прелестной женщины, я не в силах тебе отказать. Скажи, где ты спрятала одежду, – я за ней схожу и помогу сойти".

Элена ему поверила, приободрилась и указала место, где лежала ее одежда. Студент велел слуге далеко не отходить и следить за тем, чтобы до его возвращения никто к башне не подходил, а сам пошел к приятелю, откушал у него в свое удовольствие, а после обеда лег отдохнуть.

Оставшись на башне, Элена, отчасти утешенная обманчивою надеждою и все же до крайности удрученная, села и, прислонившись к той части стены, которая давала хоть немного тени, предалась в ожидании горчайшим думам. Некоторое время она размышляла, тужила, то надеждой ласкалась, то снова разуверялась в том, что студент принесет ей одеяние, мысли у нее путались, и наконец она, убитая горем, сморенная бессонною ночью, уснула. Время близилось к полудню, солнце палило немилосердно, отвесные его лучи падали прямо на ее изнеженное, холеное тело и на непокрытую ее голову, отчего кожа на местах, обращенных к солнцу, была обожжена и вся, как есть, потрескалась. И так ее нажгло, что она хоть и крепко заснула, а не могла не проснуться. Почувствовав боль от ожогов, она пошевели-

лась, и тут ей показалось, будто вся ее сожженная кожа растрескалась и разлезлась, как разлезается опаленный лист пергамента – стоит только за него потянуть. Голова у нее раскалывалась, да и было отчего. Пол на вышке так накалился, что на нем невозможно было ни сидеть, ни стоять, и Элена, рыдая, все время перебегала с места на место. В довершение всего день был безветренный, и на вышку налетели тучи мух и слепней; они садились на голое ее тело и так больно кусали, что при каждом укусе ей представлялось, будто в нее вонзается копье, и она все время от них отмахивалась и кляла себя, свое существование, своего любовника и студента. Истомленная, истерзанная, мучимая нестерпимой жарой, солнечными лучами, мухами, слепнями, голодом и, в еще большей степени жаждой, а помимо всего прочего – роем докучных мыслей, она решилась позвать на помощь, что бы из этого ни воспоследовало, и, в надежде увидеть кого-нибудь поблизости или же услыхать человеческий голос, вытянулась во весь рост. Однако враждебный рок отнял у нее и эту надежду. Крестьяне из-за жары вынуждены были приостановить полевые работы, – каждый возле своего дома занялся молотьбой. Элена слышала только треск цикад, а видела Арно, и когда она смотрела на его катившиеся волны, жажда в ней не только не уменьшалась, но, напротив того, усиливалась. А кругом виднелись тенистые рощи, усадьбы и манили ее к себе. Что еще вам сказать про несчастную женщину? Палящее солнце, раскалившийся пол вышки, укусы слепней и мух обезобразили ее; еще так недавно белизна ее тела побеждала ночную тьму, а теперь она была вся красная, как мареновая краска, вся в крови, так что на нее страшно было смотреть.

Уже не чая, что кто-нибудь ее вызволит, она больше всего хотела умереть. Наконец в половине второго проснулся студент, вспомнил про Элену и пошел посмотреть, что с ней, голодного же своего слугу отпустил поесть. Услыхав, что он пришел, изнемогшая и исстрадавшаяся Элена приблизилась к проему, села и, плача, заговорила: "Риньери! Месть твоя превосходит всякую меру: я проморозила тебя

ночью на дворе, ты же днем меня жаришь, вернее, – сжигаешь на башне, да еще не даешь ни пить, ни есть. Ради самого Христа, поднимись на вышку! У меня не хватает силы духа покончить с собой, вот я и обращаюсь к тебе с мольбою: прикончи меня! Я так страдаю, так мучаюсь, что смерть для меня теперь желанный исход. Если же ты не соизволишь явить мне эту милость, то прикажи, по крайней мере, подать мне воды, чтобы я могла омочить уста, а то слез у меня для этого не хватает – так пересохло во рту и так все горит внутри".

Студент понял по ее голосу, как она ослабела, в проем ему было видно, как обожгло ее солнце, и он, тронутый самым звуком ее голоса, тем, во что она превратилась, равно как и униженною ее мольбою, почувствовал к ней что-то похожее на сострадание, и все же обратился он к ней с такими словами: "Нет, злодейка, коли хочешь, сама накладывай на себя руки – от моей руки ты не умрешь, а напьешься ты у меня так же, как я у тебя согрелся. Только вот что меня огорчает: к отмороженным местам мне пришлось прикладывать теплый вонючий навоз, а твои ожоги уврачует прохладная и душистая розовая вода; я чуть не умер от заражения крови, ты же сменишь кожу, подобно змее, и останешься такою же красавицею, как прежде".

"Красота досталась мне на горе! – воскликнула Элена. – Только лютым моим врагам могу я пожелать красоты. А ты – ты свирепее дикого зверя: как у тебя хватает жестокости так меня мучить? Как же ты поступил бы со мною, если б по моему хотению все родные твои погибли в лютых мучениях? Можно ли было бы изобрести для изменника, по вине которого разрушен целый город, более мучительную казнь, нежели та, какой ты обрек меня, заставив жечься на солнце и отдав на съедение гнусу? Этого мало: ты не дал мне воды, а ведь даже убийцам, когда их ведут на казнь, не отказывают в вине, сколько бы раз они ни попросили. Я вижу, ты непреклонен в неумолимой своей жестокости, пытки, которые я терплю, тебя не трогают, – ну что ж, я покорно буду ждать смерти, и да спасет господь мою душу! Молю

его о том, чтобы он обратил всеправедный взор свой на то, что делаешь ты со мною". Произнеся эти слова, она, в отчаянии, полагая, что ей все равно уже не спастись от палящего солнца, с превеликим трудом отползла на середину вышки. Много раз ей казалось, что она вот сейчас умрет от жажды или от нестерпимой муки, и, ропща на свою недолю, она громко и неутешно рыдала.

Вечером, однако ж, студент решил, что с него довольно; приказав слуге взять ее одежду и завернуть в плащ, он направился к дому несчастной женщины и увидел на пороге служанку: печальная, унылая, она пребывала в крайней растерянности. "А что, голубушка, не скажешь ли, где твоя госпожа?" – спросил он.

"Не знаю, мессер, – отвечала служанка, – я была уверена, что поутру застану ее в постели, – вечером я видела, как она ложилась, но нигде ее не нашла. Не понимаю, что с ней могло случиться, с ума схожу от беспокойства. А вы, мессер, ничего о ней не знаете?"

"Жаль, что и ты вместе с нею не попалась в ловушку, – я бы и тебе отомстил! – ответил ей на это студент. – Но ты от меня не уйдешь, я тебе отплачу за твои проделки, дабы впредь всякий раз, когда тебе припадет охота одурачить мужчину, ты меня вспоминала". Тут он обратился к слуге: "Отдай ей одежду и скажи, что коли она хочет, то может идти за госпожой".

Слуга так и сделал. Служанка убедилась, что это точно одежда ее госпожи, а все, что она сейчас услышала, навело ее на мысль, не убита ли госпожа, и она чуть не вскрикнула от ужаса. Когда же студент ушел, она зарыдала и бросилась бежать к башне.

В тот день одному из работников Элены не повезло: он потерял двух свиней. Долго он разыскивал их, всюду шарил глазами и наконец, вскоре после того как студент оставил Элену одну, приблизился к той самой башенке и, услыхав жалобный плач несчастной женщины, постарался как можно выше подпрыгнуть. "Кто это там плачет?" – крикнул он.

Элена сейчас узнала голос работника. "Пойди к моей служанке и позови ее", – назвав его по имени, сказала она.

Работник понял, что это его госпожа. "Ах, боже мой! – воскликнул он. – Как вы туда попали? Служанка целый день вас ищет, да разве ей могло прийти в голову, что вы там?"

Он взял лестницу и, приставив к башне, начал при помощи веток укреплять перекладины. Тут прибежала служанка, всплеснула руками и, не в силах долее сдерживаться, запричитала: "Ах, да что же это? Ненаглядная моя госпожа, где вы?"

Элена постаралась как можно громче крикнуть: "Я здесь, моя милая, на вышке! Не плачь, подай мне скорее одежду!"

Служанка узнала ее по голосу, и это придало ей бодрости; когда же она с помощью работника поднялась по лестнице, которую он к этому времени почти привел в порядок, и увидела, что ее госпожа, истерзанная, похожая на обгорелый пень, лежит, нагая, изнемогая, на раскаленном полу, то заголосила над ней, как над покойницей, и начала царапать себе лицо. Элена, однако ж, умолила ее не плакать и помочь ей одеться. Узнав, что, кроме студента, его слуги да еще работника, никому не известно, где она пробыла это время, она несколько успокоилась и попросила служанку и работника ради всего святого никому ничего не рассказывать. После того как они обо всем переговорили, работник посадил госпожу к себе на закорки, – идти она была не в состоянии, – и благополучно спустился со своею ношей. А бедная служанка, спускавшаяся следом за ними, но не так осторожно, поскользнулась, полетела с лестницы наземь, сломала себе бедро и взвыла от боли. Работник положил Элену на траву и пошел посмотреть, что со служанкой; увидев, что у нее перелом бедра, он взял ее на руки и положил рядом с Эленой. Как скоро Элена уверилась, что случилась новая беда, что та, на кого она надеялась больше, чем на кого-либо еще, сломала себе бедро, то пришла в совершенное отчаяние и так горько заплакала, что работник, тщетно пытавшийся ее утешить, в конце концов сам заплакал. Солнце уже склонялось к закату, и, чтобы ночь их тут

не застала, он по просьбе удрученной госпожи пошел домой, позвал двух своих братьев, жену и захватил с собой доску; братья положили служанку на доску и перенесли в дом. Работник как мог ободрил Элену, дал ей холодной воды, а затем снова посадил на закорки и отнес к ней в спальню. Работникова жена дала ей поесть, раздела и уложила, а затем они оба распорядились, чтобы госпожу и служанку ночью доставили во Флоренцию, что и было исполнено.

Будучи изворотливой на диво, Элена сочинила про себя и служанку целую историю, нимало не похожую на то, что с ними случилось на самом деле, и уверила братьев своих, сестер и всех прочих, что все это дьявольские козни. Элена долго мучилась и страдала, постельное белье беспрестанно прилипало к ее телу, и его приходилось отдирать вместе с кожей, но в конце концов лекари вылечили ее и от злой лихорадки, и от всех прочих болестей, а служанке вылечили бедро. Элена после этого забыла и думать о своем любовнике и благоразумно остерегалась влюбляться и издеваться. А студент, услыхав, что служанка сломала себе бедро, решил, что он за все отплатил сполна, на том успокоился и никому ничего не сказал.

Так вот как досталось безрассудной молодой женщине, вздумавшей подшутить над студентом, как она подшутила бы над всяким другим, и не знавшей, что студентам – правда, не всем, но большинству – палец в рот не клади. А потому, милостивые государыни, не шутите, в особенности – над студентами.

8

Двое мужчин дружат между собой;
один из них сходится с женой другого,
узнав о том, обманутый муж подстраивает так,
что тот сидит в запертом сундуке,
а он в это время полеживает на сундуке
с его женой

Тяжело и горестно было дамам слушать о злоключениях Элены, но так как она их отчасти заслужила, то дамы хоть и пожалели ее, но не очень, а студент, по их мнению, выказал неумолимую, чрезмерную суровость, вернее сказать — жестокость. Как же скоро Пампинея окончила свою повесть, королева предложила начать Фьямметте, и Фьямметта с радостью ей повиновалась.

— Очаровательные дамы! — сказала она. — Сдается мне, что свирепость оскорбленного студента потрясла вас, а потому я почитаю за нужное чем-нибудь забавным успокоить возмущенный ваш дух: я хочу рассказать вам про одного молодого человека, который добродушнее отнесся к причиненной ему обиде и не так жестоко за нее отомстил. Из моего рассказца вам станет ясно, что должно откликаться только так, как тебе аукнули, и что негоже человеку, задумавшему отомстить за нанесенное ему оскорбление, в ответном оскорблении превышать меру возмездия.

Итак, надобно вам знать, что в Сиене, как я слыхала, Жили-были два молодых человека из богатых и благород-

ных семей; одного из них звали Спинеллоччо Тавена, а другого – Дзеппа ди Мино; оба проживали в Камоллии, по соседству. Молодые люди между собой дружили и любили друг друга братской любовью; оба были женаты на красавицах. Случилось, однако ж, так, что Спинеллоччо, часто бывавший у Дзеппы как при нем, так и в его отсутствие, сошелся с его женой ближе некуда. И так это у них продолжалось довольно долго, и никто до поры до времени ничего не замечал. Но вот как-то раз, когда Дзеппа сидел дома, а жена об этом не знала, Спинеллоччо окликнул его с улицы. Жена сказала, что его нет; тогда Спинеллоччо взбежал наверх и, уверясь, что его возлюбленная – одна, давай обнимать ее и целовать, а она его. Дзеппа все это видел, но не сказал ни слова и притаился: ему хотелось посмотреть, чем их шалости кончатся. И вот не в долгом времени видит он, что его жена и Спинеллоччо проходят, обнявшись, к ней в спальню и запираются, и это его до глубины души возмутило. Рассудив, однако же, что если поднять шум и все такое прочее, то нанесенное ему оскорбление от этого меньше не станет, а вот сраму не оберешься, он стал думать, нельзя ли отомстить таким образом, чтобы про это никто не узнал, а душа его была бы довольна.

После долгих размышлений он таковой способ сыскал и пробыл в своем тайнике все время, пока Спинеллоччо находился у его жены.

Стоило, однако же, Спинеллоччо отправиться восвояси, и Дзеппа был уже тут как тут, так что жена не успела надеть покрывало, которое Спинеллоччо, резвясь, сорвал у нее с головы. "Ты что же это делаешь, жена?" – спросил Дзеппа.

"А ты разве не видишь?" – сказала жена.

"Как же не видеть, – отвечал Дзеппа, – и еще я видел нечто такое, на что глаза бы мои не глядели!" И тут он начал пушить ее, а она со страху долго виляла, но в конце концов под тяжестью улик принуждена была сознаться, что находится со Спинеллоччо в близких отношениях, и стала со слезами просить у мужа прощения.

А Дзеппа ей на это сказал: “Ну так вот, жена, ты поступила дурно, но если хочешь, чтобы я тебя простил, исполни в точности все, что я тебе велю, а именно: скажи завтра Спинеллоччо, чтоб он в десятом часу утра под каким-нибудь предлогом от меня ушел и зашел к тебе. А тут и я поднимусь наверх, и как скоро ты заслышишь мои шаги, то вели ему влезть в сундук, а сундук запри, я же тебе потом скажу, что делать дальше. Только ты не бойся – даю слово, что ничего ему не сделаю”. Чтобы умаслить супруга, жена дала обещание и все исполнила.

На другое утро, в десятом часу, Дзеппа и Спинеллоччо сидели вдвоем, и вдруг Спикеллоччо, обещавший жене Дзеппы в это время прийти к ней, говорит Дзеппе: “Я нынче обедаю с приятелем – неудобно заставлять его ждать. Ну, пока до свиданья!”

“Да ведь до обеда еще далеко”, – заметил Дзеппа.

“Обед-то обед, но я еще хочу поговорить с ним об одном деле, – возразил Спинеллоччо, – так что мне нужно быть у него пораньше”.

Уйдя от Дзеппы, Спинеллоччо сделал круг и пробрался к его жене, но не успели они войти в ее спальню, как послышались шаги Дзеппы. Тут жена, сделав вид, что перепугалась насмерть, велела Спинеллоччо лезть в сундук, о котором толковал ей муж, заперла его в сундуке и вышла из спальни.

“А не пора ли обедать, жена?” – поднявшись наверх, спросил Дзеппа.

“И то правда”, – молвила жена.

“Спинеллоччо пошел обедать к приятелю, а жена осталась дома, – продолжал Дзеппа. – Выгляни в окошко и позови ее к нам обедать”.

Жена Дзеппы, боявшаяся за себя, а потому ставшая весьма послушной, исполнила приказание мужа. Жена Спинеллоччо, узнав от жены Дзеппы, что Спинеллоччо дома не обедает, сдалась на уговоры и пришла. Дзеппа встретил жену своего друга как нельзя более радушно и, шепнув жене, чтобы она шла на кухню, взял гостью на правах дружбы за

руку и повел в спальню, а войдя, запер за собою дверь. Видя, что Дзеппа запирает дверь, жена Спинеллоччо воскликнула: "Ой, Дзеппа, ты что же это? Так вот для чего ты меня звал? Вот как ты любишь Спинеллоччо, вот какой верный ты ему друг?"

Тут Дзеппа приблизился к сундуку, где был заперт ее муж, и, все так же крепко держа ее за руку, молвил: "Прежде чем гневаться, послушай, дорогая, что я тебе скажу. Я любил и люблю Спинеллоччо как брата, однако ж вчера я убедился, хотя он об этом и не подозревает, что он, воспользовавшись моим безграничном к нему доверием, стал так же точно близок с моей женой, как с тобой. Но я его люблю, а потому намерен отплатить ему тем же, и не более того: он обладал моей женой, а я хочу обладать тобою. Если же ты на это не пойдешь, все равно он так или иначе узнает, что я застал его на месте преступления; спускать же ему я не собираюсь: я так его уважу, что вы оба не обрадуетесь".

Долго еще Дзеппа ее убеждал, но в конце концов она ему поверила и сказала: "Милый Дзеппа! Коль скоро вину моего мужа надлежит искупить мне – что ж, я согласна, но только дай мне честное слово, что то, что у нас с тобой должно сейчас произойти, не испортит моих отношений с твоей женой – я хочу по-прежнему быть с нею в ладу, несмотря на то зло, которое она мне причинила".

"Я непременно все улажу, – обещал ей Дзеппа, – а кроме того, подарю тебе красивую, дорогую вещичку – у тебя такой нет". Тут он обнял ее, расцеловал, а затем, положив на сундук, в котором был заперт ее муж, позабавился с ней в свое удовольствие, а она с ним – в свое.

Спинеллоччо, сидя в сундуке, слышал от слова до слова все, что говорил Дзеппа, слышал, что его жена ответила Дзеппе согласием, и, наконец, услышал у себя над головой буйную пляску, от каковой ему долгое время было так тошно – прямо хоть помирай, и если б он не боялся Дзеппы, то из своего заключения послал бы немало проклятий подлянке жене. Вспомнив, однако ж, что первый-то поступил подло не кто иной, как он, Спинеллоччо, что у Дзеппы бы-

ли основания действовать именно так, как он сейчас и действовал, и что Дзеппа еще обошелся с ним по-человечески, по-товарищески, Спинеллоччо решил, что с этого дня, если только Дзеппа с ним не порвет, он будет с ним еще дружнее.

Дзеппа между тем провел с чужой женой столько времени, сколько ему хотелось, а потом слез с сундука; когда же она спросила Дзеппу, где же обещанная вещица, Дзеппа отворил дверь и велел своей жене войти, а та сказала: "Сударыня! Вы мне отплатили тою же монетой", – но сказала она это смеясь.

"Отопри-ка сундук", – молвил тут Дзеппа, а когда жена Дзеппы отперла сундук, Дзеппа показал жене Спинеллоччо ее супруга.

Кому было стыднее: Спинеллоччо, который, зная, что Дзеппе все известно, в сей миг увидел его, или жене Спинеллоччо, которая, зная, что муж слышал и чувствовал все, что творилось над самой его головой, в сей миг увидела его, – об этом долго рассказывать.

Тут Дзеппа сказал ей: "Вот эту драгоценную вещицу я вам и дарю".

Спинеллоччо вылез из сундука и, не вступая в пререкания, сказал: "Вот и хорошо, Дзеппа! Теперь мы с тобой в расчете – так, по крайности, ты сам говорил моей жене, и будем мы опять друзьями, а коль скоро у нас все общее, кроме жен, то пусть и жены будут общие".

Дзеппе это пришлось по нраву, и все четверо в мире и согласии сели обедать. И с тех пор у каждой из двух жен стало два мужа, а у каждого из мужей – две жены, и ни разу не вышло у них из-за этого ни ссоры, ни драки.

9

Доктору Симоне захотелось корсарить;
Бруно и Буффальмакко подговаривают его
пойти ночью в указанное ими место;
Буффальмакко бросает его в яму с нечистотами
и там оставляет

После того как дамы, коих любопытство возбудили общие жены двух сиенцев, об этом потолковали, королева – а кроме нее больше некому было рассказывать – порешила не отнимать у Дионео предоставленной ему льготы и начала так:

– Любезные дамы! Спинеллоччо вполне заслужил штуку, которую с ним вытворил Дзеппа; вот почему, в противоположность Пампинее, тщившейся доказать обратное, я утверждаю, что не следует строго судить того, кто смеется над человеком, который сам на это напрашивается или же этого заслуживает. Спинеллоччо заслужил глумление; я же хочу рассказать о человеке, который напросился на издевательства, причем, по моему разумению, те, что над ним потешились, заслуживают не порицания, но одобрения. Человек, с которым произошел такой случай, был врач, приехавший во Флоренцию из Болоньи баран бараном, хотя и в мантии на беличьем меху.

Мы с вами каждый день видим такую картину: наши сограждане возвращаются из Болоньи кто – судьей, кто – лекарем, кто – нотариусом, разряженные и разубранные, в

пурпуровых, подбитых беличьим мехом, длинных и широких мантиях; что же касается того, соответствует ли наружный вид этих людей их способностям, — это мы с вами также имеем возможность наблюдать каждый день. К их числу принадлежал недавно к нам прибывший и поселившийся на улице, которая теперь называется Виа дель Кокомеро, носивший пурпуровую мантию и широкий капюшон, доктор медицины, — так, по крайности, он сам себя величал, хотя если и мог чем похвастаться, то уж никак не познаниями, а лишь доставшимся ему от отца богатым наследством, некто Симоне да Вилла. У этого самого, как я уже сказала, вновь к нам прибывшего Симоне было много примечательных привычек, и, между прочим, такая: он имел обыкновение расспрашивать всякого, кто бы с ним ни находился, про всех прохожих, кого бы он ни увидел, и так он их разглядывал и так за ними наблюдал, как будто он изготовлял лекарства из человеческих поступков. Всех более обращали на себя его внимание те два живописца, о коих у нас сегодня дважды шла речь, а именно — жившие с ним по соседству неразлучные друзья Бруно и Буффальмакко. Симоне составил себе мнение, что у них нет иных забот и хлопот, кроме как повеселиться. Он всех и каждого про них расспрашивал и неизменно получал ответ, что они люди бедные, живописцы; он же держался того взгляда, что бедняку не до веселья, а так как он слышал, что они люди хитроумные, то вообразил, что они, уж верно, здорово наживаются на чем-нибудь таком, чего никто и не подозревает, и ему захотелось поближе познакомиться, по возможности, с обоими или уж, по крайности, с кем-нибудь одним, и вот наконец он познакомился с Бруно. После нескольких встреч Бруно пришел к заключению, что лекарь — болван, и с особым удовольствием стал потешаться над его из ряду вон выходящею бестолковостью, лекарь же души не чаял в Бруно. Несколько раз пригласив его к обеду, лекарь решил, что теперь они уже достаточно сблизились и он имеет право поговорить с Бруно откровенно, а потому однажды изъявил удивление по поводу того, что Бруно и Буффальмак-

ко, будучи людьми небогатыми, так весело живут, и попросил объяснить ему, в чем тут секрет.

Вопрос этот показался Бруно одним из самых нелепых, одним из самых дурацких, какие когда-либо задавал ему лекарь, и, придя в веселое расположение духа, он вознамерился на глупость ответить глупостью.

“Сию тайну, доктор, я открыл бы немногим, — начал он, — а вот вам открою охотно: вы мой друг, я знаю, что вы не проговоритесь. Да, нам живется хорошо, весело, еще веселей, нежели вам кажется. Того, что нам дает наше ремесло, и доходов, которые мы получаем с наших именьишек, нам не хватило бы расплатиться даже за воду. Не думайте, однако ж, что мы воры, — мы корсары, и корсарством мы безо всякого ущерба для других добываем все, что нам необходимо, и все, что нас может порадовать. Вот отчего мы, как видите, живем весело”.

Подивился лекарь тому, что услышал от Бруно, однако поверить поверил, а так как сути дела он не уразумел, то и загорелся желанием узнать, что такое корсарство, и пообещал никому ничего не говорить.

“Ах, доктор, о чем вы меня просите! — воскликнул Бруно. — Вы хотите, чтобы я поведал вам великую тайну. Да ведь если кто про это узнает, меня в порошок сотрут, со свету сживут, я попаду в пасть к Люциферу — тому самому, что намалеван снаружи в Сан Галло. Однако ж я проникся таким уважением к вашей ложной, то бишь непреложной учености и такое доверие вы мне внушаете, что я ни в чем не могу отказать вам. Коротко говоря, я открою вам тайну, но с условием: поклянитесь монтезонским распятием, что исполните данное обещание и никому ничего не скажете”.

Доктор поклялся.

“Итак, да будет вам известно, достопочтеннейший доктор, — продолжал Бруно, — что в нашем городе недавно проживал великий некромант по имени Майкл Скотт, выходец из Шотландии, пользовавшийся особым уважением у знатных людей, из коих лишь немногие дожили до нашего времени. Задумав от нас уехать, Майкл Скотт, уступая их

настойчивым просьбам, оставил здесь двух своих выдающихся учеников и наказал им исполнять любые желания тех знатных людей, которые так его чтили. Ученики Скотта с неизменною готовностью оказывали тем людям услуги как в сердечных, так и во всех прочих делишках. И самый город, и обычаи местных жителей пришлись Скоттовым ученикам по душе, и они порешили остаться здесь навсегда и с некоторыми из них сблизились и подружились; при этом они не смотрели, знатные то люди или не знатные, богатые или бедные — обращали они внимание только на сходство нравов. В угоду друзьям своим они образовали кружок человек в двадцать пять, коим надлежало собираться в определенном месте, по крайней мере, раз в месяц. На этом сборище каждый имел право выразить свое желание, и они в ту же ночь его исполняли. Мы с Буффальмакко особенно с ними сблизились и подружились, и они приняли нас в это общество, в коем мы состоим и теперь. Когда мы собираемся, то, скажу по чести, любо бывает смотреть на ковры, коими увешаны стены залы, где мы пируем, на столы, сервированные по-царски, на множество осанистых и красивых слуг и служанок, за каждым из нас ухаживающих, на тазы, кувшины, бутылки, кубки и другую посуду, как серебряную, так и золотую, из коей мы едим и пьем, и, наконец, на многоразличные яства, приготовленные на все вкусы и в определенном порядке подаваемые. Я слов довольно не имею, дабы описать, какого рода и сколь приятны услаждающие наш слух звуки бесчисленных музыкальных инструментов, дабы описать мелодичное пение, равно как не могу сосчитать, сколько свечей сгорает за каждым ужином, сколько мы съедаем сластей и сколько выпиваем дорогих вин. Только, пожалуйста, не думайте, многоученнейший друг мой, что мы так сидим в том платье и одеянии, в каком вы можете видеть нас ежедневно. Даже того, кто одет беднее нас всех, за ужином вы приняли бы за императора — такое на нас там богатое убранство и так мы там унизаны драгоценностями. Однако же самая большая для нас услада — это красивые женщины; их доставляют со всех концов све-

та, стоит нам только изъявить желание. Там вы можете видеть повелительницу барбаникков, царицу басков, жену султана, жену хана Осбека, белибердиню Норвежскую, ерундизу Чепухуболтайскую и вздормолотительницу Тарабарскую. Всех не перечислишь. Словом сказать, там бывают все царицы мира, даже фиглимиглия пресвитера Иоанна. Слушайте дальше! После того как все выпьют, закусят сластями, танца два станцуют, каждая из этих женщин идет в комнату мужчины, который ее сюда вызвал. Комнаты эти, к вашему сведению, рай да и только, до того они красивы, а пахнет там не хуже, чем у вас в аптеке, когда по вашему распоряжению толкут тмин. А кровати, на которых они возлежат, наряднее, чем у дожа венецианского. Можете себе представить, с каким великим проворством вставляются там утки́ в челноки, а нити основы насаживаются на крючки! Однако же из всех, кто там бывает, наибольшие счастливцы – это мы с Буффальмакко, потому что Буффальмакко чаще всего вызывает сюда королеву французскую, а я – королеву английскую, то есть первых красавиц в мире, и они на нас глядят – не наглядятся. Так вот, приняв в рассуждение, что нас любят королевы, да еще такие, вы без труда поймете, почему мы можем и должны жить и ходить веселее других. Ну, а помимо всего прочего, ежели кому-нибудь из нас понадобятся тысчонки две флоринов, то их нам мигом дают... выкусить.

Вот это у нас в просторечии и называется корсарить. Корсары грабят кого придется, так же точно и мы, с тою, однако же, разницей, что корсары не возвращают добычи, а мы, попользовавшись, возвращаем. Теперь вам, д-осто-й-лопнейший друг мой, ясно, что значит корсарить? Сами понимаете, какая это важная тайна. Больше я вам ничего не скажу – лучше не просите".

Ученость доктора, по-видимому, не простиралась дальше лечения малых ребят от коросты, а потому он принял рассказ Бруно за непререкаемую истину, и теперь ему ничего так не хотелось, как вступить в это общество. Он сказал, что его уже не удивляет веселое расположение духа, в ка-

ком постоянно пребывают Бруно и Буффальмакко, но попросить принять его в члены общества пока не решился, хотя ему стоило изрядных усилий об этом не заговорить; он полагал, что ему надлежит снискать у них еще большее уважение, и тогда уже он будет действовать наверняка. Рассудив таким образом, доктор стал еще чаще видеться с Бруно, и утром и вечером звал его на угощение и выказывал ему все знаки приязни необыкновенной. Можно было подумать, что доктор не может без Бруно жить и дышать – так часто и так подолгу они виделись.

Бруно, по-видимому, был очень этому рад, а чтобы отплатить доктору за его благорасположение, он в его зале нарисовал Пост, над дверью в спальню – *Agnus Dei*[1], над входной дверью – урильник, дабы желающие посоветоваться с доктором скорей находили его жилище, на терраске же изобразил войну мышей и кошек, чем привел доктора в восторг неописуемый. А за ужином он нет-нет да и вставит: "Нынче я был в нашем обществе. Королева английская мне, признаться сказать, надоела, и я вызвал галиматицу великого хана Алтарисского".

"Что такое галиматица? – спросил доктор. – Я в этих названиях не разбираюсь".

"Ах, доктор, в этом ничего удивительного нет! – возразил Бруно. – Сколько мне известно, ни Конокрад, ни Набивайцены этих лиц не упоминают".

"То есть, Гиппократ и Авиценна?" – спросил доктор.

"А я почем знаю? – молвил Бруно. – Я в ваших именах так же мало смыслю, как вы в моих титулах. Галиматица же на языке великого хана означает *импефатрица*. Да уж, смею вас уверить: этакая милашечка вам бы приглянулась – с ней вы бы позабыли и лекарства, и клистиры, и пластыри".

Такие разговоры время от времени вел Бруно с доктором, чтобы еще больше его распалить, и вот как-то вечером доктор, допоздна светивший Бруно, который в это время малевал войну мышей и кошек, разоткровенничался

1 Агнец божий *(лат.)*.

с ним, ибо он был совершенно уверен, что обласканный им Бруно всецело ему предан. Они были сейчас одни, и доктор ему сказал: “Нет на свете человека, Бруно, для которого я так же охотно сделал бы что угодно, как для тебя, ейбогу! Даже если б ты меня послал в Перетолу, и то я бы, наверно, пошел. Так не удивляйся же, что я по-дружески, доверительно обращусь к тебе с просьбой. Ты, конечно, помнишь, что совсем недавно ты рассказывал мне о нравах веселого вашего общества, и мне, вынь да положь, захотелось в него вступить. И у меня есть на то особая причина, в чем ты удостоверишься, как скоро мне удастся войти в ваше общество. Можешь поднять меня на смех, если я не вызову туда раскрасавицу – ты такой давно не видал, а я увидел ее в прошлом году в Какавинчильи и с первого взгляда влюбился. Клянусь телом Христовым, я предлагал ей десять болонских монет за то, чтоб она со мной поладила, но она отказалась. Вот я и обращаюсь к тебе с просьбой: научи меня, если можно, как мне в ваше общество проникнуть, ты же, со своей стороны, порадей мне и поспособствуй, а во мне члены общества найдут доброго и верного друга. Самое главное, я мужчина красивый, бравый, цветущий, да к тому же еще доктор медицины, – а у вас там докторов, наверное, нет, – я знаю много всяких любопытных вещей, знаю много славных песенок. Сейчас я тебе спою”. И тут он взял да и запел.

Бруно стоило огромного труда удержаться от смеха. “Ну как?” – допев песню, спросил доктор.

“По чести скажу: сорговые свирели не идут ни в какое сравнение с вашим голосом – до того искусно вы дерете горло”, – отвечал Бруно.

“Если б ты своими ушами не слышал, никому бы, поди, не поверил”, – заметил доктор.

“Разумеется!” – подтвердил Бруно.

“Я много песен знаю, но это как-нибудь в другой раз, – сказал доктор. – Так вот я каков! Отец мой был человек знатный, хотя жил в пригороде, а мать из рода Валеккьо. Сколько тебе известно, ни у кого из флорентийских вра-

чей нет таких хороших книг и таких красивых нарядов, как у меня. Некоторые мои наряды, если всё как следует подсчитать, стоили мне назад тому более десяти лет, сказать тебе – не соврать, примерно сто лир мелочью. Так вот, я прошу тебя: введи меня, ради бога, в ваше общество, а я обязуюсь не брать с тебя ни гроша – болей сколько хочешь".

Выслушав его, Бруно укрепился во мнении, что доктор – набитый дурак. "Посветите мне вот сюда, доктор, – сказал он. – Потерпите немного: я только дорисую хвосты вот этим мышам, а потом мы с вами поговорим".

Как скоро хвосты были готовы, Бруно сделал вид, будто крайне озадачен его просьбой. "Доктор, миленький! – сказал он. – Я знаю, что вы мой благодетель, но вы меня просите о таком одолжении, которое вам-то, может, кажется пустяковым, потому что вы человек великого ума, а для меня ваша просьба непосильна. Если б у меня была хоть какая-нибудь возможность, я бы сделал это только для вас, и больше ни для кого, потому что я вас очень люблю, да и говорите вы до того краснó, что под вашу дудку всякий запляшет. Чем больше я с вами общаюсь, тем больше дивлюсь вашей мудрости. И потом я бы уж за одно то вам помог, что вы влюбились в такую красотку. Да вот беда: напрасно вы на меня понадеялись – тут я ничего для вас не могу сделать. Впрочем, если вы дадите мне треклятвенное обещание держать это в тайне, я укажу вам наивернейший путь. Я убежден, что вы этого добьетесь, тем более что у вас такие прекрасные книги и все прочее, о чем вы мне еще раньше рассказывали".

"Говори, не бойся, – сказал доктор. – Ты, я вижу, плохо меня знаешь, тебе еще не приходилось убеждаться в том, как я умею хранить тайны. Мессер Гаспарруоло из Саличето в бытность свою форлимпопольским судьею осведомлял меня почти обо всех делах, – он почитал меня за надежнейшего человека. Желаешь убедиться на примере? Он мне первому сообщил, что хочет жениться на Бергамине. Теперь убедился?"

“Добро! – молвил Бруно. – Коли он вам доверял, то доверюсь и я. Вот какой я укажу вам путь: в нашем обществе есть председатель и при нем два советника; сменяются они каждые полгода, и в начале следующего месяца председателем непременно будет Буффальмакко, а советником – я, это дело решенное. Председатель волен ввести или же заставить ввести в общество кого угодно, – вот почему, думается мне, вам не мешало бы поближе познакомиться с Буффальмакко и заслужить его расположение. Это такой человек: как увидит, что вы – ума палата, так в ту же минуту и полюбит вас. Когда же вы заметите, что расположили его в свою пользу умными речами и славными вещицами, вот тогда и просите, и он не сможет вам отказать. Я с ним говорил – он о вас самого лестного мнения. Действуйте, как я вам сказал, а я, со своей стороны, на него повлияю”.

“Твой совет очень даже мне по сердцу, – заметил доктор. – Если Буффальмакко точно любит умных людей, то пусть он со мной побеседует – ручаюсь, что после этого он по пятам за мной будет ходить: ума у меня столько, что я могу целый город им наделить и все-таки останусь самым умным человеком”.

Бруно обстоятельно рассказал Буффальмакко о своем разговоре с доктором, и Буффальмакко, сим обстоятельством обрадованный, не чаял, как дождаться того вожделенного мига, когда он сможет исполнить желание доктора Оболтуса. А доктору не терпелось начать корсарить, и он не замедлил подружиться с Буффальмакко, что не составило для него труда. Он угощал Буффальмакко, а вместе с ним и Бруно, преобильными ужинами и обедами, они же ради тонких вин, жирных каплунов и прочих превосходных вещей бывали у него постоянно, не дожидаясь особых приглашений, – словом сказать, отлично проводили у него время, а его уверяли, якобы они так часто его навещают единственно для того, чтобы доставить ему удовольствие.

Когда же доктор нашел, что пора наконец последовать совету, который преподал ему Бруно, он обратился к Буффальмакко с просьбой. Буффальмакко сделал вид, что его

это возмутило, и налетел на Бруно. “Ах ты предатель! – вскричал он. – Клянусь изображением бога-отца в пазиньянском храме, я еле сдерживаюсь, чтобы не своротить тебе нос. Кто же еще мог разболтать доктору, как не ты?”

Доктор всячески старался выгородить Бруно, клялся и божился, что узнал про общество из другого источника, и так умно повел дело, что Буффальмакко в конце концов утихомирился.

“Сейчас видно, дорогой доктор, что вы учились в Болонье и вывезли оттуда уменье держать язык на привязи, – заметил Буффальмакко. – Я вам больше скажу: когда вы учились, успехи у вас, уж верно, были тихие, а уши, если не ошибаюсь, всегда холодные. Бруно сказывал мне, что вы изучали медицину, а мне сдается, что вы обучались искусству очаровывать людей: благодаря своему уму и манере говорить вы умеете это делать лучше, чем кто-либо еще”.

Тут лекарь, не дав ему договорить, обратился к Бруно: “Вот что значит беседовать и общаться с умными людьми! Никто так скоро не постигал свойства моего разумения, как этот достойнейший человек! Ты-то вот, небось, меня не оценил! Приведи, по крайности, мои слова, сказанные в ответ на твое сообщение, что Буффальмакко любит умных людей. Хорошо я тогда выразился?”

“Лучше не надо”, – отвечал Бруно.

“Если б ты видел меня в Болонье, так еще не то бы сказал, – обратись к Буффальмакко, продолжал доктор. – Там все, от мала до велика, от доктора и до последнего школяра, на руках меня носили – так я сумел их пленить своими речами и остротою ума. Я тебе больше скажу: в Болонье покатывались над каждым моим словом – так меня там любили. А когда я замыслил оттуда уехать, все плакали навзрыд и умоляли остаться. Дело дошло до того, что хотели уступить мне все до одной лекции по медицине, но я не согласился: здесь, у вас, мне предстояло вступить в права наследия, и точно: я стал обладателем огромного родового состояния”.

Тут Бруно обратился к Буффальмакко: “Ну что? А ты мне не верил! Клянусь Евангелием, в нашем городе нет другого

врача, который так же хорошо разбирался бы в ослиной моче, как он. Да что там: пройди до самых Парижских ворот – равного ему наверняка не сыщешь. Разве можно ему не угодить?"

"Бруно верно говорит, – заметил лекарь, – но меня здесь не понимают – ведь вы же тут закоснели в невежестве, а посмотрели бы вы, каким уважением я пользуюсь у людей ученых!"

"Ваша правда, доктор, – сказал Буффальмакко, – я и не подозревал, что вы так много знаете. Так вот, выражаясь на языке умопомрачительном, – а ведь только на этом языке и подобает изъясняться с такими мудрецами, как вы, – я почитаю за должное сказать вам, что непременно введу вас в наше общество".

После того как Буффальмакко дал такое обещание, лекарь начал еще больше с ними обоими носиться, а друзья над ним потешались, забивали ему голову всякой чепухой и обещали женить на графине Нечистотской, то есть на самом прелестном существе, какое только можно сыскать в заднем проходе любого жилья.

Лекарь осведомился, кто такая эта графиня. "Ах вы огурец соленый! – воскликнул Буффальмакко. – Это дама из наивысшей знати, ей подведомственен едва ли не весь род человеческий, даже минориты – и те отдают ей долг под стук кастаньет. Надобно заметить, что когда она ходит, то о ней всегда бывает и слух и дух, но только она чаще всего сидит запершись. Впрочем, совсем недавно она прошла ночью мимо вашего дома – она ходила на Арно, чтобы отмыться и заодно подышать воздухом, однако ж постоянное ее местожительство – город Нужник. Воины обходят его дозором, и все в знак ее величия носят изображение метлы и черпака. Графинины приближенные бывают всюду, например – Колбаска, дон Кучка, Чистильо, Дристуччо и другие; это все ваши знакомые, но только вы, уж верно, позабыли, как их зовут. Вам придется оставить вашу даму сердца из Какавинчильи, мы же толкнем вас в сладостные объятия этой знатной дамы, – думаем, что в своих чаяниях мы не обманемся".

Лекарь, родившийся и выросший в Болонье и смысла всех этих выражений не разумевший, объявил, что дама эта вполне ему подходит, а вскоре после этих дурачеств живописцы сообщили ему, что он принят в члены общества. Перед вечерним сборищем доктор накормил их обедом, а после обеда обратился к ним с вопросом, в каком виде он должен предстать перед обществом. Буффальмакко же ему на это ответил так: "Видите ли, доктор, от вас требуется беззаветная храбрость; если же вы беззаветной храбрости не проявите, то на вашем пути возникнут препятствия непреодолимые, нам же вы причините огромный вред, а почему от вас требуется беззаветная храбрость – об этом вы сейчас узнаете. Нынче ночью, в первосонье, вы должны быть на одной из высоких гробниц, недавно воздвигнутых за Санта Мария Новелла, но только наденьте самое лучшее платье: ведь нынче вы в первый раз появитесь в обществе, значит, нужно одеться поприличней, а кроме того (так, по крайности, нам сказали тогда – с тех пор мы там не были), кроме того, графиня намерена, коль скоро вы человек благородного происхождения, возвести вас в сан окунутого рыцаря, причем окунание будет совершено на ее счет. Там вы и ожидайте нашего посланца. А чтобы вам все было ясно, я почитаю за нужное прибавить, что за вами явится небольшой черный рогатый зверь и начнет пыхтеть и скакать перед вами на площади, чтобы испугать вас; когда же он удостоверится, что вы его не боитесь, то тихохонько к вам приблизится, а как он приблизится, тут вы без малейших опасений спускайтесь с гробницы и, не призывая ни бога, ни святых, садитесь на него верхом, а как оседлаете, сейчас сложите руки на груди и до зверя больше не дотрагивайтесь. Тогда он двинется шажком и доставит вас к нам. Но только я вас упреждаю: если вы призовете бога и святых или же испугаетесь, он может вас сбросить и низвергнуть в место не столь благовонное, так что если вы в себе не уверены, то лучше не ходите, а то и себе напортите, и нам от того проку не будет".

"Нет, вы меня еще не знаете! – возразил лекарь. – Вы не глядите, что я ношу перчатки и что на мне платье длинное.

Если б вы могли себе представить, что́ я вытворял в Болонье, когда мы гурьбой ходили к девицам, вы бы ахнули от удивления. Как-то ночью – вот ей-богу не вру! – одна из них не пожелала пойти с нами, а сама уж такая замухрышка, посмотреть не на что, от горшка два вершка, ну, я первым делом задал ей хорошую трепку, потом подхватил ее на руки и протащил расстояние, равное примерно тому, какое может пролететь стрела, – тогда она с нами пошла. А еще както раз, вскоре после *Ave Maria*, проходил я, помнится, мимо кладбища миноритов, и со мной никого не было, кроме слуги, а на кладбище как раз в тот день похоронили одну женщину, но я ни капельки не испугался. Так что вы за меня не беспокойтесь: я смельчак и удалец. И еще вот что я хочу вам сказать: чтобы предстать перед обществом в приличном виде, я надену пурпуровую мантию, в которую меня облекли, когда я стал доктором. Воображаю, в какой восторг придет общество, узрев меня в мантии! Не успею оглянуться, как меня и в председатели выберут. Только бы мне туда проникнуть, а там дело пойдет как по маслу – вот увидите. Графиня-то какова: ни разу меня не видала, а уже хочет возвести в сан окунутого рыцаря! А может, рыцарство мне не подойдет? Справлюсь я с ним или не справлюсь? Ну да там увидим – лишь бы мне туда попасть".

"На словах-то вы молодец, – заметил Буффальмакко, – но только смотрите не подведите нас, а то еще, чего доброго, не явитесь или же так спрячетесь, что вас не найдут. На дворе-то ведь холодно, а вы, господа медики, народ зябкий".

"Что вы, бог с вами! – воскликнул лекарь. – Я не мерзляк, холода не боюсь. Бывает, встанешь ночью за нуждой, так редко-редко когда наденешь поверх полукафтанья еще и шубу. Нет уж, я приду наверняка".

Наконец друзья ушли, настала ночь, и доктор, придумав для жены более или менее благовидный предлог, что ему нужно куда-то идти, втайне от нее облекся в парадную свою одежду и в урочный час пошел на кладбище. Холод был лютый, и доктор в ожидании зверя съежился на одной из мраморных гробниц. Буффальмакко, верзила и здоровила, раз-

добыл такую личину, какие прежде надевались во время игр, в которые теперь никто уже не играет, надел шубу черным мехом наружу и стал, ни дать ни взять, медведь, но личина у него была с рогами, и представляла она собой рожу дьявола. В этаком наряде он вместе с Бруно, который шагал следом за товарищем, ибо ему любопытно было поглядеть, что из этого восполучится, пошел на новую площадь к церкви Санта Мария Новелла. Увидев доктора, он запрыгал, заскакал, запыхтел, зарычал, завопил – ну прямо бесноватый! Как увидел, как услышал это доктор, волосы у него встали дыбом, и он задрожал всем телом – должно заметить, что он был трусливее бабы. Он уж был не рад, что пришел, но раз, мол, явился – делать нечего, и так сильно в нем было желание поглядеть на чудеса, о которых те двое ему нарассказали, что мало-помалу он с собой совладал. Между тем Буффальмакко, некоторое время, как известно, бесновавшийся перед ним, сделал вид, что притих, и, подойдя к гробнице, на которой пребывал доктор, стал как вкопанный. Доктор трясся от страха; он не знал, что ему делать: то ли слезать, то ли оставаться на гробнице. Наконец, боясь, как бы зверь не кинулся, если он на него не сядет, доктор поборол страх страхом, сошел с гробницы и, шепча: "Господи, помилуй", – взгромоздился на него и устроился поудобнее. Все еще не в силах унять дрожь, он, как ему было велено, сложил руки на груди, и тогда Буффальмакко тихохонько двинулся в сторону Санта Мария делла Скала и, ползя на четвереньках, в конце концов остановился недалеко от Рипольского женского монастыря. Там были тогда ямы, куда местные крестьяне сбрасывали графиню Нечистотскую на предмет удобрения полей. Буффальмакко подполз к самому краю одной из таких ям и, улучив минуту, просунул руку под лекареву ногу и сбросил его со своей спины вниз головою в яму, а сам опять зарычал, заскакал, забесновался, а потом мимо Санта Мария делла Скала направился к лугу Оньиссанти и уже на лугу столкнулся с Бруно – тот, боясь фыркнуть, убежал на луг. Оба издали стали наблюдать, что-то будет делать вымазавшийся доктор. А гос-

подин доктор, очутившись в столь гнусном месте, пытался подняться, как-нибудь выкарабкаться — и снова падал. Измученный и удрученный, перепачкавшись с головы до ног, наглотавшись невесть чего, в конце концов он все-таки выбрался, но шапочка его осталась там. Он вытерся, сколько мог, руками, а затем в полной растерянности поплелся домой и давай барабанить, покуда ему не отперли.

Только успел он, распространяя зловоние, войти к себе, только успели закрыть за ним дверь, как к его дому подкрались Бруно и Буффальмакко, коим смерть хотелось послушать, как-то примет доктора его супруга. Насторожившись, они услыхали, что она ругает его так, как не ругали еще ни одного мерзавца на свете. "В хорошем виде ты домой явился! — кричала она. — Верно, бегал к какой-нибудь бабе, тебе хотелось покрасоваться перед ней в своей пурпуровой мантии. А меня тебе не достаточно? Меня, братец ты мой, не то что на тебя, а и на целый город хватит. Э, да пусть бы они тебя утопили там, куда бросили, и хорошо сделали, что бросили! Это называется — почтенный доктор! У него есть жена, а он по ночам к бабам шляется!" Такими и тому подобными речами донимала его жена до полуночи, меж тем как слуги его обмывали.

На другое утро Бруно и Буффальмакко выкрасили себе все тело в синий цвет, будто это синяки, и пошли к лекарю — тот был уже на ногах. Войдя, они почувствовали, что все у него в доме провоняло, — слуги еще не успели произвести надлежащую чистку, и оттого в комнатах стояла вонь. Услыхав о том, что они пришли, лекарь вышел к ним и пожелал доброго утра. Бруно же и Буффальмакко, как это у них было условлено заранее, с сердитым видом ответили ему так: "А мы вам доброго утра не желаем — напротив того: мы молим бога, чтобы он наслал на вас все напасти, чтобы вас расказнили как наихудшего и вероломнейшего изо всех предателей и изменников, ныне живущих на земле, ибо из-за вас мы, которые так старались доставить вам почет и удовольствие, чуть было не подохли, как псы. Из-за того, что вы нас обманули, нам нынче ночью отвесили

столько ударов, что от такого, и даже меньшего, количества осел добежал бы и до Рима, не говоря уже о том, что нам грозила опасность быть изгнанными из общества, в которое мы намеревались ввести вас. Коли не верите – поглядите, на что мы стали похожи". Тут они в неверном свете утра распахнули платье, показали ему раскрашенное свое тело и сейчас же запахнулись.

Врач начал было оправдываться, рассказывать о своих злоключениях, о том, как и куда его бросили, но Буффальмакко сказал: "Я бы хотел, чтобы он бросил вас с моста в Арно. Зачем вы призывали бога и святых? Разве мы вас от этого не предостерегали?"

"Да я, ей-богу, не призывал", – возразил лекарь.

"То есть как это так не призывали? – вскричал Буффальмакко. – Еще как призывали! Наш посланец рассказал нам, что вы дрожали как лист и не соображали, где находитесь. Нечего сказать, хорошо вы с нами поступили, – никто другой так бы с нами не поступил, – ну и мы, со своей стороны, воздадим вам по заслугам".

Лекарь, выбирая выражения самые что ни на есть изысканные, начал просить у них прощения и Христом-богом молить не позорить его. Боясь, как бы они не осрамили его на весь город, он пуще прежнего стал ублажать их и задабривать приглашениями на обед и прочим тому подобным. Так-то учат уму-разуму тех, кто не запасся им в Болонье.

10

Некая сицилийка
ловким образом выманивает у купца всю сумму,
на которую он продал товар в Палермо;
приехав туда в следующий раз,
купец уверяет сицилийку,
будто привез товару на еще более крупную сумму,
и, взяв у нее денег взаймы,
расплачивается водой и паклей

Легко себе представить, как смешило дам многое в рассказе королевы. Не было ни одной слушательницы, у которой от хохота раз десять не выступили бы на глазах слезы. Когда же рассказ королевы пришел к концу, Дионео, знавший, что теперь его очередь, молвил:

— Обворожительные дамы! Всем известно, что уловка тем дороже ценится, чем ловчее сумели одурачить хитроумного ловкача. Вот почему, хотя все мы уже рассказали по сему поводу тьму прелюбопытных вещей, я, однако ж, хочу предложить вашему вниманию рассказ, который должен прийтись вам по нраву более, чем какой-либо еще, именно потому, что одураченная, о которой я поведу речь, умела дурачить других неизмеримо лучше всех одураченных мужчин и женщин, действовавших в предыдущих рассказах.

Во всех приморских городах, где имеется гавань, существовали, — а может статься, существуют и ныне, — правила, обязывавшие всех приезжавших с товаром купцов тотчас

после выгрузки сдать товар на хранение в склад, во многих местах именуемый таможней; склад этот содержал город или же градоправитель. Таможенники принимали у купца товар по описи, где была проставлена ценность, отводили для товара особое помещение, запирали это помещение на ключ и вписывали товар в таможенную книгу, за что брали с купца деньги, а впоследствии взимали пошлину за весь товар или же за ту его часть, которую купец брал со склада. Из таможенной книги посредники нередко узнавали о качестве и количестве лежавшего в складе товара и о том, кто его владельцы, с коими они потом в случае надобности вели переговоры о мене, продаже, перепродаже, равно как и о прочих видах сбыта. Правила эти существовали во многих городах, и, между прочим, в Палермо, что́ в Сицилии, где жило, да и сейчас еще живет, много женщин обольстительной наружности, но отнюдь не честного поведения; те же, кто их не знал, принимали и почитали их за женщин благородных и наичестнейших. Промышляли они единственно тем, что не просто брили мужчин, а сдирали с них шкуру: увидят приезжего купца, и скорей в таможню – справиться по книге, что у него есть и какими средствами он располагает, а затем приятным и ласковым обхождением и сладкими речами стараются завлечь и заманить его в любовные сети. Так они заманили многих купцов и у некоторых выманили почти весь товар, у большинства – весь, а кое-кто из купцов оставил там и товар и корабль, словом, разорился дотла: до того мягко водила бритвой брадобрейка.

И вот не так давно один молодой человек по имени Никколо́ да Чиньяно, а по прозвищу “Салабаэтто”, наш земляк, флорентиец, по поручению своих хозяев прибыл в Палермо с большим количеством оставшихся у него после Салернской ярмарки шерстяных тканей, примерно на сумму в пятьсот флоринов золотом. С продажей молодой человек не спешил; уплатив таможенникам то, что с него причиталось, и сдав товар на хранение в склад, он пошел погулять по городу. Был он белолиц, белокур, статен, пригож, и вот одна из таких брадобреек, именовавшая себя донной Янкофьо-

ре, будучи отчасти осведомлена о его денежных делах, начала строить ему глазки. Молодой человек это заметил и, вообразив, что обратил на себя внимание знатной дамы, приписал это действию неотразимой своей наружности и решил, что тут нужно вести дело тонко. Никому ни слова не сказав, он начал прохаживаться мимо ее дома. Янкофьоре живо смекнула, что это означает; несколько дней подряд она пламенными взглядами разжигала в нем страсть и давала понять, что тоже сгорает от любви к нему, а затем подослала к купцу женщину, в совершенстве постигшую искусство сводничества. Сводня наговорила ему с три короба; со слезами на глазах она уверила Салабаэтто, что красота его и приятство так вскружили голову ее госпоже, что она ни днем, ни ночью не знает покою, жаждет с ним увидеться и готова назначить ему тайное свидание в бане, когда ему заблагорассудится. Тут сводня достала из кошелька перстень и, пояснив, что это подарок от госпожи, вручила перстень ему. Салабаэтто возликовал. Взяв перстень, он провел им по глазам, поцеловал его и надел на палец, а почтенной женщине сказал, что любит донну Янкофьоре больше собственной жизни и готов пойти, куда и когда бы она его ни позвала.

Посланная передала его ответ своей госпоже, и Салабаэтто тут же было сообщено, в какой бане ему надлежит завтра после вечерни ее ожидать. Никому о том не проговорившись, Салабаэтто в назначенный час с великою поспешностью туда отправился и узнал, что дама заранее сняла эту баню. Немного погодя пришли две рабыни со всяким добром; одна несла на голове длинный, добротный хлопчатобумажный матрац, другая – большущую корзину с разными вещами. Матрац был положен на кровать в одной из комнат за баней, а затем рабыни постелили две обшитые шелком тончайшие простыни, одеяло из белоснежной кипрской ткани и положили две искусно вышитые подушки. Потом они разделись и, войдя в баню, чисто-начисто вымели и вымыли ее. Малое время спустя пришла Янкофьоре и с ней еще две рабыни. Увидев Салабаэтто, она радостно приветствовала его; прерывисто дыша, она сдавила

его в объятиях и покрыла поцелуями его лицо. “Только ты мог довести меня до этого, – сказала Янкофьоре. – Душа у меня горит в огне, и все из-за тебя, возлюбленный мой тосканец!”

Затем они оба, по желанию Янкофьоре, разделись догола и прошли в баню; две рабыни сопровождали их. Никому не позволив дотронуться до Салабаэтто, она сама мускусным и гвоздичным мылом тщательно и ловко его вымыла, а потом велела рабыням, чтобы они и ее вымыли и растерли. После этого рабыни принесли две тонкие белоснежные простыни, от коих так сильно пахло розами, что казалось, будто все в бане было пропитано ароматом роз. Одна из рабынь завернула в простыню Салабаэтто, другая – Янкофьоре, затем рабыни посадили их к себе на плечи и отнесли в заранее приготовленную постель. Когда пот у Салабаэтто и Янкофьоре высох, рабыни сменили простыни. Потом достали из корзины чудные серебряные флаконы с розовой, померанцевой, жасминной, апельсинной водой и опрыскали их, затем достали ящик со сластями и дорогими винами, угостили их и сами подкрепились. У Салабаэтто было такое чувство, словно он в раю; он пожирал Янкофьоре глазами, – а она в самом деле была красавица, – и пока рабыни не ушли и пока он не заключил ее в объятия, каждый час казался ему столетием. Наконец госпожа приказала рабыням, удалиться, и они, оставив в бане зажженный светильник, ушли, и тогда Янкофьоре обняла Салабаэтто, а он ее, и, к великому удовольствию Салабаэтто, которому казалось, что она тает от любви к нему, пробыли они тут долго.

Когда же Янкофьоре решила, что пора вставать, она позвала рабынь, затем она и Салабаэтто оделись, опять подкрепились винами и сластями, лицо и руки омыли теми же душистыми водами, и на прощанье Янкофьоре сказала Салабаэтто: “Я была бы очень рада, если б ты вечером у меня отужинал и остался ночевать”.

Салабаэтто, плененный ее красотою и деланною любезностью, был совершенно уверен, что она от него без ума. “Сударыня! – сказал он. – Я был бы счастлив исполнить лю-

бое ваше желание. И вечером и в дальнейшем я буду делать все, что вам угодно, и все, что вы мне прикажете".

Придя домой, Янкофьоре велела натащить к себе в спальню как можно больше платьев и разных вещей, велела приготовить роскошный ужин и стала ждать Салабаэтто. Когда стемнело, Салабаэтто пошел к ней, был ею радостно встречен и с великою приятностью провел время за отменным ужином. Войдя же к ней в спальню, он ощутил дивный запах алоэ и курившихся смол, увидел пышное ложе и много красивых платьев на вешалке. Все это, и вместе и порознь, убедило его в том, что Янкофьоре – знатная и богатая дама. Дошедшие до него толки о ее образе жизни с этим не вязались, но он ни за что не хотел им верить; он допускал, что она могла кого-нибудь оплести, но чтобы она околпачила его – это представлялось ему совершенно невероятным. Он провел с ней упоительную ночь, и страсть его час от часу разгоралась сильнее. Поутру Янкофьоре надела на Салабаэтто красивый, изящный серебряный поясок с висевшим на нем хорошеньким кошельком. "Милый мой Салабаэтто, помни обо мне! – сказала она. – Я вся твоя, и все, что ты видишь здесь, и все, что от меня зависит, тоже в твоем распоряжении". Салабаэтто в восторге обнял ее, расцеловал и направился туда, где имели обыкновение собираться купцы.

Потом он еще несколько раз у нее был, ровным счетом ничего на нее не потратил, однако ж с каждым разом все больше увязал. И вот наконец он продал шерстяные ткани за наличные и с изрядным барышом, о чем Янкофьоре тотчас же услышала, но не от него самого, а от других.

Однажды вечером Салабаэтто был у нее, и она с ним болтала и щебетала, обнимала его и целовала и прикидывалась столь пламенно в него влюбленной, что казалось, сейчас умрет от любви в его объятиях. На сей раз она возымела желание подарить ему два красивых серебряных кубка, однако ж Салабаэтто не взял их – он и так уже раза два принимал от нее подарки стоимостью, по крайней мере, в тридцать флоринов золотом, она же отказывалась и от грошовых. Так, разыгрывая из себя щедрую, пылающую к нему

любовью женщину, она до крайней степени разожгла в нем любовный пыл, и вот тут-то одна из ее рабынь, исполняя заранее данный ей приказ госпожи, позвала ее, Янкофьоре же вышла из комнаты, а некоторое время спустя вернулась вся в слезах, повалилась ничком на кровать и разразилась горестными рыданиями.

Салабаэтто пришел в изумление; он обнял Янкофьоре и тут же заплакал сам. "Радость моя, да что же это с вами так внезапно стряслось? – воскликнул Салабаэтто. – Что вы так убиваетесь?"

После долгих упрашиваний Янкофьоре наконец заговорила: "Ах, обожаемый мой повелитель! Я просто не знаю, что мне делать и как мне быть. Я только что получила письмо от брата из Мессины: он пишет, чтобы я через неделю непременно прислала ему тысячу флоринов золотом, хотя бы мне пришлось для этого продать и заложить все имущество, потому что, если я ему этих денег не вышлю, то ему отрубят голову. Вот я и не знаю, что делать. Разве я смогу в столь короткий срок достать такие огромные деньги? Будь у меня в запасе хотя бы две недели, я бы получила их в одном месте – там мне еще больше следует, либо продала одно из наших имений, но в такой срок это немыслимо. Лучше умереть, чем получить эту ужасную весть". Продолжая разыгрывать отчаяние, Янкофьоре проливала обильные слезы.

Любовный пламень отнял у Салабаэтто почти весь его разум, и он, полагая, что слезы Янкофьоре – самые что ни на есть искренние слезы, а слова еще правдивее слез, сказал ей так: "Сударыня! Тысячью флоринов я не располагаю, однако ж я вполне могу предложить вам взаймы пятьсот, при том условии, что через две недели вы мне их возвратите. На ваше счастье, я как раз вчера продал ткани, а до вчерашнего дня я вам ломаного гроша не мог бы ссудить".

"Ах, боже мой! – воскликнула Янкофьоре. – Так ты сидел без денег? Что же ты у меня-то не попросил? Тысячи у меня бы не нашлось, но сто и даже двести флоринов я бы, конечно, дала тебе в долг. А теперь мне просить у тебя неловко".

Слова эти особенно тронули Салабаэтто. “Пожалуйста, возьмите, сударыня! – сказал он. – Если б я нуждался в деньгах, я бы непременно у вас попросил”.

“Ах, милый Салабаэтто! – молвила Янкофьоре. – Теперь я вижу, что ты и правда любишь меня беззаветно, коль скоро ты так добр, что без всякой моей просьбы готов выручить меня такой громадной суммой. Я и до этого случая была твоею, а теперь и подавно. Я никогда не забуду, что обязана тебе жизнью брата. Видит бог, я беру эти деньги скрепя сердце – я знаю, что ты купец, а купцу без денег шагу нельзя ступить, но у меня нет другого выхода, да и потом, я нимало не сомневаюсь, что возвращу их тебе в срок. А чтобы раздобыть недостающую сумму, я, если только мне раньше не представится какая-нибудь другая возможность, заложу мои вещи”. И тут она, плача, прижалась щекой к щеке Салабаэтто. Салабаэтто начал ее утешать, а проведя с нею ночь, он постарался доказать своей возлюбленной, что в его лице она имеет наищедрейшего поклонника: не дожидаясь напоминания, он принес ей ровно пятьсот флоринов, Янкофьоре же приняла их, смеясь в душе, но со слезами на глазах, а Салабаэтто дал ей эту сумму под честное слово.

Получив денежки, Янкофьоре запела совсем другим голосом: если прежде ее дом всегда был открыт для Салабаэтто, то теперь почти всякий раз находились предлоги, чтобы его не впустить; куда девались былое гостеприимство, ласка, радушие! Никаких денег в срок он не получил; после того прошел месяц, прошел другой, а когда он заговаривал про деньги, ему платили обещаниями. Убедившись наконец в хитроумии этой злодейки и в своем собственном безрассудстве, поняв, что, если только она сама не соблаговолит хоть что-нибудь вернуть, ему ничего не удастся из нее вытянуть, так как ни расписки, ни свидетелей у него нет, стыдясь кому-либо излить душу, потому что добрые люди его предостерегали и теперь он мог опасаться, как бы его, ротозея, не подняли на смех, и за дело, Салабаэтто один на один с самим собою оплакивал свою дурость. Между тем Салабаэтто получил уже не одно письмо от своих хозяев, и

в тех письмах хозяева требовали, чтобы он разменял деньги и выслал им; и вот он, боясь, что, коль скоро он их требование не исполняет, то его преступление рано или поздно будет раскрыто, положил уехать, но только не в Пизу, куда его теперь посылали, а в Неаполь, и с этим намерением сел на корабль.

В то время там проживал наш согражданин, казначей императрицы Константинопольской, ближайший друг Салабаэтто и всей его семьи, Пьетро делло Каниджано, человек умнейший и гораздый на выдумки, и вот ему-то, как человеку в высшей степени сообразительному, Салабаэтто пожаловался на свою судьбу, рассказал, что он натворил и как его обставили, и попросил у него совета и помощи в рассуждении того, как бы это ему тут прокормиться, а то, мол, во Флоренцию он ни за что не вернется.

Каниджано был огорчен его рассказом. "Ты дурно поступал, ты себя запятнал, ты ослушался своих хозяев, ты отдал огромные деньги за утоление твоей страсти, ну да что теперь толковать? – молвил он. – Что сделано, то сделано. Подумаем, как быть дальше". Будучи человеком изобретательным, Каниджано тут же все обмозговал и подал Салабаэтто совет. Затея Каниджанова пришлась Салабаэтто по нраву, и он порешил, нимало не медля, приняться за ее осуществление.

Кое-какие деньжонки у Салабаэтто были, да Каниджано дал ему немного взаймы; хорошенько упаковав и увязав изрядное количество тюков, купив бочек двадцать из-под оливкового масла и наполнив их, он все это погрузил на корабль и возвратился в Палермо. Представив таможенникам опись тюков и объявив ценность бочек, Салабаэтто приказал все отнести на его счет и все отдал на хранение в склад, а таможенников предуведомил, что, пока не придет еще одна партия товару, он этот товар трогать не будет. Когда о том пронюхала Янкофьоре, когда она услыхала, что товар, который привез Салабаэтто, стоит, уж во всяком случае, две тысячи флоринов золотом, а то и больше, а что другая партия, которую он ожидает, стоит больше трех ты-

сяч, ей показалось, что она еще мало с него содрала, и, надумав отдать ему пятьсот флоринов, с тем чтобы хапнуть львиную долю пяти тысяч, послала за ним.

Салабаэтто, знавший теперь, с кем имеет дело, пошел к Янкофьоре, и та, притворившись, будто и не подозревает, на какую сумму он привез товару, и что она бесконечно рада ему, обратилась к нему с вопросом: "Послушай! Ты на меня не сердишься за то, что я тебе в срок не вернула долга?"

Салабаэтто засмеялся и сказал: "Признаюсь, сударыня, мне это было слегка неприятно, но не из-за себя: в угоду вам я бы сердце вырвал из своей груди. Нет, я на вас сердиться не умею. Я так сильно и так горячо вас люблю, что распродал почти все свои имения и привез сюда товару на две тысячи с лишком флоринов, да еще с Запада ожидаю товару на три тысячи с лишком. А задумал я здесь у вас поселиться и открыть лавку, чтобы не разлучаться с вами, ибо вы так осчастливили меня своею любовью, что, полагаю, на всем свете нет теперь человека счастливей меня".

Янкофьоре же ему на это ответила так: "Поверь мне, Салабаэтто: всякая твоя удача радует меня, оттого что я люблю тебя больше жизни, и я в восторге, что ты вернулся и хочешь здесь обосноваться, – надеюсь, мы с тобой не соскучимся, – но я должна принести тебе извинения: перед своим отъездом ты несколько раз ко мне приходил, но я тебя не принимала, если же и принимала, то без прежнего чувства, а еще я прошу у тебя прощения за то, что в срок не вернула долга. Но ведь ты же знаешь, что у меня тогда было большое горе, я была в полном отчаянии, а когда находишься в таком состоянии, то при всем желании не можешь быть приветлив и внимателен даже к любимому человеку. Сам понимаешь, женщине не так-то просто раздобыть тысячу флоринов золотом: все только обещают, а слова не держат, – приходится и нам лгать; вот почему я и не отдала тебе долга, а злого умысла у меня не было. Я достала денег вскоре после твоего отъезда, и если бы я знала, куда их тебе послать, то, разумеется, послала бы, но твое местонахождение мне было неизвестно, и я порешила припрятать деньги до твоего возвращения".

Тут Янкофьоре велела принести кошель с деньгами и, отдав его Салабаэтто, примолвила: "Пересчитай – тут должно быть пятьсот".

Салабаэтто обрадовался; пересчитав деньги и уверившись, что вся сумма налицо, он спрятал их и сказал: "Вам можно верить, сударыня, – вы это доказали. Так вот знайте: я питаю к вам такое доверие и так вас люблю, что готов в случае надобности дать вам взаймы любую сумму, какой только я располагаю. Когда я тут устроюсь, вы удостоверитесь в том на деле".

Итак, возобновив на словах былую сердечную склонность, Салабаэтто снова зажил с Янкофьоре в любви и согласии, а Янкофьоре не знала, как его ублажить, как ему угодить, и прикидывалась самою страстною в мире любовницею.

Между тем Салабаэтто намеревался отплатить ей обманом за обман, и вот как-то раз, получив от нее приглашение отужинать и остаться на ночь, он пришел к ней удрученный, сокрушенный, убитый. Янкофьоре начала обнимать его, целовать и расспрашивать, чем он так расстроен. Салабаэтто долго отнекивался, но в конце концов сказал: "Я разорен: корабль с товаром, который я поджидал, захватили монакские корсары; корабельщики от них откупились – дали им десять тысяч флоринов золотом, из коих мне надлежит уплатить тысячу, а я сижу без гроша: те пятьсот флоринов, что ты мне возвратила, я тот же час послал в Неаполь на покупку полотна, которое должны были доставить мне сюда. Если бы даже я продал имеющийся у меня товар, то у меня бы его взяли за полцены – ведь теперь не сезон, а меня здесь еще не знают, выручить меня некому, – просто ума не приложу, что мне делать и как мне быть. Если же я не вышлю денег немедленно, товар будет отвезен в Монако, и я останусь ни при чем".

Янкофьоре была этим обстоятельством крайне огорчена – ей казалось, что все пропало; поломав голову над тем, как бы так исхитриться, чтобы товар не был увезен в Монако, она наконец сказала: "Ты меня пленил своею любовью, и мне тебя так жаль – видит бог, как мне тебя жаль! Но все-таки зачем уж так убиваться? Если б у меня были такие день-

ги, ей-ей, я бы их тебе дала, но у меня их нет. Правда, есть тут один человек – на днях он дал мне взаймы пятьсот флоринов, но под большие проценты: он пускает деньги в рост из тридцати процентов, не меньше. Если ты надумаешь взять у него, нужно будет оставить ему хороший заклад. Ради тебя я готова заложить все свои вещи и даже самое себя, только бы он тебя выручил, но этого не хватит, – что бы ты мог ему предложить в обеспечение долга?"

Салабаэтто сообразил, с какою целью Янкофьоре хочет оказать ему эту услугу, и догадался, что она намерена ссудить ему свои же собственные деньги. Придя от этого в восторг, он прежде всего поблагодарил ее, а потом сказал, что лихой процент его не смущает, ибо он в безвыходном положении. Еще он сказал, что обеспечит уплату долга товаром, находящимся в таможенном складе, и что он немедленно переведет товар на имя того, кто даст ему в долг, а ключ от склада оставит пока у себя, во-первых, на тот случай, если понадобится кому-нибудь показать товар, а во-вторых – чтобы ничего у него там не тронули, не переложили и не подменили. Янкофьоре со всем этим согласилась и сказала, что это вполне достаточное обеспечение. На другой же день она позвала маклера, который пользовался у нее особым доверием, и, изложив суть дела, дала ему тысячу флоринов золотом, маклер передал их Салабаэтто, а Салабаэтто перевел на его имя весь свой товар, который лежал в таможне. Салабаэтто вручил маклеру опись, тот ему расписку, оба остались довольны и пошли по своим делам.

Салабаэтто с полутора тысячами золотых флоринов в кармане при первой возможности сел на корабль, возвратился в Неаполь, к Пьетро делло Каниджано, и уже оттуда направил во Флоренцию своим хозяевам, посылавшим его в Палермо с шерстяными тканями, полный и безобманный отчет. Расплатившись со всеми заимодавцами, в частности, с Пьетро, он несколько дней кутил с ним на счет одураченной сицилийки, а затем, порешив бросить торговлю, отбыл в Феррару.

Между тем Янкофьоре, убедившись, что Салабаэтто в Палермо нет, далась диву, и в душу к ней закрались сомне-

ния. Прождала она его добрых два месяца — он все не показывался; наконец, она велела маклеру взломать склад. Первым делом они осмотрели бочки, якобы полные оливкового масла, и что же оказалось? В каждой бочке оливковое масло было только около самого отверстия, а вся бочка была наполнена морской водой. Когда же они развязали тюки, то обнаружили, что только в двух были ткани, все же остальные были набиты паклей. Коротко говоря, все, что там ни было, стоило от силы двести флоринов. Посрамленная Янкофьоре долго оплакивала те пятьсот флоринов, которые она вернула Салабаэто, а еще больше — тысячу, которую она дала ему в долг. "Тосканца обирай, да сама рот не разевай", — часто повторяла она. Только теперь, оставшись внакладе да еще в дураках, она поняла, что как аукнется, так и откликнется.

Когда Дионео окончил свой рассказ, Лауретта одобрила совет Пьетро Каниджано, коего полезность была испытана на деле, равно как и то хитроумие, с каким Салабаэтто ему последовал, а затем, вспомнив о том, что царствованию ее пришел конец, сняла с головы лавровый венок и, возложив его на Эмилию, обратилась к ней с речью, исполненною чисто женского изящества.

— Государыня! — молвила она. — Я не осмеливаюсь утверждать, будет ли наша королева милостива, но что она прелестна — это не подлежит сомнению. Мне остается только пожелать, чтобы во все продолжение вашего царствования поступки ваши соответствовали вашей красоте.

Сказавши это, она села на свое обычное место.

Эмилия зарделась, — не столько от того, что ее возвели на королевский престол, сколько от того, что ей при всех были сказаны слова, доставляющие особое удовольствие женщинам, — сейчас ее можно было уподобить розе, распустившейся на заре. Долго не поднимала она очей — до тех пор, пока не сбежала с ее лица краска смущения, а затем, поговорив с дворецким о делах, которые касались всего общества, повела такую речь:

— Прелестные дамы! Нам с вами нередко приходилось видеть, что волов, часть дня походивших в ярме, освобождают от ярма, распрягают и пускают пастись на воле в лесу. И еще мы видим, что сады, обильные многоразличными густолиственными деревьями, гораздо красивее тех лесов, где растут одни лишь дубы. Вот почему, приняв в рассуждение, сколько дней мы, соблюдая установленное правило, беседовали, я нахожу, что теперь нам, нуждающимся в отдыхе, было бы не только полезно, но даже необходимо погулять, а затем мы со свежими силами снова впряжемся в ярмо. И вот почему, когда мы завтра продолжим приятную нашу беседу, я не стану стеснять вас каким-нибудь одним предметом, — пусть каждый рассказывает *О чем угодно,* — я стою на том, что от рассказов на различные темы мы получим не меньшее наслаждение, чем если бы все мы избрали один предмет. Тем же, кто будет царствовать после меня, легче будет заставить нас, отдохнувших, по-прежнему соблюдать существующий у нас закон.

Сказавши это, королева всех отпустила до ужина.

Все изъявили королеве одобрение за ее мудрую речь, а затем встали, и тут каждый выбрал себе занятие по душе: дамы начали плести венки и развлекаться, молодые люди — играть в разные игры и петь, и так прошло у них время до ужина. Затем все уселись возле прелестного фонтана и весело, с удовольствием отужинали, а после ужина стали, по обыкновению, петь и танцевать. Под конец, несмотря на то что было уже спето немало песен, причем участники веселья сами вызывались что-нибудь спеть, королева, следуя установлению своих предшественников, сказала, что теперь должен спеть песню Панфило, и тот охотнейшим образом начал так:

Любовь! Так много счастья
Я от тебя, всевластной, получил,
Что страшный пламень твой — и тот мне мил.

Такую радость сердце ощущает,
Что не сокрыть ее,

Как ни владей собою.
Ясней с минутой каждой возвещает
О ней лицо мое
Любой своей чертою:
Тому, кто всей душою
Себя высокой страсти посвятил,
Не утаить ее победный пыл.

Но о своем восторге без предела
Хранить стараюсь я
Упорное молчанье:
Мое воображение несмело,
Убога речь моя,
И для меня страданье
Знать, что при всем желанье
Не хватит мне, увы, ни слов, ни сил
Поведать, как судьбой я взыскан был.

И сам бы не дерзнул предполагать я,
Что через день всего
Придет конец остуде
И вновь друг друга примем мы в объятья.
Так можно ль ждать того,
Чтоб в столь безмерном чуде
Не усомнились люди?
Вот почему не говорить решил
Я о блаженстве, коего вкусил.

На этом Панфило кончил свою песню. Молодые дамы и юноши дружно подхватывали припев, что не мешало им необычайно внимательно вслушиваться в слова песни, дабы уловить таинственный ее смысл. Все толковали ее по-разному – и все были куда как далеки от истины. Между тем королева, приняв в соображение, что песня Панфило окончена, а молодым дамам и юношам хочется отдохнуть, велела всем идти спать.

Кончился восьмой день
ДЕКАМЕРОНА,
начинается девятый.
В день правления
ЭМИЛИИ
каждый рассказывает
о чем угодно
и о чем ему
больше нравится

Уже от сиянья зари побежали ночные тени, а звездное небо из синего стало бледно-голубым, и цветы на лугах начали поднимать головки, когда Эмилия, встав с постели, велела позвать своих подружек и молодых людей. Когда они собрались, королева медленным шагом повела их к рощице, что росла недалеко от дворца, и, войдя в нее, все увидели разных животных, как, например, косуль, оленей и прочих; на них теперь почти не охотились, так как чумное поветрие не прекращалось, и они без опаски, точно прирученные, ожидали приближения людей. Люди же приближались то к тому, то к другому животному для развлечения и делали вид, что вот сейчас бросятся за ними в погоню, а животные вскачь от них убегали. Наконец солнце взошло, и все порешили вернуться. Они сплели себе венки из дубовых листьев, руки у них были полны душистых трав и цветов. Если бы кто-нибудь тогда с ними встретился, то, верно уж, сказал бы себе: “Их и смерть не возьмет, а если они и умрут, то благословляя жизнь”. Так, идя тихим шагом, распевая, болтая и шуточки отпуская, дошли они до дворца, — здесь все уже было готово, их ожидали слуги с приветливыми и веселыми лицами. Дамы и молодые люди немного отдохнули, потом спели шесть песенок, одна веселей другой, после чего им подали воды для мытья рук, дворецкий согласно воле королевы усадил их за стол, тут подали кушанья, и сотрапезники в отличнейшем расположении духа отдали им должное. После трапезы все стали танцевать

круговые танцы, играть на музыкальных инструментах, а затем королева дозволила желающим пойти отдохнуть. В обычный час все в определенном месте собрались для беседы. Обратив взор на Филомену, королева объявила, что положить начало нынешней беседе надлежит ей. Филомена улыбнулась и начала так.

1

Донну Франческу
любят Ринуччо и Алессандро,
она же их не любит;
одному она приказывает лечь в склеп,
как будто он мертвый, а другому велит
вынести оттуда мнимого покойника;
и того и другого постигает неудача;
тогда донна Франческа ловко от них
отделывается

– Государыня! Вашему величию заблагорассудилось вывести нас на открытое и широкое поле повествования, и мне очень лестно, что это состязание начинаю я; если же я сумею положить ему удачное начало, то можно не сомневаться, что у тех, кто будет рассказывать после меня, дело пойдет хорошо, может быть, даже еще лучше.

Из многих выслушанных нами рассказов явствовало, дражайшие дамы, каковы суть и сколь могущественны силы любви, однако я не думаю, чтобы все об этом было уже сказано, – мы бы и за целый год всего не перетолковали. Мало того что любовь подвергает любящих смертельной опасности, – она приводит их в обиталище мертвых, как будто они тоже умерли, и вот мне хочется в добавление к тому, что мы уже слышали, предложить вашему вниманию повесть, из коей вам станет ясно, сколь сильна любовь, и из коей вы узнаете, какую находчивость выказала некая до-

стойная женщина, чтобы отвязаться от двух поклонников, любивших ее без взаимности.

Итак, да будет вам известно, что в городе Пистойе жила когда-то пригожая вдовушка, и нужно же было случиться так, чтобы ею прельстились два наших флорентийца, изгнанные из Флоренции и проживавшие в Пистойе, – Ринуччо Палермини и Алессандро Кьярмонтези, причем каждый из них, не подозревая о существовании другого, хитроумно применял все имевшиеся в его распоряжении средства, дабы покорить свою возлюбленную. Оба старались воздействовать на знатную даму (звали ее донной Франческой де Ладзари) посланиями и мольбами, она же имела неосторожность преклонять к ним слух, а когда благоразумие взяло верх, то отступать было уже трудно, и вот тут-то она и надумала, как избавиться от их назойливости: ей пришло в голову попросить их об одной услуге, вообще говоря, не невозможной, но для них обоих заведомо непосильной, с тем чтобы их неудача послужила для нее благовидным и разумным предлогом, дабы решительно их отвергнуть. Мысль ее состояла в следующем. В тот самый день, когда она у нее появилась, в Пистойе умер один человек, которого, несмотря на то, что он вел свое происхождение от славных предков, все признавали за самого скверного человека не только во всей Пистойе, но и в целом мире. Притом он был до того уродлив, столь безобразная была у него образина, что тот, кто видел его впервые, невольно содрогался от ужаса; похоронили же его в склепе, на кладбище при монастыре миноритов. Донна Франческа нашла, что это обстоятельство может способствовать успеху задуманного ею предприятия.

Она обратилась к своей служанке с такими словами: “Тебе известно, как мне надоели и опостылели послания двух флорентийцев, Ринуччо и Алессандро. Я вовсе не намерена осчастливить их своею любовью, и вот, чтобы от них отвязаться, я порешила, – ведь на словах-то они все готовы для меня сделать! – подвергнуть их испытанию, которое они, понятно, не выдержат, и тогда я буду избавлена от их назой-

ливости. Вот что я измыслила. Тебе известно, что нынче утром похоронили на кладбище при монастыре миноритов Сканнадио (так звали того гадкого человека), а ведь его и живого пугались самые бесстрашные люди в нашем городе. Так вот сбегай сперва к Алессандро и скажи: “Донна Франческа велела тебе передать, что она готова полюбить тебя и, если хочешь, побыть с тобою наедине, но вот что для этого нужно сделать. По причине, которую она тебе потом объяснит, один из ее родственников должен принести ей ночью тело Сканнадио, которого нынче утром похоронили, но она этого не хочет, потому что боится. Так вот, она просит тебя оказать ей большую услугу: ночью, в первосонье, пойди на кладбище, войди в склеп, где похоронен Сканнадио, надень на себя его саван, ляг на его место и жди: за тобой придут – а ты молчи, ни звука! – и отнесут к ней в дом, она тебя встретит, и ты с ней побудешь, потом уйдешь, а она все уладит”. Согласится Алессандро – отлично, а если нет, то скажи ему от моего имени, чтобы он не смел попадаться мне на глаза и, если только ему дорога жизнь, не рисковал посылать мне письма. От него пойди к Ринуччо Палермини и скажи: “Донна Франческа говорит, что исполнит любое твое желание, если ты окажешь ей большую услугу: в полночь войди в тот склеп, где утром похоронили Сканнадио, и, не издав ни звука, что бы там ни увидел, ни услышал и ни испытал, осторожно достань его тело и отнеси к ней в дом. Там ты узнаешь, почему она обратилась к тебе с такой просьбой, и утолишь свою страсть. Если же ты откажешься, то она воспретит тебе посылать ей письма”.

Служанка побывала у обоих и каждому сказала все, что ей было велено. Оба ответили, что если донне Франческе будет угодно, они не то что в склеп, а и в преисподнюю сойдут. Служанка передала их ответ госпоже, и донна Франческа стала ждать той минуты, когда наконец выяснится, так ли оба ее поклонника глупы, чтобы пойти на столь многотрудное дело.

И вот глухою ночью Алессандро Кьярмонтези вышел в одном полукафтанье из дому и направился к склепу, чтобы

лечь в гроб вместо Сканнадио. Дорогой ему, однако ж, стало очень страшно, и он начал сам с собой рассуждать: "Какой же я болван! Куда меня несет? Не ровен час, родные донны Франчески догадались, что я ее люблю, невесть что вообразили и толкнули ее на это, чтобы убить меня в склепе. Коли так, то я пропал – никто ничего не узнает, убийство останется безнаказанным. Чего доброго, это мне подстроил кто-нибудь из моих недоброжелателей, а она его любит и хочет ему угодить. Положим даже, что все это вздор, – продолжал он, – положим, ее родные в самом деле намерены отнести меня к ней в дом. Вряд ли, однако ж, они отнесут туда тело Сканнадио, чтобы его обнимать или же чтобы его заключила в объятия донна Франческа, – скорее всего он при жизни чем-нибудь им насолил, и теперь они в отместку хотят надругаться над его телом. Она велела мне молчать, что бы ни случилось. А вдруг они примутся выкалывать мне глаза, вышибать зубы, отсекать руки или что-нибудь в этом роде, – что мне тогда делать? Как тут смолчишь? А если я заговорю, они меня сейчас узнают, и тогда, должно полагать, мне от них попадет, а если и не попадет, то я все равно на мели: ведь не оставят же они меня с донной Франческой вдвоем! А потом она скажет, что я нарушил ее запрет, и ничего мне от нее не дождаться". Тут он чуть было не повернул обратно, однако же страстная любовь, подсказав ему чрезвычайно веские доводы "за", повлекла его вперед и подвела к самому склепу. Отворив дверцу, он вошел в склеп, раздел Сканнадио, надел на себя его саван и лег, а сверху положил плиту, но стоило Алессандро лечь на место покойника, как ему сию же минуту вспомнилось, что это был за человек, и еще пришли ему на память все страшные рассказы о том, что творится по ночам не только в склепах, но и в других местах. Волосы встали у него дыбом; ему казалось, что вот сейчас поднимется распаканалья Сканнадио и прикончит его. Однако, воодушевляемый пламенною своею страстью, он преоборол всякий страх; лежа неподвижно, как настоящий покойник, он ожидал решения своей участи.

Близко к полночи вышел из своего дома Ринуччо и отправился исполнять веление владычицы его души. Дорогой его одолевали многоразличные мысли касательно того, что́ его ожидает, например: вдруг его с телом Сканнадио задержит городская стража, а затем он по обвинению в чародействе будет сожжен на костре? Вдруг, если все это узнается, его возненавидят родственники Сканнадио? И прочие тому подобные мысли лезли Ринуччо в голову и едва не удержали его. Однако ему удалось переломить себя. "Неужто, – подумал он, – я отвечу отказом на первую же просьбу, с которой ко мне обратилась благородная эта дама, которую я так любил и продолжаю любить, – откажусь сделать для нее то, чем я могу снискать ее благоволение? Нет, пускай я погибну, но слово свое сдержу!" Тут он снова тронулся в путь и, дойдя до склепа, без всяких усилий отворил дверцу.

Алессандро, услыхав, что кто-то идет, испугался, однако ж ничем себя не выдал. Ринуччо вошел и, воображая, что это тело Сканнадио, взял Алессандро за ноги, вытащил его и, взвалив на плечи, направил стопы свои к дому донны Франчески. Нес он мертвое тело без всякого береженья, и оно поминутно ударялось об углы скамеек, стоявших по обе стороны улицы, а ночь выдалась темная-претемная, в двух шагах ничего не было видно. Донна Франческа, в полной уверенности, что сейчас она укажет обоим от ворот поворот, и ее служанка стояли в это время у окон и смотрели, не несет ли Ринуччо Алессандро, и вот, когда Ринуччо уже приблизился к лестнице ее дома, стражники, устроившие на той улице засаду с целью изловить одного высланного, услыхали шаги Ринуччо и, подняв фонарь, дабы решить, что делать и куда устремиться, взяв копья наперевес и придерживая руками щиты, крикнули: "Кто идет?" Как увидел Ринуччо стражников, так, не долго думая, бросил Алессандро и пустился бежать со всех ног. Алессандро вскочил и, хотя на нем был длинный-предлинный саван, тоже убежал.

При свете фонаря донна Франческа отлично успела разглядеть и Ринуччо, и облаченного в саван Алессандро, ко-

торого тот взвалил себе на плечи. Беззаветная храбрость обоих привела ее в крайнее изумление, однако ж, увидев, как Ринуччо сбросил с себя Алессандро и какого они оба задали стрекача, не могла удержаться от смеха. Весьма этим обстоятельством обрадованная, донна Франческа возблагодарила бога за то, что он избавил ее от навязчивых поклонников, пошла вместе со служанкой к себе в спальню, и обе они высказали такую мысль: значит же, сильна любовь Ринуччо и Алессандро, если они, как видно, исполнили то, что она им велела.

Удрученный Ринуччо хотя и проклинал незадачу, а все-таки, выждав, когда стража ушла, вернулся не к себе домой, а на то место, где он сбросил с плеч Алессандро, и, надеясь исполнить обещание, стал шарить впотьмах, однако ж тела так и не нашел; решив, что тело убрала стража, он с сокрушенным сердцем пошел домой. Так и не узнав, кто его нес, оплакивая горькую свою долю, Алессандро в совершенной растерянности также возвратился домой.

Утром все увидели, что склеп Сканнадио отперт, тело же его не обнаружили, потому что Алессандро столкнул его в яму, и тогда по всей Пистойе пошли разные слухи; глупцы же уверяли, что Сканнадио унесли черти. Со всем тем оба вздыхателя, рассказав донне Франческе, что они совершили и что с ними приключилось, каковое происшествие – утверждали они – служит им оправданием в том, что они не довели дело до конца, молили ее о снисхождении и о том, чтобы она их полюбила. Она же, притворившись, что ни единому их слову не верит, с самым решительным видом объявила, что раз они не исполнили ее просьбу, то ничего от нее и не получат. И так она от них отделалась.

2

Настоятельница одного монастыря
в потемках вскакивает с постели,
чтобы застать на ложе с любовником монашку,
на которую ей донесли; так как в это же самое время
у нее в келье находится священник,
то она вместо покрывала
второпях надевает себе на голову его подштанники;
уличенная монашка указывает на них настоятельнице,
вследствие чего монашку отпускают,
и она продолжает блаженствовать
со своим возлюбленным

Когда Филомена умолкла, все стали восхищаться тем, сколь искусно отделалась донна Франческа от немилых ее сердцу поклонников; что же касается самонадеянной храбрости влюбленных, то слушатели усмотрели в ней не проявление любви, а всего-навсего сумасбродство; наконец королева, с обольстительною приятностью обратившись к Элиссе, молвила:

– Теперь твоя очередь, Элисса, – и та сейчас же начала рассказывать:

– Милейшие дамы! Донна Франческа, как мы только что слышали, хитро сумела избавиться от своей докуки, а вот одна юная монахиня отвела от себя беду благодаря своей находчивости, а еще потому, что ей благоприятствовала сама судьба. Все вы знаете, как много непроходимых дураков

любят поучать и обличать, и, как это будет видно из моего рассказа, судьба иной раз выставляет их на посмешище, и за дело. Так именно и случилось с настоятельницею одного монастыря, у коей под началом находилась монахиня, о которой я и поведу речь.

Итак, надобно вам знать, что в Ломбардии есть монастырь, славящийся своим благочестием и строгим уставом, в каковом монастыре вместе с другими монахинями спасалась девушка благородного происхождения и невиданной красоты, по имени Изабетта, и вот однажды, подойдя к решетке, за которой ожидал свидания с ней один из ее родственников, она увидела пришедшего вместе с ним прелестного юношу и влюбилась в него. Пораженный ее красотою, юноша, узрев в ее очах огонь внезапно вспыхнувшего чувства, также воспылал к ней страстью, однако в течение долгого времени они, к великому для них обоих огорчению, принуждены были не давать выхода сердечной своей привязанности. Но так как оба они этого чаяли, то в конце концов юноша нашел возможность украдкой навещать свою монашку, а так как она была от этих посещений в восторге, то он, к величайшему обоюдному удовольствию, был у нее не раз и не два, а много раз. И так это у них шло до тех пор, пока наконец ночною порою некая монахиня, которую ни он, ни она не заметили, увидела, как он с Изабеттой прощался и как он от нее уходил. Монахиня тут же все рассказала другим, и первоначально было постановлено немедленно уведомить о том аббатису Узимбальду, о которой монахини и все, кто ее знал, отзывались как о женщине доброй и благочестивой, но затем передумали: решено было подстроить так, чтобы настоятельница застала Изабетту с молодым человеком – тогда уж, мол, Изабетте не отвертеться. Никого больше в это не посвящая, они тайно уговорились между собой, кому, когда быть на часах и на карауле, дабы застигнуть Изабетту врасплох.

И вот однажды ничего не подозревавшая, а потому никаких мер предосторожности не принимавшая Изабетта велела своему возлюбленному прийти к ней ночью, и это сей-

час же стало известно тем, кто за ними следил. Поздно ночью они разделились на два отряда: одни стали на страже у входа в келью Изабетты, а другие побежали к настоятельнице, постучались и, когда она отозвалась, крикнули: “Вставайте, матушка! В келье Изабетты находится молодой человек”.

В ту ночь настоятельница пребывала в обществе некоего священника, который частенько въезжал к ней в сундуке. Услышав такую весть, настоятельница, боясь, как бы торопившиеся монахини не переусердствовали и как бы под их напором не распахнулась дверь в ее келью, мигом вскочила, кое-как оделась в темноте и, воображая, что берет складчатое покрывало, которое монахини носят на голове, тогда как на самом деле то были батины подштанники, впопыхах надела их себе на голову и, выйдя из кельи и заперев за собою дверь, спросила: “Где эта окаянная?” Вместе с другими монахинями, не замечавшими, что такое у настоятельницы на голове, оттого что все их мысли были направлены на то, чтобы поймать Изабетту с поличным, она приблизилась к келье, где находилась провинившаяся, и с помощью сопровождавших ее монахинь выломала дверь. Ворвавшись к Изабетте, они увидели любовников, в обнимку лежавших на кровати, а любовники, потрясенные внезапностью вторжения, пребывали в растерянности и не шевелились. Монахини, нимало не медля, схватили девушку и по распоряжению настоятельницы повели на капитул. Юноша, в ожидании, чем все это кончится, остался в келье и начал одеваться; он был полон решимости в случае, если его любезной будет грозить расправа, отхолить всех, кто только подвернется ему под руку, и увезти ее из монастыря.

Явившись на капитул и заняв подобающее ей место, настоятельница при всех монахинях, не сводивших глаз с обвиняемой, начала ругать ее так, как еще ни одну женщину не ругивали, за то, что она будто бы своим постыдным и зазорным поведением запятнает святость, честь и добрую славу обители, если слух о ночном происшествии выйдет

за ее пределы; к брани настоятельница присовокупляла страшные угрозы.

Девушка, устыженная, оробевшая, сознававшая свою вину, не находя слов для ответа, молчала, вызывая сочувствие у всех монахинь. Настоятельница рвала и метала, и вдруг девушка случайно подняла глаза и увидела нечто у нее на голове, равно как и завязки, болтавшиеся по бокам. Догадавшись, что это такое, и набравшись храбрости, она обратилась к настоятельнице с такими словами: “Спаси вас господи, матушка! Сначала подвяжите чепец, а потом говорите все, что вашей душе угодно”.

Настоятельница не поняла, что она хочет сказать. “Какой еще чепец, бесстыдница? – возопила она. – Ты еще смеешь шутить? Тебе до шуток?”

Девушка повторила: “Матушка! Сделайте одолжение, подвяжите сперва чепец, а там можете говорить все, что вам вздумается”. Тут многие монахини, взглянув на настоятельницу, равно как и она сама, после того как схватилась за голову, уразумели, на что намекала Изабетта.

Удостоверившись в своей собственной провинности, в том, что она стала явной и ее уже не скроешь, настоятельница запела по-другому и стала проповедовать нечто прямо противоположное тому, что утверждала вначале: супротив велений плоти, дескать, не устоишь, а потому пусть каждая утешается на свой вкус, но – тайком, как это у них и велось до сего дня. Отпустив девушку, настоятельница пошла спать со священником, а Изабетта пошла к своему возлюбленному, которого она потом назло завистницам много раз к себе приглашала. Те же, у кого постоянных любовников не было, тайно пытали счастья от случая к случаю.

3

Доктор Симоне по просьбе Бруно, Буффальмакко и Нелло уверяет Каландрино, что он забеременел; Каландрино расплачивается за снадобье каплунами и деньгами и, так и не родив, избавляется от тягости

Выслушав рассказ Элиссы, все возблагодарили бога за то, что он избавил девушку от злобы завистливых монашек и за то, что все для нее окончилось благополучно, а затем королева велела рассказывать Филострато, и тот, не заставив себя упрашивать, начал так:

– Прекрасные дамы! Невоспитанный судья из Марки, о котором я рассказывал вчера, не дал мне рассказать о Каландрино, а между тем я собирался вести речь именно о нем, и хотя о Каландрино, равно как и о его приятелях, было говорено немало, я все же расскажу вам то, что собирался рассказать вчера, оттого что любой случай из его жизни не может не вызвать смех.

Кто таков Каландрино и другие, о которых я намерен рассказать, – достаточно хорошо известно, а потому я распространяться об этом не стану и начну прямо с того, что у Каландрино умерла тетка и оставила ему двести лир мелочью. По сему обстоятельству Каландрино припала охота купить именье, и он с таким видом, точно был в состоянии израсходовать на покупку десять тысяч флоринов золотом, наводил справки у всех флорентийских маклеров, но едва

заходила речь о цене, как он тот же час прекращал разговор. Бруно и Буффальмакко об этом знали, и они пытались убедить его, что лучше эти деньги прокутить совместно, чем приобретать землю, так как купленной на эту сумму земли хватит только на то, чтобы шарики из нее лепить, но он ни разу даже не угостил их.

И вот однажды, когда они возмущались поведением Каландрино, к ним подошел их приятель, живописец Нелло, и тут все трое стали думать о том, как бы попировать на счет Каландрино. Все это они скорехонько обмозговали, а утром проследили, когда Каландрино вышел из дому, и не успел он пройти несколько шагов – глядь, навстречу ему Нелло. “Добрый день, Каландрино!” – сказал он.

Каландрино ответил пожеланием, чтобы господь послал Нелло добрый день и удачный год. Нелло приостановился и вытаращил на него глаза. “Что ты на меня так смотришь?” – спросил Каландрино.

“Тебе ночью худо было? – спросил, в свою очередь, Нелло. – На тебе лица нет”.

Каландрино встревожился. “Ах, боже мой, что же это со мной? – воскликнул он. – Как ты думаешь?”

“Да я не говорю, чтоб от этого, но только ты очень изменился – может статься, по какой-либо другой причине”, – ответил Нелло и пошел своей дорогой.

Каландрино хотя и не чувствовал никакого недомогания, а все же призадумался; он пошел было вперед, но в это время находившийся поблизости Буффальмакко, увидев, что Нелло проследовал дальше, вышел к Каландрино навстречу и, поздоровавшись, спросил, что с ним.

“Ей-ей, не знаю, – отвечал Каландрино. – Вот и Нелло только что сказал мне, что я изменился. В самом деле, нет ли у меня чего-нибудь?”

“Да не нет ли, а есть, – сказал Буффальмакко, – вид у тебя – краше в гроб кладут”.

Дрожь пробрала Каландрино, а тут еще появился Бруно и так прямо и бухнул: “Что это с тобой, Каландрино? Ты живой мертвец. Как ты себя чувствуешь?”

Услыхав одно и то же от трех человек, Каландрино решил, что он точно занедужил, и в расстройстве чувств спросил: “Что же мне делать?”

“Иди-ка ты домой, – сказал Бруно, – ложись в постель, вели укрыть тебя хорошенько и пошли свою мочу доктору Симоне – ты же знаешь, что нас с ним водой не разольешь. Он немедленно даст тебе совет, а мы сейчас пойдем к тебе и сделаем все, что нужно”.

В это время к ним подошел Нелло, и они вчетвером направились к Каландрино. Каландрино возвратился домой в полном изнеможении и сказал жене: “Укрой меня получше – я совсем болен”.

Он улегся и велел служанке отнести его мочу доктору Симоне, а Симоне держал тогда в Старом рынке аптеку под вывеской, на которой была нарисована ослиная голова. Тут Бруно сказал своим приятелям: “Вы побудьте с ним, а я пойду к врачу, все у него разузнаю и в случае надобности приведу его сюда”.

“Пожалуйста, друг мой, сходи к врачу и все ему про меня расскажи, – молвил Каландрино, – что-то у меня внутри есть”.

Бруно пришел к доктору Симоне раньше служанки и обо всем его предуведомил. Когда же пришла служанка, доктор посмотрел мочу и сказал: “Пойди скажи Каландрино, чтоб он укрывался теплее, а я сейчас к нему приду и скажу, что нужно делать”.

Служанка передала Каландрино слова врача, а не в долгом времени к нему пришли врач и Бруно. Врач подсел к больному, пощупал пульс и, не стесняясь присутствия жены, объявил: “Говорю тебе как другу, Каландрино: ты, понимаешь ли, забеременел – вот и вся твоя болезнь”.

Услышав это, Каландрино закричал не своим голосом: “Ах, Тесса, это все из-за того, что ты непременно хочешь быть сверху! Я тебе сколько раз говорил!” При этих словах супруга Каландрино, женщина весьма скромная, вся вспыхнула, потупилась и молча вышла из комнаты, а Каландрино между тем продолжал стенать: “Как же мне, горемычному,

быть? Как я буду рожать? Как у меня выйдет ребенок? Теперь мне все ясно: меня сгубило любострастие моей жены, да пошлет ей господь несчастье, а мне счастье! Был бы я здоров, я бы сейчас встал и так бы ее вздрючил – живого места не оставил бы. А впрочем, так мне и надо: зачем я ей разрешал укладываться сверху? Ну, если только я от этого освобожусь, то уж, как бы ей ни хотелось, больше ни-ни, хоть разорвись!"

Бруно, Буффальмакко и Нелло изо всех сил сдерживались, чтобы не рассмеяться, зато доктор Простофилимоне надорвал живот от хохота. Каландрино сказал лекарю, что нуждается в его совете и помощи, долго его о том молил, и наконец доктор изрек: "Не бойся, Каландрино. Слава богу, мы скоро захватили твою беременность – через несколько дней я тебя без особенных хлопот от нее избавлю. Тебе придется только тряхнуть мошной".

"Ах, милый доктор, ради всего святого, помогите мне! – вскричал Каландрино. – У меня есть двести лир, я хотел купить на эти деньги имение. Возьмите все, когда такое дело, только бы мне не рожать, а то я просто не знаю, что делать. Я слыхал, как кричат женщины, когда рожают, а ведь им легче: у них эта штука-то широкая; если же мне будет так больно, то я умру, не разродившись, вот посмóтрите!"

"Не волнуйся, – сказал врач. – Я дам тебе дистиллированного питья, весьма пользительного и весьма приятного на вкус – через три дня у тебя все пройдет, и ты будешь здоров, как бык, но вперед будь умней и таких глупостей не делай. В благодарность за настойку требуется шесть добрых упитанных каплунов, а на другие лекарства выдай кому-нибудь из твоих друзей пять лир мелочью – пусть купит, и все это отошли ко мне в аптеку, а я, бог даст, завтра утром пришлю тебе этого дистиллированного питья – каждое утро выпивай залпом большой стакан".

"Хорошо, хорошо, доктор!" – сказал Каландрино и, выдав Бруно деньги и на лекарства, и на шесть каплунов, попросил его взять на себя труд и все это купить.

Придя к себе, врач велел приготовить немного пойла и послал его Каландрино. Купив каплунов и все, что нужно для возлияния, Бруно вместе с приятелями и с врачом попировал. Каландрино три утра подряд пил свое пойло, а затем к нему пришел врач с приятелями и, пощупав пульс, сказал: "Ты вполне здоров, Каландрино. Сидеть дома тебе уже незачем, можешь идти по своим делам".

Каландрино тотчас повеселел, встал с постели и пошел по своим делам, и, с кем бы ни случилось ему беседовать, всем он рассказывал, какой прекрасный врач Симоне: в три дня совершенно для него безболезненно вытравил ему плод. Бруно, Буффальмакко и Нелло были в восторге от того, что так ловко надули скупца Каландрино, но монна Тесса догадалась, что все это они подстроили, и долго потом ворчала на мужа.

4

*Чекко, сын мессера Фортарриго,
проигрывает в Буонконвенто все,
что у него есть, да еще и деньги другого Чекко,
сына мессера Анджольери;
Фортарриго в одном белье бежит за Анджольери,
кричит, что он его ограбил,
велит крестьянам задержать Анджольери,
а затем переодевается в его платье,
садится на его коня и уезжает,
и теперь уже в одном белье
остается Анджольери*

То, что сообщил Каландрино о своей жене, вызвало неудержимый смех всего общества. Когда же Филострато умолк, по желанию королевы начала рассказывать Нейфила:

– Достойные дамы! Если б людям выгоднее было обнаруживать перед всеми свою дурь и свою порочность, нежели здравомыслие и благонравие, то многие окончательно разучились бы не болтать чего не следует. За примером ходить не далеко: Каландрино по простоте своей поверил в то, что он и впрямь захворал, и не сообразил, что для того, чтобы вылечиться, вовсе не требуется всем рассказывать о тайных любовных резвостях его благоверной. Рассказ о нем привел мне на память один случай с совершенно иной развязкой: в сем случае коварство взяло верх над благоразумием, обесчестив благоразумно-

го и причинив ему огромный ущерб. Вот об этом-то я и хочу вам рассказать.

Назад тому несколько лет в Сиене жили два вполне взрослых человека, обоих звали Чекко; один из них был сын мессера Анджольери, другой – сын мессера Фортарриго. Люди они были разные; общей была у них лишь ненависть к отцам, и эта ненависть так их сблизила, что в конце концов они подружились и постоянно встречались. Чекко Анджольери, красавцу мужчине, не хватало тех денег, какие давал ему отец, и когда до него дошел слух, что в Анконскую Марку прибыл в качестве папского легата кардинал, весьма к нему благоволивший, то он, в надежде поправить свои дела, положил поступить к кардиналу на службу. Он сообщил о своем намерении отцу и сказал, что ему нужно приодеться, купить коня и приличную сбрую, – отец дал ему денег за полгода вперед. Когда же он начал подыскивать слугу, то об этом прослышал Чекко Фортарриго; он тут же побежал к Чекко Анджольери и взмолился к нему, чтобы тот взял его с собою, он, мол, будет у него и посыльным, и слугой, и чем угодно, и жалованья ему не нужно – пусть, мол, только возьмет его на свое иждивение. Анджольери ему на это ответил, что он его с собой не возьмет, но не потому чтобы Фортарриго был к этому не пригоден, вовсе нет, а потому что Фортарриго игрок и не дурак выпить. Фортарриго же дал клятвенное обещание не играть и не пить и так к Анджольери пристал, что тот в конце концов сдался и изъявил согласие.

И вот однажды утром они тронулись в путь и к обеду прибыли в Буонконвенто, а так как стояла палящая жара, то Анджольери после обеда велел постелить ему в гостинице постель и, с помощью Фортарриго раздевшись и попросив разбудить его в три часа, лег спать. Фортарриго же отправился в таверну, немножко выпил, сел играть в карты и не в долгом времени проиграл все деньги, какие были при нем, и все свое платье. Надеясь отыграться, он в одном белье побежал в гостиницу и, удостоверившись, что Анджольери спит крепким сном, вынул у него из кошелька все,

что там было, вернулся в таверну и, сев играть, проиграл и эти деньги. Тем временем Анджольери проснулся, встал и спросил, где Фортарриго. Фортарриго нигде не нашли; Анджольери подумал, что он, по своему обыкновению, напился и где-нибудь спит. Порешив тут его и оставить и нанять другого слугу в Корсиньяно, он приказал седлать коня и приторочить сумы; когда же он перед самым отъездом вознамерился расплатиться с хозяином, то денег у него не оказалось. Поднялся невообразимый шум; вся гостиница всполошилась; Анджольери кричал, что его ограбили и что всех, сколько их здесь ни есть, схватят и отведут в Сиену. Но тут неожиданно появился Фортарриго; ничего, кроме белья, на нем не было, и пришел он теперь уже не за деньгами Анджольери, а за его платьем. Увидав, что Анджольери собирается отъезжать, он ему сказал: "Что такое, Анджольери? Мы уезжаем? Так скоро? Подожди немножко: сюда должен с минуты на минуту прийти один человек — он мне дал тридцать восемь сольдо, а я у него оставил в залог мое полукафтанье. Я уверен, что, если мы ему сейчас же заплатим, он отдаст его за тридцать пять".

Но тут пришел другой человек и сказал Анджольери, что деньги у него стащил не кто иной, как Фортарриго, — он-де назвал ему точную сумму своего проигрыша. Анджольери вышел из себя и на чем свет стоит изругал Фортарриго, и если б только он не боялся законов человеческих еще больше, чем божеских, он бы не преминул самолично привести в исполнение все то, чего он ему желал. Пригрозив ему виселицей, пригрозив высылкой из Сиены под страхом смертной казни через повешение, он сел на коня.

А Фортарриго, как будто Анджольери не ему говорил, твердил свое: "Ах, Анджольери, стоит ли из-за такой чепухи волноваться? Давай лучше подумаем вот о чем: если мы выкупим полукафтанье сейчас, то он отдаст его за тридцать пять, а если подождем хотя бы до завтра, то он запросит, во всяком случае, тридцать восемь — то есть ровно столько, сколько дал мне взаймы. То, что он дал мне денег под залог, это с его стороны любезность; оказал же он мне ее единст-

венно потому, что я, по его совету, не с той карты пошел. Так отчего же все-таки нам с тобой не выгадать три сольдо?"

Анджольери был в совершенном неистовстве, главным образом из-за того, что присутствовавшие при сем не спускали с него глаз и, по-видимому, склонны были думать, что не Фортарриго проиграл деньги Анджольери, но что Анджольери взял деньги Фортарриго. "Что мне, висельник, до твоего полукафтанья? — кричал он. — Мало того, что ты мои деньги украл и проиграл, — ты меня задерживаешь, да еще и шутки со мной вздумал шутить!"

Но Фортарриго, как будто не к нему обращались, стоял на своем. "Нет, правда, — говорил он, — почему ты не хочешь, чтобы я выгадал три сольдо? Сам же потом попросишь их у меня взаймы. Будь другом, подожди, куда ты так спешишь? Мы еще засветло поспеем в Торреньери. Пойди сходи за кошельком. Обыщи хоть всю Сиену — тебе не найти полукафтанья, которое так было бы мне по фигуре, как это, а я почему-то должен отдавать его за тридцать восемь сольдо, хотя оно стоит сорок с чем-нибудь! Ведь это же прямой убыток!"

Анджольери, до глубины души возмущенный тем, что Фортарриго обобрал его, а теперь еще вдобавок задерживает своей болтовней, молча поворотил коня и поехал в Торреньери. У Фортарриго же был адский план; в одном белье он побежал за Анджольери, и бежал так мили две и все просил насчет полукафтанья; между тем Анджольери, чтобы Фортарриго отстал от него, нарочно припустил коня, но тут Фортарриго увидел впереди крестьян, работавших в поле, неподалеку от дороги, и заорал во всю глотку: "Держи его, держи!" Крестьяне, кто с лопатой, кто с мотыгой, бросились Анджольери наперерез и, в полной уверенности, что он ограбил того человека, который бежит за ним в одном белье и кричит, остановили его и схватили. И сколько Анджольери им ни втолковывал, кто он таков и как обстояло дело, — все было напрасно.

В это время подбежал Фортарриго и в бешенстве крикнул: "Ах ты, злодей, ах ты мошенник! Ограбил меня и ско-

рей бежать? Я тебя сейчас убью!" Тут Фортарриго обратился к крестьянам и сказал: "Вот он каков, добрые люди: спустил в карты все, что у него было, и удрал, а я в этаком виде остался в гостинице! По милости божией и благодаря вам, я, можно сказать, все уже у него отобрал, – век не забуду вам этой услуги".

Анджольери пытался оправдываться, но его не слушали. С помощью крестьян Фортарриго стащил его с коня, раздел, переоделся в его платье и сел на его коня; Анджольери остался разутый-раздетый, а Фортарриго возвратился в Сиену и всем потом рассказывал, что коня и платье он выиграл у Анджольери. Анджольери был уверен, что явится в Марку, к кардиналу, богачом, а вместо этого возвратился в Буонконвенто бедняком, в одном белье, ехать же дальше, в Сиену, ему было стыдно; его снабдили одеждой, и тогда он сел на коня Фортарриго и поехал к родным в Корсиньяно, и прожил он там до тех пор, пока отец снова его не выручил. Так из-за коварства Фортарриго не осуществились благие намерения Анджольери, но придет время, когда Анджольери отплатит Фортарриго за все.

5

*Каландрино влюбляется в одну девицу;
Бруно вручает ему писаное заклинание;
стоило Каландрино прикоснуться к ней
этим заклинанием, и она пошла за ним;
жена, застав Каландрино с девицей, осыпает его
градом язвительных укоризн*

Так как небольшая повесть Нейфилы не вызвала ни смеха, ни толков, то королева тут же обратилась к Фьямметте и велела начать рассказывать ей, Фьямметта же с весьма игривым видом изъявила полную готовность и начала так:

– Высокородные дамы! Надеюсь, вы со мной согласитесь, что если выбрать подходящее время и подходящее место, то, сколько бы мы о чем-либо ни рассуждали, нам все будет мало. И вот, приняв в соображение, для какой цели мы здесь собрались, – а собрались мы здесь единственно для того, чтобы повеселиться и приятно провести время, – я утверждаю, во-первых, что здесь как раз место и сейчас как раз время для веселья и для всего, что способно позабавить, а во-вторых, что если о чем-либо рассказывали тысячу раз, то мы вольны о том же самом рассказать еще столько же – от этого предмет не станет менее занимательным. О подвигах Каландрино говорено у нас было немало, и все же, вспомнив давешние слова Филострато, что все они занятны, я осмеливаюсь добавить к уже рассказанным еще одну повесть, причем если б я когда-либо, прежде или

теперь, намеревалась уклониться от истины, то я всегда сумела бы сочинить повесть или же вывести действующих лиц под вымышленными именами, но так как уклонение от истины в описании событий неизбежно расхолаживает слушателей, то я именно по этим соображениям буду рассказывать так, как оно было на самом деле.

У одного нашего состоятельного согражданина, Никколо́ Корнаккини, было много имений; в частности, было у него живописное имение в Камерате, и там он выстроил роскошный, великолепный дворец, а Бруно и Буффальмакко подрядил расписывать его. Работы было много; по сему обстоятельству они пригласили в помощь себе Нелло и Каландрино и взялись за дело. Во всем доме была только одна комната, где стояла кровать и где было все, что нужно для спанья; сторожила дом старая служанка, но больше прислуги не было; сын помянутого Никколо, по имени Филиппо, человек молодой и неженатый, водил туда для своего удовольствия женщин: побудет с какой-нибудь из них день-другой, а потом выпроводит. И вот как-то раз случилось ему привести женщину по имени Никколоза, которую один мерзавец по имени Манджоне держал в Камальдоли и отдавал на подержание. Она была хороша собой, одевалась к лицу, отличалась приятностью в обхождении, – никто бы не подумал, что она из таких, – и умела поддержать разговор. Как-то в полдень она, в белом капоте, с закрученными волосами, мыла во дворе, у колодца, руки и лицо, и нужно же было случиться так, чтобы туда же пришел за водой Каландрино и, увидев ее, приветливо поздоровался с нею. Она ответила на его приветствие и внимательно на него посмотрела, но не потому, чтобы он ей понравился, а потому, что, на ее взгляд, было в нем что-то чудаковатое. Каландрино тоже на нее засмотрелся, и она ему приглянулась, по каковому случаю он начал изыскивать повод, чтобы здесь задержаться и подольше не возвращаться к товарищам, но так как он был с ней не знаком, то заговорить не решался. Она заметила, что он смотрит на нее во все глаза, и шутки ради время от времени поглядывала на него и чуть слышно

при этом вздыхала. В конце концов Каландрино так в нее врезался, что ушел со двора не прежде, чем Филиппо ее позвал.

Принявшись за работу, Каландрино все время охал, а наблюдавший за ним Бруно, которому все в Каландрино казалось преуморительным, заметил это и сказал: “Черт побери! Да что с тобой, друг Каландрино? Ты все время охаешь”.

“Эх, дружище, некому мне помочь!” – воскликнул Каландрино.

“А в чем?” – спросил Бруно.

“Только ты никому не говори! – молвил Каландрино. – Здесь есть одна девушка краше феи, и она так в меня влюбилась – просто чудо! Я сейчас в этом уверился, когда ходил за водой”.

“Что ты говоришь! – воскликнул Бруно. – А не подружка ли она Филиппо?”

“Я сам так думаю, потому что он ее позвал, и она вошла в его дом, – отвечал Каландрино, – ну и что ж из этого? Я бы в таком деле не то что Филиппо, а и самому господу богу не дал спуску. Откровенно говоря, дружище, уж так она мне понравилась – прямо сказать не могу!”

“Я о ней порасспрошу, – сказал Бруно, – и если это и есть подружка Филиппо, то твое дело в шляпе: ведь мы с ней большие друзья. Но как это скрыть от Буффальмакко? Когда бы я с нею ни заговорил, он тут как тут”.

“Буффальмакко мне не страшен, – возразил Каландрино. – Нелло – вот кого нужно опасаться, он в родстве с Тессой и может нам все дело испортить”.

“Твоя правда”, – заметил Бруно.

Ему нетрудно было догадаться, кого имеет в виду Каландрино: он видел, как эта девица сюда приехала, да и Филиппо ему об этом сообщил, и, воспользовавшись тем, что Каландрино пошел на нее поглядеть, он все рассказал Нелло и Буффальмакко, и они тайно уговорились между собою касательно того, какую можно устроить потеху из его влюбленности.

Когда Каландрино вернулся, Бруно спросил его шепотом: “Ну как, видел?”

“Видел! – отвечал Каландрино. – Присушила она меня!”

“Пойду посмотрю, она ли это, – сказал Бруно. – Если она, то положись на меня”.

Спустившись вниз, Бруно разыскал ее и Филиппе, подробно описал им Каландрино, сообщил, о чем тот только что с ним говорил, а затем условился с ними обоими касательно того, что́ каждому из них следует предпринять, дабы устроить из влюбленности Каландрино забаву и развлечение. Вернувшись, он сказал Каландрино: “Это она! Нужно действовать осторожно: коли Филиппо узнает, то всей воды Арно не хватит, чтобы обелить нас. Если мне удастся поговорить с ней, то что ей от тебя передать?”

“Ах, боже мой! – вскричал Каландрино. – Перво-наперво, я ей желаю тысячу мер тех добрых семян, от коих родятся люди, а еще скажи, что я ее верный раб, да спроси, не хочет ли она чего. Понял?”

“Понял, – отвечал Бруно, – положись во всем на меня”.

Перед ужином живописцы вышли во двор, где в это время находились Филиппо и Никколоза, и нарочно, ради Каландрино, здесь задержались. Каландрино тотчас на нее уставился, и до того чудны́ми выходками и ужимками пытался он ее прельстить, что тут, кажется, догадался бы и слепой. Она же, со своей стороны, помня наставления Бруно, делала все, что, по ее мнению, могло его разжечь, и получала огромное удовольствие от того, как он себя с нею держал, а Филиппо, Буффальмакко и другие делали вид, будто заняты разговором и не обращают на них ни малейшего внимания.

Со всем тем, к великому огорчению Каландрино, живописцам нужно было уходить. По дороге во Флоренцию Бруно сказал Каландрино: “Она тает от твоих взглядов, как лед на солнце, можешь мне поверить. Захвати-ка с собой гитару и спой любовные песенки – вот ей-богу, она выпрыгнет к тебе в окошко!”

“Ты правда так думаешь, дружище? – спросил Каландрино. – Взять мне с собой гитару?”

“Конечно, возьми!” – отвечал Бруно.

“Ты вот мне давеча не верил, дружище, – сказал Каландрино, – а я не зря говорил: уж если я чего захочу, то спроворю лучше всякого другого. Ну кто бы так скоро влюбил в себя этакую красавицу? Пусть бы попробовали юные вертопрахи. Они только умеют лясы точить, а как до дела, так тпру! Ты погляди на меня, когда я буду с гитарой, – глаз от меня тогда не оторвешь! Ты вот думаешь, что я стар, а я, было бы тебе известно, совсем не стар, и она это прекрасно поняла, а еще лучше поймет, когда я наложу на нее лапу. Истинный господь, я с ней такую игру затею, что она будет за мной бегать, как полоумная”.

“Да уж, ты в нее коготок запустишь наверняка! – сказал Бруно. – Я так и вижу, как ты впиваешься своими острыми, что гвозди, зубами в ее алые губки, в ее щечки, похожие на розы, а потом и всю ее слопаешь”.

Слушая Бруно, Каландрино живо себе это представлял. Всю дорогу он шел, напевая и пританцовывая, и ног под собой не чуял от радости. На другой день он принес с собой гитару и, к великому удовольствию всего общества, спел под ее звуки несколько песенок. И скоро он уже не мог жить без Никколозы – забросил работу, тысячу раз на день подбегал то к окну, то к двери, выбегал во двор, только бы поглядеть на нее, а она, подученная Бруно, действовала ловко и всякий раз изыскивала предлог для свидания. На его письма обыкновенно отвечал Бруно, а иногда он же доставлял ему письма и от нее. Когда ее в доме не оказывалось – а это бывало чаще всего, – он приносил ему письма будто бы от ее имени, в которых подавал ему большие надежды, и пояснял, что теперь она у своих родителей, а там, дескать, видеться им нельзя. Так Бруно и Буффальмакко, всей этой затеей руководившие, устроили из сердечных дел Каландрино наивеселейшую забаву и время от времени заставляли его дарить себе, будто бы по просьбе его любезной, то слоновой кости гребень, то кошелек, то ножичек или же еще какие-нибудь мелочи, а ему приносили дешевые, поддельного золота, колечки, неска-

занно его радовавшие. Кроме того, он на славу их угощал и оказывал им всяческие любезности, дабы они продолжали принимать живое участие в сердечных его обстоятельствах.

Так прошло добрых два месяца, а дело с места не сдвинулось; между тем живописные работы подходили к концу, и Каландрино, подумав о том, что если он до окончания работ не достигнет предела любовных своих желаний, и тогда пиши пропало, стал торопить и понукать Бруно. И вот, когда девица вернулась, Бруно, заранее войдя в заговор и с ней и с Филиппо, сказал Каландрино: "Понимаешь, дружище, эта женщина много раз обещала мне исполнить твою просьбу, а все не исполняет. По-моему, она водит тебя за нос. Так вот, раз она своего слова не держит, то мы, если ты ничего не имеешь против, заставим ее исполнить обещание, хочет она того или не хочет".

"Бога ради, заставьте, – вскричал Каландрино, – и как можно скорей!"

"А у тебя хватит смелости дотронуться до нее заклинанием?" – спросил Бруно.

"Конечно, хватит", – сказал Каландрино.

"Когда так, – продолжал Бруно, – принеси мне пергаменту, выделанного из кожи недоношенного ягненка, живую летучую мышь, три крупинки ладана и благословенную свечу, а в остальном положись на меня".

Весь вечер Каландрино простоял с западней, чтобы поймать летучую мышь, наконец изловил и вместе со всем прочим отнес к Бруно. Тот удалился в другую комнату и нацарапал на пергаменте какую-то ахинею, затем вышел к Каландрино и сказал: "Послушай, Каландрино: коснись ее вот этими письменами, и она в ту же минуту пойдет за тобой и исполнит все, что тебе от нее надобно. Так вот, если Филиппо нынче куда-нибудь отлучится, приблизься к ней и коснись ее, а затем пойди в сарай, где лежит солома, – это самое удобное место, туда никто не заглядывает. Она туда придет, вот увидишь, а когда придет – сам знаешь, что тебе тогда нужно делать".

Каландрино возрадовался духом. “Теперь, дружище, ты уж предоставь действовать мне”, — взяв пергамент с письменами, промолвил он.

Нелло, которого опасался Каландрино, потешался над ним не меньше Бруно и Буффальмакко и вместе с ними дурачил его, и когда понадобилось отрядить кого-нибудь во Флоренцию, к Тессе, то выбор Бруно пал на Нелло, и Нелло ей сказал так: “Помнишь, Тесса, как Каландрино в тот самый день, когда он притащил с берега Муньоне камней, без всякого повода тебя вздул? Вот я и хочу, чтобы ты ему отомстила; если же ты не отомстишь, то я тебе больше не родня и не друг. Он там влюбился в одну женщину, и она, подлая, часто с ним запирается. Как раз совсем недавно они уговорились в скором времени свидеться, так вот пойди туда, подстереги его и хорошенько взгрей”.

Жена Каландрино, решив, что это не шуточки, вскочила и давай кричать: “Ах, разбойник с большой дороги, ты что это, а? Крест истинный, не сойти мне с этого места, ежели я тебе не отплачу!”

Тут она схватила свою накидку и вместе со служанкой и с Нелло помчалась туда. Увидев ее еще издали, Бруно сказал Филиппо: “А вот и наша сообщница”.

По сему обстоятельству Филиппо зашел в ту комнату, где работал Каландрино и другие живописцы, и сказал: “Ну, мастера, я еду во Флоренцию. Трудитесь усердно”. Выйдя из комнаты, он спрятался в таком месте, откуда он, оставаясь невидимым, мог видеть все, что будет делать Каландрино

А Каландрино, выждав, когда, по его расчету, Филиппо отъехал от дома на более или менее значительное расстояние, спустился во двор и, увидев, что Никколоза одна, заговорил с нею; она же, отлично зная, как ей должно себя вести, приблизилась к нему и приняла вид более непринужденный, чем обычно, и вот тут-то Каландрино коснулся ее письменами. Как же скоро он ее коснулся, то направился к сараю, а она пошла за ним. Войдя в сарай, она заперла дверь, потом обняла Каландрино, повалила его на солому, села на него верхом и, крепко держа его за плечи, чтобы он

не мог приблизить к ней свое лицо, и вперив в него взор, исполненный страсти, заговорила: “Милый ты мой Каландрино, сердце мое, душа моя, отрада моя, услада моя! Наконец-то ты мой, наконец-то я могу прижать тебя к своей груди! Ласковыми своими речами ты из меня веревку свил, игрою на гитаре ты меня приворожил. Неужто взаправду ты мой?”

А Каландрино едва мог пошевелиться. “Светик мой! Дай я тебя поцелую!” – говорил он.

“Уж больно ты скорый! – отвечала на это Никколоза. – Дай мне сперва наглядеться на тебя, дай моим очам насладиться лицезрением твоего пригожества!”

А Бруно и Буффальмакко, спрятавшись там же, где и Филиппо, видели и слышали, что́ происходит в сарае. Каландрино все пытался поцеловать Никколозу, но тут как раз нагрянули Нелло с монной Тессой, и Нелло сказал: “Вот как бог свят, они сейчас вдвоем”. Монна Тесса в порыве ярости выломала дверь и, войдя в сарай, увидела, что Никколоза сидит верхом на Каландрино, а Никколоза, как увидела монну Тессу, вскочила – и скорей бежать к Филиппо.

Монна Тесса впилась ногтями в лицо не успевшего встать Каландрино, исцарапала его, а потом принялась таскать его за волосы и приговаривать: “Пес ты поганый, шелудивый, так ты вот что? И за что только я, окаянная, тебя, старого пса, любила? Ты что же это, на других заришься? Ай тебе дома делать нечего? Хорош любовник! Разве ты себя не знаешь, мозгляк? Разве ты не знаешь, плюгавец, что если тебя начать выжимать, так и на подливку соку не наберется? Теперь уж ты не под Тессой лежал, а под другой, и пусть господь ее накажет, потому какой же нужно быть паскудой, чтобы польститься на этакое сокровище!”

Увидев жену, Каландрино помертвел, и у него недостало смелости обороняться; наконец, весь как есть исцарапанный, исщипанный, всклокоченный, он встал, поднял свой плащ и обратился к монне Тессе с покорною просьбой не кричать, а иначе, мол, его изрубят на мелкие куски, ибо та,

что с ним была, – подружка хозяина дома. “Ин ладно, – сказала монна Тесса. – Не видать ей счастья, этой скверннавке!”

Бруно и Буффальмакко вместе с Филиппо и Никколозой смеялись над всем этим до упаду, а потом оба прибежали в сарай, как будто на крик, и после долгих уговоров им удалось утихомирить монну Тессу, Каландрино же они посоветовали вернуться во Флоренцию и больше носа сюда не показывать, а то как бы Филиппо не дознался и не учинил над ним расправы. И Каландрино, униженный, пристыженный, исцарапанный, встрепанный, поплелся во Флоренцию, и больше он уже здесь не дерзал появляться, – денно и нощно терзаемый и допекаемый попреками жены, он в конце концов вырвал из сердца пылкую свою любовь, а его приятели Филиппо и Никколоза долго еще над ней потешались.

6

Два молодых человека ночуют на постоялом дворе;
один из них укладывается в постель с хозяйской дочкой,
а жена хозяина по ошибке залезает в постель к другому;
тот, что развлекался с хозяйской дочерью,
залезает в постель к хозяину и, думая,
что это его друг, все ему выбалтывает;
между ними вспыхивает ссора;
жена хозяина, поняв что ошиблась кроватью,
ложится рядом с дочерью,
а затем ей удается водворить мир

Каландрино уже неоднократно смешил общество, насмешил он его и на этот раз. Когда же, обсудив его поступки, дамы умолкли, королева велела рассказывать Панфило, и он начал так:

– Досточтимые дамы! Имя Никколозы, возлюбленной Каландрино, привело мне на память другую Никколозу, и вот о ней-то мне и хочется вам рассказать, ибо из моего рассказа будет видно, как находчивость некоей почтенной женщины предотвратила великую смуту.

Не так давно в долине реки Муньоне жил-был добрый человек, кормивший и поивший проезжающих за вознаграждение. Был он беден, домишко у него был маленький, и все же он пускал к себе ночевать, но не кого придется, а только своих знакомых, да и то, если они испытывали крайнюю нужду в ночлеге. У него была красивая жена и двое детей:

дочь-невеста, славная, пригожая девушка лет пятнадцати-шестнадцати, и сынок, которому еще не исполнилось года и которого мать кормила сама. Девушка приглянулась прелестному, очаровательному родовитому юноше из нашего города, и он, зачастив на постоялый двор, пламенно ее полюбил, а она тоже в него влюбилась; гордая тем, что ее горячо полюбил такой человек, каков был этот юноша, она старалась ласковым обхождением еще больше его к себе привязать, и так сильно было взаимное их влечение, что уже не раз могли бы они достигнуть конечной цели, когда бы Пинуччо (так звали юношу) не боялся обесславить себя и девушку. Между тем любовный их пыл разгорался день ото дня все жарче и жарче, и наконец Пинуччо припала охота во что бы то ни стало сблизиться с девушкой, и он начал изыскивать предлог для того, чтобы заночевать у ее отца, а так как расположение комнат в доме было ему известно, то он понадеялся, что, если только ему удастся остаться с нею наедине, все будет шито-крыто, и как скоро этот замысел созрел у него в голове, он, даром времени не теряя, приступил к его осуществлению.

И вот однажды, поздним вечером, он и верный его друг Адриано, знавший о сердечных его делах, наняли двух верховых коней и, приторочив сумы, набитые отнюдь не соломой, выехали из Флоренции и, нарочно дав крюку, уже к ночи достигли долины Муньоне, засим поворотили коней, якобы они возвращаются из Романьи, и, подъехав к дому того почтенного человека, постучались, а так как он хорошо знал обоих, то без дальних размышлений им отворил. Пинуччо же ему сказал: “Послушай, пусти нас переночевать! Мы рассчитывали засветло приехать во Флоренцию, да припоздали, и по дороге нас, как видишь, застала ночь”.

Хозяин же ему на это ответил так: “Ты, Пинуччо, знаешь, что помещение у меня не подходящее для таких важных господ, как вы, но час-то и впрямь поздний, искать другое пристанище теперь не время, — ладно, оставайтесь, в тесноте, да не в обиде!”

Молодые люди спешились и, первым делом поставив в стойло коней, вошли в дом и, вынув дорожные свои припасы, сами сытно поужинали и хозяина угостили. В доме была одна-единственная спаленка, и там хозяин кое-как расставил три убогие кровати. Свободного места там уже почти не осталось: у одной стены стояли две кровати, напротив, у другой стены, – третья, а между ними был узкий-преузкий проход. Наименее убогую кровать хозяин предоставил в распоряжение друзьям и на ней их и уложил, немного погодя, когда два друга еще не спали, хотя и делали вид, что спят, на другую кровать велел лечь дочке, на третьей устроились он сам и его жена, а рядом с их кроватью хозяйка поставила колыбельку, где спал грудной младенец. Пинуччо, наблюдавший за тем, как хозяин, его жена и дочка располагались этаким образом ко сну, подождал, пока все, как ему казалось, уснули, тихохонько встал и присоседился к своей возлюбленной, она же приняла его радушно, хотя и не без опаски, и тут для них обоих наступил час долгожданного наслаждения. Они все еще были вместе, как вдруг кошка что-то свалила на пол и разбудила хозяйку – та, спросонья не разобрав, что это за стук, встала впотьмах и пошла туда, откуда до нее донесся грохот. В это же самое время Адриано, не слышавший никакого стука, встал за нуждой и по дороге наткнулся на колыбельку, а так как колыбелька стояла на дороге, то он поставил ее рядом со своей кроватью, затем справил нужду и, забыв и думать о колыбельке, снова улегся.

Между тем хозяйка, удостоверившись, что она ошиблась и что упало нечто другое, порешила не доискиваться, что же именно упало, и не зажигать огня; она цыкнула на кошку и, вернувшись в спальню, ощупью добралась до кровати, на которой спал ее муж. Но колыбельки хозяйка не нашла. “Экая же я дуреха, чуть-чуть не осрамилась! – подумала она. – Еще немножко – влезла бы прямехонько в постель к гостям”. Сделав несколько шагов и нащупав колыбельку, она, воображая, что ложится под бочок к мужу, легла на ту кровать, которая стояла рядом с колыбелькой и на которой

лежал Адриано. Еще не успевший уснуть Адриано, едва ощутив присутствие хозяйки, к великому ее удовольствию дал полный вперед.

Но тут получивший удовольствие Пинуччо, боясь, как бы не заснуть в объятиях своей любезной, замыслил перейти к себе в постель и отоспаться, но по дороге наткнулся на колыбельку и решил, что тут должна быть кровать хозяина; по сему обстоятельству он сделал еще несколько шагов и лег на ту кровать, где точно лежал хозяин, и, когда он влез в постель, хозяин проснулся. Полагая, что рядом с ним лежит Адриано, Пинуччо сказал: "Нет ничего слаще Никколозы, уверяю тебя! Ни один мужчина так не блаженствовал с женщиной, как я с нею. Можешь себе представить? Я шесть раз вторгался в ее владения!"

Послушав такие речи, хозяин в восторг не пришел. "Здесь-то какого черта ему нужно?" – прежде всего подумал он, а затем, в порыве безрассудного гнева, обратился к Пинуччо и сказал: "Пинуччо! Ты поступил со мной подло. За что? Клянусь богом, я тебе отплачу!"

Пинуччо не принадлежал к числу умнейших юношей в мире, а потому, заметив свою оплошность, он, вместо того чтобы по возможности загладить ее, сказал: "Как это ты мне отплатишь? Что ты можешь мне сделать?"

Жена хозяина, думая, что рядом с ней лежит муж, сказала Адриано: "Вот еще наказанье! Слышишь? Гости из-за чего-то ссорятся".

"Бог с ними, пусть себе ссорятся, – смеясь, отвечал Адриано, – на ночь хватили лишнего, только и всего".

Жене хозяина, еще до того как она обратилась к Адриано, показалось, что ссорится ее муж, а теперь, услыхав голос Адриано, она в тот же миг уразумела, где она и с кем. Будучи женщиною сообразительною, она молча вскочила, взяла колыбельку с младенцем и, ступая наугад, так как в каморке было темно, поставила колыбельку рядом с кроватью, на которой лежала ее дочь, затем влезла к дочке в постель и, притворившись, будто муж разбудил ее своим криком, спросила, что у него вышло с Пинуччо. "А разве ты

не слыхала, как он рассказывал, чем он только что занимался с Никколозой?" – отозвался муж.

"Он нагло врет, – сказала жена. – Он и не думал спать с Никколозой. Это я перешла к ней спать и с тех пор глаз не сомкнула, а ты, дурак, ему поверил. По вечерам вы пьете, вот ночью-то вам и снится всякое, вот вы и бродите как неприкаянные и вам невесть что представляется. Как это еще вы шею себе не сломите? А почему Пинуччо забрался к тебе на кровать, почему он не на своей постели?" Тут, видя, как умно покрывает хозяйка свой и дочкин позор, вмешался Адриано. "Я сто раз говорил тебе, Пинуччо, – сказал он, – чтоб ты не бродил по ночам. У тебя скверная привычка: встанешь сонный, а потом выдаешь сонные грезы за явь. Смотри, худо тебе когда-нибудь придется! Иди ко мне, нелегкая тебя побери!"

Послушав речи жены и речь Адриано, хозяин утвердился в мысли, что все это Пинуччо снится, а потому, схватив его за плечи, начал трясти его и будить. "Проснись, Пинуччо! – говорил он. – Иди на свою постель!"

Пинуччо, уразумев из всего этого, как должно себя вести, прикинулся спящим и понес чепуху, а хозяин залился хохотом. Но так как он продолжал трясти Пинуччо, тот в конце концов сделал вид, что проснулся, и обратился якобы к Адриано: "Что ты меня будишь? Разве уже светает?"

"Ну да! – отвечал Адриано. – Иди ко мне".

Пинуччо, разыгрывая и изображая из себя сонного, перешел с кровати хозяина на кровать Адриано. Когда же рассвело и все поднялись, хозяин начал посмеиваться и подтрунивать над ним самим и над его снами. Молодые люди, отшучиваясь, оседлали коней, приторочили сумы, потом выпили с хозяином, вскочили на коней и, не менее удовлетворенные самим приключением, нежели его успехом, поехали во Флоренцию. Впоследствии Пинуччо изыскал другую возможность видеться с Никколозой, Никколоза же сумела убедить мать, что все это ей приснилось, а хозяйка, хорошо помнившая, как ее ласкал Адриано, уверила себя, что только она одна в ту ночь и бодрствовала.

7

Талано д'Имолезе, увидев во сне,
что волк искусал его жене горло и лицо,
советует ей быть осторожнее;
она не слушается мужа,
и все это с ней происходит наяву

Когда Панфило окончил свой рассказ, все одобрили изворотливость хозяйки, а затем королева велела рассказывать Пампинее, и Пампинея начала так:

– Досточтимые дамы! У нас уже был разговор о том, что сны не обманывают, однако ж многие относятся к этому с насмешкой, а потому я, хотя мы уже толковали о снах, не могу не рассказать вам вкратце о том, что не так давно случилось с одной моей соседкой, не поверившей сну, который приснился ее мужу.

Не знаю, слыхали ли вы про Талано д'Имолезе, человека весьма почтенного. Жена его Маргарита, красавица писаная, но такая сумасбродка, каких еще не видывал свет, злонравная и упрямая, сама не сделала ни одного доброго дела, и ей никто не мог угодить. Талано приходилось с ней тяжко, но делать было нечего, и он все сносил. Но вот однажды ночью, когда Талано и Маргарита были за городом, у себя в имении, Талано увидел во сне, будто его жена идет по красивому лесу, который рос недалеко от их усадьбы, и вдруг, откуда ни возьмись, громадный сердитый волк: бросается прямо к ней на горло, она зовет на помощь, а он ва-

лит ее наземь и хочет утащить, однако ж ей удается от него вырваться, но горло и лицо у нее покусаны.

Наутро, встав с постели, Талано сказал жене: "Из-за твоего упрямства, жена, я ни одного дня спокойно с тобой не прожил, а все-таки, если б с тобою стряслась беда, я бы горевал. Так вот, послушайся моего совета: не выходи сегодня из дому". Она спросила почему, – тогда он со всеми подробностями рассказал ей свой сон.

Жена покачала головой. "Зложелателю только злое и снится, – сказала она. – Так уж ты обо мне беспокоишься! Тебе снится то самое, что ты бы хотел видеть наяву. Ну, а я, тебе назло, и нынче, и всю жизнь буду беречься".

"Иного ответа я от тебя и не ожидал, – молвил Талано, – лекарю от больного всегда достается. Хочешь – верь, хочешь – не верь, а я тебе добра желаю и еще раз говорю: посиди денек дома или уж, по крайности, не ходи в наш лес".

"Ну ладно, не пойду", – отвечала жена, а сама подумала: "Уж больно он хитер: хочет меня запугать, чтоб я нынче в лес не ходила, а сам, поди, назначил там свидание какой-нибудь твари и боится, как бы я его не застала. Он из меня дурочку строит, ну уж это дудки, так я ему и поверила, ведь я же его насквозь вижу! Нет, ему меня вокруг пальца не обвести! Целый день в лесу проторчу, а уж высмотрю, каким товаром будет он там торговать".

И вот муж вышел в одну дверь, а жена – в другую: подхватилась и – украдкой – в лес, забралась в самую что ни есть глушь и глядит по сторонам, нет ли кого. Ни о каком волке она и не помышляла, а волк тут как тут: выходит из чащи, страшный, громадный, и только успела она при виде его сказать: "Господи, помоги!" – как он бросился к ней на горло и, ухватив покрепче, понес с такой легкостью, как будто это был ягненок. Она не могла кричать, потому что горло у нее было сдавлено, не могла вырваться, и волк, уж верно, унес бы ее и загрыз, но его увидели пастухи, подняли крик, и волк бросил свою добычу. Пастухи узнали бедную, несчастную женщину и отнесли ее к ней домой, и потом ее долго

лечили врачи, и в конце концов она поправилась, но горло и часть лица были у нее до того изуродованы, что из красавицы она превратилась в страшилище и уродину. С той поры она нигде не показывалась и горько себя упрекала: для чего она упрямилась, ну что бы ей поверить в вещий сон мужа!

8

Бъонделло обманываетъ Чакко с обедом,
а Чакко в отместку ухитряется подстроить так,
что Бъонделло избивают
до полусмерти

Веселое общество единодушно высказалось в том смысле, что это не снилось Талано, а что это было ему такое видение, ибо оно сбылось даже в мелочах. А когда все умолкли, королева велела рассказывать Лауретте, и Лауретта начала так:

– Мудрейшие дамы! Почти все, кто рассказывал до меня, вдохновлялись каким-либо случаем, о котором говорилось ранее, так же точно и у меня после вчерашней повести Пампинеи о жестокой мести школяра явилось желание рассказать вам о другой мести, хоть и весьма чувствительной для ее жертвы, но все же не такой беспощадной.

Итак, жил-был во Флоренции некто по имени Чакко, обжора, каких свет не создавал, однако ж тратить много на жранье ему не позволяли средства, но так как он отлично умел держать себя в обществе и у него всегда был запас удачных и метких острот, то он избрал себе ремесло не то чтобы искусника, а скорей остряка и повадился к людям богатым и любившим вкусно поесть. Ходил он к ним и обедать и ужинать, даже когда не был зван. В то время жил во Флоренции некто Бьонделло, карапуз, чистюля и франт, никогда не снимавший шапочки; волосы у него были белокурые, длин-

ные, до того гладко причесанные, что ни один волосок у него не торчал; промышлял он тем же, что и Чакко.

И вот однажды утром, в посту, пошел Бьонделло в рыбный ряд и купил для мессера Вьери де Черки две огромные миноги; тут его увидел Чакко. "Что это ты делаешь?" – приблизившись, спросил он.

"Вчера вечером мессеру Корсо Донати прислали три миноги куда лучше этих, а потом еще осетра, – отвечал Бьонделло, – но чтобы угостить важных господ, которых он к себе назвал, этого не хватит, вот он и велел мне прикупить две миноги. Ты у него будешь?"

"Разумеется, буду", – отвечал Чакко.

В обеденный час он пошел к мессеру Корсо – там уже собрались его соседи, но обед еще не подавали. Мессер Корсо спросил Чакко, зачем он пожаловал. "Я, мессер, пришел отобедать вместе с вами и с вашими гостями", – отвечал Чакко.

"Милости просим, – сказал мессер Корсо. – Сейчас как раз пора обедать. Пойдемте".

Когда же они сели за стол, то сначала были поданы тунец и турецкий горох, потом жареная рыба из Арно и больше ничего. Чакко догадался, что Бьонделло его обманул; с этого дня он затаил в душе злобу и положил отплатить ему. Бьонделло многих уже успел позабавить своею шуткой, и вот несколько дней спустя Бьонделло и Чакко встретились. Бьонделло с ним поздоровался и, посмеиваясь, спросил, понравились ли ему миноги мессера Корсо, а Чакко на это сказал: "Через недельку ты сумеешь ответить на этот вопрос лучше меня".

Простившись с Бьонделло, он тот же час сговорился за определенную плату с одним прощелыгой, дал ему в руки бутыль, подвел к галерее Кавиччоли и, указав на известного богача, мессера Филиппо Ардженти, верзилу, силача, здоровяка, горячку, злюку и сумасброда, каких мало, молвил: "Подойди к нему с бутылью в руках и скажи: "Мессер! Я к вам от Бьонделло – он собирается кутнуть со своими друзьями-бражниками и покорнейше просит вас обагрить

сей сосуд вашим добрым красным вином". Но только гляди, как бы он тебя не сгреб и не дал головомойки – ты мне тогда все дело испортишь".

"А еще что ему сказать?" – спросил прощелыга.

"Больше ничего, – отвечал Чакко. – Ступай к нему и сей же час возвращайся – я с тобой расплачусь".

Прощелыга не преминул передать мессеру Филиппо то, что ему наказывал Чакко. Мессер Филиппо, способный вспылить из-за всякого пустяка, решив, что Бьонделло, которого он знал, над ним издевается, весь налился кровью. "Что обагрить? Какие такие бражники, прах вас обоих возьми?" – гаркнул он и, вскочив, протянул было руку, чтобы схватить прощелыгу, но прощелыга был начеку: ловко увернувшись, он дал стречка и другой дорогой прибежал к Чакко, который за всем этим наблюдал, а прибежав, сказал, что́ ему ответил мессер Филиппо.

Вполне удовлетворенный таким ответом, Чакко расплатился с прощелыгой; не успокоился же Чакко до тех пор, пока не встретился с Бьонделло. "Ты давно не был в галерее Кавиччоли?" – спросил он.

"Давно, – отвечал Бьонделло. – А почему ты спрашиваешь?"

"Тебя ищет мессер Филиппо, а зачем – не знаю", – отвечал Чакко.

"Ну ладно, – сказал Бьонделло, – я иду как раз в ту сторону и с ним поговорю".

Бьонделло пошел дальше, а Чакко двинулся за ним следом – поглядеть, как обернется дело. Между тем мессер Филиппо, не настигнув прощелыгу и уразумев из его слов только то, что Бьонделло, неизвестно по чьему наущению, над ним издевается, бесился и из себя вон выходил. И он все еще выходил из себя, как вдруг видит: идет Бьонделло. Он к нему, да хвать его по лицу.

"Ай! – вскрикнул Бьонделло. – За что вы меня, мессер?"

А мессер Филиппо разорвал его шапку, сбросил с него капюшон, одной рукой вцепился ему в волосы, а другой принялся отпускать не менее увесистые зуботычины; бьет да

приговаривает: “Сейчас ты, разбойник, узнаешь, за что! Что значит *обагрить*, и какие там еще *бражники*, о которых ты присылал мне сказать? Я тебе не мальчик, издеваться над собой не позволю!”

Коротко говоря, мессер Филиппо пудовыми своими кулачищами разбил ему в кровь лицо, не оставил на его голове ни одного нетронутого волоска, вывалял его в грязи, разорвал ему платье, и так он этим делом увлекся, что Бьонделло, однажды раскрыв рот, больше уже не мог произнести ни слова и не мог спросить, за что же все-таки мессер Филиппо так его обихаживает. Он слышал только: *обагрить* да *бражники*, но что это за притча – не понимал. В конце концов, когда мессер Филиппо уже как следует его отделал, сбежался народ и с превеликим трудом вырвал получившего изрядную трепку и таску Бьонделло из рук мессера Филиппо, а затем Бьонделло объяснили, почему с ним так поступил мессер Филиппо, да еще и отругали за то, что он посылал к мессеру Филиппо человека с таким поручением, – ведь он же, дескать, знает его нрав: с ним шутки плохи. Бьонделло со слезами на глазах оправдывался и уверял, что не думал никого посылать к мессеру Филиппо за вином. Немного оправившись, он, жалкий и несчастный, поплелся домой, будучи уверен, что все это козни Чакко.

Выходить из дому он начал очень нескоро – долго не проходили синяки на лице, а когда наконец вышел, то встретился с Чакко. “Ну как, Бьонделло, – спросил тот, смеясь, – понравилось тебе вино мессера Филиппо?”

“Я бы хотел, чтобы тебе так же понравились миноги мессера Корсо!” – отвечал Бьонделло.

“Теперь все будет зависеть от тебя, – сказал Чакко. – Всякий раз, когда ты будешь меня так же сытно кормить, я тебя буду так же сладко поить”.

Бьонделло познал на опыте, что с Чакко лучше не связываться, а потому поспешил пожелать ему всех благ и с тех пор уже не отваживался шутить с ним шутки.

9

Два молодых человека
спрашивают совета у Соломона:
одному хочется, чтобы кто-нибудь его полюбил,
другому хочется проучить упрямую жену;
первому Соломон отвечает: “Полюби сам”, –
а другого посылает к Гусиному мосту

Так как отнимать у Дионео его льготу никто не собирался, то очередь оставалась теперь только за королевой, и вот, после того как дамы посмеялись над злосчастным Бьонделло, королева с веселым видом заговорила:

– Достолюбезные дамы! Если мы вникнем в порядок вещей, то легко придем к следующему заключению: женщины повсеместно подчиняются мужчинам – так устроила природа и так должно быть по всем человеческим обычаям и законам; мужчинам же дано право над ними властвовать и повелевать ими по своему разумению – вот почему всякой женщине, чающей обрести у того мужчины, которому она принадлежит, мир, счастье и покой, нужно быть смиренной, терпеливой, послушной, паче же всего – честной, ибо честность есть наивысшее, особенно драгоценное сокровище всякой благоразумной женщины. Если бы даже нас этому не учили законы, всегда направленные к общему благу, а также обычаи, или, если хотите, нравы, обладающие могучей и благотворной силой влияния, то на это нам достаточно ясно указывает сама природа, наделившая нас

нежным и хрупким телом, робкой и боязливой душой, отзывчивым и жалостливым сердцем, слабыми телесными силами, ласковым голосом и мягкостью движений, – все это наглядно доказывает, что мы нуждаемся в том, чтобы нами повелевали. А кто нуждается в помощи и руководстве, тому в силу многих причин следует быть послушным, покорным и почтительным к помощнику своему и повелителю. Кто же наши помощники и повелители, как не мужчины? Итак, мы должны подчиняться мужчинам и высоко чтить их; те же из нас, кто этого правила не придерживается, вполне заслуживают, по моему мнению, не просто строгого порицания, но и жестокого наказания. На эти мысли, – хотя они мне и прежде являлись, – навел меня давешний рассказ Пампинеи об упрямой жене, которую наказал не муж, а сам бог. Повторяю: на мой взгляд, женщины, которые не хотят быть благожелательными, сострадательными и очаровательными, как того требуют природа, обычаи и законы, заслуживают лютой и жестокой кары. И вот мне хочется рассказать вам о том, какой совет преподал однажды Соломон, какое спасительное средство измыслил он от подобного рода болезни; те же, кто в таковом средстве не нуждается, пусть на свой счет этого не принимают, хотя, впрочем, у мужчин существует поговорка: “Шпоры плачут о любом коне, палка плачет о любой жене”. Если принять это изречение в шутку, то все без труда признали бы его за истину, но если допустить, что в нем заложен глубокий нравственный смысл, то я утверждаю, что и в сем случае нельзя не признать его справедливым. Все женщины по природе своей слабы и нестойки, и потому палка в качестве меры наказания нужна женщинам порочным, преступающим границы дозволенного, нужна для того, чтобы их исправить, но не только им: палка нужна и тем женщинам, которые не сходят со стези добродетели, – нужна для того, чтобы укреплять в них стойкость и держать их в страхе. Оставим, однако ж, поучение и перейдем к предмету моего рассказа.

Ну так вот, когда громкая слава о чудодейственной премудрости Соломона и о безмерном его человеколюбии, в силу

которого он делился ею со всяким, кто желал увериться в ней на опыте, облетела едва ли не всю вселенную, люди толпами начали стекаться к нему со всех концов света, дабы в их крайних и несчастных обстоятельствах он что-либо им присоветовал. С этой целью направился к нему и один благородный и весьма богатый юноша по имени Мелисс; родом он был из города Лаяццо и там и проживал. От Антиохии до Иерусалима он ехал вместе с другим юношей по имени Иосиф, — ему было с ним по пути, — и, по обычаю путешественников, они дорогой разговорились. Сначала Мелисс полюбопытствовал, кто таков Иосиф и откуда он родом, а потом спросил, куда он едет и с какою целью. Иосиф же ему на это ответил, что едет он к Соломону испросить совета, как ему быть с женой, — такой упрямой и злой жены еще не видывал свет, и он ни мольбами, ни ласками и ничем иным так и не сумел сломить ее упрямство. Ответив Мелиссу, Иосиф, в свою очередь, задал ему вопрос, откуда, куда и зачем он едет.

Мелисс же ему на это ответил так: "Я из Лаяццо. Ты по-своему несчастлив, а я по-своему. Я богат, я много трачу на угощение и чествование моих сограждан, но — странное и непонятное дело: никто меня не любит. Потому-то я и еду туда же, куда и ты: хочу испросить совета — что мне сделать для того, чтобы меня полюбили".

Наконец совместно путешествовавшие Мелисс и Иосиф добрались до Иерусалима, с помощью одного из приближенных Соломона были к нему допущены, и тут Мелисс вкратце изложил суть дела; Соломон же ему ответил: "Полюби сам".

Как скоро Соломон это изрек, Мелисса тотчас вывели, и тогда изъяснил цель своего приезда Иосиф; Соломон же не нашел ничего лучшего ответить, как: "Ступай к Гусиному мосту". Едва царь это вымолвил, Иосифа с такою же точно поспешностью выпроводили, и, встретившись с Мелиссом, который его поджидал, Иосиф сообщил ему ответ царя.

Долго они оба вдумывались в его речи, но так и не постигли, каков их смысл и как их можно применить к делу, и с таким чувством, словно над ними насмеялись, отправи-

лись восвояси. Проведя в пути уже несколько дней, они подъехали к реке, через которую был переброшен красивый мост, а так как в это время по мосту проходил длинный караван вьючных мулов и лошадей, то им пришлось ждать, пока весь караван не перейдет на тот берег. Почти все уже перебрались, и вдруг один мул, как это часто случается с мулами, заупрямился – и ни с места. Тогда погонщик начал слегка подгонять его палкой. Мул метнулся в одну сторону, потом в другую, затем стал пятиться назад, а вперед ни за что не хотел идти. Погонщик озверел – и ну колотить его изо всех сил по голове, по бокам, по крупу, но и это не возымело действия.

Мелисс и Иосиф видели, как погонщик бил мула. "Что ты делаешь, разбойник? – закричали они. – Ты что, совсем забить его хочешь? Чем колотить, ты бы с ним по-хорошему, лаской, – так бы он скорей послушался".

Погонщик же им на это сказал: "Вы знаете норов своих коней, а я знаю норов своего мула. Я с ним управлюсь, а вы уж мне не мешайте". С этими словами он опять принялся колотить мула и так наломал ему бока, что в конце концов мул сдвинулся с места, погонщик же добился своего.

Перед тем как тронуться в путь, Иосиф спросил одного почтенного человека, сидевшего на краю моста, как этот мост называется: почтенный же человек ему ответил: "Это, господин, Гусиный мост".

Как скоро Иосиф это услышал, ему тотчас пришли на память слова Соломона. "Сдается мне, приятель, – сказал он Мелиссу, – что совет Соломонов – добрый, полезный совет: я вот не бил жену, а погонщик мне показал, как должно с ней обходиться".

Некоторое время спустя путники прибыли в Антиохию, и тут Иосиф предложил Мелиссу денек-другой у него отдохнуть. Жена встретила его неласково, он же велел ей приготовить на ужин то, что пожелает Мелисс, и по просьбе Иосифа Мелисс в коротких словах изъяснил, чего бы он хотел. Жена, по своему обыкновению, сделала не так, как просил Мелисс, а почти наоборот.

“Тебе было сказано, что́ приготовить на ужин?” – в сердцах спросил ее Иосиф.

“Это еще что за новости? – вскинулась на него жена. – Почему ты не ужинаешь? Мне было сказано так, а я захотела сделать по-своему. Нравится тебе – ешь, не нравится – сиди голодный”.

Мелисс подивился такому ответу и стал отчитывать Иосифову жену, а Иосиф сказал: “Ты, жена, какая была, такая и осталась, но я тебя заставлю переменить нрав, можешь мне поверить”. Тут он обратился к Мелиссу и сказал: “Сейчас мы, приятель, испытаем на деле совет Соломонов. Но только я прошу тебя не принимать близко к сердцу моего обхождения с женой – отнесись к этому как к милой шутке. Если же ты захочешь вступиться за мою жену, то вспомни, что нам сказал погонщик, когда мы пожалели его мула”.

Мелисс же ему на это сказал: “Я – гость, мне не пристало прекословить хозяину”.

Иосиф отломил от молодого дуба сук, прошел в ту комнату, куда, вскочив из-за стола, с ворчаньем проследовала жена, схватил ее за косы и, повалив на пол, начал лихо дубасить. Жена сперва кричала, потом грозила, – на Иосифа, однако ж, это не производило впечатления; тогда она, уже вся избитая, начала молить о пощаде, о том, чтобы он, ради бога, ее не убивал, и поклялась ничего больше не делать ему назло. Иосиф и тут не унялся; напротив того: свирепея с каждым ударом, он продолжал изо всей мочи колошматить ее по бокам, по ногам, по плечам и щупать ей ребра; прекратил же он расправу не прежде, чем выбился из сил. Словом сказать, у несчастной женщины не осталось ни одной целой косточки.

Учинив расправу, Иосиф пошел к Мелиссу и сказал: “Завтра мы увидим, насколько полезен совет: *“Ступай к Гусиному мосту”*. Немного отдохнув и вымыв руки, он поужинал с Мелиссом, а затем, когда пришло время, оба легли спать.

Между тем бедняжка жена, через силу поднявшись с пола, повалилась на кровать, а к утру немножко отошла, вста-

ла спозаранку и послала спросить Иосифа, чего бы он хотел покушать. Иосиф и Мелисс рассмеялись; затем Иосиф отдал распоряжения, и когда они в условленный час возвратились домой, то все уже было готово и все сделано, как он хотел. И тогда они оба оценили тот самый совет, который сначала показался им вздорным.

Несколько дней спустя Мелисс уехал от Иосифа и, возвратившись домой, сообщил одному мудрецу, что́ ему посоветовал Соломон. Мудрец же сказал Мелиссу: “Более доброго, более полезного совета он тебе дать не мог. Ведь ты же не станешь отрицать, что ты никого не любишь. Почести и услуги ты оказываешь вовсе не из любви к людям, а единственно из тщеславия. Полюби сам, как сказал тебе Соломон, и тогда тебя полюбят другие”.

Так была наказана упрямица, а юноша, полюбив, снискал любовь.

10

Дон Джанни,
исполняя настойчивую просьбу Пьетро,
колдует над его женой, для того
чтобы превратить ее в кобылу;
когда же дело доходит до прилаживанья хвоста,
Пьетро говорит, что хвост ему не нужен,
и колдовство теряет свою силу

Рассказ королевы вызвал слабый ропот у дам и смех у мужчин. Когда же все умолкли, Дионео начал так:

— Обольстительные дамы! Черный ворон виднее означает красоту белых голубей, нежели белый лебедь. Так же точно попавший в компанию мудрых людей человек менее мудрый не только усиливает блеск и красоту их ума, но и развлекает их и забавляет. Вот почему вы, люди умнейшие и скромные, должны особенно ценить меня, человека недалекого, за то, что мои недостатки оттеняют ваши совершенства: будь я наделен большими достоинствами, они затмили бы ваши. Следственно, мне должна быть предоставлена полная возможность показать, что я собой представляю, вам же следует слушать меня с бо́льшим терпением, чем если б я был умнее. Итак, я хочу предложить вашему вниманию не весьма длинный рассказ, из коего вам станет ясно, сколь неуклонно надлежит исполнять волю колдующего и что малейшая ошибка в таком деле может испортить все, чего добился колдовавший.

Несколько лет тому назад в Барлетте жил священник, дон Джанни ди Бароло; приход у него был бедный, и, чтобы свести концы с концами, дон Джанни разъезжал на своей кобыле по апулийским ярмаркам: на одной купит, на другой продаст. Во время своих странствий он подружился с неким Пьетро из Тресанти – тот с такими же точно целями разъезжал на осле. В знак любви и дружеского расположения священник звал его, по апулийскому обычаю, не иначе, как голубчиком, всякий раз, когда тот приезжал в Барлетту, водил его в свою церковь, Пьетро всегда у него останавливался и пользовался самым широким его гостеприимством. Пьетро был бедняк, в его владениях хватало места только для него самого, для его молодой и пригожей жены и для его осла, и все же когда дон Джанни приезжал в Тресанти, то останавливался он у Пьетро, и тот в благодарность за почет, который оказывал ему дон Джанни, с честью его у себя принимал. Но так как у Пьетро была всего одна, да и то узкая, кровать, на которой он спал со своей красавицей женой, то он при всем желании не мог отвести для него удобный ночлег, и дону Джанни приходилось спать в стойлице, на охапке соломы, вместе с кобылой и с ослом. Зная, как священник ублажает Пьетро в Барлетте, жена Пьетро не раз выражала желание, пока священник у них, уступить ему свое место на кровати, а самой ночевать у соседки, Зиты Карапрезы, дочери Джудиче Лео, и говорила о том священнику, но священник и слушать не хотел.

Однажды он ей сказал: “Джеммата, голубушка, ты за меня не беспокойся, мне хорошо: когда мне вздумается, я превращаю мою кобылу в смазливую девчонку и с нею сплю, а потом, когда мне заблагорассудится, снова превращаю ее в кобылу, так что расставаться мне с ней неохота”.

Молодая женщина подивилась, но поверила и рассказала мужу. “Если он и впрямь так уж тебя любит, то отчего ты его не попросишь научить тебя колдовать? – спросила она. – Ты бы превращал меня в кобылу и работал бы и на кобыле и на осле, и стали бы мы зарабатывать вдвое боль-

ше, а когда мы возвращались бы домой, ты снова превращал бы меня в женщину".

Пьетро был с придурью, а потому он в это поверил, согласился с женой и стал упрашивать дона Джанни научить его колдовать. Дон Джанни всячески старался доказать ему, что это чепуха, но так и не доказал. "Ин ладно, – объявил он. – Если уж тебе так этого хочется, завтра мы с тобой встанем, как всегда, пораньше, еще до рассвета, и я тебе покажу, как нужно действовать. Признаться, наиболее трудное – приставить хвост, в этом ты сам убедишься".

Пьетро и Джеммата почти всю ночь глаз не смыкали – так им хотелось, чтобы священник поскорей начал колдовать; когда же забрезжил день, оба поднялись и позвали дона Джанни – тот, в одной сорочке, пришел к Пьетро и сказал: "Это я только для тебя; раз уж тебе так хочется, я это сделаю, но только, если желаешь полной удачи, исполняй беспрекословно все, что я тебе велю".

Супруги объявили, что исполнят все в точности. Тогда дон Джанни взял свечу, дал ее подержать Пьетро и сказал: "Следи за каждым моим движением и хорошенько запоминай все, что я буду говорить. Но только, что бы ты ни увидел и ни услышал, – молчи, как воды в рот набрал, а иначе все пропало. Да моли бога, чтобы приладился хвост".

Пьетро взял свечу и сказал дону Джанни, что соблюдет все его наставления.

Дон Джанни, приказав и Джеммате молчать, что бы с ней ни произошло, велел ей раздеться догола и стать на четвереньки, наподобие лошади, а затем начал ощупывать ее лицо и голову и приговаривать: "Пусть это будет красивая лошадиная голова!" Потом провел рукой по ее волосам и сказал: "Пусть это будет красивая конская грива". Потом дотронулся до рук: "А это пусть будут красивые конские ноги и копыта". Стоило ему дотронуться до ее упругой и полной груди, как проснулся и вскочил некто незваный. "А это пусть будет красивая лошадиная грудь", – сказал дон Джанни. То же самое проделал он со спиной, животом, задом и

бедрами. Оставалось только приставить хвост; тут дон Джанни приподнял свою сорочку, достал детородную свою тычину и, мигом воткнув ее в предназначенную для сего борозду, сказал: “А вот это пусть будет красивый конский хвост”.

До сих пор Пьетро молча следил за всеми действиями дона Джанни; когда же он увидел это последнее его деяние, то оно ему не понравилось. “Эй, дон Джанни! – вскричал Пьетро. – Там мне хвост не нужен, там мне хвост не нужен!”

Влажный корень, с помощью коего растения укрепляются в почве, уже успел войти, и вдруг на тебе – вытаскивай! “Ах, Пьетро, голубчик, что ты наделал! – воскликнул дон Джанни. – Ведь я же тебе сказал: “Что бы ты ни увидел – молчи”. Кобыла была почти готова, но ты заговорил и все дело испортил, а если начать сызнова, то ничего не получится”.

“Да там мне хвост не нужен! – вскричал Пьетро. – Вы должны были мне сказать: “А хвост приставляй сам”. Вы его низко приставили”.

“Ты бы не сумел, – возразил дон Джанни. – Я хотел тебя научить”.

При этих словах молодая женщина встала и так прямо и сказала мужу: “Дурак ты, дурак! И себе и мне напортил. Ну где ты видел бесхвостую кобылу? Вот наказание божеское! С таким, как ты, не разбогатеешь”.

Итак, по вине нарушившего обет молчания Пьетро, превращение молодой женщины в кобылу не состоялось, и она, огорченная и раздосадованная, начала одеваться, а Пьетро вернулся к обычному своему занятию: сел на осла и поехал с доном Джанни в Битонто на ярмарку, но больше он с подобной просьбой к нему уже не обращался.

Пусть та, которой еще предстоит посмеяться над этим рассказом, вообразит, как смеялись над ним дамы, понявшие его лучше, чем мог предполагать Дионео. Рассказывать было уже некому, стало прохладнее, и тут королева, вспомнив

о том, что царствованию ее пришел конец, встала, сняла с себя венок и, возложив его на голову Панфило, единственному из всех, кому эти почести еще не были возданы, сказала с улыбкой:

– Государь! На тебе, как на последнем, лежит труднейшая обязанность: исправить мои оплошности, равно как и оплошности других, занимавших тот самый престол, который ныне переходит к тебе. Да благословит же тебя господь, как благословил он меня возвести тебя на престол.

Сии почести доставили Панфило видимое удовольствие.

– Надеюсь, что и я, как и все, заслужу одобрение, – сказал он, – но этим я буду обязан вашим достоинствам, равно как и достоинствам других моих подданных.

Тут Панфило, по примеру предшественников своих, обо всем переговорил с дворецким, а затем, обратясь к ожидавшим его дамам, сказал:

– Возлюбленные дамы! Сегодняшняя наша королева, мудрая Эмилия, дозволила вам в виде отдыха рассуждать о чем угодно. Так как вы отдохнули, то, по-моему, нам следует восстановить наш прежний обычай, а именно: я бы хотел, чтобы завтра все мы были готовы рассказать *О людях, которые проявили щедрость и великодушие как в сердечных, так равно и в иных делах.* Сей предмет, вне всякого сомнения, усилит жажду подвига и у рассказчиков и у слушателей, коих помыслы к этому устремлены, и жизнь нашу, которая не может не быть быстротечной, коль скоро она в бренном обретается теле, увековечит слава; подвига же всем, кто, в отличие от животных, заботится не только о своей утробе, надлежит не просто желать, но и всечасно искать и неустанно на сем поприще подвизаться.

Предложенный новым королем предмет пришелся жизнерадостному обществу по нраву; все с его дозволения встали и обычным предались развлечениям, причем каждый занялся тем, что ему больше всего нравилось. Так прошло время до ужина. Когда же юноши и дамы веселой гурьбою собрались ужинать, кушанья им были поданы быстро и в

строгом порядке, а после ужина начали, как всегда, танцевать, спели множество песенок с незамысловатым напевом, но зато забавных по содержанию, а потом король приказал Нейфиле спеть о себе, и Нейфила, не теряя драгоценного времени, звонким и беспечальным голосом прелестно спела вот эту песню:

Как хорошо в погожий день весной
Мне, юной, петь о милом беззаботно
И радоваться жизни всей душой!

Я по лугам зеленым, где цветы
Ковром роскошным землю устелили,
Где столько алых роз и белых лилий,
Гуляю, погруженная в мечты,
И вспоминаю дивные черты
Того, кому покорствую охотно,
Затем что в мире он один такой.

Чуть попадется где-нибудь цветок,
С которым чем-то схож мой друг прекрасный,
Его срываю я, лобзаю страстно
И с ним шепчусь о том, что невдомек
На свете никому. Потом в венок,
Мне золото кудрей обвивший плотно,
Его вплетаю трепетной рукой.

Я на цветы гляжу, а вижу лик,
До боли мне знакомый и желанный,
И так меня пьянит их запах пряный.
Что не способен передать язык,
Как сладостен блаженный этот миг,
И только вздох, немой и мимолетный,
Мое волненье выдает порой.

Для прочих женщин вздох есть знак того,
Что их душа печальна и уныла,

А для меня – посланец быстрокрылый.
Летит он к дому друга моего,
И, чутким ухом уловив его,
Приходит друг на зов мой безотчетный:
"Явись, утешь меня, побудь со мной!"

И король и дамы весьма одобрили песенку Нейфилы; между тем было уже далеко за полночь, и король велел всем идти спать до утра.

Кончился девятый день
Декамерона,
начинается десятый
и последний.
В день правления
Панфило
предлагаются вниманию
рассказы о людях,
которые проявили щедрость
и великодушие
как в сердечных,
так равно
и в иных делах

На западе еще алели облачка, а на востоке края облаков, пронизанные солнечными лучами, уже горели, как жар, когда Панфило встал и велел позвать дам и своих приятелей. Все собрались, и Панфило, обсудив с ними, куда бы сегодня пойти на увеселительную прогулку, медленным шагом вместе с Филоменою и Фьямметтою пошел вперед, а за ними все остальные. Гуляли долго и всё думали-гадали, что́ ожидает их в будущем, а когда солнце начало уже припекать, возвратились во дворец. Те, кому хотелось пить, велели сполоснуть стаканы и утолили жажду, а затем до самого обеда все развлекались в саду, под приютною сенью дерев. Потом поели, поспали, как это у них было заведено, и снова собрались в том месте, которое благоугодно было избрать королю, король же велел начинать Нейфиле, и та с веселым видом заговорила.

1

Некий рыцарь,
поступив на службу к испанскому королю,
приходит к заключению,
что король не ценит его услуг;
король неопровержимо доказывает ему на опыте,
что виной тому не он, а недоля рыцаря,
после чего с неслыханною щедростью
его награждает

– Глубокоуважаемые дамы! Я за великую честь почитаю то, что король мне первой поручил рассказать о великодушии, ибо если солнце – краса и гордость неба, то великодушие – самая яркая и самая сверкающая из всех добродетелей. Я предложу вашему вниманию небольшой рассказ, на мой взгляд – премилый, в основе коего лежит один случай, который я нашла небесполезным припомнить.

Итак, надобно вам знать, что, пожалуй, наиславнейшим из всех доблестных рыцарей, коими город наш славился издавна, был мессер Руджери де Фиджованни. Человек богатый, смелый, он скоро убедился, что в Тоскане при ее нравах и обычаях трудно, а вернее сказать – невозможно выказать доблесть, и рассудил за благо поехать на время к испанскому королю Альфонсу, слава о доблести коего затмевала славу всех тогдашних властелинов. Обзаведясь дорогим оружием и знатными конями, в сопровождении блестящей свиты выехал он в Испанию, и король принял его

милостиво. Ведя широкую жизнь и всех изумляя ратными подвигами, мессер Руджери очень скоро прославился своею доблестью. Так он жил долго и все присматривался к королю, а король на его глазах направо и налево раздавал замки, города, поместья, раздавал, как казалось мессеру Руджери, нерасчетливо, ибо он награждал недостойных. Мессер Руджери знал себе цену, и так как он ничего в награду не получил, то, полагая, что это роняет его в глазах общества, замыслил удалиться и попросил короля отпустить его. Король снизошел к его просьбе и подарил ему одного из лучших и самых красивых мулов, на каких когда-либо ездили верхом, и для мессера Руджери это был ценный подарок, так как путь предстоял ему долгий. Затем король велел одному из своих приближенных, человеку толковому, под каким-нибудь предлогом в течение целого дня сопровождать в пути мессера Руджери, но так, чтобы мессер Руджери не подумал, что король приставил его к нему; пусть, мол, он запомнит, как мессер Руджери будет при нем отзываться о короле, – запомнит, дабы потом доложить государю, – а наутро объявит, что король велит ему ехать обратно. Приближенный, проследив, когда мессер Руджери выехал из города, ловким образом к нему пристрял, объявив, что едет в Италию.

Итак, мессер Руджери ехал на муле, которого ему подарил король, и беседовал со своим спутником о том, о сем, а в девятом часу сказал: “Надо бы дать животным отдохнуть”. Животных отвели в стойло, лошади опорожнились, а мул нет. Поехали дальше, и королевский приближенный попрежнему ловил каждое слово рыцаря. Вот подъехали они к реке, и, когда поили лошадей, мул опорожнился прямо в реку. Мессер Руджери поглядел на мула и сказал: “А, чтоб тебя! Вот скотина! Ты совсем как твой бывший хозяин”.

Приближенный запомнил эти его слова; за целый день он запомнил и много других, но, кроме самых больших похвал королю, ничего не услышал. Наутро, только они сели верхами и мессер Руджери уже готов был тронуться в путь по направлению к Тоскане, как вдруг приближенный объя-

вил ему наказ короля, и мессеру Руджери пришлось возвратиться. Когда король узнал, что́ мессер Руджери сказал про мула, то велел позвать его и, улыбаясь, спросил, почему он сравнил не то его с мулом, не то мула с ним.

Мессер Руджери ответил ему напрямик: "Потому я сравнил мула с вами, государь, что как вы награждаете кого не следует, а достойных не награждаете, так и он опорожнился, где не следовало, а где полагается, там не опорожнился".

Король же ему на это сказал: "Мессер Руджери! Если я многих наградил, а вас нет, хотя они не идут ни в какое сравнение с вами, то не потому, чтобы я не почитал вас за доблестнейшего рыцаря, достойного великих милостей, – у вас иной удел, а я тут ни при чем. Сейчас я вам это докажу".

Мессер Руджери возразил ему: "Государь! Я не на то ропщу, что не получил от вас награды, – я и так богат, – а на то, что вы ничем не отметили моей доблести. Впрочем, вы привели достаточно вескую и не обидную для меня причину. Я вам верю, но, если угодно, готов в том убедиться".

Король заранее распорядился внести в большую залу два запертых сундука, и теперь он привел туда мессера Руджери и в присутствии многих придворных сказал: "Мессер Руджери! В одном из этих сундуков находится моя корона, скипетр, держава, множество красивых поясов, ожерелий, перстней – словом, все мои драгоценности, а в другом – земля. Выбирайте любой; какой выберете, тот и будет ваш, и тогда вы поймете, кто не ценил вашей доблести – я или же ваша судьба".

Мессер Руджери, не смея ослушаться государя, выбрал сундук, и когда, по распоряжению короля, его отперли, то оказалось, что это сундук с землей. И тогда король засмеялся и сказал: "Теперь вы видите, мессер Руджери, что я был прав, когда говорил, что вам не судьба быть награжденным. Однако ж доблесть ваша такова, что я хочу потягаться с вашей судьбой. Мне известно, что вы не собираетесь стать испанцем; вот почему я не пожалую вас ни замком, ни горо-

дом, — я хочу, чтобы сундук, которого вас лишила судьба, наперекор ей перешел в вашу собственность: отвезите мой дар в родные края и покажите его вашим соотчичам, покажите им этот знак вашей доблести, коей вы имеете полное право гордиться".

Мессер Руджери принял дар и, изъявив за него королю величайшую признательность, в отличном расположении духа повез его на родину.

2

Гино ди Такко,
захватив в плен аббата из Клюни,
вылечивает его от желудочной болезни,
а затем отпускает:
аббат возвращается к римскому двору,
мирит Гино ди Такко с папой Бонифацием,
и Гино становится братом странноприимцем

Щедрость, выказанная королем Альфонсом по отношению к флорентийскому рыцарю, вызвала всеобщее восхищение; когда же король, разделявший чувства своих подданных, велел рассказывать Элиссе, та, нимало не медля, начала следующим образом:

– Добросердечные дамы! Поступок щедрого короля, проявившего свою щедрость по отношению к человеку, состоявшему у него на службе, нельзя не признать похвальным и благородным. Но что скажем мы, когда узнаем, что некое духовное лицо выказало поразительное великодушие к человеку, за недоброжелательное отношение к которому его никто бы не осудил? Поступок короля мы, само собой разумеется, назовем доблестным, поступок же духовного лица – из ряду вон выходящим, особливо, если мы примем в соображение, что духовные лица во много раз скупее женщин и выказать щедрость – это для них нож острый. Всякий человек стремится отомстить за нанесенные ему оскорбления, – это чувство естественное, – однако ж

духовные лица, как это мы видим воочию, хотя и проповедуют терпение и призывают прощать обиды, однако ж их самих обуревает сильнейшая жажда мести. Это, то есть что и духовное лицо может быть великодушным, вам станет ясно из моего рассказа.

Известный своею свирепостью и своими грабежами Гино ди Такко был в свое время изгнан из Сиены, стал врагом графов ди Санта Фьоре и, поселившись в Радикофани, взбунтовал его против римской церкви и приказал своим душегубам грабить всех проезжающих. Римским папой был тогда Бонифаций Восьмой, и вот однажды к нему явился аббат из Клюни, считавшийся одним из самых богатых прелатов во всем мире. У аббата расстроился желудок, и врачи посоветовали ему поехать на сиенские воды, которые, по крайнему их разумению, должны были оказать на него благотворнейшее действие. Папа его благословил, и аббат, не смущаясь молвою о Гино, взял с собою в дорогу пропасть вещей и с целым караваном вьючных и верховых животных, в сопровождении множества слуг тронулся в путь. Прослышав о том, Гино расставил сети так, чтобы ни один конюшонок не проскочил, и на узкой дорожке окружил аббата со всей его свитой и со всем его снаряжением. Затем он послал к нему под надежной охраной самого смышленого разбойника из всей его шайки и велел в наиучтивейших выражениях предложить аббату: не соблаговолит ли он отдохнуть у Гино в замке? Аббат в запальчивости ответил решительным отказом – ему у Гино делать, мол, нечего, он намерен ехать дальше, и не родился еще на свет такой человек, который мог бы ему воспрепятствовать.

Посланец с самым смиренным видом ему на это сказал: "Ваше высокопреподобие! Мы никого, кроме всемогущего бога, не боимся, здесь все отлучения и запреты запрещены, а потому не лучше ли было бы вам оказать Гино эту любезность?"

Пока они вели этот разговор, разбойники заполонили всю округу, и аббат, уразумев, что он со своими людьми попал в плен, вне себя от возмущения двинулся вместе с по-

сланцем к замку, а следом за ним тронулся и весь его обоз. Когда же аббат спешился, его, по распоряжению Гино, поместили в темной и неудобной комнатушке, всех же остальных, сообразно их положению, поместили со всеми удобствами, лошадей отвели в стойла, поклажу убрали, но ничего не тронули.

После этого к аббату пришел Гино и сказал: "Ваше высокопреподобие! Вы в гостях у Гино, и он послал меня узнать у вас, куда вы изволили путь держать и с какою целью".

Аббат был человек рассудительный, а потому, перестав хорохориться, объяснил, куда он держал путь и зачем. Выйдя от него, Гино подумал, что аббата можно будет вылечить без всяких вод. Он велел хорошенько топить каморку аббата и держать его под неослабным надзором, а на другое утро снова его посетил и принес ему на белоснежной салфетке два поджаренных хлебца и полный стакан корнильского белого вина – того самого, которое вез с собою аббат. "Ваше высокопреподобие! – сказал Гино. – Когда Гино был помоложе, он изучал медицину, и он утверждает, что от желудочной болезни нет лучшего средства, нежели то, которое он применяет к вам. Но это только начало лечения. Кушайте на здоровье".

Аббату было не до шуток: его мучил голод, и он, хотя его трясло от бешенства, съел хлеб и выпил вино, а потом заговорил с пришедшим свысока, о многом расспрашивал, читал ему длинные наставления и все повторял, что ему необходимо видеть Гино. Гино мелочи пропустил мимо ушей, на некоторые вопросы ответил в высшей степени учтиво и уверил аббата, что Гино при первой возможности его посетит. Засим он удалился, а пришел только на другой день и принес такое же точно количество хлеба и вина. Так продолжалось несколько дней, и вдруг Гино обнаружил, что аббат поел сушеных бобов, которые он ухитрился пронести в замок.

По сему обстоятельству он от имени Гино задал ему вопрос, как его желудок. Аббат же ему на это ответил так: "Я убежден, что если б мне удалось вырваться из лап Гино, я

сразу почувствовал бы себя лучше, а кроме того, я умираю от голода – так хорошо мне помогли его лекарства".

Тогда Гино велел аббатовым челядинцам приготовить аббату прекрасную комнату и его же вещами ее обставить; еще он объявил, что завтра у него должен быть пир горой, и позвал не только тех, кто жил у него в замке, но и аббатову прислугу, а наутро пошел к аббату и сказал: "Ваше высокопреподобие! Раз вы поправились, вам можно выйти из больницы". Тут он взял аббата за руку и, отведя в приготовленную для него комнату, оставил его со слугами, а сам пошел отдавать последние распоряжения, – ему хотелось, чтобы пир был на славу. Отдохнув душой в обществе своих слуг, аббат рассказал им, как плохо ему здесь жилось, слуги же сообщили ему нечто противоположное, а именно – что Гино окружил их необыкновенным почетом. За пиршественным столом аббата и всех прочих угощали подававшимися в строгом порядке отменными яствами и отменными винами, однако Гино так себя и не назвал аббату. Прошло еще несколько дней, а затем Гино распорядился сложить все вещи аббата в одной комнате, лошадей же его, всех до последней клячи, вывести во двор, а сам пошел к аббату и спросил, как он себя чувствует и может ли ехать верхом. Аббат же ему ответил, что вполне может, что с желудком у него все хорошо, а как скоро он вырвется из лап Гино, то поправится окончательно.

Тогда Гино отвел аббата в комнату, где были сложены его вещи и где собралась его прислуга, и, велев подойти к окну, чтобы ему видны были его лошади, сказал: "Ваше высокопреподобие! Да будет вам известно, что я по душе не злой, – стать разбойником, стать врагом римского двора меня, Гино ди Такко, вынудило мое положение – положение изгнанного дворянина, у которого все отняли, вынудило множество сильных врагов и необходимость защищать свою жизнь и достоинство. Вы же представляетесь мне человеком порядочным, потому-то я и вылечил вас, и с вами я поступлю не так, как поступил бы со всяким другим, кто бы мне ни попался в руки: у всякого другого я

взял бы столько, сколько бы мне заблагорассудилось, а вы уж сами, приняв в уважение мои нужды, уделите мне, сколько найдете возможным. Все ваше достояние у вас перед глазами, а лошадей вам видно из окна. Так вот, хотите – возьмите часть имущества, хотите – возьмите все и поезжайте, а не то оставайтесь у меня, – все это теперь в вашей воле".

Подивился аббат, услыхав из уст разбойника столь благородные речи, и так приятно они его поразили, что гнев его и возмущение мгновенно утихли, уступив место благорасположению и дружеским чувствам, и под наплывом этих чувств он обнял Гино и сказал: "Чтобы найти себе такого друга, каким ты сейчас себя выказал, я бы и не такие унижения стерпел, клянусь тебе богом, а ведь мне до сих пор казалось, что ты меня всячески унижаешь. Если б не злодейка судьба, разве ты избрал бы себе столь постыдный образ жизни?" Аббат взял с собою в дорогу лишь самые необходимые вещи, так же точно распорядился и насчет лошадей, остальное отдал Гино и поехал в Рим.

Папе стало известно, что аббат угодил в плен, и он был весьма этим обстоятельством опечален; когда же аббат к нему пришел, он спросил, помогли ли ему воды. Аббат ему на это с улыбкой ответил: "Я, святейший владыка, до вод и не доехал – я нашел себе поближе чудесного врача, и он меня вылечил". Рассказав папе, каким образом, и тем насмешив его, аббат в порыве великодушия объявил, что хочет просить его об одной милости.

Папа, будучи далек от мысли, что аббат станет просить за Гино, обещал сделать для него все. И тогда аббат сказал: "Я прошу вас об одном, святейший владыка: верните свое благоволение моему врачу, Гино ди Такко, – это один из самых достойных людей, каких я только знаю, и я не склонен строго судить его за то зло, которое он причиняет людям: такая уж у него судьба; если же вы дадите ему возможность жить, как приличествует его званию, то это произведет в его судьбе перелом, и тогда вы увидите, что я в нем не ошибся, – за это я вам ручаюсь".

Так как папа был человек великодушный и любил оказывать покровительство хорошим людям, то он сказал аббату, что с удовольствием исполнит его просьбу, если Гино и впрямь таков, как аббат его описывает, – пусть, мол, безбоязненно возвращается на родину. Уверенный в своей безопасности, Гино по настоянию аббата прибыл ко двору, а не в долгом времени папа признал его за человека достойного, помирился с ним и назначил его настоятелем большого монастыря братьев странноприимцев, предварительно посвятив в рыцари этого Ордена. И в сей должности Гино ди Такко, друг аббата из Клюни и служитель церкви, пребывал до самой своей смерти.

3

Митридан, позавидовав щедрости Натана,
едет к нему для того, чтобы убить его;
встретив Натана, но не узнав,
он получает от него самого сведения,
как это лучше сделать,
а затем, по совету самого Натана,
встречается с ним в рощице;
когда же Митридан узнает наконец Натана,
его мучает совесть;
впоследствии он становится
его другом

Проявление великодушия со стороны духовного лица было всеми воспринято как нечто и впрямь из ряду вон выходящее. После того как дамы перестали о том толковать, король велел рассказывать Филострато, и тот, нимало не медля, начал следующим образом:

– Знатные дамы! Велика была щедрость короля испанского, но, пожалуй, еще удивительнее великодушие аббата из Клюни, и, быть может, вы также дадитесь диву, когда услышите о щедрости одного человека, который нарочно так все устроил, чтобы тот, кто умышлял пролить его кровь, или, вернее, отнять у него жизнь, и так бы оно и случилось, если бы тот в самом деле посягнул на кровь его и жизнь, – вот об этом-то и пойдет речь в довольно коротком моем рассказе.

Если верить генуэзцам и всем, кто в тех краях побывал, то следует принять за непреложнейшую истину, что в Китае жил некогда благородного происхождения человек, неслыханный богач по имени Натан. Дом его стоял при дороге, которою следовал всякий направлявшийся с запада на восток или же с востока на запад, а так как Натан был человек великодушный и щедрый и эти качества души своей стремился проявлять на деле, то и приказал он мастеровым, коих в услужении у него находилось великое множество, в кратчайший срок построить один из самых больших и роскошных дворцов, какие когда-либо видел свет, и снабдить его всем необходимым для приема и чествования славных людей. Многочисленной же и отличной прислуге своей он вменил в обязанность радушно и приветливо встречать и с честью принимать всех ехавших туда и обратно. И так строго придерживался он похвального сего обычая, что слава о нем облетела не только восток, но и почти весь запад. Он был уже стар годами, однако по-прежнему щедр, когда слава о нем донеслась наконец до слуха некоего юноши по имени Митридан, проживавшего в одном из соседних государств, и вот этот самый Митридан, такой же богатый человек, как и Натан, позавидовав его славе и доблести, замыслил так прославиться щедростью, чтобы его слава либо затмила, либо вовсе свела на нет славу Натана. Приказав воздвигнуть такой же точно дворец, как у Натана, он начал проявлять по отношению ко всем прохожим и проезжим щедрость чрезмерную, необыкновенную и за короткое время стяжал себе через то подлинно громкую славу.

Но вот однажды, когда юноша находился один у себя во дворе, какая-то старушонка, войдя в одни из дворцовых ворот, попросила подаяния, и он ей подал. Потом она вошла в другие ворота, и опять он ей подал, и так она подходила к нему двенадцать раз подряд. Когда же она подошла к Митридану в тринадцатый раз, то он ей сказал: “Нехорошо, голубушка, без конца клянчить”, — однако ж милостыню ей подал.

А старушонка сказала: "Вот Натан так уж подлинно щедр! Я тридцать два раза входила к нему то в те, то в другие ворота, не хуже как к тебе, и просила милостыни, и он ни разу не показал виду, что признал меня, и подавал, и подавал, а к тебе я подошла всего-навсего тринадцать раз, и ты меня узнал и попрекнул". Сказавши это, она пошла прочь и больше уже не возвращалась.

Слова старухи пробудили в душе у Митридана, воспринимавшего всякое доброе слово о Натане как личное оскорбление, лютую злобу. "Вот несчастье! – заговорил он сам с собой. – Где уж мне превзойти Натана в щедрости, когда я даже в малом не могу с ним сравняться, а не то что в великом! Если я не сживу его со свету, то все усилия мои будут напрасны. Смерть его не берет, – стало быть, придется мне самому порешить его, и как можно скорее".

Тут он в порыве ярости вскочил и, никому не сказав, куда и зачем едет, и взяв с собой небольшую свиту, ускакал на коне, а на третий день прибыл в те края, где проживал Натан. Спутникам своим он велел делать вид, будто они ничего общего с ним не имеют и даже не знакомы и впредь до особого его распоряжения находиться в отдалении, а сам, уже без свиты, поехал дальше и, к вечеру достигнув Натановых владений, встретил самого Натана – тот, просто одетый, гулял один невдалеке от прекрасного своего дворца; не подозревая, что перед ним Натан, Митридан спросил его, как пройти к Натану.

"Сын мой! – с приветливым видом отвечал Натан. – Во всей округе только я сумею указать к нему наивернейший путь, так что, если хочешь, я тебя к нему проведу".

Юноша сказал, что он очень рад, но ему бы не хотелось, чтобы его увидел и узнал Натан. "Если тебе так хочется, я и это устрою", – сказал Натан.

Митридан спешился, и Натан повел его к прекрасному своему дворцу, завязав с ним дорогой приятнейшую беседу. У дворца Натан велел слуге позаботиться о коне вновь прибывшего юноши и, подойдя к слуге вплотную, шепнул ему на ухо, чтобы он предуведомил всех домочадцев: дескать,

никто из них не должен говорить юноше, что он и есть Натан; и как он сказал, так и было исполнено. Когда же они вошли во дворец, Натан отвел Митридану отличную комнату (живя в ней, Митридан мог ни с кем не общаться, кроме предоставленных в его распоряжение слуг) и, приказав слугам как можно лучше за гостем ухаживать, остался побеседовать с ним.

Митридан хоть и испытывал к нему сыновнее почтение, а все же рассудил за благо узнать поточнее, кто он таков. Натан же ему на это ответил так: “Я последний из слуг Натана, здесь у него вырос, здесь и состарился, но он меня так и не повысил. Другие его восхваляют, а мне хвалить его не за что”.

Слова эти поселили в душе Митридана надежду на то, что он сумеет наилучшим образом и вполне безнаказанно привести преступный свой замысел в исполнение. Натан же, со всевозможною учтивостью осведомившись, кто он таков и по какому делу, объявил, что охотно подаст ему совет и помощь. Митридан заколебался, но потом все же решился довериться ему; после долгих подходов он взял с Натана слово, что тот не выдаст его, а затем попросил у него совета и помощи и рассказал все как есть: кто он таков, зачем сюда прибыл и что его на такой поступок толкнуло.

Когда Натан узнал о злом умысле Митридана, вся душа его пришла в волнение, однако он тут же нашел в себе силы ответить недрогнувшим голосом и с непроницаемым видом: “Митридан! Отец твой был человек благородный, и, как видно, ты хочешь пойти по его стопам: ты принял на себя великий подвиг – ты хочешь быть щедрым по отношению ко всем. И мне очень нравится, что ты завидуешь достоинствам Натана, – побольше бы такой зависти, тогда и жить на несчастной нашей земле сразу стало бы легче. Замысел, который ты мне поведал, я, разумеется, скрою от всех, но помочь я тебе особенно ничем не сумею, а вот полезный совет преподать могу. Так вот каков мой совет: примерно в полумиле от дворца есть рощица, – она отсюда видна, – туда почти каждое утро ходит Натан и долго гуля-

ет там в полном одиночестве; ты его там без труда разыщешь и совершишь задуманное. Когда же ты его убьешь, то, если хочешь благополучно добраться до дому, возвращайся не той дорогой, по которой ты ехал сюда, а той, которая вон там, налево – видишь? – идет из леса: она хоть и ненаезженная, да зато короче и безопасней".

Как скоро Натан удалился, получивший столь ценные сведения Митридан, соблюдая необходимую осторожность, уведомил своих спутников, которые к этому времени также расположились во дворце, где им надлежит ожидать его на следующий день. И вот на другой день Натан, действовавший в полном соответствии с советом, который он преподал Митридану, и ни в чем от него не отступавший, один пошел в рощу, где его должны были убить.

Митридан же, восстав от сна, взял лук и меч, – другого оружия у него не было, – сел на коня и, поехав по направлению к рощице, издали увидел гулявшего в совершеннейшем одиночестве Натана. Порешив, однако ж, сперва посмотреть на Натана и послушать, что он будет говорить, а потом уже умертвить его, Митридан наехал на Натана и, схватив его за тюрбан, крикнул: "Смерть тебе, старик!"

"Ну что ж, значит, заслужил", – вот все, что ему на это ответил Натан.

Услышав его голос и посмотрев ему в лицо, Митридан тотчас удостоверился, что это тот самый человек, который так приветливо с ним обошелся, так любезно проводил его до дворца и так верно ему все насоветовал, и тут ярость его мгновенно утихла, и чувство злобы сменилось чувством стыда; бросив меч, который он уже направил в грудь Натану, он соскочил с коня, припал к ногам Натана и, рыдая, заговорил: "Любезный отец мой! Теперь я вижу ясно, сколь вы великодушны: вы предоставили мне возможность безнаказанно лишить вас жизни, на которую я посягал без всяких для того оснований, о чем я сам же вас и уведомил, однако господь, пекущийся о моем спасении больше, чем я сам, в решительную минуту отверз духовные мои очи, сомкнутые презренною завистью. Вы сделали все для того, что-

бы желание мое исполнилось, а я теперь помышляю только о том, как бы скорей искупить мой грех. Воздайте же мне за мое злодеяние так, как я, по вашему разумению, того заслуживаю".

Натан поднял Митридана и, ласково обняв его и поцеловав, сказал: "Сын мой! Не проси у меня прощения за твой замысел, как бы ты его ни назвал: преступным или же как-либо еще, да мне и не за что тебя прощать, – ведь ты действовал так не по злобе, а для того, чтобы стать лучше всех. Не бойся же меня! Знай, что нет человека на свете, который любил бы тебя больше, чем я, ибо я познал величие твоего духа, стремящегося не к накоплению богатств, о чем хлопочут скупцы, а к их расточению. Не стыдись того, что ты восхотел убить меня, дабы прославиться, и не думай, что ты этим меня удивил. Всевластные императоры и могущественнейшие короли почти исключительно ценою убийства, – да не одного человека, о чем помышлял ты, а великого множества людей, – ценою выжигания целых стран и разрушения городов добивались расширения владений своих, а следственно, и распространения своей славы. Таким образом, замыслив убить только меня, дабы вящую стяжать себе славу, ты вознамерился совершить не беспримерный и необычайный подвиг, а самый обыкновенный поступок".

Митридан и не думал оправдывать свое злоумышление – он лишь изъявил радость по поводу того, что Натан в столь необидной для него форме вынес ему оправдательный приговор, но воспоминание о решимости Натана, дававшего советы и наставления, как легче убить его, приводило Митридана в крайнее изумление. Натан же ему сказал: "Напрасно, ты, Митридан, удивляешься совету моему и намерению: с тех пор как я стал человеком самостоятельным и замыслил то же, что и ты, не было ни одного человека, который переступил бы порог моего дома и коего желаний я бы по возможности не исполнил. Ты прибыл сюда ради того, чтобы взять у меня мою жизнь, и вот, как скоро я об этом узнал, я в ту же минуту порешил отдать тебе ее, а то ведь иначе оказалось бы, что все же был такой человек, ко-

торый ушел от меня, не получив желаемого, и вот, ради того чтобы удовлетворить тебя, я и подал тебе благой, как мне казалось, совет, ибо, послушавшись моего совета, ты взял бы мою жизнь, а своей не лишился. И я еще раз повторяю и прошу тебя: если хочешь, исполни свое желание и возьми мою жизнь – лучшего употребления я ей не найду. Я уже восемьдесят лет провожу ее в утехах и приятствах, а между тем мне доподлинно известно, что жизнь моя, так же как жизнь всех людей и так же как вся жизнь на земле, следует естественному течению вещей, – значит, жить мне осталось недолго, а тогда не лучше ли поступить с нею так, как я всегда поступал с моими сокровищами, которые я раздавал и тратил, то есть отдать ее, а не беречь, – все равно у меня ее отнимет природа. Отдать сто лет – дар не велик, отдать же шесть или восемь, какие мне еще осталось прожить, – и того меньше. Вот я и прошу тебя: если хочешь, возьми мою жизнь, – с тех пор как я существую на свете, она никому не была нужна, и если ты ее не возьмешь, то вряд ли еще найдутся желающие. Но даже если и найдется кто-либо, то ведь чем дальше, тем меньшую будет она представлять собой ценность, – так исполни же мою просьбу: возьми ее, пока она вовсе не обесценится".

Нестерпимый стыд терзал душу Митридана. "Ваша жизнь – великая драгоценность, – сказал он, – сохрани меня бог, чтобы я не то что похитил и отнял ее, а чтобы я хоть в мыслях еще раз на нее посягнул! Не то что укорачивать вашу жизнь – я бы с радостью, если б только это было в моих силах, отнял бы от своей жизни несколько лет и прибавил бы вам".

"В самом деле, прибавил бы? – живо спросил Натан. – Ты бы хотел, чтобы я поступил с тобой так, как я никогда и ни с кем не поступал? Иными словами – чтобы я взял то, что принадлежит тебе, хотя я никогда чужого не брал?"

"Да", – не задумываясь отвечал Митридан.

"Тогда вот что, – продолжал Натан. – Хоть ты еще и молод, оставайся у меня в доме и зовись Натаном, а я перееду к тебе и стану называться Митриданом".

Митридан же ему на это возразил: “Если б я так же искусно творил добро, как творили его и творите вы, я без дальних размышлений изъявил бы свое согласие, но так как поступки мои, уж верно, унизят славу Натана, – а в мои намерения не входит портить другому то, что я сам себе стяжать не сумел, – то я отказываюсь меняться именами”.

Продолжая вести такие и тому подобные приятные разговоры, Натан и Митридан по желанию Натана возвратились во дворец, и там Натан в течение нескольких дней ублажал Митридана и, призвав на помощь свои познания, вескими доводами укреплял своего гостя в его благом и великом начинании. Когда же Митридан изъявил желание отбыть вместе со всеми своими спутниками восвояси, Натан отпустил его, и Митридан уехал в полном убеждении, что Натана в щедрости не превзойти.

4

Мессер Джентиле де Каризенди, оставив Модену,
извлекает из склепа свою любимую,
которую сочли умершей и похоронили;
женщина поправляется; у нее родится сын,
и мессер Джентиле возвращает ее
вместе с ребенком мужу,
Никколуччо Каччанимико

Все не могли не подивиться тому, что жил на свете человек, которому не жаль было умереть. Общее мнение было таково, что Натан превзошел в великодушии и короля испанского, и аббата из Клюни. После того как поступок Натана всестороннему подвергся обсуждению, король, обратясь к Лауретте, изъявил желание, чтобы теперь рассказывала она, и Лауретта, нимало не медля, начала так:

– Юные дамы! Мы с вами слышали немало повестей о великих и славных деяниях, и я склоняюсь к мысли, что тем, кому еще предстоит рассказывать, нечего предложить вашему вниманию, – ибо о величии подвига все уже сказано, – за исключением повестей о делах сердечных, представляющих собой неисчерпаемый источник тем для разговора. Вот по этой-то причине, а главным образом приняв в рассуждение наш возраст, я хочу рассказать вам о благородном поступке некоего влюбленного, каковой поступок, когда вы все взвесите, быть может, покажется вам не хуже тех, о коих нам уже рассказывали, если, конечно, вы вери-

те в то, что человек способен сокровища свои отдать, враждебные чувства свои обуздать, более того: многажды поставить на карту жизнь свою, честь и доброе имя, лишь бы обладать любимым существом.

Итак, жил-был в Болонье, одном из знаменитейших городов Ломбардии, славившийся своими достоинствами и своею родовитостью молодой дворянин, мессер Джентиле Каризенди, и вот этот самый Джентиле Каризенди влюбился в донну Каталину, жену Никколуччо Каччанимико. В любви ему не повезло, и он со стесненным сердцем уехал в Модену, где ему предлагал место градоправитель. Никколуччо на ту пору в Болонье не было, а его беременная жена уехала к себе в имение, мили за три от города, и там ей вдруг стало худо, да так, что вскоре она перестала подавать признаки жизни, из чего врач заключил, что она умерла, а так как ближайшие ее родственники уверяли, будто они слышали от нее самой, что забеременела она недавно, и на основании этого утверждали, что ребенок не мог быть доношен, то ее, всеми горько оплаканную, тут же и похоронили в склепе приходского храма.

Приятель мессера Джентиле сейчас же дал ему об этом знать, и мессер Джентиле, хоть и был ею отвергнут, закручинился и мысленно к ней обратился с такими словами: “Итак, донна Каталина, ты умерла. Пока ты была жива, ты не удостаивала меня даже взглядом, зато теперь, когда ты уже не в силах оказать мне сопротивление, я во что бы то ни стало сорву с твоих мертвых губ поцелуй”.

В ту же ночь он, сказав дома, что для посторонних отъезд его должен оставаться тайной, взял с собой слугу, сел на коня и, нигде по дороге не останавливаясь, прибыл наконец туда, где та женщина была похоронена. Тихонько проникнув в склеп, он лег рядом с нею и, приблизив к ней лицо свое, покрыл ее поцелуями и омочил слезами. Но так как, сколько нам известно, пределов для человеческих стремлений не существует и люди в своих желаниях идут все дальше и дальше, в особенности – влюбленные, то и мессер Джентиле этим не удовольствовался. “Раз уж я

здесь, то почему бы мне не коснуться ее груди? — сказал он себе. — Больше я ни до чего не должен дотрагиваться — и не дотронусь". Желание это было в нем так сильно, что он положил руку ей на грудь и спустя некоторое время ощутил слабое биение ее сердца. Переборов страх, он прислушался чутче и уверился, что она не умерла, хотя жизнь в ней едва-едва теплилась. Того ради с великим бережением извлек он ее с помощью слуги из склепа и, положив перед собой на коня, тайно привез в Болонью, прямо к себе в дом.

Здесь жила его мать, женщина достойная и рассудительная, и она, выслушав обстоятельный рассказ сына и исполнившись сострадания, при помощи ванн и тепла привела донну Каталину в чувство. Очнувшись, донна Каталина с глубоким вздохом вымолвила: "Ах! Где я?"

А почтенная женщина ей на это: "Не бойся! Ты у добрых людей".

Когда же донна Каталина окончательно пришла в себя, то, окинув недоуменным взглядом комнату и с изумлением увидев перед собой мессера Джентиле, попросила его мать объяснить ей, как она здесь очутилась, и на этот ее вопрос подробно ответил ей мессер Джентиле. Донна Каталина опечалилась, затем, сердечно поблагодарив мессера Джентиле, воззвала к его рыцарственности и обратилась к нему с просьбой — во имя его былой любви к ней не подвергать ее у него в доме ничему такому, что могло бы запятнать как ее честь, так равно и честь ее мужа, и поутру отпустить ее домой.

На это ей мессер Джентиле ответил так: "Донна Каталина! Какие бы чувства я прежде к вам ни питал, я намерен и теперь и впредь (я говорю: впредь, ибо господь сподобил меня вернуть вас к жизни, на каковой поступок меня подвигнула былая моя любовь) обходиться с вами здесь и в любом другом месте не иначе, как с любимой сестрой. Однако ж то доброе дело, которое я сделал вам этою ночью, заслуживает вознаграждения, — явите же мне некую милость".

Донна Каталина отнеслась к его словам благосклонно и выразила готовность сделать для него все, что только в ее

силах и что не бросит тени на ее доброе имя. Тогда мессер Джентиле сказал: "Донна Каталина! Все родственники ваши и все жители Болоньи уверены и убеждены, что вы умерли, дома вас никто не ждет, вот я и прошу вас об одном одолжении: будьте добры, поживите до моего возвращения из Модены, — а вернусь я скоро, — у моей матери, но так, чтобы никто об этом не знал. Обращаюсь же я к вам с подобной просьбой потому, что мне бы хотелось в присутствии достойнейших наших сограждан торжественно вручить вашему супругу драгоценный подарок".

Донна Каталина сознавала, чем она обязана мессеру Джентиле, притом, на ее взгляд, ничего зазорного его просьба в себе не содержала, а потому она, хоть ей и страх как хотелось обрадовать своих родных, порешила ее исполнить и поклялась в том своею честью. И только успела она ответить мессеру Джентиле, как почувствовала, что пришло ей время родить, и немного погодя благодаря заботливому уходу матери мессера Джентиле благополучно родила прехорошенького мальчика, и теперь уже радости ее и мессера Джентиле не было границ. Мессер Джентиле, распорядившись, чтобы все было к ее услугам и чтобы за ней ухаживали так, как если бы она была его женой, тайно отбыл в Модену.

Отслужив в Модене положенный ему срок, мессер Джентиле перед отъездом в Болонью дал знать своим домашним, когда именно он приедет, и распорядился устроить в тот день богатый и роскошный пир и пригласить многочисленную болонскую знать, в частности Никколуччо Каччанимико. Как же скоро мессер Джентиле возвратился домой и спешился, то, поздоровавшись со всеми, проследовал к донне Каталине и нашел, что она поздоровела и похорошела и что у мальчика тоже прекрасный вид; несказанно обрадовавшись, он пошел сажать приглашенных за стол и велел угостить их на славу. Заранее посвятив донну Каталину в свой замысел и условившись с нею, как ей надлежит действовать, мессер Джентиле, когда обед подходил уже к концу, обратился к приглашенным с такою речью: "Синьо-

ры! Помнится, где-то я слышал, что в Персии существует прекрасный, по-моему, обычай: когда кто-либо хочет особенно почтить своего друга, то зовет его к себе и, показав то, что ему, хозяину, дороже всего: жену, подругу, дочку или же еще кого-либо, объявляет, что гораздо охотнее показал бы гостю, если б только мог, свое сердце, и вот этот обычай я намерен установить и в Болонье. Вы были так любезны, что почтили своим присутствием устроенный мною званый обед, я же хочу почтить вас по-персидски и показать вам то, что у меня есть сейчас, а может статься, и будет в дальнейшем самого дорогого. Прежде, однако ж, мне бы хотелось знать, что́ думаете вы об одном невероятном происшествии, о котором я вам сейчас расскажу. Итак, у одного человека опасно заболел добрый и верный слуга. Не желая ждать, когда занемогший слуга умрет, этот человек велел вынести его на улицу и забыл и думать о нем. Шел по улице чужой человек; ему стало жаль больного, он приютил его у себя и в конце концов, не пожалев денег на его лечение и выказав необычайную заботливость, выходил его. Так вот, мне бы хотелось знать: буде он пожелает оставить выздоровевшего у себя в качестве слуги, то имеет ли право первый хозяин сетовать и роптать, если второй хозяин не удовлетворит его требования и не отпустит к нему слугу?"

Знатные гости, после длительного обсуждения сойдясь во мнении, поручили ответить на вопрос, предложенный мессером Джентиле, Никколуччо Каччанимико, ибо он говорил лучше и красивее всех. Одобрив персидский обычай, Никколуччо Каччанимико объявил, что, по общему мнению, первый хозяин не имеет никаких прав на слугу, ибо он не только бросил его в беде, но и выгнал из дому, и что справедливость требует, чтобы за благодеяния, оказанные вторым хозяином, выздоровевший поступил к нему в услужение, — таким образом, оставив слугу у себя, второй хозяин не чинит первому ни ущерба, ни обиды и никакого насилия не совершает. Все, кто сидел за столом, — а тут было много достойных людей, — объявили, что всецело присоединяются к мнению Никколуччо.

Удовлетворенный таковым ответом, в особенности же тем, что услыхал его из уст Никколуччо, мессер Джентиле, заметив, что и он думает так же, сказал: “А теперь пора мне исполнить мое обещание и почтить вас”. Затем он послал к донне Каталине двух своих слуг с наказом прилично случаю нарядить ее и убрать и передать ей, что он просит ее прийти сюда и порадовать дорогих гостей.

Донна Каталина, взяв на руки своего красавчика сына, явилась на пир в сопровождении двух слуг, мессер Джентиле указал ей ее место, и она села рядом с одним достойным человеком. И тут мессер Джентиле сказал: “Синьоры! Вот то, что у меня есть и будет самого дорогого. Поглядите на нее и скажите, прав я или нет”.

Именитые гости приветствовали донну Каталину, восхищались ею, соглашались с мессером Джентиле, что она не может не быть ему дорога, разглядывали ее, и если б не было известно, что́ донна Каталина умерла, то многие узнали бы ее. Всех пристальнее вглядывался в нее, однако ж, Никколуччо, и когда хозяин дома на время оставил залу, он, горя желанием узнать, кто она, не утерпел и спросил ее, из Болоньи ли она, или приезжая. Хотела было донна Каталина ответить мужу, но, помня уговор, промолчала. Иные спрашивали, ее ли это сынок, жена ли она мессера Джентиле, или же какая-нибудь его родственница, но она все отмалчивалась. Наконец один из гостей сказал вошедшему мессеру Джентиле: “Мессер! Эта женщина в самом деле прекрасна, но она, как видно, немая, правда?”

“Ее молчание, синьоры, свидетельствует о том, сколь она добронравна”, – отвечал мессер Джентиле.

“Скажите нам, кто она”, – молвил все тот же гость.

“С удовольствием, – сказал мессер Джентиле, – если только вы мне обещаете, что бы я ни говорил, не двигаться с места, пока я не кончу”.

Все обещали и, как скоро убрали со стола, мессер Джентиле сел рядом с донной Каталиной и повел такую речь: “Синьоры! Эта женщина и есть тот преданный и верный слуга, о котором я вас только что спрашивал. Ее близкие,

которым она была не дорога, выбросили ее на улицу, как выбрасывают негодную, уже ненужную вещь, а я ее подобрал, мне стоило немалых трудов и усилий вырвать ее из лап смерти, и господь, видя мое усердие, превратил безобразный труп в прекраснейшую женщину. А чтобы вам все стало ясно, я расскажу в кратких словах, как было дело". Начав с того, что он ее полюбил, мессер Джентиле, к вящему изумлению присутствовавших, подробно изложил весь ход событий. "Так вот, – заключил он, – если никто из вас, а главное – Никколуччо, не отменил приговора, эта женщина принадлежит мне, – я это заслужил, – и никто не вправе ее у меня вытребовать".

Ни один из гостей ему не ответил – все ждали, не скажет ли он еще чего-нибудь. Никколуччо, другие гости и сама донна Каталина плакали от умиления. Вдруг мессер Джентиле встал и, взяв на руки младенца, а мать – за руку, приблизился к Никколуччо и сказал: "Итак, кум, я возвращаю тебе не жену, которую и твои и ее родственники вышвырнули, – я хочу тебе отдать эту женщину, мою куму, вместе с ее сыном, которого, без сомнения, зачал ты и которого я держал у купели и назвал Джентиле. Надеюсь, ты не разлюбишь ее только потому, что она около трех месяцев прожила у меня в доме: клянусь тебе богом, – а ведь это, наверное, сам бог вложил мне в сердце любовь к этой женщине, дабы моя любовь ее спасла, как оно потом и случилось, – клянусь тебе, что ни с отцом, ни с матерью, ни с тобой не жила она так непорочно, как жила у меня в доме, под присмотром моей матери". Тут он обратился к донне Каталине и сказал: "Донна Каталина! Теперь вы свободны от каких бы то ни было обязательств передо мною и вольны уйти от меня к Никколуччо". С последним словом мессер Джентиле передал донну Каталину с ребенком Никколуччо и сел на прежнее место.

Никколуччо был чрезвычайно рад видеть жену и ребенка, и восторг его был тем сильнее, что он уже утратил надежду когда-либо свидеться с ней; он от всего сердца и от всей души поблагодарил мессера Джентиле, а другие в это

время плакали от умиления и восхваляли мессера Джентиле; и впоследствии, кто бы о том ни услышал, все воздавали ему хвалу. Донну Каталину встретили в ее доме необычайно торжественно, и долго еще потом болонцы взирали на нее с изумлением как на воскресшую, а мессер Джентиле после того жил в дружбе с Никколуччо, с его родными и с родными донны Каталины.

Что же вы на это скажете, благосклонные дамы? Вы думаете, что король, отдавший скипетр свой и корону, аббат, которому ничего не стоило помирить папу с разбойником, или же старик, подставивший свое горло под нож врага, могут идти в сравнение с мессером Джентиле? Юный и пылкий, он считал себя вправе обладать тем, чем пренебрегла нерадивость другого и что ему посчастливилось подобрать, и вот он оказался настолько добродетельным, что сумел укротить свой пламень; этого мало: уже владея тем, к чему прежде были прикованы все его помыслы и что он когда-то мечтал похитить, он это свое сокровище возвратил добровольно. Нет, с его подвигом те, о которых мы слышали раньше, сравнить невозможно.

5

Донна Дианора просит мессера Ансальдо разбить ей в январе сад, такой же красивый, как в мае; сад вырастает благодаря искусству некроманта, которого нанял мессер Ансальдо; муж позволяет донне Дианоре ублаготворить мессера Ансальдо, однако ж тот, узнав об его великодушии, разрешает ей не исполнять обещания, а некромант, в свою очередь, не берет с мессера Ансальдо денег

Веселое общество превознесло мессера Джентиле чуть ли не до небес, а затем король велел рассказывать Эмилии, и она, с таким видом, словно ей не терпится начать, светски непринужденно повела свой рассказ:

– Мягкосердечные дамы! Ни у кого не повернется язык сказать, что мессер Джентиле поступил не великодушно, однако ж если бы кто-нибудь высказал мнение, что лучше поступить нельзя, то его, пожалуй, не трудно было бы разубедить. Вот об этом-то и пойдет речь в коротком моем рассказе.

Во Фриули, краю студеном, однако ж увеселяющем взор красивыми горами, множеством рек и прозрачными родниками, есть город Удине, – там некогда жила прекрасная и благородная дама, донна Дианора, жена некоего Джиль-

берто, изрядного богача, человека приятного и незлобивого. Достоинствами донны Дианоры пленился знатный и могущественный сановник, мессер Ансальдо Граденсе, занимавший высокое положение, славившийся ратными своими подвигами, а также своею обходительностью. Он страстно любил донну Дианору и делал все для того, чтобы добиться взаимности, писал ей письмо за письмом, однако ж старания его успехом не увенчались. В конце концов домогательства мессера Ансальдо прискучили донне Дианоре; видя, что, сколько ни отказывала она ему в его просьбах, чувство его к ней не охладевает и он от нее не отстает, она задумала обратиться к нему с необыкновенной и, как ей казалось, невыполнимой просьбой и таким образом от него избавиться.

И вот однажды донна Дианора сказала той женщине, которую он часто к ней посылал: "Голубушка! Вот ты мне все твердишь, что мессер Ансальдо любит меня больше всего на свете, и приносишь мне от него великолепные подарки. Неси их обратно – за подарки я его не полюблю и ничего для него не сделаю. Но если б мессер Ансальдо мне доказал, что он точно любит меня так, как ты меня в том уверяешь, вот тогда бы я его, конечно, полюбила и согласилась исполнить его желание. Пусть только он исполнит мою просьбу – и я буду принадлежать ему".

"А чего вы хотите, сударыня?" – спросила почтенная женщина.

"Вот чего, – отвечала донна Дианора. – Хочу, чтобы за нашим городом в январе вырос сад с зеленою травою, с цветами и с тенистыми деревьями. Не будет сада – тогда пусть мессер Ансальдо ни тебя, ни кого-либо еще ко мне не подсылает; я пока ни мужу, ни родным ничего не говорила, а уж тут непременно пожалуюсь – и он от меня поневоле отстанет".

Когда мессер Ансальдо узнал, о чем просит и что предлагает донна Дианора, то, хотя задача показалась ему трудной, едва ли даже разрешимой, и хотя он отдавал себе отчет, что донна Дианора нарочно обратилась к нему с

подобной просьбой, чтобы отнять у него всякую надежду, все же он решился попытать счастья и стал искать во всех частях света, не найдется ли где-нибудь такого человека, к которому он мог бы обратиться за советом и помощью, и такой человек сыскался и взялся с помощью некромантии за большое вознаграждение выручить мессера Ансальдо. Пообещав заплатить ему кучу денег, мессер Ансальдо, заранее торжествуя, стал ждать, когда придет срок. Наконец срок пришел, и хотя стояли лютые холода, хотя все было покрыто снегом и льдом, тот искусник в ночь на первое января достигнул своей цели, и утром, по свидетельству очевидцев, среди живописнейшей долины, начинавшейся сразу же за городом, вырос невиданной красоты сад с травой, с деревьями и со всевозможными плодами. Как скоро мессер Ансальдо, к великой своей радости, увидел сад, то приказал набрать самых лучших плодов, нарвать самых красивых цветов, тайно преподнести их донне Дианоре и пригласить ее полюбоваться возникшим по ее желанию садом, с тем чтобы она, уверившись в его чувстве к ней, вспомнила о клятвенном своем обещании и, как подобает честной женщине, постаралась его исполнить.

Увидев цветы и плоды и от многих наслышавшись о дивном саде, донна Дианора уже начала раскаиваться, что дала такое обещание, но со всем тем ее тянуло поглядеть на диковину; вместе с многими другими дамами донна Дианора пошла посмотреть сад и невольно залюбовалась им, но домой вернулась убитая, терзаемая мыслью, к чему это ее обязывает. Отчаяние донны Дианоры было так велико, что у нее не хватило сил затаить его, и так как оно у нее прорывалось, то муж не мог не обратить на это внимания и пристал к ней с расспросами. Донна Дианора долго не решалась признаться, но муж настаивал, и она вынуждена была сказать ему все.

Сначала Джильберто вспылил, однако ж, приняв в уважение, что донна Дианора поступила так из добрых побуждений, переменил мысли и, совладав с собою, сказал: "Дианора! Женщине умной и честной не подобает выслушивать

посланцев и не подобает заключать с кем-либо какие бы то ни было условия, в коих так или иначе затрагивается ее благонравие. Сердце любящего воспринимает каждое проникающее к нему через уши слово чутче, нежели нам это кажется, – вот почему для любящего нет почти ничего невозможного. Итак, ты поступила дурно, во-первых, потому, что выслушивала, а во-вторых, потому, что заключила условие. Но так как я знаю твою чистую душу, то, чтобы облегчить твое положение, я позволю тебе то, чего другой бы на моем месте, пожалуй что, и не позволил, а еще меня вынуждает на это страх перед некромантом: если б ты обманула мессера Ансальдо, то он подговорил бы некроманта нам отомстить. Пойди к мессеру Ансальдо и постарайся добиться того, чтобы и честь твоя не пострадала, и обещание тебе не нужно было исполнять. Ну, а если иначе нельзя, то отдайся ему телом, но не душой".

Жена плакала и уверяла мужа, что она не примет от него этой жертвы. Но как донна Дианора ни упиралась, Джильберто настоял на своем, и с рассветом, одевшись кое-как, она отправилась к мессеру Ансальдо; впереди шли двое ее слуг, позади – горничная девушка.

Услышав, что к нему пришла владычица его души, мессер Ансальдо дался диву и, встав с постели, позвал некроманта. "Я хочу, – сказал он, – чтобы ты своими глазами увидел, какое счастье досталось мне благодаря твоему искусству". Затем он вышел к ней и, не испытывая никаких нечистых желаний, принял ее с честью и оказал ей все знаки уважения, а затем провел в прекрасную комнату, где жарко пылал огонь, и, усадив, заговорил: "Донна Дианора! Если давняя моя любовь к вам заслуживает какой-либо награды, то не сочтите за труд открыть мне истинную причину того, что вы в столь ранний час и в таком сопровождении решились прийти ко мне".

Донна Дианора, чуть не плача от стыда, ответила ему так: "Если б я вас любила, мессер, я бы все равно к вам не пришла и ни за что не стала бы исполнять свое обещание, а явилась я по приказу мужа моего, который послал меня к

вам во вред и своей и моей чести, единственно из уважения к тем трудам, которые заставила вас понести безрассудная ваша страсть, – так вот, только по его приказу и только сегодня я исполню любое ваше желание".

Мессера Ансальдо удивил приход донны Дианоры; когда же он ее выслушал, то удивление его возросло, и, потрясенный великодушием Джильберто, чувствуя, что жалость берет в нем верх над пламенною страстью, он обратился к ней с такими словами: "Донна Дианора! Если дело обстоит именно так, как вы говорите, то господь не попустит, чтобы я опорочил честь человека, тронутого моею любовью. Так вот, если вам угодно, останьтесь на некоторое время у меня и будьте мне сестрою, а не угодно – вы в любую минуту вольны уйти от меня, с условием, однако ж, что вы в тех выражениях, какие вам покажутся наиболее подходящими, поблагодарите от меня вашего супруга за беспримерное его великодушие, а мне дозвольте считать себя вашим слугою и братом".

При этих словах донна Дианора возликовала. "Ваш нрав был мне известен, – сказала она, – и я была совершенно уверена, что мой приход к вам может иметь только такое последствие, и я буду вам за это благодарна до самой моей смерти". Тут она простилась с мессером Ансальдо, мессер Ансальдо с почетом ее проводил, она же, придя домой, все рассказала Джильберто, и с тех пор Джильберто и мессер Ансальдо стали ближайшими и закадычными друзьями.

Когда же мессер Ансальдо вознамерился уплатить некроманту обещанную сумму, некромант, пораженный великодушием, которое сначала выказал Джильберто по отношению к Ансальдо, а затем Ансальдо по отношению к донне Дианоре, сказал: "Господь не попустит, чтобы я, видя, как Джильберто пожертвовал своею честью, а вы – своею любовью, не пожертвовал полагающимся мне вознаграждением. Вам эти деньги пригодятся – пусть же они у вас и останутся".

Мессеру Ансальдо стало неловко, и он начал уговаривать некроманта взять если не все, то хотя бы часть денег,

но тот отказался наотрез, а так как на третий день сад под действием его чар исчез и теперь он собирался отбыть, то мессеру Ансальдо ничего иного не оставалось, как пожелать ему счастливого пути. Изгнав из сердца сладострастные вожделения, мессер Ансальдо продолжал любить донну Дианору, но уже безгреховной любовью.

Так что же мы с вами на это скажем, добрейшие дамы? Что выше: почти угасшая в силу своей безнадежности любовь к полумертвой женщине или же великодушие мессера Ансальдо, любящего стократ сильнее, чем прежде, видящего, что надежда его вот-вот сбудется, и уже держащего в руках вожделенную добычу? Разумеется, то великодушие перед этим бледнеет – двух мнений тут быть, по-моему, не может.

6

Непобедимый король Карл Старший полюбил одну девушку; устыдившись своего безрассудства, он приискивает для нее и для ее сестры отличную партию

Если попытаться подробно изложить содержание длительных словопрений между дамами о том, кто проявил к донне Дианоре больше великодушия: Джильберто, мессер Ансальдо или же некромант, то это займет слишком много времени. Король позволил им немного поспорить, а затем обратился к Фьямметте и повелел ей рассказывать и тем положить конец препирательствам, она же без малейшего промедления начала так:

— Восхитительные дамы! Я всегда держалась того мнения, что в таких обществах, как наше, должно изъясняться пространно, а то излишняя сжатость способна вызвать кривотолки. Сжатости нужно требовать в школе, от учеников, а не от нас: и так уж наши рассказы короче воробьиного носа. Я собиралась предложить вашему вниманию повесть, которая также могла бы вызвать споры, однако, приняв в соображение, какую распрю вызвала у вас предыдущая повесть, я рассудила за благо переменить предмет и рассказать не о простого звания человеке, но о доблестном короле и о рыцарском поступке, который он совершил, не запятнав своей чести.

Нам с вами не раз приходилось слышать о короле Карле Старшем, или Карле Первом, коего славному походу и блестящей победе над королем Манфредом мы обязаны изгнанием из Флоренции гибеллинов и возвращением гвельфов. По сему обстоятельству некий дворянин, мессер Нери дельи Уберти, уехал оттуда со всей семьей, захватив с собою крупную сумму денег, и вознамерился обосноваться под крылышком у короля Карла. Он жаждал уединения, ему хотелось дожить свою жизнь спокойно, и он отправился в Кастелламмаре ди Стабиа. Здесь он купил себе красивый, удобный дом, отстоявший от других жилищ примерно на расстоянии выстрела из лука и утопавший в зелени олив, орешника и каштанов, коими сей край обилен, а при доме чудный сад, и, воспользовавшись тем, что в саду было много ручьев, выкопал, как это у нас водится, прелестный прозрачный пруд и напустил туда уйму рыбы.

Единственным предметом его забот все еще оставался сад, где он продолжал вводить всевозможные улучшения, когда в Кастелламмаре приехал отдохнуть от жары король Карл. Сведав о том, какой у мессера Нери красивый сад, король пожелал его осмотреть. Когда же он узнал, кто таков хозяин сада, то, приняв в рассуждение его принадлежность к враждебной партии, порешил обойтись с ним как можно дружелюбнее и послал ему сказать, что завтра вечером он вместе с четырьмя своими приближенными намерен запросто у него в саду отужинать. Мессеру Нери это было весьма лестно; велев начать пышные приготовления и отдав надлежащие распоряжения слугам, он принял короля в высшей степени радушно. Король осмотрел дом и сад мессера Нери, и все ему здесь очень понравилось; тем временем возле пруда были уже накрыты столы, и король, вымыв руки, сел за стол и велел одному из спутников своих, графу Ги де Монфору, сесть по одну сторону, мессеру Нери – по другую, а еще трем своим спутникам велел подавать блюда в том порядке, который мессер Нери установил. Кушанья были тонкие, вина отменные и дорогие, блюда подавались в безукоризненно строгом порядке, без

суеты и без задержки, и король отозвался обо всем с похвалой. Он все еще весело ужинал и наслаждался приютным этим уголком, когда в сад вошли две девушки лет пятнадцати, с вьющимися золотистыми волосами; на голове у обеих красовались веночки из барвинка; их лица своею нежностью и красотою больше всего напоминали ангельские лики; их одежды, тончайшего белоснежного полотна, обтягивали стан до пояса, у пояса же расширялись и, широкие, как полог, доходили до ступней. Та, что шла впереди, несла на плече два бредня и поддерживала их левой рукой, а в правой у нее был длинный шест. Та же, что шла за ней следом, несла на левом плече сковороду, под мышкой держала вязанку хвороста, в одной руке – таган, а в другой – кувшин с оливковым маслом и зажженный факел. Король пришел в изумление и устремил на приближавшихся девушек недоуменный взор.

Девушки, скромные и застенчивые, поклонились королю и пошли к пруду, затем одна из них поставила наземь сковороду и все прочее, взяла у подружки шест, и обе вошли в пруд, – воды им тут было по грудь. Один из челядинцев мессера Нери живо развел на берегу огонь, поставил сковороду на таган и, налив масла, стал ждать, когда девушки начнут бросать ему рыбу. Одна из них шарила шестом в заведомо рыбных местах, а другая держала наготове бредень, и так они, к великой радости короля, не сводившего с них пристального взора, за короткое время наловили много рыбы и побросали ее слуге – тот клал ее, почти живую, на сковородку, а потом девушки, как им велел отец, самых красивых рыбок стали бросать на стол королю, графу и своему отцу. Рыбы трепыхались на столе, что́ очень забавляло короля; по примеру девушек он ловким движением стал бросать им рыбу обратно, и эта игра продолжалась до тех пор, пока слуга не изжарил всю рыбу, которую он получил от девушек, и тогда мессер Нери распорядился предложить ее королю не как дорогое и редкостное кушанье, а скорее в виде закуски. Удостоверившись, что рыбы наловлено много и что вся она изжарена, девушки вышли из во-

ды; их тонкая белая одежда прилипла к телу и уже почти не скрывала нежных его очертаний. Обе девушки захватили всю свою снасть и, потупившись, прошли мимо короля к дому. Король, граф и те, кто им прислуживал, загляделись на них; каждый отметил про себя их красоту, изящество, приветливость и благовоспитанность, но особенно понравились они королю, – когда они вышли из воды, он впился в них глазами, так что если б его в ту минуту кто-нибудь ущипнул, он бы этого не почувствовал. Он еще ничего про них не знал, но уже только о них и думал, и ему страх как хотелось понравиться им, из чего он заключил, что если он себя не пересилит, то непременно влюбится, а между тем он не мог бы сказать, какая из них произвела на него более сильное впечатление – так они были похожи.

Наконец, выйдя из задумчивости, король, обратись к мессеру Нери, спросил, кто эти две девушки. “Это, государь, мои две дочки, близнецы, – отвечал мессер Нери, – одну из них зовут Джиневра Красотка, а другую – Белокурая Изольда”. Король весьма одобрительно о них отозвался и сказал, что им пора замуж, но мессер Нери ответил, что он не собирается их отдавать.

Когда нечего уже было подать на ужин, кроме фруктов, снова появились обе девушки в платьях из великолепной тафты и поставили перед королем два огромных серебряных блюда с плодами, какие только в то время года можно было найти в саду. Затем отошли от стола и запели песню, которая начиналась так:

Куда, Амур, явилась я –
Поведать у меня нет силы.

Королю, с наслаждением на них смотревшему и слушавшему их приятное и стройное пение, казалось, будто все ангельские силы слетели с небес и запели. Затем девушки опустились на колени и обратились к королю с покорною просьбою отпустить их, и король, хоть и нелегко это ему было, с напускною веселостью дозволил им удалиться. По-

сле ужина король и его спутники сели на коней, простились с мессером Нери и, беседуя о разных вещах, возвратились во дворец.

Король таил от всех сердечное свое влечение, но и занимаясь важными делами, он всякий раз вызывал в своем воображении восхитительную и обворожительную красоту Джиневры, любовь к которой он перенес и на схожую с нею сестру, и в конце концов так запутался в любовных сетях, что ни о чем другом и думать не мог; подружившись с мессером Нери, он под разными предлогами, а на самом деле — чтобы повидать Джиневру, часто посещал его прекрасный сад. Когда же он почувствовал, что не в силах терпеть долее эту муку, то, не видя иного средства, надумал похитить у отца даже не одну, а двух дочерей, и рассказал о сердечной своей привязанности и о своем замысле графу, граф же, будучи человеком благородным, сказал ему на это следующее: "Ваше величество! Никого другого вы бы так не поразили своим признанием, как меня, — ведь я знал вас еще ребенком и, как никто, изучил ваш нрав. Если не ошибаюсь, вы и в юности, — а когда мы молоды, любви легче запустить в нас когти, — не были охвачены столь бурной страстью, и вдруг теперь, на склоне лет, вас полонила любовь — это так странно, так на вас не похоже, что я не верю своим ушам. Когда б я имел право упрекать вас, я бы нашелся, что сказать: ведь вы же еще не сняли бранных доспехов, вы находитесь во вновь завоеванном королевстве, среди незнакомого народа, здесь полно заговорщиков и вероломцев, у вас выше головы великих забот и важных дел, вы еще не успели укрепить свою власть, вам столько еще предстоит совершить, а вы поддаетесь любовному соблазну! Это простительно не сильному духом королю, а слабовольному юнцу. Мало того: вы намереваетесь похитить обеих дочерей у несчастного человека, который принял вас роскошнее, чем позволяли ему средства, и который дозволил своим дочерям предстать перед вами, как перед особо почетным гостем, полунагими, — этим он хотел показать, как он вам доверяет и что он не сомневается, что вы король, а не злой

волк. Неужто вы успели забыть, что доступ в это королевство вам открыли насилия, которые Манфред чинил над женщинами? Отнять у человека, который вас чествует, и надежду, и честь, и отраду – за такое неслыханное вероломство вечных мучений не избежать. Что станут про вас говорить? Вы, может быть, думаете, что если вы скажете: "Я поступил с ним так потому, что он гибеллин", – то это послужит вам оправданием. Но разве справедливый король так обходится с тем, кто сдается на милость победителя, что бы он собою ни представлял? Позвольте вам напомнить, государь, что победить Манфреда и разгромить Коррадино – это величайшая доблесть, однако ж стократ доблестнее победить самого себя; так вот, коль скоро ваш долг управлять людьми, вам надлежит прежде всего победить себя и укротить свою страсть. Вы чистыми руками добыли себе славу – бойтесь же загрязнить ее!"

Слова эти больно отозвались в душе короля; они тем более его огорчили, что в глубине души он не мог не признать правоту своего собеседника. "Граф! – тяжело вздохнув, заговорил король. – Я также держусь того мнения, что многоопытному воину любой, самый сильный враг покажется слабым и легкоодолимым в сравнении с собственным вожделением. Горе мое велико, и усилия от меня потребуются неимоверные, и все же ваши слова так на меня подействовали, что немного спустя я докажу вам на деле, что если я умел побеждать других, то сумею одолеть и себя самого".

Несколько дней спустя после этого разговора король возвратился в Неаполь, во-первых, для того, чтобы не впасть в искушение, а во-вторых, для того, чтобы вознаградить мессера Нери за гостеприимство, и, хоть и горько ему было уступить другому то, о чем он страстно мечтал, со всем тем положил он выдать обеих девушек замуж так, как если бы они были родными его дочерьми. Того ради король, с дозволения мессера Нери, поспешил дать им богатое приданое и выдал за доблестных вельмож: Джиневру Красотку – за мессера Маффео да Палицци, а Белокурую

Изольду – за мессера Гвильельмо делла Манья. Устроив их судьбу, король, отягченный печалью, отбыл в Апулию, и там неустанными трудами ему удалось заглушить голос дикой его страсти; сбив и сломав любовные оковы, он потом уже до конца дней пребывал свободным от вожделений.

Иные, быть может, заметят, что выдать двух девушек замуж – это для короля совсем не такое трудное дело. С этим я согласна. Но что так поступил влюбленный король, что он выдал замуж ту, которую он любил, и при этом не сорвал со своей любви ни единого листика, ни единого цветка, не снял с нее ни единого плода, – это, на мой взгляд, поступок в высшей степени благородный, даже сверхблагородный. Щедро вознаградить достойного человека, великодушно облагодетельствовать любимую девушку и победоносно завершить борьбу с самим собой – так мог поступить лишь наделенный, возвышенною душою король.

7

Король Педро узнает о том,
что больная девушка Лиза пламенно его любит;
он успокаивает ее, а немного погодя
выдает замуж за благородного юношу,
целует ее в лоб и с того дня
именует себя ее рыцарем

Когда Фьямметта окончила свой рассказ, то все наперебой принялись восхвалять короля Карла за великодушное его мужество, — все, за исключением одной дамы: она была гибеллинка, и ей хвалить короля не хотелось; засим последовало повеление короля, и Пампинея начала так:

— Высокочтимые дамы! Всякий разумный человек сказал бы о добром короле Карле то же, что и вы, — исключение составляет та, у которой есть особые причины к нему не благоволить. Мне, однако ж, пришел на память поступок, быть может, не менее похвальный, чем поступок короля: я имею в виду то, как обошелся его враг с одной девушкой-флорентийкой, — об этом-то я и хочу вам рассказать.

После того как французы были изгнаны из Сицилии, в Палермо проживал наш флорентиец, аптекарь, по имени Бернардо Пуччини, страшный богач, и была у него одна-единственная дочь, кра́савица писаная, уже на выданье. Когда король Педро Арагонский стал правителем острова, то он со своими сподвижниками устроил в Палермо пышные празднества, и вот, в то время как он, соблюдая свои

каталонские обычаи, принимал участие в турнире, его увидела дочка Бернардо Лиза, вместе с другими дамами стоявшая у окна, и он так ей понравился, что она, взглянув на него раз-другой, влюбилась без памяти. Празднества давно кончились, а Лиза, жившая в родительском доме, была охвачена возвышенною и чистою своею любовью. Особенно угнетало ее то обстоятельство, что она рождена в низкой доле, — сия мысль отнимала у нее всякую надежду на благоприятный исход; впрочем, любовь ее к королю от этого не становилась слабее — Лиза только боялась как-нибудь ее обнаружить. Король ничего не видел и не замечал, и это причиняло Лизе нестерпимую, непередаваемую боль. Итак, чувство ее день ото дня все росло и росло, скорби ее множились беспрестанно; кончилось дело тем, что красавица с горя слегла — она таяла на глазах, как снег на солнце. Несчастные родители чего только для нее не делали: старались ее ободрить, призывали к ней лекарей, давали разные снадобья — ничто на нее не действовало: она сознавала, что любовь ее безнадежна, и жить ей не хотелось.

Как-то раз отец сказал ей, что готов исполнить любое ее желание; тогда у нее явилась мысль: перед смертью, если представится к тому возможность, поведать королю свою любовь и свои мечты; и вот однажды она обратилась к отцу с просьбой позвать к ней Минуччо д'Ареццо. В то время он славился и как певец, и как музыкант, его охотно принимал у себя король Педро, и Бернардо, решив, что Лиза хочет его послушать, попросил его прийти, — Минуччо был так любезен, что сейчас же явился. Сказав Лизе в утешение несколько ласковых слов, он усладил ее слух, сыграв на виоле песнь о любви, потом спел и, вместо того чтобы ее успокоить, подлил масла в огонь.

Девушка объявила, что хочет поговорить с Минуччо наедине, и вот, когда все, кроме Минуччо, ушли, она обратилась к нему с такими словами: "Минуччо! Мне нужен верный хранитель тайны, и выбор мой пал на тебя: я надеюсь, что ты никому ее не откроешь, за исключением того человека, которого я тебе назову, и рассчитываю на твою по-

мощь. Сделай милость, помоги мне! Надобно тебе знать, милый Минуччо, что в день великого торжества по случаю восшествия на престол его величества короля Педро я увидела его, когда он принимал участие в состязании, и миг тот был для меня роковым, ибо в душе моей вспыхнула любовь к нему, и она-то и довела меня до такой крайности. Я знаю, что король не может ответить на мою любовь, сама я не в силах не то что вырвать ее из сердца, а хотя бы умерить, бремя же это для меня непосильно, и вот я решилась выбрать наименьшее зло, то есть умереть, и так я и сделаю. Но если б я перед смертью не поведала королю свою любовь, мне было бы тяжело умирать, а так как я не знаю лучшего посредника, чем ты, то тебе я это и поручаю и прошу тебя не отказать мне в этой моей просьбе. Когда же ты ее исполнишь, сообщи о том мне, и тогда тяжесть с души моей спадет, и я умру спокойно". И тут она залилась слезами.

Подивился Минуччо как величию ее духа, так равно и ее жестокости по отношению к самой себе, и проникся к ней глубокою жалостью. Тут же сообразив, как лучше всего помочь Лизе, он ответил ей так: "Даю слово, Лиза, что тайны твоей не выдам, а слово мое верно. Дерзновенная твоя любовь к великому человеку восхищает меня, и я предлагаю тебе свои услуги и уверяю тебя, что, если только ты дашь мне слово не расстраиваться, не пройдет и трех дней, как я вернусь к тебе с радостною вестью. А чтобы не терять драгоценного времени, я сей же час примусь за дело". Лиза снова обратилась к Минуччо с жаркой мольбой и, обещав держать себя в руках, пожелала ему успеха.

А Минуччо пошел от нее к Мико да Сиена, изрядному для того времени стихотворцу, и тот по просьбе Минуччо сочинил следующее стихотворение:

Любовь! Молю тебя, спеши к тому,
Из-за кого жестоко я страдаю
И смерти ожидаю,
Скрывая боязливо страсть к нему.

Помилосердствуй и лети проворно
Туда, где моего владыки дом,
Дабы ему поведать непритворно,
Как день и ночь мечтаю я о нем,
Хотя меня всечасно и упорно
Томит и угнетает мысль о том,
Что я сгорю, любовь, в огне твоем.
Пусть бессердечный помнит: если ныне
Я так близка к кончине,
То он, лишь он один виной всему.

Я столь робка с тех пор, как полюбила,
Что не решаюсь даже бросить взгляд
На лик того, к кому с безумной силой
Мои мечты заветные летят
И без кого разверстая могила
Милее жизни кажется стократ.
А ведь он сам, пожалуй, был бы рад.
Когда б я ложный стыд преодолела
И волю дать посмела
Подавленному чувству своему.

Но если я, любя, открыть робею
То, что таю в душевной глубине,
Любовь, в долгу ты пред рабой своею
И ей помочь обязана вдвойне.
Так сжалься, госпожа, и дай скорее
Знать юноше прекрасному, что мне
Со дня, когда в доспехах, на коне
Увидела его я на турнире,
Он всех дороже в мире
И что в разлуке с ним я смерть приму.

На эти слова Минуччо не умедлил сочинить нежную и жалостливую музыку, какой и требовало содержание песни, и на третий день явился во дворец, когда король Педро сидел за столом, король же обратился к Минуччо с прось-

бой сыграть на виоле и спеть. И вот Минуччо так сладко запел, что все, здесь находившиеся, замерли и слушали его молча и со вниманием, однако ж самым внимательным его слушателем был король. Когда же Минуччо умолк, король спросил его, что это за песня, – он, король, в первый раз ее слышит.

"И слова и музыка были сочинены назад тому три дня, государь", – отвечал Минуччо. Король спросил, для кого. "Это я могу сказать только вам", – отвечал Минуччо.

Как скоро убрали со стола, король, горевший желанием все узнать, позвал Минуччо в свои покои, и тот подробно ему рассказал то, что слышал от Лизы. Королю это было очень приятно слышать, он с большой похвалой отозвался о Лизе и, заметив, что такой прекрасной девушке нельзя не выказать участие, попросил Минуччо сходить к ней, успокоить ее и передать от его имени, что он нынче же вечером непременно ее навестит.

Минуччо, в восторге от того, что может сообщить Лизе столь радостную весть, с виолой под мышкой, никуда не заходя, полетел к ней и, оставшись с девушкою наедине, все ей рассказал, а потом под звуки виолы спел песню... Девушка была так рада и счастлива, что тут же заметно начала поправляться; никто из ее близких ничего не знал и не подозревал, а она с нетерпением ждала вечера, когда должен был ее посетить государь. Король долго потом думал над тем, что ему сказал Минуччо, а так как он был государь великодушный и отзывчивый, то, отлично зная Лизу, зная, как она прекрасна, он испытывал к ней теперь еще более сильную жалость. И вот вечером он сел на коня, как будто собирался на прогулку, и, подъехав к дому аптекаря, попросил хозяина показать дивный его сад, затем спешился и немного погодя спросил Бернардо, как поживает его дочь и не выдал ли он ее замуж,

"Нет, государь, она не замужем, – отвечал Бернардо, – она ведь у меня долго болела, да и сейчас еще больна; впрочем, сегодня, после обеда, дело каким-то чудом пошло на поправку".

Король, сейчас догадавшись, что за причина столь внезапного улучшения, молвил: “По чести скажу, жаль было бы лишиться такого прелестного создания. Мы хотим навестить ее”.

Вместе с Бернардо и двумя своими спутниками он прошел в ее покой и, приблизившись к кровати, на которой, слегка приподнявшись, лежала ожидавшая его с трепетом девушка, взял ее за руку и сказал: “Что с вами, донна Лиза? Вы еще так молоды, вы должны вливать бодрость в других, а вы хвораете! Докажите нам свою любовь – поправляйтесь немедленно!”

Ощутив прикосновение руки любимого человека, девушка застыдилась, однако ж душа ее ощутила в эту минуту неземное блаженство. И ответила она королю, как ей подсказывало сердце: “Государь! Причина недуга моего – душевная тягота, во много раз превышавшая слабые мои силы, но теперь, благодаря вашей доброте, я скоро поправлюсь”.

Сокровенный смысл этих речей был понятен одному королю, и он проникался все большим уважением к девушке и мысленно проклинал судьбу, по воле которой она произошла от человека низкого состояния. Побыв с ней еще некоторое время и, сколько мог, ободрив ее, король удалился. Все очень хвалили короля за его доброе дело и говорили, что это великая честь для аптекаря и для его дочки, дочка же была счастлива так, как только может быть счастлива влюбленная девушка. Надежда на будущее укрепила ее силы, и спустя несколько дней она поправилась и стала еще краше, чем прежде.

Когда же она выздоровела, король, обсудив с королевой, чем наградить ее за такую любовь, сел как-то раз на коня, поехал вместе со своими вельможами к аптекарю и, войдя в его сад, послал за ним и за его дочерью. Тем временем приехала королева со знатными дамами, они приняли Лизу в свою компанию, и началось веселье. Немного спустя король и королева позвали Лизу, и король сказал ей: “Славная девушка! Великая ваша любовь к нам великой заслуживает награды, и мы желаем, чтобы вы из любви к нам этою

наградою удовольствовались, награда же будет заключаться в следующем: так как вы – девушка на выданье, то мы хотим, чтобы вы вышли замуж за человека, которого мы вам прочим в мужья, что́ не помешает мне всегда именоваться вашим рыцарем, и за это я ничего от вашей великой любви не потребую, кроме одного-единственного поцелуя".

Краска стыда залила все лицо девушки, но желание короля было для нее священно, и она тихо сказала: "Государь! Я нимало не сомневаюсь, что если бы люди узнали о моей любви к вам, то большинство решило бы, что я – помешанная и что, сойдя с ума, я перестала отдавать себе отчет, какая пропасть разделяет нас с вами, однако ж господь знает, – ибо ему единому открыты сердца смертных, – что в тот миг, когда я вас полюбила, я сознавала, что вы – король, а я – дочь аптекаря Бернардо и что мне не подобает устремлять пламень чувств моих в такую высь. Но ведь вы же знаете еще лучше меня, что рассудок над сердцем не властен, что сердце слушается вожделения и страсти, и хотя я всеми силами сопротивлялась этому закону, а все же я вас любила, люблю и буду любить вечно. Но, полюбив вас, я тут же себе сказала, что всякое ваше желание всегда будет и моим желанием, – вот почему я охотно пойду за человека, за которого вам угодно будет меня отдать и благодаря которому я устрою свою судьбу, да что там: прикажите мне броситься в огонь, чтоб доставить вам удовольствие, и я с радостью брошусь! Вы сами понимаете, что иметь короля своим рыцарем – это слишком большая честь для меня, и потому я обойду ваши слова молчанием; что же касается единственного поцелуя, которого вы требуете от моей любви, то без дозволения государыни вы его не получите. А за великую милость, какую вы с государыней мне оказали, да воздаст вам и да вознаградит вас господь, мне же воздать вам нечем". И тут она умолкла.

Ответ девушки произвел на королеву самое выгодное впечатление, и она не могла не согласиться с королем, который еще раньше говорил ей, какая умница эта девушка. Король, позвав родителей девушки и узнав, что они одоб-

ряют его намерение, послал за одним бедным, но благородным юношей, дал ему кольца и велел обручиться с Лизой, и юноша не противился.

Король и королева тут же надарили девушке дорогих вещей, а затем король объявил, что жалует ей Чеффалу́ и Калатабеллотту – два прекрасных, богатейших имения. "Это мы даем в приданое за невестой, – сказал жениху король. – А чем мы намерены пожаловать тебя – это ты узнаешь потом". Тут он обратился к девушке и сказал: "А теперь мы сорвем плод с вашей любви". Сказавши это, он обхватил ей руками голову и поцеловал в лоб.

Жених, родители и сама Лиза на радостях задали пир горой и сыграли веселую свадьбу. Как уверяют многие, король в точности исполнил обещание, которое он дал Лизе: он до самой своей смерти именовал себя ее рыцарем и всегда отправлялся в поход с памяткой, которую она ему посылала.

Такими поступками венценосцы уловляют сердца подданных, показывают благой пример и покрывают себя вечною славой, однако же ныне мало кто, а вернее сказать – никто не направляет на такие дела стрел своего разумения, оттого что почти все нынешние государи – жестокие тираны.

8

*Софрония думает, что она замужем за Гисиппом,
а на самом деле она – супруга Тита Квинция Фульва,
и с Титом Квинцием Фульвом она уезжает в Рим,
и туда же некоторое время спустя
в нищенском обличье прибредает Гисипп;
будучи уверен, что Тит пренебрег им,
жаждущий смерти Гисипп показывает на суде,
что он убил человека; Тит, узнав Гисиппа,
показывает с целью выгородить его,
что убил он, а не Гисипп;
тогда настоящий убийца сознается
в совершенном преступлении,
после чего Октавиан всех отпускает на свободу;
Тит выдает замуж за Гисиппа свою сестру
и делит с ним все свое состояние*

Когда Пампинея окончила свой рассказ и все одобрили короля Педро, в особенности же – гибеллинка, Филомена по повелению короля начала так:

– Великодушные дамы! Кому из нас не известно, что если короли захотят, то они великие могут делать дела и что от них больше, чем от кого-либо еще, должно ожидать великодушия? Так вот, кто из власть имущих делает то, что ему надлежит делать, тот поступает хорошо, однако ж не следует удивляться ему и превозносить его так, как за то же самое надлежало бы превознести простого смертного, ибо с ма-

ленького человека и спрос невелик. Коль же скоро вы в таком восторге от короля и коль скоро вы славите его деяния, то я не сомневаюсь, что вам еще больше понравятся и вызовут у вас еще большее одобрение поступки обыкновенных людей, не менее, а то и более доблестные, нежели поступки властелинов. Вот почему я собираюсь рассказать вам о том, как благородно и великодушно обошлись друг с другом двое простых смертных, между собою приятельствовавших.

Итак, в то время, когда Римской империей правил как триумвир Октавиан Цезарь, еще не получивший названия Августа, в Риме жил знатный человек Публий Квинций Фульв, и у него был необыкновенных способностей сын. Тит Квинций Фульв, и вот этого своего сына Публий Квинций Фульв послал в Афины изучать философию, всецело поручив его заботам старого своего друга, знатного афинянина по имени Кремет. Кремет поселил его у себя, вместе с сыном своим Гисиппом, и отдал их обоих, и Тита и Гисиппа, в учение философу Аристиппу. Совместная жизнь показала, до чего сходны их нравы, и вскоре между ними возникла теснейшая братская дружба, прервавшаяся лишь вместе с их смертью, – оба наслаждались безоблачным счастьем, только когда были вместе. Учиться они начали в один год, и оба, блестящими отличаясь способностями, всходили на сияющую вершину философии ровным шагом и удостаиваясь великих похвал. Так жили они на радость Кремету, любившему их почти одинаково, три года. А в конце третьего года случилось нечто неизбежное: престарелый Кремет отошел, и юноши горевали о нем одинаково, словно это был их общий отец, так что родственники и друзья Кремета не знали, кто из них двоих более нуждается в утешении. Спустя несколько месяцев к Гисиппу пришли его родственники и друзья и вместе с Титом начали уговаривать его жениться на красавице девушке лет пятнадцати, дочери благородных родителей, афинянке, по имени Софрония. Незадолго до свадьбы Гисипп предложил Титу пойти посмотреть невесту – он ее еще не видал. Когда они к ней вошли и она села между ними, Тит на правах судьи не-

весты своего друга принялся внимательнейшим образом ее рассматривать, и все в ней показалось ему необычайно привлекательным, он не мог ею налюбоваться и, незаметно для постороннего глаза, влюбился в нее так страстно, как никто еще на свете не влюблялся. Побыв у нее некоторое время, друзья возвратились домой.

Уединившись у себя в комнате, Тит стал думать о любимой девушке, и чем дольше мысль его на ней останавливалась, тем сильнее пылал он к ней страстью. Заметив это за собой, он тяжело вздохнул и сказал: “О, как жалок твой жребий, Тит! Где сейчас витает твоя душа, кого ты полюбил, с кем связал надежды? Разве за доброе к тебе расположение Кремета и всей его родни, разве за истинно дружеские чувства, которые питает к тебе жених этой девушки, ты не должен чтить в ней сестру? А ты ее полюбил! Куда завлекла тебя коварная любовь, куда завлекла тебя обманчивая надежда? Отверзни духовные свои очи и погляди на себя, несчастный! Прислушайся к голосу разума, укроти сладострастные вожделения, умерь нечистые желанья и направь свои помыслы на другое. Истреби свою похоть в зародыше и, пока еще не поздно, превозмоги себя. Ты не вправе к этому стремиться, ибо это нечестно. Если бы даже ты был уверен, что достигнешь цели, все равно, покорный велениям истинной дружбы и долга, ты был бы обязан подавить свое чувство. Итак, что же тебе делать, Тит? Если желаешь поступить, как нужно, ты вырвешь из сердца преступную любовь”. Но тут он вспомнил Софронию и, переменив мысли, пришел к заключению, что он не прав. “Законы любви сильнее всех остальных, — рассуждал он, — они отменяют не только законы дружбы, но и законы божеские. Разве так не бывало, что отец любил дочь, брат — сестру, мачеха — пасынка? А ведь это страшнее, чем любовь к жене друга, — таких случаев сколько угодно. Притом я молод, а молодость подчиняется законам любви беспрекословно: что нравится Амуру, то должно нравиться и мне. Пусть люди зрелого возраста ведут добродетельный образ жизни, а я не могу не желать того же, чего желает Амур. Эта девушка так прекрасна,

что ее нельзя не любить. И если я, человек молодой, полюбил ее, то никто не имеет права меня осуждать. Я люблю ее не потому, что она принадлежит Гисиппу, — я люблю ее и любил бы, кому бы она ни принадлежала. В том, что она достанется другу моему Гисиппу, повинна судьба. Если же она должна быть любима (а ее нельзя не любить — до того она хороша), то Гисипп должен быть рад, что его жену полюбил я, а не кто-нибудь еще". Однако этот ход рассуждений ему же самому показался смешным, и он опять вернулся к прежним мыслям; и так он думал и передумывал весь день, всю ночь и петом еще несколько дней и ночей, утратил аппетит и сон и в конце концов от слабости слег.

Гисипп, видя, что сперва его друг впал в задумчивость, а потом заболел, очень этим огорчился; он проводил все время у его ложа, неусыпными заботами и уходом старался поднять его на ноги, часто и настойчиво допытывался, что за причина его задумчивости и его болезни. Тит плел небылицы, Гисипп это понимал и продолжал добиваться истины; Тит долго вздыхал, долго плакал, наконец, видя, что ему от Гисиппа не отделаться, ответил так: "Гисипп! Будь на то воля богов, я бы с радостью умер: судьба властно от меня требует, чтобы я выказал мужество, а я, к величайшему моему стыду, чувствую, что не способен на это. Возмездие, то есть — смерть, неизбежно, да я и сам предпочитаю умереть, нежели жить с сознанием того, сколь низко я пал, а так как я не могу и не должен что-либо от тебя скрывать, то, сгорая со стыда, я тебе сейчас в своей низости исповедуюсь". И тут, начав с самого начала, он рассказал ему, отчего он впал в задумчивость, рассказал о душевном своем разладе, о том, что́ в нем пересилило, и о том, как он из-за Софронии гибнет, а затем объявил, что сознает свою вину, что наказанием ему должна быть смерть и что он скоро умрет.

Когда Гисипп это услышал и увидел его слезы, то погрузился в раздумье, ибо он тоже был пленен красотою девушки, хотя и не так сильно, однако ж он очень скоро пришел к убеждению, что жизнь друга должна быть ему дороже Софронии; глядя на него, он и сам заплакал и, обливаясь сле-

зами, ответил ему так: “Тит! Если б ты не нуждался прежде всего в утешении, я бы тебе попенял за то, что ты поступил не по-дружески, – за то, что ты так долго таил от меня безумную свою страсть. Ты намерения свои почитал нечестными, но ведь от друга нельзя скрывать не только честные намерения, но и нечестные, ибо истинный друг порадуется вместе с другом честным его намерениям, а что касается нечестных, то постарается повлиять на друга, чтобы он выбросил их из головы. Но пока я этим и ограничусь и перейду к более существенному. Что ты пламенно полюбил невесту мою Софронию – это меня не удивляет, я скорей удивился бы, если б ты ее не полюбил, ибо я знаю ее красоту и знаю благородную твою способность увлекаться всем истинно прекрасным. У тебя есть все основания любить Софронию, и ты не прав, сетуя на судьбу (хотя прямо ты об этом и не говоришь) за то, что она отдала ее мне, – ты бы считал, что поступаешь честно, если б она принадлежала кому-нибудь еще. Но будь же последователен: если б судьба отдала ее кому-нибудь другому, а не мне, – что же, ты возблагодарил бы судьбу? Как бы ни была чиста твоя любовь и кто бы Софронией ни обладал, вряд ли бы он пожелал уступить ее тебе, а я – другое дело: я – твой друг, и я не помню, чтобы, с тех пор как мы подружились, мы чего-нибудь не поделили. Если бы даже другого выхода не было, все равно я поступил бы так же, как поступал с тобой во всех случаях жизни, однако ж выход еще есть, и она еще может быть только твоей, и я это устрою. Что же это за дружба, если друг, когда все еще можно устроить без ущерба для чьей бы то ни было чести, не пошел бы другу навстречу? Софрония – моя невеста, я очень ее любил и с радостным нетерпением ожидал свадьбы, все это так, но ты любишь ее сильнее, чем я, она – венец твоих мечтаний, и ты можешь быть уверен, что она войдет в мой покой не моей, а твоею женой. Так отгони же от себя черные думы, рассей тоску, восстанови утраченные силы, будь по-прежнему бодр и весел и спокойно ожидай награды за свою любовь, которая заслуживает ее гораздо больше, чем моя”.

Тит слушал Гисиппа, и лучезарная надежда боролась в нем с угрызениями совести, и чем великодушнее выказывал себя Гисипп, тем неблагороднее рисовался он сам себе в том случае, если б он этим великодушием воспользовался. Он сделал над собой усилие и заговорил сквозь слезы: "Гисипп! Твои истинные и великодушные дружеские чувства ясно показывают, как надлежит поступить мне. Господь не попустит, чтобы ту, которую он предназначил тебе как наиболее достойному, я у тебя отнял. Если бы господь увидел, что она больше подходит мне, то можно не сомневаться, что он никогда бы не отдал ее тебе. Итак, радуйся тому, что ты — избранник, радуйся мудрому промыслу божию и дару свыше, а мне предоставь исходить в слезах, — так судил мне бог, ибо счастья я не достоин, — я же, тебе на радость, постараюсь подавить мой душевный недуг; если ж он меня сломит, тогда я, по крайней мере, перестану терзаться".

Гисипп ему на это сказал: "Тит! Наша дружба дает мне право вырвать у тебя обещание и принудить исполнить его, — так я намерен испытать дружеские твои чувства ко мне. Буде же ты по доброй воле не исполнишь мою просьбу, я применю насильственные меры, — ради спасения друга это не грех, — и Софрония все равно будет твоей. Мне ведома сила любви; я знаю, что любовь многих свела в могилу, и ты так к ней близок, что самому повернуть обратно и справиться со своим душевным недугом у тебя уже недостало бы сил, а следом за тобой сошел бы в могилу и я. Итак, если бы даже я тебя не любил, твоя жизнь была бы мне дорога по одному тому, что от нее зависит и моя жизнь. Итак, Софрония будет твоей, ибо другую ты уже так не полюбишь, я же с легкостью устремлю любовные мои думы на иной предмет, и все устроится к нашему с тобой общему благополучию. По всей вероятности, я не был бы столь великодушен, если бы хорошая жена была бы такою же редкостью, как друг, и ее так же трудно было бы найти, но в том-то все и дело, что жена — не друг, найти себе жену ничего не стоит; вот почему я не стремлюсь утратить ее, — уступив ее тебе, я ее не утрачу, а лишь помогу ей сменить хо-

рошее на лучшее, – я предпочитаю изменить ее участь, чем потерять тебя. Так вот, если мои мольбы что-то для тебя значат, перестань терзаться, успокойся сам и успокой меня и, в надежде на лучшее, предвкушай счастье, которого жаждет страстная твоя любовь".

Совестно было Титу давать согласие на то, чтобы Софрония стала его женой, и он все еще упорствовал, но, с одной стороны, любовь, а с другой – уговоры Гисиппа подбивали его согласиться, и в конце концов он сказал: "Послушай, Гисипп: я не могу определить, твое или мое желание побуждает меня сделать то, что якобы будет тебе столь приятно. Необычайное твое великодушие заставляет меня побороть естественное чувство стыда, и я исполню твою просьбу, но знай: я отдаю себе полный отчет, что ты не только отдал мне любимую женщину, но и возвратил мне жизнь. Да помогут мне боги чем-либо почтить тебя и порадовать и тем доказать свою признательность за то, что ты пожалел меня больше, нежели сам я себя жалел".

Гисипп же ему на это сказал: "Чтобы вернее прийти к намеченной цели, наш образ действий должен быть следующий. Сколько тебе известно, после долгих переговоров моих родных с родными Софронии она стала моею невестой. Так вот, если б я от нее сейчас отказался, то вышла бы крупная неприятность, и я навлек бы на себя гнев ее и моей родни. Если бы благодаря этому она стала твоей, я бы на это не посмотрел, но я вот чего опасаюсь: я с нею порву, и ее родители тотчас отдадут ее за другого, но не за тебя, и не достанется она ни тебе, ни мне. Не знаю, как ты, а я полагаю, что мне необходимо довести дело до конца: она войдет в мой дом как жена, а после свадьбы мы сумеем устроить так, что ты будешь с ней жить как с женой. Впоследствии мы найдем время и место и объявим о случившемся. Не вознегодуют родственники – отлично, а вознегодуют – им волей-неволей придется смириться: дело сделано, назад не воротишь".

Тит одобрил этот план. И вот, когда он выздоровел и окреп, Гисипп ввел Софронию в свой дом как жену. Ночью, после славного пира, женщины оставили новобрачную на

супружеском ложе и удалились. Комната Тита была рядом с комнатой Гисиппа, и комнаты эти сообщались. Гисипп потушил у себя свет, крадучись пробрался к Титу и сказал, чтобы он лег с его женой. Титу стало так стыдно, что он уже раскаивался, но, как он ни упирался, Гисипп, всей душой стремившийся не на словах, а на деле осчастливить друга, после долгих пререканий настоял на своем. Тит лег к девушке в постель, обнял ее и, как бы шутя, шепотом спросил, хочет ли она быть его женой. Девушка, уверенная, что это Гисипп, ответила, что хочет, тогда он надел ей на палец красивое, дорогое кольцо и сказал: "А я хочу быть твоим мужем". Тут он скрепил брачный союз и потом долго еще пребывал с ней в сладостном упоении, и никто так и не узнал, как не узнала сама Софрония, что то был не Гисипп.

После этого Тит и Софрония продолжали жить как муж и жена, но тут пришло известие, что отец Тита, Публий, скончался, Титу же написали, чтобы он немедленно выезжал в Рим на предмет устройства своих дел. Тит и Гисипп решили, что он возьмет с собой Софронию, однако ж оба понимали, что приличия требуют раскрыть ей глаза, а иначе везти ее в Рим немыслимо. И вот однажды они с нею уединились и поговорили начистоту, причем в доказательство Тит привел множество подробностей их супружеской жизни. Софрония окинула обоих негодующим взором и, зарыдав, принялась осыпать Гисиппа упреками в том, что он ее обманул. Не разгласив пока этого обстоятельства у него в доме, она пошла к своим родителям и рассказала, как Гисипп обманул их и ее и как она сверх ожидания стала женой не Гисиппа, а Тита. Отец Софронии разгневался; и он, и его родные в течение долгого времени горько жаловались родным Гисиппа, – словом, пошли нелады и раздоры, длительные и ожесточенные. Гисипп стал ненавистен и своим родным, и родным Софронии, – все сходились на том, что он заслуживает не просто порицания, но и строгого наказания. Он же утверждал, что поступил честно и что родные Софронии должны быть ему благодарны, ибо он выдал ее замуж за человека более достойного.

Тит все это слышал, и слушать это было ему невыносимо тяжело. С другой стороны, ему хорошо был известен нрав греков: они шумят и грозят до тех пор, пока не сыщется человек, который бы на них цыкнул, и тогда они сразу становятся смиренными и даже подобострастными, и в конце концов он пришел к заключению, что больше молчать нельзя. У него была душа римлянина, а разум афинянина, и вот он, исхитрившись собрать родных Гисиппа и Софронии в храме, вошел туда вдвоем с Гисиппом и обратился к ним с такою речью: "Многие философы думают, что смертные действуют не иначе, как по предначертанию и произволению бессмертных богов, и отсюда некоторые делают вывод, что все, совершающееся на свете или же имеющее совершиться, происходит в силу необходимости, меж тем как другие распространяют это положение только на то, что уже совершилось. Если мы эти мнения рассмотрим с должным вниманием, то нам станет ясно, что осуждать нечто такое, что поправить уже нельзя, значит полагать о себе, будто мы мудрее самих богов, в то время как нам надлежит верить, что боги извечно и непогрешимо располагают и управляют нами и всеми нашими поступками, и тут сам собой напрашивается вывод, что порицать волю богов может только человек, отличающийся безрассудным, глупым самомнением, и что тот, кто дошел до такой дерзости, заслуживает быть вверженным в оковы тяжкие и нерасторжимые. По мне, все вы именно таковы, если только вы точно утверждали и продолжаете утверждать, что Софрония стала моею женою вопреки вашему желанию, ибо вы отдали ее за Гисиппа; но ведь вы отдали ее, не приняв в рассуждение, что ей *ab aeterno*[1] суждено было стать женой не Гисиппа, а моей, как оно и произошло на самом деле. Впрочем, рассуждения о таинственном промысле и предуказаниях богов многим кажутся чересчур мудреными и неудобопонятными; итак, предположив, что боги в наши дела не вмешиваются, перейдем к рассмотрению человеческих установлений, и вот тут я вынужден буду дважды пойти наперекор своей на-

1 От века *(лат.)*

туре: себя самого похвалить, а других осудить и представить в невыгодном свете. Но истина мне дороже всего, да и само дело этого требует. В жалобах ваших отсутствует здравый смысл – в них дышит слепое бешенство, вам все хочется излиться, попросту говоря, вы не перестаете злиться, вы обличаете, клеймите и клянете Гисиппа за то, что он своею властью отдал за меня ту, которую вы своею властью отдали за него, – мне же представляется, что этот его поступок заслуживает самых высоких похвал, и вот почему: во-первых, он поступил как истинный друг, а во-вторых, он поступил разумнее, чем вы. Я не намерен пускаться в пространные рассуждения о том, какие обязательства накладывает дружба, – я только позволю себе напомнить вам, что узы дружбы неизмеримо крепче уз родства и свойства, ибо друзей мы выбираем сами, а родных нам посылает судьба. Вот почему нет ничего удивительного, что Гисиппу моя жизнь была дороже вашего благорасположения, ибо он с полным основанием считал меня своим другом. А теперь пойдем дальше, и тут мне придется развернуть длинную цепь доказательств в пользу того, что Гисипп оказался мудрее вас всех, не понимающих, что такое промысл божий, и совсем ничего не смыслящих в дружбе. Итак, вы вознамерились, надумали и порешили выдать Софронию за юношу-философа Гисиппа, а Гисипп порешил выдать ее тоже за философа; вы хотели выдать ее за афинянина, а Гисипп – за римлянина; вы хотели выдать ее за человека знатного, а Гисипп – за еще более знатного; вы хотели выдать ее за богатого, а Гисипп – за богатейшего; вы хотели выдать ее за юношу, который не только не успел полюбить ее, но и знаком-то с ней не был, а Гисипп – за юношу, любившего ее больше счастья и больше жизни. А что я говорю правду и что намерение Гисиппово похвальнее вашего – это мы сейчас разберем до тонкости. Что я так же молод, как Гисипп, и тоже философ – об этом красноречиво говорят моя наружность и мои занятия, других доказательств здесь не требуется. Мы с ним однолетки, учились всегда одинаково. Правда, он – афинянин, а я – римлянин. Однако ж, если б зашел спор о том, какой город славнее, я бы сказал, что я – уроженец свободного города, а

он — уроженец города-данника; я бы сказал, что я — уроженец города, владычествующего над всем миром, а он — уроженец города, подвластного моему; я бы сказал, что я — уроженец города, где власть сильна и где процветают военное искусство и ученость, тогда как его родной город может похвалиться одною лишь ученостью. Еще я мог бы сказать, что хотя сейчас перед вами стоит скромный ученик, но происхожу я не из римской черни — в моих домах и всюду в Риме висят древние изображения моих предков, а римские летописи полны упоминаний о триумфальных встречах Квинциев в Капитолии. Слава нашего рода не ветшает, а все растет и растет. Я стесняюсь говорить о моей состоятельности, ибо держусь того мнения, что истинная бедность — это древнее и богатейшее наследие благородных граждан Рима, хотя простонародье презирает бедность и обожает сокровища; у меня же их много не оттого, что я любостяжатель, но единственно оттого, что я баловень судьбы. Я знаю, что вам было и должно было быть лестно породниться с местным жителем Гисиппом, однако ж вам должно быть не менее лестно родство со мною, особливо, если вы подумаете о том, что теперь есть кому оказать вам в Риме гостеприимство, что у вас будет теперь полезный, заботливый и мощный покровитель как в делах общественных, так равно и в частных. Кто же из людей, которые умеют пересиливать безрассудный гнев и слушаются лишь голоса разума, станет на вашу сторону, а не на сторону Гисиппа? Разумеется, что никто. Значит, Софрония обрела достойного супруга в лице Тита Квинция Фульва, принадлежащего к знатному и древнему роду, богатого римского гражданина и друга Гисиппа; те же, кто ее оплакивает и кто на это сетует, поступают безрассудно — они сами не знают, чего хотят. Иные, быть может, скажут, что они ропщут не на то, что Софрония стала женою Тита, — что их-де возмущает то, каким образом вышла она за него, то, что ее отдали за него тайно, обманом, без ведома родных и друзей. Но ведь это не в диковину, это не впервые. Не будем говорить о тех, что вышли замуж против воли родителей, о тех, что заводили себе любовников, бежали с ними, а потом уже выходили за них замуж, и о тех, что скрыва-

ли свою связь до поры, когда их беременность или роды делали эту связь явной и брак становился необходимостью. С Софронией ничего подобного не произошло – напротив того: тут все было безукоризненно. Другие скажут, что Гисипп не имел права выдавать ее замуж, но это глупая бабья болтовня, в коей нет и капли здравого смысла. Испокон веков судьба приводит к цели разными путями и с помощью необычных орудий. Какое мне дело, башмачник или же философ устроил мои дела по своему благоусмотрению, и какое мне дело, тайно или же явно он этим занимался, если все окончилось благополучно? Вот если башмачник действовал неосмотрительно, тогда нужно поблагодарить его за хлопоты, но больше ничего ему не поручать. Если Гисипп выдал Софронию замуж удачно, то жаловаться на него и на его образ действий глупее глупого. Если вы находите, что он действовал опрометчиво, то поблагодарите его за усердие и примите меры к тому, чтобы он никого больше замуж не выдавал. Со всем тем да будет вам известно, что у меня не было коварного умысла – хитростью овладев Софронией, запятнать честь знатного вашего рода, и хотя я женился на ней тайно, все же я – не похититель ее девства и не враг, задумавший бесчестно соблазнить ее и не намеревавшийся породниться с вами, – я действовал как пламенно влюбленный в несказанную ее красоту и чтущий ее целомудрие, как человек, сознающий, что если б он добивался ее руки так, как вам, по всей вероятности, это было бы угодно, то получил бы отказ, потому что вы души в ней не чаете и вам было бы тяжко отпускать ее со мною в Рим. Словом, я применил уловку, в которой теперь могу уже признаться: я подговорил Гисиппа изъясниться Софронии за меня в любви, которую он к ней не питал, я же любил ее горячо, но я добивался близости с нею не как любовник, а как супруг, и прикоснулся я к ней, – это она сама может нелицеприятно вам засвидетельствовать, – лишь после того, как обручился, принес клятву верности и спросил, хочет ли она быть моей женой, на что она ответила утвердительно. Если же она теперь уверяет, что она обманута, то пусть пеняет на себя: почему не спросила, кто я? Так вот то великое злодейство, великий

грех и великое преступление, которое совершили Гисипп из дружеских чувств ко мне и я из любви к Софронии, — за это вы на него нападаете, за это вы ему угрожаете и отмщаете. Можно себе представить, как бы вы с ним обошлись, если б он отдал ее за селянина, за бродягу или же за раба! Что бы его ожидало? Оковы, темница, пытки? Но — к делу. Мой отец скоропостижно скончался, мне нужно ехать в Рим, и так как я намерен взять Софронию с собой, то и поспешил открыть мою тайну, а если б не это, я бы, пожалуй, еще некоторое время подержал вас в неведении. Если вы люди неглупые, то будете этому рады: ведь если б я хотел обмануть вас или же оскорбить, я бы насмеялся над Софронией и бросил ее, но боже меня упаси от такой низости — у римлянина мыслей таких быть не должно. Итак, по произволению богов, по всем законам человеческим, благодаря редкостной находчивости друга моего Гисиппа, а также благодаря моей хитрости — хитрости влюбленного, Софрония принадлежит мне, вы же, очевидно считающие себя мудрее богов и прочих смертных, безрассудно действуете мне назло: во-первых, вы не отпускаете со мной Софронию, а между тем у мужа побольше прав на нее, чем у вас; во-вторых, вы смотрите на Гисиппа как на врага, а между тем вы должны быть ему благодарны. Я признаю за излишнее продолжать доказывать вам, как глупо вы себя ведете, но вот вам дружеский мой совет: перестаньте яриться, укротите гнев свой и отдайте мне Софронию, — тогда я уеду спокойно, с сознанием, что я — ваш родственник, и с этим сознанием я буду жить в Риме. Можете быть, однако ж, уверены: одобряете вы или не одобряете наши действия, но если вы будете и впредь чинить мне препоны, я отыму у вас Гисиппа, и как скоро прибуду в Рим, то наперекор вам отберу Софронию, ибо она принадлежит мне по праву. А на что способен разгневанный римлянин, это я докажу вам на деле, находясь с вами в непримиримой вражде".

Сказавши это, Тит в порыве негодования встал, взял Гисиппа за руку и, гордо подняв голову, с вызывающим видом вышел из храма. Иных из тех, кто оставался в храме, подкупили слова Тита о родственных чувствах и о дружбе, дру-

гих напугали его угрозы; так или иначе, все сошлись на том, что раз Гисипп не пожелал с ними породниться, так лучше пусть будет их родственником Тит, а то они и Гисиппа потеряли, и в лице Тита наживут врага. В сих мыслях разыскали они Тита и дали свое согласие на то, чтобы Софрония была его женой, он сам – дорогим их родственником, а Гисипп – добрым их другом. Попировав уже как родственники и друзья, они удалились, Софронию же отпустили к нему, а Софрония, как женщина умная, возвела необходимость в добродетель и, не замедлив перенести любовь свою к Гисиппу на Тита, отбыла с супругом в Рим, и там ее с отменными приняли почестями.

Гисипп остался в Афинах, и почти все от него отвернулись, а малое время спустя он рассорился со всеми своими сродниками, и его, несчастного и горемычного, выслали из Афин навсегда. Обедневший, обнищавший, с мыслью о том, помнит ли его Тит, Гисипп кое-как добрался до Рима. Узнав, что Тит жив и пользуется в Риме всеобщим уважением, расспросив, где он живет, Гисипп, в ожидании, когда Тит выйдет, стал напротив его дома; он порешил не заговаривать с Титом, ибо стыдился своего рубища, но постараться попасться ему на глаза, чтобы Тит узнал его и позвал. Тит, однако же, прошел мимо, а Гисипп подумал, что Тит видел его, но погнушался им и, вспомнив, что́ он когда-то сделал для Тита, в гневе и в отчаянии удалился. Уже стемнело, а Гисипп еще ничего не ел, денег у него не было, он не знал, где ему приклонить голову, и, пойдя наугад, думая о том, как бы скорей умереть, забрел он на пустынную окраину, увидел большую пещеру и, порешив здесь переночевать, как был, в лохмотьях, изнемогший от мук, заснул на голой земле. Под утро сюда после ночного грабежа пришли с добычей какие-то двое; чего-то они не поделили, один из них оказался сильнее, убил своего товарища, а затем скрылся. Все это видевший и слышавший Гисипп пришел к мысли, что ему незачем накладывать на себя руки, что путь к желанной смерти и так перед ним открыт, и он дождался в пещере стражников, те, сведав, что́ здесь произошло, нагрянули в пещеру и схватили Гисип-

па. На допросе Гисипп показал, что убил он, а скрыться не успел, и на этом основании претор Марк Варрон повелел, по тогдашнему обычаю, распять его.

Случилось, однако ж, так, что в преторию в это время вошел Тит. Узнав, за что собираются казнить несчастного узника, он посмотрел на него и, тотчас узнав Гисиппа, подивился злой его доле и тому, какими судьбами очутился он здесь. Всей душой желая ему помочь и не видя иного пути к его спасению, как обвинить себя и обелить его, он пробился вперед и крикнул: “Марк Варрон! Верни осужденного тобою несчастного человека – он невинен. Я и так уже прогневал богов, подняв руку на человека, которого твои стражники нынче утром нашли мертвым, и я не хочу еще больше гневить их смертью другого, ни в чем не повинного человека”.

Изумленный Варрон был не доволен тем, что вся претория это слышала, однако нарушить закон значило запятнать самого себя, и он приказал вернуть Гисиппа и в присутствии Тита ему сказал: “Как видно, ты не в своем уме. Тебя не пытали, а ты сознаешься в том, чего не совершал, хотя прекрасно знаешь, что за это ты поплатишься жизнью. Ты показал, что ночью совершил убийство, а вот этот человек приходит и говорит, что убил не ты, а он”.

Гисипп, взглянув на Тита и узнав его, отлично понял, что Тит взял вину на себя ради его спасения, в благодарность за то, что́ он, Гисипп, когда-то для него сделал. Заплакав от умиления, он сказал: “Варрон! Убийца – я. Сострадание Тита запоздало”.

Но Тит стоял на своем. “Ты же видишь, претор, – сказал он, – что это чужеземец; он был схвачен подле мертвого тела, но оружия у него не было. Как видно, нищета довела его до того, что он жаждет умереть. Его ты освободи, а я заслужил наказания, меня ты и наказывай”.

Дивясь настойчивости обоих и склонясь к мысли, что и тот и другой невинны, Варрон подумывал, как бы их обелить, но тут вдруг перед ним предстал юноша по имени Публий Амбуст, человек отпетый, своими грабежами известный всему Риму, – это он и совершил убийство, и ему было

хорошо известно, что оба они на себя клеплют, и так ему стало жаль этих ни в чем не повинных людей, что под влиянием глубокой жалости он приблизился к Варрону и сказал: "Претор! Волею судеб мне предстоит рассудить мучительный спор этих людей. Я не знаю, кто из богов не дает мне покою и принуждает меня сознаться. Как бы то ни было, довожу до твоего сведения, что эти два человека возводят на себя напраслину. Убийство совершил нынче на рассвете я, а когда я делил награбленное моим сообщником, которого я потом и убил, этот несчастный там же, в пещере, спал. Ну, а Тит в моей защите не нуждается; его доброе имя порукой в том, что он никогда бы не пошел на такое дело. Освободи же и его, а меня суди по всей строгости закона".

Октавиан к этому времени обо всем уже был осведомлен; желая узнать, что заставило этих людей навлекать на себя кару, он повелел доставить к нему всех троих, и каждый все ему о себе рассказал. Октавиан двоих освободил как невиновных, а третьего – по их просьбе.

Тит бросился к другу своему Гисиппу и, пожурив его за робость и недоверчивость, несказанно обрадованный, повел его к себе, и Софрония, растроганная до слез, приняла его как брата. Тит подбодрил его, приодел и нарядил, как приличествовало званию его и достоинству, потом разделил с ним богатства свои и владения, выдал за него замуж младшую сестру свою Фульвию, а затем объявил: "Теперь, Гисипп, ты волен остаться жить у меня или же взять с собою все, что ты от меня получил, и возвратиться в Ахайю". Гисипп, памятуя о том, что из родного города его изгнали, равно как и о том, к чему его обязывает благодарная любовь Тита, порешил стать римлянином. И долго еще потом он со своею Фульвией, а Тит с Софронией счастливо жили одною семьей, и дружба их, если только это возможно, с каждым днем становилась тесней.

Итак, дружба – чувство священнейшее, достойное не только особого благоговения, но и всечасных похвал, в такой же точно мере, как благоразумная мать заслуживает уважения и почета, как сестра – благодарности и сердечного

участия, как враг — ненависти и жестокосердая, ибо дружба, не дожидаясь просьб, всегда готова выказав по отношению к другим те доблестные чувства, какие она сама чает вызвать к себе у других. К стыду и по вине смертных с их гнусною алчностью, благотворное действие дружбы ныне сказывается редко, ибо алчность, думающая только о своей выгоде, навеки изгнала ее с лица земли. По чьему еще внушению, как не по внушению дружбы, а вовсе не по внушению любви, корысти или же родственных чувств, страстный пыл Тита, слезы его и вздохи так больно отозвались в душе Гисиппа, что он отказался ради него от красивой, знатной, любимой невесты? Что еще, как не дружба, а вовсе не законы, не угрозы и не страх, удержало молодые руки Гисиппа в местах уединенных, в местах укромных, на его собственном ложе, от того, чтобы заключить в объятия прелестную девушку, быть может, его на это иной раз и вызывавшую? Что еще, как не дружба, а вовсе не возвышение, не награды и не льготы, убедило Гисиппа не жалеть о разрыве со своими родными и с родными Софронии, не обращать внимания на бесславящий ропот черни, не обращать внимания на издевательства и насмешки, убедило все претерпеть ради друга? А что подвигнуло Тита, который с успехом мог сделать вид, что знать не знает Гисиппа, идти, не рассуждая, навстречу собственной гибели, лишь бы избавить его от распятья, хотя он сам этого добивался? Что еще, как не дружба, заставило Тита безотлагательно принять великодушное решение разделить громадное свое состояние с Гисиппом, которого судьба обездолила? Что еще, как не дружба, заставило Тита отдать, не колеблясь, свою сестру за Гисиппа, хотя тот обеднел и впал в ужасающую нищету?

Пусть же люди стремятся к тому, чтобы у них была многочисленная родня, видимо-невидимо братьев, куча детей, пусть же они нанимают все больше и больше слуг и пусть не замечают, что каждый из них дрожит от страха при малейшей опасности и палец о палец не ударит, чтобы отвести от отца, от брата, от господина опасность подлинно грозную; истинный же друг поступает как раз наоборот.

9

Путешествующий под видом купца Саладин находит радушный прием у мессера Торелло; предпринимается крестовый поход; мессер Торелло, уезжая, назначает жене своей срок, когда она может выйти замуж за другого; мессер Торелло попадает в плен; слух об его искусстве приручать птиц достигает ушей Саладина; Саладин узнает его, называет себя и воздает ему необычайные почести; мессер Торелло заболевает; однажды ночью он силою волшебных чар переносится в Павию; во время пиршества по случаю бракосочетания жены мессера Торелло она узнает его, и он уводит ее к себе домой

Когда Филомена окончила свой рассказ и все в один голос одобрили великодушного и благодарного Тита, король, прежде чем предоставить последнее слово Дионео, повел такую речь:

– Пленительные дамы! Мысли Филомены о дружбе, вне всякого сомнения, справедливы, и в конце своего рассказа она с полным основанием пожаловалась на то, что в наше время смертные дружбу не ценят. Если бы мы собрались здесь для того, чтобы исправлять человеческие недостатки или же хотя бы для того, чтобы осудить их, я бы развил мысль Филомены в пространном рассуждении, но цель у

нас с вами иная – вот почему я порешил описать в, быть может длинноватой, однако же занятной повести один из великодушных поступков Саладина: по грехам нашим нам не дано в полной мере насладиться радостями дружбы, но, выслушав мою повесть, мы, по крайней мере, почувствуем, как приятно оказывать услуги в надежде, что когда-нибудь мы получим за это награду.

Итак, сказывают, что при императоре Фридрихе Первом христиане задумали всеобщий крестовый поход для освобождения Святой земли. Узнав об этом заранее, султан Вавилонский Саладин, доблестный правитель, порешил своими глазами поглядеть на приготовления христиан к походу, чтобы, в свою очередь, как можно лучше изготовиться к обороне. Приведя в надлежащее устройство дела свои в Египте, он переоделся купцом, взял с собою двух самых главных и самых умных своих придворных и трех слуг и отправился будто бы в паломничество. Много христианских земель он уже осмотрел и теперь путешествовал по Ломбардии с намерением перевалить через горы, и вот однажды вечером повстречался ему между Миланом и Павией мессер Торелло ди Стра из Павии, вместе со слугами, собаками и соколами ехавший пожить в свое прекрасное имение на берегу Тичино.

Увидев Саладина и его спутников, мессер Торелло сообразил, что это знатные иностранцы, и возымел желание оказать им почет. И вот, когда Саладин обратился с вопросом к его слуге, далеко ли до Павии и успеет ли он въехать в город до закрытия ворот, мессер Торелло не дал слуге ответить. "Нет, синьоры, вы опоздали", – сказал он.

"Мы – чужеземцы, – сказал Саладин, – не откажите в любезности указать нам, где бы мы могли заночевать".

"С удовольствием, – сказал мессер Торелло. – Я как раз собирался послать по одному делу моего человека в селение, которое находится неподалеку от Павии. Он проводит вас до места, где вы со всеми удобствами расположитесь на ночлег".

Тут мессер Торелло приблизился к самому толковому из своих слуг, отдал надлежащие распоряжения и отправил

его с чужестранцами, а сам поехал своей дорогой; прибыв к себе в имение, он велел как можно скорее приготовить наилучший ужин и накрыть стол в саду; когда же все было готово, он вышел за ворота встречать гостей. Слуга, заняв знатных путешественников разговором, незаметно свернул с дороги и проводил их в именье своего господина.

Завидев их издали, мессер Торелло пошел пешком к ним навстречу и, улыбаясь, сказал: "Милости просим, синьоры!" Саладин, будучи человеком догадливым, сообразил, что этот дворянин, боясь, что если он их пригласит, то они не поедут, решился заманить их к себе хитростью, — тогда уж они, мол, волей-неволей проведут с ним вечерок. Отвечая на приветствие мессера Торелло, Саладин сказал: "Мессер! Если можно быть недовольным человеческой любезностью, то мы изъявили бы вам свое неудовольствие: мало того, что вы нас задержали, вы, — хотя мы ничем, кроме приветствия, не заслужили вашего расположения, — вынудили нас воспользоваться необычайною вашей любезностью".

Мессер Торелло, человек умный и красноречивый, ответил на это так: "Синьоры! Оказанная мною любезность ничтожна по сравнению с той, какая, если судить по вашему виду, вам подобает, но в окрестностях Павии вам, в самом деле, везде было бы неудобно, так что вы уж не посетуйте, что вам пришлось дать крюку ради сносного ночлега".

Тут к путникам приблизились слуги, путники спешились, и слуги поставили их коней в стойло; мессер же Торелло повел трех знатных путешественников в заранее приготовленные для них покои, приказал слугам разуть их, предложил им выпить для бодрости холодного вина, а так как до ужина время еще оставалось, то он провел его в приятной беседе с гостями. Саладин, спутники его и слуги знали латинский язык, и потому сами они все отлично понимали, и другим было понятно все, что говорили они. Гости признали хозяина за самого приятного, благовоспитанного и велеречивого человека, какого только им приходилось видеть, а мессер Торелло пришел к мысли, что они — люди более знатные, чем он предполагал вначале, и ему бы-

ло неловко, что сегодня он лишен возможности задать в их честь роскошный пир и блестящим окружить их обществом, но он утешал себя тем, что завтра ему удастся поправить дело; сообщив одному из слуг, что он намерен предпринять, мессер Торелло послал его в Павию, до которой отсюда было недалеко и где, кстати сказать, ни одни ворота на ночь не запирались, к своей супруге, женщине умнейшей и с возвышенною душою.

Затем он провел знатных гостей в сад и в учтивых выражениях спросил их, кто они такие и откуда и куда путь держат. Саладин же ему на это ответил так: "Мы – кипрские купцы, прибыли из Кипра, а едем по делам в Париж".

Мессер же Торелло ему на это сказал: "Дай бог, чтобы у нас в стране были такие же дворяне, каковы у вас, сколько я могу судить, купцы".

Разговор переходил с предмета на предмет, а там подоспел и ужин; хозяин попросил гостей пожаловать к столу, и хотя ужин был приготовлен на скорую руку, все было очень вкусно и блюда подавались в строгом порядке.

Когда же, по прошествии некоторого времени, убрали со стола, мессер Торелло, заметив, что гости устали, предложил им лечь в свежие постели, а потом и сам пошел спать. Посланный в Павию слуга выполнил поручение, и супруга мессера Торелло позаботилась о том, чтобы по-царски принять гостей: мигом призвала на помощь друзей и слуг мессера Торелло, сделала все от нее зависящее, чтобы пир удался на славу, накануне вечером позвала именитых граждан, коим ее слуги освещали дорогу факелами, приготовила в подарок гостям шелковые, суконные и меховые одежды, – словом, исполнила все, что ей наказывал муж.

Поутру знатные гости встали; когда же они и мессер Торелло сели на коней, мессер Торелло велел взять соколов и, подъехав к ближайшему болоту, показал гостям, как его соколы летают. Саладин обратился к мессеру Торелло с просьбой: нельзя ли, чтобы кто-нибудь из слуг проводил путников до Павии и указал им лучшую гостиницу. Мессер Торелло ему предложил: "Я сам вас провожу, мне все равно нужно

быть в городе". Чужеземцы поверили ему, обрадовались и вместе с ним продолжали свой путь. В Павию они приехали около девяти часов утра; полагая, что это лучшая гостиница во всем городе, чужеземцы на самом деле приехали к мессеру Торелло, и во дворе у него уже собрались для встречи дорогих гостей не менее пятидесяти знатнейших граждан; кто бросился взять за узду коня, кто — подержать стремя.

Саладин и его спутники отлично поняли, в чем дело. "Мессер Торелло! — сказали они. — Мы просили вас совсем о другом. Вы и так уже много сделали для нас минувшей ночью, — мы о таком ночлеге и мечтать не могли, — а сейчас приличия требуют от нас, чтобы мы, с вашего дозволения, поехали дальше".

На это ему мессер Торелло ответил так: "Синьоры! За то, что вы у меня остановились вчера вечером, я должен быть благодарен не столько вам, сколько судьбе, — ведь это по ее милости вам пришлось за поздним временем посетить мою лачугу. Что касается нынешнего утра, то уж тут я должен быть признателен вам — я и все эти знатные люди, которые вас обступили; ну, а если вы находите приличным не соизволить откушать с ними, то это дело ваше".

Саладину и его спутникам ничего иного не оставалось, как спешиться, знатные люди радостно приветствовали их и провели в отведенные для них роскошные покои. Сняв с себя дорожное платье и немного отдохнув, чужеземцы проследовали в столовую, поражавшую дивным своим убранством. Слуги принесли воды для мытья рук; затем все сели за стол, изящно и богато сервированный, и начался пир: одно отменное кушанье сменяло другое, — словом, если бы мессера Торелло посетил император, то и ему невозможно было бы оказать большего почета. И хотя Саладин и его спутники были важные господа и привыкли к сказочной роскоши, со всем тем и они много дивились; приняв в соображение, что их хозяин — не вельможа, но обыкновенный гражданин, они считали, что это верх гостеприимства. По окончании трапезы, когда уже убрали со стола, хозяин и гости поговорили о том о сем, а так как стояла сильная жара, то павийские дво-

ряне с дозволения мессера Торелло пошли отдохнуть, мессер же Торелло преследовал с тремя приезжими в другую комнату и, желая им показать все, что было у него самого дорогого, послал за своей славной женой. Жена, пригожая, статная, нарядная, ввела за руки двух своих сыновей, двух ангелочков, и приветливо с гостями поздоровалась. При виде хозяйки гости встали, почтительно ответили на ее приветствие и, усадив ее, приласкали обоих красавчиков. Между хозяйкой и гостями завязалась приятная беседа, а когда мессер Торелло вышел, она в учтивейших выражениях осведомилась, откуда и куда они путь держат; знатные путешественники ответили ей то же, что и мессеру Торелло.

Хозяйка ласково взглянула на гостей и сказала: "Я вижу, что женская моя заботливость может вам пригодиться. Ну так вот, я прошу вас о большом одолжении: не откажитесь от скромного моего подарка, который сейчас сюда принесут, и не побрезгуйте им. Примите в рассуждение, что коли у женщин разум невелик, то и невеликих даров от них ожидать должно; так вот и я дарю вам не бог весть что, да зато – от чистого сердца". И тут по ее приказанию каждому гостю принесли два платья: одно – суконное, одно – подбитое беличьим мехом (такие платья носят господа, а не мещане и не купцы), шелковый камзол и шаровары. "Вот, возьмите, – сказала она. – У меня ведь и муж так же точно одевается. Что касается некоторых других вещей, то хотя ценность их невелика, однако они могут сослужить вам службу, особливо если принять в соображение, что жены ваши от вас далеко, что хоть и много вы уже проехали, но много еще осталось и что купцы – люди чистоплотные и изнеженные".

Знатные гости не могли надивиться тому, что мессер Торелло в своей заботе о них постарался не упустить ни единой мелочи; удостоверившись, что это одеяние – для бар, а не для купцов, они невольно подумали, что мессер Торелло узнал их. Со всем тем один из Саладиновых спутников обратился к хозяйке с такими словами: "Госпожа! Это дары богатейшие, мы бы их не приняли, если б не ваши просьбы, на которые мы не в состоянии ответить отказом".

В это время вернулся мессер Торелло; жена его, пожелав гостям счастливого пути, простилась с ними и пошла оделять их слуг тем, что им приличествовало. Мессер Торелло упросил путешественников еще погостить у него. Путешественники поспали, затем, нарядившись в дареное платье, вместе с мессером Торелло прокатились верхами по городу, а вечером отлично поужинали в обществе почетных гостей.

В положенное время путешественники легли спать, а поутру, когда они встали, вместо их заморенных кляч им подвели трех красивых, могучих коней; слугам также подарили свежих, выносливых лошадей. Тут Саладин обратился к своим спутникам и сказал: "Клянусь богом, свет еще не видел такого прекрасного, такого любезного, такого услужливого человека! Если христианские короли так же хороши, как наш хозяин, то султан Вавилонский не справится и с одним, и не то что со всеми королями, которые, как видно, собираются на него ударить!" Отказываться было неудобно; путешественники сердечно поблагодарили хозяина и сели на дареных коней.

Мессер Торелло с друзьями изъявили желание непременно проводить их, и уже когда они отъехали на значительное расстояние от города, Саладин, несмотря на то что ему не хотелось расставаться с мессером Торелло, ибо он успел полюбить его, сказал, что он торопится и что пора им распрощаться; мессер же Торелло скрепя сердце сказал: "Коли вам так угодно, синьоры, я с вами прощусь, однако же позвольте сказать вам: я не знаю, кто вы такие, да и не хочу знать больше того, что вы сами почли за нужное мне о себе сообщить, но только я никогда не поверю, что вы – купцы. Поезжайте с богом!"

На это Саладин, уже простившийся со спутниками мессера Торелло, ответил так: "У нас еще будет случай показать вам, мессер, наш товар, и тогда вы нам поверите. Поезжайте с богом домой!"

Уехал Саладин со страстным желанием, если только он уцелеет, если его не убьют на войне, воздать мессеру Торелло не меньшие почести, чем те, с какими мессер Торелло

принял его. И много еще было разговоров у Саладина со спутниками о мессере Торелло, о его жене, о его деяниях и благодеяниях, и всё никак не могли они им нахвалиться. Объехав с великими трудностями весь Запад и получив нужные ему сведения, Саладин сел на корабль; когда же он возвратился со своими спутниками в Александрию, то стал готовиться к обороне. А мессер Торелло, возвратившись в Павию, долго думал, кто бы могли быть эти трое, но в предположениях своих был куда как далек от истины.

Когда же был объявлен крестовый поход и всюду начались деятельные к нему приготовления, мессер Торелло, невзирая на мольбы и слезы жены, также решился непременно принять в нем участие. Покончив со сборами, он, прежде чем сесть на коня, сказал своей горячо любимой супруге: "Ты знаешь, жена, что я отправляюсь в поход не только ради славы, но и для спасения души. Веди все дела и блюди честь нашего дома. В том. что я еду в поход, я совершенно уверен, а вот в том, что я ворочусь, у меня никакой уверенности нет, – мало ли что со мной может случиться! – и потому я хочу вот о чем тебя попросить: если ты не будешь получать обо мне достоверных сведений, то все-таки жди меня и не выходи вторично замуж в течение одного года, одного месяца и одного дня, считая со дня моего отъезда".

Жена, горько плача, сказала ему на это: "Не знаю, мессер Торелло, как я перенесу разлуку с вами, но если у меня все же хватит сил выдержать, то, что бы с вами ни случилось, вы можете спокойно жить и спокойно умереть – в полной уверенности, что я и умру женою мессера Торелло, что я до конца моих дней пребуду верна его памяти".

На это ей мессер Торелло ответил так: "Я нимало не сомневаюсь, жена, что, если это будет зависеть только от тебя, ты свое слово сдержишь, но ведь ты молода, хороша собой, благородного происхождения, у тебя много достоинств, и все об этом знают; поэтому я могу ручаться, что если я пропаду без вести, то многие высокие особы, многие знатные люди станут просить твоей руки у твоих братьев и других сродников, а от назойливых женихов ты

при всем желании не сможешь отбиться и волей-неволей уступишь. Вот почему я даю тебе столь короткий срок".

"Я всеми силами постараюсь выполнить свое обещание, – молвила жена. – Если же мне придется поступить иначе, то вашу волю я, во всяком случае, соблюду. Молю бога, однако ж, чтобы он и меня и вас избавил от бед".

Тут жена мессера Торелло, рыдая, обняла супруга и, сняв с пальца кольцо, отдала ему. "Если я умру раньше, – сказала она, – то, глядя на кольцо, вспоминайте обо мне".

Мессер Торелло взял кольцо, сел на коня и, попрощавшись со всеми, уехал. Прибыв со своими спутниками в Геную, он сел на галеру и, приехав немного погодя в Акру, стал в ряды христианского войска. Но тут как раз в войске начались повальные болезни, люди умирали один за другим; была ли то просто удача Саладина, или же то были его козни, но только поветрие продолжалось долго, а почти всех, кто уцелел, взяли без боя в плен, распределили по разным городам и заточили в темницы. Мессера Торелло также захватили в плен и посадили в александрийскую тюрьму. Никто его здесь не знал, да он и не хотел, чтобы его узнали; в силу необходимости он занялся приручением птиц, на что он был великим искусником, и это стало известно Саладину, – Саладин приказал освободить его и взял к себе в качестве сокольничего. Саладин звал мессера Торелло не иначе, как "Христианин", и оба друг друга не узнавали; мессер Торелло все время был душой в Павии и делал несколько попыток к бегству, но кончались эти попытки неудачей. И вот, когда некие генуэзцы, приезжавшие к Саладину для переговоров о выкупе своих сограждан, уже собирались в обратный путь, мессер Торелло решился написать жене, что он жив, что он постарается скоро вернуться и чтобы она его ждала. Так именно он и поступил и обратился к одному из послов, своему знакомому, с покорной просьбой передать письмо аббату из храма Сан Пьетро ин Чьель д'Оро, который доводился ему дядей.

В остальном все у мессера Торелло шло по-старому до тех пор, пока однажды Саладин не разговорился с ним о птицах;

тут мессер Торелло улыбнулся, а когда он улыбался, то губы у него складывались по-особенному, на что Саладин обратил внимание, еще когда гостил у него в Павии. И вот это движение губ напомнило Саладину мессера Торелло; он стал в него вглядываться и в конце концов уверился, что это мессер Торелло и есть. Оборвав разговор, он задал ему вопрос: "Скажи мне, Христианин: из какой ты страны Запада?"

"Я, государь, ломбардец, из города Павии, – отвечал мессер Торелло, – человек я бедный, низкого звания".

При этих словах сомнения Саладина почти рассеялись. "Господь предоставляет мне возможность доказать, как я благодарен этому человеку за гостеприимство", – с радостью подумал он и, не предуведомив мессера Торелло, приказал разложить в другой комнате все свои одежды, а затем привел его в эту комнату и сказал: "Посмотри, Христианин: нет ли среди этих платьев хотя бы одного, тебе знакомого?"

Мессер Торелло принялся рассматривать одежды и обнаружил среди них те, что жена его подарила Саладину, но все-таки он был не совсем в этом уверен и потому ответил так: "Нет, государь, ни одного знакомого мне одеяния я тут не нахожу. Впрочем, два платья напоминают те, что были когда-то на мне и на трех купцах, которые у меня останавливались".

Тут Саладин не утерпел. "Вы – мессер Торелло ди Стра, – ласково обняв его, сказал он, – а я – один из трех купцов, которым ваша супруга подарила эти одежды. Наконец-то мне представляется случай уверить вас и показать свой товар, о чем я вам говорил при прощании".

Мессер Торелло обрадовался, но и устыдился; радовался он тому, что принимал тогда у себя столь высокого гостя, устыдился же при мысли, что оказал ему слишком скромный прием. "Мессер Торелло! – снова заговорил Саладин. – Сам бог послал вас ко мне; знайте же, что отныне не я, а вы здесь хозяин".

Оба несказанно обрадовались; Саладин приказал облечь мессера Торелло в царские одежды, затем повел его к своим приближенным и, расхвалив его, потребовал, чтобы все, под страхом оказаться у султана в немилости, воздава-

ли мессеру Торелло почести, подобающие самому султану, и с того дня так все и делали, но особенно внимательны были к нему два Саладиновых спутника, некогда у него гостившие. Великий почет, каким неожиданно стал пользоваться мессер Торелло, отвлек его думы от Ломбардии; притом он был совершенно уверен, что письмо его дошло до дяди.

В тот день, когда христианское воинство попало в плен к Саладину, скончался и был похоронен некий ничем особенно не примечательный рыцарь из Прованса, по имени мессер Торелло де Динь; вот почему каждый, услыхав, что мессер Торелло скончался, невольно думал, что это не Динь, а мессер Торелло ди Стра, – столь широко был он известен своим благородством, а так как мессер Торелло ди Стра попал в плен, то разубедить убежденных в том, что он умер, не было никакой возможности. Многие итальянцы принесли эту весть на родину; среди них нашлись наглецы, которые осмеливались утверждать, что видели его мертвым и присутствовали при погребении. Весть о том дошла до его супруги и до всей его родни, и то было великое и глубокое для них горе, да и не только для них: мессера Торелло жалели все, кто его знал. Долго было бы описывать, сколь сильны и люты были скорбь, кручина и душевные муки его супруги; со всем тем, после нескольких месяцев беспрерывных страданий, она уже не так горько оплакивала утрату мужа, и тут к ней начали свататься ломбардские высокопоставленные лица, братья же и другие сродники уговаривали ее выйти замуж за другого. Домогательства эти вызывали у нее потоки слез, многим она отказала, но в конце концов ей пришлось уступить родне, с тем, однако, условием, что она будет ждать мессера Торелло столько, сколько она ему обещала.

Так обстояли дела в Павии; оставалась всего какая-нибудь неделя до окончания обета, данного супругой мессера Торелло, а в это время в Александрии мессер Торелло случайно встретил человека, который не так давно вместе с послами садился при нем на галеру, отходившую в Геную. Он окликнул его и спросил, благополучно ли они доехали и когда прибыли в Геную, а тот ему ответил так: “Ах, госу-

дарь мой! Галера потерпела крушение. Я сошел с нее на острове Крите, и потом уже до меня дошли вести, что, когда галера была в виду берегов Сицилии, бешено задула трамонтана, и галеру понесло прямо на берберийские отмели; никто не спасся; там погибли два моих брата".

Мессер Торелло не мог не поверить правдивому этому сообщению; вспомнив, что срок, который он дал жене, спустя несколько дней истекает, и приняв в рассуждение, что в Павии ничего о нем не известно, он основался в мысли, что жена его, уж верно, вышла замуж вторично. И так он после этой встречи загрустил, что потерял аппетит и в чаянии близкой смерти слег. Услышав об этом, душевно к нему расположенный Саладин посетил его; он долго допытывался, какова причина скорби его и болезни, а когда узнал, то осыпал его упреками, зачем он раньше ничего ему не сказал, постарался успокоить его, пообещал, что если мессер Торелло будет его слушаться, то еще до истечения срока попадет в Павию, и тут же объяснил, каким образом. Мессер Торелло поверил Саладину; ему часто приходилось слышать, что это возможно и что такие опыты делались уже не раз, а потому он воспрянул духом и попросил Саладина с этим не мешкать. Саладин повелел одному из своих некромантов, коего искусство он уже испытал, ночью перенести мессера Торелло на постели в Павию; некромант сказал, что все будет исполнено, но что мессера Торелло для его же блага придется усыпить.

После разговора с некромантом Саладин вернулся к мессеру Торелло и, удостоверившись, что тот проникнут непреклонною решимостью или быть к назначенному сроку в Павии, или же умереть, обратился к нему с такими словами: "Мессер Торелло! Раз вы столь пламенно любите вашу супругу и опасаетесь, как бы она не вышла замуж, то – да будет мне свидетелем всевышний – я не могу вас за это осуждать, так как из всех женщин, каких я когда-либо видел, она, по моему разумению, заслуживает наибольших славословий и восхвалений; не будем говорить о ее красоте, – красота – цветок недолговечный, – но ее нрав и обычай, ее

обхождение и поведение безукоризненны. Раз уж судьба занесла вас сюда, то я был бы счастлив прожить вместе то время, какое нам с вами отпущено, и на равных правах управлять моею страною. Но раз нет на то воли божьей, ибо вы непреклонны в своем решении оказаться к сроку в Павии или же умереть, я бы очень хотел заранее приготовиться к вашему отъезду, дабы вы возвратились к себе домой с теми почестями, с тем торжеством и с тою свитою, каких доблесть ваша заслуживает. Коль же скоро я лишен и этой возможности, коль скоро вы непременно хотите быть там к известному сроку, то я постараюсь доставить вас туда тем способом, о котором мы с вами уже говорили".

На это мессер Торелло ответил так: "Вы не на словах, а на деле доказали мне свое благоволение, – такого необычайного благоволения я не заслужил, и если бы даже вы мне сейчас ничего не сказали, все равно мое доверие к вам умерло бы только вместе со мною. Но раз уж я решился отбыть, сделайте милость – исполните обещанное возможно скорее, ибо завтра – последний день".

Саладин уверил его, что все готово и никакой задержки ожидать не должно. На другой день Саладин, рассчитывавший отправить мессера Торелло в следующую же ночь, приказал устроить для него в большой зале пышное и богатое ложе; того ради туда принесли матрацы, – по обычаю той страны, из бархата и золотой парчи, – одеяло, расшитое крупным жемчугом и самоцветными каменьями, которые тут у нас были чрезвычайно высоко оценены, и две подушки, соответствовавшие роскошному виду этого ложа. Затем Саладин велел надеть на уже окрепшего мессера Торелло сарацинское платье, такое пышное и нарядное, какого еще не видывал свет, голову же ему повязали, как у них принято, тюрбаном. Час был уже поздний, когда Саладин с толпой приближенных вошел в комнату, где находился мессер Торелло, и, сев рядом с ним, дрожащим от сдерживаемых рыданий голосом заговорил: "Мессер Торелло! Близок час, когда мы с вами расстанемся, и так как у меня нет возможности ни сопровождать вас, ни дать вам кого-либо в сопровождаю-

щие, ибо этого не допускает способ предстоящего вам путешествия, то я пришел с вами проститься. Прежде чем призвать на вас благословение божие, я хочу обратиться к вам с просьбой: ради нашей с вами любви и дружбы не забывайте меня. И еще: приведите в порядок свои дела в Ломбардии и, пока течение наших дней не окончилось, хоть раз выберите время со мной повидаться: то-то вы меня обрадуете, а потом, я хоть тогда смогу исправить мою вынужденную неучтивость, вызванную тем, что вы очень спешите. Ну, а до тех пор не почтите за труд подавать о себе весточку, и о чем бы вам ни благоугодно было попросить меня в письмах, я все для вас сделаю гораздо охотнее, чем для кого-либо еще".

Мессер Торелло не мог удержаться от слез; слезы мешали ему говорить, и он в самых коротких словах ответил Саладину, что никогда не забудет его благодеяний и доброты и что если век его, Торелло, продлится, то он непременно исполнит его просьбу. Саладин ласково обнял мессера Торелло, расцеловал, разрыдался и, вымолвив: "Поезжайте с богом", – вышел из комнаты; после Саладина с мессером Торелло простились придворные и, следом за Саладином, прошли в ту залу, где для мессера Торелло приготовили ложе. Было уже поздно; некромант с нетерпением ждал, когда кончится прощание, и как скоро Саладин и придворные удалились, в ту же минуту по знаку некроманта явился лекарь с напитком и, уверив мессера Торелло, что это укрепляющее средство, дал ему выпить, и мессер Торелло скоро уснул. Саладин, распорядившись, чтобы его, спящего, отнесли на роскошное ложе, положил на эту кровать большой, красивый, драгоценный венец, и по надписи на венце все догадались, что это его подарок жене мессера Торелло. Потом он надел мессеру Торелло на палец перстень, в который был вделан карбункул, до того ярко сверкавший, что казалось, будто в зале зажгли факел; стоимость же его с трудом поддавалась определению. Далее он приказал опоясать его мечом, коего украшения не так-то легко было бы оценить, спереди приколоть ему застежку, усыпанную невиданной красоты жемчужинами и множеством других

драгоценных камней, справа и слева поставить два больших золотых сосуда, наполненных дублонами, а вокруг положить низки жемчуга, перстни, пояса и прочее тому подобное – всего не перечислишь. Когда все это было сделано, Саладин еще раз поцеловал мессера Торелло и сказал некроманту, что теперь пора. И тут ложе вместе с мессером Торелло исчезло, а Саладин и его приближенные, сидя в зале, долго еще беседовали о мессере Торелло.

А мессер Торелло со всеми драгоценностями и украшениями, сонный, очутился, согласно его просьбе, в павийском храме Сан Пьетро ин Чьель д'Оро, как раз когда зазвонили к утрене и в храм вошел со свечою в руке пономарь. Увидев богато убранное ложе, пономарь, мало сказать, изумился – он перепугался насмерть и бросился вон из храма. Аббат и монахи дались диву и спросили пономаря, что с ним. Пономарь все им рассказал.

"Эх ты! – молвил аббат. – Ведь ты уже не мальчик и не новичок, а трусишь невесть чего. Ну, пойдем посмотрим, кто это тебя так напугал".

Аббат и монахи зажгли свечи и, войдя в храм, увидели дивное нарядное ложе, а на нем – спящего рыцаря. Не приближаясь к ложу, они, в нерешимости и страхе, все еще любовались дорогими вещами, но в это время снадобье перестало действовать, и мессер Торелло, пробудившись, глубоко вздохнул. Тут и монахи и аббат с воплями: "Господи, помилуй!" – в ужасе бросились бежать. Мессер Торелло открыл глаза и, оглядевшись по сторонам и удостоверившись, что находится именно там, куда он и просил Саладина его доставить, возвеселился духом. Он приподнялся, сел и осмотрел свое ложе, и хотя щедрость Саладина была ему давно известна, со всем тем она оказалась еще выше, чем он думал, – перед ним было очевидное тому доказательство. Слыша, однако ж, что монахи бегут, и понимая, по какой причине, мессер Торелло, не вставая с постели, назвал аббата по имени и крикнул вдогонку, что бояться нечего, – его, мол, кличет племянник Торелло. Аббата это еще больше напугало – ведь ему было известно, что Торелло умер

назад тому несколько месяцев, однако ж голос был явно знакомый, и так как мессер Торелло продолжал его звать, аббат осенил себя крестным знамением и вошел в храм.

"Отец мой, чего вы боитесь? – молвил мессер Торелло. – Я, слава тебе, господи, жив, только что возвратился из-за моря".

У мессера Торелло отросла длинная борода, одежда на нем была арабская, и все же аббат узнал его, хотя и не сразу; и вот, когда у него не осталось уже и тени сомнения, он взял мессера Торелло за руку и сказал: "Добро пожаловать, сын мой! Не удивляйся, что мы испугались: весь город совершенно уверен, что тебя нет в живых, более того: на твою жену, донну Адалиэту, в конце концов подействовали просьбы и угрозы родных, и она не по доброй воле второй раз выходит замуж. Нынче утром она должна быть у своего мужа – для свадебного торжества все уже готово".

Мессер Торелло встал со своего богато убранного ложа и, радостно приветствовав аббата и монахов, попросил их до тех пор, пока он не сделает одного дела, никому не говорить, что он возвратился. Отдав драгоценности на хранение аббату, мессер Торелло поведал ему все свои приключения. Аббат порадовался, что все так благополучно кончилось, и вместе с мессером Торелло возблагодарил бога. Затем мессер Торелло спросил аббата, за кого Адалиэта выходит замуж. Аббат назвал имя жениха.

"Прежде чем мое возвращение станет известно, – сказал мессер Торелло, – я хочу посмотреть, как будет вести себя на свадьбе моя жена. Духовным особам не полагается ходить на пирушки, но уж вы ради меня похлопочите, чтобы нас с вами туда пригласили".

Аббат охотно за это взялся. Он послал сказать молодому, что он и его приятель хотят быть на свадьбе; тот отвечал, что они доставят ему этим большое удовольствие. В обеденный час мессер Торелло, не переменив одеяния, пошел с аббатом к новобрачному, и все взирали на него с изумлением, но не узнавали, аббат же объяснял, что это сарацин, которого султан отправил с посольством к французскому королю.

Усадили мессера Торелло как раз напротив его жены; он смотрел на нее с обожанием, и по выражению ее лица ему было ясно, что свадьба ей не по душе. Она также, привлеченная необычностью его одеяния, время от времени на него поглядывала, но не узнавала – так изменили его наружность длинная борода и диковинный наряд, а кроме того, у нее не оставалось никаких сомнений, что его нет в живых.

Наконец мессер Торелло решил, что пора удостовериться, помнит ли она его, и того ради снял с руки кольцо, которое она подарила ему перед разлукой, и, позвав прислуживавшего ей мальчика, сказал: "Передай от меня молодой, что на моей родине существует обычай: когда какой-нибудь чужестранец пирует у новобрачной, как вот я у нее, она в знак того, что его присутствие на брачном пиру доставляет ей удовольствие, посылает ему полный кубок вина – тот, из которого пьет сама; когда же чужестранец отопьет, сколько захочет, и прикроет кубок, то остатки выпивает молодая".

Мальчик выполнил его поручение; донна Адалиэта, женщина благовоспитанная и рассудительная, думая, что чужестранец – особа важная, и желая показать, что его присутствие на свадьбе ей приятно, велела налить вином доверху стоявший перед нею большой золоченый кубок и поднести почетному гостю, что и было исполнено. Мессер Торелло положил ее кольцо себе в рот, а когда пил вино, то незаметно опустил его в кубок, вина оставил на донышке, кубок же прикрыл и послал молодой. Желая до конца соблюсти иноземный обычай, молодая открыла крышку и, поднеся кубок ко рту и обнаружив кольцо, молча принялась рассматривать его и вскоре убедилась, что это то самое кольцо, которое она подарила мессеру Торелло перед его отъездом; вынув кольцо, она устремила пристальный взор на человека, которого принимала доселе за чужеземца, и, наконец узнав его, как бы в припадке умоисступления опрокинула стол и с криком: "Вот мой господин! Это же мессер Торелло!" – бросилась к тому столу, за которым сидел он, и, не боясь помять или же испачкать платья, перегнулась через стол и обвила руками шею мессера Торелло так крепко, что уже ничьи уго-

воры и попытки оторвать ее от мессера Торелло не оказывали на нее ни малейшего действия, пока мессер Торелло не сказал ей, чтобы она не безумствовала — у нее, мол, еще будет время обнять его, — только после этого донна Адалиэта отпустила мужа. Все пришли в смятение, а иные были счастливы, что снова видят перед собой столь славного рыцаря, и тут мессер Торелло, попросив внимания, поведал все свои приключения, начиная со дня отъезда и кончая сегодняшним днем, присовокупив, что тому достойному человеку, который, полагая, что мессер Торелло умер, женился на его жене, не должно быть обидно, если он, мессер Торелло, уведет ее к себе, раз он остался жив. Новобрачному это не могло быть приятно, однако же ответил он без обиняков и в дружественном тоне, что мессер Торелло волен поступить, как ему вздумается, ибо жена должна принадлежать мужу. Донна Адалиэта отдала ему его дары — кольцо и венец и вместо них надела кольцо, которое она вынула из кубка, и венец, который ей прислал султан. После этого она и мессер Торелло торжественно, как подобает новобрачным, пошли к себе домой, и долгий и веселый пир, который устроил мессер Торелло, утешил его родных, друзей и сограждан, — между тем все это время они были безутешны, да и сейчас еще смотрели на мессера Торелло как на воскресшего из мертвых. Мессер Торелло раздал часть своих драгоценностей жениху, потратившемуся на свадьбу, аббату и многим другим, через нескольких гонцов уведомил Саладина о том, что он, друг его и слуга, благополучно прибыл на родину, и, выказывая еще большую щедрость, чем прежде, долго после этого жил-поживал с добродетельною своею супругой.

Таков был конец злоключений мессера Торелло и его славной подруги жизни, так они оба были вознаграждены за добрые дела, которые они столь весело и столь охотно делали. Многие тщатся творить добро, но даже имеющие для этого возможность поступают не всегда ладно: они еще ничего не сделали, а уже требуют благодарности; пусть же ни они сами, ни все прочие не удивляются, что добрые их дела остаются невознагражденными.

10

Подданные уговаривают маркиза Салуццкого жениться; маркиз объявив, что сыщет себе невесту сам, женится на дочери крестьянина; она родила ему двух детей; маркиз заставляет ее думать, что он убил их; потом он объявляет ей, что она ему надоела и что он женится на другой, и она в одной сорочке от него уходит; маркиз посылает за своей дочерью и всем говорит, что это его невеста; наконец он убеждается, что жена его все терпит; она ему теперь еще дороже, чем прежде, он призывает ее к себе и, показав выросших за это время детей, сам воздает и другим повелевает воздавать ей почести, подобающие маркизе

Когда король окончил свой рассказ, по-видимому произведший на всех приятное впечатление, Дионео со смехом сказал:

– Как бы вы ни расхваливали мессера Торелло, а все-таки он в подметки не годится тому доброму человеку, который в ночную пору сошел за привидение с поднятым хвостом.

Кроме Дионео, рассказывать больше было некому, и он начал так:

– Незлобивые дамы! Если не ошибаюсь, сегодня все рассказывали о королях, султанах и прочих высокопоставлен-

ных лицах. Я тоже не хочу ударить лицом в грязь и расскажу про одного маркиза, поступившего, однако ж, не великодушно, а донельзя глупо, хотя все кончилось благополучно. Но только подражать ему я не советую, ибо благополучный исход его сумасбродства – это величайшая несправедливость судьбы.

В давно прошедшие времена старшим в роде маркизов Салуццких оказался юный Гвальтьери, неженатый, бездетный, целыми днями охотившийся на птиц и зверей, жениться и обзаводиться детьми не собиравшийся, в чем сказывался его недюжинный ум. Однако ж подданным это не нравилось, и они уговаривали его жениться, дабы ему не остаться без наследника, а им без правителя, и вызывались сыскать ему такую хорошую невесту, из такой хорошей семьи, что ему нечего было бы опасаться за свое будущее.

А Гвальтьери им на это возражал: "Друзья мои! Вы принуждаете меня решиться на такой шаг, который по своей доброй воле я ни за что бы не сделал: я же знаю, как трудно сыскать жену сходного нрава, знаю, как много на свете женщин, которые мне совсем не пара, и как тяжко приходится мужчине, сделавшему неудачный выбор. Вы утверждаете, что по нраву родителей можно безошибочно судить о нраве дочери, и отсюда делаете вывод, что подыщете невесту, которая пришлась бы мне по душе, но это вздор: мне невдомек, как вам удастся узнать отца или же выведать тайны матери, но если бы даже все про отца и мать вам было известно, дочери часто бывают совсем не похожи на своих родителей. Впрочем, раз вы непременно хотите наложить на меня эти цепи, то я вам перечить не стану, с условием, однако ж, что невесту сыщу я сам, чтобы в случае, если дело примет скверный оборот, я пенял на себя, и еще я вас упреждаю, что, кого бы я ни взял, вы обязаны почитать ее как свою госпожу, а иначе я вымещу на вас тяготу вынужденного моего брака". Добрые люди ответили, что пойдут на все условия, только бы он женился.

Гвальтьери уже давно пленился благонравием одной бедной девушки из ближней деревни; притом она была хоро-

ша собой, и Гвальтьери рассудил, что с нею он будет счастлив. Приняв в соображение, что от добра добра не ищут, он порешил на ней жениться и, послав за ее отцом, бедняком из бедняков, обо всем с ним уговорился.

После этого Гвальтьери созвал со всей округи друзей и объявил им: "Друзья мои! Вы все время настаивали на том, чтобы я женился, – ну так вот, я женюсь, но не потому, чтобы мне этого уж так хотелось, а чтобы угодить вам. Помните, что вы мне обещали? Удовольствоваться тою, кого я возьму, и почитать ее как свою госпожу. Я свое слово сдержал, сдержите же и вы свое. Совсем близко отсюда я нашел девушку, которая пришлась мне по нраву, – я на ней женюсь и введу ее к себе в дом. Позаботьтесь же, чтобы свадьба была отпразднована как можно торжественнее и чтобы жене моей был оказан почетный прием, – словом, чтобы и вы и я остались довольны".

Добрые люди обрадовались и все в один голос сказали, что они довольны и что, кто бы ни была его супруга, они примут ее как свою госпожу и как госпожу будут ее чтить и в дальнейшем. После этого все, в том числе сам Гвальтьери, занялись приготовлениями к роскошному, богатому и веселому пиру. Гвальтьери сказал, что свадьба должна быть богатейшей и роскошной, и велел созвать на нее великое множество родных, друзей, знатных и незнатных соседей. А еще он велел скроить и сшить много красивых и дорогих платьев по мерке, снятой с одной девушки, у которой была, по его мнению, такая же точно фигура, как у его невесты; помимо платьев, он велел приготовить пояса, кольца, дорогой и красивый венец, – словом, все, что нужно для новобрачной.

В день свадьбы, в семь часов утра, Гвальтьери и все его гости сели на коней. Отдав необходимые распоряжения, он сказал: "Синьоры! Пора ехать за невестой". Все тронули поводья и поехали в деревушку. Подъезжая к дому невесты, Гвальтьери ее встретил – она ходила за водой и теперь быстрым шагом возвращалась: ей хотелось вместе с другими поселянками посмотреть на невесту Гвальтьери, а Гвальтьери, назвав ее по имени, то есть Гризельдой, спро-

сил, где ее отец, на что она, застыдившись, ответила: “Дома, господин”.

Гвальтьери спешился и, сказав спутникам своим, чтобы они его подождали, вошел в убогую лачугу и обратился к хозяину, которого звали Джанну́коле, с такими словами: “Я приехал за Гризельдой; прежде, однако ж, мне нужно коечто сказать ей в твоем присутствии”. И тут Гвальтьери объявил ей свою волю: если, мол, он на ней женится, ей придется во всем угождать ему; что бы он ни сказал и как бы ни поступил – она не должна на него гневаться, она обязуется быть ему послушной, и все в этом роде, и спросил, согласна ли она; Гризельда же ответила ему полным согласием. Тогда Гвальтьери вывел ее за руку из дому, приказал в присутствии всех его спутников и при всем народе раздеть ее донага, потом – как можно скорее одеть и обуть во все новое, им заказанное, а на растрепанные ее волосы возложить венец. Когда же все выразили удивление, он сказал: “Синьоры! Если эта девушка ничего против меня не имеет, то я на ней женюсь”. Тут Гвальтьери обратился к растерявшейся и смущенной Гризельде и спросил: “Гризельда! Хочешь быть моею женою?”

“Хочу, господин”, – отвечала Гризельда.

“А я хочу быть твоим мужем”, – молвил Гвальтьери. Повенчавшись с Гризельдой при большом стечении народа, он посадил ее на доброго коня и с честью доставил в замок. Начался роскошный и богатый пир; торжество было такое, как будто Гвальтьери взял за себя дочь французского короля.

Казалось, новобрачная вместе с одеждой сменила и душу и нрав свой. Я уже сказал, что она была красива и стройна, а теперь к ее красоте прибавились и другие качества: она стала до того обаятельна, очаровательна и учтива, что, глядя на нее, можно было подумать, будто она никогда раньше не пасла овец и была дочерью не Джаннуколе, а какого-нибудь важного господина, чем приводила в изумление всех, кто знал Гризельду до ее замужества. Помимо всего прочего, она была до того послушна и до того предупредительна к мужу, что он был счастлив и доволен; с подданными же

его она была так ласкова и милосердна, что все ее боготворили, служили ей не за страх, а за совесть, молились о ее счастье, благополучии и процветании, и если прежде про Гвальтьери говорили, что он поступил неблагоразумно, женившись на ней, то теперь все признавали его за благоразумнейшего и проницательнейшего человека на свете, потому что никто, мол, на его месте не углядел бы под убогим рубищем, под крестьянской одеждой столь высокие добродетели. Словом сказать, не только в маркизате, но и всюду за его пределами все теперь восхищались ее достоинствами и ее поведением, и уже не корили, но одобряли Гвальтьери за то, что он вступил с нею в брак. Гризельда вскорости затяжелела и в срок родила девочку, по каковому случаю Гвальтьери устроил великое торжество.

Вскоре, однако ж, Гвальтьери пришла в голову странная мысль: испытать терпение Гризельды путем долговременной и мучительной для нее проверки; начал же он с попреков; притворившись недовольным, он сказал ей, что его приближенные возмущены: у него, мол, жена простого звания, а тут еще пошли дети, и родила-то она не сына, а дочь: это-де очень их огорчило, и они ропщут. Гризельда не изменилась в лице и ни одним движением чувства не дала понять, что отказывается от своего первоначального благого намерения. “Поступай со мной, повелитель мой, так, — молвила она, — как, по твоему разумению, того требуют честь твоя и благополучие, я же всем буду довольна; я знаю, что я им неровня и что я не заслуживаю той чести, которой ты по доброте своей меня удостоил”. Ответ жены произвел на Гвальтьери благоприятнейшее впечатление, ибо он удостоверился, что та честь, которую воздавали Гризельде и он, и все прочие, не вскружила ей голову.

Со всем тем несколько дней спустя Гвальтьери намекнул ей, что его приближенные терпеть не могут ее дочку, а затем подослал к ней слугу, и тот сам не свой объявил ей: “Госпожа! Мне моя жизнь дорога, а потому я не могу не исполнить приказ моего господина. Он велел мне взять вашу дочку и...” Слуга не договорил.

Услышав эти слова, посмотрев слуге в лицо и вспомнив, что говорил ей муж, Гризельда догадалась, что слуге приказано умертвить девочку. Быстрым движением вынув дочку из колыбели, она ее поцеловала, благословила, и хотя душа у нее была растерзана, она, не дрогнув, передала дочку с рук на руки слуге. “Возьми ее, – сказала Гризельда, – и в точности исполни все, что тебе повелел твой и мой господин, но только не оставляй ее на съедение зверям и птицам, если, впрочем, ты не получил от него особого распоряжения”. Взяв девочку, слуга пошел к Гвальтьери и передал все, что говорила ему Гризельда, а Гвальтьери, подивившись твердости ее духа, отправил слугу с младенцем в Болонью к своей родственнице; родственницу эту он просил, никому не открывая, чья это дочь, не пожалеть трудов на то, чтобы вырастить ее и воспитать.

Вскоре после этого Гризельда опять затяжелела и в срок родила сына, чем Гвальтьери был безмерно счастлив. Но ему, как видно, было недостаточно первого испытания, и он нанес жене еще более глубокую рану. Однажды он с сердитым видом сказал ей: “Жена! После того как ты родила сына, с подданными моими нет никакого сладу: их убивает одна мысль, что после меня правителем у них будет внук Джаннуколе. Боюсь, как бы мне не пришлось сначала прибегнуть к тому же, к чему я однажды уже прибегнул, а потом бросить тебя и жениться на другой, иначе меня могут изгнать”.

Жена выслушала его спокойно и ответила так: “Только бы тебе было хорошо, мой повелитель, поступай как знаешь, а обо мне не беспокойся: ведь я только тобой и живу”.

Немного погодя Гвальтьери послал за сыном, как в свое время посылал за дочерью, снова обставил дело так, как будто он умертвил ребенка, а между тем отдал его на воспитание туда же, куда и дочь, то есть в Болонью. А Гризельда отдала сына так же безропотно, как отдала дочь, чему Гвальтьери немало дивился: он не мог себе представить, чтобы какая-нибудь другая женщина была на это способна. Если б он не знал, какая Гризельда любящая мать, – она проявляла эту свою любовь, пока он ей разрешал, – он, уж верно,

подумал бы, что она равнодушна к детям, однако ж поведение Гризельды явилось для него свидетельством ее мудрости. Подданные, думая, что он умертвил детей, осуждали его и упрекали в жестокости, а Гризельду очень жалели; между тем Гризельда, когда другие женщины сокрушались из-за гибели ее детей, неизменно отвечала, что она на это согласилась, потому что так угодно было их отцу.

Несколько лет спустя после того, как у них родилась дочь, Гвальтьери надумал в последний раз испытать терпение жены и того ради стал говорить направо и налево, что Гризельда ему опостылела, что женился он на ней по молодости лет, необдуманно, а потому будет добиваться от римского папы разрешения на второй брак, Гризельду же он, мол, намерен бросить, за что все добрые люди порицали его, но он отвечал одно: мол, быть по сему. До Гризельды эти разговоры дошли, и, представив себе, что ей, по всей вероятности, предстоит возвратиться в родительский дом и, по всей вероятности, опять пасти овец, а того, в ком полагала она все свое счастье, увидеть в объятиях другой женщины, она глубоко закручинилась, но решилась перенести и эту превратность судьбы с тою же твердостью, с какою переносила все, что ей выпадало на долю.

Некоторое время спустя Гвальтьери пришли из Рима подложные письма, и он всем и каждому их показывал, а в них говорилось, что папа разрешает ему расстаться с Гризельдой и жениться на другой. Наконец Гвальтьери за нею послал и при всех объявил: "Жена! Папа разрешил мне расстаться с тобою и жениться на другой. Предки мои были люди знатные, весь этот край был им подвластен, а твои предки – хлебопашцы, и больше я с тобой жить не хочу; забирай свое приданое и уходи к Джаннуколе, а я найду себе другую, более подходящую жену".

Гризельда, переборов женскую свою природу, с величайшим трудом удержалась от слез. "Я всегда помнила, мой повелитель, – заговорила она, – что я, низкого состояния женщина, не пара такому знатному человеку, как вы. За то, что я находилась при вас, в вашем замке, я должна благода-

рить бога и вас. То, что я получила в дар, я никогда не почитала и не признавала своим, – я говорила себе, что это дано мне на время. В любую минуту, когда бы вам ни пришла охота что-либо потребовать у меня обратно, я бы это с не меньшей охотой вам возвратила, и сейчас я вам все возвращу. Вот ваше кольцо – возьмите его. Вы велите мне забрать мое приданое. Для этой цели вам не придется посылать за своим казначеем, а мне не понадобятся ни кошелек, ни вьючная лошадь, – ведь я же прекрасно помню, что вы взяли меня в чем мать родила. Если вы почтете приличным, чтобы все увидели тело носившей зачатых от вас детей, я уйду от вас нагая, но все же я бы вот о чем вас попросила: дозвольте мне, не в счет приданого, а в награду за мою непорочность, которую я принесла вам в дар и которой мне уже не вернуть, надеть на себя хотя бы сорочку".

К горлу Гвальтьери подступили рыдания, но он, напустив на себя суровость, сказал: "Можешь надеть".

Все, кто при сем присутствовал, стали просить Гвальтьери выдать ей платье: негоже мол, той, которая на протяжении тринадцати с лишним лет была ему женою, у всех на глазах с таким позором, в одной сорочке, как нищая, уходить из его дома, однако ж Гвальтьери был неумолим, – жена его, в одной сорочке, босая и простоволосая, простилась со всеми и, выйдя из замка, пошла к отцу, а вслед ей неслись плач и рыдания. Джаннуколе, не веривший в прочность этого брачного союза и со дня на день ожидавший подобной развязки, сберег одежды, которые дочь его сняла с себя в то утро, когда Гвальтьери с ней обручился. Как скоро дочь к нему возвратилась, он ей эту одежду достал, Гризельда ее надела и, стойко перенося тяжкий удар злодейки судьбы, начала, как в былые времена, все делать по дому.

Между тем Гвальтьери распустил слух, будто он женится на дочери графа Панаго, и, приказав готовиться к великому торжеству, послал за Гризельдою. Она явилась, и он ей сказал: "Я собираюсь ввести к себе в дом мою невесту и готовлю ей торжественную встречу. Ты знаешь, что у меня в замке нет таких женщин, которые прибрали бы в комна-

тах, как подобает перед великим семейным празднеством, и позаботились бы о многом другом. Ты – бесподобная хозяйка, так вот ты и наведи порядок в доме, пригласи, по своему усмотрению, дам, прими их как подобает, а после свадьбы можешь идти домой".

Каждое слово Гвальтьери было для Гризельды как острый нож, ибо со своей участью она примирилась, а вытравить из сердца любовь так и не сумела. "Я все сделаю и все исполню, мой повелитель", – сказала Гризельда. И вот она, в платье грубого сукна войдя в тот дом, откуда недавно вышла в одной сорочке, принялась подметать и убирать в комнатах, распорядилась повесить ковры и положить подстилки, занялась стряпней, не погнушалась самой черной работой, как будто она была последняя служанка в доме, и только тогда позволила себе отдохнуть, когда все было приведено в надлежащее устройство и в надлежащий порядок.

Затем Гризельда в ожидании торжества от имени Гвальтьери созвала со всей округи дам. Когда же настал день свадьбы, Гризельда, несмотря на то что одета она была бедно, нашла в себе мужество встретить их, сохраняя собственное достоинство и с самым приветливым видом. Дети Гвальтьери получили отличное воспитание у его родственницы, вышедшей замуж за графа Панаго; дочери его, красавице писаной, исполнилось к тому времени двенадцать лет, а сыну – шесть; и вот Гвальтьери попросил своего болонского родственника вместе с дочерью его и сыном, с блестящей и почетной свитой пожаловать к нему в Салуццо; и еще Гвальтьери его попросил всем говорить, что он-де везет Гвальтьери невесту, и никому не сообщать, кто она. Граф исполнил просьбу маркиза; пустившись в дорогу, он несколько дней спустя вместе с девушкой, ее братом и почетной свитой прибыл к обеду в Салуццо – здесь невесту ожидала толпа сельчан и соседи Гвальтьери по имению. Дамы проводили ее в залу, где уже были накрыты столы, и тут ее радушно встретила скромно одетая Гризельда. "Добро пожаловать, государыня моя!" – сказала она. Дамы, неотступно, но тщетно просившие Гвальтьери дозволить Гризельде уйти в дру-

гую комнату либо дать ей на время какой-нибудь из бывших ее нарядов, а то, мол, неприлично ей в таком виде показаться гостям, сели за стол. Все разглядывали невесту и находили, что Гвальтьери сделал удачный обмен. Гризельде тоже очень понравились девушка и ее младший брат.

Наконец-то Гвальтьери достигнул, чего хотел: он познал на опыте, что терпение Гризельды неистощимо; удостоверясь, что сломить ее не удастся, понимая, что эта ее стойкость проистекает не от скудоумия, ибо рассудительность Гризельды была ему хорошо известна, отдавая себе отчет, что на душе у нее, уж верно, лежит печаль и что она только искусно скрывает ее под личиною хладнокровия, он решился сию же минуту снять с ее души это бремя. Того ради он подозвал ее и, улыбаясь, громко спросил: “Ну, как ты находишь невесту?”

“Мне она очень понравилась, мой повелитель, – отвечала Гризельда. – И если она так же умна, как и прекрасна, в чем я совершенно уверена, то, вне всякого сомнения, вы будете наисчастливейшим супругом. Но только я осмелюсь обратиться к вам с просьбой: если можно, не наносите ей ран, какие вы наносили вашей первой жене, – я не уверена, что она перенесет их: она моложе вашей первой жены и воспитана в неге, а та с малолетства привыкла к невзгодам”.

Гвальтьери, растроганный тем, что Гризельда нимало не сомневалась в его женитьбе на этой девушке и все же говорила о ней только хорошее, посадил Гризельду рядом с собой и сказал: “Теперь, Гризельда, пора тебе пожать плоды твоего долготерпения; тем же, кто почитал меня за человека жестокого, злого и бессердечного, да будет известно, что у меня была своя цель: я хотел научить тебя быть примерной женой, я хотел научить этих людей выбирать и беречь жену, я хотел обрести на все время нашей с тобою совместной жизни нерушимый душевный покой, а между тем, когда я на тебе женился, я очень боялся, что у меня не будет покоя, – оттого-то, дабы испытать тебя, я, как ты знаешь, и наносил тебе – одну за другой – раны и язвы. Но коль скоро ты никогда ничего не говорила и никогда не действовала

мне наперекор и коль скоро я постиг, что ты можешь составить мое счастье, я хочу сразу вернуть тебе все, что отнимал у тебя постепенно, и нежнейшей любовью залечить твои раны. Итак, возвеселись: мнимая моя невеста и брат ее — это наши с тобою дети, которых я будто бы предал лютой смерти, — так долгое время считала ты и многие другие, — а я — твой муж, и люблю я тебя больше всего на свете и, верно уж, могу похвалиться, что в целом мире нет человека, который был бы так доволен своею женою, как я".

Тут Гвальтьери обнял Гризельду, расцеловал, она заплакала от радости, затем оба встали, подошли к замершей от изумления дочке, ласково обняли и ее, и сына и тем самым покончили с заблуждением, в коем все присутствующие находились. Дамы, обрадовавшись, встали из-за стола и, пройдя с Гризельдой к ней в комнату, с еще большим восторгом, чем когда убирали ее к венцу, совлекли деревенский ее наряд, вместо него надели господский и торжественно, как госпожу (впрочем, госпожою казалась она и в отрепьях), снова вывели ее в залу. Гризельда не могла наглядеться на своих детей, все кругом радовались, веселье все росло и росло, празднество длилось несколько дней. Общее мнение было таково, что Гвальтьери человек умнейший, что испытания, коим он подверг супругу, жестоки и бесчеловечны, а что Гризельда еще умнее его. Граф Панаго спустя несколько дней возвратился в Болонью. Гвальтьери больше не позволил Джаннуколе хлебопашествовать и всем его обеспечил; с той поры Джаннуколе жил в почете и припеваючи, как подобает тестю маркиза, и умер в глубокой старости. А Гвальтьери приискал для своей дочери завидную партию; супругу же свою Гризельду он необычайно высоко чтил и жил с нею долго и счастливо.

Отсюда следствие, что и в убогих хижинах обитают небесные создания, зато в царских чертогах встречаются существа, коим больше подошло бы пасти свиней, нежели повелевать людьми. Кто еще, кроме Гризельды, мог бы не просто без слез, но и весело переносить неслыханные по жестокости испытания, коим Гвальтьери ее подверг? А

ведь ему было бы поделом, если б он напал на такую, которая, уйдя от него в одной сорочке, спозналась бы с другим и живо согрелась бы под чужим мехом.

Дионео окончил свой рассказ, и дамы успели высказать о нем самые противоположные мнения, — одна что-то в нем порицала, другая что-то одобряла, — когда король, взглянув на небо и удостоверясь, что солнце склоняется к закату, заговорил, не вставая с места:

— Пригожие дамы! Вы, наверное, знаете, что смертному разум дан не для того только, чтобы запоминать дела минувшие и постигать настоящие; мудрецы утверждают, что великим умам свойственно на основании того, что им известно о минувшем и о настоящем, предугадывать грядущее. Завтра, если вы помните, будет две недели, как мы с вами для поддержания здоровья и сил оставили Флоренцию с намерением рассеяться и больше не видеть скорби, горя и отчаяния, с наступлением чумного времени прочно обосновавшихся в нашем городе. На мой взгляд, мы вели себя благопристойно, ибо, сколько я мог заметить, хотя рассказывали мы и о вещах веселых и, может статься, соблазнительных, хотя мы сытно ели и сладко пили, играли и пели, а это обыкновенно вызывает у немощных духом нескромные желания, со всем тем никто из вас не совершил ни одного непохвального поступка, не сказал ни одного нехорошего слова и вообще ничего предосудительного не сделал. Если память мне не изменяет, все у нас с вами было благородно, жили мы с вами дружно, в тесном братском единении, и говорю я об этом с особым удовольствием, ибо это и вам и мне служит к чести и, несомненно, пойдет нам на пользу. Каждый из нас получил в свой день положенную ему долю похвал, — похвалы эти еще живут в моем сердце, — но чтобы мы в конце концов друг другу не наскучили и чтобы никто не мог осудить нас за долгую совместную жизнь, я предлагаю, — если, конечно, вы ничего не имеете против, — возвратиться восвояси. Примите в соображение еще и то, что общество наше, о котором наслышана вся округа, мо-

жет разрастись, и тогда все удовольствие будет испорчено. Так вот, если вы с моим предложением согласны, то я не сниму возложенного на меня венца до нашего ухода, который я бы назначил на завтра утром. Буде же вы рассудите иначе, то я передам бразды правления на завтрашний день тому лицу, на котором я заранее остановил свой выбор.

Дамы и молодые люди долго между собою спорили, но в конце концов признали, что совет короля разумен и благ, и решились его послушаться. Король призвал дворецкого, отдал ему распоряжения на завтра и, отпустив всех до ужина, встал. За ним поднялись дамы и молодые люди и, по обыкновению, предались различным утехам. В положенный час они с превеликим удовольствием сели ужинать, а после ужина стали распевать, играть и танцевать. Танец повела Лауретта, а Фьямметте король повелел спеть песню, и Фьямметта запела приятным голосом:

Ах, если б не была любовь ревнива,
На свете бы слыла
Я между женщин самою счастливой.

Коль нам милей всего
В мужчине юность, пылкий нрав, красивость
И мощь телосложенья;
Коль ценим мы его
За доблесть, красноречье, учтивость
В словах и поведенье, —
То от судьбы — и это вне сомненья —
Я все сполна взяла,
К чему влеклась мечтою прихотливой.

Но стоит вспомнить мне,
Что женщин остальных я не моложе,
Не лучше, не умнее,
Что и они вполне
Имеют право притязать на то же,
Чего я вожделею
День ото дня сильнее и сильнее, —

Как плачу я со зла
И проклинаю свой удел тоскливо.

Будь друг желанный мой
Мне столь же верен, сколь достоин страсти,
Воспряла б я душою,
Но верности мужской
Я знаю цену, на свое несчастье,
И нету мне покою,
И я дрожу пред женщиной любою.
Как бы не отняла
Красавца у меня она глумливо.

Я заклинаю вас,
О женщины, не пробуйте напрасно
Ни знаками, ни лестью,
Ни блеском ваших глаз
Прельщать того, кого люблю я страстно.
Предупреждаю честью,
Что на коварство я отвечу местью
И за ее дела
С лихвой воздам разлучнице кичливой.

Когда Фьямметта допела свою песню, сидевший рядом с ней Дионео со смехом сказал:

– Жаль, сударыня, что вы не назвали своего возлюбленного, – ведь вы уже заранее приходите в ярость, а что будет, если кто-нибудь нечаянно посягнет на ваше достояние?

Потом пели другие, и когда уже зашло за полночь, король всех отпустил спать.

Наутро все встали; дворецкий отправил вещи вперед а дамы и молодые люди, предводительствуемые королем двинулись во Флоренцию. Трое молодых людей довели семь дам до Санта Мария Новелла, откуда они в свое время вместе с ними вышли, и тут они распрощались и пошли искать других развлечений, а дамы разошлись по домам.

Знатнейшие молодые дамы, вы, кому в утешение я предпринял сей долгий труд! По милости божией, ниспосланной мне, как я догадываюсь, по вашим усердным молитвам, а не за мои заслуги, я, по-видимому, довел до конца то, что обещал в начале моего сочинения. Возблагодарив, во-первых, бога, а во-вторых, вас, я решаюсь дать отдых перу и уставшей руке. Однако ж, прежде чем предоставить им отдых, я хочу в коротких словах ответить на вопросы, которые вы или кто-либо еще, может статься, мысленно мне зададите, хотя я совершенно уверен, что повести мои заслуживают не больше упреков, чем любые другие, и, помнится, я сумел доказать это в начале четвертого дня. Иные из вас, может быть, скажут, что я позволил себе слишком большую вольность, заставив женщин кое-когда говорить и весьма часто выслушивать такие вещи, которые женщине честной не пристало ни говорить, ни слушать. Я с этим не согласен; любую неприличную вещь можно рассказать в приличных выражениях, и тогда она никого не оскорбит, а уж тут я, по-моему, был безупречен. Положим, однако ж, что вы правы, – я не собираюсь с вами пререкаться, все равно вы меня одолеете, – но в оправдание себе я могу сказать многое. Во-первых, если в какой-либо повести и есть нечто непозволительное, значит, этого требовали ее особенности: ведь если посмотреть на такие повести трезвым взглядом человека понимающего, то нельзя не прийти к заключению, что только так их и можно рассказывать, а ина-

че они утратят свою форму. Если и есть в них что-нибудь этакое, если там и встретится какое-нибудь вольное словечко, которое может покоробить святош, осторожных не столько в поступках, сколько в речах, и старающихся казаться добродетельными, хотя на самом деле они вовсе не таковы, то, по моему разумению, мне так же не должно быть стыдно его употреблять, как не стыдно мужчинам и женщинам постоянно говорить об *отверстии* и *шпеньке*, о *ступке* и *пестике*, о *сосиске*, о *колбасе* и о прочем тому подобном. Притом, мое перо ничуть не хуже кисти живописца, а живописец, не подвергаясь нареканиям, по крайней мере справедливым, не только заставляет архангела Михаила поражать змия мечом или же копьем, не только заставляет святого Георгия поражать дракона куда угодно, — он представляет нам Христа в мужском образе, Еву в женском; мы видим на его картинах, что ноги того, кто восхотел ради спасения человеческого рода умереть на кресте, пригвождены к кресту иногда одним, а иногда и двумя гвоздями. Да и рассказывалось все это ведь не в церкви, о делах которой должно говорить с чистою душою, выбирая выражения наиблагопристойнейшие (хотя в Писании можно найти коечто похуже, чем у меня), и не в школе философии, где благопристойность требуется так же, как и везде, и не в обществе духовных лиц и философов, а в садах, в местах, предназначенных для увеселений, в присутствии женщин хотя и молодых, но уже достаточно взрослых, таких, которых побасенками не испортишь, и в такое время, когда даже самым почтенным людям простительно было надеть штаны на голову, если это им помогало рассеяться. Что бы ни говорить о моих повестях, они, как и все на свете, могут быть и вредны, и полезны — все зависит от слушателя. Кому не известно, что для всех живущих вино благодетельно, как утверждают Возлияни, Лакатти и многие другие, а у кого лихорадка, тому оно вредно? Но если оно вредно для лихорадящих, значит ли это, что оно пагубно вообще? Кому не известно, что огонь весьма полезен, даже необходим смертным? Но если он попаляет дома, селения и города,

значит ли это, что он вредоносен вообще? Равным образом оружие охраняет благополучие желающих жить в мире, и оно же нередко убивает людей, но не потому, чтобы оно само по себе было губительно, а по вине тех, кто употребляет его во зло. Натуры испорченные в каждом слове ищут грязный смысл, им и приличные слова не идут на пользу, а чистую душу слова не совсем приличные так же не способны отравить, как грязь — испачкать солнечные лучи, а нечистоты — осквернить красоту небесного свода. Какие книги, какие слова, какие письмена святее, прекраснее, возвышеннее Священного писания? А ведь были же такие люди, которые превратно его толковали и через то губили себя и других. Всякая вещь для чего-нибудь да годна, но если ее употребить во зло, то она многим может принести вред — это относится и к моим повестям. Они никому не возбраняют извлекать из них дурные уроки и вычитывать в них побуждение к дурным поступкам: если туда случайно попало что-либо дурное, то желающие пусть тянут его и вытаскивают. А кто ожидает от них пользы и блага, те также не обманутся в своих ожиданиях. Если их читать во благовремении и таким людям, для которых они и предназначались, то слушатели, все, как один, почтут и признают их полезными и благопристойными. А кому нужно помолиться либо испечь пирог или торт духовнику, те пусть не слушают, — повести мои за ними не погонятся и не засадят за чтение, хотя, к слову молвить, святоши не только говорят, но и поступают иной раз ничуть не лучше!

Найдутся и такие, которые скажут, что некоторых повестей с успехом могло бы и не быть. Так-то оно так, но я мог и обязан был записать те, которые были рассказаны, и если бы повествователи рассказывали только хорошие повести, я бы только хорошие и записал. Предположим, однако ж, что я — и сочиняющий и записывающий, что не соответствует действительности: откровенно говоря, мне было бы не стыдно, что не все повести хороши, ибо, за исключением бога, нет такого искусника, который все делает хорошо и всегда достигает совершенства. Ведь и Карл Великий, рас-

плодивший паладинов, развел их не в таком количестве, чтобы из них можно было составить войско. Многоразличие предметов предполагает разнообразные свойства в каждом предмете. Как бы тщательно ни было возделано поле, и на нем вперемешку с полезными злаками растут крапива, волчцы и тернии. Да и потом, коль скоро мы все это рассказываем самым обыкновенным молодым женщинам, таким, как большинство из вас, то глупо было бы подбирать для них что-нибудь особенно изысканное и утонченное и строго обдумывать каждое слово. Как бы там ни было, те, кому повести мои попадутся, вольны пропускать такие, которые оскорбляют их вкус, и читать только такие, которые им понравятся. Дабы никого не вводить в обман, я означил на челе каждой повести то, что таит в себе ее лоно.

Иные, пожалуй, скажут, что некоторые повести слишком растянуты. Этим я еще раз повторю, что если они заняты другим делом, то им не след читать даже короткие повести. И хотя я начал писать эту книгу давно, я все же отлично помню, что предназначал я свой труд для читателей досужих, а не занятых. Читающим же для времяпрепровождения никакая повесть не покажется длинной, если она заключает в себе именно то, ради чего они к ней обратились. Короткие вещицы – это чтение для школяров, которым нужно не просто провести время, но провести его с толком, а не для вас, мои читательницы, ибо вы отводите для чтения все то время, какое у вас остается от любовных забав. Да и потом, ведь никто же из вас не учился ни в Афинах, ни в Болонье, ни в Париже, а потому вам нужно все объяснять подробнее, нежели тем, кто изощрил свое разуменье наукой.

Найдутся, вне всякого сомнения, и такие, которые скажут, что в моих повестях слишком много шуток и прибауток и что человеку с весом, человеку степенному это не пристало. Вот этим людям я должен быть признателен, и я им свою признательность выражаю, ибо руководят ими побуждения благородные: они заботятся о моем добром имени. И все же я отвожу их упрек. Хоть на меня вешали много собак, но во мне самом вес не велик – я не тяжел, а легок,

так что и в воде не тону. Приняв в соображение, что проповеди монахов, бичующие грешников, уснащены шутками, прибаутками и острыми словечками, я решил, что все это тем более будет уместно в моих повестях, написанных для того, чтобы дамы не скучали. Ну, а если дамы чересчур развеселятся, то их быстро угомонят плач Иеремии, страсти господни и стенания Магдалины.

И, наконец, разве не найдутся такие, которые только потому, что я нет-нет да и скажу правду о монахах, станут утверждать, что язык у меня злой и ядовитый? Этим я охотно прощаю, ибо не могу допустить мысли, что они кривят душой. И то сказать: монахи – люди хорошие, они стараются ни в чем себе не отказывать только из любви к богу, накачивают единственно потому, что насосы у них полны, и никому о том не пробалтываются, и если бы только от них не попахивало козлом, то их общество ничего, кроме удовольствия, не доставляло бы. Со всем тем надобно признаться, что все в этом мире неустойчиво, все находится в движении и что, может статься, это относится и к моему языку, хотя не так давно одна моя соседка, – себе-то я не доверяю и обо всем, что меня касается, обыкновенно судить не берусь, – заметила, что язык у меня на диво приятный – такого, мол, ни у кого нет, а ведь мне тогда оставалось дописать всего несколько повестей. Больше мне моим противникам сказать нечего.

Пусть же все судят и рядят о моей книге, как им угодно; я же, смиренно возблагодарив Того, Кто помог мне привести долгий мой труд к желанному концу, умолкаю. А вам, очаровательные дамы, дай бог жить в мире, и если чтение моей книги принесло вам хоть малую пользу, то вспоминайте обо мне.

На этом кончается десятый и последний день книги,
называемой Декамерон,
прозываемой принц Галеотто.

Примечания

Декамерон

С. 35. *...прозываемая принц Галеотто...* – Боккаччо в этом втором названии сборника обыгрывает роль Галеотто (персонаж сказаний о рыцарях Круглого стола), который способствовал любви рыцаря Ланселóта (друга и побратима Галеотто) и королевы Джиневры. По словам Боккаччо, его книга (подобно Галеотто) поможет прочитавшему ее облегчить любовные страдания.

Первый день

С. 44. *...посетила губительная чума...* — Речь идет о знаменитой эпидемии чумы, вспыхнувшей в Тоскане в январе 1348 г. В апреле того же года она перекинулась во Флоренцию. Болезнь была завезена с Востока. По одним сведениям – из Сирии, по другим – из Кафы (нынешняя Феодосия в Крыму). Согласно последней версии, в татарском войске, осаждавшем принадлежавшую генуэзцам Кафу, началась эпидемия чумы. Будучи не в силах взять сильно укрепленный город приступом, татары решились на отчаянное средство: с помощью катапульт они стали перебрасывать трупы умерших от чумы через городские стены. Несмотря на все принятые осажденными меры, несколько зараженных попали на корабли, отплывшие в Италию. Так началась чума в Европе, повлекшая за собой неисчислимые жертвы.

...руками людей, для этой цели употребленных... — Среди этих “специальных” людей находился и отец Боккаччо.

С. 51. *Гален, Гиппократ и Эскулап...* – Два знаменитых греческих врача вкупе с Эскулапом (фигурой мифической) упоминались постоянно в итальянской литературе XIV в.

...в чтимом храме Санта Мария Новелла... — Знаменитая церковь Санта Мария Новелла во Флоренции, начатая постройкой в 1278 г.,

была во времена Боккаччо одной из самых посещаемых во Флоренции.

С. 52. *...первую... мы назовем Пампинеей, вторую – Фьямметтой* и т. д. – Дело в том, что имена всех семи девушек, персонажей Боккаччо, значащие. Пампинея – значит "цветущая"; Фьямметта – имя легендарной возлюбленной самого автора, вдохновительницы ранних его сочинений; Филомена – "любительница пения"; Эмилия – "ласковая"; Лауретта – уменьшительное от Лауры, воспетой Петраркой; Нейфила – "новая для любви" ("впервые влюбленная"); Элисса – второе имя вергилиевской Дидоны.

С. 56. *Одного из них звали Панфило, другого – Филострато, третьего – Дионео.* – Как и в предшествующем случае, имена юношей тоже значащие. Панфило – т. е. "весь любовь"; Филострато – "раздавленный любовью"; Дионео – букв.: венерео (от Венеры, дочери Диона).

С. 57. *Какие-нибудь две мили...* – Учитывая, что тосканская миля равнялась примерно 1650 метрам, компания проделала путь около трех километров.

...и вот они уже в том месте... – Согласно традиции, установившейся у комментаторов Боккаччо начиная с XV в., под "тем местом" автор разумел местечко Поджо Герарди (возле Майано), где он имел небольшое поместье.

С. 60. *...подали воду для омовения рук...* – Обычай, вызванный тем, что к столу не подавали никаких приборов, кроме ножей.

...на виоле... – Виола – музыкальный инструмент для исполнения светской музыки.

С. 63. *Папа Бонифаций* – имеется в виду папа Бонифаций VIII (1235–1303). Он происходил из древнего рода Каэтани.

С. 66. *"Этих ломбардских собак..."* – Ломбардцами называли всех ростовщиков.

С. 67. *...не впал ли он в блуд, согрешив с какой-либо женщиной.* – Этот и все другие вопросы, задаваемые монахом, чередуются в строгой последовательности, предписанной церковью.

С. 75. *...дабы по его милосердию мы в сию годину бедствий...* – Речь идет о чуме.

С. 76. *Джаннотто ди Чивиньи...* – Речь, по-видимому, идет о том, что человек этот был родом из местечка Шовиньи или Шевиньи.

С. 81. *...происшествие, случившееся с одним евреем.* – Парабола о мудром еврее имела широкое хождение в эпоху средневековья, и содержание ее мало разнилось от рассказа Боккаччо.

С. 82. *Доблесть Саладина...* – Саладин (1137–1193) – каирский султан, отвоевавший Иерусалим у христиан (1187). В литературе европейского средневековья и в народных преданиях он пользовался осо-

бенной популярностью. (С Саладином связана и новелла 9 десятого дня “Декамерона”.)

...по имени Мельхиседек... – Распространенное еврейское имя, означающее “царь справедливости”.

С. 89. *...уберечься от любви к мужчине, который по своему положению стоит выше ее...* – Рекомендация, часто встречаемая в средневековой любовной литературе.

С. 90. *Маркиз Монферратский...* – По-видимому, Боккаччо имеет здесь в виду Коррадо дельи Алерамичи, одного из самых предприимчивых вождей третьего крестового похода (1189–1192).

...при дворе Филиппа Кривого... – Речь идет о французском короле Филиппе Августе (1165–1223), который вместе с Фридрихом Барбароссой и Ричардом Львиное Сердце возглавлял третий крестовый поход.

...никогда в жизни маркизы не видев... – Мотив влюбленности на основании молвы был чрезвычайно распространен в средневековой любовной литературе.

С. 92. *...минорит, гонитель нечестивых еретиков...* – Вероятно, Боккаччо в данном случае имеет в виду монаха Мино да Сан Кирико, занимавшего должность инквизитора с 1332 по 1334 г., смещенного за корыстолюбие и всевозможные правонарушения.

С. 93. *...инквизитор, особо чтивший святого Иоанна Златоуста...* – Комизм этого замечания построен на использовании прозвища одного из наиболее почитаемых отцов церкви для характеристики алчности монаха-инквизитора.

...как будто это Возлияни... – Вероятнее всего, намек на какого-нибудь реального знаменитого бражника.

...как если бы перед ним был сам Эпикур... – Эпикур – древнегреческий философ IV в. до н. э. В средневековой традиции Эпикур был символом неверия (атеизма). В этом смысле Эпикура упоминает в X песне “Ада” Данте.

...изрядным количеством мази святого Иоанна Златоуста. – Под мазью подразумеваются флорентийские деньги с изображением Иоанна Златоуста.

...огонь, коим ему грозили, был милостиво заменен знаком креста... – т. е. сожжение на костре было заменено покаянием. Приговоренный к покаянию должен был нашить на свою одежду матерчатый крест.

...выстаивать литургию в Санта Кроче... – Санта Кроче – церковь во Флоренции.

С. 94. *“Получит во сто крат, и наследует жизнь вечную”.* – Цитата из Евангелия от Матфея, XIX, 29.

С. 96. *...Мессер Кане делла Скала...* – Речь идет о Кангранде делла Скала (1291–1329), властителе Вероны, снискавшем славу щедрого и

великодушного государя. Кангранде оказывал покровительство самому Данте.

С. 97. *...императора Фридриха Второго...* – Фридрих II (1194–1250), король Сицилии. Был также прославлен за свою щедрость и покровительство поэтам.

Один лишь Бергамино... – Как следует из дальнейшего, Бергамино был профессиональным сказителем. Во времена, к которым относится это повествование, действительно был некий сказитель, по имени Николо́, прозванный Пергамине, автор "Dialogus creaturarum".

С. 98. *...известно, что Примассо был великим грамматиком...* – В первой половине XIII в. большой известностью пользовался Примас Кёльнский. Его перу принадлежат многочисленные "песни голиардов" и несколько небольших поэм на латинском языке.

Аббат из Клюни... – Упоминания о знаменитом бенедиктинском аббатстве Клюни (Франция), равно как и великолепии его настоятелей, часто встречаются в литературе позднего средневековья.

С. 101. *...мессер Эрмино де Гримальди...* – Гримальди – одно из известнейших патрицианских семейств Генуи.

С. 102. *...Гвильельмо Борсьере* – реальное лицо, упоминаемое Данте ("Ад", песнь XVI, 70–72).

С. 104. *...во времена первого кипрского короля...* – Первым королем Кипра был Ги де Лузиньян (1192–1194), прославившийся безволием и полнейшей неспособностью к правлению.

...после завоевания Святой земли Готфридом Бульонским... – Готфрид Бульонский возглавлял первый крестовый поход (1099), завершившийся завоеванием Иерусалима.

С. 107. *...некто магистр Альберто.* – Вполне вероятно, что в данном случае имеется в виду Альберто дей Дзанкари, известный медик, преподававший в Болонском университете в первой половине XIV в. У него действительно была жена по имени Маргерита (тогдашняя, распространенная в Болонье форма этого имени – Мальгерида).

С. 107. *Мальгериду де Гизольери...* – Гизольери – известная по хроникам болонская семья.

Второй день

С. 116. *...немец по имени Арриго...* – Святой Арриго (Блаженный) из Тревизо, уроженец Больцано. В день его смерти (11 июня 1315 г.) и произошли, согласно хроникам, все те чудеса, о которых рассказывается в новелле.

С. 119. *...с доброй сотней золотых флоринов...* – Флорин – монета, выбитая впервые в 1252 г. стоимостью в 20 золотых сольдо.

С. 120. *...Сандро Аголанти...* – Аголанти – флорентийская знатная семья, изгнанная из Флоренции во второй половине XIII в. Документы, относящиеся к началу XIV в., сообщают об Аголанти, проживавших в Тревизо и Венеции.

...сверх всякого ожидания... – Это замечание возвращает читателя к теме новелл второго дня, которую задала в самом начале Нейфила.

С. 121. *...молитвы же святому Юлиану...* – В средние века молитва, возносимая святому Юлиану, защитнику от всех невзгод в пути, была популярнейшей.

...во времена маркиза Аццо Феррарского... – Вероятно, имеется в виду Аццо VIII, властитель Феррары. Умер в 1308 г.

...на возвратном пути... – т. е. на пути в Эсте.

С. 122. *...за упокой души родителей...* – Согласно преданию, они были убиты по ошибке святым Юлианом.

С. 123. ... *"Из глубины воззвах"* и т. д. – начала трех особенно популярных в те времена молитв.

Кастель Гвильельмо – укрепленный городок между Феррарой и Эсте.

...во времена недавней войны... – По-видимому, речь о войне между Аццо VIII и его братом Франческо (1305–1307).

С. 124. *...словно аист – клювом.* – Одна из многочисленных в "Декамероне" реминисценций из Данте ("Ад", песнь XXXII, 34–36).

С. 126. *...средних лет* – т. е. около тридцати пяти лет (сравните Данте: "Земную жизнь пройдя до половины...").

С. 127. *...давать пинки ветру.* – Они были повешены.

С. 129. *...из рода Ламберти...* – Ламберти – богатые флорентийские купцы.

С. 130. *...прибыли в Англию.* – В XIII–XIV вв. флорентийцы развивали в Англии весьма оживленную торговую деятельность.

...война между королем и его сыном... – т. е. между английским королем Генрихом II (1154–1189) и его первенцем, принцем Генрихом. Об этом событии упоминает и Данте ("Ад", песнь XXVIII).

С. 134. *...явился прямо к папе...* – Вероятно, имеется в виду папа Александр III (1159 – 1181).

...за ...короля шотландского... – По-видимому, за Вильгельма (1143–1214). В этом случае, стало быть, под "королем английским" подразумевается Генрих II.

С. 138. *Морское побережье от Реджо до Гаэты почитается...* – Это и последующие описания Неаполя и прибрежных мест связаны с длительным пребыванием там Боккаччо. Они могут служить примером удивительного реализма, достигнутого Боккаччо на заре европейской прозы.

Равелло – курортный город Средиземноморья, и по сей день являющийся одним из самых живописных и процветающих. Наряду с про-

чими достопримечательностями Равелло славится своим собором, который неоднократно посещал Боккаччо.

...главным образом – турецкое. – Корсарское ремесло в те времена не почиталось зазорным. Боккаччо, чтобы еще пуще облагородить Ландольфо, делает это примечательное добавление.

С. 139. *...вблизи архипелага...* – т. е. возле Греческого архипелага в Эгейском море.

...две большие генуэзские барки. – Барка – barca (ит.) – генуэзское торговое одномачтовое судно.

С. 145. *...на улице под названием Труба, хотя лучше было бы назвать ее не Труба, а Трущоба...* – Pertugio и Malpertugio (ит.) – букв.: Дыра и Скверная дыра – квартал в портовой части Неаполя, там находились торговые склады и лавки. Район этот славился злачными местами.

Новелла об Андреуччо является в полном смысле слова "чудом" боккаччевского реализма. Описание города, людей и нравов сделано с правдоподобием и точностью, какие можно обнаружить разве что у авторов XIX в.

С. 147. *Агридженто* – город в Сицилии.

Будучи ярым гвельфом... – т. е. сторонником королей Анжуйских, изгнанных из Сицилии в 1282 г. после Сицилийской вечери.

...вступил в тайные сношения с нашим королем Карлом – т. е. с Карлом II (1285–1309).

...про них дознался король Федериго... – Имеется в виду Фридрих II Арагонский, провозглашенный в 1296 г. королем Сицилии.

С. 150. *...брат госпожи Фьордализо.* – Характерная для "почвенности" этой новеллы деталь: именно во времена Боккаччо в районе Трущобы проживала некая мадонна Флора-сицилийка.

С. 152. *...пошел по Каталонской улице.* – Улица, ведшая от порта в верхнюю часть города.

"Наверно, у мошенника Буттафуоко". – Имеются сведения о реальном существовании этого сицилийца, сторонника Анжуйских королей.

В новелле имеется много временны́х смещений, хронологических неувязок. Но главное, Боккаччо воспроизводит с удивительной точностью атмосферу современного ему Неаполя, со всеми сплетнями, пересудами, городскими преданиями и легендами.

С. 153. *Филиппо Минутоло* – архиепископ Неаполя, умерший 24 октября 1301 г.

...по дороге в архиерейский собор... – Архиепископ Минутоло действительно похоронен в этом соборе. Там до сего дня находится его мраморная гробница. Бенедетто Кроче сообщает, что тело архиепископа, которое обнимал дрожавший от страха Андреуччо, покоится в капелле Минутоло Капече.

Любопытно, что новеллу об Андреуччо рассказывает именно Фьямметта, та девушка, которой Боккаччо присвоил имя своей неаполитанской возлюбленной.

С. 158. *Манфред* – побочный сын императора Фридриха II, с 1258 г. ставший королем Сицилии.

...знатный неаполитанец по имени Арригетто Капече... – Капече – одна из знатнейших неаполитанских фамилий, среди представителей которой было множество приверженцев Манфреда и Коррадино. Коррадо Капече, например, был "капитан-генералом" Сицилии в 1266 г. Упоминаний об Арригетто Капече не сохранилось.

Беритола Караччола... – Караччола – одна из виднейших неаполитанских фамилий.

...и умертвил Манфреда... – Произошло это 25 февраля 1266 г.

...и назвала его Скаччато. – "Скаччато", scacciato (ит.) – значит "изгнанный". В бурную эпоху средневековья имя это было весьма распространенным.

...к острову Понцо... – Остров находится в Гаэтанском заливе, теперь он называется Понца.

С. 159. *...блуждать, где ему вздумается.* – Имеется в виду поверье, согласно которому во время обморока душа могла покидать тело, как в момент смерти.

С. 160. *...Куррадо, из рода маркизов Малеспина...* – Имеется в виду Коррадо II ди Виллафранка, умерший в 1294 г., персонаж знаменитого дантовского эпизода ("Чистилище", песнь VIII). Малеспина (или Маласпина) были гибеллинами, следовательно, противниками Анжуйской династии.

...и его супруга... – т. е. Ориетта Малеспина.

...в королевстве Апулии... – т. е. в королевстве Неаполя. Такими святыми местами могли быть Сан Микеле, Сан Маттео и др.

С. 161. *Луниджана* – район Магра (между Тосканой и Лигурией). Там находилось родовое имение Малеспина.

Мессер Гаспаррино д'Ориа... – Речь, очевидно, идет о каком-то представителе семейства Дориа, знаменитого в Генуе.

С. 162. *...обман всплывет...* – Дело в том, что генуэзцы держали сторону Анжуйской династии.

...после смерти Никколо́ да Гриньяно... – По-видимому, феодала, находившегося в вассальной зависимости от Малеспина. Городок Гриньяно (или Граньяно), неподалеку от Каррары, входил во владения Малеспина.

...исполнилось шестнадцать... – В ту пору девушка, как правило, выходила замуж в пятнадцать лет.

С. 164. *...отобрал его у короля Карла...* — Педро III Арагонский после Сицилийской вечери (31 марта 1282 г.) вмешался в дело Сицилии. В этом вмешательстве видную роль сыграл легендарный Джованни да Прочида, спровоцировавший Сицилийскую вечерю.

С. 166. *...по существующему у нас обычаю...* — т. е. давая клятву друг другу и обмениваясь кольцами в присутствии родителей или одного только отца.

С. 168. *...“и трижды, и четырежды успели приветствия возникнуть на устах”...* — прямая цитата из Данте (“Чистилище”, песнь VII).

С. 169. *Леричи* — порт и крепость в заливе Ла Специа.

С. 170. *...тут, я надеюсь, подружки, на ваше воображение.* — Обычно все рассказчики в “Декамероне” обращаются к “дамам” (хотя там присутствуют и юноши). Этого требовала куртуазность времени.

С. 171. *...и славили бога за его милость.* — “Волшебная” счастливая концовка, очевидно, говорит о близости данного типа повествования с народными сказками.

С. 172. *...короля Алгарвского...* — т. е. короля северной части Марокко, где находилось когда-то могущественное государство, занимавшее большую часть западной Африки и часть Пиренейского полуострова.

С. 173. *...грешны тем, что желаете быть красивыми...* — Мотив красоты, как причины всяческих бедствий, живо интересовал Боккаччо уже в ранних его произведениях.

Давным-давно жил-был в Вавилонии султан по имени Беминедаб... — Вавилонией называли тогда Кипр. Беминедаб — имя вымышленное, хотя и напоминающее имя Аминедаб.

С. 178. *...Кьяренцу, что́ в Романии...* — Кьяренца — пелопоннесский порт. Романией обычно называли в те времена Восточную империю.

С. 180. *...принца Морейского...* — Морея — район Пелопоннеса.

С. 185. *Эгина* — город на одноименном острове против Афин.

...Хиос — остров в Смирненском заливе.

...султан турецкий Осбек... — Осбек, или Узбег, — золотоордынский хан (1313–1340).

С. 186. *...королем каппадокийским Базаном...* — Государство и имя вымышленные.

С. 191. *...западнее Аквамортьı.* — Акваморта — Aigues mortes (“мертвая вода”) — на юге Франции, где в XIV в. частенько бывали флорентийские купцы. Бывали там, между прочим, племянники Боккаччо.

Вообще вся география этой новеллы весьма связана с коммерческой деятельностью как самого Боккаччо, так и его друзей.

С. 195. *Когда корона римского императора перешла от французов к немцам...* — Римская корона, которой короновался Карл Великий в 799 г.,

переходила к его преемникам, пока в 962 г. она не увенчала голову Оттона I Саксонского.

С. 195. *...графа Антверпенского Гвальтьери...* – Графы Антверпенские были в родстве с французскими королями.

С. 196. *Она усадила графа рядом...* – Ситуация, живо напоминающая встречу Паоло и Франчески в V песне "Ада" Данте.

С. 197. *...Помогите! Граф Антверпенский чинит надо мною насилие!* – Весь этот сюжет достаточно знаком по Библии (Иосиф и жена Путифара) и по "Федре". В данном случае он, по всей вероятности, навеян историей Пьера де ла Бросса, обвиненного супругой французского короля Филиппа III в покушении на ее честь. Пьер де ла Бросс был за это казнен в 1278 г. Имя его Данте упоминает в "Чистилище" (песнь VI).

С. 211. *...она бы не стала баловаться с мужчинами.* – О целомудрии генуэзских женщин много писалось в XIV–XV вв.

С. 212. *...а ведь срам и бесчестье и заключены в том, что выходит наружу...* – Концепция, развиваемая Амброджоло, характерна для того времени. Она будет решительно пересмотрена в будущие века, особенно в Испании.

С. 215. *...в двадцати милях от города.* – Генуэзская миля равна примерно 2,5 километра.

С. 221. *Так-то вот обманщик не ушел от обманутого.* – Мотив оклеветанной честной жены был распространен в восточной и западной новеллистике. Вдохновился им и Шекспир в своем "Цимбелине".

С. 222. *Мессер Риччардо да Киндзика* – лицо, по всей вероятности, вымышленное, хотя в Пизе есть место, носящее название Киндзика.

С. 223. *...пришлось возвращать себя к жизни верначчей...* – Верначча – сладкое душистое вино.

...численнику, выданному в свет, по всей вероятности, в Равенне... – В Равенне было столько церквей, сколько имеется дней в году. Школяры часто заглядывали в численник в надежде отыскать праздник.

С. 224. *Паганино да Маре.* – Во времена Боккаччо находились представители даже самых родовитых семей, которые из-за бесконечных междоусобиц становились иногда корсарами. Паганино принадлежал, вероятно, к весьма знатной генуэзской семье Да Маре, или Да Мари.

Третий день

С. 235. *...открылся великолепный, роскошный дворец.* – По традиции принято считать, что речь идет о Вилле Скифанойя, или Тре Визи, или Вилле Пальмьери (все три под Флоренцией).

С. 239. *Мазетто из Лампореккьо...* – Лампореккьо – городок между Эмполи и Пистойей.

С. 246. *Король лангобардов Агилульф...* – царствовал с 591 по 615 г. Супругой его была Теодолинда (или, как пишет Боккаччо, "Теуделинга").

Сюжет этой новеллы заимствован частично из восточного сборника "Калина и Димна", сотой новеллы итальянского "Новеллино" и "Roman de Trubert". Для второй части своей новеллы Боккаччо воспользовался рассказом "Похищение королевского сокровища" из сборника "Dolophatos".

С. 257. *...сорок заупокойных литургий святого Григория...* – Просьба о сорока долженствовала служить характеристикой особливой набожности хитроумной дамы. Согласно всем тогдашним рекомендациям и церковным предписаниям вполне достаточно было и тридцати литургий.

С. 261. *...каковую неизреченную милость я испрашиваю у бога и для себя, и для всякой души христианской, буде она того возжелает.* – Подобная концовка, по-разному варьируемая, довольно часто встречается в литературе тех лет.

Что касается общего содержания новеллы, то следует заметить, что мотив исповеди в целях сообщения привился в европейской литературе и позднее неоднократно использовался.

С. 262. *...монастыря святого Панкратия...* – Имеется в виду францисканский монастырь во Флоренции.

С. 268. *...мессер Франческо из рода Верджеллези.* – Верджеллези – знатная пистойская семья. В 1326 г. некто Франческо Верджеллези был действительно подестой в Ломбардии.

С. 274. *Риччардо Минутоло* – принадлежал к знатной неаполитанской семье. Риччардо был советником короля Роберта и королевы Иоанны.

Филиппелло Сигинольфо... – неаполитанский дворянин, придворный дома Анжуйских.

С. 275. *...звали же ее Кателлой...* – Кателла – уменьшительное от Каталины (Катерины).

С. 283. *...человек по имени Тедальдо дельи Элизеи...* – О Тедальдо в хрониках того времени не сохранилось никаких упоминаний. Но семья Элизеи существовала реально и относилась к числу древнейших и знатнейших флорентийских фамилий.

Альдобрандино Палермини – представитель знатной флорентийской семьи.

С. 284. *...Филиппо ди Сан Лодеччо* – т. е. Филиппе из Сан Лодеччо, местечка по дороге из Римини в Урбино.

С. 311. *Джилетта из Нарбонна...* – Джилетта – уменьшительное от Эджидия. Нарбонн – город в провинции Лангедок (Франция).

Бельтран Руссильонский – Руссильон – графство во Франции, примыкает к Восточным Пиренеям.

С. 322. *...в городе Капсе...* – ныне городок Гапса в Тунисе.

С. 328. *...то имя, которым вы меня называете...* – т. е. Филострато. По Боккаччо, имя это значило "убитый, раздавленный любовью" (см. прим. к с. 29). Между тем как правильная этимология несколько иная: "любитель войны, приверженец войны".

...пели песни про мессера Гвильельмо и про даму дель Верджу. – Мессер Гвильельмо и дама дель Верцьере – персонажи итальянской песни, созданной по образцу французской поэмы XIII в. "La Chastelaine de Vergi".

Четвертый день

С. 334. *...некто Филиппо Бальдуччи...* – Флорентийская семья Бальдуччи была хорошо знакома Боккаччо. Несколько Бальдуччи работали в банке Барди.

С. 335. *...отправился на Ослиную гору...* – Гора неподалеку от Флоренции. Ныне называется гора Сенарио: когда-то там находился монашеский скит.

С. 337. *Гвидо Кавальканти, и Данте Алигьери, и престарелый Чино да Пистойя.* – Боккаччо перечисляет тут трех величайших "певцов любви" Италии эпохи Данте.

С. 341. *Танкред, правитель Салернский...* – Все персонажи этой новеллы – лица вымышленные, хотя среди князей Салернских было несколько с именами Танкред и Гискардо.

С. 349. *Течение ты совершило...* – Искаженная цитата из Библии (2-е послание к Тимофею апостола Павла, гл. 4, стих 7).

С. 354. *...перебрался в Венецию – в это гнездилище всяческой скверны...* – Инвектива Боккаччо против Венеции станет более понятной, если вспомнить о соперничестве торговых и банковских домов Флоренции и Венеции. Флорентийские дома в Неаполе настояли, например, на том, чтобы король Роберт выслал венецианских торговцев из Неаполя.

Неприязнь Боккаччо к Венеции такова, что в этой новелле он даже пародирует местный язык, называет бесчестным все и вся, что только связано с Венецией и обуреваемым ее духом.

...из рода Квирино... – Квирино – одна из стариннейших венецианских фамилий.

С. 364. *...два юных друга, Фолько и Угетто...* — имена, распространенные в Провансе. По мнению профессора Витторе Бранка, известного итальянского знатока творчества Боккаччо, это свидетельствует о стремлении Боккаччо придать новелле местный колорит.

С. 365. *...неподалеку от Кандии...* — Кандия — главный город острова Крит.

С. 369. *У Вильгельма Второго, короля сицилийского...* — Вильгельм II Добрый царствовал с 1166 по 1189 г. Детей по имени Руджери и Костанца у него не было. Так звали его дядю и тетку. Характеристика Вильгельма, которую дает в этой новелле Боккаччо, совпадает в общих чертах с характеристикой преданий, канонизированных Данте ("Рай", песнь XX).

С. 378. *Отнял нехристь у меня // Мой цветок любимый...* — первые два стиха распространенной в те времена песенки, в которой героиня жалуется на то, что у нее похитили душистый базилик. Кончается песенка словами: "Я умру от печали". Вполне вероятно, что эта песенка и послужила Боккаччо толчком для написания новеллы. Сюжет оказался привлекательным и в последующие века (вплоть до Китса и Анатоля Франса).

С. 380. *...мессер Негро да Понте Карраро...* — Искаженное от Понте Карали, или Понкарале, брешианской фамилии, известной также и во Флоренции.

С. 381. *...надел на нее золотой ошейник и вожу ее на золотой цепочке.* — Золотые колье и золотые цепи (нагрудные) входили в средневековую символику (преимущественно любовную). С учетом этого следует понимать и данный пассаж.

С. 388. *...идет исповедаться в Сан Галло...* — Во Флоренции был обычай каждое первое воскресенье месяца отправляться в церковь Сан Галло (она находилась за пределами одноименных городских ворот) как для того, чтобы получить отпущение грехов, так и для совершения загородной прогулки.

С. 390. *О блаженные души...* — и далее до слов: *родственной ей душою Пасквино.* — Редкий пример прямого вмешательства рассказчика в повествование.

С. 391. *Гуччо "Пачкун"...* — Этот "Пачкун" появится потом в обличье слуги брата Луки (VI, 10).

С. 393. *...купец по имени Леонардо Сигьери...* — Сигьери — богатая купеческая флорентийская семья.

С. 398. *По рассказам провансальцев...* — т. е. согласно биографиям провансальских поэтов (трубадуров). Но в них говорится не о Гвильельмо, а о Раймонде Руссильонском, вассалом которого был Гвильельмо (Гийом) де Кабестань.

С. 401. *...и какова была причина гибели покоящихся под этой плитой.* — Трагическая легенда о “съеденном сердце” (отразившаяся также в новелле 1 четвертого дня и в новелле 8 пятого дня) содержалась в “Жизни Гийома де Кабестань” и различных сочинениях XIII в. (“Роман сенешаля де Куси́”). Высоко ценил эту легенду Петрарка.

С. 402–403. *...жил в Салерно знаменитый врач-хирург Маццео делла Монтанья...* — Вероятно, Маттео Сельватико “montanus” (отсюда “монтанья”), посвятивший королю Роберту Анжуйскому большую медицинскую энциклопедию. Умер Маттео Сельватико в 1342 г. в глубокой старости.

С. 403. *Подобно как мессер Риччардо да Киндзика, о котором у нас с вами шла речь...* — Боккаччо отсылает читателя к новелле 10 второго дня.

...человек по имени Руджери д'Айероли... — Вполне возможно, что прототипом для Боккаччо послужил в данном случае некий Руджеро Мели или Меле, атаман шайки разбойников в первые годы царствования королевы Джованны.

С. 404. *Амальфи* — город на побережье Тирренского моря в 25 километрах от Салерно. По нему — название всего побережья южнее Неаполя — Амальфитанское.

С. 410. *...к уплате десяти унций...* — Унция — золотая монета достоинством в один флорин.

Пятый день

С. 418. *...подобного рода повесть может быть вам только приятной.* — Сюжет этой новеллы восходит, скорее всего, к позднегреческому роману. После Боккаччо он неоднократно обрабатывался в европейской литературе и живописи вплоть до Ганса Сакса и Рубенса.

С. 429. *...и потом все четверо долго еще благоденствовали у себя на родине.* — Концовка, характерная для нескольких новелл этого дня.

С. 431. *...человек по имени Мартуччо Гомито...* — Данных о существовании реального прототипа этого боккаччевского персонажа не имеется. Но во времена Боккаччо фамилия Гомито была весьма распространенной в Неаполе.

Судьба же благоприятствовала ему до тех пор, пока он не зарвался. — Поведение Мартуччо живо повторяет действия Ландольфо Руфоло (новелла 4 второго дня).

С. 432—33. *...прислуживает рыбакам-христианам.* — Во времена Боккаччо неподалеку от Сузы действительно находилась колония итальянских рыбаков, которые занимались добычей кораллов.

С. 433. *...двинул на короля тунисского Мариабдела...* — По-видимому, испорченное от Мулиабдела — имя, которое в те времена носили два

властителя Туниса: Абу Абд Алла Мухаммед I (1249–1277) и Абу Абд Алла Мухаммед II (1295–1309).

С. 437. *В Риме, который когда-то был главою целого мира, меж тем как в наши дни он является собою не более, как его хвост...* – Сетование Боккаччо на упадок былого величия Рима, совпавшего с периодом так называемого "авиньонского пленения" пап, довольно часто встречается и в других его произведениях. Выражение "не более, как его хвост" – coda mundi (лат.) укрепилось в итальянской литературе. Нередко использует его уже в XVI в., например, Пьетро Аретино.

...юноша по имени Пьетро Боккамацца... – В XIV в. в Риме существовали две семьи Боккамацца.

С. 438. *...направили путь в Аланью...* – Принятое написание: Ананьи. Городок в 50 километрах от Рима по античной Латинской дороге из Рима в Неаполь.

...миль на восемь отъехали от Рима... – Боккаччо во многих новеллах удивительно точен в топографии. Судя по описанию, влюбленные сбились с пути где-то возле Казале Чампино, свернув налево, попали в лес в окрестностях Фраскати.

С. 439. *...назло всем Орсини...* – Дело в том, что римские Боккамацца были дружны со знатным семейством Орсини, знаменитыми римскими магнатами, которых порой боялись сами папы.

С. 442. *...Льелло ди Кампо ди Фьоре...* – представитель одной из ветвей семейства Орсини, к которой, например, принадлежал папа Николай III (1277–1280).

С. 444. *...дворянин по имени Лицио да Вальбона...* – Синьор Вальбоны, расположенной в тоскано-романьольских горах. Имя его упоминается у Данте ("Чистилище", песнь XIV, 97).

С. 445. *...Ричардо, из рода Манарди да Бреттиноро...* – Имя Манарди Данте упоминает вместе с именем Лицио да Вальбона.

С. 451. *...город Фаэнца... оправился от потрясений...* – Вероятно, Боккаччо имеет в виду вторую половину XIII в., когда Фаэнца стала процветающей коммуной, хотя и под номинальной властью церкви.

С. 454. *...когда Фаэнцу взял император Фридрих...* – Фридрих II взял Фаэнцу приступом в 1240–1241 гг.

...некто Гвильельмино да Медичина... – Фамилия Медичина, возможно, подсказана Боккаччо чтением Данте ("Ад", песнь XXVIII, 73).

С. 456. *...еще раз показать это на примере одного влюбленного юноши.* – Вся эта новелла является более или менее прямым пересказом эпизода из "Филоколо".

...Марино Болгаро... – О нем вспоминает Боккаччо в "De Casi-bus" (IX, 26) как о своем друге и дивном рассказчике. В 1341 г. Марино Болгаро был еще жив.

С. 457. *...переплывал... чтобы поглядеть хоть на стены ее дома.* – Прямая реминисценция из Овидия (об Эро и Леандро), боготворимого автором "Декамерона".

...короля сицилийского Федериго... – Фридрих (Федериго) Арагонский, король Сицилии с 1296 по 1337 г.

...дворце... Куба... – Знаменитый дворец в Палермо, существующий по сей день.

...побережья от Минервы до Скалеи... – т. е. от нынешнего Пунта Кампанелла (против острова Капри) до залива Поликастро.

С. 460. *...до генерал-адмирала Руджери де Лориа...* – Руджеро де Лориа – победитель Карла Анжуйского (1284). В 1296–1297 гг. командовал флотом короля Фридриха. Адмирала Лориа упоминают Данте ("Чистилище", песнь XX, 79 и след.) и Боккаччо в "12-м любовном видении" и "De Casibus".

С. 461. *...остров Иския все еще тебе подвластен.* – Об участии Марино Болгаро в этом деле история сведений не дает. Известно только, что Иския (остров неподалеку от Неаполя), находившаяся под властью Арагонской династии до 1299 г., восстала против Карла II.

С. 462. *...мессер Америго Аббате да Трапани...* – Америго родом из Валь де Мацара. Члены этой семьи в течение долгого времени были наместниками в Трапани.

...идя вдоль берегов Армении... – Для Боккаччо Армения была сказочной страной. Следует предположить, что имелось в данном случае в виду морское побережье Колхиды, т. е. Кавказа.

С. 464. *...вдохновила их на сердечные излияния.* – Место это, очевидно, подсказано эпизодом охоты в книге IV "Энеиды", когда непогода загнала Энея и Дидону в грот.

С. 465. *...наместнику короля...* – Округом Трапани управлял наместник ("капитан"), назначаемый королем Сицилии.

С. 466. *...сопряженных с предстоявшим крестовым походом...* – По-видимому, речь идет о третьем крестовом походе. Крестоносцы заключили тогда договор с Армянским царством, выбрав его в качестве базы для дальнейших военных действий.

С. 469. *Настаджо дельи Онести...* – Дельи Онести – знатная равеннская семья.

С. 470. *...дочь мессера Паоло Траверсари...* – Семья Траверсари – одна из стариннейших равеннских фамилий византийского происхождения. Имела герцогский титул. Паоло Траверсари, сын Пьетро, был, подобно своему отцу, покровителем поэтов (Данте. "Чистилище", песнь XIV, 98).

...в Кьясси... – Тут на берегу Адриатического моря находился (и сейчас еще находится) знаменитый сосновый бор, который так звучно воспел Данте в песне XXVIII "Чистилища".

С. 471. *Гвидо дельи Анастаджи* – родом из знатной равеннской семьи. Упоминается Данте наряду с Траверсари.

С. 473. *...и всадник, и псы были уже здесь.* – Этот эпизод замечательно изображен Сандро Боттичелли на одной из четырех картин, написанных на сюжет новеллы Боккаччо по случаю бракосочетания представителей двух известных флорентийских семей – Бини и Пуччи. Три картины хранятся в музее Прадо в Мадриде, одна – в Англии.

С. 475. *Копо ди Боргезе Доменики.* – Коппо, или Джакоппо (Якопо) – из почтенной флорентийской семьи. Боккаччо упоминает его в своих “Чтениях” о Данте.

С. 476. *Филиппо Альбериги...* – Альбериги – стариннейшая флорентийская семья, ко времени Боккаччо уже сильно обедневшая.

...перебрался в Кампи... – Кампи Бизенцио – в нескольких километрах к северо-западу от Флоренции.

С. 482. *Пьетро ди Винчоло...* – Пьетро (из известной перуджинской семьи) упоминается в документах конца XIII и начала XIV в.

С. 483. *...повесть, правда, не весьма пристойную...* – Источником новеллы является эпизод из “Метаморфоз” (IX, 14–28) Апулея, которого Боккаччо особенно чтил.

С. 484. *...похожей на святую Вердиану, кормящую змей...* – Согласно житийной литературе, в дом святой Вердианы вползли по божественному наущению две змеи, которые должны были искусать святую. Она оставила их у себя и кормила.

С. 490. *...до Главной площади...* – т. е. до площади Палаццо Синьории, главной площади Перуджи.

С. 491. *...Монна Альдруда, хвост задирай...* – Грубоватая простонародная песенка не очень пристойного содержания.

Шестой день

С. 495. *...Дионео и Лауретта запели песню о Троиле и Крессиде.* – Троил и Крессида уже присутствовали в юношеских произведениях Боккаччо.

...перебранку затеяли Личиска и Тиндаро... – т. е. служанка Филомены и слуга Филострато.

С. 496. *...к великому удовольствию туземцев.* – К сходной метафоричности языка для объяснения рискованных ситуаций Боккаччо прибегал и во “Фьезоланских нимфах”, и прибегнет к ним в “Корбаччо”.

С. 499. *...звали ее донной Ореттой, и была она замужем за мессером Джери Спиной.* – Оретта (или Ориетта – от Лауры, Лауретта) – дочь маркиза Обиццо Маласпина, супруга Джери дельи Спины, главы черных гвельфов (ок. 1300 г.).

С. 500. *...нашего согражданина Чисти...* – В те годы был такой ремесленник во Флоренции.

С. 501. *Церковь Санта Мария Уги* – небольшая церковь во Флоренции, построенная Уги (неподалеку от дворца Строцци).

...каждое утро в сильную жару... – Из хроник известно, что дело происходило в июне месяце, во Флоренции очень жарком.

С. 504. *Монна Нонна де Пульчи* – упоминается в документах того времени. Находилась в родстве с Антонием Орсо.

С. 505. *Антоний д'Орсо* – епископ Флорентийский. Умер в 1322 г.

...каталонский дворянин... Дьего де Ла Рат. – Представитель знатной барселонской семьи. Находился на службе у Роберта Анжуйского. Бывал дважды с ответственными миссиями во Флоренции в 1310 и 1317–1318 гг.

...по той улице, где устраиваются конские ристалища... – т. е. между Порталь Прато и Порта алла Кроче.

С. 507. *Куррадо Джанфильяцци* – принадлежал к банкирской семье, отличался светскостью и широтой взглядов. Жил в первой половине XIV в. С членами семьи Джанфильяцци был близок.

...близ Перетолы... – Именно там находилась часть поместий Джанфильяцци.

С. 510. *Мессер Форезе да Рабатта* – известный юрист первой половины XIV в.

Джотто – один из величайших итальянских художников XIV в. Перед его талантом преклонялись Данте, Петрарка и Боккаччо.

Барончи – флорентийская буржуазная семья, жившая неподалеку от Санта Мария Маджоре. Барончи славились уродством и глупостью.

С. 511. *...были в Муджелло имения.* – Муджелло – неподалеку от Флоренции. Форезе и Джотто оба происходили из тех краев.

С. 512. *А что, Джотто...* – и далее до слов: *...умеете читать по складам.* – Читателю может показаться странным, что Форезе обращается к Джотто на "ты", а Джотто к нему на "вы". Дело, однако, в том, что согласно существующей тогда иерархии правоведы относились к высшей касте "ученых", а художники к разряду ремесленников.

С. 513. *Монтуги* – долина при выходе из Порта Сан Галло.

...Уберти, другие – Ламберти... – Два древнейших во Флоренции семейства.

С. 514. *...не только на всем свете, но даже на всем побережье...* – Шутливое сопоставление несопоставимых вещей, являющееся как бы преамбулой к последующей шутке.

...человек по имени Нери Маннини... – Маннини – весьма известная флорентийская семья того времени.

С. 516. *Прато* – древний город поблизости от Флоренции.

С. 517. *Ринальдо де Пульези...* – Семейство Пульези – одно из стариннейших в Прато. Из числа Пульези было несколько гонфалоньеров города.

Ладзарино де Гвацциальотри – представитель старинного пратского рода.

С. 520. *...рассказ мой получится гораздо короче...* – Наряду с новеллой 9 первого дня эта новелла и в самом деле является самой короткой в "Декамероне".

С. 522. *...кому было предоставлено право последней очереди...* – т. е. Дионео.

С. 523. *...мессера Бетто Брунеллески...* – Брунеллески принадлежали когда-то к гибеллинам. Затем сделались белыми гвельфами, а после событий 1301 г. – черными. Бетто был другом Кавальканти и Данте.

...вышел он с Орто Сан Микеле на Корсо дельи Адимари... – Кавальканти имели дома между Порта Санта Мария и Орсанмикеле.

Санта Репарата – церковь во Флоренции, на месте которой воздвигнута Санта Мария дель Фьоре.

С. 525. *Селение Чертальдо...* – В Чертальдо находится дом Боккаччо.

С. 526. *...лук, славящийся на всю Тоскану.* – Недаром в гербе Чертальдо имеется луковица.

...Цицерона или же за Квинтилиана... – Для Боккаччо оба они были непререкаемыми авторитетами в области ораторского искусства и риторики.

...дабы блаженный Антоний охранял ваших волов... и т. д. – Блаженный Антоний, основатель монашества, в III в. считался покровителем домашнего скота.

С. 530. *...я посетил Страну Свинячих Пузырей...* и т. д. – Весь этот длинный пассаж построен на балаганном сближении абсолютно реальных мест (той же Флоренции) мест, бесконечно от города далеких, сказочных и просто вымышленных.

Седьмой день

С. 543. *Жил некогда во Флоренции, в квартале святого Панкратия, шерстяник, по имени Джанни Лоттеринги...* – Квартал во Флоренции, получивший свое (искаженное) наименование от расположенного там монастыря святого Панкратия. Несколько торговцев и ремесленников по имени Лоттеринги действительно существовали во Флоренции того времени. Все они были связаны с банком Барди.

С. 547. *...некоего Джанни ди Нелло...* – Джанни ди Нелло (как, впрочем, и большинство других имен, упоминаемых в новелле) имел, по всей вероятности, совершенно реальный прототип.

С. 549. *...проделала с мужем одна молодая, низкого состояния, женщина.* – Как и десятая новелла пятого дня, данная новелла восходит к “Метаморфозам” Апулея (IX, 5). На неаполитанском материале она получила реалистическое заострение.

Джаннелло Скриньярио... – В бытность Боккаччо в Неаполе поблизости от упоминаемой в тексте новеллы улицы Аворио в самом деле проживали братья Скриньярио, одного из которых звали Джованни.

С. 550. *...нынче день святого Галионе...* – Рядом с кварталом, где жили герои новеллы, действительно была часовня святого Галионе, очень почитаемая местными жителями.

С. 557–558. *...перед изображением преподобного отца нашего Амвросия...* – т. е. не святого Амвросия, а блаженного Амвросия Сиенского, монаха-доминиканца (1220 – 1286). Это объясняет заключительную фразу новеллы.

С. 559. *...богач по имени Тофано* – сокращенно от “Кристофано”. В Ареццо, на Виа дель Орто, имеется колодец, который по вековой традиции называют “колодцем Тофано”.

С. 560. *...вечером пришел домой и разыграл мертвецки пьяного.* – Этой ситуацией воспользовался в XVI в. в своей знаменитой комедии “Придворный” Пьетро Аретино. К мотиву этой новеллы восходит и “Жорж Данден” Мольера.

С. 577. *...Эгано де Галуцци из Болоньи...* – известная и очень разветвленная болонская семья времен Боккаччо.

С. 579. *О, на диво мягкосердечные женщины Болоньи!* – Такими их любил изображать Данте.

С. 584. *...богатейший купец по имени Арригуччо Берлингьери...* – К середине XIV в. Берлингьери получили во Флоренции некоторую известность благодаря своему богатству.

Мотив “подмены” в целях обмана мужа был довольно распространенным в восточной и западной новеллистике.

С. 592. *Жена Никострата Лидия любит Пирра...* – Источник этой новеллы не подлежит сомнению: Боккаччо воспользовался слабенькой поэмой, приписываемой М. Де Вандом, “Comoedia Lydiae”. Переписанная рукой самого Боккаччо, она находится в кодексе Laurenziano.

С. 596. *...после того как со столов уже убрали, вошла в залу...* – Дело в том, что по обычаям того времени женщины не принимали участие в трапезах с присутствием гостей.

С. 604. *...Тингоччо Мини, другого – Меуччо ди Тура...* – В летописях Сиены обе эти фамилии упоминаются.

...Амброджо Ансельмини... – Ансельмини – реально существовавшая сиенская семья.

С. 608. *...пели вдвоем об Арчите и Палемоне.* – Персонажи боккаччевской “Тезеиды”.

Восьмой день

С. 618. *...из Александрии в Авиньон.* – Во времена Боккаччо Авиньон был местопребыванием пап (так называемое “авиньонское пленение”).

С. 619. *...в селе Варлунго...* – В те времена это селение находилось поблизости от Флоренции. Ныне – в черте города.

Вода стекается в овраг... – начальный стих распространенной в XIV в. танцевальной песенки.

Ридда и баллонкио – названия групповых танцев.

С. 620. *Бонакорри да Джинестрето.* – Во Флоренции первой четверти XIV в. действительно проживал некий Бонакорри да Джинестрето, нотариус.

С. 622. *...из дуэйского сукна...* – т. е. фландрского сукна, изготовленного в городе Дуэ.

С. 625. *...живописец по имени Каландрино...* – флорентийский художник по имени Ноццо (или Джаноццо) ди Перино, упоминавшийся во флорентийских документах начала XIV в. Ученик Андреа Тафи, он принадлежал к джоттовской школе. Видимо, славился своим простодушием и недалекостью.

С. 626. *Мазо дель Саджо* – реальное лицо. Один из знаменитых флорентийских шутников и острословов времени Боккаччо.

...рассматривал изображения и резьбу на надпрестольной сени... – т. е. работы Липпо ди Бенивьени (XIV в.).

Равьоли – национальное итальянское блюдо, мучные лепешечки квадратной формы с мясной начинкой.

С. 627. *...дальше, чем Абруццы...* – Абруццы – гористая область в Италии. В язык того времени вошло для обозначения чего-то бесконечно отдаленного. Примерно, в смысле: “у черта на рогах”.

...гранит сеттиньянский и монтишский. – Сеттиньяно и Монтиши – два холма рядом с Флоренцией.

Морелло – холм, господствующий над Сеттиньяно и Монтиши.

Муньоне – приток реки Арно.

С. 628. *...работают в женском фаэнтинском монастыре...* – т. е. в женском монастыре на улице Фаэнцы (Флоренция). Там, по-видимому, Буффальмакко писал фрески.

С. 629. *...из ворот Сан Галло.* – Сан Галло – одни из городских ворот во Флоренции.

...ее шьют в Геннегау... — т. е. по моде, принятой во Фландрии.

С. 637. *...не во Фьезоле, а в Синигалье...* — Фьезоле — городок, расположенный на холме под Флоренцией, славящийся своей красотой и здоровым климатом. Синигалья — болотистая малярийная местность.

С. 640. *...уроженцы Марки...* — В описываемое время во Флоренции и в самом деле было несколько градоправителей, уроженцев провинции Марки.

С. 641. *...мессера Никкола да Сан Лепидио...* — Сан Лепидио (или Сан Лупидио) находится в провинции Асколи.

...одного звали Риби... — О Риби говорит Саккетти в сорок девятой новелле своего "Новеллино". О Матеуццо никаких упоминаний не имеется.

С. 647. *...испытывать людей на хлебе и сыре...* — В средние века такой "способ" был распространенным. Чтобы разоблачить вора, заговаривали кусок хлеба с сыром и предлагали проглотить подозреваемому. Если подозреваемый и впрямь оказывался вором, то кусок застревал у него в глотке.

С. 648. *Это можно сделать при помощи имбирных пилюлек и доброй верначчи.* — Самое интересное во всем этом "розыгрыше" то, что в качестве "заговорщика" выступает священник.

С. 648. *...около сорока сольдо...* — т. е. около половины флорина.

С. 651. *...вы уже не так будете потом смеяться над другими, и в том проявится ваш превеликий разум.* — Средневековая литература была полна описаниями всяческих проделок, которые вытворяли женщины над поэтами, учеными, философами. Вслед за другими писателями в защиту этих "обижаемых" выступил и Боккаччо.

С. 658. *...встретиться со студентом в Санта Лючия дель Прато.* — Церковь Санта Лючия у Порта дель Прато. Она существует и поныне.

С. 666. *Сила пера несравненно сильнее, нежели думают люди...* — Мысль эту о грозной силе пера Боккаччо разовьет потом в своем "Корбаччо". Вообще же мысль о силе писательского пера будет очень популярной у писателей Возрождения.

С. 675. *...Спинеллоччо Тавена, а другого – Дзеппа ди Мино...* — Выходцы из известных сиенских семей. Мино ди Толомеи, прозванный "Дзеппа" ("Затычка"), был, в частности, подестой города Сан Джиминьяно и в 1300 г. принимал посольство Флоренции, в которое входил Данте.

С. 679. *...приехавший во Флоренцию из Болоньи баран бараном...* — В Болонье находился знаменитый университет, который поставлял Флоренции ученых правоведов и медиков.

С. 680. *...некто Симоне да Вилла.* — В летописях Флоренции упоминается семья да Вилла. А один из этой семьи, магистр Симоне Медико, похоронен в Санта Кроче в середине XIV в.

С. 681. *...к Люциферу... что намалеван снаружи в Сан Галло.* – На фасаде Оспедале Сан Галло был изображен огромный дьявол с несколькими пастями.

...поклянитесь монтезонским распятием... – Неподалеку от Флоренции, в Монтезони, был известный монастырь и крепость. Там находилось знаменитое распятие.

...великий некромант по имени Майкл Скотт... – известный мыслитель и астролог при дворе Фридриха II (ок. 1290 г.). Его упоминает Данте ("Ад", песнь XX, 116).

С. 683. *...пресвитера Иоанна.* – Имеется в виду легендарный Иоанн, император Эфиопии, которому молва приписывала неслыханное могущество и сказочное богатство.

С. 684. *...над входной дверью – урильник...* – В медицине того времени исследование мочи по цвету было важнейшим диагностическим способом. Отсюда – символическое изображение урильника.

С. 685. *Даже если б ты меня послал в Перетолу...* – Глупому Симоне невдомек, что Перетола менее чем в часе ходьбы от Флоренции.

...в прошлом году в Какавинчильи... – Какавинчильи – свалка нечистот.

...десять болонских монет... – серебряные монеты малого достоинства.

...мать из рода Валеккьо. – Валеккьо – пригород Флоренции. Доктор плетет абсолютнейшую чепуху.

С. 692. *...Рипольского женского монастыря.* – В этом монастыре Бруно и Буффальмакко действительно занимались росписью.

С. 696. *Никколо́ да Чиньяно* – лицо историческое, его упоминают документы середины XIV в. Возможно, что он принадлежал к торговому дому Скали.

С. 696–697. *...донной Янкофьоре...* – Янкофьоре – сицилийская форма от Бьянкофьоре.

С. 702. *Пьетро делло Каниджано* – реальное лицо, друг Боккаччо. Именно мессера Пьетра Боккаччо сделал своим душеприказчиком. Каниджано занимал высокие должности на службе у Анжуйских и у Флорентийской республики.

С. 704. *...захватили монакские корсары...* – Во времена Боккаччо Монако являлось одним из пиратских центров на Средиземном море.

С. 706. "*Тосканца обирай, да сама рот не разевай*"... – По-итальянски: "Chi ha a far con tosco non vuole esser losco" – т. е. букв.: "Кто имеет дело с тосканцами, тот должен глядеть в оба глаза". Поговорка, часто приводимая тосканскими писателями. Тосканцы славились как коммерсанты и дельцы.

Девятый день

С. 714. *Ринуччо Палермини и Алессандро Кьярмонтези* – представители двух известных флорентийских семей, принадлежавшие к партии гибеллинов. Были изгнаны из города.

Франческой де Ладзари... – Ладзари – гвельфская семья в Пистойе.

С. 724. *...живописец Нелло...* – Нелло ди Дино (или Бандино) – родственник жены Каландрино и приятель Бруно и Буффальмакко, возможно, и ученик Тафи.

С. 729. *...обоих звали Чекко...* – Один Чекко – Чекко Анджольери (1258?–1312?), известный сиенский поэт. Другой Чекко – Чекко Фортарриго, о котором известно только, что ему посвятил сонет Пикколомини Чекко.

С. 730. *Корсиньяно* – городок в сиенской провинции, переименованный впоследствии в Пиенцу (в честь Пия II).

С. 734. *...состоятельного согражданина, Никколо́ Корнаккини...* – Корнаккини – богатая купеческая семья во Флоренции.

...в Камерате... – т. е. в долине у подножия Фьезоле, славившейся своими загородными виллами.

Камальдоли – улица во Флоренции.

С. 747. *Д'Имолезе* – реально существовавшая семья во Флоренции.

С. 750. *...некто по имени Чакко...* – Вероятнее всего, что в данном случае подразумевается знаменитый флорентийский обжора, которого Данте изобразил в шестой песне своего "Ада".

С. 751. *Вьери де Черки* – по всей видимости, Боккаччо подразумевает того самого Черки, который возглавил партию белых гвельфов.

Корсо До́нати – глава черных гвельфов, прозванный за спесь и гордыню "бароном". В 1300 г. был изгнан из Флоренции. В 1301 г. вернулся с войсками Карла Валуа. Все остальные персонажи этой новеллы также имеют реальных прототипов.

Десятый день

С. 770. *Руджери де Фиджованни...* – Фиджованни – знатная флорентийская семья, имевшая владения в Чертальдо.

...испанскому королю Альфонсу... – Альфонс VIII Кастильский (1155–1214), прославленный поэтами за борьбу с маврами.

С. 775. *Известный своею свирепостью и своими грабежами Гино ди Такко...* – сиенский дворянин, ставший атаманом шайки разбойников. Имя его наводило страх на всю провинцию. Его упоминает Данте. Но в оценке его личности документы расходятся. Одни считают его холодным и жестоким грабителем и убийцей. Другие – человеком великодушным и любезным.

...поехать на сиенские воды... – Сиенские воды (в Сан-Кашьяно) считались в Европе знаменитыми по своей целебности.

С. 788. *Джентиле де Каризенди.* – Каризенди – знатная болонская семья.

С. 803. *...слышать о короле Карле Старшем, или Карле Первом, коего славному походу и блестящей победе над королем Манфредом...* – Имеется в виду победа при Бенавенто (1266). Король Карл пользовался неизменной симпатией Боккаччо.

Нери дельи Уберти... – персонаж вымышленный, но какие-то Уберти действительно были в числе изгнанных.

Кастелламмаре ди Стабиа – старинное курортное место под Неаполем.

...графу Ги де Монфору... – Ги де Монфор – один из преданнейших вельмож Карла I. Был его викарием во Флоренции в 1270 г.

С. 807. *...насилия, которые Манфред чинил над женщинами?* – Обвинения, очень распространенные среди современников Боккаччо.

С. 809. *После того как французы были изгнаны из Сицилии...* – т. е. после Сицилийской вечери (31 марта 1282 г.).

С. 811. *...пошел от нее к Мико да Сиена, изрядному для того времени стихотворцу...* – Никаких следов реального существования этого стихотворца не сохранилось.

С. 816. *...оттого что почти все нынешние государи - жестокие тираны.* – Этот исторический пессимизм Боккаччо с годами возрастал.

С. 818. *...рассказать вам о том, как благородно и великодушно обошлись друг с другом двое простых смертных...* – Вся эта новелла Боккаччо представляет собой апофеоз бескорыстной дружбы. Новелла имела огромный успех и признание в последующих веках. “Античные” имена действующих лиц и география новеллы не более чем условная декорация.

С. 835. *...один из великодушных поступков Саладина...* – Успех легенд о Саладине был в Европе тех лет почти беспримерен.

...всеобщий крестовый поход для освобождения Святой земли. – Речь идет о третьем крестовом походе (1189), во время которого Фридрих погиб (1190).

С. 841. *...в течение одного года, одного месяца и одного дня...* – характерная фольклорная формула. Ею воспользовался и Петрарка в одном из своих знаменитейших сонетов.

С. 853. *...маркизов Салуццких...* – Начиная с 1142 г. Салуццо на протяжении четырех веков был центром сильного маркизата. Среди маркизов Салуццких несколько человек носили имя Гвальтьери.

Новелла о Гризельде имела совершенно исключительный успех уже у современников. На латинский язык ее перевел сам Петрарка. В России ее перевел К. Батюшков.

С. 866. *...и, помнится, я сумел доказать это в начале четвертого дня.* – Это заключение является в значительной степени дополнением или развитием того, что Боккаччо написал во вступлении к четвертому дню.

С. 867. *Возлияни, Лакатти* – шутливые прозвища (значащие) великих пропойц.

С. 869. *...не учился ни в Афинах, ни в Болонье, ни в Париже...* – Боккаччо перечисляет три крупнейших научных центра (античности – Афины и своего времени – Болонью, Париж).